prose_su_classics

Павел
Филиппович
Нилин

Знаменитый Павлюк. Повести и рассказы

ru

Kostik
kk200@mail.ru

ExportToFB21
28.12.2012
http://lib.rus.ec/a/38249
OOoFBTools-2012-12-28-17-8-27-1418

1.0

Сов. писатель
Москва
1968

Знаменитый Павлюк. Повести и рассказы

Содержание. Знаменитый Павлюк. Модистка из Красноярска. Жестокость. Испытательный срок. Последняя кража. Варя Лугина и ее первый муж. Ближайший родственник. Через кладбище. Пятно. Дом господина Эшке в городе Веневе. Егор или Василий? Дуэль. Завтра. Супруги Полыхаевы. Жучка. Знакомство с Тишковым. В повестях ``Жестокость`` и ``Испытательный срок`` рассказывается о годах нэпа. Повесть ``Через кладбище`` посвящена действия партизан в годы Великой Отечественной войны.

Павел Нилин

М. Сов. писатель 1968г.

Знаменитый Павлюк

Матери моей Марии Александровне

У всех людей бывают какие-нибудь родственники, ну хотя бы дальние. А у Павлюка никого не было. Жил один он в каменном подвале на Маложайке.

Я учился у него.
Учиться мне, откровенно говоря, не хотелось. Дело это — жестяночное мне никогда не нравилось. Но надо человеку учиться чему-нибудь. И я учился.
Мне было восемь лет.
В подвале было темно и душно. Походил этот подвал на пещеру, вроде той, что открыли случайно на каменоломнях у Белого ключа. Но в пещере не было ни окон, ни дверей, ни чистых половиков, сплетенных из разноцветных тряпок. А здесь, в подвале, все это было. И на стенах, всегда потных, висели большие картины Страшного суда.
Запомнилась мне особенно одна, на которой томился грешник, совершенно голый, худой и взлохмаченный, с глазами черными и печальными. Он сидел на широкой сковороде, укрепленной на серых камнях, и малиновые черти с веревочными хвостами сосредоточенно раскладывали под ним огонь.
Удивляло меня постоянно хладнокровие грешника. Заметно было, что худо ему. Огонь раскалял сковороду, поднимался даже выше сковороды, хватал грешника за ноги, за спину, за коричневую, вяленую кожу, добирался до головы. А он сидел, этот грешник, как ни в чем не бывало — прямой, неподвижный и как будто сконфуженный немножко: вот смотрите, мол, добрые люди, как раздели меня донага и жарят заживо, а я ничего поделать не могу...
Удивлял и печалил меня этот грешник невыразимо. Видно было, что сидит он не привязанный. Ни веревок, ни цепей не было вокруг него. Но все-таки убежать он, должно быть, и не пытался. Не пытался даже спрыгнуть со сковороды. И это больше всего удивляло меня. Однако удивления своего я никогда не выказывал.
Павлюк был мрачный, молчаливый.
Приходил я к нему обыкновенно утром, в половине седьмого. В это время он, умытый уже, сидел на кухне против самовара, пил чай, и щеки его, впалые, покрытые тончайшей сеткой красных жилок, медленно сгорали в синеватом румянце.
Мне было восемь лет, но я знал все на свете. Я знал, как сеют хлеб и как его зарабатывают, как родятся дети и что надо делать, чтобы они не родились.
Знал я также, почему сгорают щеки у Павлюка.
Впрочем, это знала вся улица наша.
У Павлюка была чахотка, и все уверены были, что он скоро умрет.
Доктор Федоров, Аркадий Сергеевич, сказал об этом в разговоре хозяину дома, где жил мой учитель. И хозяин, ласковый, круглый и пушистый старичок, любивший в летнее время ходить по двору в одних кальсонах, стал требовать квартирную плату с жестянщика за два месяца вперед, а однажды потребовал даже за три.
— Взойди ты, ради бога, в мое положение, Андрей Петрович, — говорил при этом хозяин. — Клозеты я обязан чистить? Обязан. Мусор мне полиция велит вывозить? Велит. А где же я денег наберусь на такое в пожилые, преклонные мои года?
Домохозяин говорил слезливо. Можно было подумать, что ему действительно до зарезу нужны деньги. Но никто так не думал. Все знали, почему он выколачивает деньги именно из Павлюка. А Павлюк как будто и не догадывался.
Высокий, сухой, похожий на птицу без крыльев, он стоял перед хозяином, чуть согнувшись вперед, доверчиво вытянув небольшую голову на длинной, тонкой шее, и, посапывая, молчал.
Хозяин говорил раздраженно:
— У меня ведь, кажется, не какой-нибудь страннолриютный дом. Желающих на твое помещение, слава богу, сколько угодно. Я хоть сейчас могу его сдать. Все время ходят разные лица, спрашивают...
И на этот раз хозяин говорил чистую правду.
Желающих въехать в подвал было действительно много. Главное, что помещался он у самого базара. Целый день народ шумел и толпился против окон его.
Площадь базарная считалась центром города.
А город наш, хотя и небольшой, но суетливый, деятельный, издавна славился базаром, на котором можно продать и купить что угодно, вплоть до птичьего молока.
Продавцы и покупатели приезжали на этот базар со всей губернии. И любой мастеровой со смекалкой мог здесь делать большие дела.
В подвал Павлюка с удовольствием въехал бы и портной, и сапожник, и жестянщик, и даже лавочник.

Правда, раньше, года три назад, на подвал этот, говорят, было мало охотников. Весь он был завален бурым камнем, битым стеклом, гнилыми балками и дохлятиной. В зимнее время народ с базара запросто забегал в этот заброшенный подвал за нуждой, как будто так и надо.
Потом появился Павлюк. Хозяин с радостью сдал ему подвал по дешевке. И Павлюк два месяца только тем и занимался, что вытаскивал из подвала мусор и гнилье, камни и разную гадость. Вскоре он привел откуда-то старичка плотника, и тот за недорогую плату настелил полы, прорубил два больших окна и навесил новую, тяжелую дверь с секретным запором, который изобрел Павлюк.
Года три жестянщик потратил на всякое обзаведение, вкладывал почти весь заработок в инструмент. Покупал по сходной цене тиски, молотки, зубила, дрели и другие разные вещи, до крайности необходимые мастеровому человеку. Приценивался, рядился, голодал, кряхтел, таская листы железные, и проволоку, и чугунные чушки в нору свою темную. Украшал эту нору, белил и красил огненной краской — охрой.
Устраивался на годы.
И вот теперь, когда устроился он по-настоящему, когда одной белой жести, очень ценной, наготовлено листов, наверно, двести да проволоки всяческой пудов, может быть, двадцать, ему надо было умирать непременно. Непременно надо было умирать.
Все думали, что умрет он через месяц, ну в крайнем случае через два. Уж больно высох он, выгорел. Передвигался осторожно, тяжело дыша. Не проживет он больше двух месяцев ни за что.
А хозяин требовал деньги вперед за три месяца и говорил огорченно:
— Я же не неволю тебя. Как хочешь. Не нравится? Можешь съехать. Хотя мне будет жалко. Мужик ты добродушный, не злой. Я таких, откровенно сказать, люблю.
Во дворе росла трава. По двору ходили куры. И хозяин, разговаривая, отгонял их ногой, будто не желая, чтобы они слушали его разговор с жестянщиком. Но вдруг большой красноголовый петух, взъерошив перья, кинулся к хозяину.
— Ах, какой герой! Ах, какой военный! — ударил его туфлей хозяин. — А что, ежели я завтрашний день скушаю тебя, дурака, за твою смелость, а? Что ты мне скажешь тогда?
Павлюк стоял, переминаясь с ноги на ногу, и долго молчал. Я смотрел на него из окна. И мне слышно было, как он сказал наконец:
— Ну ладно, отдам. Воля ваша.
— Вот и спасибо тебе, пожалел ты меня, старика! — опять слезливо и обрадованно сказал хозяин и быстро пошел к себе в квартиру, странно семеня короткими ножками и почему-то пугливо оглядываясь по сторонам, будто кто-то собирался и его ударить, как он ударил петуха.
А когда исчез он из виду, перед жестянщиком появился, точно вырос из земли, извозчик Хохлов.
— Это что ж такое? — спросил он Павлюка. — Опять с тебя деньги взыскивает? — И мотнул головой, обросшей курчавой овчиной, в сторону квартиры хозяина. — Вот совесть какая у людей. Отдай ему, значит, деньги за три месяца вперед, а человеку, может, через неделю помирать придется. Как тут рассуждать?
Павлюк молчал.
Извозчик, выразив ему свое сочувствие и отсоветовав платить деньги вперед, постоял еще минутку перед ним, раскуривая трубку. Потом сказал:
— Мне говорили, вроде ты самовар продаешь. Правда, что ли?
— С чего это взяли? — спросил Павлюк.
— Да так говорят. Знаешь, как болтают?
Павлюк ничего не ответил, пошел в подвал.
Хохлов посмотрел ему вслед и молвил обиженно:
— Гордый ты, ей-богу. Гляжу я на тебя...
Но Павлюк ничего не ответил и на этот раз. Ушел в подвал.
Из подвала он выходил теперь все реже и реже.
А когда он долго не выходил на улицу и не слышно было шума жести, перетаскиваемой с верстака на верстак, душераздирающего скрипа ее и молоточного стука, люди почасту останавливались у подвала, прислушивались или просто наклонялись над низкими окнами и заглядывали в мутное стекло: уж не помер ли Павлюк?

Нельзя сказать, чтобы люди желали его смерти, нетерпеливо ждали ее прихода. Нет. Большинство людей нашей улицы любили Павлюка. Многие уважали его за кротость характера, за доброту и за мастерство, несравненное в своем роде. Многие сердечно жалели его, говорили:
— Ведь какой, посмотрите, мужик двужильный! Непонятно, в чем душа держится, а все работает, стремится. Жалко смотреть даже.
Но всякому человеку, собравшемуся жить бесконечно, было обидно уступить соседу законную свою часть имущества на неизбежном дележе после смерти одинокого жестянщика. И всякий хотел знать поэтому: когда же умрет Павлюк?
Это необходимо было знать, чтобы раньше всех поспеть к дележу.
Впрочем, может быть, дележ и не состоится. Жадная полиция растащит все сама, потому что ей полагается хоронить безродных и быть единственной наследницей их имущества. Очень просто может случиться, что все достанется полиции. А жаль...
Яшка Новосильцев, известный всей нашей улице как гармонист и алкоголик, прямо так и сказал Павлюку:
— Все равно ведь в могилу не потащишь тиски американские. А я бы тебя поминал. Вот даю слово. Продай...
Павлюк сказал ему:
— Слушай, Яша. Иди ты... знаешь куда?
Яшка ушел. Но через день наведался снова. И Павлюк снова обругал его.
Павлюк велел мне теперь запирать двери даже днем на секретный засов, чтобы лишних посетителей не было. Осточертели они бог знает как. Все один и тот же разговор: продай, уступи... И каждый надеется, что жестянщик скупиться не будет, уступит по дешевке любую вещь — на что ему теперь вещи?
Павлюк приказал мне:
— Никого не пускай.
Но разве можно не пускать? Другой идет как заказчик.
Например, парикмахер Хинчук принес машинку для стрижки волос, просил починить, а потом, как будто нечаянно, потрогал пальцами пальто на вешалке и попросил, точно в магазине...
— Дай примерю...
— Да вы что, сдурели, что ли, на самом-то деле? — спросил Павлюк. И схватил с верстака деревянный молоток, называемый киянкой. — Я ж не помер еще, слава тебе господи...
Парикмахер попятился к дверям. Но в дверях он все-таки остановился и еще раз пальцем показал на вешалку.
— Это ж зимнее пальто. Неужели ж ты и зимой будешь существовать?
Павлюк приказал мне:
— Открой ему дверь, ради создателя. Или я приму на свою душу тяжкий грех.
И Павлюк, я думаю, наверняка принял бы этот грех на свою душу, если б парикмахер не успел выпрыгнуть за дверь.
У Павлюка тряслись руки.
Я впервые видел его в таком состоянии.
Подойдя к верстаку, он долго не мог развинтить тиски, ворчал что-то, кряхтел. Потом развинтил тиски, немного успокоился и спросил:
— Видал идиота? А? — Вздохнул. Вытер пот со лба. — Машинку он принес мне починить. Да что я им, машинист, что ли? Я жестянщик, сучьи души...
И замолчал.
Я тоже помалкивал, потому что ясно было — ко мне этот разговор не имеет никакого отношения.
Павлюк часто разговаривал сам с собой. Со мной он говорил только о работе и всегда коротко — два-три слова. По имени он меня никогда не называл, а говорил просто "мальчик":
— Мальчик, согрей паяльник.
Но смотрел при этом не на меня, а куда-то в сторону.
Объясняя мне что-нибудь, — например, как надо загибать уголки, — он тоже никогда не смотрел на меня и говорил таким голосом, точно в подвале, помимо нас двоих, присутствуют еще человек двадцать, которым тоже необходимо знать, как загибают уголки.
Рассердившись на то, что я, посланный за чайной колбасой, долго пробыл в лавочке, он выговор делал не мне, а кому-то третьему говорил:

— Ходить надо веселее.
И спрашивал:
— Слышишь?
Я молчал, потому что ясно было — не меня он спрашивает.
Меня, должно быть, он просто не замечал. Но мне это не казалось обидным. Напротив, эта невнимательность, пожалуй, даже возвышала учителя в моих глазах.
Мне всегда казалось, что он занят важными мыслями, что он носит в себе какой-то страшный секрет и думает постоянно об этом секрете.
В мыслях своих он, может быть, спорил с кем-то. И иногда говорил вслух:
— Ка-акая глупость!
Или:
— А ты как считаешь?
Можно было подумать, что он спрашивает кота, который по утрам всегда сидел на подоконнике и мучился бессонницей — то медленно закрывал глаза, то вдруг, вздрогнув по-человечески, открывал их и удивленно смотрел на Павлюка.
Павлюк, улыбнувшись невесело, спрашивал его:
— Не узнаешь?
И, ласково потрепав кота по морде, продолжал работать.
А кот снова закрывал глаза. Днем ему полагалось спать, потому что ночью он ловил мышей, которых в подвале было великое множество.
Один раз он поймал даже крысу. Она сильно искусала ему морду, но он все-таки задавил ее.
Павлюк наутро мазал ему морду вазелином и говорил, веселясь:
— Ай, Антон, ай, Антон! Молодец, красавец...
Похоже было, что он гордится котом так же, как и своей работой.
Однажды я слышал, как старушка Захаровна просила Павлюка:
— Нельзя ли вашего кота к нам на побывку? На ночку хотя бы. Пусть бы наших мышей попугал. Ужас что делается!
Павлюк сказал:
— Нельзя. У него своей работы дома хватает.
И к коту он действительно относился как к работнику.
Как человеку, он говорил коту:
— Скучаешь, Антоша? А? Женить бы тебя хорошо.
Антон сидел на подоконнике и, точно смущаясь, щурился.
А Павлюк улыбался грустно. Потом говорил:
— Иди промнись. Чего же сидишь, как сыч?
И открывал ему дверь.
Антон выходил на крыльцо, вытягивал свое длинное, резиновое тело и скреб лапками каменную ступеньку — точил когти. А когти у него были длинные. И весь он был, от морды до хвоста, большой и сильный, породистый сибирский кот.
— Благородный, — говорила про него Захаровна. — Ишь какую морду наел! Чисто околоточный надзиратель Мельников Василий Васильевич.
В последнее время она часто стала прикармливать его. И всегда выносила ему в жестяной банке из-под консервов деликатный продукт — молоко, разбавленное отварной водой, щи мясные или ошурки от сала.
Молоко Антон пил с особенным удовольствием, ласково ворчал, медленно шевеля хвостом, но на руки к старушке не шел.
А когда Захаровна однажды пыталась переломить его непокорный мужской характер и употребила силу, чтобы привлечь его барственную морду к своей груди, кот жестоко оцарапал ей руку и, спрыгивая на землю, ударил ее хвостом по носу.
— У, июда! — гневливо сказала Захаровна. — Это как же ты о себе думаешь? А? Это куда же ты пойдешь, ежли хозяин твой помрет? Ко мне ведь и пойдешь, бессовестный. Я тебе буду тогда — желаешь, не желаешь — полная хозяйка...
Захаровна в гневе и злорадстве своем даже ростом становилась выше.
Но Павлюк, должно быть, и не собирался помирать.
Как всегда, по утрам он кроил на верстаке длинные листы белой жести или кровельного железа, и мы делали из них чайники, судки и ведра, самоварные трубы, умывальники, железные печки.

Железные печки он делал почему-то с особенной охотой, даже с удовольствием. Иногда пел при этом тихим, дребезжащим голосом, и щеки его пылали с пугающей яркостью.
А песня у него была одна и та же — про каторжника Лонцова.
Было это давно. Очень давно. Я объехал после того десятки городов, видел разных людей, слышал разные песни. Но и сейчас, если закрою глаза, я снова услышу песню, которую дребезжащим голосом пел Павлюк.
И мотив услышу и слова:
Гремит звонок насчет поверки.
Лонцов задумал убежать.
Не стал он ночи дожидаться,
Проворно начал печь ломать...
...Казак на серенькой лошадке
С докладом к князю поскакал.
— Я к вашей светлости с докладом
Лонцов из замку убежал.
Павлюк, казалось, радовался побегу этого неустрашимого, неуловимого Лонцова и, вспоминая храброго человека в песне, песней этой будто угрожал кому-то и жил веселее.
Песня возбуждала его. А может быть, работа возбуждала. И из работы возникала песня, украшавшая жизнь.
Передвигался он от верстака к верстаку так же осторожно, как всегда, точно боясь расплескать в себе что-то сосчитанное до последней капли дорогое, драгоценное.
Но когда он пел, движения его становились более быстрыми, как бы отчаянными. И в это время мне всегда казалось, что вот сейчас, сию минуту, он ударит еще раз молотком по железной кромке, вздрогнет, упадет и умрет моментально.
Пот выступал у него на лбу крупными, блестящими каплями. Все лицо становилось влажным и красным, будто он только что вышел из бани, из парного отделения. На шее, около кадыка, набухала большая синяя жила.
А он все пел и работал, выпрямляя железный лоскут, скручивая его и изгибая всячески до тех пор, покуда холодное железо, согретое только прикосновением горячих человеческих рук, не принимало наконец нужную форму — затейливый профиль ножки, трубы или печной дверцы.
Железные печки он делал лучше всех жестянщиков города. Лучше Кости Уклюжникова и, пожалуй, лучше даже Павла Дементьевича Линева.
Печки у него получались на редкость красивые, легкие и высокие, на фигурно изогнутых ножках.
У них были не только специальные поддувала, но и полки, небольшие, на которых можно было сушить мелкую рыбу, грибы и хлебные куски, чтоб они не залеживались.
В спинках печек пробивались отверстия для кастрюль и сковород. И к ним сделаны были крышки, круглые, с выдвижными ручками в виде бантиков.
В летнее время, когда невыгодно топить плиту или русскую печь, небогатые семьи готовили свой обед на железных печках, вынесенных во двор. И спрос на эти печки был всегда велик.
Павлюка заваливали заказами. Даже из деревень, из тайги приезжали к Павлюку.
И на дверцах каждой печки, в том месте, где положено быть дырочкам, он выбивал семь некрупных букв: "_Павлюкъ_".
Я спросил однажды:
— Это зачем же буквы, Андрей Петрович?
Павлюк взглянул на меня удивленно:
— Это ж фирма, чудак! Павлюк — мое фамилие...
И так постоянно он выбивал эти буквы.
Жить ему оставалось, может быть, очень немного. Говорили, что он не доживет и до зимы.
А начиналась осень, шли дожди. В подвале становилось уже совсем пасмурно.
Было трудно работать в этаких постоянных сумерках. И поэтому даже днем мы зажигали лампу.
Лампа вечно чадила. Сквозь зеленое закопченное ее стекло пробивался тусклый свет. Огонек мигал, и в мигании его, мне казалось, начинает наконец шевелиться до невозможности измученный грешник на картине "Страшный суд". Пламя лижет его, хватает за выпуклые ребра, за голову косматую, и лицо искажается в смертной муке. Худо ему, грешнику, на сковороде. И,

наверно, так же худо, думал я, будет учителю моему, когда умрет он и его призовут на страшное судилище.
О себе же, о смерти своей, я тогда не думал. Я думал о Павлюке. "Как же так? — думал я. — Человек знает, что скоро помрет, перед глазами у него ужасные картины, а он не тужит и не вздыхает даже..."
И Павлюк действительно не часто вздыхал при мне.
Был он ровен в поведении своем и весной, и летом, и осенью. По-прежнему принимал заказы, работал. И во всем придерживался, как и раньше, строгих правил, ни разу не изменив им и их не изменив.
На стене у него висели большие, в деревянной раме, часы фирмы "Павел Буре", со звоном. Заводил он их по гудку со спичечной фабрики "Олень". И утром, когда спичечники шли мимо окон его на работу, он, уже разбуженный гудком и попивший чаю, начинал резать жесть. Делал он это почти торжественно, неторопливо и шевелил при этом губами, будто читал молитву.
Голову его украшала затейливая прическа "бабочка". Волосы, седые и влажные, чуть топорщились и поблескивали. И временами казалось, что на голове у него не прическа, а шапочка из белой жести, плотно пригнанная к черепу.
Брезентовый пиджачок и штаны, тоже брезентовые, были всегда аккуратно проглажены и такие чистые, точно он каждое утро ждал, что кто-нибудь придет проверить, в каком виде он работает.
Но никто, кроме заказчиков и соседей, раздражавших его, не приходил.
Впрочем, в последнее время и соседи стали заглядывать редко.
В подвале было пасмурно и тихо.
Павлюк, нарезав жесть, слегка плевал на пальцы и брал киянку. С этого момента работа у него шла быстрее. И я, подкрашивая готовые ведра, тоже невольно начинал торопиться.
В половине двенадцатого на спичечной фабрике ревел гудок.
Павлюк неохотно прекращал работу, смотрел на часы. Иногда становился на табуретку и подводил их, если они отставали. Потом смотрел на себя в зеркало, висевшее тут же, около дверей, поправлял жиденькие, нитяные усы и говорил, беседуя с самим собой:
— Ну что ж... Имеем право пообедать.
На кухне стоял узенький столик, покрытый рыжей клеенкой. Павлюк каждый раз перед обедом поливал ее водой из чайника и протирал тряпкой. Потом ставил на нее проволочный кружок и вынимал из печки чугунок со щами.
Большую русскую печь он топил и летом, потому что ему и летом было холодно. Один раз он сказал, так же как всегда, ни к кому не обращаясь:
— У воробья и то, пожалуй, крови-то побольше, чем во мне. Потому и зябну.
Щи и кашу он варил с вечера. Простоявшие в печке всю ночь и полдня, они аппетитно пахли. Гречневая каша становилась малиновой и рассыпчатой.
После обеда я доставал из узелка, принесенного с собой, пучок моркови и съедал ее за один присест.
Бабушка моя говорила:
— Морковь кровь наливает, черемша заразу прогоняет, а чеснок от заразы бережет и к тому же идет для аппетита.
Мне чеснок для аппетита не требовался. Черемша мне не нравилась. А морковь я любил и верил, что она наливает кровь.
Глядя на Павлюка, я мог видеть, как плохо человеку, когда в нем мало крови. И я каждый день наблюдал, как кровь все усыхает и усыхает в этом человеке.
— Вот бы вам, Андрей Петрович, морковь есть. Она ведь сильно помогает, — осмелился сказать я однажды.
Павлюк посмотрел не меня почти весело и сказал, будто пожалев меня:
— Эх, мальчик!.. Никакая морковь меня уж теперь не спасет. Нет, не спасет...
И, склонившись над столом, помотал головой.
Больше мы на эту тему не разговаривали.
А он не только не ел морковь, но и щи и кашу ел в последнее время неохотно, словно по обязанности.

Иногда, правда, на него вдруг нападал аппетит. Он съедал все торопливо и жадно. Наевшись, собирал в ладонь со стола крошки и проглатывал их тоже, широко раскрыв рот и закинув голову.
Но чаще аппетита не было у него. Он сидел за столом, скучный и вялый, и видно было, что он ждет, когда я наемся, чтобы прибрать посуду.
После обеда меня всегда клонило ко сну. "И Павлюку, — думал я, наверно, тоже хочется спать". На улице дождь, тоска. Хорошо уснуть в такую погоду, на полчасика хотя бы забыться.
Но Павлюк, пообедав, шел к верстакам — работать. И я шел за ним.
Железные печки он делал, как раньше, с видимым удовольствием. Но петь при этом уже не мог. Внутри у него хрипело что-то и посвистывало. Петь, должно быть, он никогда уж не смог бы.
Даже с котом он разговаривал теперь не часто. А когда говорил, как обычно, с самим собой, понять не всегда было можно, о чем он говорит.
Иногда я все-таки улавливал отдельные слова. Но смысл этих слов был туманным.
Непонятно было, о чем думает этот человек, на что надеется.
А ведь, похоже, надеется на что-то...
В углу на тумбочке стоял граммофон с огромной изогнутой трубой. Павлюк купил его на барахолке по частям. Сам собрал эти части, изготовил трубу. И теперь граммофон пел в тоскливые осенние дни про любовь: "Бе-е-ело-ой ака-ации гроздья душистые-е вновь а-аро-ма-а-том, арома-а-том полны".
Пластинок было только две — "Белая акация" и "Шумел, горел пожар московский".
Однажды Павлюк поставил эту вторую пластинку, хотя она ему нравилась меньше, чем первая.
На дворе, как обычно во все дни эти, шел некрупный, нудный дождь.
Дождевая пыль вместе с грязью залепляла наши окна. На стене у нас горела лампа в фонаре "летучая мышь".
А Наполеон, виденный мной у бабушки на комоде, печально и певуче-дребезжащим, как у Павлюка, голосом, спрашивал из граммофона:
За-че-ем я шел к тебе, Росси-и-йя,
Евро-о-опу-у всю держа в руках?
И мне в эту минуту было жалко французского императора, как себя. В такую слякотную погоду погнал его черт неведомо куда и бог знает зачем...
Вдруг кто-то постучал в окно.
Павлюк остановил граммофон, убавил фитиль в лампе, подошел к окну. Со двора, прижавшись к мокрому стеклу, смотрела на него рыжеусая, багровая морда лавочника Варкова. И лавочник кричал:
— Продаешь граммофон-то? А?
Павлюк хотел не то плюнуть, не то сказать что-то, но ничего у него не получилось. Он только качнул головой, как деревянный паяц на веревочке. И кашлянул в стекло.
Поглядев на него, я встревожился: до какой же, значит, степени ослабел он, обессилел и устал навсегда...
Подойдя потом к верстаку, он взял киянку, погладил ее зачем-то и сказал, должно быть, коту, сидевшему на верстаке:
— До чего дешевые люди бывают на свете! Обидно подумать даже...
И больше ничего не сказал. Стал собирать инструмент.
Инструмент после работы он всегда сам вытирал прокеросиненной тряпкой и развешивал на стене, в кожаных петельках, прибитых гвоздями. Потом приносил из сеней широкую корзину и складывал в нее железные обрезки. А я подметал пол.
Павлюк говорил:
— Чистота возвышает человека. Это имей в виду...
Но чаще он молчал. И молча делал все, что надо. Он даже кашлять старался негромко.
В подвале становилось все тише и тише.
И в тишине, будто царапая по сердцу, визжала жесть, когда ее резали, да гремел по жести деревянный молоток.
Павлюк передвигался все осторожнее, все боязливее. Щеки его теперь не пылали, они потемнели, стали землистыми, серыми. Глаза запали глубоко-глубоко. При свете лампы они горели в глубине, как дорогие камни.
А дождь все лил, лил.

У Павлюка, как в начале нашего знакомства, пошла кровь горлом. Он бережно сплевывал ее в стеклянную баночку и туго завинчивал жестяную крышку, чтобы не распространять заразу, как объяснил он мне.
Обедал я теперь один, а учитель мой только сидел за столом, делая вид, что обедает. Есть он, должно быть, уже не мог. Но все равно в положенный час, услышав обеденный гудок со спичечной фабрики, прекращал работу и вынимал из печки щи и кашу.
И вот однажды, когда он ставил на стол чугунок со щами, в дверь постучались, и вошли двое — Костя Уклюжников, известный в нашем городе жестянщик, и с ним еще неизвестный паренек. Павлюк очень удивился этому визиту. Костя Уклюжников к нему раньше никогда не ходил. Встречались только на базаре, в скобяном ряду, где продают изделия и железный материал. И вдруг Костя пришел на квартиру, да еще с товарищем. А зачем?
— Просто так, — сказал Костя. — Шли мы мимо. Дай, думаю, зайдем к знакомому, наведаем его. Говорят, прихварываешь ты, Андрей Петрович?
— Какое там прихварываю! — улыбнулся Павлюк. — Отхворался уж...
— Поправляешься, что ли? — спросил Уклюжников.
— И не поправляюсь и не хвораю, — сказал Павлюк. — Одним словом, отхворался вчистую...
— Непонятный ты мне человек, Андрей Петрович, — признался Костя. Очень скрытный у тебя характер. А я как раз подумал: может, помощь какая тебе нужна, может, в чем-нибудь я тебе пособить могу. Мы ведь все-таки знакомые давно и тем более — одного ремесла...
— Одного — это правильно, одного ремесла, — согласился Павлюк. И как будто обрадовался даже, уцепившись за эти слова. — Но помогать мне теперь уже ни к чему. Ни к чему мне помогать. Я скорей тебе помогу. Вон у меня жесть остается, сколько жести хорошей. Если хочешь, возьми, уж раз пришел...
Костя так обиделся, что даже встал со стула.
— Да разве я к тебе за этим шел? Как тебе не совестно, старый ты человек! Я с добрым словом к тебе шел, а ты мне такое... Что я, барышник разве какой?
Павлюк растерялся. Он не знал, должно быть, что сказать, и долго молчал. А когда Костя и его товарищ пошли к двери, Павлюк загородил им дорогу.
— Ты пойми меня, — попросил он Костю. — Я тоже ведь к тебе с добрым сердцем. Ты мастеровой, хороший человек, я это знаю. И ты правильно сказал, мы люди одного ремесла. А у меня жесть остается. К чему мне она? Не гроб же мне ею обивать...
— Да при чем тут разговор о гробах! — будто возмутился Костя. — Тебя, дьявола, еще палкой не убьешь. Ты еще и мне глаза закроешь в случае чего, несмотря, что я моложе тебя...
И Костя засмеялся вдруг, как в театре, очень громко.
— Нет уж, Костя, нет, — сказал Павлюк. — Это как по закону — не взойти солнцу с западу, не бывать дважды молоду. Я сам чувствую, не тот уж я. Не такой. Благодарствую тебе на добром слове, что ты меня еще сильным считаешь. А жесть возьми. Не обижайся. Мне приятно будет, ежели ею мастер воспользуется. Мне приятно будет. Я тебе это твердо говорю. И еще чего хочешь возьми. Я сейчас тут как в магазине живу. Продажа, однако, без денег...
Но Костя Уклюжников ничего не взял, даже не притронулся ни к чему. Посидел еще часок, потолковал о всяких мелких делах и ушел, пообещав зайти на днях.
А вечером в тот же день пришел Павел Дементьевич Линев, тоже жестянщик.
Про Линева моя бабушка говорила шепотом, что он социал-демократ. Я тогда еще не знал, что это значит. Но видел, как все, что Павел Дементьевич ходит очень чисто, носит даже галстук бантиком под названием "собачья радость" и в воскресенье прогуливается по берегу в котелке и с тросточкой.
Я однажды встретил его на берегу, поздоровался вежливо и, когда он поднял котелок, чтобы поздороваться со мной, спросил, правду ли говорят, будто он социал-демократ.
Я, конечно, не ожидал, что он вдруг весь вспыхнет. Но он действительно вспыхнул и сказал мне немного погодя с печальной улыбкой:
— Очень жаль, что отец твой рано помер. Крайне жаль. Некому тебя пороть как следует. А то бы ты не задавал таких вопросов...
Я так и не узнал в точности, был ли Павел Дементьевич социал-демократом. Но в памяти моей он сохранился хорошим человеком, особенно после того, как вечером он пришел к Павлюку. Пришел с другого конца города, в проливной дождь.

Павлюк задержал меня в этот вечер на работе, чтобы пересчитать и переписать все заказы, уже сданные, и все, какие надо было сдать. И вот когда мы выяснили, что заказов невыполненных почти нет, а есть только не выданные заказчикам две печки, шесть ведер и кожух для кипятильника, и когда я уже собрался уходить, пришел Павел Дементьевич Линев, весь мокрый от дождя, хотя и с зонтиком.

Поздоровавшись, он начал кашлять, сказал, что простудился от сырости, и сообщил, что на примете у него есть хороший доктор, который берет недорого, и очень было бы неплохо, если б этот врач посмотрел Павлюка.

— Поздно уж меня смотреть, — улыбнулся невесело Павлюк. — Поздно, Павел Дементьевич. И ни к чему. Нету смысла...

— Ну, не скажите, Андрей Петрович, — возразил Линев. — Сейчас есть очень хорошие лекарства. И если вы согласны, я вместе с вами могу сходить к врачу. Это тут недалеко, на Извозчичьей горе. Кукшин, доктор. По всем внутренним болезням...

— Поздно, — опять сказал Павлюк.

Но говорил он это так, что можно было подумать, будто он только упрямится, а на самом деле еще совсем не поздно.

После прихода Кости Уклюжникова и особенно после разговора с Павлом Дементьевичем Линевым Павлюк как будто посвежел, как будто приободрился.

— Хороший у нас народ, — почти весело сказал он, проводив Линева. Хороший, совестливый, чувствительный. Среди хорошего народа живем...

Говорил он это, как всегда, самому себе, по-прежнему не замечая меня. Но я все-таки вмешался в этот его разговор с самим собой и сказал:

— Ну да, очень хороший! Все только приглядываются, прицениваются: отдай, уступи, продай по дешевке...

— Эх ты, голубь! — вдруг засмеялся Павлюк и потрогал меня за плечо. В первый раз потрогал по-свойски. — Это ты про кого говоришь? Про Варкова? Про Хинчука? Это, брат, еще не народ. Эти только живут около народа. Народ — это мастеровые, у кого ремесло в руках и кто необходимое дело делает. Вот это называется народ...

Помолчав, походив с довольным видом по подвалу, он, как здоровый, улыбнулся весело и сказал:

— Хорошего народу больше на свете, чем плохого. А если б было наоборот, ничего бы не было. Ни паровозов, ни пароходов. И даже каменных домов трехэтажных не построили бы...

Никогда еще Павлюк не был таким веселым, как в этот вечер. И утром еще на другой день он был веселый.

А к вечеру следующего дня вдруг опять увял, нахмурился, стал зябко втягивать голову в плечи. После работы он, как обычно, собрал инструмент, перетер его прокеросиненной тряпкой, велел мне подмести пол и, когда я подмел, сказал:

— Завтра не приходи.

Я спросил:

— Почему?

— Потому, — сказал он угрюмо. — Я помру завтра.

Я не очень удивился, но немного растерялся все-таки. И сказал растерянно:

— Ну, покамест до свиданьица, Андрей Петрович.

Позднее я много раз вспоминал эту глупую фразу.

Мне казалось позднее, что я мог бы сказать на прощание какие-нибудь более значительные, более умные, душевные слова. Я любил и уважал моего учителя, несмотря на мрачность и молчаливость его.

Я, конечно, смог бы придумать на прощание что-нибудь хорошее.

Я позднее и в самом деле придумал неплохие, торжественные слова.

А тогда я, к сожалению, ничего больше не сказал. Неловко поклонился, не глядя на учителя, и пошел торопливо на лестницу, под дождь. Но Павлюк остановил меня:

— Выбирай какой хочешь инструмент. Бери на счастье. Будешь жестянщиком.

Я помотал головой, сконфузился, сказал:

— Спасибо.

И опять пошел на лестницу. Но Павлюк остановил меня опять:

— Выбирай чего хочешь из вещей. Граммофон бери.

Но тут вдруг непонятный страх обуял меня. Я ничего не взял, даже "спасибо" не сказал в третий раз, как надо бы сказать, и ушел поспешно, не оглядываясь.
После я очень горевал, что не взял ничего. Надо было бы мне унести домой хоть кота Антона. Дома у нас мышей было много. Пусть бы он их половил. И на память бы у нас остался. Мы жалели бы его.
А то достался кот старушке Захаровне. Она, конечно, сейчас же прибрала его к рукам. Два раза, как я слышал потом, отстегала его солдатским ремнем за непокорность. Но он все равно жить у нее не стал, несмотря на молоко, убежал куда-то.
Все имущество Павлюка забрала, как полагается, полиция. Говорят, он завещал отдать его вещи в детский приют, где и сам воспитывался когда-то как "казенный мальчик". Но отдали их или нет — этого я не знаю.
Я не знаю больше ничего из истории учителя моего, замечательного жестянщика Андрея Петровича Павлюка.
На похороны его я не ходил. Да и похорон настоящих не было.
Просто и тихо, ранним утром, часов, может быть, в семь или в половине восьмого, тело его, говорят, положили на телегу, в желтый полицейский короб, и увезли прямо в мертвецкую, где лежали, наверно, десятки таких же безродных, никому не интересных мертвых людей.
В детстве я часто вспоминал Павлюка. Судьба и смерть его мне представлялись обидными. Я ни за что не умер бы так просто. Я сделал бы что-нибудь особенное, сказал бы хоть что-нибудь громкое, необыкновенное перед смертью. Какие-нибудь хватающие за душу слова.
Но так казалось мне в детстве, в раннем детстве, лет до десяти.
Потом началась гражданская война.
Нас, мальчишек, война эта быстро сделала взрослыми. Она открыла перед нами сразу такие житейские глубины, на познание которых в другое время пришлось бы истратить, может быть, не один десяток лет. Может быть, два десятка, может быть, три.
Я встречал еще много людей не хуже Павлюка. И я любил и уважал их не меньше. Я видел, как жили они. И видел, как умирали.
Умирали они удивительно просто, не домечтав и не доделав многих дел своих, не истратив всей заложенной в них энергии и, казалось, даже не успев пожалеть об этом.
Я помню огромные могилы у Зрелой горы. Их рыли в полдень, в дикий мороз, через час после боя.
Земля дымилась, извергая пахучее тепло из глубин своих. И в тепло это, в темную талую жижу, торопливо укладывали без гробов, друг на друга, сотни мертвых людей, еще час назад носивших оружие, веселившихся, грустивших, мечтавших.
А отряды, похоронившие мертвецов, шли все дальше и дальше. И движение их было бесконечно, как жизнь.
Павлюк угасал в моей памяти.
В ряду больших и признанных героев, увиденных мной, он, казалось, не мог найти себе места. Ведь он ни о чем не мечтал и ничего как будто не добивался. Он так бы и остался жестянщиком. Величественные дела заслоняли его. И каждый день был полон новыми событиями.
Я жил очень быстро. И очень быстро сменялись мои увлечения.
Мне хотелось быть то знаменитым полководцем, то художником, тоже знаменитым, то писателем, равного которому еще не было на земле, то хирургом.
По-мальчишески мне хотелось выбрать дело самое большое, самое интересное. А лет мне было шестнадцать. И весь мир был доступен мне.
В необъятном мире я мог выбрать любое дело, необъятное.
Но вдруг случилось несчастье.
В Оловянной пади, что лежит в семидесяти километрах от нашего города, в бою с бандитами мне прострелили правый бок. Я упал в снег.
"Вот и вся твоя мелкая жизнь, суслик, — думал я о себе, лежа в снегу. Вот и вся твоя жизнь".
Потом меня подняли и унесли в лесную сторожку.
Около меня суетился мой товарищ. Он перевязывал меня и говорил:
— Погоди минутку, я сейчас сбегаю за дровами. — И еще раз сказал, уходя: — Погоди.
Будто просил не умирать до его прихода.
Но мне было очень плохо. На сторожку надвигалась ночь.
Я лежал и думал о смерти.

Где-то слышал я, что бывает заражение крови, от которого неизбежно умирают. Мне казалось, что оно уже начинается у меня. "Я умираю", — думал я. И мне было, попросту говоря, страшно. Хотелось с кем-нибудь поговорить, сказать что-то важное. Да, мне хотелось сказать перед смертью что-нибудь необыкновенно важное. Но товарищ собирал хворост.
Наконец он собрал его, растопил печку.
За окнами была ночь, зима, начинался ветер, и деревья скрипели под ветром.
Хворост в печке сопел, повизгивал.
И вдруг вспыхнул большой огонь, осветив сторожку, осветив и самую печку, на дверце которой было выбито большое слово: "_Павлюкъ_".

Москва, зима 1937 г.

Модистка из Красноярска

Между Буером и Ревякой тайга не такая уж широкая. Но все-таки в конце зимы, после неудачного боя под Дударями, партизанам пришлось пробираться через нее двое суток. И казалось людям, что за всю гражданскую войну более гиблого места они не встречали во всей Сибири.
Люди истомились, изорвались, изголодались. И когда на вторые сутки пути ветер принес из деревни запах домашнего дыма, многие уже не могли идти.
А некоторые пошли быстрее.
Выбиваясь из последних сил, они яростно рубили и ломали ветки, заграждавшие путь, до крови раздирали о сучья руки и лица, карабкались на горы валежника, проваливались в глубокий, сверху обледенелый снег и снова карабкались.
Запах домашнего дыма горячил сердца.
Лес постепенно редел. Попадались свежеспиленные лиственницы, обуглившиеся пни. И наконец из-за деревьев выглянула маленькая, нарядная церковь. Она, правда, выглянула на одно мгновение — метель тотчас же заволокла ее.
Люди шли навстречу этой последней, предвесенней метели, цепляясь друг за друга. Шли так час, или два, или сорок минут. И вот когда они почти потеряли надежду набрести на жилье, перед ними совсем неожиданно выросла изба.
Может, это была последняя изба на всем свете. После неудачного боя, тяжелого отступления через тайгу мир казался опустошенным, мертвым.
Избу завалило снегом по самые окна, замело все подступы к ней и ступеньки высокого крыльца. Непонятно даже, живет ли кто-нибудь здесь. Да это и не важно. Важно, что это изба.
И люди устремились к ней по глубокому, распушенному метелью снегу.
Их было девять — все, что осталось от третьего взвода. А где их командир, никто не знает. Может, он отстал. Может, его убили. Или, может, он собирает разбежавшихся бойцов. Народ был случайный во взводе, недавно собранный, еще не обстрелянный, — и вдруг попали всем скопом в такую мясорубку под Дударями. Мало, наверно, кто выберется из тайги. А тот, кто выберется, будет до смерти вспоминать эти самые Дудари.
Но пока вспоминать еще рано. Надо хотя бы обогреться, обсушиться, передохнуть.
Девять измученных бойцов забрались на высокое крыльцо и вторглись в огромные сени, разделившие избу на две половины — направо дверь и налево дверь. Налево дверь наглухо затворена, не достучишься, а ломать ее нелегко. Да и незачем ломать: направо дверь открыта.
Здесь, должно быть, гостевая половина. В ней просторно и не холодно. На столе — потушенная лампа, на полу — солома. В углу — иконы.
Ни у кого уже не было сил лезть на широкую, чуть теплую печь. Полез один Семка Галкин. Он забился в самый теплый угол. Остальные полегли на полу.
Они, думалось, теперь будут спать неделю, месяц, год, пока не отдохнут, не наберутся сил.

Но вот метель утихла, и внезапная тишина разбудила людей. Снова уснуть было невозможно: в духоте разомлевшее тело стало ныть и зудеть.
Им бы в баню сейчас хорошо. У сибиряков баня — первое средство от всех болезней, даже от тоски. Но где ее искать тут, баню?
Люди лежали в разных углах и молчали. Не хотелось ни говорить, ни думать. И спать не хотелось. А надо бы спать: впереди еще ночь длинная.
На печке зашевелился Семка Галкин. Он почесался, повздыхал. Потом неожиданно громко чихнул и сказал сам себе:
— Будьте здоровы, Семен Терентьич! Двести бы тысяч вам на мелкие расходы!
И, по-стариковски солидно крякая, слез с печки.
В избе по-прежнему было темно и тихо. Только пол скрипел под ногами.
Семка лениво потянулся, сладко зевнул и сказал, вздыхая:
— Н-да... Выходит, правильно говорится в песне: судьба играет человеком, она изменчива всегда — то вознесет его высоко, то опять же бросит в бездну навсегда.
Никто не отозвался.
Осторожно шагая, чтобы не наступить на лежащих на полу, Семка пробрался на середину избы, нашарил на столе у стены лампу, зажег ее и, сев на табуретку, стащил с себя рубаху.
Лампа слабо горела. Семка подкручивал фитиль и все ближе придвигался к лампе, как бы стараясь собрать в свою давно не стиранную рубаху весь ее бедный свет.
Вдруг он услышал у себя за спиной сердитый голос:
— Застишь!
Семка вздрогнул и оглянулся. Около него, неслышно придвинувшись, уже сидел, также сняв рубаху, старик Захарычев. Он ворчал:
— Ты что ж думаешь, французский крендель, для тебя, что ли, одного лампа поставлена?
— Я ничего не думаю, — сказал Семка, — я только удивляюсь: неужели ж она сейчас потухнет? — И кивнул на лампу. — Керосину-то в ней самая чуточка.
Но старик Захарычев, занятый своим делом, промолчал. И все остальные, собравшиеся вокруг лампы, промолчали.
Семка опять вздохнул. Потом, ни к кому не обращаясь, уж совсем некстати сообщил:
— Мамаша моя, Прасковья Федоровна Галкина, живет в Иркутске, на Шалашниковской улице. Ежели кто поедет в наш город, могу дать точный адрес...
Все, наверно, оставили где-нибудь мамашу, жену или отца. Но Семка Галкин заговорил о своей матери так, точно равной ей не было. Очень, оказывается, выдающаяся у него мамаша. Он вспомнил, какие она делала пельмени, какие шаньги пекла. Но эти воспоминания о пельменях и шаньгах были, как видно, неприятны людям, сидевшим вокруг лампы. Обременительны иногда для солдатских сердец мирные воспоминания.
— Будет брехать-то ерунду! — поглядел на Семку искоса рыжий мужик Енотов Яков. — Для чего это нужны глупости про пельмени, когда их нету и не предвидится в скором времени?
— А вот я, может, на побывку в Иркутск поеду, — сказал Семка. — Может, меня специально отпустят из отряда на побывку. Неужели же меня моя мамаша не покормит в таком случае пельменями?
— Она что, купчиха, твоя мамаша? — сердито спросил старик Захарычев.
— Зачем купчиха? — обиделся Семка. — Она обыкновенная женщина. На кожевенном заводе работает...
И он продолжал вспоминать, бередя свою и чужие души. Он говорил, что в Иркутске сейчас, наверно, картины показывают в иллюзионе Донателло или Ягжоглу на Большой улице. В цирке Изако, наверно, еще борются сейчас Иван Яго с японцем Саракики. Интересно: кто кого? И вообще интересно: как сейчас в Иркутске?
— Белые сейчас в Иркутске, — проворчал Захарычев. — Белые. Колчаковцы. Вот ежели мы их вышибем оттуда, тогда и будет разговор. Про пельмени.
— О-о, это долгая песня! — махнул рукой Семка. — Когда их теперь вышибешь. А покамест они нас вон куда загнали...
— Ты что, агитацией занимаешься? — нахмурился Захарычев. — Ты это брось...
— Да я ничего, я просто так, — чуть оробел Семка. — Я просто вспоминаю, как я лично жил...
У Семки Галкина в Иркутске на конфетной фабрике, есть, между прочим, девушка, Вера Тарабыкина. И про нее он тоже вспомнил вслух.

Но ведь у всех есть девушки, жены, матери. Или были. И все бойцы сидят сейчас мрачные вокруг угасающей лампы. Все делают вид, что не слушают Семку. Но слова его беспокоят всех. Наконец он, надев рубаху, уходит от лампы. Опять залезает на холодную печку и сидит там один. Может быть, он продолжает думать об Иркутске.
Долго его не слышно. В избе становится еще тише. В лампе догорает последний керосин. Лампа потрескивает. И вдруг Семка, ни к кому не обращаясь, говорит:
— Потухнет скоро лампа.
Над этим, наверно, многие уже думали. Однако никто не решался это сказать. Семка сказал. И от слов его стало еще тоскливее.
В самом деле, как быть, если потухнет лампа?
А Семка свешивает с печки лохматую голову и говорит:
— Сейчас потухнет. Я же вижу. В ней керосину осталось петуху секретную часть помазать. Перед пасхой.
— Не каркай, шалопай! — оглянулся на него старик Захарычев. — Она погорит еще, бог даст.
И всех немного успокаивает эта надежда на бога, в которого многие давно уже не веруют.
Выйти бы на улицу, поискать чего-нибудь насчет еды. Давно не ели. Но все сидят голые, и никто не собирается на улицу.
А Семка Галкин по-прежнему лежит на печке и, опять ни к кому не обращаясь, говорит:
— У меня ведь судорога правой ноги. Мне по-настоящему-то полный отдых надо дать. Всему телу.
Никто не откликается и на эти слова.
За окнами слышен неясный, далекий шум. Он то затихает, то возникает вновь, то отдаляется, то приближается. Это, наверно, входят в деревню те, кто следом за этой девяткой бойцов выбрался из тайги. Они проходят мимо избы туда, дальше, в глубь деревни. Изредка слышно, как бойцы в гулком ночном воздухе перекликаются охрипшими голосами. И командирские голоса слышны. Командиры, должно быть, уже наводят воинский порядок, расставляют посты.
Скоро и из этой избы обязательно кого-нибудь пошлют в караул. Вот почему Семка и заговорил о своей ноге. Никому ведь не хочется идти в ночное охранение. Не хочется даже думать об этом.
И действительно, какие уж они теперь бойцы! Одежонка у них рваная, валенки разбитые, тела истомленные. Им бы домой сейчас. Да и домой-то едва ли они доберутся в таком состоянии.
На крыльце застучали чьи-то ноги в мерзлых валенках. Кто-то хозяйственно счищал с них снег и при этом яростно притопывал, сотрясая шаткое крыльцо. Ни у кого не было сомнения, что это идет командир Базыкин, Ерофей Кузьмич. Значит, он нашелся все-таки. И их нашел, своих бойцов.
Все настороженно взглянули на дверь.
Плотно притворенная и чуть пристывшая, она долго не отворялась, только взвизгивала, когда ее дергали снаружи. Наконец распахнулась со звоном и скрипом, и из морозного облака, ворвавшегося в избу, вышли на свет угасающей лампы две фигуры, старичок и юноша — Авдей Петрович Икринцев и неразлучный с ним племянник Ванюшка Ляйтишев.
— Это чего такое? — спросил Авдей Петрович, забыв, должно быть, поздороваться. И строго посмотрел на всех. — Чистые, ей-богу, французы...
— Почему французы? — обиделся за всех старик Захарычев.
— По обличим, — сказал Авдей Петрович. — По обличию вы, я гляжу, похожи на французов, какие они были в одна тысяча восемьсот двенадцатом году под Москвой. Есть даже такая картина — мерзлые французы. И вот вы тоже...
Захарычев, как, наверно, все здесь сидевшие, был задет этими словами. Но достойно ответить Икринцеву не сумел. И никто, должно быть, не сумел ответить. Или не хотели отвечать.
А Икринцев дальше спрашивал уже посмеиваясь, почему эти партизаны так тихо сидят, почему их в деревне не видно, почему у них печка холодная.
— Разве положено военным лицам вот этак сидеть — без движения?
В голосе его проскальзывали начальнические нотки, хотя начальником Авдей Петрович никогда не был.
Он хотя и служил в разведке у знаменитого Башлыкова, но был, в сущности, таким же, как все, рядовым. И так же, как все, только что совершал отступление через тайгу, так же, как все, увязал в глубоких обледеневших сугробах, так же, как все, карабкался на горы бурелома.

Но полушубок на нем, и шапка, и валенки были сейчас заметно исправнее, чем у всех. Будто он вышел не из тайги, а приехал с ярмарки. И молодцеватый вид его внушал уважение.
Даже больше того. Все почему-то почувствовали себя немножко виноватыми перед ним, таким крепким, самостоятельным стариком. Все стали поспешно одеваться.
А Авдей Петрович уже откровенно командовал.
Еще раз пощупав печку, он сказал, что ее сейчас же надо топить, просто немедленно.
— Надо хворост пойти собрать. Тут вон, глядите-ка, какие жерди лежат у избы под снегом. Надо бы их вытащить из-под снега, переломать. Вот тебе и дрова...
Перед ним, удивленно глядя на него, стоял, подогнув одну ногу, Семка Галкин.
Авдей Петрович кивнул на него.
— Вот ты, молодой человек, например, чего стоишь? Сходил бы хворосту принес. Ведь оно для всех, тепло, необходимо. Даже птица, хотя бы воробей, заботится об своем тепле...
— Воробей тут ни при чем, — сказал Семка, растягивая слова. — А у меня, понимаешь ли, какое дело — судорога правой ноги. Наверно, надо так считать, что ревматизм развивается. Меня сейчас палкой гони обратно через тайгу, я ни за что десяти шагов не сделаю...
Он сказал это как бы с сожалением, но и с оттенком гордости. И покосился на Ванюшку Ляйтишева, на племянника Авдея Петровича.
— Так чего ж ты тут находишься? — обеспокоенно спросил Ванюшка. — Тебе в таком случае немедленно надо на курорт ехать, на кислые воды. Разве же тебе можно воевать в таком положении? Ты же тяжелобольной герой об одной ноге...
Все отрадно хохотнули.
— А в чем дело? — покраснел Семка Галкин. — Откуда вы такие явились? Может, я действительно болею...
— Так лезь скорее на печку, — посоветовал Ванюшка. — Лезь, я тебя подсажу...
— Будя, лобанчик, — остановил племянника Авдей Петрович, — не конфузь молодого человека. Он еще сам одумается...
— Да он меня и не оконфузит никогда, — сказал Семка. — Подумаешь... И правда, лобанчик, — усмехнулся он, поглядев на излишне выпуклый лоб Ванюшки, когда тот снял свою лохматую японскую шапку и хлопнул ею об стол:
— Трофейная.
Белобрысый, маленький, курносый, Ванюшка смотрел на людей исподлобья, но не сердито, а весело, озорно.
Скинув полушубок и оправив рубаху под ремнем, он опять повернулся к Семке.
— У нас в Чите жил один такой...
— Ах, вы из Читы? — почему-то удивился Семка.
— Вот именно, — подтвердил Ванюшка. — Так вот, у нас в Чите жил один такой царский генерал Хрубилов. У него вот тоже такая же, как у тебя, болезнь была. Он ходил вот эдак...
И Ванюшка ловко изобразил, как передвигался генерал на развинченных ножках.
Все опять засмеялись.
— Будя! — уже строго крикнул на племянника Авдей Петрович. — Нашел себе занятие! — И спросил Семку: — А ты чего, молодой человек, правда, ходить не можешь?
— Да ну вас! — отмахнулся Семка.
И вышел на улицу в одной рубахе.
Минут через пять он принес охапку хвороста и сердито бросил ее у печки.
Потом другие пошли за хворостом. И скоро у печки выросла гора дров.
— А ты чего за дровами не идешь? — спросил Семка Ванюшку. — Или тебе не положено? Все фокусы показываешь, насмешки строишь. Будто шибко образованный. Не люблю я таких людей...
— Каких? — поинтересовался Ванюшка, прищурившись.
— Вот как ты с дядей, — показал на старика Семка. — Он тоже вон всех поучает, это... как это... экзаменует... А сами-то вы...
— За дядю я ручаться не могу, — улыбнулся Ванюшка, — а меня, если я захочу, ты можешь очень сильно полюбить. Прямо сразу. — И еще хотел что-то сказать, но его отозвал дядя.
Дядя уже растопил плиту, отыскал ведро и послал племянника за водой. А сам пошел во вторую половину избы, к хозяевам, поспрошать, нет ли у них посудины какой-нибудь чай вскипятить.

Хозяева сидели на своей половине, как куры, нахохлившись. Их испугал шум передвижения войска, и они делали вид, что спят. Так лучше всего. Неизвестно ведь, что за люди вошли в деревню. На прошлой неделе тут проходили японцы, ловили гусей, озоровали с девками, одного человека повесили. Потом появились какие-то новые — американцы, что ли, в толстых, шнурованных башмаках, крупные, гладкие, как сытые кони, увели с собой двух женщин, сказали, что накажут за агитацию. А теперь опять вот какие-то люди пришли...
Авдей Петрович разговорился с хозяевами. Они подивились, что такой старик тоже воюет, послушали краткий его рассказ про войну и еще подивились. Оказалось, что по годам он чуть ли не старше хозяйского дедушки, еле живого от древности. А молодых-то мужиков в деревне не осталось. Все воюют. Что ж делать?
В конце концов хозяйка вынесла партизанам несколько кружков мороженого молока, чугун вареной картошки, две буханки хлеба и три копченые рыбины.
Авдей Петрович все это порезал, поколол, поделил. Уселся среди бойцов, во главе стола, у все еще горящей лампы, как председатель.
И вот теперь, когда он скинул полушубок и расстегнул ворот на рубашке, показав свою черно-коричневую шею, всем стало заметно, что он очень старый старичок, совсем старый, что лет ему, на взгляд, может быть, сто, а может, и того больше.
Убеждали в этом особенно его глаза — небольшие, но необыкновенно глубокие, с запрятанным где-то на самом дне все еще живым, озорным огоньком, будто разгоравшимся сейчас, в чахлом свете лампы. Повидали, наверно, эти глаза на своем веку с чертову бездну всякого. И когда он останавливает их на ком-нибудь, кажется, что он знает про этого человека все и хочет еще узнать только какую-нибудь уж вовсе пустячную мелочь.
Никто не выдерживает долго его взгляда. Все или отворачиваются, или опускают глаза. И всем почему-то неловко при этом, чего-то стыдно, хотя он никого прямо не осуждает. Он спокойно пьет из блюдечка жидкий морковный чай и говорит:
— Служил я верой и правдой двум российским государям. Был даже унтер-офицером драгунского его сиятельства графа Голенищева-Кутузова полка. Вот как. На конях, значит, ездил. Конный солдат был. Как говорится, драгун. А теперь я окончательно пеший. Вот какое дело. И ничего...
Выпив кружку чая и наливая себе новую, он опять говорит:
— Зубы у меня, слава богу, целые. Ноги еще тоже хорошо ходят. Бог даст, и эту войну отвоюю. А там видать будет, что будет. Помирать пока неохота. Не вижу пока надобности помирать...
Старик Захарычев томится от желания тоже что-нибудь такое сказать. Но долго ему не удается перебить Икринцева. Наконец он улучает такую возможность, когда Икринцев закуривает.
— Ноги — это действительно значение имеют, — многозначительно поднимает палец Захарычев. — А зубы... Я, например, свои зубы на кондитерском товаре съел. Я кондитером служил. И теперь у меня своих собственных зубов осталось восемь штук. Но я об них не тужу. Зубы завсегда можно новые вставить. Допустим, золотые. Даже красивше. Вот я три штуки вставил еще в шестнадцатом году. — И Захарычев оскаливается, чтобы все могли увидеть, какие у него зубы.
Должно быть, ему хочется хоть в чем-нибудь проявить свое превосходство над этим старичком Икринцевым, который вдруг не только завладел всеобщим вниманием, но и как будто приобретает власть над людьми.
— А теперь уж, как белых разобьем, я остальные вставлю, — продолжает Захарычев. — Тоже обязательно золотые. Такая у меня мечта...
— Не богатая мечта, — замечает Икринцев и прячет в жиденьких усах усмешку. — Ну что ж, каждый сам в свою силу мечтает. — И, подкручивая фитиль у лампы, смотрит, щуря выцветшие глаза, на племянника. — Ты бы, лобанчик, сходил на деревню, поспрошал керосинчику. Может, у кого найдется. У наших хозяев, вон видишь, я испытывал — нету.
Лампа, на удивление, все еще горела, но все хуже и хуже.
Ванюшка Ляйтишев оделся и вышел на улицу.
Захарычев, скрыв обиду, снова заговорил о преимуществах золотых зубов над костяными, настоящими. Но его никто не слущал. Да и он, видимо, понял, что тема эта не ахти какая важная. И замолчал.
Вскоре лампа потухла.

Впотьмах люди опять сидели угрюмые, разобщенные. Семка Галкин снова залез на печку и, повозившись недолго, кажется, задремал.
Старик Захарычев в углу стал тихо читать молитву, готовясь ко сну.
Остальные продолжали сидеть за столом, хотя чай давно был допит. Сидели и молчали.
Авдей Петрович вспомнил:
— У меня, ребята, есть книга хорошая. Братья Гримм. Сказка. Я ее постоянно с собой ношу. Вот бы почитали сейчас!
Авдей Петрович вынул книжку из сумки. Она была аккуратно завернута в клеенку. Он развернул ее. Но читать было невозможно — темно.
Авдей Петрович вздохнул. И за ним вздохнули все. И Семка Галкин вздохнул на печке. И старик Захарычев. Хотя каждый вздохнул, может быть, по своему поводу.
В это время дверь, неплотно закрытая, отворилась, и в темноту опасливо вошла девушка, укутанная в шаль.
— Здравствуйте, солдатики, — сказала девушка голосом нежным и доверчивым.
Из темноты, однако, никто не отозвался.
— Не «солдатики», — наконец медленно проговорил Семка Галкин с печки, а «товарищи военные». Надо знать...
— Ну, военные, — поправилась девушка и уселась на табуретку, которая была ближе к двери.
— Я к вам зашла на минутку. Может, вы мне чего присоветуете?
Человек пять сразу окружили девушку, разглядывали ее. Но она сидела не шевелясь и не раскутываясь, робкая, должно быть очень молодая.
— Я к брату сюда приехала, — несмело рассказывала она. — А брата нету. Он, говорят, к партизанам ушел. А я сама из города Красноярска приехала. Я там модисткой работаю. Ну куда мне теперь деваться?
Девушка склонила голову, пошевелила шаль. Похоже, утерла или смахнула слезу.
Суровые сердца дрогнули.
Семка Галкин поспешно слез с печки.
Старик Захарычев предложил девушке:
— Да ты раздевайся, чего же... Можешь пока остаться у нас. Погреешься. Покушаешь вот, чего у нас тут есть, — показал он на стол.
— Боюсь я, товарищи военные, — жалобно сказала девушка.
— Кого же ты боишься?
— Вас боюсь, товарищи военные. Вдруг вы меня обескуражите...
— Ну уж, обескуражим! — возмутился старик Захарычев. — Что мы, звери какие-нибудь, что ли?
И Авдей Петрович вмешался в разговор:
— Ты, девушка, не опасайся. Мы ведь не японцы какие и не кто-нибудь. Мы есть красные бойцы, партизаны. Разве мы можем себе такую глупость позволить?
— Вы-то, видать, старичок, — ответила девушка тоненьким голоском. Вас-то я нисколечко не боюсь. А вот эти, которые помоложе...
Авдей Петрович заметно обиделся, отошел к окну, замолчал.
Другие продолжали уговаривать девушку снять шаль, попить еще теплого чайку. Это с мороза хорошо — отогреть душу.
Но девушка была непреклонна.
Тогда Семка Галкин сказал:
— За всех я, конечно, не могу говорить и тем более ручаться. Но за себя я отвечаю. Залезай вон на печку, там тепло, уютно. Я даю тебе честное политическое слово, что я тебя не обижу. Я сознательный...
И горло его сжал спазм, голос задрожал.
Но девица только хихикнула.
Семка Галкин, однако, не обиделся и не отошел от нее. Дрожа всем телом, он стал шептать ей что-то на ухо.
Девушка доверчиво наклонила к нему голову. Потом вдруг слегка отвернула шаль и сказала довольно громко:
— Если б вы меня полюбили, тогда другой разговор...
— А я тебя полюблю, — жарким шепотом пообещал Семка. — Я даю тебе слово...

— Все равно, — вздохнула девушка. — Военным никак нельзя верить. Сегодня вы здесь, а завтра опять же в другом месте. И, во-первых, я не допускаю, что вы можете меня полюбить с первого взгляда...
Семка снова стал шептать ей в ухо что-то такое, чего не могли расслышать даже те, кто ближе всех стоял к ним. И опять сказал вслух:
— Я даю тебе слово. Я же сам из Иркутска. Я ничего не скрываю...
Но и после этих горячих заверений девушка не сдвинулась с места и еще плотнее укуталась в шаль.
В избе стало тихо, как-то особенно тихо.
И в тишине, как выстрел, прозвучал плевок Авдея Петровича.
— Где ж он, песий сын? — сказал Авдей Петрович про племянника и снова плюнул. — Глядите, как облепили девицу! Глядеть даже некрасиво. Срам...
И отвернулся к окну.
Девушка по-прежнему сидела на табуретке.
Семка Галкин опять зашептал ей что-то на ухо.
Авдей Петрович надел полушубок, стал подпоясываться.
— Пойду поищу его, поросенка. Где он может быть?
И только Авдей Петрович взялся за дверную скобу, как девушка вынула из-за пазухи бутыль с керосином и протянула ему.
— Вот вам, дядечка.
Потом она сбросила с себя шаль, распахнула полушубок. И все увидели Ванюшку Ляйтишева.
— Ах ты, подлая душа! — огорчился Авдей Петрович. — Даже родного дядю не пожалел, охальник! Говорит: «Вы, старичок, я вас не опасаюсь». Вроде, получается, я совсем уж не опасный и никуда не гожусь?..
И не мог сдержаться, захохотал, когда захохотали все.
Семка Галкин, сконфуженный, растерянный, полез на печку.
— А чего он говорил тебе на ухо? — спросил Ванюшку старик Захарычев, кивнув на Семку.
— Это секрет, — сказал Ванюшка. — Я чужих секретов не выдаю.
Отдышавшись на печке, Семка тоже засмеялся, как бы желая оправдаться.
— Мне сперва подумалось: может, действительно это модистка? Ну и что ж особенного?
— А уверял, что никогда не полюбишь меня, — напомнил Ванюшка. — А ведь без малого почти что полюбил...
Авдей Петрович опять зажег лампу.
В избе стало светло, просторно и весело. Общий смех взбодрил людей, освежил.
— Прямо как спектакль устроил, — похвалил Ванюшку сердитый Енотов. — Не хуже, как я в Благовещенске видел, в городском саду, еще при царе. Тоже там один все переодевался.
А Ванюшка уже при свете лампы прошелся по избе, подражая девичьей легкой походке, и пропел девичьим голосом:

Эх, подружка моя,
Что же ты наделала!
Я любила, ты отбила,
Я бы так не сделала.

При этом он помахивал над головой воображаемым платочком, смешно сгибал колени и обиженно вытягивал губы.
Все снова смеялись. И дядя смеялся.
А когда немного улеглось веселье, старик Захарычев, глядя на Ванюшку, сказал Авдею Петровичу:
— Артист.
— А что вы думаете? — не скрывая гордости, ответил Авдей Петрович. Свободно может быть артистом. Ведь не все же артисты от бога приехали, некоторые и пешком пришли...
— Это совершенно верно, — подтвердил старик Захарычев. — Очень просто может даже знаменитым артистом стать. Если его учить по-настоящему. А почему же? Будет артистом, как, допустим, этот самый...
— Как Шаляпин, что ли? — спросил Енотов.
— Нет, зачем! Я другого хотел сказать. Этот... Ну, его еще на коробках папиросных рисовали... Ну, как же его?..

Но фамилию этого артиста так и не смогли вспомнить.
За окном послышались частые выстрелы.
Авдей Петрович и Ванюшка первыми вышли на улицу. За ними поднялись и остальные.
Это небольшой белогвардейский отряд, заблудившийся, как выяснилось потом, сбил наше сторожевое охранение и вошел в деревню.
Бой продолжался часа два и затих так же внезапно, как начался. Белогвардейцев удалось окружить, хотя они и оказали сопротивление.
Пленных заперли в поповском сарае около церкви, выставили охрану. И партизаны снова разбрелись по избам.
— А где же лобанчик? — встревожился Авдей Петрович, вернувшись в избу. — Никто не видел моего племянника Ванюшку?
Ванюшка лежал на снегу в овраге и корчился в муках, раненный в живот.
— Как же это тебя угораздило? — наклонился над ним Авдей Петрович. Все почти целы, а ты...
— Вот так, дядечка, получилось, — виноватым голосом ответил Ванюшка, преодолевая нестерпимую боль.
Его подняли, принесли в избу.
Местный фельдшер, сухопарый человек в латунных очках, осмотрел рану, сказал, что в его практике это исключительный случай, но все-таки сделал перевязку и пожалел, что Дудари опять захватили белогвардейцы. А там, в Дударях, живет старинный фельдшер Зуев Егор Егорыч, который может делать даже хирургические операции. Но сейчас в Дудари не добраться — и далеко и страшно. И еще с вечера был слышен взрыв — это, говорят, белые взорвали мост под Дударями. По льду же теперь, пожалуй, не пройти. Лед не крепкий. Март месяц на исходе. Последние морозы. Скоро весна.
Фельдшер все это говорил, стоя у топчана, на котором лежал Ванюшка.
— А в чем дело? — вдруг сказал Семка Галкин. — Я схожу в Дудари, если меня Базыкин отпустит. И если вы записку дадите к этому Зуеву, — обратился он к фельдшеру. — Я могу его привести сюда. Неужели же он откажется пойти со мной, если такое дело и он является тем более работник медицины?
— Зуев-то бы пошел, я его лично знаю, и записку я напишу, — пообещал фельдшер. — Но ведь я же говорю, и вы сами знаете, в Дударях белые...
— А в чем дело? — опять сказал Семка Галкин. — Раз я говорю — могу, значит, я сделаю. — И, помедлив, добавил: — Только пусть еще кто-нибудь со мной пойдет, чтобы я не оробел в случае чего...
— А говорил, что обратно этой дорогой через тайгу ни за что не пойдешь, — напомнил Захарычев. — Ведь другой-то дороги нету...
Но Семка ничего ему не ответил, пошел искать Базыкина, чтобы спросить разрешения пойти в Дудари. И Енотов с ним пошел.
— Боевой, оказывается, парень. И не обидчивый, — поглядел ему вслед Авдей Петрович.
И повернулся к племяннику.
— Лобанчик, слышишь? Этот паренек — Галкин, что ли, — за доктором хочет идти в Дудари? Слышишь?
Ванюшка лежал с закрытыми глазами. Он уже ничего не слышал. А Авдею Петровичу хотелось, чтобы племянник обязательно узнал, каким хорошим парнем оказался этот Семка Галкин. И он несколько раз повторил над Ванюшкой одни и те же слова.
Наконец Ванюшка открыл глаза.
— Не надо, — сказал он твердо и решительно, собрав, может быть, все силы. — Не надо. Белые его повесят в Дударях. А мне это не надо. Не надо доктора. Не успеет он.
В избу набилось теперь много бойцов, но к топчану Ванюшки их не допускали. Он лежал на хозяйской половине. Хозяйка подсунула ему под голову две подушки. Вскоре, вместе с Семкой Галкиным и Енотовым, пришел командир Базыкин. Он попросил фельдшера еще раз осмотреть раненого. Фельдшер осмотрел и развел руками.
— Безнадежно, — вздохнул он, выйдя на другую половину избы. — Я даже не понимаю, как он еще живет. У него все разрушено внутри. Посылать за Егором Егорычем, по-моему, бессмысленно. Неоправданный риск...
Не верить фельдшеру было нельзя.
Базыкин постоял подле Ванюшки, потрогал его выпуклый вспотевший лоб, сказал:

— Жалко. Золотой парнишка. Очень жалко.
И ушел. Против смерти ничего не мог сделать и Базыкин. Никто ничего не мог сделать.
И только Семка Галкин не поверил фельдшеру. Семка стоял у топчана, видел, как мучительно морщится Ванюшка, как неслышно шепчет что-то побелевшими губами. И все-таки Семка ждал, что вот сейчас Ванюшка вдруг откроет глаза, засмеется и скажет, что все это шутка. Просто он хотел всех обмануть, будто умирает, а на самом деле и не собирался умирать. Семка стоял у топчана и напряженно ждал, что Ванюшка вот сию минуту откроет глаза. И глаза Ванюшки действительно открылись. Он увидел Семку и сначала захрипел. Или что-то забулькало у него в горле. А потом он ясно, но очень тихо сказал:
— Шаль я ночью приносил. Модистку показывал. Это я у попадьи шаль взял. Отдайте, пожалуйста. А то она подумает...
И опять закрыл глаза.
— Я сейчас сбегаю, отнесу, — заспешил Семка.
Авдей Петрович наклонился над племянником.
— Услужить тебе хочу, лобанчик. Может, хочешь чего?
— Пить мне, — попросил Ванюшка, не открывая глаз. — Скореичка дайте попить.
— Сырой-то сейчас, пожалуй, нельзя, — задумался дядя.
— Можно, — прошептал, как по секрету, племянник, — помираю я.
Дядя принес из сеней в ковшике холодной воды и, подложив свою темно-коричневую ладонь под затылок племяннику, поддерживал его вспотевшую голову, пока он пил.
Ванюшка выпил всю воду, не отрываясь, вздрогнул, вздохнул с удовольствием всей грудью и через полминуты умер.
И в этот момент, когда он умер, в сенях раздался хохот.
Это Енотов рассказал только что зашедшим бойцам, как Ванюшка Ляйтишев ночью показывал модистку из Красноярска.
— Тише вы, дьяволы! — зашипел старик Захарычев. — Человек помер...
Все притихли. Кто постарше, сняли шапки.
— Пусть смеются, — сказал Авдей Петрович Захарычеву, — не мешай им они солдаты...
А сам сел в углу на хозяйский, окованный полосками жести сундук и заплакал, упрятав лицо в мохнатую лисью шапку.
Ванюшку похоронили в тот же день к вечеру на взгорье, на сельском кладбище, вырыв в мерзлой земле небольшую, по росту его, могилу. Гроб ему сколотил из каких-то японских ящиков, брошенных здесь японцами, сам Авдей Петрович. Другого материала для гроба не было.
А на рассвете следующего дня весь отряд передвинулся на Вятскую заимку, чтобы там соединиться с отрядом Субботина и начать наступление на Дудари. И на Вятской заимке во время ночевки бойцы опять вспоминали эту модистку из Красноярска, как ее показывал Ванюшка Ляйтишев. И опять смеялись.
И никто, даже дядя, не вспоминал вслух о смерти Ванюшки. Будто смерти этой вовсе и не было. Будто просто Ванюшка Ляйтишев задержался по делам в той таежной деревне, которая называется Журиловка.
Она лежит, эта Журиловка, у самого края тайги, близ некрупного сибирского города Дудари.

Переделкино, весна 1940 г.

Жестокость

1

Мне запомнился Узелков именно таким, каким увидели мы его впервые у нас в дежурке. Маленький, щуплый, в серой заячьей папахе, в пестрой собачьей дохе, с брезентовым портфелем под мышкой, он неожиданно пришел к нам в уголовный розыск в середине дня, предъявил удостоверение собственного корреспондента губернской газеты и не попросил, а, похоже, потребовал интересных сведений. Он так и сказал — интересных.
Происшествия, предложенные его вниманию, не понравились ему.
— Ну что это — кражи! Вы мне дайте, пожалуйста, что-нибудь такое…
И он щелкнул языком, чтобы нам сразу стало ясно, какие происшествия ему требуются.
Я подумал тогда, что ему интересно будет узнать про аферистов, про разных фармазонщиков, шулеров и трилистников, и сейчас же достал из шкафа альбом со снимками. Но он на снимки даже не взглянул, сказал небрежно:
— Я, было бы вам известно, не Цезарь Ломброзо. Меня физиономии абсолютно не интересуют.
И как-то смешно пошевелил ушами.
А надо сказать — у него были большие, оттопыренные, так называемые музыкальные уши. И потом мы заметили: всякий раз, когда он нервничал или обижался, они шевелились сами собой, будто случайно приспособленные к его узкой, птичьей голове, оснащенной мясистым носом.
Нос такой мог бы украсить лицо мыслителя или полководца. Но Узелкова он только унижал. И, может быть, Узелков это чувствовал. Он чувствовал, может быть, что нос его, и уши, и вся тщедушная фигурка смешат людей или настраивают на этакий насмешливый лад. И поэтому сам старался показать людям свое насмешливое к ним отношение.
Я давно заметил, что излишне важничают, задаются и без видимой причины ведут себя вызывающе и дерзко чаще всего люди, огорченные собственной неполноценностью.
Не берусь, однако, утверждать, что Узелков принадлежал именно к этой категории людей. Не хочу также сгущать краски в его изображении, чтобы никто не подумал, будто я стремлюсь теперь, по прошествии многих лет, свести с ним давние личные счеты. Нет, я хотел бы в меру своих способностей все изобразить точно так, как было на самом деле. И если я начал эту историю с Узелкова, со дня его появления в нашей дежурке, то единственно потому, что главное, о чем я хочу рассказать, произошло именно после его приезда.
Хотя, конечно, в первый день никто ничего не мог предугадать.
Узелков, нервически подергивая плечами, ходил по нашей дежурке, трубно сморкался в широко раскрытый на ладонях носовой платок и говорил:
— Вы мне дайте, пожалуйста, что-нибудь такое фундаментальное. А уж дальше я сам разовью. Мне хотелось бы успеть сделать еще сегодня что-нибудь незаурядно оригинальное для воскресного номера. Что-нибудь такое, понимаете, экстравагантное!..
— Хотите, я вам про знахарок подберу материал? — предложил Коля Соловьев. — Знахарки тут шибко уродуют народ. Надо бы их осветить пошире и как следует продернуть в газетке…
— О знахарках я уже писал из Куломинского уезда, — сказал Узелков. — И это, собственно говоря, не мой жанр. Я, к вашему сведению, не рабкор и не селькор и никого не продергиваю. Я осмысливаю исключительно крупные события и факты. В этом и состоит цель моего приезда…
— Ага, — догадался Венька Малышев. — Я знаю, чего вам надо. Я сейчас принесу…
Всем нам хотелось угодить представителю губернской газеты, впервые заехавшему в эти места, в этот уездный город Дудари, расположенный, как было сказано в старом путеводителе, среди живописной природы, но малодоступный для туризма из-за сложности передвижения по сибирским дорогам.
Из губернского центра в Дудари надо было или плыть на пароходе, или ехать поездом да еще пробираться по тракту на лошадях — в общей сложности не меньше пяти суток.

Не всякий без крайней нужды мог решиться на этакую дальнюю поездку, зная к тому же наверное, что в пути на него в любой час могут напасть бандиты.
Бандитов в начале двадцатых годов было еще очень много в этих местах.
Даже генералы действовали среди бандитов — белые генералы, потерпевшие полное крушение в гражданской войне.
Впрочем, в бандах Дударинского уезда генералов и полковников уже не осталось. Их сильно потрепал особый отряд ОГПУ, продвинувшийся теперь дальше — в сторону побережья Великого, или Тихого океана.
А вокруг Дударей действовали, как считалось после крупных операций, ослабленные банды. Но ослаблены они были не настолько, чтобы можно было писать в сводках: «Ночь прошла спокойно». Нет, спокойных ночей еще не было в Дударинском уезде. И спокойные дни выпадали редко.
Бандами еще кишмя кишела вся тайга вокруг Дударей. Они убивали сельских активистов, нападали на кооперативы, грабили на дорогах и старались использовать любой случай, чтобы возбудить в населении недовольство новой властью, посеять смуту среди крестьян и завербовать таким способом в свои полчища побольше соучастников.
Продвигаться по дорогам было крайне опасно.
Поэтому всякий рискнувший приехать сюда был немножко и героем. Встречали мы приезжих с неизменным радушием.
А собственный корреспондент мог рассчитывать на особенно радушный прием.
Правда, он приехал к нам в пору некоторого временного, что ли, затишья.
Была зима. Даже один из самых отчаянных бандитских атаманов, знаменитый Костя Воронцов, кулацкий сын и бывший колчаковский поручик, объявивший себя «императором всея тайги», зимой уводил свои банды в глубину лесов, зарывался в снега, прекращая на время, до весны, все убийства, грабежи и поджоги.
Зимой ему опаснее было действовать, чем весной и летом, когда в густой траве среди бурелома пропадают не только человечьи, но и конские следы.
Зимой уходили подальше от городов и сел и такие атаманы, как Злотников, Клочков, Векшегонов.
В городах в это зимнее время озоровали чаще мелкие шайки и одиночки, так называемые щипачи, а также разные домушники, скокари, очкарики, фармазоны, прихватчики и тому подобная шпана.
Зимой нам работать было нелегко, но все-таки немного легче, чем весной и летом. Зимой мы готовились к весне, устанавливали новые агентурные связи и между делом составляли подробную опись наиболее выдающихся происшествий, представляющих, как любил цветисто выражаться наш начальник, известный интерес для криминалистической науки.
Вениамин Малышев как помощник начальника по секретно-оперативной части правильно сообразил, что корреспонденту будет интересно заглянуть в эту опись. Малышев принес и разложил перед ним два рукописных журнала, полных снимков и схем. Но тот даже перелистывать их не стал, хмыкнул носом и усмехнулся:
— Вы учтите, пожалуйста, что я не историк. Вы мне постарайтесь дать что-нибудь посвежее, что-нибудь, понимаете, такое…
И опять он щелкнул языком.
Это щелканье нам сразу не понравилось. Но в первый раз мы промолчали. А во второй Венька Малышев сказал:
— Слушайте. Вы что думаете, тут каждый день людей убивают? Мы-то, как вы считаете, для чего здесь находимся?
— Я не знаю, зачем вы здесь находитесь, — опять усмехнулся, хмыкнув носом, собственный корреспондент. — Но я лично приехал сюда, чтобы в художественной форме осмысливать наиболее свежие и по возможности увлекательные факты. Я должен, к сожалению, заботиться в первую очередь о читателе. Читатель ждет главным образом свежих фактов…
Эти слова нам тоже не понравились.
Лет корреспонденту на взгляд было не больше, чем нам, — примерно семнадцать, от силы девятнадцать. И это показалось нам особенно обидным. Чего он из себя выламывает?

А он держался в своей собачьей дохе и в заячьей папахе так независимо и с таким важным видом расстегивал и застегивал брезентовый портфель, что в первый день мы даже не решились поставить его на место.
На следующий день он опять пришел. Опять придирчиво рылся в сводках, недовольно морщился, записывая что-то в блокнот, грыз карандаш и тихонько вздыхал. И во вздохах его угадывалась какая-то давняя печаль. Она отражалась и в его круглых, галочьих глазах, изредка слезившихся то ли от мороза, то ли от резкого света, то ли еще от чего.
Некоторые происшествия ему все же понравились. Довольный, он извлек из портфеля десяток папирос, завернутых в газетную бумагу, и угостил нас всех.
И даже вору, сидевшему тут, в дежурке, в ожидании своей участи, тоже дал папироску.
Затем, поговорив с нами полчаса, он объяснил, между прочим, что, хотя его фамилия Узелков и зовут его просто Яков, в газете он подписывается «Якуз», спросил зачем-то, партийные ли мы, и стал ходить к нам в уголовный розыск почти каждый день.
В уголовном розыске у нас были строгие правила, по которым полагалось, например, встречать отменно вежливо всякого посетителя, будь он вор или свидетель, все равно. Но, несмотря на то что эти правила никогда не нарушались, посетители все-таки часто робели в нашем учреждении. И нам это казалось естественным. Я больше скажу. Мы сами побаивались своего учреждения, потому что здесь никто ни на какую поблажку рассчитывать не мог. Ошибся, превысил власть, нарушил дисциплину — и пожалуйста, садись за решетку.
Начальник наш, бывший цирковой артист, потерявший на гражданской войне два ребра, три пальца левой руки и волей случая заброшенный в Сибирь, безумно любил тишину и постоянно повторял по любому поводу:
— Власть чего от нас требует? Власть требует от нас внимания. Мы где работаем? Мы работаем в органах. В каких органах? В органах Советской власти. Значит, что? Значит, должно быть все как следует…
И еще он говорил нам:
— Глупость, имейте в виду, самая дорогая вещь на свете. Это каждый пусть про себя подумает, почему я так говорю. Я всего вам в головы ваши молодые вложить не в силах. Каждый должен про себя думать. Отдельно. А поэтому надо, чтобы было тихо. — И, осмотрев нас сурово и внимательно поверх выпуклых очков в роговой оправе, спрашивал:
— Кажется, всем все ясно?
Большинство работников нашего учреждения составляли молодые люди. И начальник, проживший длинную и пеструю жизнь, считал своим непременным долгом по-учительски настойчиво и чуть сердито воспитывать нас.
Полагая глупость тягчайшим пороком и предостерегая нас от страшных и губительных ее последствий, он не жалел и себя, утверждая, что ребра и пальцы потерял на войне по причине этой самой глупости:
— Заспешил я. Хотел, представьте себе, быть умнее всех. А это тоже не очень-то требуется. Поспешность, представьте себе, не всегда нужна даже при поимке блох и тушении пожара. Во всяком деле и во всяком случае должен быть свой обязательный порядок.
Главным же признаком порядка — еще раз сказать — он считал тишину. И поэтому особенно тихо было в полутемном узком коридоре, который уходил в глубину здания и заканчивался в кабинете начальника, в просторной комнате, поделенной на две части — на приемную и кабинет.
По коридору этому, по толстым дорожкам, поглощавшим шум шагов, мы сами ходили с опаской, проникнутые уважением к выдающейся личности нашего начальника и к собственным немаловажным занятиям.
А этот Якуз, или Яков Узелков, не проявлял никакой робости. Он приходил в уголовный розыск как к себе домой, раздевался в служебном гардеробе, вешал на крюк собачью доху, долго и удивительно громко сморкался и, оставив при себе только портфель и заячью папаху, первым делом шел в дежурку, где топилась железная печка.
В коридоре на зеленой садовой скамейке с выгнутыми чугунными лапами сидели по утрам, пригорюнившись, как на приеме у зубного врача, свидетели и воры в ожидании вызова на допрос.

Погревшись у печки, Узелков выходил в коридор и подолгу беседовал с ворами и свидетелями, что правилами нашими строжайше запрещалось. Но что для Узелкова наши правила! Он рассказывал, что в губернском розыске, который, понятно, намного покрупнее нашего и где он часто бывал, правила куда попроще.
Он вообще любил подчеркнуть, что ему все доступно, и запросто упоминал фамилии таких работников губрозыска, как, например, Жур и Воробейчик, которых мы никогда не видели, но о которых слышали много достойного удивления. Он даже намекал на свою дружбу с ними, во что мы никак не могли поверить. Вернее, не хотели поверить.
Впрочем, Узелков и не старался убедить нас. Он всегда разговаривал с нами чуть небрежно, чуть иронически. И, разговаривая, смотрел в сторону.
Увидев в дежурке толстого мешочника, задержанного по подозрению в краже, он вдруг говорил задумчиво:
— Этот румяный мужчина мне поразительно напоминает Гаргантюа.
Я спрашивал:
— Это кто — Гаргантюа?
— Не знаешь? — удивлялся он и притворно вздыхал. — Хотя откуда тебе знать… У Франсуа Рабле есть такая книга…
Мы, конечно, не знали тогда, кто такой Франсуа Рабле. Спрашивать же у Якова Узелкова после его притворных вздохов считали неудобным. А он все чаще и чаще унижал нас своим удивительным, как нам казалось тогда, образованием.
Иногда он приходил очень рано, когда сводка не была еще отпечатана на пишущей машинке, и Венька Малышев сам выискивал для него происшествия. Венька брал у дежурного по уезду тяжелую, как Библия, книгу и говорил Узелкову:
— Ну, пиши: «Банда вооруженных налетчиков в количестве восьми человек, уходя от преследования, совершила налет на общество потребителей в деревне Веселая Подорвиха около девяти часов вечера…»
Узелков нервически вздергивал плечами:
— Ты не диктуй мне. Я не в школе. Ты говори мне самую суть. Я без тебя запишу.
Венька говорил ему самую суть. Узелков записывал очень быстро. И нам казалось, что самую суть-то он как раз и не успеет записать.
Впоследствии наши опасения неоднократно подтверждались. В газете обыкновенный факт из дежурной книги часто искажался до такой степени, что узнать его не было никакой возможности.
Узелков писал в газете примерно так: «Среди ночи сторож потребиловки услышал подозрительный шорох. Ночь была мглистая, небо заволакивали черные тучи, и силуэты всадников причудливо рисовались на фоне бархатисто-темного неба…»
Я скрывать не стану — мне нравилось в те времена, как писал Якуз. Слова его нравились. Но мне неприятно было, что он пишет неправду. Всадников не было, туч тоже не было. Были пешие бандиты и сторож, но он спал.
Венька Малышев, Коля Соловьев и другие ребята тоже сердились на Узелкова.
Узелков, однако, держался невозмутимо. По-прежнему требовал свежих происшествий.
И вскоре ему сильно повезло.

2

В полдень, в страшную метель, или, лучше сказать, в пургу, начавшуюся еще с вечера, к нам приехал весь облепленный снегом старший милиционер Семен Воробьев и сообщил новость:
— Из тайги на тракт вышла банда Клочкова.
Вот уж чего никто не ожидал в зимнее время!

У Маревой заимки, между Буером и Ревякой, где раздваивается Утуликский тракт, банда вечером устроила засаду, убила трех кооператоров, обобрала несколько крестьянских подвод и, несмотря на пургу, продвинулась дальше — в Золотую Падь.
— Тут уж я сразу к вам поехал, — докладывал старший милиционер Воробьев, спокойно расчесывая крупным гребнем мокрые редкие и длинные, как у священника, волосы. — Прямо немедленно поехал.
— А где же ты раньше-то был? — исподлобья взглянул на Воробьева наш начальник, словно стараясь боднуть его лобастой головой, поросшей серым жестким волосом, подстриженным «под бобрик».
— Где я раньше-то был? — переспросил Воробьев, глядясь в настенное зеркало в кабинете начальника. — Ну как где? Обыкновенно, по своему участку ездил. Участок-то какой! Лектор на днях говорил, две этих самых… две Швейцарии вроде того что могут разместиться. И на каждом шагу или эти бандиты, или опять же самогонщики. А я один на весь участок. И я ведь, между прочим, не стоголовый…
— Все ясно, — определил начальник, заправляя за уши оглобельки очков. И, уже не слушая Воробьева, снял со стены оперативную карту. — Клочков, значит, надеется на метель: она, мол, заметет все следы. Но это же глупость… Малышев, слушай… Я через сорок минут буду здесь, — показал он пальцем на карте. — Ты с группой должен подъехать сюда. — Он стал как бы ввинчивать палец в карту. — И без моих указаний никого ни при каких обстоятельствах не трогай. Отсюда, — он передвинул палец, — я попрошу курсантов с повторкурсов поддержать нас. Главное сейчас — не выпустить Клочкова из Золотой Пади. Реально?
— По—моему…
— Я тебя не спрашиваю, как по-твоему, — оборвал Веньку начальник. — Как по делу, будет реально?
— Реально, — кивнул Венька.
— Ну, действуй! — приказал начальник. — И держи в уме одно: никаких самоуправств! Если банда будет отходить, проследишь путь ее отхода. Вот так будет правильно…

Эта операция закончилась в тот же день к вечеру.
Я вступил в ночное дежурство по уезду, когда из Золотой Пади привезли семь арестованных и восемь убитых бандитов.
В числе убитых были атаман банды, бывший колчаковский штабс-капитан Евлампий Клочков и его пятнадцатилетний адъютант Зубок, которого Клочков, говорят, еще совсем маленьким подобрал где-то на дорогах гражданской войны.
Убитых свалили до выяснения личности прямо в снег во дворе уголовного розыска, и они лежали в темноте, как бревна, у каменного сарая с решетчатыми окнами.
Я вышел во двор с фонарем «летучая мышь».
Венька Малышев долго рассматривал убитых. В большом, накинутом на плечи тулупе, в монгольской шапке на лисьем меху, он походил в этот момент на ночного сторожа и, как ночной сторож, медленно передвигался по двору, будто у него зазябли ноги.
Я спросил, как прошла операция.
— Глупо, — сказал Венька и кивнул на убитых. — Ты смотри, что наделал этот наш припадочный — Иосиф Голубчик…
Я знал, что Венька не любит Голубчика. Но сейчас мне было все-таки непонятно, почему он сердится. Я еще спросил удивленно, приподняв фонарь над убитыми:
— Это что, разве Голубчик их наколотил?
— Да нет, — сказал Венька. — Клочкова, вот этого, Коля Соловьев срезал. Этого вот, — он тронул труп ногой, — кажется, я. А этих — курсанты с повторкурсов…
— А Голубчик?
Венька ничего не ответил, наклонившись над трупом Зубка.
Зубок лежал на снегу в красивой черной бекеше, отороченной серым каракулем, в расшитых унтах, без шапки, беловолосый, аккуратно причесанный на пробор.
Видно было, что шапка, теперь потерянная, приминала прическу до последней минуты жизни, и поэтому прическа осталась нерастрепанной на застывшей навсегда голове.

— Ты смотри, куда он ему попал, — расстегнул на мертвом бекешу Венька. — Прямо в самое сердце. Вот свинья худая! Ну кто его просил убивать мальчишку? Только бы ему порисоваться перед начальником, показать свое геройство. Он, припадочный, кого угодно из-за этого убьет. Хоть отца родного. Лишь бы начальник похвалил его за храбрость. Все время на глаза к начальнику лезет. Глядите, мол, какой я герой!..
Я понял, что это Голубчик убил Зубка. Но я не мог разделить возмущения Веньки.
— Тут же не разберешь, в такой горячке, кого убить, кого оставить, — сказал я. — Если ты не убьешь, тебя убьют…
— Ерунда, — взял у меня фонарь Венька. — Зубка мы свободно могли живьем захватить. Ты помнишь, как осенью на лесозаводе было? Я же его тогда почти поймал на крыше. Даже карабин у него из рук выбил. Деваться ему просто некуда было. Никто бы не поверил, что он спрыгнет с крыши, прямо со второго этажа. А он даже не задумался — спрыгнул. Очень храбрый мальчишка. Если б не опилки внизу, он бы насмерть разбился. А он ничего, побежал. Я его тогда хорошо видел с крыши, как он бежал по двору. Только прихрамывать стал…
— Все-таки он был уже конченый, если связался с бандитами, — сказал я, чтобы Венька не горевал об убитом. — Клочков же, понятно, имел на него большое влияние…
— Клочков — это дерьмо, — покосился Венька на труп Клочкова. — Клочков мог из него только бандита сделать, а мы бы сделали хорошего парня. Просто мирового парня сделали бы…
— Не думаю, — сказал я.
— Ты что, глупый; что ли? — вдруг как бы удивился Венька, поглядев на меня. И еще что-то хотел сказать, но из здания на крыльцо вышел Иосиф Голубчик.
Длинный, худой, чуть сутулый, в кожаной не по росту короткой тужурке, с короткими рукавами, он шел по снегу в нашу сторону и похлопывал плеткой по сапогам.
За ним продвигался, распахнув, как крылья, собачью доху, маленький Яков Узелков с блокнотом и карандашом, почему-то зажатым в зубах.
— Любуетесь? — спросил нас Голубчик, и даже в темноте было заметно, что он ухмыльнулся.
Мы промолчали.
Узелков вынул изо рта карандаш.
— Покажите мне, который Клочков.
Иосиф Голубчик взял у Веньки фонарь и осветил необыкновенно грузный труп Клочкова.
— Говорят, не все лошади его выдерживали, — засмеялся Голубчик. — У него особая лошадь была. Здоровенная! Как битюг. Жалко, ее убили. Она там и осталась, в Золотой Пади…
— А который его адъютант? — спросил Узелков.
— Вот он, — осветил Зубка Голубчик.
— Это, значит, твоя работа? — оглянулся на него Узелков и снова взял карандаш в зубы.
— Моя. — Голубчик опять засмеялся.
А Венька Малышев стоял в стороне, как замерзший.
Я подумал: вот сейчас что-нибудь случится. Вот сейчас Венька скажет что-нибудь Голубчику, и между ними вспыхнет ссора. Но подле нас неожиданно появился из темноты наш фельдшер Поляков.
— А я тебя ищу, — потянул он Веньку за тулуп. — Пойдем, я тебе переменю повязку…
Только тут я узнал, что Венька ранен. Вот, оказывается, почему он надел тулуп внакидку.
— И сильно тебя стукнули? В какое место?
— Да ерунда! — поморщился Венька. — Плечо немножко ободрало около шеи.
— Хорошенькое немножко! — сказал Поляков. — Крови сколько вытекло, пока сделали перевязку.
Венька пошел за Поляковым в нашу крошечную, рядом с баней, амбулаторию, которую мы называли «предбанником».
— Вениамин! — закричал Узелков. — Я потом должен с тобой поговорить. Мне очень важно выяснить некоторые подробности. Ты мне должен объяснить подробно…
— Ты и сам хорошо придумаешь, — слабо улыбнулся Венька. — Тебя учить не надо.

В коридоре на зеленой садовой скамейке под охраной милиционеров сидели семь арестованных — семь косматых, давно не бритых и не стриженных мужиков в нагольных полушубках и огромных, еще обледеневших бroднях, какие носили в старое время водовозы.
Я стал вызывать их в дежурку по очереди, чтобы произвести предварительный допрос. На специальных бланках я записывал их фамилии, имена и отчества, возраст, национальность, место рождения и все, что положено записывать в таких случаях.
Они охотно отвечали на вопросы, просили закурить и, закурив, благодатно почесывались, распространяя по всей дежурке и коридору удушливый запах плохо дубленной и мокрой от снега овчины.
Еще несколько часов назад представлявшие отупело грозную и беспощадную силу, они походили сейчас, пожалуй, на усталых ямщиков, готовящихся к ночлегу где-нибудь на близком к тракту постоялом дворе. Поэтому я не испытывал к ним никакой враждебности.
Только один раз я вышел из себя — когда в дежурку ввели пожилого, но с виду все еще могучего мужика, буйно заросшего рыжей щетиной, из которой высовывался вздернутый нос с нервно трепещущими ноздрями и светились яростью небольшие, прищуренные, медвежьи глаза.
— Фамилия?
— Чего?
— Фамилия как твоя?
— Это для чего?
— Ты мне не задавай тут вопросов! — строго сказал я. — Теперь уж мы тебе будем задавать вопросы. Садись.
— Сяду.
Он уселся так, что венский стул заскрипел под ним.
— Так как твоя фамилия?
— Моя-то?
— Твоя. Ты дурака тут не разыгрывай, — предупредил я. — Мы быстро из тебя всю твою бандитскую дурь вытрясем.
— Гляди-кось, какой герой! — хрипло, простуженно засмеялся и закашлялся рыжий. Потом сплюнул на пол и прикрыл плевок броднем. — Материно молоко у тебя на губах еще не обсохло, губошлеп ушастый, а ты туда же — грозишься. А вдруг я, — он кивнул на чугунную пепельницу, стоявшую на столе, — вдруг я возьму энту вот вещь да шаркну тебя по башке? Что тогда? Какой будет разговор?
Я отодвинул пепельницу к себе под локоть.
— Оберегаешься? — опять хрипло засмеялся рыжий. — Ну, это не худо. Береженого сам бог бережет.
Я встал из-за стола.
— Ты будешь говорить фамилию?
— А ты что, вроде испугать меня хочешь? — насмешливо спросил рыжий и тоже встал. — Ну-ка, испугай! Я погляжу, как ты умеешь…
Из соседней комнаты вышел Коля Соловьев. У него после операции в Золотой Пади разболелись зубы и чуть вспухла щека. Но он не уходил домой, потому что начальник хотел еще сегодня провести подробный разбор операции и всем велел остаться.
— Ты чего, рыжий, шеперишься? — заговорил Коля тихим, домашним голосом. — Тебя, как путного, развязали, а ты шеперишься.
— Он завидует своему атаману, — кивнул я на окна. — Торопится на тот свет, на Хрустяковское кладбище, поближе к богу…
— Щенки! — обвел нас ненавидящим взором рыжий. — Платит вам казна жалованье, а вы ну в точности щенки!
И, опять усевшись на стул, закрыл глаза: не желаю, мол, я не только разговаривать с вами, но и смотреть на вас не желаю.
Венька Малышев заглянул в дежурку, спросил меня:
— Начальник не звонил?
— Нет еще.
— Ты этих где размещаешь?

— В восьмой.
— Она пустая?
— Пустая.
Венька вошел в дежурку и сел недалеко от рыжего на лавку.
— Ну что, кум, о чем вдруг опять заскучал, задумался?
Рыжий поднял на него глаза: посмотрел с хмурым любопытством, будто стараясь узнать знакомого, и снова опустил голову.
В дежурку вошел начальник. Обутый в толстые, мохнатые унты выше колен, он неслышно прошагал по комнате, снял с гвоздя в застекленном ящике ключ от своего кабинета и сказал Малышеву и Соловьеву:
— Вы давайте заканчивайте это и пожалуйста ко мне. Будет разговор. Надо вызвать еще Голубчика и Бегунка…
На арестованного он даже не взглянул, и было непонятно, что значит «заканчивайте это».
У дверей начальник задержался.
— Малышев, как у тебя с плечом?
— Все хорошо, товарищ начальник, — чуть привстал со стула Венька.
Но я, поглядев на него, понял, что все не так уж хорошо. Лицо у Веньки как-то вытянулось, посинело, и особенно сгустилась синева под глазами.
— А ты что за скулу держишься? — повернулся начальник к Соловьеву.
— Зубы маленько заныли, — попробовал улыбнуться Коля.
— Просто лазарет какой-то. — Начальник сделал недовольное лицо и только теперь взглянул на арестованного. — А этот зачем тут?
— Да вот не хочет отвечать на вопросы, — доложил я. — Даже фамилию не говорит…
— Забыл, выходит, с испугу? — Начальник шагнул к арестованному и вдруг как рявкнул:
— Встать!
Арестованный не пошевелился.
— Кому говорят? Встать! — повторил начальник. — Ну!
Арестованный поднял голову, и глаза его снова засверкали бешенством.
— Гляди-кось, какой боров. Ты меня сперва накорми, потом запряги, а уж опосля понукай. Ну! — передразнил рыжий начальника.
— В угловую его, отдельно, — приказал мне начальник. — И не кормить, пока не вспомнит фамилию и все прочее…
Начальник ушел и хлопнул дверью так, что она заныла на пружине.
— Ты бы правда встал, — как бы посоветовал арестованному Венька. — Ты же не дурак, а это начальник.
— Это он вам, легавым, начальник, — пошевелил бородой рыжий. — А мне на него…
— Ты, потише, потише, тут все-таки учреждение, — напомнил Венька. — А насчет фамилии не беспокойся. Можешь не говорить. Я сейчас приду и скажу, как твоя фамилия…
И Венька надел свою монгольскую шапку. И вот когда он надел эту шапку на лисьем меху, арестованный забеспокоился.
— Погоди, — остановил он Веньку. — Ты в Золотой Пади был?
— Был.
— Нынешний день?
— Нынешний. А что?
— Ты гляди, какая нечисть, а? — будто огорчился рыжий. — Я ж в упор в тебя, в дьявола, стрелял. Точно в точности в башку твою дырявую целил, в эту шапку. Неужели ж я промазал? Или уже у вас у кого, комиссары, еще есть такая шапка?
Получилось странно: не мы допрашивали арестованного, а он нас.
Шапки такой, как у Веньки, ни у кого в нашем учреждении не было. Значит, этот бандит ранил Веньку. И сам признался. А фамилию свою все-таки не хочет говорить.
— Ух, паразит! — сказал Коля Соловьев, оторвав руку от горячей щеки. — Это верно, что тебя надо к атаману отправить. Вон он валяется на снегу…
— Все там будем вот этак же валяться, — почти спокойно откликнулся арестованный. — И вам этого дела не избежать. За Клочкова Евлампия Григорьевича Воронцов из вас еще добрых лент нарежет. Вот попомните мои слова. Воронцов вам это дело не простит. Ни за что не простит. Не надейтесь. И за душу мою грешную сполна ответите. И начальник ваш

ответит, седой боров. Не отвертится. Вы еще поплачете, сучьи дети. Вся контора ваша поплачет горючими слезьми…
Такого никогда не было в нашей дежурке, чтобы вот так развязно сидел арестованный бандит и еще грозился. Попадались всякие — бушевали, матерились, бросались на дежурного, даже зашибли одного нашего сотрудника в коридоре чугунной подставкой, но грозить всему нашему учреждению еще никто не отваживался. Значит, он считает, этот бандит, что Воронцов со своей бандой сильнее нас. Или он это только храбрится?
В дверь просунулся Яков Узелков:
— Можно?
— Нельзя, — сказал Венька и, выглянув в коридор, строго отчитал постовых: зачем они пропускают разных граждан с улицы?
— Я не с улицы! — закричал Узелков. — Я представитель прессы… Я представляю здесь губернскую газету, орган губкома и губисполкома. Я представитель, так сказать…
— Представители пусть приходят утром, — сказал Венька.
Он вышел во двор, побывал в арестном помещении и, вернувшись в дежурку, сообщил рыжему его фамилию.
— Мне самому теперь интересна твоя фамилия, — слабо улыбнулся Венька. — Ты, получается, мой крестный. В голову ты мне, спасибо, не попал, а плечо попортил. Я теперь должен навсегда запомнить твою фамилию — Баукин Лазарь.
— Так точно. Не скрываю: Баукин Лазарь. Даже сверх того — Лазарь Евтихьевич Баукин. Ну что ж, ежели хочешь, дело твое, — запомни, — усмехнулся рыжий. И заметно как бы повеселел. Но от показаний все-таки уклонился.
Я направил его, как приказал начальник, в угловую одиночную камеру.

3

Венька ушел домой после совещания у начальника. Было это во втором часу ночи.
А рано утром, когда я сдавал дежурство, он уже явился в розыск. И в этот же час в дежурку пришел Яков Узелков.
Венька со многими подробностями рассказал ему о вчерашней операции, посоветовал поговорить еще с Колей Соловьевым и в заключение попросил:
— Когда напишешь, покажи, пожалуйста, кому-нибудь из нас. Чтобы не было ошибки. Это дело очень серьезное. Тут, в этом деле, врать ни в коем случае нельзя…
Яков Узелков сказал, что напишет, как ему диктует его художественная совесть. И, поговорив недолго еще с двумя сотрудниками, пошел домой — писать.
Через несколько дней в губернской газете «Знамя труда» был напечатан его очерк, в котором отважно действовали и наш начальник, и Коля Соловьев, и Иосиф Голубчик, и Вениамин Малышев.
О Малышеве в очерке было сказано: «Этот юноша-комсомолец с пылающим взором совершал буквально чудеса храбрости».
И дальше описывались в самом деле несусветные чудеса.
Венька Малышев будто бы первым выступил против банды, а затем уже подоспели Николай Соловьев, застреливший атамана Клочкова, и Иосиф Голубчик, смертельно ранивший в самое сердце отчаянного адъютанта атамана.
О том, что адъютанту всего пятнадцать лет, в очерке сказано не было.
— Поймаю Якуза и обязательно задавлю, — пообещал Венька. — Все же думают теперь, что я сам ему такое набрехал. И меня он каким-то идиотом выставляет. С пылающим взором…
Якуз, однако, как нарочно, несколько дней не показывался в нашей дежурке. Он поехал в Березовку на восстановление, как он потом писал, самого крупного в Сибири лесозавода.

Он любил описывать все самое крупное, небывалое, выдающееся. Вернее, у него так получалось в корреспонденциях, что все, о чем он пишет, необыкновенно, впервые появилось, мир об этом еще не слыхивал.
Мы не сильно тосковали о том, что он не приходит. В эти дни у нас было много работы. Почти непрерывно шли допросы арестованных из банды Клочкова. Нам хотелось с их помощью подобрать верные ключи и к банде самого Кости Воронцова, зарывшейся сейчас в снегах где-то в глубине Воеводского угла.
Банда Воронцова была на длительный период времени основным объектом нашей деятельности, как любил витиевато, не хуже Узелкова, выражаться наш начальник.
Венька Малышев отобрал себе четырех бандитов и день и ночь возился с ними. Он только что не водил их к себе домой, а так со стороны можно было подумать, что это лучшие его приятели. Он называл их по именам — Степан, Никифор, Кирюха, Лазарь Евтихьевич, кормил их своими пайковыми консервами. А Лазаря Баукина угостил даже два раза самогонкой, что уж никакими инструкциями не было предусмотрено.
Бочонок с самогонкой, отобранной у смолокуров на Белом Камне, стоял у нас в коридоре, в особой нише, под замком, рядом с большим несгораемым шкафом, и был предназначен для химического анализа. Но анализ все почему-то задерживался. И этим воспользовались уже несколько наших сотрудников.
И Венька воспользовался, чтобы угостить бандита, хотя до этого осуждал того, кто прикоснулся к бочонку первым.
— Мне же это для дела надо, для служебных надобностей, — как бы оправдывался он передо мной. — Лазарь сильно охрип, и его все время бьет кашель. А эти порошки, которые давал Поляков, нисколько не помогают. И Лазарь вообще не верит докторам. Он их не признает…
В том, что Лазарь Баукин не признает докторов, не было, пожалуй, ничего удивительного. Но то, что Венька так заботливо относится к нему, показалось мне странным. Не лазарет же у нас для простудившихся бандитов и не трактир с подачей горячительных напитков.
Я даже возмутился про себя.
А затем не только мне, но и многим у нас показалось странным, что такой навеки обозленный, угрюмый и всех и вся презирающий бандит, как Лазарь Баукин, вдруг дня три спустя после ареста стал давать показания, хотя приказ начальника — «не кормить» — не был по-настоящему выполнен. Правда, Баукин давал уклончивые показания. Я прочел первый протокол его допроса и сказал Веньке, что этот зверюга чего-то такое темнит.
— А что же ты хотел? Чтобы он пришел к тебе и сразу покаялся? — спросил Венька. — Нет, это ерунда. Так не получится. Не такой это мужик…
И мне показалось, что Венька как бы восхищается этим мужиком. Мне захотелось посмотреть, как Лазарь Баукин ведет себя на допросах, и я однажды во время допроса зашел в секретно-оперативную часть.
Венька посмотрел на меня удивленно:
— Тебе что-нибудь надо?
— Нет, я хотел посидеть…
— Посиди тогда где-нибудь в другом месте. У нас тут вот с Лазарем Евтихьевичем серьезный разговор. Без свидетелей.
Я ушел в свою комнату.
Через час Венька зашел ко мне и, должно быть желая смягчить свою грубость, предложил:
— Хочешь, почитай сегодняшний протокол допроса Баукина. Занятный мужик. Удивительно занятный…
Я сказал:
— А зачем? Я не такой уж любопытный. Ты ведешь допрос, меня это не касается.
— Ну, это ты ерунду говоришь, — заметил Венька. — Нас все касается. И мы за все отвечаем, кто бы что ни делал. А Лазарь в самом деле занятный мужик…
— А что в нем занятного?
— Все. Он сам смолокур и промысловый охотник. И отец у него, и дед тоже смолокурничали и выслеживали зверя. Он тайгу знает — будь здоров.
— Но сейчас-то он бандит…

— Ну, это уж известно. Но вообще-то он мужик занятный. Голова у него забита всякой ерундой, а сам неглупый. Сегодня мне говорит, ежели сибирские мужики эту власть не полюбят, она тут ни за что, однако, не удержится. Хоть пять лет простоит, хотя десять, но все равно не удержится. Колчака Александра Васильевича сибирские мужики не полюбили, и он не удержался. Не смог, не сумел. Штыком, однако, да силком мало что сделаешь, как ни вертись.
— Что же тут хорошего? — сказал я. — Значит, он настоящий контрик, если сравнивает Советскую власть с Колчаком…
— Вообще-то, конечно, — согласился Венька. — Вообще-то, конечно, это не пряник. Но надо еще как следует разобраться. Человек — все-таки смолокур и охотник, можно сказать, потомственный. И вдруг — ерунда какая — связался с бандитами…
— Да мало ли смолокуров и охотников в разных бандах! — рассердился я. — Что он, маленький? Связался! Ему, слова богу, не пятнадцать лет. Он сам мог сообразить.
— Ну, знаешь! — сказал Венька. — Другой раз и старику так задурят голову, что он не сразу может разобраться.
Венька жил искренним убеждением, что все умные мастеровые люди, где бы они ни находились, должны стоять за Советскую власть. И если они почему-то против Советской власти — значит, в их мозгу есть какая-то ошибка. Он считал, что и Лазаря Баукина запутали, задурили ему голову разные белые офицеры.
Даже дома, поздно вечером, когда мы пили чай, Венька вдруг вспомнил о нем:
— А Лазарь, наверно, сидит сейчас впотьмах в угловой камере и думает, думает…
— Да он, наверно, спит давно. Чего ему еще думать?
— Нет, он все время думает. Я это каждый день замечаю. Ох и здорово он не любит нас!..
— Нам его тоже не за что любить, — говорил я. — Бандит как бандит…
— Ну, это верно, — соглашался Венька. — Но все-таки он мужик занятный. Вчера мне говорит: «Начальник у вас для этого дела очень слабый». Я спрашиваю: «Почему?» — «Я, говорит, вижу. Нервный он шибко. Кричит. Прошлый раз вон рявкнул на меня, ажно у самого уши покраснели. Против бандитских атаманов он никуда не годится. Слабый шибко, жирный». Я говорю: «А начальнику нашему и не надо быть атаманом. Тут учреждение, а не банда». А Лазарь говорит: «Рассказывай! На всяком деле должен быть крепкий мужчина, чтобы его слушались без крику и визгу и понимали, что он на своем месте».
Меня удивило.
— Неужели ты с ним так разговариваешь на допросах? И он еще ругает начальника…
— Он не ругает, он просто приглядывается ко всему. Он очень приметливый. А что, я ему рот должен заткнуть? Он говорит, я его слушаю. Это хорошо, что он разговорился…
— Все-таки я не стал бы говорить с ним про начальника, — сказал я. — Кто он такой, чтобы еще рассуждать и тем более критиковать?
— Вот это и хочу понять, кто он такой. Мне это интересно. Мне вообще интересно, какие бывают люди. Не все же одинаковые.
Хлопотливая должность помощника начальника по секретно-оперативной части обязывала Веньку Малышева заниматься многими делами. И он занимался: выезжал на мелкие и крупные происшествия, собирал агентурные сведения, вел допросы, составлял сводки. Но самым интересным делом для него теперь было продолжение допросов Лазаря Баукина. Да едва ли то можно было назвать допросами.
Почти каждый день Венька что-нибудь рассказывал мне о нем, точно совершал открытия. Оказывается, Баукин хорошо знаком с Костей Воронцовым, хотя никогда не был в его банде. Еще при царе Лазарь работал у отца Воронцова на смолокуренном заводе.
Венька подробно расспрашивал Баукина о его жене, о ребятишках, вслух жалел ребятишек, у которых родитель ни с того ни с сего вдруг занялся бандитским делом.
Вот так и проходили допросы. На допросе же Лазарь Баукин вдруг спросил Малышева, хорошо ли заживает у него рана на плече.
— Плохо, — ответил Венька. — Попортил ты мне, Лазарь Евтихьевич, плечо.
— Это еще ничего, — сказал Лазарь. — Это благодаря господа я только в плечо тебе угодил. Я ведь тебя насмерть мог ухлопать. У меня глаз ты знаешь какой? Как у ястреба. Почти что без промаха…

— Хвастается он, — заметил я, когда Венька рассказывал мне об этом.
— Это верно — немножечко хвастается, — улыбнулся Венька. — Но ему уже больше обороняться нечем. Вчера мне опять говорит: «Ты не верь докторам. От раны, ежли не шибко загнила, есть одно хорошее средство — брусничный лист. Только не сушеный, а живой, который сейчас в тайге под снегом. — И вздохнул: — Не попасть уж, видно, мне обратно в тайгу. Ни за что, однако…»
— Да, уж в тайгу ему, пожалуй, больше не попасть, — подтвердил я. — Если на суде станет известно, что он тебе, как представителю власти, прострелил плечо, ему могут наверняка вышку дать…
— Могут, — огорчился Венька. — Но я нигде это в протоколах не пишу, что он в меня стрелял. И у нас об этом знают только ты и Коля Соловьев. А Коля не трепач…
— А я трепач?
— И ты не трепач, — успокоил меня Венька. — А Лазарь еще про многое не говорит. Если его по-настоящему расколоть, можно большое дело сделать…
Допрашивая Лазаря Баукина, Венька все время составлял историю его жизни. Он составлял ее, конечно, не столько из крайне скупых показаний самого Баукина, сколько из допросов других арестованных, сличал разные показания, сверял их с нашими агентурными сведениями и устраивал очные ставки.
Выяснилось, что Баукин — бывший солдат царской армии. За геройство на фронтах империалистической войны был представлен к четырем Георгиевским крестам. Три получил, а четвертый где-то завяз в бумагах воинских канцелярий. Пока хлопотал о четвертом кресте, лежа в госпитале по случаю тяжелого ранения, началась Октябрьская революция, и все награды его потеряли значение.
Потеряла значение, как казалось ему, вся его боевая жизнь.
Выходило, что и ранили его трижды зазря, без всякого смысла, если он не может гордиться даже теми крестами, что выданы ему. Ни к чему оказались эти кресты.
На родной заимке Шумилово, в глухой тайге, куда вернулся он из госпиталя, хозяйство его за время войны пришло в полное расстройство. Ни коровы, ни коня. Жена с тремя малыми детьми живет из последнего, батрачит у богатых мужиков.
Мужики богатые и бедные одинаково проклинают бестолковую войну с немцем. Их не удивишь тут ни крестами, ни медалями. И геройством не удивишь.
Лазарь Баукин оказался в родных местах почти единственным, кого не только не утомила, но даже разгорячила изнурительная война, несмотря на ранения. Он все еще жил войной, не зная, за что приняться в крестьянском деле, от которого отвык за годы войны.
На его счастье или, скорее, несчастье, глубокой осенью восемнадцатого года прибыл на побывку в родные места его старший брат, Митрофан, выслужившийся в войну до унтер-офицерского чина.
Братья выпили на радостях, душевно разговорились. И Лазарь впервые за все это смутное, тяжелое время узрел единомышленника.
Пьяный Митрофан, сильно хвастаясь своими успехами, рассказал, что есть верные люди, которые опять собирают армию, такую же, как была, только более крепкую. И если сейчас вступить в нее, можно многого добиться без особого труда.
В этой армии будут высоко ценить три «Георгия», полученных Лазарем, и будет выдан четвертый, еще не полученный, поскольку все справки у Лазаря в полном порядке.
Лазарь уехал с заимки в начале зимы и вступил добровольцем в белую армию.
Дело было, конечно, не в том, чтобы выхлопотать четвертый Георгиевский крест. Дело было в великом соблазне поправить пошатнувшееся хозяйство за счет тех льгот и наград, которые были обещаны добровольцам белой армии после победы в гражданской войне.
Победу, однако, одержали не белые, а красные.
После разгрома белой армии Лазарю пришлось скрываться, опасаясь особо сурового наказания за то, что он был не только белым солдатом, а еще и помощником командира взвода и, главное, добровольцем.
В скитаниях он набрел на бывшего колчаковского штабс-капитана Клочкова, находившегося одно время в подчинении у «императора всея тайги», а затем отделившегося от него с небольшой бандой.

Вступив в эту банду, Лазарь Баукин долгое время не ладил с Клочковым. Лазарь считал, что надо грабить только кооперативы и базы, но не тревожить крестьян, с чем не соглашался Евлампий Клочков, вышедший из городского купечества и стремившийся наказывать все население за свою собственную неудачливую судьбу, стремившийся сеять ужас.
Лазарь хотел устранить Клочкова, чтобы самому стать главарем банды. Но Клочков был не так прост и старался обезопасить себя от Баукина, не доверяя ему во многом, остерегаясь его…
Все это выяснил Венька Малышев путем перекрестных допросов. Он сразу заметил, что Лазарь Баукин резко отличается от других арестованных бандитов. И даже здесь, в угрозыске, в арестном помещении, бандиты говорят о Лазаре как о своем главаре, как о человеке, который мог бы стать главарем, если б не превратности судьбы.
Веньку больше всего интересовали связи Баукина в других бандитских соединениях. Ведь не так уж отдельно действовала банда Клочкова, у нее были связи, наверно, и с Воронцовым и с другими.
И еще интересовало Веньку, если можно так выразиться, истинное самочувствие Баукина.
— Интересно, — говорил мне Венька, — что бы Лазарь сейчас стал делать, если бы ему, допустим, удалось уйти от нас?
— Опять пошел бы в банду.
— Нет, не думаю. У него башка все-таки работает. Я ему все время встряхиваю башку разными вопросами.
— Да для чего это? — спросил я.
— Для дела, — улыбнулся Венька.
У Веньки появилась идея — побывать еще зимой в Воеводском углу, на родине Лазаря Баукина, навестить его жену, его ближайших родственников и добыть как можно больше сведений о его связях.
Из трофейных фондов гражданской войны нам достались, кажется, японские, аэросани. Изломанные, они все лето и осень валялись у нас на пустыре. И только теперь, зимой, нашелся механик, согласившийся отремонтировать их и пустить в дело.
В свободные часы мы с Венькой и с Колей Соловьевым часто ходили на пустырь и помогали механику отвинчивать и отмывать в керосине ржавые болты и гайки, хотя надежды на восстановление саней у нас почти не было.
Механик, видимо, сам не мог разобраться как следует в механизме и все говорил:
— Кабы мне ихнюю схему достать. Я бы их разобрал в два счета…
Мы с Колей Соловьевым постоянно смеялись над механиком, говорили, что он, наверно, большой специалист: может любую, какую угодно, сложную машину разобрать на все части и собрать очень быстро и прямо… в мешок.
А Венька называл нас чистоплюями и уверял, что сани будут восстановлены. Он еще года два назад работал слесарем в железнодорожных мастерских, и этот механик разговаривал с ним подле саней как со своим человеком, как с человеком, причастным к благородному делу обработки металлов.
— Вот погодите, — говорил нам Венька, — вот погодите, мы на этих санях прокатимся скоро в Воеводский угол…
Эта идея понравилась и нашему начальнику. Он теперь все чаще выходил из кабинета, чтобы посмотреть, как подвигается работа на пустыре.
Механику был выдан из трофейного фонда полный комплект кожаного обмундирования: пальто, штаны, сапоги и шлем. Он, кроме того, требовал кожаные перчатки с длинными отворотами, какие носят авиаторы. Но начальник сказал, что о перчатках похлопочет, когда будут восстановлены сани.
У саней, все еще лежавших на снегу в перевернутом виде, собирались многие наши сотрудники, давали советы, спорили, смеялись.
Однажды сюда пришел и Яков Узелков.
Вытащив из брезентового портфеля блокнот с напечатанным вверху названием газеты, он интересовался, что появилось новенького за время его отсутствия.
— Я, к сожалению, не мог к вам раньше прийти, — как бы извинялся он, нервно покусывая карандаш. — Я несколько дней разъезжал по уезду. Были, можно сказать, пикантные встречи…

Мы Узелкова не видели с той поры, как прочитали в газете «Знамя труда» выспренний очерк о разгроме клочковской банды в Золотой Пади. Мы уже стали забывать о существовании Узелкова. Но сейчас, увидев его, снова ожесточились.
— Можешь к нам больше не ходить, — сказал ему Венька. — Нам брехуны не нужны. С пылающим взором.
— Да тебе и не надо к нам ходить, — добавил я. — Для чего тебе сведения, если ты можешь все высосать из своего вот этого тоненького пальца?
И Коля Соловьев засмеялся.
— Чудаки! — ничуть не смутился Узелков. — Я же вас вывел героями — и вы же еще недовольны. Дикари, питекантропы…
— Уходи, — опять сказал Венька. — Уходи, и чтобы тебя тут вовсе не было. Больше тебе никакой сводки давать не будем.
По пустырю как раз в это время проходил наш начальник. Узелков пошел за ним. И, на наше удивление, начальник отнесся к нему весьма любезно. Он даже обнял его за плечи и повел к себе в кабинет. Мы слышали, как Узелков сказал:
— Популяризация — моя главная задача.
И наверно, это слово «популяризация» покорило нашего начальника, тоже любившего необыкновенные слова.
Вскоре он вызвал Веньку и меня и, сидя в кресле, сделал нам нагоняй, говоря:
— Как же это так? — И показал на Узелкова. — Товарищ, можно сказать, собственный корреспондент, пишет про нас, освещает нашу работу. А мы, значит, будем ему палки в колеса кидать? Нет, это будет неправильно. Так не пойдет. Я запрещаю это решительно. Понятно?
Узелков ушел, получив все нужные ему сведения.
Начальник сам закрыл за ним дверь и, опять усевшись в кресло, спросил:
— Вы для чего, ребята, допускаете в своей работе глупость, личные счеты и так далее? А?
Венька доложил, что тут не личные счеты, а просто вранье и глупость со стороны корреспондента.
— Вранье? — удивился начальник и покачал своей седеющей колючей головой. — Вранья допускать, конечно, нельзя. Вы за этим должны смотреть, докладывать в случае чего мне. А так препятствий чинить не надо. Это же, имейте в виду, пресса. С ней ссориться никак нельзя.
Может быть, в этот момент далекие воспоминания колыхнули суровое сердце нашего начальника. Он вдруг подвинул к нам коробку с папиросами, чего раньше никогда не делал, и сказал, продолжая грустно улыбаться:
— Поздно вы родились, ребята. Ничего хорошего вы еще не видели. И не знаете. И вам даже непонятно, что такое пресса. Ведь вот, допустим, у нас в цирке как было? Не только приходилось ожидать, когда напишут про тебя в прессе, а самим даже приходилось соображать. Даю честное слово. Придет, бывало, репортер в цирк, а ты норовишь ему в руку сунуть рублевку или даже трешницу. Этак деликатно. Чтобы написал после. Ну, и ждешь потом. Ангажемент! Вы ведь этого ничего не понимаете. Про вас пишут, а вы обижаетесь. Бесплатно пишут, и в положительном тоне. Надо бы только приветствовать такого корреспондента. Приветствовать…
Понятно, что после этого у Якова Узелкова в нашем учреждении появилась такая поддержка, о какой он и мечтать не мог.
Он в любое время теперь заходил к начальнику и называл его запросто — Ефрем Ефремович.
Два раза, однако, мы пробовали разоблачить корреспондента в глазах начальника, но делали это, видимо, неумело, неубедительно. Говорили, например, что Якуз много сочиняет. Против этого обвинения начальник выдвинул веский довод. Он сказал:
— Вот, допустим, французская борьба. Многие зрители обижаются, что борцы борют друг друга не по-честному, а как велит арбитр. «Сегодня ты меня положишь, завтра — я тебя». Зрители говорят: «Это афера». И я говорю: правильно. Ну, а как вы думаете, без аферы лучше будет? Нет, хуже. Борцы тогда, озлившись, даже покусать друг друга могут, трико порвут, измочалятся до крови. Ну, и что же тут красивого? Ничего. Нет, вы молодые ребята, вы этого не понимаете, что такое искусство…

И начальник закрыл глаза, показывая, что разговор окончен.
Якуз продолжал писать как хотел.
Одержав над нами первую крупную победу, он сразу как-то вырос в наших глазах. У него даже плечи стали как будто пошире.
К тому же он сшил себе входившую тогда в моду толстовку из чертовой кожи, приобрел новые ботинки, и мы смеялись, что вот, мол, на происшествиях оделся человек. Голос у него стал еще тверже, еще уверенней.
Читая в сводке об изнасиловании, он вдруг говорил удивленно:
— Ах! Опять это либидо сексуалис.
Дежурный по угрозыску спрашивал:
— Чего?
— Это мои мысли вслух, — небрежно отвечал Узелков.
В другой раз в разговоре с нами он также вдруг ни с того ни с сего сказал:
— Извините, но у меня на этот счет своя концепция. Я не считаю, что мы живем в век пессимизма.
— Ну, уж это совсем ерунда какая-то! — возмутился Венька. И спросил: — Что такое пессимизм?
— Учиться надо, — сказал Узелков. — Учиться, а не заниматься пикировкой.
Что такое пикировка, он тоже не объяснил.
В конце концов мы стали верить, что он не может говорить по-другому, что эти затейливые слова так же привычны для него, как для нас наши. Мы постепенно стали привыкать к этим его словам и уже не искали в них каверзного смысла. Да и сам Узелков нас все меньше интересовал.
У нас и без него было много всяких дел. Главным же все еще оставалось дело арестованных из банды Клочкова.
Прокурор уже несколько раз требовал, чтобы их поскорее перевели в городской домзак. Пора, мол, готовить процесс. И притом большой, показательный.
Но Венька, пользуясь своим положением помощника начальника по секретно-оперативной части, упорно задерживал бандитов в нашем арестном помещении, ссылаясь на оперативные надобности.
Он все еще продолжал допрашивать Лазаря Баукина и его соучастников.

4

В кабинете нашего начальника стоял громоздкий застекленный шкаф, полный толстых книг в кожаных переплетах с золотым тиснением.
Шкаф этот недавно еще украшал, наверное, богатый кабинет. Говорили даже, что принадлежал он знаменитому золотопромышленнику Полукарову. Революция, переместившая много громоздких вещей, передвинула, перетащила и этот шкаф с книгами.
Неизвестно, читал ли наш начальник эти книги. Но каждый раз, когда разбиралось какое-нибудь запутанное преступление, он кивал бодливо на шкаф, говоря очень строго:
— Криминалистическая наука на что нам указывает? Криминалистическая наука нам прямо указывает на то, что надо в первую очередь изучать психологию преступника. А это значит что? Это значит, надо докапываться до корней. Бывает, что преступник запирается на допросе, не хочет говорить, юлит, финтит, изворачивается. Тогда, значит, что? Тогда, значит, надо повлиять на его психологию…
И начальник считал, что Венька Малышев правильно ведет допросы Лазаря Баукина.
— Вот именно Малышев бьет на психологию в этом вопросе, — тыкал пальцем в протоколы начальник. — Поэтому я не вмешиваюсь. Хотя этот Баукин, видно по всему, очень сложный экземпляр. Я лично применил бы к нему самые жестокие меры…

Этого больше всего и боялся Венька, уверенный, что начальник не простит Баукину того случая в дежурке, когда он приказывал встать, а Баукин продолжал сидеть и еще обозвал начальника боровом.
Венька все время деликатно внушал начальнику, что этот бандит Баукин при осторожном к нему отношении может дать очень ценные показания. И уже кое-что дает.
Вскоре Баукина, по настоянию Веньки, перевели из одиночки в общую камеру.
— Там ему будет все-таки веселее, — сказал Венька. — А то, чего еще доброго, Лазарь от тоски с ума сойдет…
И мне даже противно стало, что Венька так заботится о Баукине. Ему еще, видите ли, веселье требуется, этому зверюге.

Мы уже заканчивали допросы всей клочковской группы, когда четверо бандитов попросились в баню, в том числе и Лазарь Баукин.
— Может, перед смертью и помыться больше не придется, — вздохнул он. — А мы, однако, православные, как ни есть христиане.
Уже замечено давно, что чем звероватее бандит, тем жалостливее он ведет себя, когда чувствует безвыходность своего положения.
Вот почему я считал, что Венька напрасно цацкается с Лазарем. Просто Лазарь сумел разжалобить его. И у Веньки еще будут от этого большие неприятности.
— Что ж ты раньше-то не вспоминал, что ты христианин? — спросил я Баукина. — Когда убивали и калечили людей, так не вспоминали, какого вы вероисповедания…
Лазарь ничего мне не ответил.
А Венька, подошедший в этот момент к дверям камеры, сказал Пете Бодягину, прозванному за особую и часто неуместную резвость Бегунком:
— Петя, проводи арестованных в баню.
И прошел дальше по коридору, будто не заметил меня.
Было это поздно вечером в субботу.
Баню жарко натопили, потому что днем в субботу всегда мылись в ней наши сотрудники и перед сном ходил париться сам начальник.
И вот как раз после начальника в баню пошла, по распоряжению Веньки, эта четверка заядлых бандитов под охраной Пети Бегунка и одного милиционера из городского управления.
Бандитам в бане показалось холодно, и они попросили подбросить немножко дров.
— Кто же вам будет дрова подбрасывать? — спросил Петя. — Истопник ушел.
— Да мы сами подбросим, ежели разрешишь, — сказал Лазарь Баукин. — Мы все-таки лесные жители. Живем в лесу, молимся колесу, а, однако, тоже люди. Одушевленные…
И правда, они тут впотьмах стали перетаскивать дрова. Но потом оказалось, что перетаскивал-то один Никифор Зотов, а остальные трое, зайдя за поленницу березовых дров, перемахнули через каменный забор и скрылись.
В тот же час была организована погоня. Поиски опасных преступников продолжались всю ночь, но не дали никаких результатов.
И утром уже весь город разговаривал об этом побеге.
У ворот уголовного розыска остановились щегольские санки. Из санок вылез уездный прокурор, посещавший нас только в торжественных случаях, а чаще вызывавший к себе. Он протер носовым платком толстые стекла пенсне и, выслушав объяснение начальника, заявил, что потребует немедленно отдать под суд Бодягина — Бегунка — и милиционера Корноухова, находившегося на посту у бани.
Тогда Венька Малышев сказал, что если вопрос ставится так на ребро, то пусть лучше уж его, Малышева, отдадут под суд: ведь это он распорядился проводить бандитов в баню.
У прокурора задрожало пенсне на носу.
— Закон одинаково распространяется на всех, — сказал он. — Если преступники не будут пойманы, вы, естественно, также должны будете понести серьезную ответственность за вашу, я позволю себе сказать, возмутительную халатность. Или, может быть, — он многозначительно поднял палец, — за другие противозаконные действия. Я сейчас еще не хочу ничего предрешать…

Затем прокурор два раза измерил шагами по снегу расстояние между забором и баней, осмотрел колючую проволоку на заборе, оставшуюся почти не тронутой, произнес в заключение только одно слово: «Специалисты!» — и пошел со двора.
Начальник провожал его до саней, что-то горячо доказывал ему, размахивал руками, но что именно доказывал, нам не было слышно.
Венька стоял во дворе в одной гимнастерке, без шапки и рассеянно смотрел на ржавый моток колючей проволоки, валявшейся у забора в снегу. Эта проволока осталась от той, что обматывала забор. Надо было бы обматывать его еще выше.
Я сказал об этом Веньке. Но он махнул рукой и поморщился.
— Все это ерунда. Не в проволоке дело.
— А в чем? В психологии, что ли? — не мог не съязвить я. — У собак, наверно, тоже есть своя психология.
Венька внимательно посмотрел на меня и ничего не ответил, только обиженно надул губы. И я мгновенно представил себе, каким он был в детстве.
Он был, наверно, беленьким, веснушчатым, толстогубым мальчиком с застенчивыми глазами. Он стал взрослым, высоким, сильным. На лице его теперь чуть заметны веснушки, и волосы чуть потемнели. А в глазах в этот час огорчительной растерянности все еще светится детство.
— Вот, Малышев, плоды твоего пресловутого и закоренелого либерализма, — указал пальцем начальник, возвращаясь от ворот. — Где ты у кузькиной матери будешь его сейчас искать, этого прекрасного Лазаря Баукина, с компанией? А ведь я тебя, кажется, предупреждал. Предупреждал я тебя или нет? Ответь…
Но Венька ничего не ответил и начальнику.
Начальник вынул из брючного кармана портсигар, подавил большим пальцем на голову змеи, изображенной на крышке, взял папиросу, раздраженно помял ее в искалеченных пальцах и, прикурив, сказал:
— Молчишь?! Упрямый ты человек, я смотрю на тебя, Малышев. А это значит что? Это значит, что я по-настоящему обязан отстранить тебя от должности…
Венька сузил вдруг вспыхнувшие глаза и дерзко взглянул на начальника.
— Отстраните. Я плакать не буду. Это ваше дело, кого отстранить, кого назначить.
— Нехорошо разговариваешь. Не помнишь, с кем разговариваешь, — прихмурился и дохнул на него дымом начальник. — И правильно, надо бы тебя отстранить.
Начальник сердито зашагал к крыльцу. У крыльца остановился.
— Однако я тебя не отстраню. Я тебя заставлю, имей в виду, найти Баукина. Ты слышал, что прокурор заявил? Надо найти преступников. Во что бы то ни стало. Найдешь?
— Не знаю, — сказал Венька. — Я к ворожее еще не ходил. Откуда я могу знать, найду или нет?
— Нехорошо разговариваешь, — опять заметил начальник и ушел в здание.
А Венька остался во дворе.
Из амбулатории, что рядом с баней, вышел фельдшер Поляков.
— Хочешь, плюс ко всему, застудить плечо? — спросил он Веньку. — Я на тебя все время в окно смотрю, как ты в одной гимнастерке разгуливаешь. Пойдем, я тебе переменю повязку. А то я скоро уйду. Меня в уздрав вызывают…
Венька покорно пошел за Поляковым.
Я заглянул в секретно-оперативную часть, когда Венька вернулся из амбулатории.
Он сидел за столом, подперев голову обеими руками, и читал какие-то протоколы.
Я посмотрел ему через плечо и узнал протоколы допросов Баукина.
«Их читать теперь бесполезно», — подумал я, но ничего не сказал. Веньке, наверно, и так здорово обидно. Лучше не затрагивать больное место.
Я спросил, не пойдет ли Венька обедать.
— Нет, — поглядел он в окно. — Рано еще. Я есть не хочу. — И вдруг улыбнулся. — Нет почему-то аппетита…
Из окна был виден белый, заснеженный пустырь, на котором копошился подле аэросаней механик.
Удивительным мне показалось, что корпус саней уже поставлен на лыжи и укреплен похожий на крест пропеллер.

— Пойду покопаюсь с ним, — кивнул в окно Венька. — Все равно сегодня ничего не лезет в башку. Башка просто как чугунная.
Венька надел свою монгольскую шапку, стеганую телогрейку, взял варежки и пошел на пустырь.
Когда я возвращался из столовой после обеда, он все еще сидел на корточках подле саней и, поворачивая метчик, нарезал зажатую в тисках гайку.
Лицо и руки у него были измазаны черным маслом, и, разговаривая о чем-то с механиком, он смеялся.
«Вот, наверно, настоящее его дело», — подумал я, приближаясь к ним.
И Венька со смехом сказал, увидев меня:
— Готовлюсь в механики, в старшие помощники по механической части, если отстранят. Надо заранее подготовиться. А то, может быть, не успею, как погонят…
Я присел около него. Все-таки странно, что он так быстро успокоился и даже как бы взбодрился.
— Гляди, — показал он, — сани-то скоро начнут действовать. А ты сомневался, не верил. — И, легонько надавив на рычаг, развернул тиски. — Не верить, я считаю, нельзя. Правда, нельзя не верить? — спросил он механика, как мальчик. И, не дождавшись ответа, опять засмеялся: — Я, например, во все чудеса верю. В любые чудеса…
Это он, может быть, от нервной встряски стал таким веселым, подумалось мне тогда. Или из упрямства, из самолюбия не хочет теперь показать всем, что его ошеломил побег Баукина.
Однако обедать в этот день он так и не пошел.
И ночью долго не мог уснуть, все ворочался. Наверно, у него разболелось плечо.
О Лазаре Баукине он как будто забыл на следующий же день.
Но когда курсантов с повторкурсов снова вывели на лыжах прочесать ближайший к Дударям лес, Венька сказал мне:
— Ерунда это все. Лазарь не глупее нас. Если он ушел, так ушел. И знал, куда уйти. Не такой он мужик, чтобы не сообразить…
И опять я не заметил, что Венька сердит на Баукина.
Кто-нибудь со стороны, послушав Веньку, мог бы серьезно заподозрить его в том, что сам же и помог убежать Баукину, но у меня даже мысли такой не было. Нет, Венька не знал, что Лазарь убежит, если его поведут в баню.
Я вспомнил, как Венька побледнел, когда услышал о побеге, как он всю ночь вместе с курсантами повторкурсов прочесывал лес под Дударями и перед утром сказал мне:
— Все-таки я никогда не думал, что так получится. За такое дело я сам бы стукнул его. Это же не шутка. Взять бандитов с бою, а потом за здорово живешь отпустить!
Нельзя сказать, что мы ничего не делали в последующие недели, чтобы хоть нащупать след беглецов. Мы облазили, пожалуй, весь город и несколько ближайших к городу деревень, но никого не нашли.
— Надо ехать в Воеводский угол, — решил Венька.
И начальник согласился с ним, но считал, что необходимо подождать, когда будут готовы аэросани.
Венька теперь почти все свободное время проводил на пустыре подле аэросаней.
О Баукине он по-прежнему даже в разговорах со мной не вспоминал. Да и аэросани готовились не только для поимки Баукина.
Начальник считал, что нам давно пора объехать в зимнее время Воеводский угол, так сказать, прощупать его, разузнать, чем он дышит и как само население относится к банде Кости Воронцова, притаившейся до времени в снегах глухой тайги Воеводского угла.
О Баукине напоминал прокурор. Он каждую неделю звонил нашему начальнику и спрашивал, нет ли отрадных новостей.
— Нет, но будут, — успокаивал его начальник. — Предпринимаем серьезную экспедицию…
А пока жизнь в нашем учреждении шла своим порядком.
Не надо, однако, думать, что нас волновали только события, связанные с нашей работой. Были, конечно, и другие события.

5

В продовольственном магазине недалеко от нашего учреждения появилась хорошенькая кассирша.
Венька первый заметил ее и показал мне.
Она сидела в стеклянной будке на высоком стуле перед серебристой кассой, строгая, чуть надменная, в голубом мохнатом свитере, и выбивала талоны с таким снисходительным видом, будто ее пригласили сюда временно заменить кого-то и она любезно согласилась, хотя за пределами магазина у нее есть, наверно, другое дело, более важное и более интересное.
Выбрать работу по вкусу, по душевным склонностям было в те годы почти невозможно. Безработица томила людей, заставляла цепляться за любой способ заработать. Лишь бы как-нибудь прокормиться, прокормить семью. И девушка эта, нам думалось, тоже случайно стала кассиршей. Не похожа она была на кассиршу. Нисколько не похожа. Занятие в магазине, видимо, огорчало ее, покупатели раздражали, но она сдерживала себя, временно покорившись судьбе.
И это выражение надменной покорности на лице кассирши вначале поразило нас, а затем вовлекло в непредвиденные расходы.
Вскоре все ящики наших служебных столов были заполнены спичками.
И хотя ни я, ни Венька не хотели признаться даже друг другу, что нас интересует кассирша, со стороны это все-таки было нетрудно заметить.
В магазин мы стали ходить и вместе и порознь почти каждый день и в день по нескольку раз. Покупать нам было, в сущности, нечего, и спички были пока единственным показателем нашей необыкновенной взволнованности.
Сначала мы покупали их по целой пачке, потом по два коробка и, наконец, по коробку, но заговорить с кассиршей не решались.
И странное дело! Чем чаще мы заходили в магазин, тем меньше смелости было у нас.
Мы стали стесняться даже заглядывать в магазин. Нам казалось, что и кассирша заметила нашу заинтересованность, и посторонние люди начинают смеяться.
Однако мы все-таки каждый день, занятые все прибывавшей работой, думали, что именно сегодня как-нибудь случайно увидим кассиршу. Может быть, встретим на улице.
Думали мы, разумеется, каждый про себя. Но я уверен, что Венька думал точно так, как я.
Однажды утром он достал из-под кровати летние сапоги, начистил их до блеска и стал носить вместо валенок каждый день, хотя еще стояли морозы.
В сапогах в обтяжку он выглядел много интереснее. И ясно было, что он носил их теперь специально для кассирши.
Я все-таки спросил:
— Для чего это зимой в сапогах?
Он сказал:
— Мне так легче.
И вдруг вспыхнул, сконфузился. Поэтому я не стал его расспрашивать.
Я сапог не надевал. Я по-прежнему ходил в валенках. Но зато я постоянно придумывал подходящие фразы на случай внезапного разговора с кассиршей. Я верил, что такой случай произойдет. Где-нибудь мы с нею обязательно встретимся.
Взволнованность наша все росла.
Я не знаю, заметил ли это Узелков, но однажды, сидя у нас в дежурке, он взглянул в окно и сказал торопливо:
— Смотрите, смотрите, ребята, вон какая амазонка идет!
Мы подошли к окну. Она шла по тротуару, высокая, стройная, в теплых вышитых унтах, с крошечным чемоданчиком, как артистка.

Я скрыл свое волнение, помолчал секунду и, сколько мог равнодушно, спросил у Якуза:
— Ну, как?… Нравится она тебе?
Узелков еще раз взглянул на нее и, как старичок, в бурной жизни которого было много красивых женщин, давно надоевших ему, презрительно пожевав губами, ответил:
— Не лишена.
У Веньки Малышева лицо налилось горячей кровью. Хмурый, он отошел от окна, будто озабоченный неотложным делом, и вышел в коридор.
Узелков, продолжая смотреть в окно, сказал, ни к кому не обращаясь:
— Я сегодня непременно с ней познакомлюсь. Это, должно быть, экзальтированная девушка. В моем вкусе. Даже в походке чувствуется этакая… экзальтация. — И стал обеими руками надевать чуть полысевшую заячью папаху.
Обещание свое он выполнил в тот же вечер.
Вечером в магазине никого не было. Магазин закрывался. Узелков зашел купить пачку папирос, и кассирша выбила ему последний чек. Он взял папиросы и, закуривая тут же, заговорил с кассиршей, считавшей выручку.
Он, наверное, — я так думаю — распахнул свою собачью доху, под которой у него новая толстовка из чертовой кожи, вязаный шелковый галстук с малиновой полоской посредине и разные жестяные и эмалированные значки.
Не знаю, этим ли, или необыкновенными словами, или еще чем-нибудь он поразил воображение кассирши.
Известно только, что, закончив подсчет выручки, она разрешила ему проводить ее до дому, не обратив, должно быть, особенного внимания на его незавидные внешние данные.
Проводив ее, он в тот же час, хотя было уже очень поздно, прибежал к нам в дежурку и рассказал подробности.
— Она, как мадам Бовари, — говорил он, удовлетворенно сморкаясь в пестрый носовой платок, — совершенно одинокая. И, как я, приезжая. Только из Томска. У нее тут никого нет. Живет на Кузнечной, шесть. Довольно культурная. Разбирается в вопросах. Отец — преподаватель то ли физики, то ли химии. Сама, как и я, еще недавно была на производстве, кажется, в Усолье. Там и вступила в комсомол. Зовут Юля. Фамилия — Мальцева. Приехала сюда случайно. Ей сказали, что тут можно устроиться в клуб, что тут нужны работники. Но ее обманули…
Из всех подробностей нас больше всего удивило, что она комсомолка.
В те времена комсомолки одевались еще на редкость просто, как на плакатах, — стриженые, в косынках, в рабочих башмаках. А у нее были длинные вьющиеся волосы, затейливо причесанные, и в волосах точеная блестящая гребенка.
Нам приятно было узнать, что она комсомолка. Это сближало нас. Но в то же время нам было обидно. Уж кому-кому следовало бы, кажется, первым собрать все сведения о ней, так это нам, а не Узелкову.
Некоторые товарищи, может быть, даже скажут сейчас: какие же вы были работники уголовного розыска, если не могли самостоятельно узнать даже такие простые подробности?
Но работники уголовного розыска, я уверен, так не скажут. Ведь это было не оперативное задание. Это была не служба. Это было — я знаю теперь — наше первое сильное увлечение, лишившее нас необходимой для успеха рассудительности и быстроты действий.
Всякий раз теперь, приходя к нам в дежурку, Узелков обязательно рассказывал что-нибудь о Юле Мальцевой, о ее характере, привычках, вкусах.
— Она задыхается в этой глуши, и ей, мне кажется, приятно, что я иногда провожаю ее, — говорил он однажды вечером, сидя у нас в дежурке и поглядывая на стенные часы. — На прошлой неделе я не зашел за ней, так она даже обиделась. А вчера я просидел у нее почти до двенадцати часов…
— Где это ты просидел у нее? — спросил я.
— Разумеется, дома, на Кузнечной шесть. Она просила меня почитать ей Есенина.
— Она что же, сама не может прочитать?
— Да разве в этом дело? Она просит, чтобы именно я читал. Она находит, что я отлично читаю стихи. А она вполне культурная девушка. Я ей задавал самые сложные вопросы даже

из области физики и химии. И она прекрасно реагирует. Мы с ней вместе, по моей инициативе, перечитали «Мадам Бовари»…
Может быть, нам не так бы было обидно, если бы кто-то другой подружился с этой самой Юлией Мальцевой. Но Узелков…
Я потом часто думал, что люди в большинстве случаев одинаково несправедливо и любят и не любят друг друга. Возможно, что и Узелкова мы не любили несправедливо и поэтому упорно старались не замечать его достоинств, которые, быть может, заметила Юля Мальцева. Ведь какие-то достоинства у него были.
Во всяком случае, успех Узелкова нас раздражал, хотя мы, наверно, сами изрядно преувеличивали его успех и никак не могли понять, чем же он берет.
Я помню, он особенно расстроил нас в тот вечер, когда рассказывал, что просидел у Юли до двенадцати часов. Мы, правда, не поверили ему, но все-таки расстроились.
Выйдя из дежурки на улицу, объятую морозом, мы с Венькой пошли прямо к Долгушину. Обычно мы ходили к нему в субботу, после бани. А это было, кажется, в четверг. Но мы все-таки пошли.
У Долгушина играла музыка. Две худощавые девицы, стоя на возвышении, пели тягучий цыганский романс. Их было видно в стеклянную дверь, отделявшую ресторан от вешалки.
У вешалки, как всегда, стоял огромный начучеленный медведь с белесыми стеклянными глазами, в которых отражался желтый свет керосиновой лампы—«молнии». И ресторан так и назывался — «У медведя».
В этом ресторане до революции кутили богатые купцы, торговцы пушниной, золотопромышленники. Поэтому ресторан был поставлен, как говорится, на широкую ногу, с расчетом на солидного посетителя.
Прежний его хозяин, Махоткин, после разгрома Колчака уехал, говорят, за границу. Уехали и многие его клиенты. Но кое-кто остался, приспособившись к делам и при новой власти.
Приспособился и Долгушин, бывший приказчик купца Махоткина.
В прошлом году он снова открыл этот ресторан, сохранив прежнюю вывеску и прежние порядки.
Публика, однако, стала более пестрой. Но и из этой публики хозяин выделял некоторых посетителей, оказывая им особый почет.
Нас Долгушин обычно встречал у дверей.
Причастный к не очень чистым коммерческим делам, он слегка побаивался нас и, точно желая загладить давнюю вину, заботился и суетился больше, чем надо. Оттеснив швейцара, он сам помогал нам снимать полушубки и говорил возбужденно:
— Пожалуйте, прошу вас, господа.
— Господа в Байкале, — напоминал Венька.
— Ну, извините старичка. Я уж так привык, дорогие товарищи.
— Вам жигаловские волки товарищи, — говорил я.
Долгушин дробно смеялся, будто услышал что-то невероятно смешное, и поспешно семенил впереди нас, крича на ходу:
— Захар, столик прибрать! Начальники пришли! Чистую скатерть!
Нам отводили столик в давно облюбованном углу, из которого удобно было наблюдать всю публику, не привлекая к себе всеобщего внимания.
Долгушин, расточая улыбки, суетился около нас, мешая официанту накрывать стол. Но мы как бы не замечали его. Будто не он был хозяином в этом приятном, хорошо натопленном, сверкающем белизной заведении, украшенном свежими пихтами, кружевными занавесками и бронзовой люстрой с хрустальными подвесками.
Мы презирали Долгушина.
И до сих пор мне непонятно, как мог он, не возмущаясь, терпеть наше такое откровенное к нему отношение.
Впрочем, за этим презрительным отношением скрывалось собственное наше смущение. Нам, комсомольцам, не следовало бы ходить в нэпманский ресторанчик. Но мы все-таки ходили.
Нам нравились здесь и отбивные котлеты, и чистые скатерти. И скажу откровенно, цыганские романсы нам тоже нравились. Они звучали в табачном дыму, как в тумане, далеко-далеко.

Долгушин спрашивал:
— По рюмочке не позволите?
— Нет, — говорил Венька.
— Да у меня ведь, поимейте в виду, не самогонка, у меня настоящая натуральная водочка. Как, извиняюсь, слеза. Имею специально разрешение от власть предержащих…
— Все равно не надо.
— Неужто не пьете?
— Нет.
— А работа у вас тяжелая, — вздыхал Долгушин. — По такой работе, как я понимаю, если не пить… Хотя не наше собачье дело. Угодно, пивка велю подать?
— Угодно, — говорил Венька.
Долгушин, в знак особо почтительного к нам отношения, сам приносил на наш столик пиво, потом отбивные котлеты с картошкой и огурцом, нарезанным сердечком, и в заключение крепкий чай.
Всегда одно и то же, по нашему желанию.
И всякий раз Долгушин удивлялся:
— Какие молодые люди пошли сознательные! Ни водку они не пьют, ни вино. И правильно. Что в ней хорошего-то, в водке? Одна отрава, и только. Совсем бы ее не было.
Мы молчали. Водку пить у Долгушина мы все-таки не решались.
Да водка в те времена и не так уж сильно интересовала нас. Сам ресторанный веселый шум действовал и возбуждающе и успокаивающе.
Мы отдыхали здесь. И лучшего места для размышлений мы не могли бы придумать.
Город тогда еще не восстанавливался после гражданской войны. У города не было средств. Наполовину сожженный и разрушенный колчаковцами во время отступления, он все еще полон был развалин и землянок.
Единственный клуб имени Парижской коммуны помещался в здании бывшего женского монастыря. Но там устраивали только собрания и крутили одни и те же старинные кинокартины с участием Веры Холодной, Мозжухина и Лисенко. А на толстых, древних стенах сквозь свежую окраску проступали лики святых.
В этот вечер мы долго сидели в ресторане. И ни я, ни Венька ни разу не вспомнили вслух ни об Узелкове, ни о кассирше Юле Мальцевой, как будто нас это вовсе не интересовало.
Мы уже готовы были расплатиться по счету и уйти, когда в застекленных дверях показался Узелков.
Он небрежно скинул на руки старика швейцара свою облезлую собачью доху и заячью папаху. Оправил толстовку. Пригладил сухонькими, как у старичка, руками волосы. И, близоруко оглядывая публику слезящимися с мороза глазами, вошел в просторный зал.
— О, — разглядел он нас, — вы, оказывается, тоже не очень-то ортодоксальны — тоже посещаете злачные места!.. Привет частному капиталу! — полуобернулся он к Долгушину.
— Ну, какой у нас капитал! — вздохнул Долгушин. — Весь капитал в нынешнее время ушел за границу…
— Ладно, ладно. Нечего прибедняться. Я не фининспектор, — присел Узелков к нам за столик. — Кофе мне, пожалуйста. — И поднял палец. — Черный! И желательно покрепче…
— Понимаю, — поклонился Долгушин. — А еще что позволите?
— Ну, что у вас там еще есть?
— Например, печенье, пирожные…
— Пирожные? Ну что ж, можно пирожное. Только, пожалуйста, песочное. Я с кремом не люблю…
— Я знаю, — опять поклонился Долгушин.
Был какой-то еле уловимый оттенок в отношении Долгушина к нам и к Узелкову. С Узелковым он разговаривал так, будто им одним, Долгушину и Узелкову, точно известны особые тонкости ресторанной культуры, угасающей в эти тяжкие времена.
И хотя Узелков ничего, кроме кофе с пирожными, не заказал, Долгушин все-таки выразил на мятом своем лице искреннее удовольствие тем, что его посетил такой важный и культурный человек, как Узелков.
А ничего важного, на взгляд, в Узелкове не было. Мне подумалось, что у него и денег нет, поэтому он и не заказал настоящую еду. Но он пил кофе с таким видом, словно только что

хорошо отужинал и лишь из баловства — исключительно из баловства — заказал сверх всего кофе.
Он прихлебывал из маленькой чашечки и одновременно курил, аккуратно стряхивая пепел на лапки фарфорового зайца, поддерживавшего блюдце-пепельницу.
Недалеко от нашего столика под стеклом буфетной стойки тускло мерцали бутылки со сладкой водой и разной величины тарелочки с сыром, кетовой икрой и с копченым омулем. Кивнув на них, Узелков сказал:
— Что единственно прекрасно в Дударях, так это продовольственный вопрос. Даже по сравнению с Москвой здесь прекрасно…
Оказывается, Узелков еще год назад ездил в Москву. Он упомянул об этом вскользь, между прочим. Но мы сразу же заинтересовались его словами.
Венька, облокотившись на стол и подавшись всем корпусом к Узелкову, спросил:
— И на Красной площади был?
— Разумеется…
— А Ленина видел?
Узелков потянул к себе блюдце с чашечкой и опять сказал:
— Разумеется…
У Веньки заблестели глаза.
— Что «разумеется»? Ты скажи прямо: видел Ленина?
— Ты что меня допрашиваешь? — вдруг обиделся Узелков и чуть отодвинулся вместе со стулом.
— Не допрашиваю, — смутился Венька. — Но, понимаешь, это же очень интересно, если ты правда видел Ленина. Где ты его видел?
— Это длинный разговор…
— Ничего. Мы послушаем…
Венька подозвал официанта и заказал ему еще пива, чтобы не сидеть даром. Потом предложил Узелкову:
— Ты себе тоже что-нибудь закажи, какую-нибудь еду. Пирожным этим ты не наешься. Может, у тебя денег с собой нет? Мы заплатим…
— Вы что, хотите сыграть роль… меценатов?
— Да ничего мы не хотим сыграть. Просто нам интересно тебя послушать. Закажи, что хочешь. Посидим, поговорим…
— Страннее у вас отношение, — насмешливо посмотрел на нас Узелков.
И действительно, ему могло показаться странным, что Венька, часто сердившийся на него, вдруг проявил к нему такой горячий интерес и даже хотел угостить ужином.
Узелков от ужина за наш счет отказался. И разговор о Москве у нас тоже не получился, Узелков так и не смог или не захотел — нет, скорее не смог — рассказать нам ничего нового о Ленине, хотя Венька задавал ему множество вопросов. Он крутил его этими вопросами, как ребенок куклу с заводным механизмом, желая угадать, где же у нее душа.
Наконец Венька спросил:
— А почему в Москве ты не поселился, ну, словом, не задержался там?
Узелков допил кофе, доел пирожное и, оставив на тарелке — для приличия — только крошечный кусочек, сказал:
— Мое место там, где я всего нужнее. Сибирь еще долго будет испытывать недостаток в культурных людях.
— Ну, это правильно, — согласился Венька. И еще спросил: — А отсюда когда уезжаешь?
Узелков поиграл ложечкой в пустой чашке и сам спросил:
— А тебе это зачем… знать?
— Просто так, — сказал Венька. — Пива выпьешь?
— Налей.
— Ты ведь приехал вроде, в командировку. Мы так поняли, что ты на время приехал…
— На время, — подтвердил Узелков, подняв стакан. — Но время — понятие растяжимое. Вот я и решил растянуть его.
— Ты, значит, можешь жить по своей воле, где хочешь и сколько хочешь?

— Могу. Но, конечно, до известной степени. Наступит какой-то момент, и я отсюда уеду. Юля Мальцева вчера сказала, что она с ужасом думает о том, как все будет, когда мне придется уехать…
При этих словах Узелкова Венька густо покраснел и опять подозвал официанта, теперь, чтобы расплатиться.
— И за него получите, что он тут пил, — показал Венька на Узелкова.
— Нет-нет, ты уж за меня, пожалуйста, не беспокойся, — запротестовал Узелков. — Я за себя заплачу сам. Странная манера для комсомольца разыгрывать роль мецената…
— Кто это такой меценат? — спросил Венька.
— Меценат — это был такой в древности, — роясь в карманах, стал было объяснять Узелков. — Да, впрочем, что я вам?! Я хочу только заметить, что комсомольцу, пожалуй, не стоит разыгрывать роль благодетеля или мецената…
Но Венька и не собирался разыгрывать никакой роли. Нам обоим просто хотелось в этот вечер как-то приветить Узелкова, потому что за всеми его пышными словами нам почудилось вдруг что-то невыразимо печальное. Может, он и слова эти произносит, чтобы прикрыть какие-то неудачи в своей жизни, о чем он прямо не говорит, но что просвечивается в его круглых галочьих глазах.
Венька даже спросил его:
— Ты какой-то вроде печальный. Дела, что ли, неважные на твоей службе?
— Мыслящий человек, как показывает история человечества, всегда печален, — сказал Узелков. — Вам это, разумеется, не понять. Вы, так сказать, выполняете простые функции. Других интересов, как я догадываюсь, у вас нет. Духовная жизнь вам, иначе говоря, недоступна. Вы ведь даже книг не читаете…
— Это верно, — согласился Венька, не обидевшись.
Хотя можно было бы обидеться. И кто-нибудь другой обиделся бы на Узелкова, на его слова, произнесенные грустным и в то же время почти презрительным тоном.
А Венька только сказал:
— Понимаешь, некогда. И читать некогда, и скучать некогда. Прочитаешь что-нибудь, что по делу надо, и все. А этого, конечно, мало… Да ты пей пиво, — опять налил он Узелкову полный стакан. — Это же не для пьянства — пиво. Оно для здоровья. Ты смотри, какой ты худенький. А от пива ты сразу порозовеешь. И может быть, подобреешь даже…
— Любопытная теория, — усмехнулся Узелков, но пиво выпил.
И Венька снова наполнил его стакан.
— А как ты пишешь? — спросил Венька. — Ты сначала берешь какой-то случай, а потом придумываешь чего-то?
— Придумываю, — насмешливо сощурился Узелков. — Как это ты все вульгарно представляешь себе! — И вдруг почти с ожесточением: — Я создаю определенный интерес к материалу. У нас же есть подписчики. Ты думаешь, это вот так просто — распространять газету? Многие в настоящее время не хотят подписываться. Ведь публика еще весьма… еще ужасно малокультурная. Все время надо давать интересный материал, с изюминкой…
И Узелков щелкнул языком, как тогда, в первый раз, в дежурке, когда мы с ним познакомились.
— И ты, значит, не можешь… не придумывать? — опять как бы потянулся к нему через стол Венька. — Тебя что, заставляют, что ли, придумывать? Это порядок, что ли, такой?
— Порядок, — засмеялся Узелков. — Я пишу для читателя. Меня должен знать читатель. У меня должно быть свое имя. Для читателя я — Якуз. Я не просто беру факты, я их осмысливаю и подаю не только в художественной форме, но и в определенном политическом освещении. В этом смысле моя роль весьма значительна, что, конечно, вам трудно, пожалуй, еще понять…
— Нет, почему! — сказал Венька. — Это мы понимаем, что ты работаешь для политики. Это нужно. Нужно объяснять, какая должна быть жизнь, как все должно быть устроено. Но перехватывать или вроде как привирать, я считаю, не надо…
— Что надо или чего не надо — это, к сожалению, не нам с тобой решать, — многозначительно произнес Узелков и внимательно посмотрел в пустой стакан.
— А что мы с тобой, не люди, что ли? — выплеснул Венька в его стакан остатки пива из бутылки. — Мы все-таки комсомольцы и тоже что-то думаем, обязаны думать…

Узелков достал папиросы, закурил и, поломав в тонких пальцах спичку, сказал:
— Это в ресторане хорошо рассуждать. А жизнь значительно сложнее, чем ты это себе представляешь. Истинно мыслящему человеку недостаточно поесть котлет и запить пивом, вот как вам. Уже древним было понятно, что не единым хлебом жив человек. Особенно, я хочу сказать, истинно мыслящий человек…
И он, казалось, совсем некстати, опять заговорил о Юле Мальцевой. Видимо, не только себя, но и ее он относил к мыслящим людям. Он стал рассказывать, как она прекрасно поет. У нее чистое сопрано. Кроме того, она отлично танцует.
— Но кому нужны в этом городе такие таланты? — вздохнул Узелков. — Кто тут может это понять и оценить? На днях она просчиталась, передала покупателю лишние деньги, и возник такой скандал, что, если бы не отзывчивость некоторых товарищей, она могла бы попасть под суд.
Отзывчивость эту, надо было так думать, проявил сам Узелков. Вот почему он, наверное, и не ужинал, а попил для фасона кофе и накурился, чтобы не томил голод.
Я заметил, как он рассчитывался с официантом и держал в коленях портмоне, чтобы мы не увидели, сколько у него денег.
Мы это сразу заметили, что он не при деньгах. Но дать ему взаймы было неудобно. Он слишком гордый, гордый и в то же время какой-то жалкий.
Непонятно мне все-таки, что нашла в нем Юля Мальцева, если правда, что он ходит к ней почти каждый вечер.
Он рассказывал, как она после работы сама готовит себе обед. Потом, веселая, берет гитару и поет. Больше всего, по словам Узелкова, ей удается «Все говорят, что я ветрена бываю, все говорят, что я многих люблю!».
— И между тем она не лишена серьезных духовных интересов. Мечтает поступить в университет. Упорно занимается и физикой и химией. И увлекается художественной литературой. Прочитала всего Флобера. Особенно ее увлек образ мадам Бовари. Кстати, это и мой любимый образ…
Рассказывая о Юле, Узелков, однако, не воспламенялся. Он сидел все такой же, с виду печальный и скучный. А у меня от его рассказа немножко спирало дыхание. И Венька все больше хмурился, но делал вид, что не слушает Узелкова, а разглядывает публику.
Вдруг Узелков разглядел в глубине зала какого-то знакомого и, оборвав рассказ о Юле, даже не попрощавшись с нами, пошел к нему. Мы, видимо, нужны ему были только до той поры, пока он не увидел знакомого. И тем, что он так поступил, он как бы лишил нас тех добрых чувств, какие мы только что испытывали к нему.
Когда мы вышли из ресторана на пустынную и темную улицу, объятую крепким и звонким ночным морозом, Венька, подымая воротник полушубка, то ли насмешливо, то ли серьезно проговорил:
— Силен Узелков! Ничего не скажешь, силен…
— Нос у него мировой, — засмеялся я. — И уши музыкальные…
— Не вижу ничего смешного, — посмотрел на меня Венька. — Если только на нос и на уши обращать внимание, можно больше ничего не заметить. Если к тому же завидуешь человеку…
— По-твоему, я завидую Узелкову?
— Почему ты? Может, мы вместе ему завидуем…
— В чем?
— Мало ли в чем. Но заметно, что завидуем. Поэтому и сердимся.
— Да в чем мы должны ему завидовать? — возмутился я. — Он настоящий трепач. По—моему, он и в Москву не ездил. И Ленина он не видел. Если б он видел Ленина, он, знаешь, как бы об этом рассказывал? А он ничего не мог нам рассказать. Только что в газетах пишут, он это все сейчас повторил. И в Дудари его послали, может, потому, что он там, в редакции, никому не нужен, а сюда толковые корреспонденты не хотели ехать — боялись…
— А он не побоялся, — перебил меня Венька. — Значит, он не такой трус. А ты на него сейчас обиделся и вспомнил про его нос…
— Из-за чего я на него обиделся?
— Из-за всего. Из-за того, что он вдруг встал и ушел, будто мы пешки какие и ему совсем неинтересно с нами…

— Ну, это верно, — признался я. — Мне стало противно, что он так задается. И еще чего-то говорил про нашу духовную жизнь. Я не люблю, когда задаются…
— А я не люблю, когда собирают ерунду, — вдруг почему-то обозлился Венька. — Я не люблю, когда вот так обидятся, как ты, и начинают собирать ерунду. Мы весь вечер с ним разговаривали, хотели что-то понять. И ничего не поняли. А теперь будем смеяться, как торговки на базаре, что у него такой нос и уши. И он все равно со своим носом делает дела и не спрашивает у нас совета…
Венька не сказал, какие дела он имеет в виду. То, что писал Узелков в газете, ни мне, ни Веньке, в общем, не нравилось. А еще какие дела у Узелкова?
Я спросил об этом у Веньки, но он махнул рукой и больше ничего не сказал.
Мы пришли домой оба на что-то сердитые. Хотя я-то знал, на что я сердит. Мне неприятно было, что Венька как будто взял под защиту Узелкова. Почему это вдруг?
Мы молча разделись и легли спать. Но в эту ночь нам долго не спалось.
Венька ворочался, кровать его скрипела, и мне казалось, что я не сплю, потому что скрипит его кровать. Потом наступила тишина. И в тишине Венька сказал:
— Интересно бы выяснить, чем он все-таки берет?
— Наверно, образованием, — предположил я, зная, что речь идет об Узелкове.
— Образованием? — будто удивился Венька.
Опять койка сердито скрипнула под ним и затихла. Он, видимо, завернулся в одеяло.
Я тоже поправил подушку и попробовал уснуть. Но Венька вдруг сбросил с себя одеяло.
— Не могу привыкнуть спать на левом боку — сейчас же какая-нибудь ерунда приснится. А на правом — больно плечу. Здорово он мне все-таки его ободрал…
— А ты на спину ложись, — посоветовал я. — Или на брюхо.
— Все равно не могу, — вздохнул Венька. — И как он ловко все к месту вставляет: и химию и физику. И эту… Как он говорил?
— Мадам Бовари, — подсказал я.
Мысли наши шли в эту ночь по одному руслу. Я угадывал все, о чем думал Венька.
— Буза, — наконец задумчиво и устало проговорил он. — Мадам Бовари. Подумаешь, невидаль!
Через минуту Венька уже спал, зарыв голову в подушку.
Я встал, напился воды и тоже уснул.
Утром он чистил зубы над тазом и сквозь зубы говорил мне:
— В пиво Долгушин чего-то такое подбавляет. У меня голова болит.
Я сказал:
— Мне тоже показалось.
— Чего показалось?
— Ну, что он что-то подбавляет…
— Надо это проверить, — строго сказал Венька. — Пусть инспекция проверит, и в случае чего надо его взять за жабры.
Потом мы напились чаю, и голова у Веньки перестала болеть.
Ставя на табуретку то одну, то другую ногу, он чистил сапоги и как-то особенно бережно протирал их бархоткой.
Впрочем, он делал это каждый день. Каждый день он или чистил щеткой, или даже гладил горячим утюгом всю свою одежду и тщательно осматривал ее на свету перед окном, проверяя, все ли в порядке.
— Аккуратный, как птичка, — говорила про него наша хозяйка Лукерья Сидоровна, женщина болезненная, слезливая, не сильно любившая нас, поселившихся у нее помимо ее воли — по ордеру из коммунхоза.
В это утро, начищая сапоги, Венька говорил о том, что мы, в сущности, плохо работаем, занимаемся ерундой и вроде топчемся на месте. По-настоящему надо бы уже сейчас, хотя бы на подводах, ехать в Воеводский угол. Нельзя всю зиму ждать, когда будут готовы аэросани. Так, чего доброго, и зима пройдет…

6

За ночь мороз ослабел. Выпал новый снег. Улица была пушистой, веселой.
Мы шли по улице, и я, взглянув на двухэтажный деревянный домик с резными карнизами, пошутил:
— Зайдем в библиотеку.
— Зайди, — сказал Венька.
Я засмеялся.
— Зайди, серьезно, — уже попросил он. — Мне сейчас некогда. Я бы сам зашел…
Я, смеясь, поднялся на крыльцо этого чистенького домика библиотеки, осторожно открыл дверь.
Катя Петухова, увидев меня, растерялась. Подумала, наверно, что я кого-нибудь ищу. И я тоже, заметив ее растерянность, немножко смутился. Она спросила строго, на «вы»:
— Вам что угодно?
Худенькая, белобрысая, в сером служебном халатике, она стояла передо мной и смотрела на меня, точно собираясь обидеться.
Я проговорил смущенно:
— Да вот, понимаешь, Малышев Вениамин — ты же его, наверно, знаешь — попросил меня зайти. Книги тут взять…
— Какие книги? — по-прежнему строго спросила Катя.
Она никак не могла ожидать моего прихода, да еще в такой ранний час: ведь прежде я никогда не заходил в библиотеку. Она, должно быть, ждала неприятностей. Вдруг я спрошу: «Не укрывается ли у вас тут кто-нибудь?» Но я вынул из кармана записную книжку, в которую имел обыкновение записывать, между прочим, замысловатые слова Узелкова, и прочитал ей:
— «Франсуа Рабле», «Мадам Бовари».
— «Мадам Бовари» Густава Флобера, — деловито сказала Катя, уже успокоившись. — Это есть, пожалуйста. В отрывках. А Франсуа Рабле сейчас нет. Да вам зачем вдруг потребовалось с самого раннего утра?
— Надо нам, Катя, — произнес я секретным голосом. — И еще дай, пожалуйста, химию, если есть…
— Химию… — повторила Катя и подставила к полке лесенку-стремянку. — Тебе какую химию?
— Как какую?
— Ну, органическую или неорганическую?
— Обе, — махнул я рукой.
Катя выложила на длинный узкий стол, покрытый линолеумом, несколько учебников химии.
— Выбирай, какую тебе надо. Вот Флобер.
Я выбрал три толстые книги.
— Три нельзя, — отложила она в сторону одну книгу. — И подожди. Я тебя должна записать в карточку.
Я подождал. Катя записывала и говорила:
— Срок — две недели. Прочтешь и приходи снова. Я только не понимаю, почему у вас такой выбор — химия и Флобер. Если решили заниматься самообразованием, надо постепенно. Я могу вам список составить.
— Составь, — попросил я. — Нам только, понимаешь, надо очень срочно.
— Очень срочно, — повторила Катя и улыбнулась снисходительно.
Но я ушел довольный.
«Мадам Бовари» в отрывках мы прочитали в два вечера.
Потом я принес еще несколько книг, рекомендованных Катей Петуховой.

Я не могу сказать, что чтение сильно увлекло нас. «Мадам Бовари», например, просто не понравилась. А химия оказалась настолько непонятной, что мы решили отложить ее до лучших времен.
Надо сказать спасибо Кате Петуховой. Она научила нас составлять конспект прочитанного. А книг в этой библиотеке было много. Еще при царе политические ссыльные завезли их сюда. Короче говоря, нам было что читать. Не хватало только времени, потому что мы не могли распоряжаться им по своему усмотрению. И все-таки мы прочитали за короткий срок немало книг.
И чем больше мы читали, тем сильнее чувствовали, как нам не хватает образования.
А раньше мы этого не замечали.
Нет, неправда, замечали, чувствовали. Но не так, как теперь, когда постепенно пристрастились к чтению.
Было бы неправильно, однако, считать, что чтением мы занялись только под влиянием Узелкова и только для того, чтобы привлечь к себе внимание и возвыситься в глазах Юли Мальцевой.
Мы занялись бы чтением все равно. Но Узелков, конечно, был первым, кто стал колоть нам глаза нашим невежеством. А потом мы сами удивлялись, как это мы раньше могли жить, не читая, когда все, ну буквально все вокруг нас читают или чему-нибудь учатся.
Это может в нынешнее время показаться странным, но я помню: после каждого комсомольского собрания, где лекторы говорили о социализме, о том, какая жизнь будет при социализме, нас с Венькой стала охватывать тревога.
Нам казалось, что при социализме мы, чего доброго, окажемся самыми отсталыми. Ну что мы действительно будем делать? Мы даже обыкновенную школу не закончили. А при социализме все будут культурными, все должны быть культурными.
Однажды вечером Венька читал брошюру Ленина «Задачи союзов молодежи».
И в это время к нам заглянул наш дружок Васька Царицын — очень хороший паренек, работавший монтером на восстановлении электростанции.
Он шел на репетицию в драмкружок. И вот по дороге зашел к нам. Поболтали о том о сем. Васька рассказал нам анекдот, но мы как-то не сразу засмеялись, и он спросил, почему мы сегодня такие невеселые.
— Да так, — сказал Венька. — С чего особенно веселиться-то?
— Ну, все-таки… Вы уж что-то очень невеселые, — заметил Царицын. И посмотрел на брошюру: — А это чего вы читаете? Готовитесь, что ли, к чему?
— Ни к чему не готовимся. Просто так читаем, — сказал Венька. И спросил: — А ты это читал?
— Нет, — засмеялся Васька. — Я в руководящие товарищи не лезу. Мне и так не худо…
— Да при чем тут руководящие! — возмутился Венька. — Это каждый комсомолец должен прочитать. Я это в прошлом году читал, но как-то не все уяснил. А вот сейчас — слушай…
И он стал читать подчеркнутое карандашом:
— «Коммунистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество». Или вот опять: «Коммунист будет только простым хвастуном, если не будут переработаны в его сознании все полученные знания».
— Ну и что? — спросил Васька. — Я это знаю. У нас еще когда такой доклад был, на электростанции…
— Нет, вот я хочу тебя спросить, — сказал Венька. — Ты вот мне ответь. Ты, например, можешь стать коммунистом?
— Могу, — твердо ответил Царицын. — У меня две рекомендации, и меня еще рекомендует комсомольская ячейка.
— Это само собой, — сказал Венька. — Рекомендации и у меня есть. Но вот могут ли из нас получиться сейчас коммунисты?
— А почему? — опять засмеялся Васька. — Ты думаешь, нам будут экзамен устраивать, проверять, переработали ли мы все знания? Да я встречаю таких коммунистов, которые даже того не знают, что мы с тобой знаем. У нас на станции работает старичок Михей Егорыч, тоже старый коммунист. Он еще в тысяча девятьсот пятом участвовал. Но он может работать только слесарем. Он и сам в инженеры не стремится. А между прочим, коммунист…

— Нет, с тобой не сговоришься, — сказал Венька. — Ты просто не понимаешь, чего тебе говорят. Ты боишься только экзамена и радуешься, что тебя не будут экзаменовать. А совесть?
— Что совесть?
— Совесть коммунистическую надо иметь или нет?
— Совесть у меня имеется, — с достоинством заявил Царицын и посмотрел на свое отражение в темном оконном стекле. — Но ты ведь, Венька, все берешь в идеальном виде. А если в идеальном брать, так нас всех до старости нельзя будет принять в коммунисты. Вот, скажем, так. В драмкружке мне дали сейчас играть генерала Галифе. Юрий Тихонович, наш режиссер, говорит, что я на него нисколько не похожий. И вообще эта роль не для меня. Но больше сыграть некому. Значит, буду играть я. И публика ни за что не догадается, похожий я на него или непохожий. Тут же у нас, в Дударях, никто генерала Галифе не видел. Штаны галифе видели, а генерала такого никто не видал.
— Ну да, — мотнул головой Венька. — Во всяком деле можно словчить и всех обмануть, но коммунист ловчить не должен. Не имеет права ловчить.
Васька чуть обиделся и сказал, что он никогда не ловчил и ловчить не собирается. Конечно, он не участвовал в пятом году и даже на гражданской войне не был, но если начнется война с капиталистами, как пишут в газетах, он не хуже других пойдет на фронт и покажет, что он настоящий, идейный коммунист. А что касается переработки знаний всего человечества, то он собирается поступить на рабфак. И если потребуется, он все эти знания переработает. А в чем дело?
— Вот это здорово! — позавидовал Венька. — А я, к сожалению, поступить не могу.
— Почему?
— Потому что… Ну, словом, потому что я еще в детстве слабо учился. Хотя возможность была. Мой отец работал на железной дороге, хорошо зарабатывал. Хотел, чтобы я выучился. Но у меня большая задумчивость в детстве была. Учитель на уроке, бывало, объясняет, и я сначала слушаю. Потом чего-то такое задумаюсь, и все, что рассказывал учитель, из головы уйдет. Дальше я уж стараюсь его слушать, но мало что понимаю, поскольку часть пропустил. А раз я не понимаю, мне уже скучно слушать. Поэтому многие учителя меня считали бестолковым…
Васька засмеялся.
— Ничего смешного тут нет, — сказал Венька. — Может, я не один такой бестолковый. Может, много таких. Но тогда надо бы нас учить как-то по-особому. Но ведь учат, как стригут — всех под одну гребенку. Вот при коммунизме, наверно, по-другому будут учить. И все будет по-другому. При коммунизме…
Васька Царицын перебил его:
— При коммунизме много чего будет. Но надо сначала всех бандитов и жуликов переловить. И сделать так, чтобы больше не жульничали и не спекулировали. А то вот мы про коммунизм разговариваем, а у нас сегодня ночью на электростанции весь свежий тес увезли, украли. Наверно, частникам продали…
— Вы заявили? — спросил я.
— Заявили.
— Ну, значит, найдем.
— Найти — это мало, — сказал Васька. — Надо это все вообще прекратить, всякое воровство и жульничество, чтобы этого никогда не было. Хотя, — Васька опять засмеялся, — хотя, если это все прекратится, вы-то с Венькой куда денетесь? Вы же тогда безработными будете!
— Почему это? — возмутился я. — Венька может работать слесарем. Он уже работал немножко. И я тоже куда-нибудь поступлю. Или пойду обратно в Чикиревские мастерские…
— Ну, куда вы теперь поступите? Вон какая безработица! — кивнул на темное окно Васька. — На бирже труда прямо сотни людей топчутся. Нету никакой работы…
— А что, она вечно, что ли, будет, безработица? — спросил Венька сердито. — Ты считаешь, что безработица будет вечно?
— Не вечно, но все-таки, — замялся Васька. — Моего отца опять сократили по штату…

Вспомнив об отце, Васька вдруг заговорил о женитьбе. Ему, оказывается, прямо в срочном порядке надо жениться.

Очень тяжелое положение в семье. Мать недавно умерла, отец-печник с горя запил, продает на барахолке последние вещи. Маленькие сестренки и братишка остались без присмотра. Что делать? Надо жениться, чтобы в доме была хозяйка. И у Васьки уже есть на примете одна. Хорошенькая, аккуратненькая. Приезжая. Но за ней увивается корреспондент. Как охотничья собака, повсюду за ней ходит. Не дает поговорить. А она кассирша…

Венька наклонил голову над столом, потом встал из-за стола и открыл шкаф, будто ему что-то потребовалось.

А я спросил Ваську:

— Это какая же кассирша?

— Да вы, наверно, не знаете, — сказал Царицын. — Из продуктового магазина кассирша. Бывший Махоткина магазин, как раз против вашего учреждения. Мальцева Юля ее зовут…

Мне стало очень обидно: «Даже Васька Царицын уже с ней познакомился. И собирается даже жениться. А мы…»

Венька, наверно, тоже так подумал. Он закрыл шкаф и сердито сказал Ваське:

— Ну что же, желаю тебе счастья с этой кассиршей…

— Да нет, — вздохнул Васька. — У меня, наверно, с ней ничего не выйдет. Этот корреспондент Узелков и на репетиции ее провожает, и с репетиций. Я же говорю, как охотничья собака…

— А какие репетиции?

— Да я же рассказываю: у нас в драмкружке. Мы сейчас вот здесь в школе репетируем, сегодня в костюмах. Пьеса из жизни Парижской коммуны. Эта Юля Мальцева, кассирша, будет играть Мадлен Дюдеван. Юрий Тихонович, наш режиссер, ей прямо в глаза говорит: «Вы прелестный цветок». Она будет умирать на баррикадах…

Васька взглянул на наши ходики и обомлел…

— Ой, да я опаздываю!

Он замотал шею красным шарфом, как у настоящего артиста, натянул телогрейку и побежал к дверям.

У дверей он еще раз оглянулся.

— Если хотите, ребята, можете зайти на репетицию. Это тут рядом. Мы сегодня первый раз репетируем в костюмах…

Я предложил Веньке, смеясь:

— А в самом деле, давай сходим посмотрим? Интересно.

— Давай, — согласился Венька.

7

В школе во всем здании было темно.

Только на втором этаже горела маленькая керосиновая лампа.

Мы поднялись по деревянной лестнице, прошли по коридору, где сильно пахло пудрой и палеными волосами, приоткрыли дверь в большой зал.

И сразу же навстречу нам вышел лысый человек в черной бархатной блузе с белым бантом.

— Вы участники? — спросил он. — Из массовки? Ну, что вы молчите? Немые?

Мы привыкли отвечать, что мы из уголовного розыска. Но на этот раз мы промолчали, потому что все это к уголовному розыску не имело никакого отношения. А что такое массовка, нам было неизвестно.

Мы смотрели не на лысого человека, а на Юлю Мальцеву, которую хорошо было видно в приоткрытую дверь.
Она, не замечая нас, сидела перед зеркалом и держала над головой закопченные черные щипцы для завивки. Значит, это ее палеными волосами и ее пудрой пахло в коридоре и на лестнице.
Других девушек в этом зале, где готовились к репетиции, как будто не было.
— Ну, в таком случае извините, — насмешливо расшаркался перед нами, как на сцене, лысый человек. — У нас репетиция. Посторонним нельзя.
Нам надо было вызвать в коридор Ваську Царицына. Он же нас пригласил. Но мы не решились. И ушли, подавленные, кажется, больше всего этим словом — посторонние. Посторонним нельзя.
Нам везде можно. Когда дело связано с опасностью, когда могут убить, поранить, искалечить, нам всегда можно. А вот здесь нельзя.
И огорчаться как будто не из-за чего. Но мы почему-то сильно огорчились.
Переходя через улицу, мы увидели под фонарем заячью папаху Узелкова. Он шел в школу на репетицию драмкружка, чтобы потом проводить домой Юлю Мальцеву. Ну да, ему, конечно, можно… Он везде пройдет. И все другие раньше нас пройдут повсюду. И на репетиции в разных драмкружках, и на рабфаки. Да и женятся, наверно, удачливее нас.
А мы повсюду опоздаем. Нас обгонят все, хотя, быть может, мы и не самые бестолковые, не самые некрасивые.
Мне до той поры никто никогда так не нравился, как Юля Мальцева.
Я и сейчас, закрыв глаза, могу испытать волнение, представив себе тогдашнюю Юлю Мальцеву во всем ослепительном блеске, во всей прелести ее неполных восемнадцати лет. До сих пор в моей памяти живут ее большие, навсегда удивленные, насмешливо-озорные и добрые глаза, ее волнистые, легкие волосы.
Вся она, веселая и грустная, медлительная и быстрая, с гибким и сильным телом, живет в моей памяти.
Но когда я, как возможный, соперник Веньки, сравнивал себя с ним, мне понятно было, что не меня, а именно Веньку Малышева должна бы полюбить такая девушка.
Мы, кажется, в одно время с ним вступили в комсомол, в одно время, хотя и в разных городах, были зачислены на Эту работу. Мы прочитали с ним одни и те же книги. И опыт жизни наш, и возраст были почти одинаковы. Но все-таки я считал его старше себя, умнее, опытнее и, главное, принципиальнее.
Уж, конечно, если не меня, так Веньку должна была бы полюбить Юля Мальцева, но никак не Узелкова. Позднее, однако, я наблюдал, что красавицы не всегда достаются красавцам. Даже чаще красавицы в конце концов выходят за таких, как Якуз. И кажется, не очень жалеют об этом.
А тогда, в тот далекий, на редкость тоскливый вечер, когда мы не попали на репетицию и острый запах паленых волос и удивительно пахучей пудры преследовал нас и на улице, я озлоблен был на несправедливость судьбы.
Весь остаток вечера я не мог найти себе подходящего занятия. Я не мог ни читать, ни играть в шашки. Да и играть было не с кем.
Венька, когда мы пришли домой, сразу сел писать письмо матери. И писал его долго. Потом заклеил конверт и понес бросить в почтовый ящик. Глаза у него были задумчивые.
Я сказал внезапно, должно быть нарушив его настроение:
— А все-таки, ты знаешь, Венька, работа у нас, вот я думаю сейчас, очень неважная. Хуже, наверно, ни у кого нету…
Венька посмотрел на меня недоуменно.
— Работа тебе не нравится? Ну что ж, можешь бросить…
— Да не в том дело, — смутился я. — Но ведь правда, у нас такая работа, что мы все время точно неприкаянные. А вот такой человек, как Узелков, везде пройдет…
— Брось ты этого Узелкова. Надоело, — поморщился Венька. И вышел на улицу, унес письмо.
Вернувшись, он сейчас же разделся и лег спать. Я тоже лег и погасил лампу. И уже впотьмах спросил:

— А как ты считаешь: если мы, допустим, не запишемся в рабфак, но будем читать только те книги, которые проходят в рабфаке, можем мы получить такое же образование, как все?
— Утром поговорим, — сказал Венька.

Утром на пустыре наш начальник оглядывал уже восстановленные полностью аэросани. Пахнущие свежей краской, они стояли на пушистом снегу, как гигантский кузнечик. И начальник, похлопывая по их темно—зеленому корпусу, говорил:
— Теперь мы сможем пройти куда хочешь. В любую погоду. Сможем прощупать медведя в самой его берлоге, когда он нас и не ждет вовсе…
— За проходимость этих саней я теперь целиком и полностью ручаюсь, — заверял начальника, вытирая паклей руки, механик. — Везде, повсеместно пройдут…
— Как Узелков, — подмигнул мне Венька. И я понял, что он ночью тоже думал об Узелкове, но только, может быть, из самолюбия не хотел лишний раз говорить об этом.
А сейчас сказал и улыбнулся. И я улыбнулся. И в ту же минуту Узелков как будто перестал интересовать нас.
Нам опять было некогда. Начальник собирал, как он говорил, весьма ответственную экспедицию в Воеводский угол.
Мы с Венькой побежали домой, чтобы одеться потеплее.
У ворот уголовного розыска Веньку, задержал наш сухопарый фельдшер Поляков.
— Я хочу, товарищ Малышев, сегодня еще раз посмотреть твое плечо. И еще я намереваюсь показать тебя приезжему доктору Гинзбургу…
— Некогда мне, Роман Федорович, — сказал Венька. — Я уезжаю сейчас, сию минуту…
— Ну, тогда смотри! — погрозил Поляков. — Я в таком случае снимаю с себя всякую ответственность…
— Снимайте, — весело сказал Венька.
Уже самая возможность дальней поездки на аэросанях воспламенила нас.
Венька боялся, что Поляков, осмотрев его плечо, помешает ему поехать в Воеводский угол.
Мы забыли обо всем, когда наконец, тепло одетые, уселись в эти необыкновенные сани.
Механик, уже облаченный в шоколадного цвета кожаное пальто, застегнул на подбородке две пуговицы от кожаного же шлема, натянул только что выданные рукавицы с длинными отворотами, нажал ногой на рубчатую педаль, передвинул рычаг с костяным набалдашником. И сани, осторожно выкатившись из города, вдруг с хрустом, с треском и завыванием помчались по необозримой снежной поляне, оставляя позади себя на пушистом снегу тройной след от широких лыж.
Нет — казалось мне в детстве, в ранней юности и кажется до сих пор, уже изрядно побродившему по разным краям, — нет на свете красоты, способной затмить в нашей памяти красоту, и величие, и волшебство могучей сибирской природы.
Даже зимой, когда леса и реки, равнины и горы укрыты снегами и охвачены крепчайшими морозами, сам простор неоглядный вселяет в душу невыразимую радость, внушает бодрость и настраивает на особо торжественный лад.

8

Где-то в глубине тайги, в глухих чащобах, под укрытием из смолистых коряжин или каменных плит, расщепленных дождями, и ветрами, и морозами, притаились до поры в своих душных берлогах матерые медведи. И так же до поры до времени притаился где-то здесь в снегах со своей неуловимой многочисленной бандой знаменитый Костя Воронцов,

неустрашимый кулацкий сын, «император всея тайги», как он сам называет себя то ли в шутку, то ли всерьез.
Только пар от медвежьего дыхания, оседающий подле берлоги и мгновенно застывающий в морозные дни в виде блесток пушистого белого инея, показывает, где величественно почивают медведи. И все население тайги — и косуля, и заяц, и лиса — почтительно и робко обходит жилища хозяев леса.
И так же робко обходят и объезжают бандитские логова жители заимок и деревень.
Впрочем, не все, далеко не все робеют здесь перед Костей Воронцовым. Некоторые даже с надеждой взирают на его банду. Может, Костя еще утвердится по-настоящему. Может, ему как-нибудь помогут из-за границы. Может, он в гамом деле станет «императором всея тайги».
Ведь не первый год его колошматят разные ударные группы и ОГПУ, и уголовного розыска.
Летом прошлого года особый отряд сильно потрепал его банду и здесь, в Воеводском углу, и в Колуминском уезде, куда уходила она от преследования. Казалось, что от банды его остались только жалкие охвостья, которые легко доколотит уголовный розыск. Поэтому особый отряд продвинулся дальше на восток, чтобы там громить еще большие банды.
К тому же в конце лета пронесся слух, что Воронцов утонул во время переправы. Рыбаки будто где-то выловили его труп.
Об этом была напечатана заметка в губернской газете «Знамя труда». И в заметке было высказано такое суждение, что с бандитизмом вообще, будет скоро покончено.
Воронцов, однако, обманул всех. Глубокой осенью он опять объявился в Воеводском углу. Здесь, в знакомых местах, он и зазимовал, стягивая к себе остатки разбитых отрядов и отрядиков, в которых верховодили колчаковские офицеры.
Может, он знает какой-то секрет неуловимости. Может, он еще войдет в полную свою силу. А там, глядишь, наступят перемены и в Москве. Может, все еще повернется обратно к старому.
Очень бы хотелось богатым сибирским мужикам, чтобы все повернулось к старому.
Однако надежд своих они открыто не высказывали и даже делали вид, что политика их вовсе не интересует. Мы народ, мол, темный, таежный. Пусть, мол, там уже где-то в городах решают, какая политика будет получше. А наше дело — хлебопашествовать, смолокурничать, выжигать древесный уголь, промышлять пушного зверя и сплавлять по быстрым рекам строевой лес.
Этот лес шел всегда даже в Англию. А пушнину охотно брали и во Францию, и в Германию, и в Америку.
Не худо жили в Воеводском углу. Хотя, конечно, не все здесь жили хорошо.
Здесь, как повсюду, были богатые и бедные. И бедных, как водится, было больше, чем богатых.
Бедным могла бы понравиться Советская власть. Но она здесь еще не дала того, что сразу почувствовали бедные крестьяне Центральной России. Она не распределяла помещичьих земель, которых не было здесь.
Она пока что не столько давала, сколько брала. И не могла не брать. Она брала в первую очередь хлеб, чтобы поддержать голодающее население центральных губерний.
Она обещала дать взамен по дешевой цене и в скором времени сарпинку и ситец, керосин и соль. Но пока что обещания свои она выполнить не могла.
Она недавно отвоевалась, совсем недавно приступила к хозяйственным делам, эта новая власть, разгромившая тут, в Сибири, Колчака. Ее нехватки, просчет, неопытность были пока еще виднее ее преимущества. И этим пользовались противники новой власти, запугивая темное, суеверное население грядущими бедствиями.
— Грядет сатана во образе человеческом! — провозглашал с амвона сельский священник и указывал приметы сатаны, удивительно совпадавшие с приметами всего нового, что входило в эти годы в жизнь вместе с Советской властью.
И новые школы, и избы-читальни, и медицинские пункты; организованные в самых глухих таежных углах в первые советские годы, противники власти объявляли делом сатаны, дьявольским наваждением.

Нелегко было тем, кто насаждал новые порядки. Да и тем, кто симпатизировал им, было не легче, когда на каждом базаре, в каждой потребиловке только и шли разговоры о том, как наказывает Костя Воронцов активистов Советской власти, как нещадно он губит сельсоветчиков и кооператоров, избачей и заезжих лекторов, всех пропагандирующих Советскую власть.

А его покарать Советская власть все еще не может. Нет, никак не может. Воронцов угрелся в самых надежных чащобах тайги, куда не проедет, не пройдет сейчас по глубокому снегу ни конный, ни пеший.

Снегу намело в эту зиму видимо-невидимо. Однако снег на равнинах и на таежных полянах уже тяжелый — предвесенний.

Только что отгуляли с дракой, с лаем и мяуканьем бурные свадьбы свои лисы, рыси и росомахи.

Скоро и медведи начнут грузно поворачиваться в берлогах, начнут чесаться, скоблить когтями подошвы лап.

Скоро снег просядет, побуреет и сойдет.

Медведи выберутся на простор, пойдут искать пользительный медвежий корень — этакие луковицы, что растут потаенно на увалах, под камнями.

Подоспеют к этому времени и синие цветочки прострела, и почки на молодом осиннике — все, чем любит питаться медведь в первые дни весны.

Все уготовано для него заранее, в положенные сроки.

И так же заранее бандитские связчики, богатые мужики, что живут нетревожимо на заимках и в деревнях, заготовят все необходимое для Кости Воронцова: и боеприпасы, и продовольствие, и подходящих лошадей. И составят списки тех, кого накажет «император всея тайги» лютой смертью за надежды на лучшую жизнь.

Вот в какое время едем мы в Воеводский угол. Мы, конечно, и не рассчитываем захватить банду Кости Воронцова в ее логовах. Для этого у нас сейчас не хватит сил. Мы хотим только еще раз познакомиться с условиями, в которых будем действовать весной, и летом, и глубокой осенью.

А пока на равнинах, и горах, и на вершинах глухо шумящих лесов все еще искрится чуть отливающий голубизной снег. И когда наши аэросани с протяжным завыванием и треском поднимаются в гору, видно издали, как чернеют среди снегов заимки и деревни, расположенные близ пока недвижимых, замерзших рек. Видно, как синеют дымки над трубами. И хочется думать, что здесь течет мирная жизнь. Но мы-то знаем, что это не Так.

В деревне Сказываемой, что вон еле виднеется у самого края леса, недавно заживо распяли на кресте молоденькую приезжую учительницу. Говорят, она хотела организовать здесь комсомольскую ячейку. И больше ничего о ней не говорят.

Старший милиционер Семен Воробьев, прибывший на место происшествия на своей мохнатой кобыленке, увидел учительницу уже мертвой, раздетой донага. Виновных обнаружить ему не удалось. И следов, ведущих из глубины тайги, из тех мест, где скрываются, по слухам, банды, он тоже не нашел.

Не нашел он виновных и в таких деревнях, как Мачаево, Солотопы и Варнаки, где недавно неизвестные преступники убили заезжего доктора, разоблачавшего знахарей, сожгли в избе-читальне избача, повесили селькора и утопили в проруби двух активных делегаток.

Не успевает старший милиционер Семен Воробьев вовремя объехать весь обширный свой участок, на котором, как утверждают лекторы, могут разместиться без труда, не толкаясь локтями, две Швейцарии.

Воробьев приезжает к месту происшествия каждый раз, когда преступление уже совершено. Да и что он может сделать, если он только считается старшим милиционером, а младших тут вовсе нет?

Не хватает еще у Советской власти средств на содержание больших штатов. И Воробьев надеется в своей опасной деятельности только на поддержку активистов из населения. Их немного, но они все-таки есть. Есть серьезные, стойкие люди, добровольно помогающие Воробьеву.

Война оставила в деревнях и на заимках немало оружия. Его припрятали и те, кто связан с бандитами, и те, кто обороняется от бандитов.

Воробьев все время изучает население, вглядывается в него, выясняет, кто чем дышит. Но все-таки неважно идут дела у Воробьева.
Наш начальник, остановив аэросани у деревни Дымок, вызывает к себе старшего милиционера, долго, надев очки, просматривает протоколы дознаний, составленные старшим милиционером, хмурит густые заиндевевшие брови, сердито, натужно сопит.
Потом спрашивает:
— Для чего ты это пишешь, Воробьев?
— Ну как для чего? Для представления…
— Вот именно, для представления, — говорит начальник. — Только для представления ты это и пишешь, а не для дела. А это значит что? Это значит, что ты сам себя не оправдываешь. Не оправдываешь возложенную на тебя… Чего?… миссию. Вот именно…
— Не оправдываю, — скорбно соглашается Воробьев. — Это я сам чувствую, что не оправдываю эту, как говорится, как вы сказали… Это правильно. Не оправдываю. Иначе и вам бы не пришлось приезжать сюда на такой тем более шумной машине. Я бы сам лично поймал и Кинстинктина Воронцова, ежели б это в моей силе и возможности…
— Значит, ты это признаешь?
— Признаю.
— Ну, тогда садись к нам в сани, — говорит начальник. — Будем действовать вместе.
У Воробьева застывают в испуге выкаченные глаза.
Вообще-то бесстрашный человек, не однажды простреленный и заживлявший свои раны целебными травами, он сидит сейчас, уцепившись обеими руками за сиденье, и его, похоже, бьет лихорадка.
Он приходит в себя, только когда аэросани, обогнув неоглядную снежную равнину, останавливаются.
Начальник приказывает нам стать на лыжи, чтобы без шума пройти по заимкам, где живут, как известно Воробьеву, заядлые бандитские связчики.
На заимке Распопиной и у Пузырева озера проживают две любовницы Кости Воронцова — Кланька Звягина и Анфиса Большакова. Говорят, что с Анфисой он больше не живет, он будто бы еще прошлым летом ее бросил. А на Кланьке Воронцов предполагает жениться в официальном порядке, как утверждает Воробьев. Уж больно хороша она, по мнению Воробьева. Не девка, а просто ягода, огонь.
Нет, мы не собираемся их арестовывать, этих любовниц. Мы даже не берем с собой Воробьева, чтобы никого не пугать его новенькой, недавно выданной милицейской формой. Он вместе с начальником и механиком остается у аэросаней.
А мы, шесть сотрудников, по двое разбредаемся на лыжах по ближайшим и дальним заимкам, или, иначе сказать, по хуторам.
За последнее время у нас скопилось немало агентурных сведений из Воеводского угла. Не все они проверены. Вот случай, когда хоть некоторые можно проверить.
Можно проверить кое-что и из показаний арестованных бандитов. Все-таки мы не напрасно так долго возились с остатками банды Клочкова. Кое-что мы из них выудили. И даже Лазарь Баукин, наверно, не все сочинил на допросах перед своим побегом. Не может быть, что он все сочинил.
Я во всем доверяюсь Веньке. Я и должен ему доверяться как помощнику начальника по секретно-оперативной части. Его память хранит десятки фамилий, адресов, фактов. И он уверенно идет на своих коротких и широких лыжах впереди меня, вдоль кромки тайги, по искристой снежной целине, то спускаясь в низину, то взбираясь на пологий увал.
Исключительно для порядка, может быть, он советуется со мной:
— Давай махнем прямо на Распопино? А по дороге в Шумилово зайдем…
— Давай, — соглашаюсь я, хотя не очень ясно представляю себе, где это Распопино и где Шумилово.
В Воеводском углу я был всего один раз, прошлым летом во время крайне неудачной операции, когда тут убили двух наших сотрудников. Но это произошло, мне помнится, где-то недалеко от тракта, близ деревни Гудносовой. А сейчас мы забрались, должно быть, в самую сердцевину Воеводского угла.
Венькины лыжи хрустят и повизгивают, прокладывая след в непромятом снегу, а мои почти неслышно скользят по готовой лыжне.

Венька отталкивается только одной палкой. Вторую он зажал под мышкой. Наверно, у него все еще болит плечо.
Я говорю, догоняя его:
— Может, мы немножко отдохнем?
— Ты что, устал?
— Нет, но у тебя плечо…
— А, ерунда! — говорит Венька, опять спускаясь в низину. И кричит обрадованно: — Гляди, гляди, дымки! Это Шумилово. Значит, до Распопина отсюда восемь верст. Ну, не восемь. Это только так считается. А верст двенадцать будет.
Мы спускаемся в низину, потом подымаемся на крутой увал, и нас обдает среди снежного холодного сияния горячим и острым запахом спиртового пламени. И к этому запаху тотчас же примешивается густой и тошнотворный запах барды.
— Вот сукины дети! — останавливается Венька.
В Дударях и в ближних к Дударям деревнях мы вывели за последние месяцы почти всех самогонщиков. Во всяком случае, если там еще и гонят, то в строжайшей тайне — так, чтобы и запах дыма не проникал на улицу.
А здесь самогонщикам раздолье. Никто не тревожит их.
И мы не потревожим. Мы сворачиваем в Шумилово, чтобы, как говорит Венька, навести справки.
Я остаюсь на улице, а Венька ходит по избам. Благо их здесь всего девять. И он заходит не во все.
О чем он разговаривает в избах, я и не знаю. Я могу только догадываться.
В одной избе он сидит минут двадцать и выходит из нее растерянный.
— Не знаю, правда или нет, — говорит он мне, — но жена Баукина божится, что мужа не было…
— Какого мужа?
— Ну, Лазаря Баукина. Забыл, что ли? Это ж его изба…
Я с удивлением смотрю на заваленную снегом избу с покосившейся колодой окна, с разрушенным крыльцом.
— А жене недавно коня дали, — продолжал Венька. — Ну не дали, а вроде продали, но по дешевке, как беднячке. Наверно, действительно не знают, что у нее муж бандит…
Венька заходит в крайнюю избу. А я стою на улице и смотрю на крышу баукинской избы и на окружающие ее постройки, на изломанное полотно ворот, укрепленное на двух могучих столбах из листвяговых бревен, врытых, может быть, полстолетия назад. Да, хозяина здесь, видать, давно не было…
Из крайней избы Веньку провожает на крыльцо рослый мужик в домотканой рубахе без опояски, с черной, наискось опаленной бородой. Они о чем-то продолжают негромко разговаривать. Потом, уже спустившись с крыльца, Венька спрашивает:
— Бороду-то где ты опалил? У аппарата?
— Ну да, у него, комуха его задави! — смеется мужик. И теперь я замечаю, что он пьяный. Ему и в голову, наверно, не приходит, что мы из уголовного розыска, а то зачем бы ему так весело признаваться, что бороду он опалил у самогонного аппарата?
— А милиционер-то этот, Воробьев, вас не беспокоит? — еще спрашивает Венька, становясь на лыжи.
— Да как не беспокоит! Надоедает. На той неделе здесь был. Штраф требовал. Говорит: «Посажу». Да ну его к козе под хвост…
Конечно, этот мужик не догадывается, кто мы и откуда. По виду нас можно принять за кого угодно, но только не за работников уголовного розыска.
И в Жалейках и в Карачае, где мы останавливаемся ненадолго, никто не обращает на нас особого внимания.

9

Только в Распопине после краткого разговора Веньки со стариками нас сами жители начинают почтительно называть модным для той поры словом «представители». И девчушка в огромных валенках на босу ногу, скатившись с крыльца, кричит:

— Эй, тетка Матрена, заходите к нам! У нас в избе представители сидят. Будут сейчас политическую беседу проводить…

И вот мы с Венькой, пробежав на лыжах по снежной целине верст десять или пятнадцать, сидим в просторной, теплой избе, пахнушей сушеными грибами и травами, свежевыдубленной овчиной и печеным хлебом.

Нас окружают разные люди — старики и молодые, женщины и мужчины, хозяйственно-спокойные, с благообразными лицами.

Не верится, что среди них есть бандиты или сочувствующие бандитам, способные заранее приготовить крест и потом, не дрогнув, заживо распять на том кресте молодую учительницу. Не все же тут бандиты. Но бандиты здесь все-таки есть.

И поэтому мы с Венькой, беседуя, как говорится, не развешиваем уши. Мы даже сидим не рядом, а на некотором расстоянии друг от друга: он — в углу, под образами старинного письма, под огромной, в бронзовой оправе лампадой, а я — у самых дверей, на широкой, чисто выскобленной лавке — с таким расчетом, чтобы в случае опасности не оказаться зажатым в этом сборище с виду добродушных и в то же время настороженных людей.

Беседу ведет почти все время Венька, а я молчу, и мне больше всего хочется поскорее, пока светло, уйти отсюда и двинуться дальше. Может, нам еще сегодня удастся увидеть Кланьку Звягину. Правда ли, что она так хороша, как рассказывает Воробьев?

Но красивых и хорошеньких сейчас вокруг нас немало. Даже обидно, когда смотришь на некоторых, что они так далеко живут, что их тут немногие видят.

Иную неплохо бы вывезти куда-нибудь в Иркутск, в Красноярск, в Ново—Николаевск или даже в Москву, чтобы все посмотрели, какие у нас в Сибири, в глухих, таежных местах, красавицы обитают, выросшие на просторе, на чистом воздухе, выкормленные густым молоком, очень жирным, как сливки, пахнущим цветами и травами.

В избу набивается все больше народу.

Люди стоят уже плотно друг к другу, прислонившись к стенам и наваливаясь на стол, за которым сидят Венька и хозяева избы — степенный дедушка с блестящей, голой, словно намазанной маслом головой и с жидкой седенькой бородкой, его молоденькая дочка с быстрыми, жадными глазами, в красной с белыми горошинами кофточке, и старуха жена, костистая, суровая, дышащая открытым ртом, в котором желтеет на нижней десне единственный зуб.

В избе становится душно.

Я разглядываю каждого человека, чтобы угадать, кто он, как настроен, не замышляет ли в этот момент какой-нибудь выходки против нас, нет ли с ним оружия.

Угадать это, однако, нелегко.

На собраниях говорят и в газетах пишут, что бандитов поддерживают кулаки. И это, конечно, правильно говорят и пишут. Но среди бандитов и бандитских связчиков, мы точно знаем, много бедняков, много бывших солдат. И даже есть такие, кто в гражданскую войну дрался на фронтах за Советскую власть, а сейчас вдруг свихнулся, вроде разочаровался, вернувшись на родные таежные заимки, сбитый с толку, как мы считаем, кулацкой агитацией и угрозами.

О Советской власти на таежных заимках все еще из уст в уста передают чудовищные легенды, потому что до сих пор не всем, далеко не всем понятны ее истинные цели.

И Венька потому правильно делает, что рассказывает людям, теснящимся в избе, — кто бы они ни были, кулаки или подкулачники, — о последних решениях Советской власти. Но я все-таки нервничаю. Мне кажется, что он уж слишком подробно рассказывает, а время у нас на счету. Не успеем мы, пожалуй, еще сегодня дотемна пройти на самые дальние заимки… А ночью идти опасно.

Хозяин, погладив свою голую, блестящую голову шершавой ладонью, спрашивает Веньку:
— А как же, милочек, с бабами будет? Бухтят такое — правда или нет, что их потом в коммунию будут сгонять, для комиссарского вроде развлечения…
Венька разъясняет, что это ерунда. Советская власть, напротив, жалеет баб и считает, что их нужно называть женщинами. Это раньше, при царе, баб обижали, заставляли тяжело, непосильно работать, а теперь Советская власть такого не позволит.
Женщинам приятны эти слова. Они довольно пересмеиваются между собой. И заметно, им нравится Венька — с виду веселый, светлоглазый, светловолосый паренек с широкой, выпуклой грудью, с сильными и свободными движениями.
Он и сам, наверно, чувствует, что люди с удовольствием смотрят на него. Он как будто разгорается от этих взглядов и говорит все с большим увлечением. А я уже сержусь на него. Я сержусь и одновременно удивляюсь уверенности, с какой он говорит обо всем и ссылается в подтверждение этих слов на речи Ленина, опубликованные в газетах.
— А Ленин-то, он что же, сам из немцев будет? — перебивает Веньку хозяин избы.
— Кто это сказал такую ерунду?
— Ну как же! Прошлый раз тут гостил один студент, тоже, как вы, представитель. Так он вроде так объяснил, что Ленин из немцев…
Мы начинаем осторожно выяснять, кто этот студент, когда и откуда он приезжал, о чем еще рассказывал. И убеждаемся, что это был бандитский представитель. Значит, банды не только грабят и убивают, но и посылают на заимки своих агитаторов даже в зимнее время. А мы сидим в Дударях и ждем весны. Плоховато мы все-таки работаем, плоховато.
Венька говорит:
— Этот студент, про которого вы рассказываете, набрехал вам. Он, как я считаю, злейший враг Советской власти.
— А мы-то откуда можем знать, кто тут враг и кто друг! — как бы извиняется хозяин избы. — Мы бумаг ни у кого не спрашиваем. А сельсовет от нас далеко. Да и толку от него никакого нету, от сельсовета. Только название, что власть…
— Нам любая власть хороша. Лишь бы она нас не забижала, — добавляет сухонький, опрятный старичок, сидящий недалеко от меня на лавке. — Мы ведь от леса кормимся, от тайги…
Венька сразу ухватился за эти слова. Заговорил о том, что Советская власть со временем и тайгу изменит. Ученые сейчас пишут, что в тайге, прямо тут, у нас под ногами, в недрах зарыты огромные богатства: и железная руда, и каменный уголь, и золото. Все это Советская власть заберет в свои руки и построит тут заводы и города.
— Вон что! — удивился Венькиным словам сухонький старичок. И спросил: — А нас-то, милый человек, куда же вы в таком случае определите?
— Тебя, дедушка, на мыло, — сказал кто-то в толпе. — Всех стариков переведут на мыло…
В толпе засмеялись.
— На мыло? — переспросил старик, видимо тугой на ухо.
— На мыло, на мыло, — подтвердил опять кто-то, и от подоконника отделился курчавый пожилой мужик с сердитыми глазами и рыжей, кругло подстриженной бородой.
Мне показался он похожим на Лазаря Баукина. Но в первое мгновение я не поверил собственным глазам. Неужели он так спокойно может тут стоять и даже выкрикивать насмешливые слова? Ведь он-то уж знает, кто мы и откуда…
Я заметил, что и Венька чуть смутился, увидев его. Однако Венька не осекся, продолжал рассказывать о том, что мы сами с ним узнали недавно на лекции, прочитанной заезжим лектором в клубе имени Парижской коммуны. Он говорил, какие заводы вырастут в самой глухой тайге.
— А птицы и звери куда же подеваются? — опять спросил все тот же сухонький, тугоухий старичок.
И опять почему-то все засмеялись.
— Птицы и звери? — переспросил Венька.
И я понял, что он сам не знает, куда денутся птицы и звери, когда тут, в тайге, появятся заводы. О птицах и зверях не было никакого упоминания в той лекции, которую мы слушали в клубе. Да и для чего это надо было тут заводить разговор о зверях и птицах?

Время идет. Короткий зимний день уже на исходе. И неизвестно еще, где мы будем ночевать.
Предполагалось, что мы пройдем через Девичий двор и Петуховский яр на Большие выселки, где, наверно, заночуем, и утром выйдем на Проказово, чтобы встретиться с начальником. Но пока, по-моему, все идет не очень складно.
— Птиц и зверей никто уничтожать не собирается, — говорит авторитетно Венька. — Птицы и звери, конечно, останутся в лесах, должны, словом, по идее, остаться и при полном социализме…

— А жиганы?
[1]

Это спрашивает молодая румяная женщина в пестрой косынке, натянутой на самые брови, под которыми смеются милые и дерзкие глаза.
— А что, у вас тут много жиганов? — как бы удивленно спрашивает, в свою очередь, Венька, поднимая голову и разглядывая женщину в толпе.
— Да есть, — уклончиво ответила женщина. — А где их нету-то!
— Их, пожалуй, не скоро переведешь, — вздыхает старичок. — Птиц и полезных животных, пожалуй, скорее лишишься. А жиганы, они небось цепкие. Их и сама Советская власть боится…
Венька улыбается или, лучше сказать, заставляет себя улыбнуться.
— Неужели боится?
— Боится, — подтверждает сухонький старичок. — Это как бог свят, боится. Кажись, в декабре месяце тут трое приезжали из Дударей. Насчет продовольственного налога. Так разве что только пушки при них не было. А так они все в ремнях, при гранатах и пистолетах. И все быстренько, быстренько делают. Без особого разговора. Лишь бы поскореичка отъехать на лыжах. Мы им тут вопросы разные задавали, а они лишь помалкивают. «Нам, говорят, до сельсовета поскореичка надо добраться…»
— Ну, это какие-то барахольщики были, — говорит Венька. — Они, наверно, сами себя боятся…
— Барахольщики не барахольщики, а помирать, как я замечаю, никому неохота, — опять вступает в разговор хозяин избы. — У нас вот нынешний год пятого председателя в сельсовет поставили. Двоих убили. Двое сами отказались от должности. И теперешний, видать, трясется. Даже нос не высовывает дальше своей избы…
— Серьезное дело, — говорит Венька.
— Уж сурьезнее дальше некуда, — разводит руками хозяин и внимательно оглядывает Веньку и меня. — А вы что же, без всякого орудия? Представители, а ничего, я гляжу, при вас нету…
— Ничего нету, — смеется Венька.
— Выходит, очень смелые?
— Еще, видать, не битые, оттого и смелые, — произносит кто-то в углу.
И все смеются.
— Смеяться-то будто бы не от чего, — хмурится хозяин избы. — Одна баба даве сказывала, Мелентьева сноха, будто в Петуховом яру в потребиловке в субботу своими ушами слышала приказ, коей вышел от Кости Воронцова. Будто он даже на специальной машинке был напечатанный и наклеен на дверях в потребиловке. В том приказе сказано: коммунистам, всем и каждому в отдельности, будет вырезаться на грудях и на спине острой бритвой красная звезда, как знак особый и вечно памятный…
— Вот как! Значит, Костя сам где-то в потаенном месте, а приказы от него идут и идут? И даже на специальной машинке?
— Истинные слова, на машинке. Он прошлой осенью разбил на золотых приисках контору, забрал много чего. И машинку увез. Теперь все печатает на машинке. Для большей, стало быть, ясности…
— Безнаказанность, — подводит итог этому разговору благообразный лысоватый человек с длинными волосами, заправленными за уши, похожий на дьячка. Но не сокрушается по поводу безнаказанности, а, пожалуй, злорадствует. — Клочкова, напечатано в газете, будто

бы убили в Золотой Пади, а четырнадцать жиганов из его компании ушли. («Не четырнадцать, а три ушли», — хотел бы я поправить его, но я молчу. И Венька молчит.) И ведь куда ушли? Прямо к Воронцову. Вот уж действительно, на самом деле, ничего не скажешь — «император всея тайги»…

Я делаю вид, что разглядываю собственные валенки. Потом поднимаю глаза и опять вижу против себя того курчавого мужика с ярко-рыжей, кругло остриженной бородой, который говорил, что всех стариков будут переводить на мыло. Конечно же, это Венькин «крестный» Баукин, Лазарь Баукин, убежавший из нашей бани. Он-то уж точно знает, сколько жиганов ушло. Он бы мог дать точную справку. Но он только усмехается и молчит. Выглядит он лучше, чем в дни нашего первого знакомства, — поздоровевший. И одежда на нем другая — новый стеганый ватник, а под распахнутым ватником чистая холщовая рубаха с крупными белыми пуговицами. Значит, живется ему неплохо. И он, как видно, ничего не опасается.

Он стоит недалеко от меня. Но между нами еще два или три человека. И я разглядываю его как бы из укрытия.

Наконец, может быть, почувствовав на себе мой внимательный взгляд, он надевает шапку и выходит. Шапка у него большая, медвежья.

10

За окном сгущаются сизые сумерки.

Нам бы еще засветло надо было выйти отсюда на Большие выселки. А мы вон досидели до какой поры и ничего особенного толкового здесь не высидели. И продолжаем сидеть.

Венька отвечает теперь на вопросы о налогах. Это уж черт знает что. При чем здесь налоги? И опять его спрашивают про заводы, которые, может быть, когда-нибудь тут выстроят.

А может, их и никогда не выстроят, а нас сейчас, когда мы выйдем, подкараулит на дороге тот рыжий бандюга Лазарь Баукин. Да подкараулит не один, а с компанией, и не доживем мы ни до каких заводов. И до социализма не доживем.

Я уже сильно сержусь на Веньку.

Молодая хозяйка в красной с белыми горошинками кофточке спрашивает, не выпьем ли мы чайку или в крайности молочка.

— Молочка выпьем, — говорит Венька.

И вот мы пьем молоко. А сумерки за окном все сгущаются. Может, Венька тут собирается ночевать?

Нет, попив молока, он ладонью вытирает губы, благодарит хозяев, прощается, я тоже прощаюсь, и мы выходим во тьму.

Некоторое время молча идем по хрустящему снегу, закинув лыжи на плечи, и с удовольствием вдыхаем после душной избы легкий морозный воздух.

— Позор, — наконец говорит Венька, когда мы проходим мимо тускло мерцающих окон избы. — Просто позор. Какой-то беглый студент пришел, чего-то такое набрехал мужикам, и все как будто так и надо. Как будто и Советской власти нет. Ерунда какая! Даже не верится, что тут так живут. Как на острове. Никто с людьми не разговаривает, ничего не объясняют. Мы вот только с тобой немножко с ними потолковали…

— Ну и немножко! — усмехаюсь я, все еще сердитый на Веньку за то, что мы так долго просидели здесь и теперь впотьмах должны идти еще неведомо куда. — И вообще я считаю, это не наше дело — тут разговоры разводить…

— А чье же? — Венька тоже заметно сердится. — Ты что, считаешь, что ты не обязан разговаривать с людьми как комсомолец…

— Обязан, но мы все-таки не для этого приехали…
— А для чего?
— Ну откуда я знаю! Я думал, у начальника или у тебя есть какой-то план…
— А у тебя какой план? — Венька даже остановился, точно загораживая мне путь. И я увидел, как у него блестят глаза во тьме. — У тебя-то, я спрашиваю, есть какой-нибудь план?
— Чего ты придираешься? При чем тут я? Если б меня спросили, я вообще все не так бы повел…
— А как?
— Я привез бы сюда всех этих курсантов с повторкурсов, окружил бы каждую заимку и хотя бы ближние леса и начал выколачивать…
— Кого выколачивать? Население?
— Зачем население? Бандитов…
— А откуда ты знаешь, кто тут бандиты? — спросил Венька, положив свои лыжи на снег.
— Ну, можно все-таки понять, — я тоже снял с плеча лыжи. — Вот твой рыжий «крестный», этот самый Лазарь Баукин, открыто ходит по заимке. И еще насмехается. И мы с тобой ничего сейчас не можем ему сделать, а он…
Я хотел сказать, что Баукин еще сегодня подкараулит нас где-нибудь, но не сказал, не решился. Венька это сам знает, а если я скажу, он подумает, что я струсил и его пугаю.
Я сделал вид, что у меня не застегивается пряжка от ремня на креплении, и выругался, чтобы не продолжать разговор.
А Венька вдруг засмеялся. Может быть, он понял мою хитрость, понял, что я побаиваюсь и еще больше боюсь признаться в этом.
Мы сворачиваем к лесу. Он чернеет невдалеке, и кажется, что это не лес, а забор — высоченный каменный забор, а за ним еще видно здание с башнями и крестами на башнях.
Венька спрашивает:
— Ты как думаешь, кто это, у кого вот мы сейчас в избе были?
— По избе, по обстановке, я думаю, что кулак…
— Кулак — это еще пустяки. Это Усцов Елизар Дементьевич — очень крупный бандитский связчик. И еще старичок там был, который жиганов ругал, — это тоже связчик. Енютин. У него сын в клочковской банде действовал. Мы его убили в Золотой Пади.
— Правильно, — вспомнил я. — Один убитый действительно был, мы точно установили, Енютин.
— И этот Усцов тоже зятя потерял. Дочка его в красной кофточке бандитская вдова. Мужа ее в прошлом году убили. А слышал, как они разговаривают? Птиц и зверей жалеют…
— А ты с ними разговорился, стал им что-то объяснять.
— Да им я, что ли, объяснял! Тут же всякий народ. И то обидно, что людям никто ничего не объясняет. И мы тоже хороши! Второй год тут крутимся вокруг да около, а толку мало.
— А эти старики так и не поняли, кто мы и откуда…
— Ну как не поняли! — засмеялся Венька. — Они тоже не дураки. Они и про оружие нас спрашивали неспроста. И похвалили за смелость, чтобы испугать. Это двойной народишко, с двойным ходом. Им палец в рот не клади. Откусят.
Венька отчего-то повеселел. Вынул из кармана ржаной сухарь, разломил его и дал половину мне.
Сухарь был присыпан крупной солью, прикипевшей, но не растворившейся в хлебе. Покусывать и сосать его сейчас было величайшим наслаждением.
— И еще имею брынзу, — сказал Венька и протянул мне кусок.
— Да ты погоди, — хотел я удержать его от расточительства. — Мы только что попили молока. А нам еще, наверно, идти и идти. Все сразу съедим, потом заплачем…
— Не заплачем, — опять засмеялся Венька. — Нам теперь недалеко до Больших выселок. Мы быстро добежим. Часа за два. Я тут летом был. Правда, я тогда на телеге ехал.
— А как у тебя плечо?
— Ничего. Ты знаешь, как будто даже лучше. Поначалу, когда палку берешь, больно, а потом ничего.
Мы идем не по дороге, хорошо наезженной, чуть поблескивающей во тьме, а почти рядом с дорогой, по глубокому снегу.

— А эту женщину, такую мордастую, в пестром платке, ты заметил? — спрашивает Венька.
— Это какую?
— Ну, которая сидела против меня, такая румяная, черные такие, немножко нахальные и все-таки немножко симпатичные глаза. Она еще спросила про жиганов, когда говорили про птиц и зверей…
— Ах, эта, — вспоминаю я, — которая натянула платочек на глаза?
— Так это же и есть Анфиса Большакова, которая жила с «императором». Но он ее, говорят, бросил. Дурак.
— Неужели это она? — удивляюсь я, и мне очень жаль, что я не рассмотрел ее как следует. Правда, мне больше всего хотелось посмотреть Кланьку Звягину, которую сильно хвалил за красоту старший милиционер Воробьев. Она живет, он сказал, где-то у Пузырева озера. И я спрашиваю Веньку:
— А Пузырево озеро отсюда далеко? Мы сегодня туда не попадем?
— Ну что ты! Конечно, не попадем: это очень далеко. Нам бы только до Больших выселок добраться…
И Венька, продвигаясь впереди меня, заметно прибавляет ходу.
Наверно, у него уже в самом деле не болит плечо. Или он только бодрится. Но я едва поспеваю за ним по скользкому, чуть подтаявшему снегу.
Уж скорее бы, в самом деле, дойти до Больших выселок. Лыжи как будто разъезжаются в разные стороны. И к тому же начинается ветер.
— Похоже, будет пурга, — говорю я.
— Похоже, — соглашается Венька. — Но мы быстро добежим. Уже совсем недалеко. Только надо держаться дороги. Дорога тут прямая.
Дорога все время идет вдоль тайги, которая шумит на разные голоса. Будто там, внутри, в самой глубине, в чащобе, громко переговариваются люди, завывают волки и грозно мяукают огромные коты. Но это только кажется. Никого там нет.
Во всяком случае, можно поручиться, что близ заимки, близ дороги никого нет. И не может быть в такое время. А у страха глаза велики.
Не надо, однако, настраивать себя на всякие ужасы. Это первое правило не надо себя настраивать.
Просто в тайге, как всегда на сильном ветру, завывают ели, свистят голые прутья берез и трещат, ломаясь, неуклюжие ветви сосен. Все это вместе и создает разноголосый, пугающий шум.
Венька оглядывается.
— Ну, как ты?
— Ничего.
— Ну давай, нажимай! Тут уж совсем близко. До пурги добежим до Больших выселок. А там спать. Или, может, еще потолкуем с кем-нибудь. Тут, на выселках, есть наши люди, если… если их, конечно, не стукнули…
На дороге что-то большое чернеет. Чернеет и как будто шевелится. Ну да, шевелится. Может, это кони. Если кони, лучше всего попроситься доехать до Больших выселок.
Это Венька бодрится. Не может быть, чтобы у него так быстро зажило плечо. Это он бодрится. А нам еще и завтра ходить на лыжах. И послезавтра.
Мы приближаемся к тому, что чернеет на дороге, и теперь ясно видим, что это не кони, а люди. И хриплый голос с дороги спрашивает:
— Веньямин, это ты?
— Я, — говорит Венька и, останавливаясь, снимает лыжи.
По голосу я сразу узнаю Лазаря Баукина. Теперь я хорошо вижу и его большую медвежью шапку. Она у него как котел на голове.
Я тоже снимаю лыжи и иду вслед, за Венькой к дороге.
— При этом разговора не будет, — показывает на меня Баукин.
Во рту у него торчит окурок. А когда он затягивается и окурок вспыхивает, видно, как посверкивают его злые глаза.
Недалеко от него стоят еще два мужика. Их смутно видно. Непонятно даже, молодые они или старые и что у них в руках — палки или обрезы.

— Ты меня тут подожди, — говорит мне Венька и переходит с Лазарем на другую сторону дороги, где стеной стоит ревущий черный зубчатый лес.
Немного погодя за ними в лес уходят и два мужика. Кажется, у них в руках обрезы или, может быть, охотничьи ружья.
А я стою на обочине. Пурга меня теперь не тревожит. Я тревожусь теперь за судьбу Веньки. И конечно, за свою судьбу.
На животе у меня, под телогрейкой, в кожаной петельке кольт. Он так хорошо приспособлен, что его незаметно, если смотреть со стороны. И там, в Распопине, в избе, не заметили, что мы с оружием. Даже лицемерно пожалели нас. Но нас жалеть не надо. Я вынимаю кольт из петельки и кладу за пазуху. Мало ли что может случиться!
При всех обстоятельствах Венька ведет себя рискованно. Если Лазарь хочет завести какой-то секретный разговор, при котором даже я не могу присутствовать, зачем же пошли за ними в лес эти два мужика? А вдруг они стукнут Веньку? Но тогда зачем они меня оставили? А может, они тут не одни? Может, у них тут расставлены посты? Может, они и меня после хотят стукнуть?
Мысли разные лезут в голову, но я по опыту знаю, что нельзя давать волю даже мыслям, чтобы потом не было стыдно. Это хуже всего — заранее перетрусить. Надо уж как-нибудь перетерпеть. И я стараюсь вспомнить что-нибудь веселое, что-нибудь самое смешное из своей жизни, чтобы развеселиться и успокоиться. Но ничего подходящего вспомнить не могу, хотя уже долго стою на обочине.
Наконец Венька выходит на дорогу и зовет меня.
А Лазарь Баукин и его товарищи так и не вышли из лесу. Может, они углубились в лес. Может, они там и живут, в лесу.
В лесу, в тайге, сейчас тише, чем на открытом месте. Шумят только вершины деревьев, а внизу — тихо. На дороге же вовсю разыгрывается пурга. Мелкая колючая крупа бьет в лицо.
Даже Венька говорит:
— Смотри, какая ерунда начинается! Просто идти никак невозможно.
Теперь я пытаюсь успокоить его:
— Ничего. Ты же сам говорил, тут до Больших выселок недалеко. Добежим как-нибудь. Не больные…
— До Выселок недалеко, — останавливается Венька. — Но мы на Выселки не пойдем. Нету смысла. Мы сейчас махнем на Пузырево озеро.
Можно было бы напомнить Веньке, что он сам только что сказал — на Пузырево озеро мы сегодня не попадем, это очень далеко.
Но я ни о чем ему не напоминаю. И он не спрашивает моего совета. Тут уже вступают в действие не наши давние приятельские, а сурово служебные отношения. Я молчу. На Пузырево — так на Пузырево. Мне в конце концов все равно. Не я, а Венька старший помощник начальника по секретно-оперативной части. Я даже не спрашиваю, о чем он разговаривал с Лазарем Баукиным.
Я только смотрю, как он, расстегнув телогрейку, потуже затягивает ремень на гимнастерке. Я делаю то же самое. Потом он говорит:
— Ну, пошли! Нам сейчас дорога каждая минута. Придется идти часов пять, не меньше, если, конечно, по хорошей погоде. А в такую муть даже не знаю, когда дойдем. Но надо… Короче говоря, Лазарь дает нам в руки серьезную нитку. Дураки будем, если не ухватимся. Ну-ка, попробуем с этой стороны пойти…
Перепрыгнув через канаву, он опять встает на лыжи и молча бежит впереди меня.
Он по-прежнему пользуется только одной палкой. Вторую держит под мышкой. Видно, у него все-таки болит плечо, но он не хочет говорить об этом. Да и трудно сейчас говорить. Даже дышать трудно. Мы долго молча бежим навстречу пурге. Вернее, не бежим, а еле—еле движемся.
Наконец нам удается обогнуть большой участок леса.
Венька сворачивает направо, и мы входим, как в аллею, в широкую просеку. Ледяная крупа бьет теперь нам в спины, дышать легче.
— Хорошо еще, что мы молока попили, — говорит Венька. — А то, не жравши, по такой дороге далеко не уйдешь.

— А еще далеко?
— Далеко…
Я отворачиваю обледенелый обшлаг рукава, зажигаю фонарик, смотрю на часы. Девятый час. Двадцать минут девятого. Значит, мы в пути больше трех часов. А сколько нам еще идти?…
Из просеки мы выходим на поляну, и опять пурга с ревом накидывается на нас.
Венька останавливается, приседает. У него оборвался ремень на креплении. Он садится на снег. Я сажусь рядом с ним на корточки и хочу посветить ему фонариком.
— Не надо, — говорит он. — Тут открытое место. Свет далеко видно. А я и так все разгляжу. У меня глаза кошачьи.
Он достает из-за пазухи запасной сыромятный ремень, обрезает его ножом, привязывает.
— Хорошо отдохнули, — смеется он, снова становясь на лыжи. — Ну, пошли дальше! Лазарь говорит: «Это на ваше счастье такая погода. Кланя Звягина вас будет ждать…»
«Почему это она нас будет ждать? Откуда она нас знает?» — хотел бы я спросить. И самое главное, что мне хотелось бы понять: почему это Венька так доверился снова Лазарю Баукину, который уже однажды обманул его? И может быть, опять обманет. Но сейчас уж Венька прямо рискует своей головой.
«И не только своей, но и моей», — мог бы додумать я. Но почему-то не додумываю. Может быть, потому, что очень боюсь отстать от Веньки и забочусь только о том, чтобы не потерять его в пурге. В этой белой, холодной, кромешной тьме, облепляющей меня.
Я не вспоминаю даже о том, что мне самому еще недавно хотелось увидеть Кланьку Звягину. И вот сегодня я должен увидеть ее. Но сейчас это уж не так интересно мне.
Мы с большими усилиями пересекаем поляну. Ветер все свирепеет, бьет в лицо, словно толченым стеклом, старается сбить с ног. Нет, такой пурги еще не было в моей жизни.
Я останавливаюсь, почти падаю, кричу:
— Подожди, Венька! Подожди, тебе говорят!
— Что случилось?
— Хочу поправить шапку: может, не так будет бить в лицо. Очень сильно бьет. Ничего не вижу.
— Не обращай внимания! — кричит Венька. — Пойдем дальше. Сейчас опять будет просека.
— А еще далеко?
— Далеко.
Просека поднимается в гору. Гора совершенно голая. Ни одного кустика. Но с горы видно, как в низине сквозь пургу мерцают огоньки. Значит, близко деревня. Я напрягаю все силы. Мне даже становится весело. Вот сейчас войдем в деревню. И что бы там ни было, мы согреемся. Может, попьем даже чаю.
Огни становятся все ярче. Где-то недалеко брешут собаки. Они, наверно, сами не знают, собаки, как нам приятно сейчас слышать их брехню. Пусть брешут еще сильнее, еще громче, еще яростнее.
Вот уж мы прямо набредаем на собак. Они где-то вон там, за высоким забором. Хозяева, должно быть, еще не спят. Конечно, не спят. Интересно, у каких ворот мы остановимся.
Мы идем вдоль высокого забора, за которым живет наверняка богатый мужик. У него, судя по разноголосому лаю, две собаки, а может, три. Значит, есть что охранять. Собаки гремят цепями по натянутой во дворе проволоке. Этого я не вижу, но представляю это себе.
Тут бы нам и остановиться, у этих ворот. Хозяин уймет собак, и мы войдем в дом. Но Венька продвигается дальше.
Мы проходим мимо нескольких домов и опять выбираемся в открытое поле, где крутит, и вертит, и истерически завывает пурга.
Я оглядываюсь. Позади нас остались чуть видимые теперь огоньки. Позади все еще брешут надолго потревоженные собаки. А впереди — непроглядная, злая, белая тьма и ветер с ледяной крупой.
Венька оглядывается на меня и кричит:
— Не шибко устал?
— Не шибко, — отвечаю я.

Но это уж я обманываю Веньку. Я не только устал, я просто еле живой. Мне теперь все равно. Я иду как во сне. Я могу упасть в снег и уснуть. Но я все-таки иду за Венькой.

11

Мы снова поднимаемся в гору. Гора отлогая, но высокая. Мы долго поднимаемся на нее. Или мне это только кажется. Я иду, как старая кляча, согнувшись, опустив голову. И опять слышу собачий лай и звяканье цепей на проволоке. Но это уже не радует меня.
Вдруг я, точно слепой, наталкиваюсь на Веньку. Оказывается, он остановился и поджидает меня. Лицо, и шапка его, и часть груди обросли пушистым белым инеем — куржаком.
Я, наверно, тоже весь в куржаке. Но я не вижу себя. А Венька с ног до головы пушистый и белый.
— Ну, теперь держись! — говорит он, срывает свою шапку и отряхивает ее об валенки, потом надевает опять. — Начинаем работать. Снимай лыжи. Не шибко устал?
— Не шибко.
Мы проходим мимо невысокого забора, за которым лают собаки, и останавливаемся подле большой избы с закрытыми ставнями.
Недалеко еще две избы, такие же большие. Они стоят не в ряд, а как бы треугольником. За ними можно разглядеть еще какие-то строения — амбары или стайки для коров и конюшни. Фасадами избы выходят на улицу, и прямо к фасадам примыкают заборы, или заплоты, как говорят в Сибири.
Венька поднимается на крыльцо самой большой избы и стучит лыжной палкой с короткими паузами три раза, потом еще три раза. За дверью в сенях женский голой:
— Кто там?
— Свои.
— Свои все дома.
— Не сочла Савелия, а он кланяться приказал.
За дверью с легким грохотом отодвигается щеколда.
— Милости просим, — пропускает нас в сени молодая женщина. Ее плохо видно в темных сенях, но от нее исходит приятный, чуть дурманящий душу запах молодого женского тела, только что оставившего теплую постель. — А я уж вас третий час жду. Погода-то самая подходящая — пурга. Потом думаю: а может, не придут? Прилегла.
— У тебя кто в доме? — хозяйственно осведомляется Венька. И, посветив фонариком, оглядывает углы сеней, ищет веник, чтобы обмести валенки.
— Обыкновенно кто — крестный. Дедушка. На печке он. Все стонет к непогоде-то. Как домовой. Страшно с ним другой раз одной в пустом доме. Вот голик, — протягивает она веник. — Погодите, я вас сама обмету. Ох, как вы закуржавели! Из Самахи идете?
— Из Самахи, — подтверждает Венька, хотя ни в какой Самахе мы не были.
Женщина прошла из сеней в избу, зажгла на стене жестяную лампу. И теперь мы увидели, что она действительно молодая, красивая, с высокой грудью, с плавными движениями.
— Разболокайтесь, ребята, — помогает она нам снимать телогрейки. — А катанки и портянки давайте вот сюда, в печурку, поместим. Они живо подсохнут…
И тотчас же, как мы стянули с ног обледеневшие валенки, она поставила перед нами на полу две пары новых калош.
— Переобувайтесь, ноги живо согреются. Я недавно топила.
Она сняла со стола толстую, с бахромой скатерть и постелила другую, белую.
— У меня, ребята, первачок припасен. Просто божья роса, а не первачок! Я даже дедушке изредка подношу. Для взбодрения чувств. — И она засмеялась.

— Нет, — сказал Венька, — мы сейчас пить не будем. Так что-нибудь немножко закусить. А самогонку мы сейчас пить не будем. Даже первачок. Очень опасно. Тут же кругом теперь шныряют сыскари. Можно в любую минуту завалиться, если выпивши…
— Я знаю, знаю, — закивала красивой головой женщина и, перекинув косу со спины на грудь, стала заплетать ее длинными пальцами. — Говорят, их много, легавых, сюда понаехало на какой-то чудной машине. Трещит на всю Сибирь. Но сегодня, говорят, сломалась ихняя машина. У Пряхиной горы сломалась, в самой низине, где трясина…
Это уж показалось мне совершенно удивительным. Откуда женщина могла услышать про наши аэросани, если мы появились тут только сегодня, а аэросани остановились, может быть, в тридцати верстах от этой заброшенной в тайге заимки? Вот как здорово тут действует незримый таежный, или лучше сказать, бандитский, телеграф!
Женщина нарезала ароматного пшеничного хлеба, какого мы уж давно не ели, поставила на стол копченую рыбу, холодное мясо, нарезанное крупными кусками, блюдо с груздями, блюдо с квашеной капустой. И опять спросила:
— А может, все-таки отведаете первачка? Ведь не покупной, собственный. И с морозца, с этакой пурги, ох какой пользительный! Роса, божья роса! Я добавляю в него для духмяности мяту…
Мне сильно захотелось выпить. И что уж Венька так ломается? Что мы, захмелеем от одного лафитника? А вдруг я простыну? У меня до сих пор холодные руки.
— И я бы с вами выпила чуток. За здоровье Константина Иваныча. За его лихое, горькое счастье…
— Ну давайте, — наконец согласился Венька.
Просто так выпить он не соглашался, а за здоровье Константина Ивановича согласился. Знал бы Костя Воронцов, кто пьет в такую пургу за его здоровье. Или, может, за его верную погибель.
Женщина чокнулась своим лафитником со мной и с Венькой и, глядя в Венькины глаза, сказала:
— А вы знаете, я в первую минуту глянула на вас и чуток обомлела. Прямо ноги мои чуть подогнулись. С первого взгляда. Больно вы похожи на Константина Иваныча. Не лицом, нет, а фигурой. Конечно, вы пожиже будете в плечах, понятно, помоложе. Но в фигурности вашей есть что-то…
— Ну уж, придумала! — засмеялся Венька.
— Нет, верно, — настаивала женщина. — Да я сейчас вам карточку его покажу, какой он был в совсем молодых годах. Еще при царе.
Женщина пригубила от лафитника, потом подошла к большому, окованному и оплетенному полосками разноцветной жести сундуку, повернула ключ. Замок со звоном открылся, крышка откинулась.
Из глубины сундука, из-под каких-то материй, свертков, меховых шкурок, из нафталинного удушья женщина извлекла карточку и показала нам.
Костю Воронцова мы никогда не встречали, но много раз видели на снимках. Однако такой карточки у нас в уголовном розыске не было. Костя, красивый, молодой, в офицерской форме, сидел, раздвинув колени и развалясь на стуле. На коленях у него лежала шашка. А рядом с ним, опираясь на его плечо, стоял уже немолодой угрюмый офицер со скуластым лицом и тоже с шашкой.
— Это кто? — показал Венька на скуластого офицера.
— Вы что? — удивилась женщина. — Евлампия Григорьевича разве не узнаете? Это же Евлампий Григорьевич Клочков.
— Ах, правильно! — как бы вспомнил Венька. — Правильно, ведь это Клочков. У него только потом стало больше солидности…
— У него и чин был старше чем у Константина Ивановича, но он сам считал себя младше. По уму. И пока он ходил под Константином Иванычем, все было хорошо. А как ушел, захотел отдельно воевать, так и погиб. Убили его сыскари. Константин Иваныч сказал: «Я за Евлампия тысячи комиссаров передушу. Вот как выйду весной из тайги, так и передушу». Да чего я вам рассказываю… Вы, верно, и сами слыхали, как он сказал. Теперь многие эти его слова и здесь передают. А раз Константин Иваныч сказал, он сделает. Он его

очень уважал, Клочкова. Ну, давайте, — подняла тяжелый графин женщина, — давайте выпьем за упокой его души. За упокой души убиенного Евлампия Григорьевича.
— За упокой, кажется, не пьют, — усомнился Венька.
— Пускай не пьют, — опять наполнила лафитники женщина. — А мы давайте выпьем. Он мне все говорил, как выпьет: «Я тебя, Кланя, сам лично люблю, но не как женщину, а как изображение». Ведь он ужасно какой шутник был, царствие ему теперь небесное…
Вот уж никогда не думал, что нам, комсомольцам, когда-нибудь приведется выпить за упокой души штабс-капитана Клочкова, труп которого еще недавно валялся на снегу у нас, во дворе уголовного розыска. И вот мы выпили за него.
Женщина, заметно захмелев, погрустнела. Спрятав карточку и замыкая сундук, показала на него глазами и вздохнула:
— Что же это с Константином Иванычем-то? Подарки мне, видите, все время шлет, а сам не едет. Ай не желает видеться?
— Трудно ему сейчас. Понимаешь, трудно выбраться, — сказал Венька.
— Что ж трудного-то? — опять вздохнула женщина. — На прошлой неделе, я знаю, он в Капустине был. А от Капустина-то до меня шесть верст. Или его Лушка завлекла? Говорят, она сильно перед ним рисовалась. Он в Капустине будто трое суток гулял. И Лушка при нем была. Будто все время была — и день и ночь. Вы что знаете про Лушку-то? Вы скажите мне, ребята, про нее, если что знаете. Я буду вам верная, вечная слуга. Знаете или нет вы про нее?
— Знать-то знаем, — сказал Венька, — но говорить не будем. И не проси. Не наше это дело — разлучать людей.
— Все равно я все узнаю, — погрозила женщина. — Я самого Савелия допытаю. Он мне скажет. И Лазарь Баукин бы сказал. Он мой верный человек. Но его сейчас Константин Иваныч до себя не допускает. Пусть, говорит, сперва пройдет какое-то испытание. А Савелий мне велел обуть и одеть Баукина, когда он от сыскарей убежал. И товарищей его велел обиходить… Это, говорит, считай, как приказ самого Константина Иваныча… Дедушка крестный, вы чего там опять стонете? — повернулась она к печке. — Вам попить, что ли, дать? Или вы на двор хотите?
— Язык бы у тебя хотел откусить, — послышался с печки дребезжащий старческий, но еще ясный голос. — Больно длинный у тебя язык, Клавдея…
— Язык у меня, дедушка, какой есть от дня моего рождения, такой и навсегда останется. А вы спокойно спите. Вы мне всю душу досконально вымотали. А эти люди от самого Савелия. По важному делу.
Мне мучительно хотелось узнать, кто же это такой Савелий. Может, я знаю его по фамилии, но не знаю по имени.
Все-таки нам многие уже известны из окружения Кости Воронцова. Не напрасно же мы занимаемся этим делом. А про Савелия я никогда не слыхал.
И еще закрадывалась тревога: а вдруг сейчас сюда явится сам Савелий? И не один… Погода ведь в самом деле подходящая для бандитских визитов.
За окнами все еще беснуется пурга. И пожалуй, будет бесноваться всю ночь.
Вот получилась бы красивая картина, если б сюда явился Савелий!
Но больше всего я боялся, что Венька сейчас захочет идти отсюда на Большие выселки или прямо в Проказово. А я нисколечко не отдохнул. Я даже излишне разомлел тут от тепла и этого первачка. Неужели Венька действительно захочет сейчас обратно идти через пургу?
Дедушка опять застонал на печке, забормотал что-то. И в комнате явственно запахло залежанным тюфяком.
— Да ну его! — покосилась на печку женщина. — Еле живой, в чем душа теплится, а все шпионит за мной. Бывший околоточный надзиратель. Приехал аж из самого Владивостока доживать свой век в тайгу. Он не родной мне, он мне всего-навсего крестный. Но Савелий велел его обихаживать. Говорит, он еще потребуется.
Женщина перекинула через плечо холщовое, для посуды, полотенце и стала собирать со стола.
Видно было, что она привыкла к порядку, к аккуратности. В избе чисто. На стене перед столом большое зеркало. И она изредка, собирая посуду и разговаривая с нами,

поглядывает на себя в зеркало. Как-то сбоку поглядывает, точно хочет разглядеть свое ухо, в котором мерцает длинная, на длинной прицепке, серьга с малиновым камешком.
— Вам, ребята, где постелить? — весело спрашивает она. — У печки? Или же на кровати ляжете? — И, не ожидая ответа, сама решает: — Я вам постелю у печки. Тут теплее. А то у нас к утру изба выстывает…
— Нам только выйти на минутку надо, — встал из-за стола Венька.
— Выходите, выходите, конечно, — засмеялась женщина. — Вся ночь еще впереди. А то с вами, не дай бог, что-нибудь случится, как вон с дедушкой, моим крестным, все время случается. Замучил он меня в отличку. Глаза бы мои на него не смотрели и уши мои бы не слушали. Чистый дьявол на печке! От старого режима.
Мы вышли на крыльцо.
Пурга все взвизгивала и выла. И мне в этой густой крутящей темноте, обступившей избу, вдруг показалось, что мы стоим не на земле, а на какой-то еще неизвестной планете. И она чуть покачивается под нами.
Под горой кипела в бело-черной пене дремучая, страшная тайга. Она не казалась такой страшной, когда мы шли через нее. И не верилось теперь, что мы только что через нее шли.
Я спросил Веньку:
— Ну что, будем спать?
Я спросил в том смысле, будем спать или будем делать вид, что спим.
— Будем спать, — сказал Венька.
И мы вернулись в дремотно приятную после ветра духоту избы.
— А крестный, слышите, что болтает? — зашептала женщина. — Будто вы не от Савелия, а будто вы… Ну, словом, будто вы… Подумайте только, чего пригрозил сатана! Будто вы, одним словом, эти… сыскари.
— Пусть его, — отмахнулся Венька. — А тебя, Кланя, я хочу вот что попросить. Если ночью кто постучит — могут и наши постучать и всякие, погода, ты сама говоришь, подходящая, — ты никому не открывай, позови нас.
— А если Савелий придет?
— Ну, Савелий — это другое дело…
Венька вел себя как старый знакомый хозяйки.
На комоде он увидел семерку алебастровых слонов, стоявших в ряд на кружевной салфетке, один другого меньше.
— Это, Кланя, кто тебе слонов подарил? Клочков?
— Клочков. А ты откуда знаешь?
— Я все знаю, — засмеялся Венька, довольный тем, что угадал.
Он мог бы и не угадать. И не обязан был угадывать. Но, угадав, еще больше расположил к себе хозяйку.
Она потрогала большого слона.
— Это Евлампий Григорьевич мне на счастье их подарил. Говорил, они приносят счастье…
— Я это тоже слышал, — кивнул Венька.
— Баукин рассказывал, что они этих слонов в Горюнове нашли, когда потребиловку брали. Там много хороших товаров было, разной мануфактуры и эти слоны. Никто даже внимания на них не обратил, а Евлампий Григорьевич положил их в карман. «Это, говорит, для Клавдии». И вот, глядите, как будто пустяк, а женщине всегда приятно, что про нее помнят…
— Это верно, — опять кивнул Венька. И спросил: — А Баукин у тебя давно не бывал?
— Да нет, он на прошлой неделе был. Он часто бывает. Он у меня тут, кажется, дней десять жил, когда из Дударей ушел. Он мне все дрова перепилил и переколол и полотно ворот перебрал…
Я вспомнил изломанное полотно ворот у избы Баукина и спросил:
— А что ж он дома у себя не живет, в Шумилово? Боится?
Кланька удивленно вскинула на меня свои красивые глаза, обрамленные длинными ресницами.
— Кто? Лазарь Евтихьевич боится? — И словно обиделась за него. — Лазарь Евтихьевич никого на свете не боится. Я другого такого отчаянного не знаю. Разве только Константин Иваныч будет посмелее. Да и то, наверно, не посмелее, а поумнее. Даже Евлампий

Григорьевич, мне говорили, побаивался Лазаря Баукина. Боялся, что Лазарь Баукин сместит его и сам в атаманы выйдет…
Кланька отошла от комода и по двум приступочкам поднялась на печку. Заговорила о чем-то со стариком.
Я так и не понял, почему Лазарь Баукин не живет в Шумилово. И не знал, удобно ли дальше расспрашивать Кланьку об этом.
А Венька молчал, разглядывая фотографии на стенах.
На фотографиях были изображены мордастые, бородатые мужчины в длинных сюртуках, женщины в огромных шляпах и кофточках с пузырящимися на плечах рукавами. Не похоже, что это предки нашей хозяйки. На одной фотографии хмурился какой-то священник или, может, архиерей в высоком черном клобуке. Уж он-то, наверное, не родственник Кланьке. А кто знает, может, и родственник. Может, он родственник тех, кто бродит сейчас в бандах. Хотя едва ли они будут выставлять тут свою родню. Все это скорее всего случайно попало сюда.
В городах на базарах еще продавали, вернее — обменивали на хлеб, разную рухлядь, оставшуюся от богатых домов, потрясенных революцией и гражданской войной. Даже старые фотографии выносили на базар, а также дорогие шкатулки, вазы, бронзовые подсвечники в виде ангелочков, венские качалки с плюшевыми сиденьями, сюртуки с атласными отворотами, барские брюки со штрипками и много еще чего.
Богатые крестьяне все это выменивали в городах и развозили по своим деревням и глухим таежным заимкам.
Вот почему не только у Кланьки Звягиной, но и в других деревенских избах в ту пору можно было встретить самые неожиданные предметы городской роскоши или старины. И это не удивляло нас. Нас не мог здесь удивить граммофон, стоявший рядом с комодом на фигурной тумбочке, или мраморный умывальник, поставленный против комода для украшения.
Нас удивила сама хозяйка. Поговорив со стариком, она подошла к нам, все еще рассматривавшим фотографии, и, махнув рукой, сказала:
— Ну, это старье. Старые песни. А дальше-то, ребята, что вы думаете, как дальше-то все будет?
— Что будет?
— Ну, вся жизнь… Злотников, говорят, уехал со своей шмарой в Японию. Бросил, говорят, свою банду, забрал золотишко и уехал…
Это было для нас новостью. Но мы не выразили удивления. Венька только сказал:
— Мало ли что говорят!
— Но это правда или нет? — допытывалась женщина.
— Не знаю, — покачал головой Венька.
— Как же это вы не знаете? — удивилась она. — Об этом все сейчас говорят. («Интересно, кто это «все»?») Лазарь Евтихьевич даже говорит, за Злотниковым погоня была. Свои же устроили за ним погоню, хотели будто бы убить, но не словили…
Это бы нам полагалось знать. И очень плохо, что мы об этом только сейчас узнали. А может, это вранье?
— И давно это было? — спросил Венька.
— Да, однако, недели две назад. Лазарь Евтихьевич вот тут сидел, — она показала на обитое красным плюшем кресло, — и рассказывал мне. Вот, говорит, до чего дело-то дошло. Атаманы уходят. Может, и у Константина Иваныча такая думка есть. Может, он с Лушкой собирается уехать. Только еще разве японцы ее не видали, а с англичанами она, говорят, тут путалась вовсю, когда еще девчонкой была… — Кланька засмеялась. — А вы, значит, ничего не слыхали?
— Нет, — опять покачал головой Венька.
— Ну да, в газетах ведь об том не пишут, — насмешливо сощурила глаза женщина.
Мне подумалось, что она наконец поняла, кто мы такие, поняла, что старик на печке был прав. Но Венька тут же, должно быть, сбил ее с толку, сообщив, что мы только вчера вернулись с Тагульмы и поэтому никаких новостей еще не знаем.
— Так это вы ездили на Тагульму? — удивилась Кланька. — Лазарь Евтихьевич мне рассказывал…

Лазарь, наверно, и Веньке рассказал об этой Тагульме. Но женщина этого не могла знать. Она опять прониклась доверием к нам и заговорила о Лазаре Баукине, о том, как он пилил и колол тут дрова и радовался работе. «Веришь ли, нет, Клавдея, до чего я стосковался по хозяйству! — говорил он ей. Прямо топор поет в руках про то, как я скучаю…»

«Что ж он дома-то у себя не работает?» — опять хотел спросить я, вспомнив покосившуюся его избу в Шумилово. Но не успел спросить.

— Из дому его баба выгоняет, — ответила Кланька на мой невысказанный вопрос. — Он ведь дома-то почти что не жил все эти годы. Так только изредка когда забредет, больше ночью, — притащит чего-нибудь детям. Чисто как волк. Но дети его почти что не признают за отца. Отвыкли. Ведь он то на службе был, на войне, на двух, можно сказать, войнах, то в отряде у Клочкова. А что он в отряде, об этом жена не может открыто говорить. Это значит — навести на себя подозрение. Ну, и вот она стала всем объяснять, что он вроде как пропал без вести, что она вроде как, выходит, вдова-солдатка. Ей так удобнее. И прошлый год ей выдали на бедность коня. Не коня, а клячу еле живую, в парше почти что неизлечимой. Но она его начала мазать дегтем, ставить в жидкую глину — одним словом, лечить. И конь одыбел. А тут опять является Лазарь с побега. Думает, конечно, что жена обрадуется, примет его, заплачет слезьми. А она вдруг намахивается на него ухватом и говорит: «Уйди, дьявол! Я через тебя могу лишиться коня. Сколько лет с детями мучилась без тебя, а теперь у меня есть конь. Мне власть его выдала, продала». Лазарь ее увещает: «Да зачем тебе эта кляча? Я тебе такого коня приведу, что залюбуешься. Не конь будет, а змий летучий». А она все свое: «Так это же ты приведешь краденого коня. Из-за него таиться надо, а этот конь хоть какой, но открытый, собственный. На него есть справка». Лазарь ей уж по-всячески втолковывал. Наконец прямо спрашивает: «Ну, кто же тебе милее, скажи мне на милость, — муж родной и законный или мерин паршивый?» А она одно что намахивается на него ухватом и кричит: «Не срами меня перед людьми!» Подумайте, какая дама-баронесса! Не срамить ее…

Кланька засмеялась.

— А мне Лазаря Евтихьевича, откровенно скажу, жалко, — продолжала она. — И Константин Иваныч его держит на притужальнике: говорит, пускай сперва пройдет какое-то испытание после побега от сыскарей. И жена законная до себя не допускает как следует. Я ему прошлый раз говорю: «Ты нашел бы себе какую-нибудь другую бабу. Мало ли нашей сестры! Мужчина ты еще свежий, здоровый. А в Фенечке твоей, говорю, прости ты меня за откровенность, ничего завидного нету. Худущая, как жердь. И в годах». А он мне говорит: «А дети?» Он тревожится, что дети вырастут и уж совсем не будут его признавать.

Меня удивило, что в звероватом Лазаре Баукине все-таки есть человеческие чувства. Хотя почему человеческие? Звери тоже пекутся о детенышах. Лазарь поздно вспомнил о своих детях.

— Только Савелий сейчас почитает Лазаря, — заключила свой рассказ Кланька и стала подтягивать за цепочку гирю на больших настенных часах в лакированном футляре. — Время-то, глядите, какое! Надо, пожалуй, ложиться…

Мы легли с Венькой у печки на широкий, набитый шерстью тюфяк и укрылись одним тулупом.

Я хотел шепотом спросить Веньку, кто же этот Савелий. Но не решился… Шептаться — это хуже всего.

Мы молча лежали под тулупом и слушали, как в соседней комнате скрипит кровать, на которую укладывает свое роскошное, пышное тело возлюбленная «императора всея тайги» Кланька Звягина, терзаемая жгучей ревностью.

А над нами на печке стонет и ворочается, тревожимый лютой злобой и недугами, бывший околоточный надзиратель, которого для чего-то велел сохранять неизвестный мне Савелий, чьим именем мы вошли в этот дом.

Дом этот стоит на горе, но мне кажется в темноте, что мы лежим где-то на самом дне, может быть, на дне какой-то пропасти.

Венька тихонько приподымает тулуп, вылезает и уходит в сени.

Я не вижу, не слышу, но отчетливо представляю себе, как он ловит впотьмах плавающий в ушате ковшик, зачерпывает воду со льдом и жадно пьет, роняя капли на голую грудь.

Я тоже страшно хочу пить. У меня все горит внутри от первачка и лука и еще от чего-то, что мы ели. Но я не решаюсь встать.
Я слышу, как Венька вышел из сеней и прошел в ту комнату, где лежит Кланька. Кровать опять заскрипела.
Это Кланька встала с кровати. Я вспомнил, как она сказала крестному: «Они пришли от Савелия по важному делу». Вот теперь Венька выкладывает ей это важное дело или то, что она должна посчитать важным.
А может, он просто любезничает с ней. Может, он обнял ее сейчас, теплую, большую, душистую, и целует впотьмах. Пусть ее лучше Венька целует, чем какой-то бандит Воронцов. Ну что хорошего увидит в жизни эта Кланька, если она связывает себя с бандитами, уже связала? Ни за что увянет ее красота.
Я хотел бы это все сказать Кланьке. Но я это никогда не скажу. Не все скажешь людям. И не во все они поверят. А может, ей что-то скажет Венька. И ему она поверит. Недаром же она сказала, что он походит на Костю Воронцова. Подумаешь, какая честь — походить на бандюгу!
Нет, Венька не будет целоваться с Кланькой. Ни за что не будет. А вдруг?
Я напрягаю слух, но не могу всего расслышать, о чем они говорят.
До меня долетают только отдельные слова. Кланькины слова. Она говорит свистящим шепотом:
— Ей-богу! Ну вот ей-богу, я клянусь! Вот перед образом. Я врать не буду!

И опять через некоторое время те же самые слова. А что ей говорит Венька, я не могу расслышать. Но я все-таки вслушиваюсь, даже приподымаюсь на локте, и наконец до меня долетают удивляющие меня слова Веньки. Он говорит:
— Ты запомни одно: мы сюда не приходили, и ты нас никогда не видела. Понятно?
— Понятно, — шепчет она. И просит: — Ты только потише говори. Ведь дедушка, ты знаешь, какой дьявол!
Венька еще что-то ей говорит, но я опять не слышу его слов. Я слышу только, как женщина снова повторяет свистящим жарким шепотом:
— Понятно.
Ей, должно быть, все понятно. А я ничего не понимаю. Мне только ясно, что Венька ей что-то приказывает. И очень строго.
Нет, он ни за что не будет целоваться с нею. В этом я твердо уверен. За это я могу поручиться. Ну, а сам я стал бы целоваться с Кланькой, вот сейчас, впотьмах, вот в такую ночь, где-то на краю земли и, как я сперва подумал, на другой планете?
И к стыду своему, я должен был признаться себе в ту тревожную ночь, что стал бы, если б к тому же она первая поцеловала меня.
В оправдание себе, в оправдание слабости своей я подумал о том, что мне ведь в самом деле почему-то жалко Кланьку. Жалко, наверное, потому, что она такая красивая, молодая и связалась с бандитами. А я бы уговорил ее уйти отсюда. Я бы даже женился на ней, если б она захотела. Я увел бы ее от этого притаившегося на печке крестного. От всего увел бы. А иначе погибнет она. И красота ее погибнет.
Жизнь повсеместно изменится, все вокруг похорошеет, будет замечательная жизнь. Будет полный социализм. А Кланьки не будет, если она связалась с бандитами. Хотя она ведь еще не такая испорченная. Ее еще можно бы исправить. Увести отсюда и исправить. А иначе она наверняка погибнет, как все бандиты.
«Бандитизм в нашей стране не имеет перспективы. Он фаталистически идет к своей неизбежной гибели».
Эту, как показалось мне в свое время, красивую фразу написал в одном очерке Яков Узелков. И мне запомнилась эта фраза. Я даже выписал ее себе в записную книжку. Вот я всегда смеюсь над Узелковым, а он все-таки может здорово написать. Интересно, как бы он описал вот эту ночь? Он, конечно, прибавил бы много лишнего. Получилось бы очень красиво, но…
Я уснул, так и не додумав об Узелкове.

Проснулся я от толчка. Мне приснилось, что я плыву без весел в лодке по Ангаре. Вдруг лодка наскочила на плоты. Меня захлестывает холодной волной… Вот сейчас я опрокинусь. Другого выхода у меня нет. Нет, есть другой выход.
Я открываю глаза. За окнами все еще темно, но пурга утихла. На стене опять горит жестяная лампа. Передо мной стоит уже одетый Венька.
— Ну, давай обувайся, и пошли.
— А может, вы хоть молочка выпьете?
Это спрашивает Кланька. И голос у нее виноватый, растерянный, не такой, как вчера. Она стоит у притолоки, уже причесанная, но серьги не поблескивают в ушах. Она не надела серьги. И не смотрится больше в зеркало, как вчера. Все время опускает глаза, взмахивая пушистыми ресницами. И от этого становится еще красивее, нежнее, что ли.
— Молочка выпьем, — соглашается Венька, как в Распопине, где вчера он проводил беседу.
Мы пьем молоко. А Кланька сидит у краешка стола и, точно опечаленная, смотрит на нас, подперев горячую, румяную щеку ладонью. Может, ей не хочется расставаться с нами. Или, напротив, она теперь боится нас и досадует, что вчера была так доверчива.
Она теперь, наверно, знает, откуда мы пришли. Конечно, знает. И чувствует, что оказалась вдруг между двух огней. Она никому не скажет, побоится сказать, кто гостил у нее нынешней ночью. Ей нелегко теперь будет выпутаться.
Венька первым выходит из-за стола, протягивает хозяйке руку, улыбается:
— Ну, для первого знакомства у нас все идет хорошо. Спасибо тебе…
Она пожимает нам руки, сперва Веньке, потом мне. Руки у нее маленькие, но необыкновенно сильные. Мне особенно приятно ее рукопожатие. Венька еще что-то говорит ей в сенях, когда я выхожу на крыльцо. И мы уходим.
Мне почему-то становится очень грустно, когда мы уходим.

12

Мы спускаемся с горы на лыжах в темноту и в морозный туман, что ползет по низине, цепляясь бурыми космами за черные зубья таежного леса.
— Серьезное дело можем сделать, — говорит Венька, когда мы входим в тихую, глухую просеку. — Дураками будем, если не повяжем этого липового императора со всей его шумливой артелью…
Мне хочется все же узнать, кто такой Савелий.
— Да я еще сам не знаю, — смеется Венька. — Это какой-то серьезный зверь. Но не шибко серьезный, если Лазарь залез в его секреты. А Кланька, ты понял, приняла нас сначала за связных от Воронцова. Ей Савелий сказал, что будут сегодня связные. И Лазарю сказал. А Лазарь задержал связных. Это его знакомые…
Я о многом хочу расспросить Веньку. Но он уклоняется от разговора, говорит:
— Потом, потом. Я сам еще не все понимаю. Тут дело намечается тонкое. Не оборвать бы нитку. Обдумать надо…
Да нам и не очень удобно разговаривать на ходу. Он опять вырывается вперед и быстро идет впереди меня. Я все-таки спрашиваю:
— Ты доложишь начальнику, где мы были?
— А для чего сейчас докладывать? Это трепачи докладывают, когда дело еще не сделано. Сделаем — доложим…
Мы долго молча идем по скользкому снегу. Сверху он слегка припушен, но под пухом этим твердый, скользкий пласт.

После пурги природа отдыхает. Деревья отрадно встряхивают вершинами. На нас сыплется с деревьев обледеневший, искристый снег — кухта.
Все еще очень холодно, но сам воздух уже отдает весной. Вот она скоро наступит. Пахнет ягодой. Похоже, пахнет облепихой. Это прелый прошлогодний лист, мхи и лишайники, приставшие к стволам вековых деревьев, обманывают нас своим запахом. А снег все еще глубокий.
— Мы другой раз считаем себя дикарями, но есть дикари пострашнее, поглупее нас, — говорит, повернувшись ко мне, Венька. И прочерчивает лыжами по снегу широкий круг. — Смотришь — будто люди, а живут как медведи. Или даже хуже медведей. Без всякой перспективы. Только бы потуже набить брюхо хорошими харчами. И вся забота только о себе. При коммунизме так, однако, жить не будут…
— А как будут, ты считаешь, жить при коммунизме?
— А я откуда знаю? Что я, лектор?
И, сердито воткнув палку в снег, он порывисто бежит вперед.
Мы опять долго молчим. Потом, когда он переходит на замедленный, плавный шаг, я спрашиваю:
— А эта Кланька Звягина, как ты считаешь, толковая? Или она с глупинкой?
— Ну откуда я знаю, какая она? По—моему, она теперь сильно запуталась с этими делами. И уж скорее всего не выпутается.
— А жалко, — говорю я.
— Конечно, жалко, — соглашается Венька.
И то, что он сейчас соглашается со мной, еще больше возвышает его в моих глазах.
«Золотой паренек Венька, — думаю я, продвигаясь вслед за ним. — Умный, ловкий, отчаянный».
— А Лазарь мечется, — как бы вспоминает он, опять замедляя бег. — У него сейчас сильно плохие дела, Воронцов велит ему пройти какое-то испытание. Я еще не знаю какое. Но Лазарь мечется. Не видит смысла, для чего ему проходить испытание. Не может понять, куда ему сунуться…
— Все-таки ты здорово разбередил ему башку и душу, — говорю я.
— При чем тут я? — почти сердито оглядывается на меня Венька. — Он сам не дурак. Он видит, как складывается жизнь. Но ему сейчас деваться некуда. Если он уйдет из бандитов, его сами же бандиты ухлопают. И на нас он еще смотрит зверем. Не доверяет нам.
— Но он все-таки решился, сообразил, навел нас на эту Кланьку.
— Да не так уж сразу навел. В Шумилово-то мы не напрасно заходили. Он это понимает. Но главное не в этом. Главное, что он не хочет проходить испытание…
— Почему ты считаешь?
— Потому что потому — окончание на «у»! — смеется Венька. — Если бы он хотел проходить испытание, он вчера в лесу стукнул бы нас обоих. И Воронцов посчитал бы, что больше никаких испытаний ему не требуется. А он не только не стукнул, но показал нам дорогу. И точно показал. Это чего-нибудь стоит?
— Конечно.
— Но это еще не все, — говорит Венька и опять бежит впереди меня.
Мы скорее, чем надеялись, доходим до Больших выселок, где вчера собирались ночевать. И идем дальше при свете хмурого утра.
В Проказове нас встречает старший милиционер Семен Воробьев, сейчас оправдывающий свою фамилию. Зябко нахохлившийся, он походит на старого воробья, потрепанного непогодой. И новенькая, недавно выданная форма не нарушает этого сходства.
— Сломался ваш аппарат со всеми крыльями, — сообщает он нам с оттенком ехидства. — Сломался, так его мать! Испортил всю коммерцию. Еще вчера сломался — в Пряхине.
— Неплохо работает бандитский телеграф! — смеется Венька, когда мы отходим от Воробьева. — Значит, правильно нам Клавдия сказала про наши аэросани, что сломались. И все-таки телеграф этот бандитов не спасет. Нет, не спасет. Надо только осторожно тянуть нитку…
Мы идем на лыжах в Пряхино.
Начальник наш, невыспавшийся, сердитый, уже в который раз, наверное, принимается ругать механика около затихших, видимо навсегда затихших, аэросаней.

А механик только кряхтит и пытается отвинчивать французским ключом какие-то гайки. Они никак не отвинчиваются. Кожаный его шлем и кожаное пальто, так восхитившие нас вчера и так украшавшие его, скинуты теперь и лежат на дне саней. В обыкновенной стеганке механик ничем не отличается от обыкновенного деревенского мужика.
— Вам легко рассуждать! — наконец огрызается он, глядя в упор на нашего начальника. — А техника, — вы должны понять, — это темный лес. Ведь сани эти, нужно учитывать, не русские. Это трофейные, как я думаю, японские сани. А я, во-первых, не японский, а русский механик. Чистокровно русский. Микулов — фамилия…
— Да какой ты русский? Нисколько ты не русский, — зло посмеивается начальник. — Русские механики берутся сейчас, если ты читаешь газеты, всю Россию до краев перестроить, а ты, я смотрю, уже столько возишься тут.
— А вы сперва вот бандитов уничтожьте! — уже кричит механик. Уничтожьте сперва бандитов, а потом перестраивайте Россию. А то вот вы бандитов еще не можете уничтожить. А сейчас что получается. Вы вот сядете на подводы и уедете обратно в Дудари. А я по долгу службы тут обязан остаться, около этих японских, будь они прокляты, аэросаней. А ночью сюда подойдут бандиты и меня же зарежут. И зарежут из-за вашей же фантазии, что вы желали с таким форсом прокатиться на иностранном изобретении в такую даль…
— И правильно сделают, если зарежут, — смеется начальник. — На что ты нужен, такой… пессимист?
— А я вот брошу сейчас всю эту починку, и что хотите, то и делайте, угрожает механик. — Работаешь, себя не щадишь, и еще оскорбляют какими-то словами…
— А что ж я тебе такого особенного сказал? — смущается и начальник. Что обидного-то? Это по-французски, если хочешь знать, означает всего-навсего очень нервный, невыдержанный, пугливый. Ну, ты такой и есть. Ты же сам говоришь, что опасаешься. Вот я и пошутил, что ты, выходит, пессимист…
— Хорошенькие шутки! Ведь тут же действительно даже в дневное время народ режут. Что я, не знаю, что тут будет, если я один останусь?…
— Да ты не бойся, не робей! — успокаивает механика уже подоспевший сюда старший милиционер Воробьев. — Ты же не один останешься. Я тоже тут побуду, пока под ваши сани подадут лошадей.
— А толк-то какой? — не успокаивается механик. — При вас находится только вот этот револьвер — старинный смит-вессон. Вот если б при вас пулемет находился, вот тогда бы я сказал: да, это есть представитель власти. Есть чего бояться.
— Какой бы я ни был, но я с тобой побуду, — незлобиво обещает Воробьев. И приседает на корточки у передка аэросаней, где механик все еще откручивает гайку. — Дай-ка я этот болт зажму клещами. Может, она тогда легче пойдет, эта гайка…
Венька Малышев, еще, кажется, совсем недавно, в Дударях, помогавший механику налаживать эти аэросани, сейчас как будто и не интересуется вовсе ни механиком, ни санями. Венька, наверно, и не слышит даже, о чем это начальник снова разговаривает с механиком и на что опять обижается механик. Венька ходит один невдалеке у кромки леса, утаптывая рыхлый снег, покусывает соломинку и, похоже, о чем-то напряженно думает.
Мы ждем подле аэросаней Колю Соловьева и еще трех наших сотрудников, которые ведут расследование в Мочаеве и Солотопах. Потом мы сядем на подводы и поедем в Игренево, где начальник предполагает провести оперативное совещание. А уж позднее, после совещания, двинемся обратно на Дудари.

Из Дударей мы выехали морозной зимой, а возвращались в ростепель, в предвесеннюю распутицу, когда обыкновенные, деревенские сани-розвальни то ровно повизгивают железными полозьями, вдавливая мокрый снег, то вдруг заскрежещут—заскрежещут, наскочив на голый булыжник, вытаявший из-под снега.
Всю жизнь — по сю пору — смена времен года наполняет меня не только радостью, но и неясной тревогой по поводу каких-то неоконченных дел, которые надо было закончить еще вчера, еще в начале зимы. И вот уже наступает весна, вот уже завтра стает весь снег, проклюнутся набухшие почки на деревьях, зазеленеет земля. А чего-то важного я так и не сделал: не отослал деньги матери, не дочитал каких-то книг, не отдал в починку сапоги, не осуществил серьезных замыслов.
Хотя ясных замыслов еще не было у меня в ранней юности. Из-за этого я и сокрушался в ту пору. Мне казалось, что я живу как растет трава. Вокруг меня люди совершают что-то продуманное заранее, добиваются чего-то изо всех сил. А чего я добиваюсь?
Я вот даже в Воеводском углу ничего толкового не сделал. Даже не попытался сделать. Я только ходил за Венькой, как свидетель или вроде его охраны. Но он и без охраны бы обошелся.
Венька лежал рядом со мной в санях-розвальнях на соломе, прислонившись головой к валенкам возницы, стоявшего на коленях в передке саней и потряхивавшего вожжами над мохнатой лошаденкой.
Потом у возницы, должно быть, затекли ноги. Он сел на перекладину, потревожив Веньку, и спросил:
— А закурить у вас, товарищи комиссары, не найдется?
— Не найдется, — сказал Венька.
— Плохо, — вздохнул возница. — Плохие вы, стало быть, комиссары, коли у вас и табаку даже нету.
— А еще чего, ты считаешь, у нас нету? — улыбнулся Венька.
— А я больше с вас ничего не спрашиваю, — сказал возница. — Какое мое дело с вас спрашивать? Велели мне вас отвезти в город, я отвожу. Говорят: «Отвези комиссаров, кои тут жиганов искали». И другим мужикам дали такой приказ — отвезти. А коли не было бы приказа, мы бы сейчас дрова возили. Но наше дело такое — слушать, чего говорят. А вы что, жиганов-то разве не нашли?
— Не нашли.
— Ну где ж их, однако, найдешь! Ведь они, поди-ка, в лесу. А в лес-то, однако, и комиссарам страшно удаляться. Ладно еще, господь милостив, вас самих не затронули. А то могли бы и вы жизни решиться. А жизнь-то, она, поди-ка, каждому дорога. Особливо коли получаешь хорошее жалованье. И паек. Казенные харчи, они скусные…
Возница явно смеялся над нами. Потом он стал рассказывать, как зверствуют бандиты. И опять спросил:
— Значит, выходит, товарищи комиссары, вы, примерно, как на осмотр ездили? На осмотр населения? А Воронцова, стало быть, самого Константина, вам повидать не привелось?
— Не привелось, — сказал Венька.
— А ты сам-то, отец, видал ли Воронцова? — спросил я.
— Где же, в каком месте я его повидаю? — нахмурился возница. — Мне ведь жалованье не выписывают, чтобы его ловить…
— Ты нашему жалованью не завидуй, — уже начал сердиться я. — И харчами не кори. У вас в деревне харчей сейчас больше, чем в городе. Вы даже снабжаете…
Я хотел сказать — бандитов. Но Венька взял меня за руку.
— Давай, отец, условимся вот как, — предложил Венька вознице. — Я запишу твою фамилию и адрес, где ты живешь. Как поймаем Воронцова, я напишу тебе открытку. Приезжай поглядеть на него…
— Надеетесь все-таки словить?
— А как же? Иначе, правда, не стоило бы возить нас в рабочее время. Лучше уж возить, как ты говоришь, дрова…
Венька разговаривал с возницей весело, по-мальчишески боевито. Но когда в Дударях мы пришли в баню и разделись, он словно постарел.

Повязка его так прилипла к незажившему плечу, что мы ее, даже намочив горячей водой, с трудом отодрали. И плечо вспухло. А лицо у Веньки сделалось черным.
Париться он не стал. Только слегка помылся, выстирал бинт, накинув на спину полотенце, подождал в предбаннике, пока я попарюсь и перевяжу ему плечо.
— Попарься за двоих, — пошутил он. — Жалко, пропадает такой мировой пар.
Из бани мы пошли искать Полякова, чтобы сделать перевязку по-настоящему. Но Полякова не было.
По дороге мы узнали, что сегодня городское комсомольское собрание и на повестке дня очень важный вопрос.
— Пойдем на собрание, — предложил Венька. — А потом опять поищем Полякова. Мне не хочется пропускать собрание. Интересно, ребят встретим…
— Вот видишь, не надо было тебе ездить сейчас в Воеводский угол, сказал я, заметив, как Венька все время морщится.
— Почему это не надо? — возмутился он. — Очень даже надо было. И очень хорошо, что съездили. Я кое-что зацепил…
— А вдруг плечо опять раздурится? Может стать совсем худо.
— Это ерунда. Поляков мне все наладит. У меня же хорошо заживлялось. Он сам говорил. И сейчас тут есть приезжий доктор Гинзбург. Если он только не уехал…
— Теперь тебе, наверно, придется лечь в больницу.
— Нет, я не лягу. Как вот просохнет земля, я опять поеду в Воеводский угол. Нам и сегодня не надо было всем сразу уезжать оттуда. Это мы немножко сплоховали.
— Но это ж начальник так хотел, — сказал я. — Мы уж за это не отвечаем. Мало ли, что он…
— Нет, отвечаем, — вдруг перебил меня Венька. — Мы за все отвечаем, что есть и что будет при нас. Мы же все-таки не дрова и не бревна…
И так он это резко сказал, зажмурившись от боли в плече, что мне запомнились на всю жизнь и эти слова, и лицо его запомнилось при этих словах — какое-то особо выпуклое, напряженное, с глубокой складкой меж бровями.
— А к этой Кланьке Звягиной ты опять зайдешь, если поедешь в Воеводский угол?
— Опять зайду.
— Значит, она тебя задела?
— Задела.
— А Юлька?
— Что Юлька? — Он сердито посмотрел на меня, будто я его в чем-то упрекнул. Потом опять зажмурился. И немного погодя сказал: — Юлька это… я даже не знаю, как это объяснить… Одним словом, я такой девушки еще никогда не встречал. И, наверно, больше не встречу. Она даже снится мне. Я про нее почти все время думаю. Что бы ни случилось, а я все время думаю про нее. Будто она смотрит на меня. Нет, я, наверно, другой такой больше никогда не встречу.
Это он впервые так откровенно сказал о Юльке, о том, что она интересует его. И сказал это с затруднением, может быть, потому, что у него сильно болело плечо.
— Ну, — отчего-то смутился я, — как это можно заранее говорить? Ты с ней еще даже не познакомился. А вдруг она в разговоре окажется не такая…
— Пусть. Мне это все равно. Для меня она заранее умнее всех. И меня умнее. Хотя я себя сильно умным не считаю. Я доверчивый очень. Но меня еще никто не обманывал, кому я доверял…
— А эти бандиты тогда сбежали — Лазарь Баукин и другие? Ты же не знал, что они сбегут из бани. Ведь действительно ты не знал?
Мы проходили среди голых и мокрых деревьев городского сада, что раскинулся над рекой. Лед уже набух, побурел. Вот еще неделя, другая — и он вздыбится, взорвется, загрохочет и медлительно поплывет далеко-далеко, в Ледовитый океан.
Венька остановился над обрывом и стал пристально вглядываться в даль, где чернела тайга, а над нею повисли подсвеченные заходящим солнцем грязноватые облака. Где-то там, под этими облаками, мы и были сегодня. Там лежит в треугольнике меж гор и рек Воеводский угол.

Я подумал, что Веньке не хочется отвечать на мой вопрос, что я затронул его слабое место. Чтобы выйти из неловкого положения, я сказал:
— Ведь к человеку в душу не залезешь. Откуда можно узнать, что у человека на душе? И с Лазарем Баукиным тогда нехорошо получилось. Ты ему поверил… И все мы ему поверили. А он вдруг убежал. Но, может, он сейчас себя оправдает. Прокурор пока помалкивает…
— Все это ерунда, — проговорил Венька и сделал такое движение, точно отталкивал от себя что-то крайне неприятное. — Лазарь Баукин мне не родня, и никаких обещаний не убегать он никому не давал. Была плохая охрана — он ушел. А в душу мы все равно обязаны залезать — в любую, если нас поставили на такую работу…
И опять стал пристально вглядываться в даль, в сторону Воеводского угла, где притаились те, кого мы должны выследить, выловить и даже уничтожить.
Мимо нас прошли Узелков и какой-то незнакомый нам сухощавый молодой человек в очках и в модной финской шапке с кожаным верхом и с барашковой опушкой. Они не заметили нас.
— Надо идти на собрание, — оглянулся на них Венька.
И мы пошли.
В толстостенном помещении клуба имени Парижской коммуны, где недавно еще жили монашки, было сумрачно и тихо.
Мы прошли по узенькой каменной лестнице на второй этаж, в буфет.
Здесь сидели за столиком и пили лимонад Яков Узелков и тот незнакомый нам молодой человек, уже снявший финскую шапку.
У молодого человека было детское, пухлое лицо в докторских очках, темные, гладко причесанные волосы и заметно хилые, покатые плечи, которые он все время как бы суживал, будто ему холодно. В зубах он держал тонкую трубку с длинным чубуком.
— Познакомьтесь, ребята, — показал нам Узелков на своего собеседника. Это Борис Сумской. Вы о нем, наверно, слышали? А это, — представил он нас, — местные пинкертоны…
За такие слова Узелкову в другое время сильно попало бы. Но сейчас мы не хотели ссориться с ним при постороннем человеке, при таком особенно, как Борис Сумской, о котором мы, конечно, слышали. Он часто писал в губернской газете фельетоны о попах и о религии, и было известно, что он работник губкома комсомола.
— Пинкертоны! — посмотрел он на нас и тихонько засмеялся, будто перекатывая в горле горошину. Однако протянул нам руку и сказал: — Очень приятно.
Обижаться было бы глупо с нашей стороны, тем более Борис Сумской, наверно, и не хотел нас обидеть. Просто ему показалось остроумным то, что сказал Узелков.
— Борис, — кивнул на Сумского Узелков. — Борис Аркадьевич будет сейчас делать доклад о религиозном дурмане. А перед докладом по его инициативе будем разбирать дело некоего Егорова. Борис Аркадьевич придает этому делу особое значение…
— Да, я считаю, это будет полезно для всей городской организации, вынул изо рта трубку Сумской. — Надо учить людей, вот именно, на конкретных примерах. А дело Егорова может послужить прекрасной иллюстрацией…
Мы не знали, кто такой Егоров и что у него за дело. Но Узелков нам тут же все объяснил:
— Егоров работал на маслозаводе, был, понимаете, комсомольцем. И однако, вместо того чтобы бороться против поповского дурмана, сам некоторым образом принял недавно участие в религиозном обряде, в так называемом крещении ребенка…
— Хорош! — улыбнулся Венька. — Значит, работает и нашим и вашим?
— Вот именно, — поднял перед своими глазами трубку Сумской. Поразительная, я бы сказал, беспринципность. Будет очень неплохо, если кто-нибудь из вас выступит сейчас по этому вопросу. Надо решительно разоблачить и пресечь, так сказать, в самом зародыше.
— Я не могу, — сразу отказался Венька. — К тому же я его не знаю, этого… Егорова, что ли. И вообще я выступать не очень люблю. Даже просто не люблю. Из меня плохой оратор…
Сумской опять воткнул трубку в рот.
— Это не имеет значения, — ответил он, выпуская клуб густого душистого дыма.

И этот дым неизвестного нам, наверно, дорогого табака, и новенькая кожаная тужурка с черным бархатным воротником, и темно-синие галифе, заправленные в серые чесанки, и все, что мы раньше слышали о Сумском, немножко подавляло нас.
Это была, конечно, большая честь, что такой человек, приехавший из губернского центра, вот так, запросто, беседовал с нами. И все-таки Венька сказал:
— Нет, будет неудобно, если я выступлю. С чего это вдруг!
— Глупые! — точно с сожалением посмотрел на него и на меня Узелков. Это же прямое поручение губкома. Так надо. Уком уже исключил Егорова из комсомола. А теперь товарищ Сумской рекомендует сосредоточить на этом одиозном деле внимание всей организации. Поэтому нужно выступать… Это же губком комсомола в лице вот товарища Сумского обращается к вам и рекомендует выступить…
— Вот ты и выступи, — предложил я Узелкову.
Узелков засмеялся:
— Ох, какие вы странные! Я ведь могу выступить всегда. А товарищ Сумской хочет, чтобы сейчас выступали люди, так сказать, из массы…
— Вот именно, — поддержал его Сумской.
— И кроме того, я дам в газете очерк об этом деле, — пообещал Узелков. — У меня, в сущности, все написано постольку, поскольку я присутствовал на заседании укома, где Егоров был исключен из комсомола. Это собрание должно прозвучать как заключительный аккорд…
— Вот именно, — опять поддержал его Сумской. И медленно вынул из маленького брючного кармана часы на цепочке. — Надо, пожалуй, начинать…
— Пожалуй, — согласился Узелков.
А мы молчали.
Нам просто нечего было сказать.
Мы так молча сидели и в зале, когда перед нами за длинным столом, покрытым красной материей, уже разместился президиум.
Первое слово было предоставлено Сумскому. Но он долго не мог начать говорить, потому что ему долго аплодировали, хотя комсомольцев в зале сидело немного.
Тогда во всем городе комсомольцев насчитывалось не больше тридцати да в уезде еще пятнадцать или двадцать. Вот и вся уездная организация. И чуть ли не вся она собралась сейчас послушать известного Сумского.
— Я с ним учился в гимназии, — сообщил нам Узелков, усевшись рядом с нами в зале. — Он был в пятом классе, а я в третьем. Потом я ущел на производство, на аптекарский склад, а он на фронте был, на гражданской войне, в агитбригаде, и мы потеряли друг друга…
— Чего же ты его Борисом Аркадьевичем зовешь, если вы старые товарищи? — спросил я, вообще удивленный тем, что комсомольцы, хотя и старшего по возрасту, называют по имени-отчеству.
— Не люблю проявлять фамильярность, — сказал Узелков и встал. — Пойду возьму пальто. Здесь все-таки прохладно…
— А что такое фамильярность? — спросил я, ухватив его за полу толстовки, чтобы задержать.
— Вот то, что ты делаешь сейчас! — осердился Узелков. — Отпусти. Я тебе не девчонка…
И он пошел на вешалку взять пальто, хотя Борис Сумской уже начал говорить. Но Узелкову, наверно, заранее было известно все, что скажет Сумской.
— …Мировой капитализм опять грозит нам новой интервенцией. Около Якутска, недалеко от нас, все еще бродит со своими битыми войсками белый генерал Пепеляев, которого наняли американские промышленники совершить набег на Советскую Якутию, дабы они могли скупить по дешевке нашу пушнину. Римский папа размахивает своим золотым кадилом, призывая гром и молнии на наши головы. А в это время среди нас, в наших сплоченных рядах еще находятся комсомольцы, которые никак не могут освободиться от религиозного дурмана. Тут один шаг до предательства интересов пролетариата. И в этом смысле так называемое дело бывшего комсомольца Егорова весьма показательно. Поэтому нужно и необходимо приковать к нему внимание всей организации. Нужно и необходимо вскрыть до конца всю глубину падения этого человека…

Борис Сумской говорил медленно и тихо, уверенный, что его все равно будут слушать и никто не перебьет. Он говорил о том, что бюро укома комсомола поступило совершенно правильно и своевременно, исключив Егорова из рядов РКСМ. Надо, чтобы и другим было неповадно…
— Да в чем дело? — вдруг закричал Васька Царицын. — Ты сначала объясни, в чем дело! Для чего эти слова, когда мы еще ничего не знаем? Объясните, какой это Егоров? Это с маслозавода, что ли?
Зуриков, сидевший за длинным столом президиума, позвонил в колокольчик, призывая Царицына к порядку.
А Борис Сумской наклонил голову и удивленно посмотрел в зал поверх докторских очков.
— Я говорю, вы неправильно ведете собрание, — привстал на своем месте в зале Царицын.
— Если есть какое-то дело Егорова, то пусть бюро с самого начала доложит собранию. А то, я слышу, тут уже какие-то выводы делаются. Это неправильно…
— Понятно, — кивнул головой Сумской. — Значит, здесь, на собрании, имеются элементы, желающие выгородить Егорова. Понятно. Но я должен предупредить, что это не выйдет. Не выйдет!
— Это имейте в виду, замечательный полемист, — кивнул на Сумского Узелков, уже накинувший на плечи пальто и опять усевшийся с нами рядом. С ним лучше не связываться. Судьба Егорова, к сожалению, уже решена.
В зале начался шум. Царицына поддержали еще три комсомольца. Зуриков, пошептавшись с членами президиума, наконец признал, что собрание ведется неправильно, не по Уставу. Зуриков сам стал докладывать о деле Егорова.
— А где Егоров? — опять закричал Царицын.
— Егоров, ты здесь? — посмотрел в зал Зуриков.
— Я здесь, — откликнулся из задних рядов еле слышный голос.
— Пусть он выйдет, — предложил Царицын.
— Пусть он сам расскажет, как это было.
И тут все увидели высокого застенчивого паренька в черном кургузом пиджачке. Он медленно шел к столу президиума.
— Да мы же его знаем! — сказал мне Венька. — Это же Егоров, кажется, Саша, с маслозавода имени Марата.
— Ну да, — подтвердил я, — он, помнишь, тогда провожал нас на крышу, приносил лестницу.
И еще мы вспомнили, что этот Егоров занес к нам в угрозыск сумку с патронами, которую бросили бандиты, когда грабили маслозавод. Это было в прошлом году, летом.
А теперь вдруг Егоров завяз вон в какой-то истории и моргает перед собранием красными глазами; Что он, плакал, что ли? Почему у него глаза такие красные?
— Я жил у дяди на квартире, — рассказывал он, готовый и сейчас заплакать. — Это родной брат моей матери. Он выписал меня сюда, потому что я был безработный. Он очень хороший человек, но он женился во второй раз, а жена у него хотя и молодая, но очень отстала в смысле религии…
— И ты, значит, с дядей пошел у нее на поводу? — спросил Царицын.
— Выходит, что так, — согласился Егоров. — Но в церковь я, даю честное комсомольское, не ходил…
— А это что? — показал бумагу Зуриков. И объяснил собранию: — Это заявление церковного старосты Лукьянова о том, что комсомолец Егоров; теперь бывший комсомолец, участвовал в церкви в церковном обряде крещения ребенка — дочери своего дяди, некоего гражданина Кугичева И.Г.
— Это вранье! — отмахнулся Егоров. — Вот ей-богу, это вранье! В церкви я не был. А церковный староста сердит на меня, что мы под рождество проводили агитацию против религии у нас на маслозаводе. И еще перед церковью спели песню: «Долой, долой монахов, долой, долой попов…» А этот церковный староста Лукьянов был мастером у нас на маслозаводе…
— Значит, ты проводил агитацию против религии, а потом сам же участвовал в крестинах?
— опять вскочил со своего места Царицын. — И самогонку пил?

— Нет, самогонку не пил, — помотал головой Егоров. Потом, помолчав, будто вспомнив, добавил: — Настойку, правда, пил. Два стакана выпил…
Все засмеялись.
— А настойка на чем была настояна? — зло спросил вечно угрюмый Иосиф Голубчик. — На керосине?
— Нет, тоже на самогонке, — признался Егоров. — Но она сладкая, на облепихе… Я ее выпил два стакана…
И повесил голову, должно быть сам догадавшись, что получилось глупо.
— Жалко парня! — сказал я Веньке, показав на Егорова. — Теперь уж он не выкарабкается из этого дела. Каюк! И зачем он признался, что пил настойку? Даже два стакана…
— Очень хорошо, что признался, — одобрил Венька, вглядываясь в Егорова. — Честный парень. А что же он, будет врать?
— Я не мог не пойти на крестины, — лепетал Егоров. И зачем-то торопливо застегивал свой кургузый черный пиджачок, будто собираясь сию же минуту уйти отсюда. — Дядя бы обиделся. Я живу у дяди на квартире. Он устроил меня на работу. Выписал сюда. И это родной мой дядя. По моей матери он мне родной. У моей мамы раньше, до замужества, тоже была фамилия не Егорова, а Кугичева…
— Это не оправдание! — крикнул Царицын и взял слово в прениях.
Он предлагал подтвердить решение бюро укома:
— Нам двоедушных в комсомоле не надо, которые живут и нашим и вашим…
Царицын сказал те же самые слова, какие говорил Венька Малышев, когда мы сидели в буфете.
Потом почти так же выступал Иосиф Голубчик. Только Голубчик больше злился, сразу назвал Егорова хвостистом и слюнтяем.
— И еще слезы тут льет, ренегат!..
— Вот это наиболее точное определение, — указал мне на Голубчика Узелков. — Егоров именно ренегат. Я лично только так бы это квалифицировал…
Ренегатами тогда часто в газетах называли европейских социалистов, заискивавших перед буржуазией.
Егоров подтянул к запястью короткий, не по плечу рукав и рукавом вытер лицо.
— Мне особенно противны эти лицемерные слезы, — скривился в его сторону Голубчик. — Не разжалобишь. Мы боевые комсомольцы. Мы слезам не верим…
При этих словах Венька Малышев поднял руку, попросил слова и, скинув на стул телогрейку, пошел к столу президиума быстрой походкой, высокий, плечистый, заправляя на ходу под ремень суконную серую гимнастерку.
— А я верю слезам! — сердито посмотрел он на Голубчика. — И я бы, наверно, сам заплакал, если бы меня исключили из комсомола. Это не шуточное дело. И нечего тут подхахакивать и подхихикивать, как вот делает товарищ Сумской. Я даже удивляюсь, что такой крупный работник подхихикивает. Чего ты тут увидел забавное?
Узелков даже ахнул, сидя рядом со мной.
— Ну, это Малышев лишнее на себя берет! Борис Сумской — это ему все-таки не Васька Царицын. Это работник губернского масштаба…
А Венька Малышев продолжал:
— Я еще не вижу в этом деле полного состава преступления. Если начать расследовать это дело по-настоящему…
— Здесь не уголовный розыск, — громко произнес Сумской.
И в зале кое-кто засмеялся.
Этот смех сбил Веньку.
— Я, конечно, не оратор, — как бы извинился он после долгой паузы. — Но я считаю, что говорить про Егорова «бывший комсомолец» еще рано. Еще надо это дело все-таки… доследовать. Я подчеркиваю — доследовать. Подозрительно мне, что тут некоторые готовы верить церковному старосте и не верить комсомольцу Егорову. С каких это пор церковные старосты стали заботиться о чистоте рядов комсомола? Я не буду голосовать за исключение товарища Егорова, я подчеркиваю — товарища, пока не увижу убедительных улик, что ли…
— Может, тебе представить еще вещественные доказательства? — усмехнулся Сумской.

— Да, мне нужны доказательства, — подтвердил Венька. — И всем, я думаю, нужны. Не только мне. Вот на этом я настаиваю очень твердо. И уверен, что вы, ребята, меня поддержите, потому что, я считаю, комсомольская организация должна не только наказывать, но и защищать комсомольца, когда на него возводят какую-то… ерунду или что-нибудь вроде этого. Я так считаю…

В зале было уже темно. А когда в президиуме зажгли большую керосиновую лампу, в зале, особенно в последних рядах, стало еще темнее. Поэтому мы не сразу рассмотрели девушку, взявшую слово после Малышева. И только когда дна заговорила, мы узнали Юлю Мальцеву.

— Я вполне согласна с этим товарищем, который только что выступал, подняла она голову и поправила гребенку в пышных волосах. — Я не знаю его фамилии, но я с ним вполне согласна. Он ставит вопрос совершенно серьезно, по-комсомольски…

Веньке, вернувшемуся на свое место рядом со мной, вдруг стало душно. Он расстегнул ворот гимнастерки. Лампа, стоявшая на столе президиума, хорошо освещала Юлю. Видно было даже, как шевелится у нее на груди белый лебедь, вышитый на мохнатом свитере. Таких свитеров комсомолки тогда еще не носили. Юля, наверно, связала его сама. Так думалось мне. Так хотелось думать. И я следил напряженно за каждым ее движением.

Царицын опять поднял руку, опять попросил слова.

— Это, может, получается, глупо, — усмехнулся он. — Но я сейчас послушал выступления, особенно выступление вот товарища Малышева Вениамина, продумал свои слова и вижу, что я поторопился. Я, товарищи, хочу прямо признать, что я поторопился. Я тоже не буду голосовать за исключение товарища Егорова. Это дело надо продумать. В этом деле еще надо разобраться…

Венька Малышев мог бы гордиться, что он повернул весь ход собрания. Все выступавшие после него говорили в защиту Егорова.

Зуриков, снова пошептавшись с членами президиума, согласился, что в этом деле допущен перехлест, что решение по этому делу надо, пожалуй, пересмотреть. И решение тут же пересмотрели.

Егорову поставили только на вид, но предупредили, чтобы он больше не участвовал в крестинах и во всяких религиозных обрядах, а также пьянках и тому подобных недостойных действиях. Егоров, растерявшись от счастья, продолжал сидеть в президиуме у лампы, красный и вспотевший. Но Венька больше не смотрел на него.

Венька словно забыл о нем и обо всем, что происходит на собрании. Он, мне кажется, не слушал и доклад Бориса Сумского, в общем, как я помню, интересный доклад. Он все время поворачивал голову и, сильно морщась от боли в плече, смотрел на черное полукруглое монастырское окно, где сидела с подругой почему-то на подоконнике Юля Мальцева, хотя в зале было много свободных мест.

— Шею сломаешь, — пошутил я и потом предложил в конце собрания: Пойдем познакомимся с ней…

— Пойдем, — покорно отозвался он, как загипнотизированный. И, еще раз взглянув на нее, похвалил: — Принципиальная.

Это была наивысшая похвала, какую мог произнести Венька. Ему всегда нравилось это слово и смысл его. Вспоминая о своем отце, он говорил: «Это был замечательный, принципиальный старик. Колчаковцы ему давали десять тысяч царскими деньгами, чтобы он повел бронепоезд, можно было дом купить, а он лучше готов был под расстрел».

После собрания мы решились подойти к Юле. Уже направились к тому окну. Но к нам подошел Егоров.

— Вот пусть вся жизнь моя пройдет — и все равно, товарищ Малышев, я тебя буду вспоминать, — сказал Егоров. — Вот, ей-богу, даю тебе честное ленинское, самое честное слово. Если б сейчас не ты, я не знаю, что было бы… Я, наверное, — даю слово, — утопился бы или еще чего сделал, если бы меня исключили из комсомола. Даю слово…

— Ну, ладно, будет ерунду-то собирать, — поморщился Венька, продолжая смотреть в ту сторону, где сидела Юля.

Юли уже не было видно. Но вот она опять появилась в зале. Она, должно быть, кого-то искала. «Может быть, нас?» — подумал я.

— Нет, ты, правда, меня спас, — говорил Егоров, вытирая платком вспотевшее лицо. — Этого я даже не ожидал… И никто не ожидал. Все уже думали, что я готовый, что меня никто уж не выручит ни за что…
А Юля стояла недалеко от нас под низкими сводами. Нас она не могла увидеть за колонной. Да, может, она и не нас искала. Даже скорее всего не нас. Может быть, она искала Узелкова.
— Я уже был уверен, что меня тут заклюют и закопают, — вздыхал Егоров, вытягивая руки, точно желая обнять Веньку и все-таки не решаясь. — Как этот Сумской начал говорить про мировой капитализм и про папу римского и меня тут же вспомнил, я прямо весь обмер. Ну, думаю, конец мне. А ты меня выручил…
— Да зачем мне надо было тебя выручать? — вдруг осердился Венька, увидев, что Юля ушла. — Чего это ты причитаешь? Для чего? Никто тебя не выручал, а просто ребята увидели, что все делается неправильно. И ты тут ни при чем. Тебе бы надо было выговорок записать. Но ты честно сознался. Поэтому никто не настаивал. А если в следующий раз опять пойдешь на крестины, тебя уж никто не выручит…
— Я никуда теперь не пойду, — сказал Егоров. — Мне теперь все равно не будет жизни на маслозаводе…
Но Венька его не слушал. Он шел все быстрее по узкому монастырскому коридору, будто надеясь догнать Юлю Мальцеву.
А Юля, наверно, как думал я, идет сейчас уже по улице, может, под ручку с Узелковым.
Еще днем около клуба лежал смерзшийся снег, а к ночи его растопило и развезло, и вдоль тротуара шумел ручей.
На улице было темно и сыро.
Только у двухэтажного каменного здания горсовета, у бывшего особняка купца Махоткина, горели на чугунных столбах старинные шестиугольные керосиновые фонари. И в желтом свете этих фонарей еще толпились парни и девушки, вышедшие из клуба после комсомольского собрания.
Издали видно было Бориса Сумского. Он размахивал руками, будто дирижировал.
Я подумал, что и Юля Мальцева где-нибудь здесь стоит. Но ее не было. И Узелкова не было. Значит, верно, он пошел ее провожать.
Мы шли по мокрым изломанным доскам тротуара. Вдруг доска зашаталась под нами. Это кто-то догонял нас.
Привыкшие к неожиданностям, мы сразу расступились. И в ту же минуту сконфузились, потому что нас догонял не кто-нибудь, а Узелков.
— Да, Вениамин, — сразу начал он, — испортил ты мне сегодня работку. У меня даже эпиграф был подобран: «В столицах шум, кипят витии, идет журнальная война. А там, во глубине России, там вековая тишина».
— Ты о чем? — спросил Венька.
— О том же! — засмеялся Узелков. — Об этом самом Егорове. Это же типичный обыватель, как его характеризовал Борис Сумской, обыватель с комсомольским билетом. Я уже было очерк о нем написал. А ты…
— Ты сам обыватель, — поглядел на него сверху вниз Венька. — Егоров честный парень. А ты только ищешь в людях какую-нибудь пакость. Тебе бы только написать, только бы перед кем-то выслужиться…
— Может быть, товарищ Малышев, ты поточнее скажешь, перед кем я, по-твоему, выслуживаюсь? — с угрозой в голосе спросил Узелков, стараясь в то же время удержаться на шаткой, доске, проложенной на двух бревешках над вязкой грязью.
— Я не знаю, перед кем ты выслуживаешься, — перепрыгнул через лужу Венька, — но я вижу, что тебя все время тянет на вранье, как муху на сладость…
— Поучи меня, поучи! — насмешливо попросил Узелков и остановился у конца доски, не решаясь перепрыгнуть через лужу.
Венька протянул ему руку.
— Не беспокойся, я не барышня! — обидчиво вскинул голову Узелков, но все-таки ухватился за руку Веньки и перепрыгнул на островок обледенелого снега. — Что ты можешь понимать в том, что такое правда и что такое, как ты выражаешься, вранье? — сказал он, ощутив под ногами сравнительно твердую почву. — У тебя от недостатка

образования эмпирическая смесь в голове. Ты — типичнейший эмпирик и эклектик… И кроме того, ты заражен так называемой христианской моралью. Ты читал тезисы по антирелигиозной пропаганде?
— Ничего я не читал, — ответил Венька, — но я вижу, ты всех стараешься подогнать под какие-то тезисы. Ты и Егорова хотел сегодня подогнать. А если б у тебя была настоящая комсомольская совесть при твоем образовании…
Узелков опять гордо вскинул голову.
— Совесть? Что касается совести, как ты ее понимаешь, и всякого правдоискательства, так я это предоставляю разным вульгаризаторам вроде тебя, товарищ Малышев. Меня христианская мораль не интересует. Мне сюда, завернул он за угол.
Я все-таки успел ухватить его за полу.
— А что такое христианская мораль? — спросил я.
— Христианская мораль? — Узелков остановился. — Не знаете?
— Если б знали, не спрашивали бы, — сказал Венька.
— Христианская мораль… Как бы это вам объяснить наиболее популярно… Христианская мораль — это прежде всего запугивание человечества всесильным божеством. Церковники внушают верующим, что, если человек украдет, солжет или сделает еще какую—либо подлость, его обязательно накажет бог. То есть внушают такую мысль, что человек должен вести себя благородно под страхом божественного наказания. Под постоянным страхом…
— А если бога нет, значит, можно врать и обманывать? — спросил Венька.
— Я этого не говорил, — засмеялся Узелков.
Вынул из кармана свежую пачку папирос, разорвал ее с угла, вытряс на ладонь три папиросы. Одну зажал в зубах, две протянул нам. Потом достал спички.
Ветер, стремительный, предвесенний, дующий сразу с трех сторон на этом перекрестке, мешал прикурить. Узелков нервничал.
Венька взял из его цыплячьих лапок коробок. Мгновенно прикурил и, держа горящую спичку в согнутых ладонях, как в фонарике, дал прикурить Узелкову и мне.
— Вот это я понимаю — ловкость рук! — пошутил Узелков. — Есть вещи, которым я завидую…
— Чему ты завидуешь? — спросил Венька.
— Ну вот хотя бы тому, что ты умеешь так ловко на ветру зажечь огонь и удержать его в руках.
— Огонь я могу удержать, — поднял все еще горящую спичку Венька. — Но ты погоди, ты не темни. Ты скажи откровенно, как ты сам считаешь: Егоров сейчас был виноват?
— До известной степени…
— До какой степени? Ты в точности скажи: надо было его исключать из комсомола?
— Какое это имеет значение, надо или не надо? — выпустил дым Узелков.
— Нет, ты прямо скажи, по своей совести — христианской или нехристианской, — его надо было исключать из комсомола? Он был сильно виноват?
Узелков улыбнулся:
— Как выяснилось на собрании, не сильно…
— Что ж ты взялся писать о нем и срамить его, если он не сильно виноват? — спросил я.
— Вот-вот! — поддержал меня Венька, пристально вглядываясь в Узелкова. — Вы с Борисом Сумским хотели вроде пустить под откос хорошего парня. И ни с того ни с сего…
Узелков наклонился завязать шнурок на башмаке. Завязал, выпрямился.
— Это вам так кажется, что ни с того ни с сего. А если б вы читали тезисы по антирелигиозной пропаганде, вы так не рассуждали бы. Иногда в политических интересах надо сурово наказать одного, чтобы на этом примере научить тысячи… И тут уж нельзя проявлять так называемой жалости и мелкобуржуазной мягкотелости…
— О-о! — вдруг как будто застонал Венька и выбросил в лужу папироску.
Я подумал, что у Веньки уже совсем нестерпимо разболелось плечо, и, кивнув на Узелкова, сказал Веньке:
— Да ну его к дьяволу с этими разговорами! Пойдем. А то ты опоздаешь к Полякову…
— Нет, погоди, — оттолкнул меня Венька. — Так, значит, ты, Узелков, считаешь, что можно сурово наказывать даже не сильно виноватого, лишь бы кого-то там научить? А это будет чья мораль?

— Я морали сейчас не касаюсь, — чуть смешался Узелков и стал потуже обматывать шею шарфом. — Мы говорим о более серьезных вещах. Егоров не какая-то особенная фигура. В огромном государстве, даже в пределах одной губернии, его и не заметишь. Как какой-нибудь гвоздик. А тем не менее на его деле мы могли бы научить многих…
— Вот ты какой! — оглядел Узелкова Венька. — А с виду тихий. А что, если тебе самому сейчас пришить дело? Что, если, например, тебя самого сейчас выгнать из комсомола и отовсюду и потом начать всех учить на твоем деле?
— Я же не был на крестинах, — в полной растерянности проговорил Узелков. — И кроме того, — он взглянул на скользкий снег под ногами, — я, кажется, промочил ноги.
— Иди скорее грейся! — сказал Венька. — Не дай бог, простынешь. Кто же будет тогда других учить… разным жульническим приемам?
— Поаккуратнее, — попросил Узелков. — Поаккуратнее в выражениях. А то я могу поставить вопрос и о тебе, о твоих идейных взглядах…
— Поставь! — махнул рукой Венька.
И мы свернули в переулок, в совершенную тьму, где надо было идти, прижимаясь к забору, чтобы не попасть в глубокую грязь, тускло мерцавшую среди маленьких островков льда и снега.
— Теоретик! — засмеялся я, оглянувшись на Узелкова. — Он, наверно, и перед Юлькой Мальцевой развивает такие теории. Он же сам рассказывал: она играет на гитаре и поет романсы, а он разводит вот такую философию…
— Юля тут ни при чем, — странно тихим голосом произнес Венька. — И ни к чему ее впутывать в эту ерунду… А мы с тобой как слепые котята, вздохнул он, оступившись на тонкой полоске снега и провалившись одной ногой в грязь. — Даже как следует поспорить не умеем. Я только чувствую, что Узелков говорит ерунду. Не может быть, что есть какие-то тезисы, по которым надо врать и наказывать невинного, чтобы чего-то такое кому-то доказать. Не может этого быть. Я считаю, врать — это, значит, всегда чего-то бояться. Это буржуям надо врать, потому что они боятся, что правда против них, потому что они обманывают народ в свою пользу. А мы можем говорить в любое время всю правду. Нам скрывать нечего. Я это хорошо понимаю без всяких тезисов. Но объяснить не могу. Он мне тычет христианскую мораль, намекает вроде, что я за попов. И я немножко теряюсь. А он держится перед нами как заведующий всей Советской властью. И как будто у него есть особые права…
— Да ну его, он трепач! — сказал я.
— Нет, он не трепач, — возразил Венька и добавил задумчиво: — Он, пожалуй, еще похуже, если в него вглядеться…
Впереди нас вдоль забора, цепляясь за забор, за старые, трухлявые доски, продвигался человек. Мы сразу узнали Егорова. И он, конечно, узнал нас, но не заговорил. Он просто молча шел впереди по узенькой кромке обледеневшего снега.
Венька окликнул его:
— Ты куда сейчас?
— Домой, на маслозавод.
— О, это далеко, особенно по такой грязи! И главное, темно, — сказал Венька. И еще спросил: — А чего это ты говорил, что тебе теперь не будет жизни на маслозаводе?
— Ну, это долго объяснять, — уклонился Егоров.
Видимо, он все-таки обиделся, что Венька его не дослушал в клубе. И Венька это сейчас почувствовал.
— А то, хочешь, идем к нам ночевать, — пригласил он. — Можем постелить тебе тюфяк. Попьешь чаю. — И пошутил: — Облепиховой настойки у нас нет, а чай найдется, даже не с сахарином, а с сахаром…
— Нет, спасибо, — отказался Егоров, — я пойду домой. Утром рано вставать. — Голос у него был невеселый.
На площади Фридриха Энгельса он попрощался с нами и уж совсем невесело сказал:
— Вам хорошо, ребята!
— Чем же нам хорошо? — спросил я.
— Всем хорошо. У вас работа хорошая. Постоянная. Вас никто не тревожит…
Венька засмеялся.

— Вот это ты в точности угадал, что нас никто не тревожит! Может, тебя устроить на нашу работу?
— А что, я бы пошел! — оживился Егоров. — У вас ни перед кем унижаться не надо…
— А ты перед кем унижаешься?
— Ну, это сразу не расскажешь, — опять уклонился Егоров. И показал рукой: — Мне теперь вот прямо под гору. Ох, и скользко там сейчас!
— А то действительно пойдем к нам, — предложил я.
— Нет, ничего, не надо, я доберусь, — пошел через площадь Егоров. И повторил: — Я доберусь…
— Вот что, — крикнул ему Венька. — Если будешь в наших краях, заходи. Мы тут живем недалеко, на Пламя революции, шестнадцать. Обязательно заходи…
— Ладно, то есть спасибо! — уже из темноты откликнулся Егоров.
Ему надо было идти под гору, потом через мост, все время лесом.
А мы пошли по улице Ленина, где горело несколько керосиновых фонарей и рядом с ними висели в проволочных сетках электрические лампочки, которые должны были загореться к Первому мая, когда будет пущена электростанция.
Мы пошли мимо бывшего махоткинского магазина, мимо магазина Юли Мальцевой, как мы мысленно называли его, и с грустью посмотрели на огромный, чуть покрытый ржавчиной замок, висевший на обитых железом дверях.
Эх, Юля, Юля! Наверно, и в пятьдесят лет и позже не разгадать мне, что же было в тебе такое притягательное, что увлекало, и радовало, и мучило нас. Но ведь было что-то, от чего и волновались и робели мы перед тобой. И даже замок твоего магазина вдруг наполнял нас сердечным трепетом.

14

Венька был решительным и смелым, хитрым и даже грубым, беспощадно грубым, когда требовали обстоятельства.
Таким его знали многие. Но мало кто знал, что он же бывает застенчивым и нерешительным.
В окнах нашей амбулатории, или «предбанника», как мы ее называли, было уже темно, когда мы проходили мимо. Поляков, должно быть, лег спать. И Венька постеснялся разбудить Полякова, хотя плечо у Веньки разболелось так, что я думал, он в самом деле сойдет с ума.
Он метался всю ночь на узенькой своей кровати, бредил, скрежетал зубами. То сердито, то жалобно и нежно звал Юльку, называл ее Юлией, Юленькой. То вдруг открывал глаза и разумно спрашивал:
— Я кричу?
— Нет, что ты!
— Ну, тогда извини, пожалуйста. Спи. Нам рано вставать. Мне чего-то такое приснилось. Ерунда какая-то…
И опять начинал бредить.
— Отойди! — кричал он кому-то. — А то я покажу тебе сейчас христианскую мораль.
И ругался с такой свирепостью, что сразу разрушил нашу репутацию в глазах богобоязненной нашей хозяйки.
— Никак, напились, — объяснила она за дверью соседке. — А были на редкость смирные ребята. Несмотря что из уголовного розыска.
Во втором часу ночи я все-таки пошел и разбудил фельдшера Полякова.

Заспанный, сердитый, Поляков осмотрел Венькино плечо и развел руками.
— Что же я теперь могу поделать? Ведь я же не врач—хирург, я только всего-навсего деревенский фельдшер. А это уже начинается, кажется, заражение крови. Вам понятно, что такое заражение крови?
— Понятно, — сказал я. — Надо немедленно что-то делать…
— Делайте что хотите, а я отмываю руки, — пожал плечами Поляков. — Я вам предлагал Гинзбурга?
— Ну, предлагали.
— А теперь Гинзбург уехал в Ощепково. И оттуда уедет прямо к себе. А я отмываю руки. Это уж не по моей специальности.
Тогда я вынул из-под подушки кольт, положил его на стол и сказал Полякову:
— Вот это вы видите, Роман Федорович? Если Венька умрет, я вас — даю честное комсомольское — в живых не оставлю. Я вас тогда на краю земли найду. И из земли выкопаю…
— На это вы только и способны, — презрительно вздохнул Поляков, опасливо покосившись на кольт. — Ну хорошо, тогда я сейчас съезжу в Ощепково. Может, я еще Гинзбурга найду. Хотя я, конечно, не ручаюсь. Может, Гинзбург уже дальше проехал…
Веньку поместили в уездную больницу, которой заведовал родной брат нашего Полякова — тоже фельдшер — Сергей Федорович. Такой же длинный и сухощавый и такой же малограмотный, он, однако, отличался от своего брата необыкновенной важностью.
— Здесь медицинское учреждение. Посторонних попрошу удалиться, — сказал он сразу же, как Веньку уложили на койку против окна.
Посторонним был тут только я. Но я не мог удалиться, не хотел удаляться. Я ждал, когда приедет Гинзбург.
У Веньки опять начался бред. Он, должно быть, вспоминал в бреду поездку в Воеводский угол, на кого-то сердился, что-то искал под одеялом. Наверно, пистолет искал. И вдруг ясно, неожиданно ясным голосом, позвал:
— Ну, Юля, подойди сюда! Ну, не бойся, подойди…
Мне было неприятно, что при этом присутствует заведующий больницей. Чтобы отослать его, я спросил:
— У вас есть термометр?
— У нас все есть, уважаемый молодой человек, — сказал заведующий. — Но посторонние, еще раз повторяю, должны удалиться. Мы будем обрабатывать больного согласно нашим правилам…
— Вы не будете обрабатывать больного, — твердо сказал я. — Пусть сперва приедет Гинзбург.
А Гинзбург все не приезжал.
Начался тоскливый, медленный рассвет.
На рассвете я разглядел, что окно, подле которого лежит Венька, выходит прямо на погреб, украшенный большой, старинной, чуть поржавевшей по краям вывеской с твердым знаком: «Для усопшихъ».
— Вы бы хоть вывеску убрали, — показал я заведующему. — Для чего эта вывеска? Вы же сами знаете, где у вас хранятся усопшие…
— Мы-то знаем. А родственники? Тут же каждый день родственники забирают усопших…
— Неужели каждый день?
— Каждый день. А как же вы хотели? Тут же больница, приемный покой…
Я не думал, что Венька вот сейчас умрет в больнице. Я знал, что Венька сильный и обязательно выживет. Но я не хотел, чтобы он открыл глаза и увидел своими глазами эту вывеску, которая хоть кому испортит настроение.
Я вышел во двор, залез на земляную кровлю погреба и сорвал вывеску.
Заведующий позвонил нашему начальнику. Он кричал с визгом и стоном в телефонную трубку, что тут сотрудники уголовного розыска ужасно озоруют, что, если сейчас начальник лично не прибудет сюда, они, эти сотрудники, чего доброго, разнесут все лечебное учреждение.

Вскоре наш начальник прибыл в больницу. Он сердился, ругал меня, грозился посадить под арест. И не за то, что я оторвал вывеску, а за то, что вовремя не известил его о таком несчастье с Вениамином Малышевым.
От шума, поднятого сперва заведующим больницей, а затем нашим начальником, не только проснулись все больные, но очнулся и Венька, которому заведующий уже успел положить на голову резиновый мешочек со льдом.
И на Веньку тоже напустился начальник.
— А ты что тут разлегся? — кричал он на него. — Где же ты раньше-то был? Почему скрывал такое дело? Разве ты не знаешь, что ты от такого дела можешь в любую минуту помереть?
— Ну уж, помереть… — тихо сказал Венька, стараясь приподняться в присутствии начальника.
— Свободно можешь помереть, — подтвердил начальник. — Я даже знал одного мужика, который вот так же от глупости своей помер.
Я понял, что напрасно оторвал вывеску.
Наш начальник кричал не только на меня и на Веньку, но и на заведующего больницей, как будто он тоже ему подчиняется. Он оглядел всю больницу, всех больных, нашел, что тут очень грязно и душно, велел проветрить помещение и сам раскупорил и распахнул в коридоре окно.
В это время и прибыл доктор Гинзбург.
Очень шустрый старичок с черными внимательными глазами и острой бородкой, он делал все так быстро, уверенно и ловко, что мне вдруг самому захотелось стать доктором, и именно хирургом. «А кто знает, может, еще и стану», — подумал я.
Доктор Гинзбург не просил удалиться посторонних. Он при нас раздел Веньку, протер ему грудь и плечо спиртом, поудобнее усадил на кровати, для надежности, привязал полотенцем, дал чего-то попить. И Венька даже ойкнуть не успел, как доктор разрезал плечо и стал выдавливать ватой какую-то гниль, чуть не погубившую Веньку.
Не только мне, но и нашему начальнику понравилось, как работает доктор Гинзбург. Начальник поблагодарил его и сравнил эту работу с цирковой, что, конечно, было наибольшей похвалой в устах нашего начальника. Но доктор сказал, что это не бог весть какая сложная операция, что бывают операции много сложнее, и похвалил Веньку за его спокойствие и железный организм.
— Организм такой, — сказал доктор, — рассчитан на добрую сотню лет. Прекрасный молодой человек богатырского телосложения.
И нам это было особенно приятно, как будто он хвалил нас самих и все наше учреждение, тем более что доктор произнес к тому же и уважительные слова о нашей, как он выразился, общественно полезной и, в сущности, чрезвычайно опасной деятельности.
Наверное, я думал, из уважения к Вениамину Малышеву доктор Гинзбург задержался в Дударях еще на несколько дней. Он уехал, когда процесс заживления раны пошел, по его словам, весьма активно. Но Веньке он все-таки приказал лежать в больнице. И начальник строжайше подтвердил этот докторский приказ.
Навещать Веньку приходили в больницу по очереди все сотрудники нашего учреждения. И даже из других организаций приходили ребята.
Пришел и Саша Егоров с маслозавода. Он принес в подарок бутылку кедрового масла и сказал, что уже окончательно расплевался теперь со своим дядей и уезжает завтра к сестре. Веньке вдруг почему-то стало жаль расставаться с этим Сашей, которого он, правда, выручил из беды. Бутылку с кедровым маслом он не взял, сказал, что ему харчей хватает, а масло посоветовал увезти сестре — оно там больше пригодится, если у сестры, тем более, трое маленьких детей.
— Ты нам лучше напиши письмо, — попросил Венька Егорова. — Нам же интересно будет, как ты там устроишься, как тебя встретит сестра, какую ты найдешь работу.
— Работу я теперь, однако, не скоро найду, — погрустнел Егоров. — Вы сами знаете, какая безработица. Но я все равно решил отсюда уехать. Все-таки у меня там сестра.
Венька уже свободно ходил по всей больнице и по двору. Он проводил Егорова до ворот, попрощался с ним и потом сказал мне:

— Вот посмотри, какой у меня характер привязчивый! Ну, кто мне этот паренек? Я всего-то несколько раз его видел. А вдруг почему-то прикипел я к нему. И мне жалко, что он уезжает…
Венька вернулся в палату и стал точить на ремне бритву, чтобы побриться.
Один конец ремня он укрепил на гвоздике, вбитом в подоконник, другой держал в зубах.
В это время пришел навестить его Васька Царицын, который ходил к нему в больницу почти так же часто, как я.
Васька принес в подарок Веньке кедровых орехов, сам же щелкал их тут и бережно собирал скорлупки в кулак. При этом он рассказывал разные новости и между прочим сообщил:
— А эта Юлька Мальцева все время, как я ее встречу, про вас спрашивает. И вчера на репетиции опять спрашивала. Больше, конечно, спрашивает про Веньку.
Венька продолжал точить бритву и стоял лицом к окну, чтобы свет падал на ремень. Поэтому мне видно было только одну его щеку. И видно было, как к ней приливает густая, горячая краска.
— Будет ерунду-то пороть, — сказал он Ваське, не поворачиваясь к нам, но выпустив из зубов конец ремня.
— Нет, я правду говорю, — разгорячился Васька. — Я ее даже так понимаю, Юльку, что она хотела бы к тебе в больницу зайти. Хочешь, Венька, я ее приведу?
— Для чего это? — спросил Венька и снова ухватил зубами конец ремня.
— Просто так. Хочешь, приведу? Она же почти рядом со мной живет: Кузнечная, шесть.
Венька промолчал. Он стал пробовать бритву на ногте, очень ли острая она.
А я спросил Ваську:
— Ну, а ты сам-то что же? Ты же сам как будто ухаживал за Юлькой? Даже, я помню, собирался жениться…
— Да какой я жених? — чуть смутился Васька. — Тем более для Юльки Мальцевой. Она бы только посмеялась надо мной, если б узнала. Она надо всеми смеется. Чересчур образованная.
— А Узелков? — спросил я, стараясь не выдать своей заинтересованности. — Он ведь, по-моему, главный ухажер?
Васька вдруг сам засмеялся.
— Узелков — это одна комедия. С кем ты его равняешь? Венька и Узелков. Ну какое же может быть сравнение! Узелков же всего только обыкновенный черный жук против него.
И показал глазами на Веньку, уже легонько направлявшего бритву на оселке. Он делал вид, что совсем не слушает Ваську.
Васька покрутился тут, в палате, еще минуты две и, попрощавшись, ушел.
А Венька сел бриться. Он намыливал щеки, смотрелся в зеркало и молчал. И я тоже молчал. Однако молчание Веньки было почему-то неприятно мне. Мне хотелось, чтобы Венька хоть что-нибудь сказал по поводу Васькиных слов. Мы приятели, нам следовало бы обсудить Васькины слова о Юльке.
Я терпеливо ждал, что скажет Венька. Но он молча выбрил одну щеку и начал брить другую.
Бриться ему было трудно одной рукой. Я удивился, что он бреется, не натягивая кожу на щеке, как делал я, как делают все. И еще я удивлялся уж слишком спокойному выражению его лица, будто ничего здесь не произошло, будто Васька и не приходил вовсе и ничего не говорил. Правда, два раза Венька поморщился, но это оттого, что бритва шла против волоса.
Мне вдруг захотелось, чтобы он порезался.
Но он побрился благополучно, вытер тщательно бритву и, спрятав ее в футляр, стал, не взглянув на меня, собирать со стола бумагу, испачканную мылом. Потом он сказал:
— Вот я и побрился.
— Можешь, — ехидно сказал я, — идти в магазин. Наверно, еще не закрыли, Юлька там.
Венька ничего мне на это не ответил. Взяв кисточку, выжал ее в стаканчик и понес стаканчик во двор, чтобы выплеснуть грязную воду.
Вернувшись, он, улыбаясь, спросил:
— Ты чего злишься? Влюблен?
— В кого это я влюблен?

— В Юльку, что ли?
— Не угадал, — сказал я и тоже улыбнулся.
— А в кого?
И тут я соврал непонятно для чего, может быть, из гордости.
— Нет, — сказал я, — нисколько я в нее не влюблен. Был влюблен, правда. Но теперь прошло. Мне сейчас другая девушка нравится.
— Катя Петухова?
Я зачем-то утвердительно мотнул головой, хотя библиотекарша мне никогда не нравилась.
— Честное слово? — спросил Венька и пристально посмотрел на меня.
Я подумал и сказал твердо:
— Честное слово.
И в эту минуту сам поверил, что мне действительно нравится не Юлька, а Катя Петухова. Я даже почувствовал какое-то облегчение. Венька шагал по комнате взад-вперед и опять молчал.
Утром я поехал в деревню Покукуй, где минувшей ночью произошло убийство с целью грабежа.
Убитым оказался заведующий кооперативом. А сторожа бандиты связали знаменитыми тогда сыромятными ремешками-ушивками, отличавшимися, как мы писали в протоколах, «большой прочностью и свойством крепости узла при завязывании».
Пока я вел расследование в Покукуе, пришло известие, что точно такие преступления на рассвете совершены в Покаралье, в Уяне и в Ючике. В Уяне, помимо ремешков-ушивок, были найдены на месте преступления еще охотничье ружье марки «геха», имеющее свойство поражать большую площадь рассеиванием картечи при выстреле, и американская винтовка марки «винчестер», обладающая большой дальнобойностью.
Эти вещественные доказательства, попавшие в наши руки, говорили о многом.
Во-первых, они попали к нам в руки именно потому, что в одной из деревень, в Уяне, сами жители, главным образом промысловые охотники, оказали серьезное сопротивление бандитам — трех убили.
Это уже отрадная новость. И многозначительная. Значит, жители все активнее вступают в борьбу против бандитов.
Это я с удовольствием записал в сводку.
Во-вторых, оружие, оставленное бандитами в Уяне, выглядело совершенно новым. Оно и выпущено совсем недавно — в прошлом году. Значит, бандиты все еще снабжаются новым оружием, может быть, прямо из-за границы.
Это тоже очень важный факт. И его я тоже отметил в сводке.
Однако больше всего меня занимали ремешки-ушивки.
Не первые распустившиеся на деревьях листочки, не горячее солнце, а именно эти ремешки-ушивки свидетельствовали, что весна уже началась и на днях у нас вдвое, втрое, вчетверо прибавится работы.
Ремешки-ушивки — это изобретение неуловимого Кости Воронцова, «императора всея тайги». Значит, он уже выходит на простор. Первые убийства и грабежи — дело рук его банды.
Я доложил об этом начальнику. Потом пошел в больницу.
Было обеденное время. Венька, как все больные, ел из алюминиевой тарелки манную кашу с постным маслом.
— Пусть это все валится ко всем чертям! — сказал Венька, выслушав меня, и так отодвинул тарелку, что она скатилась со стола. — Пусть заведующий сам доедает эту кашу. А я сегодня же ухожу из больницы…
— А начальник? Он же тебе твердо приказал…
— Пусть он что хочет приказывает! — обозлился Венька. — Пусть он хоть сам ложится сюда, а я ухожу. Я всю осень готовил дело. И еще зимой налаживал. А теперь я буду тут лежать? Нет, дураков нету тут лежать…
Венька снял больничный байковый халат, от которого пахло щами, лекарствами и еще чем-то удушливым, надел все свое, принесенное санитаром из кладовой и пахнущее теперь мышиным пометом и сыростью, подарил санитару за услуги зажигалку, сделанную из

винтовочного патрона, попрощался с больными, пообещал как-нибудь зайти сыграть в шашки, и мы пошли к начальнику.
Начальник сейчас же вызвал нашего Полякова, велел в своем присутствии осмотреть Венькино плечо и, не поверив фельдшеру, еще сам осмотрел.
— Заживает? Как сам-то чувствуешь, заживает?
— Зажило уже, — сказал Венька. — Я чувствую, что зажило.
— Нет! — покачал головой начальник. — Дней этак десять надо еще полежать. А ты как считаешь, Поляков?
Поляков поднял нос, понюхал воздух, как всегда делал в затруднительных случаях, и согласился с начальником.
— А Воронцова кто будет ловить? — сердито посмотрел Венька на Полякова. — Вы, что ли?
— Это уж не по моей части, — чуть отступил Поляков.
— Вот в том-то и дело, — сказал Венька. — Мне надо ехать в Воеводский угол. Просто очень срочно. Может, даже сегодня. Я и так, наверно, пропустил время. А вы, Роман Федорович, я вас прошу, — обратился он к Полякову, — еще раз мне сегодня перевяжите получше. А потом уж я сам повязку сниму в Воеводском углу. Когда все заживет окончательно…
— Нет, в Воеводский угол ты не поедешь. — Начальник стал отмыкать ящик письменного стола. — Ни сегодня, ни завтра не поедешь. Воронцова мы будем ловить уж своими силами. Без тебя. — И, отомкнув ящик, протянул Веньке вчетверо сложенную бумагу.
Это был приказ откомандировать Вениамина Степановича Малышева в распоряжение губернского уголовного розыска.
— Могу тебя только поздравить, — протянул Веньке руку начальник. Ничего поделать не могу. Могу только поздравить.
— Все это ерунда! — положил на стол бумагу Венька. — И потом, я хотел спросить: почему это именно меня откомандировать? В честь чего?
— Я так понимаю, — сказал начальник, — что в связи с ликвидацией банды Клочкова. Это надо понимать как выдвижение молодых кадров на руководящую работу в губернский центр…
— А я при чем? — опять спросил Венька. — Если уж выдвигать, так не меня, а Соловьева Колю. Ведь Клочкова же он убил…
— Ничего не знаю, ничего не знаю! — засмеялся начальник. — Руководящим товарищам виднее, кто кого убил. И кроме того, очень важно, какое освещение дает событиям пресса…
Тут, наверно, мы все в одно время вспомнили эту фразу из очерка Якова Узелкова о юноше-комсомольце с пылающим взором, который совершал буквально чудеса храбрости.
— Значит, даже в губрозыске верят брехунам, — сказал Венька. — Но я все равно должен сейчас поехать в Воеводский угол.
— Когда плечо окончательно заживет, тогда посмотрим, — спрятал бумагу опять в ящик письменного стола начальник и сделал строгое лицо.
Венька застегнул все пуговицы на рубашке, поправил поясной ремень и вытянулся, как на смотру.
— Я уже и так вполне здоров. Чего еще надо? Глядите, как я нажимаю плечо. И ничего…
— Медицина, видишь, другого мнения.
— А ну ее, медицину! — вдруг вспыхнул Венька. И кроме Веньки, никто бы так не посмел вспылить в присутствии нашего начальника. — Мне работать надо, а тут какая-то ерунда с медициной…
Начальник, однако, не одернул Веньку. Промолчал. И можно было так понять, что он согласен с Венькой.
Поляков, уже не прекословя, повел Веньку на перевязку к себе в амбулаторию. И, как бы извиняясь перед Поляковым за свой внезапный выпад против медицины в кабинете начальника, Венька говорил по дороге на перевязку:
— Это если б зимой — пожалуйста. Я бы с удовольствием, Роман Федорович, еще полечился… Худо ли отдохнуть, почитать, разные байки послушать. А сейчас — вы же сами понимаете — лечиться некогда. Такая горячка начинается. Одним словом — весна. И скоро — лето…

Мы шли с Венькой домой, на нашу улицу Пламя революции, мимо городского сада, мимо пахучего кустарника, уже нависшего курчавыми вершинами над решетчатым деревянным забором.
Я предложил:
— Может, зайдем к Долгушину? Он вчера переехал в сад. И медведя своего перевез…
— Ну и пес с ним!
— Нет, правда, может, зайдем? По случаю твоего выздоровления. У Долгушина выступает какой-то новый куплетист. Из Красноярска.
— Ну и пусть выступает! А я поеду в Воеводский угол. Некогда мне. В другое время куплетиста послушаем…

15

Мне тоже хотелось поехать в Воеводский угол, но начальник меня не пустил.
Венька уехал один. И на работе я как-то не замечал его отсутствия. А в свободные часы мне вдруг становилось скучно. В больницу теперь не надо было ходить. И к Долгушину идти одному казалось почему-то неудобным.
Перед вечером однажды я зашел в библиотеку. Катя Петухова собиралась домой. Она уже сняла свой серенький халатик и мыла руки под дребезжащим умывальником.
— Закрыто, — сказала она мне довольно нелюбезно. — Разве не видно, на дверях написано: до семи тридцати.
— Ничего, — сказал я, — я только книжки посмотрю.
— Завтра посмотришь…
— Завтра я, может, уеду. Я хотел сегодня тут кое-что посмотреть.
— Ну, посмотри, — согласилась она.
Я смотрел книжки, пока она вытирала полотенцем руки, потом надевала синюю жакетку. Наконец она загремела ключами и стала у открытой двери, нетерпеливо ожидая, когда я уйду.
Мы вышли вместе, молча прошли весь переулок, а у ворот городского сада я сам неожиданно для себя предложил ей:
— Зайдем в сад?
— Это зачем же?
— Просто погуляем, пройдемся. А что особенного?
— Ничего особенного, — сказала Катя. — Но я еще не обедала…
— Здесь и пообедаем. У Долгушина.
Катя вдруг обиделась, покраснела, и на белобровом ее личике как-то смешно вздернулся веснушчатый носик.
— Ты меня за кого принимаешь?
Я засмеялся.
— Я тебя принимаю за девушку, за комсомолку, за хорошего товарища…
— Нет, ты что-то задумал. Я в жизни никогда не бывала в ресторанах. Я считаю, что комсомольцы не должны…
— Комсомольцы должны все испытать, — авторитетно сказал я. — Ты что, считаешь, что в рестораны ходят только одни нэпманы и всякая мразь?
— О, ты, я смотрю, оригинальный человек! — улыбнулась Катя.
Я не знал, хорошо ли это — быть оригинальным человеком. Я понимал только, что Катя относится ко мне снисходительно, смотрит на меня свысока, как бы с высоты тех книг, которые она прочла в этой обширной библиотеке.

Однако она все-таки пошла со мной в сад, а потом и в ресторан Долгушина — в этот дощатый, застекленный павильон, наскоро выстроенный среди густого кустарника.
Всего больше ее заинтересовал начучеленный медведь, поставленный здесь, как и в зимнем ресторане, у входа. В вытянутых лапах он держал керосиновую лампу—«молнию». Катя с некоторой робостью, но внимательно осмотрела его. Потом заинтересовалась посетителями.
Катя была первой девушкой, которую я решился пригласить в ресторан.
Я даже не знаю, как это я вдруг решился. Но в ресторане я вел себя уверенно, вслух читал меню и советовал, что лучше выбрать из многочисленных блюд с замысловатыми иностранными названиями: «шнельклепс», «бефбули», «эскалоп», «ромштекс». Все почти одно и то же, но названия разные.
— И ты часто бываешь здесь? — спросила Катя.
— Часто, — соврал я.
Мне почему-то хотелось, чтобы Катя считала меня развязным, бывалым, даже испорченным. Пусть она, такая правильная, начитанная, благонамеренная, как сказали бы в старину, пусть она даже чуть ужасается, наблюдая за моим поведением. Пусть она думает, что я гуляка, прожигатель жизни. Пусть она критикует меня. Но Катя не критиковала. Она только приглядывалась ко мне, и в глазах ее, умных и немножко лукавых, я читал удивление, граничащее с испугом.
Мне нравилось это.
Мы поели. Она заспорила со мной, желая уплатить за свой обед. Но я сказал, что это мещанство, и она успокоилась.
Мещанство — это было такое слово, которое пугало многих в ту пору. И им, этим словом, обозначались иногда понятия, ничего общего не имевшие с подлинным мещанством.
Я проводил Катю домой, не решаясь, однако, взять ее под руку.
И с этого вечера мы стали встречаться с ней почти каждый раз, когда я бывал свободен от работы по вечерам.
А Венька все еще не приезжал.
Я приглашал Катю зайти ко мне, посмотреть, как я живу. Но Катя уклонялась от этого приглашения.
— Лучше ты ко мне зайди в воскресенье, если хочешь. Я познакомлю тебя с мамой.
Но я тоже не решался зайти к ней домой. Знакомство с ее мамой мне представлялось мещанством.
Мне приятно было, что Катя такая рассудительная и образованная. Конечно, она не такая красивая, как Юлька Мальцева. Даже совсем не красивая, но очень симпатичная и какая-то душевная.
Она расспрашивала меня о моих делах — не о конкретных уголовных делах, которыми я занимался ежедневно, а о том, что я думаю, что я собираюсь делать дальше.
— Не всегда же, не всю жизнь, ты будешь работать в уголовном розыске. Или ты хочешь остаться навсегда?
— Зачем навсегда? Может, я себе еще какое-нибудь дело подберу. Мне хочется разное попробовать. Я даже так думал: если меня серьезно ранят, я пойду работать куда-нибудь, допустим, в библиотеку, или постараюсь устроиться в собственные корреспонденты, вот как Яков Узелков…
— Тоже нашел кому завидовать! — сказала Катя. — Узелков же совершенно некультурный. Я его видеть не могу…
Меня удивило это.
Оказывается, Узелков читает много, но чаще всего берет, по мнению Кати, легкомысленные книжки. А когда ему надо писать серьезную статью и требуется подходящая цитата, он прибегает в библиотеку и перелистывает энциклопедию Брокгауза и Ефрона.
— В энциклопедии все есть, — говорила Катя. — В ней и химия, и физика, и что угодно. Весь университет. А дома у него, я видела, всего три книжки — «Купальщица Иветта», «Огонь любви» и «Тайна одной иностранки». Дает всем читать…
— А ты у него была дома?
— Была. Наверное, раз десять была. Он же крайне неаккуратный человек…

— Ты, значит, только к неаккуратным ходишь домой?
— Конечно. Он целый месяц держал два тома энциклопедии. Он без нее ни одного дня не может прожить…
Я удивился еще больше. Я и подозревать не мог, что на свете есть такой кратчайший путь к образованию, как энциклопедия.
Чтобы поддержать разговор, я сказал после раздумья:
— Да, он, в сущности, мелкий человек, Узелков.
— Ну, вы с Малышевым тоже не такие уж глубокие, — сказала Катя. Начитались разных книг без толку, без всякой системы, и думаете, что вы теперь образованные. У вас ведь в голове полный сумбур…
— Сумбур, — согласился я.
Я не мог не соглашаться с Катей. Она все больше вырастала в моих глазах.
Я старался теперь каждый вечер встречаться с ней, но это не всегда удавалось: то она занята, то я.
Один раз я пошел без нее в городской сад. Она пойти не могла: в библиотеке был переучет книг.
Я один бродил по темным аллеям, где сидят, прижавшись друг к другу, влюбленные парочки. Мне было завидно.
С Катей я еще никогда не сидел так, потому что побаивался ее.
Я бродил по темным аллеям и думал о Кате. Я думал о ней еще лучше, чем в те часы, когда она была со мной.
Вдруг в боковой аллее послышался девичий смех, и через секунду в сопровождении двух девушек вышел на «пятачок» между аллеями Васька Царицын.
Я не успел поздороваться с ним, как он схватил меня за руку и положил в мою руку теплую ладонь девушки.
— Знакомьтесь, — сказал Васька.
И вторая девущка тоже протянула мне ладонь. Я узнал Юлю Мальцеву. Она не только крепко пожала мою руку, но и весело встряхнула ее, как будто мы давно уже были друзьями.
Я, конечно, смутился, но смущение мое сейчас же прошло, и я посмотрел ей в глаза. Глаза у нее мягко светились. Она улыбалась.
Васька Царицын взял первую девушку под руку и направился в сторону танцевальной площадки. А я и Юля пошли позади.
Юля взяла меня под руку и спросила:
— Почему ты такой скучный?
Она говорила мне «ты». И это не удивительно: она комсомолка, и я комсомолец. Но вопрос ее удивил меня. Вернее, голос. В голосе ее как будто прозвучала обида.
— Просто так, — сказал я. — Немножко было скучно.
— Потому что Катя Петухова не пришла? — спросила Юля. И, улыбаясь, заглянула мне в глаза.
«Значит, она и раньше интересовалась мной, если знала про Катю».
— Нет, — сказал я. — Просто так.
— А со мной тебе не скучно?
— Нет. Не скучно.
Юля смеялась про себя. Я чувствовал это, хотя лица ее не видел, смотрел под ноги. И сердце у меня вдруг заныло.
Духовой оркестр заиграл тустеп. Мы вышли на ярко освещенную площадку сада, где в деревянной раковине сидели со сверкающими трубами музыканты из пожарной команды.
Перед нами на подмостках изгибались в танце пары.
Из щелей подмостков, из-под каблуков танцующих вырывались тоненькие струйки пыли. Я смотрел на эти струйки и не видел ни танцующих, ни музыкантов. И Юлю не видел, хотя локтем чувствовал ее мягкий, теплый, горячий бок.
Я снова испытывал смущение и не решался посмотреть на нее.
Васька Царицын, как нарочно, ущел куда-то со своей девушкой.
— Ты любишь танцы? — спросила Юля.
— Нет, — сказал я.

— Я знаю, что не любишь, — засмеялась она, хотя ничего смешного в том, что я не люблю танцы, не было. — Пойдем тогда на берег.
И мы снова вернулись в темную аллею, чтобы пройти к реке.
Юлька молчала и прижималась ко мне. Прижималась потому, что около реки становилось прохладно, а девушка была в легком платье.
Я снял свой френч и накинул ей на плечи.
Это был самый решительный жест, на который я был способен в ту минуту. А вообще я чувствовал себя совершенно беззащитным с ней.
У реки мы сели на рогатую, давно уже вытащенную из реки и просохшую корягу.
За рекой, в темноте, вдалеке, как всегда, вспыхивали и гасли огоньки.
Они гасли и вспыхивали до меня, до дня моего рождения, и, наверно, так же будут вспыхивать и гаснуть после того, как я уйду отсюда, постарею, умру или когда меня убьют.
Я никогда раньше, если не считать самого раннего детства, не думал о смерти, не вспоминал о ней.
Неожиданно эти скучные мысли пришли ко мне почему-то именно сейчас, когда я сидел рядом с Юлькой. Она все перевернула во мне. Я даже на мгновение забыл, что сижу рядом с ней.
Вдруг недалеко от нас тонко свистнул пароход. Маленький, светящийся на темной воде множеством разноцветных огней, он, сопя и вздрагивая, пришвартовывался к пристани.
Взглянув на него, я почувствовал, что у реки не только прохладно, но даже холодно.
Запахло черемухой и гарью. И гарью запахло, конечно, сильнее, чем черемухой. Должно быть, где-то недалеко, на той стороне реки, горела тайга.
Юлька сняла с себя мой френч и, держа его в вытянутых руках, сказала:
— Тебе ведь тоже холодно. Хочешь, укроемся вместе?
Я не мог сопротивляться. Она укрыла меня и себя, и мы сидели теперь очень близко друг к другу. Я слышал, как дышит она.
— А Малышев Венька сейчас, может быть, на происшествие поехал.
Я не сказал это, а как бы подумал вслух. Ведь, в самом деле, Венька бродит где-то в Воеводском углу, вон там, на той стороне реки, откуда несет гарью.
Юлька, однако, не проявила интереса к имени моего товарища, сказала только:
— Ну, какие сейчас происшествия!
Я стал говорить, что как раз вот в это время, в эти минуты, происшествий бывает очень много: вон кто-то тайгу зажег, может быть, нечаянно — охотники, а может быть, нарочно — бандиты. Меня тоже во всякий час могут вызвать прямо с гулянья на работу. Много раз уже так случалось.
Говорить о работе мне было легче, чем о других вещах. И я говорил. И чувствовал, что странная робость моя постепенно проходит. Снова вспомнив о Веньке, я сказал:
— Он ни за что не поверил бы, что я вот так сижу с тобой.
Но самого меня уже нисколько не удивляло в эту минуту, что девушка, о которой мы так много думали, сидит рядом, очень близко от меня, как я не сидел даже с Катей Петуховой.
Я уже начинал потихоньку смелеть. Я ведь и раньше не был робким парнем. Робость моя — явление совершенно случайное, может быть, даже болезненное, как шок.
И вот я начал оправляться от шока и смелеть больше, чем надо. До глупости начал смелеть.
И, конечно, по глупости я сказал:
— Венька бы волосы рвал на себе, если б узнал, что я с тобой…
— Почему? — вдруг порывисто спросила Юлька, и мой френч упал с наших плеч.
— А так, — сказал я, снова накидывая френч на Юлькины и свои плечи. — Он ведь в тебя страшно влюблен.
Юлька слегка потянула к себе правый борт френча и снова прижалась ко мне.
Я заметил, что слова мои наконец заинтересовали ее. И мне захотелось рассказать ей по-свойски, как мы покупали у нее спички, как не спали по ночам, думая о ней.
Не понимаю до сих пор, почему я вдруг расчувствовался так и повторил:
— Он страшно в тебя влюблен.
— А ты?
— Что я?

— А ты влюблен в меня? — горячим шепотом спросила Юлька. И заглянула мне в глаза, как цыганка.
Вот тут я действительно замялся, говоря:
— Как тебе сказать…
— Ну, раз не знаешь, как сказать, лучше не говори, — попросила Юлька и положила свою маленькую теплую ладонь на запястье моей руки. — Ты лучше что-нибудь еще расскажи о своей работе…
Я не знал, что ей можно рассказать, что ее может заинтересовать. И мне совсем не хотелось рассказывать. Не хотелось окончательно обрывать ту трепетную связь, что возникла между нами, когда она спросила, не влюблен ли я в нее. И зачем я произнес эти глупые слова: «Как тебе сказать»?
Эти слова охладили ее. Это я заметил. Но я не знал, как поправить дело, как вернуть ее прежнее настроение. И в то же время я чувствовал, что все равно не смог бы иначе ответить на ее вопрос.
— Это, видишь ли, не такая простая вещь, — сказал я.
— Что не простая вещь?
— Ну, вообще все.
— Ты странный, — еще теснее прижалась она ко мне. — Ты странный, очень странный. Ты о чем-то думаешь и не решаешься сказать. Ты скажи…
— Я ни о чем не думаю…
— Совсем, совсем ни о чем?
— Ни о чем.
— Странно, — улыбнулась она. — А я всегда о чем-нибудь думаю…
— Тогда лучше ты скажи: о чем ты сама сейчас думаешь?
— Пожалуйста, — засмеялась она. — Я думаю о том, что ты думаешь сейчас обо мне: «Вот какая нахальная девушка, первый раз меня встретила и уже уселась рядом под одним френчем, как влюбленная, и расспрашивает, влюблен ли я в нее». Ну, скажи откровенно: ведь правда ты так думаешь?
— Нет, нисколько, — запротестовал я. — Мне это и в голову не приходило…
— А я не первый раз тебя встретила, — как бы оправдывалась она. — Я еще зимой хотела познакомиться с вами — с тобой и с Малышевым. Я всегда любила дружить больше с ребятами, чем с девушками. Но вы почему-то нигде не бываете. У вас много работы?
— Много.
— Зато у вас, наверно, интересная работа. Ну, расскажи еще что-нибудь.
— Просто нечего рассказывать.
— Ну, расскажи что-нибудь, — опять положила она свою маленькую, чуть похолодевшую ладонь на мое запястье и требовательно сжала его, будто пробуя пульс. — Это правда, что Малышев самый храбрый у вас?
— Как тебе сказать… — снова помимо воли своей повторил я эту глупую фразу. — Вообще-то у нас не держат трусов. Если человек — трус, ему у нас делать нечего.
— Но, говорят, Малышев самый храбрый…
— Кто это говорит?
— Многие говорят, — уклонилась она от прямого ответа и поправила что-то у себя на груди. — И я сама думаю: такой человек должен быть очень храбрым. Мне понравилось, как он выступал тогда на собрании, когда разбирали дело, кажется, Егорова. Насколько он выше всех этих… ораторов. Я даже видела его в ту ночь во сне.
«И он тебя видел в ту ночь во сне, даже в бреду тебя вспоминал», хотел я сказать ей, но не сказал. И хорошо, что не сказал.
У меня и так было смутное чувство, будто я много лишнего уже наболтал. И она еще что-то выпытывает у меня, выпытывает ласково, но настойчиво.
Мне теперь совсем непонятно было, зачем она спрашивала, влюблен ли я в нее, если ясно, что ей интересен не я, а Венька. Она уже знает о его ранении, об операции в Золотой Пади. Об этом она, наверное, прочитала в очерке Узелкова.
— А Узелкова что-то не видать сегодня, — проговорил я после долгого молчания. — Он, говорят, ухаживает за тобой…

— Не знаю, — грустно откликнулась Юлька и поднялась с коряги, поправляя ленивым движением пышные свои волосы.
Я проводил ее до дома на Кузнечной, шесть, и ушел поздно ночью к себе домой, взволнованный сложным чувством, в котором были и смятение, и досада, и больше всего запомнилась тоска.
Юлька Мальцева, красивая, неожиданная, во всем неожиданная, недолго посидев со мной на берегу, надолго расстроила меня. Она как будто одно мгновение подержала в руках мое сердце и отпустила его.
После того вечера мне не так уж интересно было встречаться с Катей. Хотя и в Юльку я, кажется, не был влюблен.
Вернее, не был влюблен так неотвратимо, так тревожно и горестно, как Венька.

16

Венька вернулся из Воеводского угла пропыленный, исхудавший, но веселый.
Никаких подробностей о своих делах он не рассказывал, сказал только, что есть возможность заарканить Костю Воронцова и что дураки мы будем, если в ближайшее же время не возьмем «императора всея тайги» живьем, как полагается, при всех его холуях.
Мне подумалось, что Венька на этот раз преувеличивает наши возможности.
Начальник еще вчера, до приезда Веньки, предупреждал нас на секретно-оперативном совещании, что ни в коем случае нельзя, как он сказал, недоучитывать всей серьезности обстановки, в которой мы сейчас находимся.
Эти весна и лето будут наиболее трудными для нас, так как бандитов за истекшую зиму, по некоторым агентурным сведениям, не только не убавилось, но даже стало значительно больше, в частности в Воеводском углу.
Воронцов все еще пользуется поддержкой со стороны богатых мужиков таежных деревень. Не считаться с этим нельзя, сказал начальник и показал нам напечатанные на пишущей машинке листовки, собранные в некоторых деревнях, где их распространяли связчики Воронцова.
В этих листовках восхвалялся ультиматум лорда Керзона, присланный недавно нашему правительству, и говорилось, что большевикам скоро конец.
В двух больших селах, в Китаеве и Жогове, в церквах, как утверждают священники, чудесным образом за одну ночь обновились иконы божьей матери, засияли ослепительным светом серебряные ризы. И это, по словам все тех же священников, есть знамение господне, указывающее на скорую перемену власти.
— …Мы не можем вести себя так, как будто мы одним махом всех побивахом, — сказал начальник на этом секретном совещании. — Я имею особые указания: не зарываться. Поэтому мы должны сейчас учитывать всю обстановку, связывать все факты — и, значит, что? Значит, ни в коем случае не зарываться, не зазнаваться и не думать, что мы вот так сразу уничтожим, например, Воронцова и его банду. Это не так просто…
Я вспомнил эти слова начальника и подумал, что он будет недоволен настроением Веньки.
Я пересказал все, что было на секретном совещании. Но Венька ничему не удивлялся и только сказал, засмеявшись:
— Я лорда Керзона ловить пока не собираюсь. А Костю Воронцова мы поймаем. Дураками будем, если не поймаем. Тогда уж, правда, мужикам лучше вместо нас дрова возить.
Очень сильно ему, должно быть, запали в голову те слова старика возницы, который вез нас еще в конце зимы из Воеводского угла.

Начальник, однако, встретил Веньку ласково, долго разговаривал с ним наедине, и после разговора этого выяснилось, что через день Венька опять уезжает в Воеводский угол.
— А сегодня ты отдохни, выспись как следует, — советовал начальник, провожая Веньку из своего кабинета по коридору, как будто Венька был не сотрудник, а гость. — Главное, выспись. Завтра подготовишься, а послезавтра поедешь. Вот так будет правильно, если это действительно реально. Но я пока что не очень-то верю…
Венька увидел меня в коридоре и подмигнул: гляди, мол, как ласкает меня начальник. Однако спать Венька не пошел, несмотря на повторный совет начальника, хотя был уже вечер.
— Пойдем к Долгушину?
— Пойдем.
По дороге в городской сад мы встретили Узелкова. Он поинтересовался, где был Венька, почему его так давно не было видно, и спрашивал, что слышно в преступном мире. Он так всегда и говорил: «преступный мир». Венька сказал, что пока ничего не слышно, ничего не знаем.
— Опять секрет полишинеля? — засмеялся Узелков.
Я спросил:
— Полишинель — это тоже из энциклопедии?
— Из энциклопедии? При чем тут энциклопедия?
— Говорят, — засмеялся я, — что ты ее всю замусолил в библиотеке. Собираются на тебя в суд подавать.
Я, конечно, хотел уколоть Узелкова. Однако я никогда не думал, что он способен так смутиться.
Но я не пожалел его и еще сказал:
— Знаем, знаем, откуда все твои слова! А мы-то думали, ты университет кончил.
Узелков стоял перед нами растерянный. Он старался смотреть на нас вызывающе, но это у него сейчас не получалось.
Мне даже стало жалко его.
— Ну ладно, не обижайся. Мало ли что бывает. Пойдем, если хочешь, с нами к Долгушину.
— Нет уж… — вздохнул Узелков. — Спасибо. — И ему удалось все-таки изобразить улыбку. — Я лучше энциклопедию пойду читать.
И он прошел мимо. А мы вошли в долгушинский павильон.
Мы просидели там не меньше часа, ели котлеты, пили пиво и разговаривали обо всем. Нет, пожалуй, не обо всем.
Венька рассказывал, каких щук сейчас вылавливают в Пузыревом озере, в котором он сам два раза искупался, хотя вода еще очень холодная. Но жители купаются. И Венька искупался.
Можно было подумать, что он только для этого и ездил в Воеводский угол, чтобы посмотреть на этих щук и искупаться в Пузыревом озере.
О бандитах он на этот раз ни слова не сказал, как будто и не думал о них. И я ни о чем не расспрашивал. Если надо, он сам расскажет. Не надо значит, нечего и расспрашивать. Есть секреты, которые не принадлежат лично нам, хотя мы и знаем о них.
Я не обижался на Веньку за то, что он не рассказывает мне в подробностях о своих делах в Воеводском углу.
Поужинав, мы вышли из павильона и сразу же напротив, около тележки мороженщика, увидели Ваську Царицына. Он облизывал зажатый в круглых вафлях малиновый кружок и морщился от холода на зубах.
— А Юлька только сейчас меня спрашивала, почему вас не видно, — сообщил он. И заулыбался: — Юлька на берег пошла. Вы ее еще догоните…
— Зачем нам догонять, — сказал я независимо.
Но когда Васька, поговорив с нами и доев мороженое, направился к киоску пить воду, мы, не уславливаясь, пошли на берег.
На том самом месте, на рогатой коряге, где я однажды сидел с Юлькой, сейчас сидели две девушки. Длинная заросшая аллея кончалась как раз у этого места. Мы подошли к коряге. И девушки разом вздрогнули и обернулись.

Я поздоровался с ними и потом, точно так, как Васька Царицын меня, взял Веньку за руку и познакомил сразу с Юлей и Катей.
Катя сказала, показывая глазами на Веньку:
— Я с ним уже знакома. Я с ним в комиссии была, кожзавод проверяли. Помнишь?
— Помню, — кивнул Венька.
Потом, как водится, я с Катей пошел вперед, а Венька с Юлей за нами. И я нарочно сделал так, чтобы мы потерялись.

Венька нашел меня только дома. Он вернулся домой как будто чем-то расстроенный. Я подумал, что он разочаровался в Юле или понял так же, как я, что девушка эта совсем не такая, как казалась. Но Венька, снимая через голову рубашку, вдруг сказал мрачно:
— Честное слово, я женился бы на ней. Если б она согласилась, я бы женился. Вот так сразу, не раздумывая…
— Женись, — улыбнулся я, почти не удивившись его словам. И еще добавил зачем-то: — По—моему, она тебя любит.
На это Венька ничего не ответил. Аккуратно сложил около кровати на стуле одежду и молча лег в постель. Мне тоже не хотелось разговаривать. После этой встречи с Катей настроение у меня было неважное.
Перед Катей я чувствовал себя виноватым. Надо было или сказать ей, что я сидел тогда с Юлькой под френчем, или не говорить, забыть это. Я не знал, что Катя давно знакома с Юлькой. Они, кажется, подруги…
И Веньке тоже всего не сказал. Надо, подумал я, сказать прежде всего Веньке о том, как я один вечер ухаживал за Юлькой. Обязательно надо сказать. А то какие же мы товарищи?
Но Венька, должно быть, спал. Я сидел за столом. Потом тихонько отодвинул стул, встал и на цыпочках прошел к своей кровати.
Я уже разделся и лег, собираясь погасить лампу, и в последний раз посмотрел на Веньку. Глаза у него были открыты, и он смотрел на меня. Я даже вздрогнул. Но он, не обратив на это внимания, сказал:
— Все-таки я ее не стою, — и приподнялся на подушке.
— Почему это? — спросил я.
— Потому… — вздохнул Венька. — Она какая-то нежная. Прямо как девочка. А у меня все-таки были обстоятельства…
— Какие?
— Ну, помнишь, я тебе рассказывал…
— Чего рассказывал?
— Неужели не помнишь?
— Не помню.
— Ну, как я встретил одну женщину и потом захворал. Когда мне не было еще семнадцати лет…
— Но ты же вылечился, — сказал я.
— Ну что из того, что вылечился? Все-таки было. Как ты считаешь, надо это Юльке сказать?
— Вот уж не знаю, — затруднился я. — Как-то неловко про такое говорить…
— В этом все дело, что неловко, — согласился Венька.
— А зачем говорить?
— Ну как же не говорить, если она сама такая откровенная и вдруг выйдет за меня замуж? Если, конечно, решится выйти…
— Вот когда выйдет, тогда и скажешь.
— Нет, это получится, что я ее обманывал. А тут надо делать все начистоту. Это же будет у нас семейная жизнь. Для чего же все начинать с обмана?!
Венька посмотрел на меня внимательно, как смотрят на человека, желая прочитать его мысли, и спросил:
— Ты как считаешь, я правильно думаю?
— Вообще-то правильно, — уклончиво ответил я.
— А конкретно?
— А конкретно я еще не знаю, как тут считать…

— Крутишь ты чего-то! — упрекнул меня Венька. — А я считаю, что в семейной жизни не должно быть никаких секретов. На службе — вот, скажем, как нам сейчас приходится на оперативной работе — это одно, а в семейной жизни все должно быть в открытую. Иначе, какая же это семейная жизнь!
— Отчасти это правильно, — согласился я. — Но как-то неудобно говорить девушке…
— В этом все дело, — опять сказал Венька.
Он снова лег на подушку и задумался. И я задумался. Как быть? Сейчас сказать ему про тот вечер с Юлькой или потом? Ну хорошо, я скажу сейчас, он расстроится. А если сказать после? А если совсем не говорить? Ведь ничего особенного не было. Просто сидели рядом. Я уж сказал ему, что мы сидели рядом. Про френч только не сказал. Ну, скажу про френч, что сидел под френчем…
Но Венька первым нарушил тишину.
— Ты знаешь, — сказал он и повернулся лицом ко мне. — Вот я всегда думаю. Дай мне три месяца свободных. Совсем, совсем свободных. Чтобы никакой заботы, ни воров, ни бандитов. И я буду думать про свою жизнь. Как я жил, как мне жить дальше. Я все ошибки свои вспомню, где когда промазал, не догадался, не сообразил. Все начну по-новому. Чтобы ни одной ошибки. Вот тогда другое дело. А то знаешь, как может получиться? Будет полный коммунизм. Будут новые люди, которые еще с пионеров начали. И не только самогонку не пили, но даже красное вино не пробовали. И они нам скажут…
Но что они нам скажут, Венька, должно быть, еще не знал. Он замолчал неожиданно, впрочем, как часто делал, оборвав себя вдруг на полуслове, и отвернулся к стене.
Он долго лежал так, отвернувшись. Потом снова окликнул меня:
— А ты знаешь, я ей все равно не смогу сказать про это. Мне стыдно…
— Действительно, — проговорил я спросонья.
И в эту минуту впервые мне представилась нелепой вся эта история. Венька ведь сегодня только познакомился с девушкой и уже собирается жениться и рассказать ей такой секрет. «Хотя, — сию же минуту подумал я, — ничего, пожалуй, удивительного: он давно ее любит, и она, наверно, тоже. Уж если он решил жениться — значит, это серьезно, прочно, окончательно».
Весь следующий день Венька был занят своими делами. Мы почти не виделись.
Вечером, когда я пришел домой, он уже спал. А на рассвете за ним заехал кучер нашего начальника и увез его в Воеводский угол. Из Воеводского угла он приезжал теперь ненадолго — на сутки, не больше — и уезжал обратно.
И все-таки за это краткое пребывание в Дударях он успевал встречаться с Юлькой.
Домой после этих встреч он возвращался невеселый, задумчивый и, немножко поговорив со мной о каких-нибудь пустяках, ложился спать, потому что утром ему надо было снова ехать в тайгу.
О своих делах в Воеводском углу он по-прежнему почти ничего не рассказывал. Но однажды вечером, когда мы дома пили чай, он вдруг ни с того ни с сего засмеялся.
Я удивленно взглянул на него.
— Очень смешно, — сказал он, — Лазарь Баукин такой зверюга, как ты говоришь, а жена его ухватом прямо по башке! Он мне сам жаловался. «И ничего, говорит, поделать не могу. Выгоняет из избы…»
— Все-таки мне непонятно, — сказал я, — почему ты ухватился за этого Лазаря? Ведь ты сразу за него ухватился еще тогда, зимой. Помнишь, как это было?
— Помню.
— И вот я не понимаю: почему ты тогда за него ухватился?
— Я сам не понимаю, — опять засмеялся Венька. — Но ты подожди, подожди. Ты еще посмотришь, как все получится. Хотя, конечно, Лазарь — это не ангел.
— Не только не ангел, но злейший бандит, мы с тобой таких, наверно, не один десяток встречали. Но ты почему-то за него именно ухватился…
Венька задумался, но ненадолго. Потом сказал:
— Это, понимаешь, не всегда можно все в точности объяснить — что, зачем и почему. Но раз я ухватился, я должен доколотить это дело до конца.
Все силы свои он, казалось, сосредоточил теперь на одном — на будущей поимке Кости Воронцова.

Он даже все личные планы строил теперь с таким расчетом: «Вот поймаем Костю, и я осенью обязательно поступлю на рабфак. И ты поступай тогда. Что мы, хуже всех, что ли?» «Вот заарканим «императора», и я сразу договорюсь с Юлькой. Не могу я это дело тянуть!» И не только свои личные планы он связывал с поимкой Кости Воронцова: «Вообще все здорово будет, когда мы его поймаем. Всех остальных бандюг мы тогда свободно переловим и переколотим. Костя у них сейчас вроде как знамя. И до чего сильно его боятся везде! Даже председатели сельсоветов боятся. Это уж просто срам. Называются представители Советской власти — и боятся какого-то бандита! От одного его имени дрожат. Это мы виноваты, что так долго вокруг него крутимся. Если б мы работали как следует, мы бы его еще прошлой осенью взяли. Мы за это в первую голову отвечаем!»

17

Наконец однажды, в середине дня, Венька вернулся из Воеводского угла и сказал мне:
— Ну, кажется, начинаем делать дело. Сейчас доложил начальнику всю картину. Завтра вместе с ним едем брать «императора».
— А я?
— Что ты?
— А я опять тут буду сидеть?
— Нет, и ты поедешь. Начальник сам сказал, чтобы и ты поехал. И Колю Соловьева возьмем. Только этот припадочный Иосиф Голубчик не поедет. Я попросил, чтобы он не ездил. Тут дело тонкое, хитрое. Тут героизм не требуется…
Мы пошли с Венькой на реку купаться. Он разделся на плотах и показал мне плечо.
— Ты смотри, как здорово зажило! А ты знаешь от чего? От брусничного листа. Мне Лазарь прикладывал брусничный лист. Его знахарка научила в Воеводском углу. Мировая медицина!..
— А ты Лазаря, значит, часто видишь?
— Конечно. Мы вчера с ним рыбу ловили на Черном омуте. Он здорово жарит рыбу на рожне. Вот так возьмет рыбину, распорет, выпотрошит, чуть присолит и растянет на рогатке. Над костром. Обожраться можно, до чего вкусно! А икру из рыбины надо сразу есть. Лучше всего с хлебом…
Если б я не знал, кто такой Лазарь Баукин, я подумал бы, что Венька рассказывает про своего закадычного дружка. Но я не мог забыть, что Баукин — преступник с большим и тяжелым грузом преступлений, за которые он должен ответить по закону. Ведь он не просто удит рыбу в Черном омуте или в Пузыревом озере, он скрывается от заслуженного наказания. Ведь мы не отпустили его из уголовного розыска, а он убежал. И еще увел с собой двух преступников.
Об этих его соучастниках в побеге Венька почему-то никогда не упоминал в разговоре со мной и не вспоминал о тех, что остались тогда и были осуждены на разные сроки.
Венька говорил только о Лазаре. Конечно, он хотел использовать его для поимки Кости Воронцова. Венька, наверно, сразу после поимки Лазаря учуял, что его можно использовать. Это понятно. И в этом нет ничего удивительного. Для поимки Воронцова стоило использовать любые средства. Но мне все-таки не ясно было, почему вдруг Венька так душевно прикипел к Баукину. Хоть убей, я не видел в Баукине ничего замечательного, кроме разве его особой звероватости и исступленной злобы, все время вскипавшей в его небольших медвежьих глазах.
— Ты не сердись, Венька, — сказал я, — но не лежит у меня душа к этому Баукину. Он мне даже противен как-то.

— А ты знаешь почему?
— Не знаю, но он мне противен.
— Это вот почему, — сказал Венька и, присев на край плота, спустил ноги в воду. — Он тебя тогда, в дежурке, когда его забрали, как-то, я сейчас не помню, обозвал. И начальника он обозвал боровом. Начальник ему это тоже не простит…
— Но тебя он даже ранил, — напомнил я. — А ты все-таки как… Ты не сердись, но ты почему-то, ей-богу, вроде как монашек повел себя: я, мол, зла не помню. А мне это просто удивительно и даже противно!
— Что противно?
— Ну, что это получается как-то неестественно. Будто ты правда монашек. Ты же живой, и, я знаю, ты бываешь сердитый. А с этим Лазарем ты повел себя как-то странно. Если б он, допустим, ранил меня, я бы ему это не забыл.
— А что бы ты ему сделал?
— Я не знаю, но я бы ему не забыл…
— Ерунду ты говоришь. — Венька вытащил ноги из воды и пошел, балансируя руками, по осклизлому вертящемуся бревну. — Ничего бы ты ему не сделал. И потом, кто это тебе сказал, что он меня ранил?
— Но он же сам признался, — напомнил я. — Даже хвастался…
— Вот это правильно, — остановился Венька и перепрыгнул на толстое, более устойчивое бревно. — Вот это правильно, что он хвастался. А кто может поручиться, что именно он в меня попал? Он только шапку мою запомнил. А стрелял он не один. Все стреляли. А когда в дежурке ты его допрашивал, ему хотелось показать, что он нас не боится. Ему же сколько лет морочили голову разные офицерики, что комиссары — это звери! И он уверен был, что мы его сразу стукнем. Терять ему было нечего. И он хотел хоть перед смертью еще раз показать себя героем. А мы ему этого не дали. Не доставили ему такого удовольствия. Он к нам со злобой, а мы к нему по-человечески. И он враз растерялся от неожиданности. А когда он растерялся, тут я стал его разглядывать, как голого. И гляжу, он мужик толковый, но запутавшийся. «Погоди, думаю, мы с тобой еще дело сделаем. Большое дело…» Почему я так подумал? Потому что я вижу, что мужик не трусливый, твердый, сердитый. И бедный. Ничего ему не дали бандитские дела, а он все-таки хорохорится. Я подумал: «Если ты так хорохоришься из-за бандитского своего самолюбия, значит, есть в тебе твердость. Значит, есть нам смысл повозиться с тобой». И я стал с ним возиться… И не жалею…
— А он все-таки убежал?
— Убежал. Но ты погляди, как дальше пошло. Воронцов ему велел пройти испытание. Лазарь бы его в два счета прошел, но он не пожелал. Ты думаешь, он испугался? Нет, он просто уже не видел смысла проходить бандитское испытание. Он вчера мне говорил на Черном омуте: «Комиссары это хорошо придумали — провести единый налог. Мужики довольны. Даже моя баба Фенечка, уж на что росомаха, и та довольна». Значит, видишь, куда он теперь тянет? Савелий ему все подготавливает испытание, держит его, как на привязи, около себя, сапоги ему преподнес. А он над Савелием уже смеется. Испытание теперь мы ему предложим…
— А кто это Савелий?
— Этот Савелий Боков — правая рука Воронцова. Редкий гад…
— Ты его, может, тоже сагитируешь за Советскую власть? — засмеялся я. — Он, наверно, тоже мужик твердый…
— Балаболка ты! — рассердился Венька. — С тобой серьезно разговариваешь, а ты как балаболка!..
Он подошел к краю плота и стал смотреть на реку, на бело-синий пыхтящий пароход, тянущий за собой против бурного течения две баржи, с верхом груженные мешками и бочками.
Пароход хлопал по воде широкими красными лопастями, подымал волны. И под нами закачались на волнах притянутые к берегу стальными канатами плоты.
— Ты думаешь, все это так просто? — заговорил он снова. — Моя мать вон какая умная женщина, все понимает, хорошая портниха. А до сих пор верит в бога. И ходит в церковь… И Лазарь мне на днях говорит: «Все бы ничего, но жалко, вы, коммунисты, попов не признаете. А ведь попы не сами себя выдумали». Я спрашиваю: «Ты что, без попов жить не

можешь?» Он говорит: «Не в этом дело. Но ведь был какой-то порядок. И вдруг все сломалось…» Лазарь и в белой армии воевал, и в бандиты пошел не из-за одних только барышей. Барыши-то ему и не достались. Но ему внушали, все время вколачивали в башку, что он воюет против коммунистов, за какую-то святую Русь. И что бог это все оправдает — и грабежи и убийства. У Воронцова в банде до сих пор находится свой поп, отец Никодим Преображенский. И он там тоже туман напускает, что Советская власть не от бога… А Советская власть только набирает силу. Она вот как этот пароход. Ей трудно, но она все-таки тянет. И смотри, волна какая…
Венька сложил перед носом ладони, подпрыгнул, как будто под ним были не плоты, а пружина, и бросился вниз головой в волны. Я сделал то же самое.
Опрокинувшись на спину, было приятно качаться на волнах. Но вода слишком холодная. Я скоро вылез на плоты.
А Венька еще долго плавал разными способами — и «по-собачьи», и «по-бабьи», и «на посаженках», далеко выбрасывая длинные, сильные руки.
Из воды он вылез синий, постукивая зубами, и лег на плоты, подставив все тело горячему солнцу и только голову закрыв рубашкой.
Я прополаскивал в быстро текущей воде свою линялую тельняшку.
— Вот ты говоришь, — снял с лица рубашку Венька. — Вот ты как будто удивляешься, что я не обозлился, когда Лазарь признался или похвастался, что хотел убить меня. И что я как будто разыгрываю из себя монаха. Но это ерунда, — перевернулся на живот Венька. — Зимой во время операции в Золотой Пади я был злой, наверно, как дьявол. Это ж я убил Покатилова. И я точно знаю, что убил его я. И не жалею нисколько. Это было как в драке, как в бою. Но вот теперь смотри. Я веду допрос. — И он сел. — Вот так я сижу, а вот так арестованный. Он один. За ним уже никого нет. А за мной закон, государство со всеми пушками, пулеметами, со всей властью. Чего же я буду сердиться на арестованного? Государство же не сердится. Ленин говорит…
Вдруг бревно резко качнулось под Венькой, и нас обдало холодными брызгами.
Это Васька Царицын прямо с крутого берега прыгнул на плоты.
— Читаешь лекцию? — засмеялся он, посмотрев на Веньку.
Венька покраснел, так и не досказав, о чем говорит Ленин.
Васька, здороваясь, протянул нам широкую, измазанную мазутом ладонь. И лицо и шея у него были измазаны мазутом.
— Иду с работы, — весело сообщил он и стал раздеваться, присев на чуть вздыбленное рулевое бревно. — А вы что, уже искупались?
— Искупались, — сказал я, недовольный приходом Васьки.
Мне хотелось еще о многом расспросить Веньку. Он был в том хорошем душевном расположении, когда его можно было расспросить обо всем. А мне всегда казалось, что он знает больше, чем говорит. Говорит он обычно редко и почти всегда как-то отрывисто, затрудненно, будто тут же додумывая и желая не столько собеседнику, сколько самому себе объяснить что-то сильно тревожащее его Душу.
Васька явно помешал нашему разговору. Но он, должно быть, не заметил этого. Раздевшись, лег на плоты с того края, где они ближе к берегу, и запустил обе руки в воду, добывая со дна серый илистый песок.
Натирая лицо и все тело этим песком, он без умолку что-то такое напевал себе под нос. Потом сказал:
— А я, ребята, сам вчера лекцию хорошую слушал. Оказывается, милиции-то не будет…
— Как это милиции не будет?
— Вот так! — торжествующе заявил Васька, уже весь как черт измазанный мокрым песком и илом. И даже волосы его слиплись и встали дыбом, как рога. — Оказывается, все это прекращается — и милиция, и уголовный розыск. И судить тоже никого не будут…
— Кто это тебе сказал?
— Как то есть кто? Лектор. Приехал, я не знаю откуда. Кажется, из Читы. Вчера у нас на электростанции читал лекцию. Потом будет, говорят, выступать в клубе Парижской коммуны…
— И что же он говорит?

— Да он много чего говорит. Но это верно, я сам своими ушами слышал, что уголовного розыска больше не будет. Все это отменяется. Вплоть до прокуратуры.
«Хорошенькое дело! — подумал я. — Мы завтра едем на операцию, а тут вон какие новости!»
— Брехня это все, — сказал Венька, опять развалившись на плотах и жмурясь от солнца. — Брехня, я тебе говорю…
— А вот и не брехня! — настаивал Васька, подпрыгивая на одной ноге на том осклизлом и вертящемся бревне, по которому ходил Венька. — Лектор приводит данные из книги Ленина. Я только забыл, какое название. У меня записано…
— А кто же, по-твоему, бандитов будет ловить? — спросил я Ваську. — Вы, что ли, с лектором их будете ловить?
— А бандитов вовсе не будет, — покачнулся Васька. И, не удержавшись на бревне, бултыхнулся в воду.
Из воды, отфыркиваясь, он закричал:
— Я вам это верно говорю, ребята! Можете кого угодно спросить, кто был на лекции. Я потом сам переспрашивал. Это верно, что все отменяется…
Мы лежали на плотах и смотрели на Ваську, изображавшего, как плывет дохлая свинья, как купается пугливая барыня, как идет на дно утопленник.
Васька был прирожденным артистом. Принявшись изображать в воде, кто как купается, он, должно быть, тотчас же забыл только что сообщенную новость.
Нас эта новость тоже не сильно взволновала. Мы поняли, что тут какое-то недоразумение. Васька чего-то не понял, недобрал в рассуждениях лектора. И мы сказали ему об этом, когда он вылез из воды.
— Нет, я все хорошо понял, — прыгал он опять на одной ноге, стараясь вытряхнуть воду из уха. — И домзаков тоже не будет. Лектор это прямо говорит…
— А когда не будет? — насмешливо спросил Венька, подымаясь с бревен. — Завтра, что ли?
— Не завтра, но при коммунизме, — сказал Васька.
Венька смыл с ног присохший ил и водоросли и стал одеваться с той обстоятельностью и аккуратностью, которые мне всегда нравились в нем.
Одевшись полностью, замотав портянки и натянув сапоги, он стал застегивать поясной ремень и сказал:
— Это правильно, я читал, при коммунизме никаких властей не будет. При коммунизме все будет зависеть от совести людей…
Я еще раз потрогал свою выстиранную и растянутую на бревнах тельняшку. Она уже просохла. Я тоже стал одеваться, поглядывая, как причесывается Венька. Наклонившись над водой, он обмакивал в воду расческу, чтобы получше примять высохшие после купания волосы.
— Значит, я правильно вам сказал, — обрадовался Васька, продолжая прыгать то на левой, то на правой ноге.
— В общем, правильно, — согласился Венька. — Но надо было только сказать, что это будет при коммунизме. И лектор, наверно, так говорил…
— Ну да, — подтвердил Васька. — Он все время и говорил о том, как мы будем жить при коммунизме, какие будут города, заводы. И вообще, как все будет, когда наступит коммунизм…
А что он наступит очень скоро, в этом, конечно, никто из нас не сомневался.
Ни нам, ни Ваське Царицыну, ни, может быть, даже заезжему этому лектору не дано было тогда вообразить, через какие еще неслыханные страдания должен будет пройти весь наш народ, раньше чем в историческом далеке забрезжат огни социализма.
Васька остался купаться, а мы с Венькой пошли по отлогому откосу в гору, чтобы пересечь маленький садик на берегу реки, прежде называвшийся Купеческим, а теперь — имени Борцов революции.
Много было уже переименовано в этом небольшом уездном городе — и учреждения, и улицы, и сады, — а люди все еще жили здесь в большинстве своем по-старому. Даже не то что по-старому, но с боязливой оглядкой, с выжидательной осторожностью, тревожимые то смутными слухами, то предчувствиями, то внезапными выстрелами в ночи.

Мы были пришлыми в этом городе. У нас здесь не было ни родных, ни знакомых. И мы неохотно заводили новые знакомства, чтобы случайно не оказаться в обществе враждебных нам людей.
Власть менялась здесь трижды за короткий срок. Уходили красные, приходили белые, потом опять утверждались красные. И у каждой власти, естественно, были свои приверженцы в этом добротном деревянном городе, омываемом, как сказали бы поэты, сумрачным океаном тайги.
Те, кто активно участвовал на стороне побежденных, вынуждены были уйти из города или притаиться в нем в надежде на перемены.
Победители же еще не чувствовали себя полными хозяевами положения, потому что хозяйством города, его торговлей и экономикой практически верховодили новоявленные предприниматели, так называемые нэпманы. Им принадлежали многие магазины и лавки, скупочные конторы и даже заводы, правда, небольшие: лесопильный, кожевенный и шубный.
И все-таки мы верили, что скоро наступит коммунизм. Мы верили в это даже вопреки тому, что против садика имени Борцов революции, из которого мы вышли на базарную площадь, уже был отремонтирован двухэтажный дом, и маляры, громыхая босыми ногами по железной, свежеокрашенной крыше, подымали на уровень второго этажа большую вывеску: «И.К. Долгушин. Кондитерский магазин».
— Ты смотри, и стекло хорошее где-то добыл! — показал Венька на отмытые окна дома, позолоченные косыми лучами предзакатного солнца. — А говорят, стекла нигде нету…
Долгушин укреплялся в городе как завоеватель. Вытеснить его с этих позиций будет, пожалуй, не так-то легко. Не легче, быть может, чем поймать и обезвредить Костю Воронцова. Но и Воронцов ведь еще не пойман. И неизвестно, удастся ли его поймать.
Край неба внезапно потемнел, когда мы переходили базарную площадь.
— Будет сильный дождь, — посмотрел я на небо.
— Не скоро, — сказал Венька. — Хотя давно бы пора. Жарко. — И остановился у бочки с квасом, возвышавшейся на телеге. — Будешь?
— Нет, — помотал я головой, — лучше дома попить чаю…
— Ну, как хочешь. — Венька протянул продавцу деньги и подставил под медный кран литую стеклянную кружку.
Потом он купил у лоточницы два треугольных пирога с черемуховой начинкой, один дал мне и, откусив, засмеялся:
— А про деньги Васька Царицын еще не знает…
— Про какие деньги?
— Ну, что денег при коммунизме тоже не будет. Я это читал. Все будут выдавать без денег…
Это для меня было новостью. Я про это еще не читал. И мне захотелось представить себе, как же будет выглядеть базар, если денег не будет.
И так постоянно: мысли о близком и дальнем, о будущем и настоящем шли почти одновременно в нашем сознании. О будущем мы думали даже чаще, взволнованнее, чем о настоящем.
У закрытого амбара стоял шарманщик с деревянной, как колотушка, ногой. На такой же ноге стояла подле него поддерживаемая им за ремень, обитая позолоченной жестью, обвешенная разноцветными стекляшками шарманка. А на шарманке, над ящиком с билетами, сидела белка с пушистым хвостом. Она держала в лапах незрелую, еще зеленоватую шишку с орехами и не грызла ее, а поглядывала по сторонам, так же, как шарманщик, — нет ли желающих проверить свое счастье, узнать свою судьбу.
Мы с удовольствием бы сами заплатили дорого, чтобы узнать свою судьбу, узнать, как сложится все через десять, через двадцать или тридцать лет. Но мы уже не верили в белку, в то, что она может предсказать.
Мы просто стояли в стороне, у закрытого амбара, доедали пироги и рассеянно смотрели на все, что происходило вокруг нас.
Молодая женщина развязала зубами узелок на носовом платке, вынула деньги, подала шарманщику.

Белка, тотчас же отложив шишку, деловито, как конторщица, стала рыться лапками в ящике. Наконец она вынула синий билетик. Шарманщик развернул его и прочитал женщине:
— «Бойся пуще всего черного глаза. Тебя преследует черный глаз».
— Женский или мужской? — испуганно, почти шепотом спросила женщина.
— Чего это?
— Какой глаз-то меня преследует, скажите, пожалуйста, гражданин, мужской или женский?
— Этого уж я не знаю, — пожал плечами шарманщик. — Если желаешь, можешь приобрести еще один билет. Может, белка сделает тебе прояснение твоей судьбы.
Женщина снова развязала зубами узелок и приобрела еще один билет. Белка его вынула. Шарманщик прочитал:
— «Мужчины слишком коварны. В замужестве особого счастья не жди».
Венька улыбнулся и сказал шарманщику:
— Для чего это пугаешь народ? Ты придумал бы что-нибудь такое веселое…
— А вы, гражданин, отойдите, — строго попросил шарманщик Веньку. — Я никого не пугаю. Народ и так хорошо напуганный…
Шарманщик поудобнее натянул на плечо ремень от шарманки и, закрутив ручкой, заиграл и запел сердитым, пронзительным голосом, будто угрожая всему свету:

Пускай могила меня накажет

За то, что я тебя люблю.

Но я могилы не страшуся,

Кого люблю я, с тем помру.

Мне показалось, что от этой песни, от голоса шарманщика, от визга и дребезга шарманки потемневшее, предгрозовое небо еще ниже спустилось над базаром.
— Ерунда какая! — сказал Венька. Но это он сказал, я думаю, не о песне и не о шарманщике, а о чем-то ином, что вдруг встревожило его, и посмотрел на ручные часы. — Ты сейчас домой?
— Домой. А ты?
— А мне еще надо тут зайти…
Я прямо спросил:
— К Юльке?
Он утвердительно мотнул головой и конфузливо улыбнулся.
Ложась непривычно рано спать — в одиннадцатом часу, — я распахнул наше единственное окно, так как в комнате было нестерпимо душно, а на улице темно от черной тучи, плотно обложившей уже все небо. Ночью, наверно, будет гроза.
Я проснулся от шороха. Венька, по-кошачьи пригнувшись, влезал в окно.
— Хорош сыщик! — засмеялся он надо мной. — Открыл окошко и спит. Залезай кто хочет и вытаскивай тебя за ноги, как жареного зайца.
— Дышать нечем, — сказал я, — даже голова заболела…
— И мне что-то нехорошо, — сразу посерьезнел Венька.
Он зажег лампу и сел к столу, подперев щеку ладонью, будто у него вдруг заболели зубы.
— Несмелый я человек, вот в чем беда, — сознался он после некоторого молчания. — Не могу я ей вот просто так сказать. Робею.
— Насчет чего?
— Ну вот, опять здравствуйте! — поморщился Венька. — Насчет чего! Насчет чего прошлый раз говорили?

— А! — вспомнил я. И, сонный, не знал, что ему посоветовать.
А он настойчиво ждал ответа.
— Хочу написать ей письмо, — наконец сказал он.
— Письмо бы писать не надо.
— А что делать?
— Может, ты потом с ней поговоришь?
— Потом, потом! Когда же потом? Так все лето пройдет…
— А может, ничего ей пока не говорить? — неуверенно предложил я.
— Ну как же это можно не говорить? — возмутился Венька. — Это же, выходит, обман…
— Да, в общем-то нехорошо получается, — вяло согласился я, побарываемый сном. И вскоре уснул в этой предгрозовой духоте, так ничего путного и не посоветовав Веньке.
Я спал и видел страшный сон. За мной, маленьким, может быть трехлетним и бесштанным, гналась огромная лохматая собака. Я бежал из последних сил. И, страшась собаки во сне, в то же время думал, не просыпаясь: собака это к добру, она друг человека. Бабушка говорила, что видеть собаку во сне хорошо.
Вдруг собака догнала меня и схватила за шею. Я вскрикнул.
— Извини, — потрогал меня Венька. — Я хотел тебе прочитать, чего я ей пишу. Интересно, что ты скажешь. Слушай…
И он, стоя передо мной в лиловых, как чернила, трусиках, читал только что сочиненное письмо, на котором, наверно, не остыло еще тепло его рук.
Из письма до сознания моего долетали отдельные фразы, вроде: «…Принимая во внимание, что я первый чистосердечно сообщил тебе, ты, по-моему, должна учесть…» или: «Я хочу, чтобы ты потом не уличала меня, будто я какой-то двоедушный…»
Письмо он закончил словами, памятными мне до сих пор:

> «Я хочу, чтобы жизнь наша была чистой, как родник, чтобы мы понимали друг друга с полуслова и никогда бы не ссорились, как другие, которых мы наблюдаем каждый день.
> Подумай хорошенько, взвесь все обстоятельства «за» и «против» и ответь мне, пожалуйста, в письме или в записке, если тебе неловко отвечать на словах, как мне в эту минуту, в эту душную ночь перед грозой, когда я все это пишу и волнуюсь.
> Осторожно жму твою красивую руку, робко гляжу в твои честные, таинственные глаза.
> Обещаю любить тебя всю жизнь, как самого любимого товарища.
> С комсомольским приветом
> Вениамин Малышев».

— Как считаешь, правильно? — спросил он меня.
— Правильно, — сказал я.
— Ну, тогда будем спать, — удовлетворенно вздохнул он, будто сбросил с себя тягчайший груз. — Утром чистенько перепишу…
За окном в небе сильно загрохотало, треснуло, разорвалось.
Небо на мгновение осветилось ярчайшим светом. И сразу по железной крыше, по наличникам, по стеклам открытого окна загремел, застучал, забарабанил крупный, благодатный, освежающий воздух и землю дождь.
А когда он вскоре закончился, оказалось, что уже наступило утро. Больше спать нельзя. Некогда спать.
Венька, так и не переписав письмо начисто, запечатал его в конверт, надписал на конверте адрес: «Кузнечная, 6, получить товарищу Юлии Мальцевой», — облизал языком марку, наклеил и сказал:
— Надо сейчас же отправить. А то вдруг передумаю. — И, помолчав, добавил: — Не люблю людей, которые все по десять раз передумывают. И сам не люблю передумывать. Уж раз решил — значит, нужно делать…
Венька как будто сам подбадривал себя.
Мы вышли на освеженную дождем улицу, пахнувшую омытой листвой и взрытой землей.

Венька перешел через дорогу, бросил письмо в почтовый ящик, внимательно посмотрел на него и улыбнулся грустно.

18

Дождь прошел только над самыми Дударями. А над трактом стояла такая же нестерпимая жара, как вчера, как все это лето. И по-прежнему летела желтая удушливая пыль.
Мы ехали не быстро, верхом на лошадях, взятых из конного резерва милиции. Нас было шесть человек вместе с начальником.
«Не мало ли? — подумал я, снова оглядев всех на тракте. — Не мало ли нас собралось, чтобы ловить неуловимого Костю Воронцова, «императора» не «императора», но все-таки нешуточного бандита? Неужели нельзя было опять сговориться хотя бы с повторкурсами? Пусть бы они послали с нами курсантов…»
Я ехал на рыжем, белолобом мерине рядом с Колей Соловьевым, выбравшим себе серого в яблоках жеребца, а Венька Малышев — позади нас, на такой же как у начальника, каурой кобылице. Он о чем-то спорил с начальником. Потом, хмурый, подъехал к нам. Он был хмурый оттого, что начальник в последний момент не согласился с ним и все-таки взял на эту операцию Иосифа Голубчика.
— Ну вот, припадочный опять едет, — сказал нам Венька. — Работаешь всю весну и почти что все лето как зверь. Все налаживаешь. Потом берут припадочного, и он может поломать всю операцию. Из-за своего геройства.
— Пусть теперь начальник за ним сам наблюдает, — покосился в сторону Голубчика Коля Соловьев. — Мы за этого орла не можем отвечать.
— Можем или не можем, а все равно ответить придется, — сказал Венька. И я ждал, что он повторит свою любимую фразу о нашей ответственности за все, что было при нас.
Но Венька промолчал и подъехал к Голубчику, фасонисто, с этакой лихостью сидевшему в казацком седле впереди нас на гнедой поджарой лошади. Видно, что Венька уговаривает Голубчика. А Голубчик, должно быть, не соглашается на уговоры и смеется, наматывая на руку ремешок от рукоятки плети.
Я вижу, как у Веньки бледнеет лицо, когда он оглядывается на начальника. Это значит, что Венька злится.
«Да плюнь ты на этого Голубчика! — хочется мне крикнуть Веньке. — Ну, едет — и пусть едет. Пусть начальник потом нянчится с ним…»
Мне обидно за Веньку, и я очень сердито думаю о нашем начальнике. Неужели он не понимает, что действительно может поломаться вся операция из-за его самолюбия, из-за того, что он пожелал взять на операцию этого недоучившегося гимназиста?
Уже два раза были неприятности из-за него: зимой, когда окружали Клочкова в Золотой Пади, и еще прошлым летом, во время операции на Жужелихе. Голубчик тогда, на Жужелихе, тоже преждевременно открыл стрельбу, желая показать начальнику свое геройство.
Я подъезжаю к Веньке, когда он удаляется от Голубчика, так, видимо, ни о чем и не договорившись с ним.
— А может, сделать по-другому? — советую я Веньке. — Если уж начальник упрямится, и ты ведь тоже можешь заупрямиться. Ты можешь сказать, что у тебя опять заболело плечо или еще что-нибудь и ты не можешь участвовать в операции. Пусть тогда начальник вместе со своим любимым Голубчиком ловят Костю. Забавно будет посмотреть, как они его будут ловить!
Я смеюсь. Но Венька все больше хмурится. Наконец он медленно и сердито говорит:

— Никогда не думал, что ты посоветуешь такую ерунду. Что я тут, для начальника, что ли, стараюсь? Нужно мне для него стараться? — И, тронув шенкелями каурую кобылу, он опять подъезжает к начальнику, опять о чем-то спорит с ним.
А начальник делает строгое, величественное лицо. Вот такое лицо он делает всякий раз, когда произносит свои глубокомудрые слова:
— Если память мне не изменяет, я пока тут числюсь как будто начальником…
Я угадываю, что именно эти слова он произносит сейчас.
А Венька, натягивая поводья так, что лошадь задирает голову, продолжает настаивать на чем-то.
Я напрягаю слух и откидываюсь на седле. Мне хочется понять, о чем они спорят.
Наконец до меня долетают слова начальника:
— Ну, делай как хочешь. Но только помни, Малышев…
А что надо помнить Малышеву, я не слышу.
Венька подъезжает ко мне.
— Начальник приказал, чтобы ты, я и Коля свернули сейчас на Девичий двор. Давайте поскорее проедем вперед…
Лицо у Веньки повеселевшее. Я понимаю, что это не начальник приказал, а Венька склонил начальника к такому распоряжению.
Мы сворачиваем с тракта в сторону Девичьего двора и въезжаем в густой, толстоствольный лес, где можно продвигаться только гуськом друг за другом, по узенькой тропинке, которая то исчезает, то возникает вновь, петляя и извиваясь.
Вот уж где совершенно нечем дышать, как в бане, в парном отделении, когда парятся сибирские древние старики. Мы сразу же покрываемся липкой испариной. И на потные наши лица и руки налипает густая мошкара. Она вместе с дыханием попадает в рот, в горло.
Я все время отплевываюсь. А Венька весело спрашивает меня:
— Ты вспоминаешь эти места?
— Ну да, — откликаюсь я не очень весело, потому что ничего не вспоминаю и некогда мне вспоминать.
— Мы же были тут с тобой зимой, — говорит он. — Помнишь?
Я утвердительно мотаю головой, стараясь одновременно отбиться от мошкары, облепившей и шею и плечи и, кажется, пробравшейся уже во все мои внутренности.
— Помнишь? — опять спрашивает Венька.
— Помню, — говорю я.
Однако, мне думается, я никогда не бывал в таком аду.
Даже всегда невозмутимый Коля Соловьев говорит:
— Жалко, я маску против мошкары с собой не захватил. Хотел захватить и забыл. Беда как беспокоят, заразы! Прямо глаза выедают…
Временами мы едем почти в полной темноте. Высокие и густые вершины деревьев заслоняют солнце, не пропускают света.
Под ногами лошадей хрустят сухие ветки.
А мошкара и во тьме терзает нас.
— Мы тут, левее, с тобой проходили зимой, — вспоминает Венька.
А я по-прежнему ничего не вспоминаю.
— Тут речка недалеко, — как бы успокаивает он меня и Колю Соловьева. И голос у него все время веселый, даже радостный. Неужели его не тревожит мошкара? Или он просто не замечает ее, потому что увлечен предприятием, о котором мечтал давно? Жалко, что мы не сможем искупаться. Мало времени. Еще долго ехать…
Мы выезжаем из мрачного леса на великолепную, сияющую под солнцем поляну. Но Венька сворачивает опять в лес, и мы снова едем гуськом.
— Тут трясина, — показывает нагайкой на поляну Венька. — Помнишь, я тебе рассказывал, как я тут чуть-чуть не увяз?
Действительно, вскоре показалась узенькая речка. От нее повеяло прохладой.
Мы поехали по берегу, глядя на быструю синюю воду, ревущую на острых камнях, на шивере.
Запахло смородиной, вернее, смородиновым листом и нагретой солнцем березовой корой.

Березы весело белели стройными стволами и переливались листвой, словно обрадованные на всю жизнь тем, что вырвались на солнышко из чащи тайги, где их душили сосны, и ели, и непроходимый бурелом.
Венька спрыгнул с седла, присел на обомшелый пень, снял сапоги и брюки и стал переводить коня, похлопывая его по шее, через ревущий неглубокий поток. Мы с Колей Соловьевым, как говорится, последовали его примеру. Поплескались немножко в холодной воде. И поехали дальше вдоль кромки тайги.
Над нами теперь торжественно шумели темно—зелеными вершинами красивые, стройные кедры.
— Шишек-то сколько! — показал все время молчавший Коля. И вздохнул: Ох, приехать бы сюда когда-нибудь запросто! Пошишковать. Я любитель этого дела…
— А что, приедем когда-нибудь, — сказал Венька. — Всех бандюг переведем и приедем. Тут мировые места. Можно свободно любой дом отдыха открыть. Не хуже, чем на Байкале открыли в прошлом году…
— А мошкара? — поплевал я на ладонь и помазал горящую, как от ожога, шею. — Мошкару куда девать?
— Мошкара — это ерунда, — тоже поплевал на ладонь Венька. Значит, она все-таки и его беспокоит. — Мошкару можно, как и бандитов, перевести. Даже легче…
— Я читал, — разговорился молчаливый Коля, — я читал в одном журнале, что от мошкары есть хорошее средство. Вроде порошка. Только надо этим порошком с аэропланов посыпать…
— Пустяки! — засмеялся я. — Но надо сперва своих собственных аэропланов настроить, русских. А это очень не просто…
— А что особенного-то? — сказал Венька. — Не настроим, что ли? Еще столько аэропланов настроим, что будь здоров, не кашляй…
И от этих мальчишеских, хвастливых слов всем нам стало так весело, что мы не заметили, как Венька свернул в совсем уж нестерпимо душный участок тайги, полный мошкары и каких-то крупных, оглушительно жужжавших мух, от укуса которых лошади всхрапывают, вскидывают головы и со свистом обмахиваются хвостами, а у нас мгновенно всплывают на коже большие, разъедающие кожу волдыри.
Я все время плевал на руку, чтобы смазывать места укусов. Но вот уже истощилась слюна. Во рту пересохло.
А сухие ветки трещат в темноте, бьют по лицу. Чего доброго, и глаза так выколешь, и рот раздерешь.
Я закрываю глаза и наклоняюсь над гривой фыркающего мерина. Ветки бьют меня по голове, по ногам. Но я не открываю глаз до тех пор, пока резкий свет не ударяет мне в лицо. Оказывается, мы опять выезжаем на просторную поляну. И опять рядом с нами на взгорье шелестят вершинами высоченные кедры. И тотчас же мы замечаем множество красивых, похожих издалека на голубей птиц. Однако они мельче голубей, и полет у них не голубиный, а какой-то суетливый. Они то взлетают над кедрами, то как бы ныряют в мохнатую темную зелень.
— Ух, подлюги! — кричит Коля Соловьев. — Ух, подлюги поганые! — И, придерживая серого жеребца, грозит птицам нагайкой. — Вы глядите, что делают, твари! Это ж кедровки!..
Венька спрыгивает с лошади.
— Правильно, это кедровки. Они сейчас тут облупят все шишки…
— Да вот в том-то и дело, что не все, — говорит Коля. — Они ведь как делают, гады! Они только сверху затронут шишки, полущат, полущат и бросят. И куда уж она тогда годится? Ух, подлюги, подлюги!..
Коля расстраивается так, будто кедры эти принадлежат лично ему, будто кедровки налетели на его собственный сад и вот теперь он просто не знает, что делать.
И Венька сочувственно качает головой.
А я тоже, как они, спрыгнув с седла, разминаю ноги, и мне тоже жаль шишек. Хотя, быть может, мы больше никогда в жизни не попадем в эти места и не попробуем этих кедровых орехов.

— Эх, вырубить бы колотень! — неотрывно смотрит на кедры Коля. — Можно было бы насшибать шишек. Вы глядите, уж много спелых. А то, слушай, Вениамин, может, я залезу сейчас на минутку, а? На одну минутку. Сшибу хоть десятка три на дорогу…
— Некогда, — говорит Венька. И заметно колеблется.
— А то я залезу? — опять предлагает Коля. — Тут же одна минутка…
— Некогда, — уже тверже повторяет Венька. И ставит ногу в стремя.
Мы едем дальше по широким просекам, переплетенным толстыми корнями елей, и всю дорогу разговариваем о кедровых шишках и о подлом поведении кедровок, бандитствующих в кедровых лесах.
Коля Соловьев вспоминает интересные случаи из своей охотничьей жизни. Мы с Венькой также кое-что вспоминаем. Коля говорит, что в этом году, однако, много будет белки, если такой урожай на орехи. Да и соболь, наверно, проявится. Он тоже большой любитель орехов.
— Орехи все любят, — улыбается Венька. — Лазарь говорит, что ими можно даже чахотку лечить…
— Какой это Лазарь? — как бы настораживается Коля, чуть придерживая нервного жеребца.
— Лазарь Баукин.
Венька заметно смущается и, наклонившись, поправляет подседельник. Ведь Коля, кажется, ничего не знает о том, что Венька поддерживает связь с Лазарем Баукиным и что еще зимой мы здесь встречались с ним. Об этом мы никому не рассказывали. Может быть, только начальнику об этом докладывал Венька.
— Он, наверно, тут где-то бродит, — говорит Коля. — Он, мне помнится, из этих мест.
— Из этих, — подтверждает Венька. — Он эти места как свои пять пальцев знает. Может повсюду зажмурившись пройти…
— Ну конечно. У него дело тонкое, — усмехается Коля. — Он и от нас тогда моментально ушел. И все концы в воду. Ух, если б я его встретил!..
— Еще встретишь. Может, сегодня еще встретишь, — смеется Венька. И сразу же становится серьезным, даже озабоченным, внимательно оглядывая местность. — Нет, скорее, завтра увидим Лазаря…
Коля молчит, перебирает поводья, что-то соображает, потом спрашивает:
— Он что ж, теперь, выходит, от нас работает?
— Зачем ему работать от нас? — уклончиво отвечает Венька. — Он может работать и от себя. Он мужик головастый и вполне сознательный…
Это слово «сознательный» было в те годы в большом ходу. Им как бы награждали человека. Сознательный — значит понимающий, осознающий, с какими трудностями связано построение нового мира, и готовый пойти на любые жертвы в преодолении трудностей.
Мне, быть может, так же, как Коле, показалось, что Венька явно перехватил, обозначив таким почти что священным словом Лазаря Баукина, еще недавно состоявшего в банде Клочкова. Но мы оба промолчали.
Венька ведь не просто наш товарищ, такой же, как мы, комсомолец, но и в некотором смысле наш начальник. И это следовало нам помнить, особенно сейчас, когда мы ехали на операцию. Он знает, наверно, что-то такое и про Лазаря Баукина, чего мы еще не знаем и что еще не положено нам знать.
Однако Венька сам, должно быть, понял, что мы не согласились с ним, и, поворачивая свою каурую кобылицу опять в густой, непроглядный лес сказал:
— Вы завтра увидите, как работает Лазарь…
— А мы что, завтра будем брать Воронцова? — спросил ничему на свете не удивляющийся Коля.
— Завтра. Наверно, завтра, — не очень уверенно подтвердил Венька и, отодвинув рукой широкую и длинную еловую ветку, направил лошадь по еле различимой тропе.
Из этого леса мы выбрались уже в сумерки и въехали в деревню.
— Ну, хоть эти-то места узнаешь? — опять спросил меня Венька. — Это же деревня Дымок. Мы тут на аэросанях проезжали. Помнишь?

— Помню, — сказал я, хотя ничего не помнил. Ведь тогда была зима. Все укрыто было снегом.
А теперь лето. И в деревне, как на тракте, пахнет горячей пылью. Нет, не только пылью, но и коровьим навозом, печным дымом и парным молоком.
Мы ехали по затихшей деревне шагом, оглядывая темные избы. Нигде ни одного огонька. Жители спят, и даже собак не слышно.
— Интересно, прибыл наш начальник или еще нет? — вслух задумался Венька. — А я все-таки немножко промазал…
— В каком смысле? — спросил я.
— Немножко, должно быть, не рассчитал, — вздохнул Венька. — Лишний крюк сделали, а никого не встретили. Придется сейчас еще промяться.
Меня встревожили эти слова. Неужели нам сегодня, сейчас надо будет ехать дальше? Ведь даже кони, пожалуй, не выдержат.
Проехав почти всю деревню, мы увидели огонек, вернее, светлую щель в занавешенном окне.
Венька спрыгнул с лошади и повел ее за повод. Мы сделали то же самое. Значит, мы приехали.
В просторной, прохладной избе у пыхтящего, как паровоз, огромного самовара сидел под лампой наш начальник, пил чай и рассматривал карту.
Он возил ее с собой почти на каждую операцию в уезде и рассматривал с таким выражением на лице, точно видит на карте живых бандитов и уже прицеливается в них.
Около него стояли и сидели Иосиф Голубчик, старший милиционер Семен Воробьев и Бодягин Петя, прозванный за постоянную и часто неуместную резвость Бегунком.
— О, — сказал начальник, увидев нас, — здорово мы вас опередили!
— Да вот так получилось, — виновато пожал плечами Венька. И, подойдя к начальнику, стал негромко разговаривать с ним, объясняя ему какую-то свою оплошность.
Но начальник не сердился на него. Был настроен, как показалось мне, даже весело.
— Садитесь с нами чай пить, — весело пригласил он нас.
На столе соленый омуль, медвежий окорок и картошка в мундирах.
Мы с Колей Соловьевым сразу же сели без церемоний. Мы ничего ведь не ели с самого раннего утра.
А Венька, который тоже ничего не ел, отозвал в сторонку Воробьева и спросил:
— Можно я на твоей кобыленке тут недалеко съезжу? Моя сильно пристала. Погляди, если не трудно, за моей… Покормить бы ее надо…
— Пожалуйста, — сказал Воробьев. И усмехнулся, потрогав свои пышные усы. — Только учти, дорогой товарищ, у меня кобыленка слишком кусучая. Она посторонних почему-то не шибко любит…
— Ничего, — улыбнулся Венька. — Может, она меня полюбит.
И, ни слова больше не сказав начальнику, уехал во тьму таежной ночи. Было слышно, как захрустел щебень под копытами неутомимой воробьевской кобыленки.
Начальник продолжал рассматривать карту. Потом он поднял глаза на часы—ходики, висевшие на бревенчатой стене, потянулся и сказал Воробьеву:
— Время еще есть. Я, пожалуй, прилягу. Мне все-таки не семнадцать лет. Обеспечь охрану, чтобы было тихо. Понятно?
— Понятно. Будет сделано, — почтительно пообещал Воробьев.
— Если я засплюсь, разбудишь.
— Разбужу, а как же, — опять пообещал Воробьев, который был постарше нашего начальника, но спать не собирался. — Будьте покойны, я тут на своих собственных ногах…
Венька все не возвращался.
Делать было нечего. Мы с Колей Соловьевым вышли посмотреть, как едят в темноте болтушку с отрубями и овсом наши кони.
Болтушка была замешена в трех колодинах, выдолбленных в толстых лиственничных бревнах. У каждой колодины — два коня. Они устало переступали с ноги на ногу и лениво обмахивались хвостами.

Недалеко от лошадей настлана солома. На соломе белеет рубашка Голубчика. По примеру начальника он тоже прилег. Рядом с ним поместился наконец угомонившийся Петя Бегунок.
Мы с Колей Соловьевым поглядели на них и тоже прилегли на солому. Прилегли и сразу же задремали.
Я проснулся от тихого разговора во дворе.
— Не покусала она тебя? — заботливо спрашивал Воробьев, светя во тьме красным огоньком самокрутки.
— Ну для чего же она будет меня кусать?
Я узнал голос Веньки. Значит, он уже вернулся.
— Стало быть, фартовый ты, — говорил Воробьев, и было слышно, как он похлопывает кобыленку по крупу. — Она зимой наробраза покусала.
— Кого?
— Наробраза. От народного образования приезжал сюда человек из Дударей — Михаила Семеныч Кущ. Она очки ему сбила и грудь ободрала зубами. А тебя, гляди-ка, не тронула. Стало быть, ты фартовый, ежели тебя и лошади уважают. Это хороший признак! Очень хороший…
Венька засмеялся.
— Но ведь тебя она тоже уважает, товарищ Воробьев, твоя кобыленка.
— Мне она — обязана. Я над ней, как ни скажи, первое начальство, напомнил с достоинством Воробьев. И стал водить лошадь по двору, чтобы она не запалилась от бега.
— Ездил-то ты на ней далеко ли?
— Нет, не далеко. Тут рядом…
— Ну, не заливай. Ты гляди, какая она мокрая, и бока ходуном ходят. А за лошадью, это имей в виду, нужен глаз, как за ребенком. Ежели желаешь, чтобы лошадь была постоянно на ходу, когда это требуется по делу неотложной важности…
Разговор был тихий, хозяйственный, ничем не напоминавший о том, что скоро предстоит важнейшая операция.
Венька подошел к своей кобылице, похлопал ее по крупу, точно так же, как Воробьев свою кобыленку. Потом спросил:
— Начальник в избе?
— В избе, — сказал Воробьев. И почтительно добавил: — Отдыхает.
— Отдыхать некогда, — сказал Венька. — Сейчас поедем. Сейчас по холодку далеко можно проехать…
— Может, чаю попьешь?
— Некогда. — Венька пошел в избу, но на крыльце остановился и спросил Воробьева, как мальчик-сирота: — Хлебца кусочек не найдется? Что-то у меня сосет внутри…
— Как же это не найдется! — забеспокоился Воробьев. — И мясо найду. И все, что надо. Как же можно, не жравши, воевать!..
Он привязал кобыленку и вслед за Венькой вошел в избу.
Минут пять спустя Венька вышел на крыльцо. И в полосе света, выпавшей из избы, было видно, что в руках у него кусок хлеба и кусок мяса. Он ел и говорил Воробьеву, опять появившемуся на крыльце:
— Ты, Семен Михайлович, сейчас с нами можешь не ехать. Пусть твоя лошаденка отдохнет. Ты часам к двенадцати к нам подъедешь — к Пузыреву озеру.
— Нет, уж я сейчас поеду, — сказал Воробьев. — Ты за мою Тигру не беспокойся.
— За какую Тигру?
— Ну, кобыленку-то мою Тигрой зовут.
Венька опять засмеялся. И смеялся так, будто ничего смешнее этих слов никогда в жизни не слышал.

19

Было раннее утро, когда мы подъезжали к Пузыреву озеру.
Только что проснувшийся лес полон был птичьего щебета и той влажной, пахучей свежести, которая скапливается за ночь в листве и мхах и при свете солнца распространяется по земле, оздоровляя все живое, оживляя мертвое и волнуя души людей предчувствием великого счастья.
Люди, может быть, всего добрее бывают именно в утренние часы возвышеннее, великодушнее. И настроиться на суровый лад им не так легко, когда все вокруг торжествует и радуется восходящему солнцу.
А мы ехали, как говорится, на дело.
По плану операции, расчерченному нашим начальником на карте, мы должны были, как он выразился, закупорить большак, то есть одну из главных на этом участке таежных магистралей, по которой минувшей ночью проехал «император всея тайги» к своей возлюбленной — Кланьке Звягиной.
Я помнил, что Кланька живет на взгорье, на Безымянной заимке, у самого пруда. Но я сейчас ни за что не разыскал бы эту заимку. И мне неловко было спрашивать, далеко ли до нее. Да и спрашивать некого.
Мы ехали по лесу вдвоем с Колей Соловьевым, который знал об условиях предстоящей операции, наверно, еще меньше меня.
Остальные же из нашей группы вместе с начальником продвигались по ту сторону большака. Их было не видно и не слышно.
В лесу сгустилась необыкновенная тишина. И только где-то в отдалении усердно трудился дятел, добывая себе нелегким способом необходимое пропитание.
Всякий разумный человек, наверно, подумал бы о том, что это не простое и, пожалуй, даже рискованное дело — закупорить большак, если нас всего шестеро и мы не знаем в точности, сколько бандитов сопровождает Костю Воронцова. Ведь не один он поехал к своей невесте. Едва ли он решился бы поехать один. А вдруг не мы, а он закупорит нам все пути?
Эта мысль, конечно, встревожила бы и меня, если бы она тогда сразу достигла моего сознания. Но мой мозг все еще был объят дремотой, и я заботился только о том, чтобы не задремать в седле.
А задремать было легко. Все-таки я не спал уже две ночи. В ту ночь в Дударях меня томила духота и Венька мешал мне спать, читая свое письмо. И в эту ночь, кажется, никто из нас по-настоящему не уснул.
Сквозь дрему, склеивающую глаза, я изредка поглядывал на Колю, то едущего рядом со мной, то отстающего. И мне казалось, что он тоже задремывает. Вот сейчас мы оба уснем в этом опасном лесу. У меня набрякли веки. Больно смотреть. Я закрыл глаза.
Вдруг Коля толкнул меня рукояткой нагайки в плечо.
— Медведь!
— Где медведь?
— Ну, откуда я знаю где, — благодушно ответил Коля. — Был и вышел…
Я опять закрыл глаза, но Коля снова толкнул меня в плечо.
— Гляди, деревья-то какие…
Я поглядел на деревья, но ничего особенного не заметил.
— Ободранные, — сказал Коля. — Это медведи их ободрали. У них сейчас, наверно, самая свадьба. Хотя по времени-то им пора бы уже отгулять…
Правда, теперь я разглядел: на нескольких деревьях ободранная кора.
Медведи, это я знал, в дни гоньбы сильно злятся, царапают когтями землю, становятся на дыбы и передними лапами обдирают кору с деревьев.
Наклонившись с седла, я потрогал толстую осину, с которой длинными лоскутьями свисала зеленовато-бурая кора.

Видно было, что содрана она совсем недавно, час или десять минут назад: мезга еще не подсохла. Значит, и медведь ушел недалеко. Может, он бродит где-то тут. Может, он уже скрадывает нас.
Это напрасно рассказывают, что медведь будто бы глупее лисы, что он неповоротливый, ленивый. Медведь и хитер и быстр, когда это нужно ему. И нам не уйти от него даже на лошадях, если он захочет нас преследовать в этом лесу.
А стрелять нам не ведено. Венька еще в деревне передал нам строжайшее распоряжение начальника: ни в коем случае не стрелять в лесу без особой команды. Вот загадка для младшего возраста: что делать, если на тебя напал медведь, а стрелять тебе нельзя?
Мою дремоту как рукой сняло.
Невдалеке от нас затрещали сучья. Кто-то тяжелый пробирался по лесу в нашу сторону. Коля Соловьев придержал коня и вскинул карабин, висевший на шее.
Я потрогал шершавую, рубчатую оболочку гранаты и тут же вспомнил инструкцию, в которой сказано, что «гранату бросать на близком расстоянии, не обеспечив себе укрытия, не рекомендуется». Но мало ли что не рекомендуется! Я все равно брошу, если…
Из зарослей кустарника высунулась лошадиная морда с пеной на губах, а над листвой показалась голова Веньки Малышева в кепке козырьком назад.
— Ну, как вы, ребята?
— Чуть-чуть тебя не стукнули, — засмеялся Коля.
— С чего это вдруг?
— Подумали, медведь…
Венька тоже засмеялся:
— Ну, откуда тут медведи!..
— А это что? — показал Коля на осину.
Венька, как я, подъехал к дереву и с седла потрогал мезгу.
И в этот момент недалеко от нас раздался страшный рев.
Венька оглянулся, и я увидел, как лицо у него дернулось и застыло в испуге. А у меня задрожали руки и ноги и острый холодок пробежал по спине.
— Медведь! — сказал Коля.
А я ни слова не мог выговорить. И Венька тоже.
Позднее мне думалось, что сам я испугался не столько медвежьего рева, сколько выражения лица Веньки. Уж если Венька боится — значит, действительно страшно. И мой рыжий ленивый мерин подо мной забеспокоился. Я чувствовал, как вздрагивает он всей мохнатой, вспотевшей шкурой.
— Я слово даю, что это медведь, — опять сказал Коля.
— Медведь, — согласился Венька. Голос у него вдруг сделался тихий-тихий. И он, как по секрету, сообщил нам: — Я в жизни второй раз слышу, как он ревет. Хуже его рева, наверно, ничего нету…
— Это на него человечьим духом нанесло, — догадался Коля. — Человечьим и еще конским духом. Потным, парным. Это для него все равно что для нас конфетка…
Медведь опять заревел — протяжно, яростно, с хрипотцой. И еще раз. И еще.
Нет, это, кажется, не один медведь ревет. Может быть, их двое или трое.
Может быть, они сейчас дерутся где-нибудь на поляне из-за самки.
Я это еще в детстве слышал, что медведи часто дерутся во время свадьбы. Вот, наверно, они и сейчас дерутся. Но если мы их спугнем, нам будет плохо.
Я представляю себе во всех подробностях, как медведи, прервав междоусобицу, бросаются на нас.
Всю жизнь меня пугали не столько действительные, сколько воображаемые опасности. И всю жизнь я завидовал людям или начисто лишенным воображения, или ограниченным в своих представлениях. Им живется, мне думалось, много спокойнее. Их сердца медленнее сгорают. Им даже чаще достаются награды за спокойствие и выдержку. Их минуют многие дополнительные огорчения, но им, однако, недоступны и многие радости, порождаемые воображением, способным в одинаковой степени и омрачать, и украшать, и возвеличивать человеческую жизнь.
Медведи ревели все сильнее, все яростнее.

Мне казалось, что мы движемся прямо на них. Вот сейчас мы выедем на ту цветущую, обогретую солнцем поляну, где они дерутся подле звенящего на камнях прохладного ключа. А в стороне от ключа, под корягой, под замшелой валежиной, удобно и прочно устроено гайно медведицы — царственное ложе невозмутимой красавицы, даже не сильно польщенной, может быть, что из-за нее сцепились в кровавом поединке самые могущественные властелины тайги.
Я представляю себе в подробностях поединок медведей, хотя никогда не видел его в действительности, и все время держу руку на гранате. Она становится влажной от вспотевшей моей руки, и я слышу ее железный запах.
И слышу голос Веньки, едущего впереди:
— Но имейте в виду, ребята, начальник еще раз нам твердо приказал, что бы ни случилось, стрельбы не открывать. Мы обязаны взять «императора» живьем Убивать его мы не имеем права…
— А он нас тоже не имеет права убивать?
Это спрашивает Коля и смеется.
Венька не успевает ему ответить. Да Коля и не ждет ответа. Он увидел что-то занятное в траве и кричит:
— Ой, глядите, ребята, оправился! На цветы, прямо на кукушкины сапожки!..
— Не кричи, — останавливает его Венька. — Кто оправился?
— Ну как кто? Медведь, — говорит Коля, будто обрадованный. И, смеясь, показывает на то место, где останавливался медведь по неотложной надобности. — Уже, глядите, имеет полное расстройство желудка. Ягоды ел. Голубицу…
«Вот он, наверное, ничего не боится! — думаю я про Колю. — Он и кричит и смеется. А я почему-то боюсь. Это, наверно, оттого, что я не выспался. Но ведь и другие не выспались».
— Это еще не расстройство, — с седла внимательно рассматривает медвежий помет Венька. — Если бы этого медведя легонько рубануть по хвосту прутом, вот тогда бы он правда расстроился. Он на задницу очень хлипкий. От него бежать ни в коем случае нельзя. Словом, нельзя его пугаться…
Я завидую Веньке. Ведь я хорошо видел, что он испугался медвежьего рева. А сейчас он не только подавил в себе испуг, но старается и нас взбодрить. Иначе для чего бы ему говорить о том, что все и так знают: если медведя испугать, у него начинается понос.
— Это уж как закон природы, — улыбается Венька. — Против всякого страха есть еще больший страх.
— А ехать нам далеко? — спрашивает Коля.
— Нет, — говорит Венька. — Сейчас до Желтого ключа доедем, и там уж будет видно заимку. — И поворачивается ко мне: — Ты эти места узнаешь?
— Узнаю, — киваю я, хотя по-прежнему ничего не узнаю.

20

Мне казалось, что силы мои уже на исходе, когда мы подъезжали к Желтому ключу. Я устал от нестерпимой жары, от подпрыгивания на седле и всего больше от изнурительной работы собственного воображения — от поединка с медведем, которого не было.
Желтый ключ веселой тоненькой струйкой выбивается из-под самой горы, но вода в нем не желтая, а кипенно-белая, холодная. Желтый — песок вокруг ключа.
Я набираю воды в пригоршню и пью мелкими глотками, потому что она студит до боли зубы. Потом я умываюсь.

Хорошо бы снять рубашку и намочить холодной водой спину, грудь! Но я не знаю, что еще будет дальше.
Я устал, а работа наша только должна начаться. Должно начаться то, для чего мы выехали из Дударей и вот уже вторые сутки кочуем по этим местам.
Из леса выезжает наш начальник. Затем появляются Иосиф Голубчик, Петя Бегунок и старший милиционер Воробьев. Их лошади взмылены. Видно, что они прошли большой и трудный путь — больше нашего.
Но начальник бодро спрыгивает с коня. Толстые ноги в мягких сапогах с короткими голенищами чуть прогибаются под его увесистым телом и глубоко вминают высокую, сочную траву и рыхлую почву, когда он идет к ручью.
У ручья он долго умывается, поливая круглую, остриженную под бобрик голову холодной водой, потом вытирает лицо и шею носовым платком и, глядя на Веньку покрасневшими, выпуклыми глазами, спрашивает:
— Ну-с?
— Время еще есть, — смотрит на ручные часы Венька. — Всего девятый час. Двадцать минут девятого. Подождем еще минут сорок?
— Подождем.
— Может, закусим? — робко спрашивает Воробьев.
— Можно, — опять соглашается начальник и садится на траву, по-калмыцки подогнув ноги. — Только и делаем, что закусываем да чай пьем, а настоящего дела пока не видать…
— Не наша вина, — по-стариковски кряхтит Воробьев и, оскалив желтые, полусъеденные зубы, развязывает ими туго стянутый узел на мешке с едой.
Мешок брезентовый, широкий, он растягивается на кольцах и расстилается на небольшой поляне, на волнистой траве, как скатерть.
— Садись, Малышев, — приглашает начальник Веньку, показывая на еду — на хлеб и мясо, которое режет большим складным ножом Воробьев. — И вы, товарищи, садитесь.
— Спасибо, — отказывается Венька. — Я после поем. Я на минутку отойду. — И направляется в сторону большака, невидимого отсюда.
— Я тоже с ним пойду, — вскакивает с травы Иосиф Голубчик. — Разрешите мне, товарищ начальник. Убедительно прошу. Разрешите…
Венька останавливается и обиженно и вопросительно смотрит на начальника.
— Никуда ты не пойдешь, — строго говорит начальник Голубчику. — Садись и сиди. Вот еда, кушай…
Мы все садимся вокруг мешка и, подражая начальнику, подгибаем под себя ноги.
А Венька уходит в заросли боярышника, в сторону большака.
Мне кажется странным, что начальник ест с таким аппетитом. Мне совершенно не хочется есть. Я смотрю, как начальник обкусывает мясистую кость, и думаю: «Интересно, куда же это пошел Венька? И что будет через сорок минут? Венька сказал: «Подождем минут сорок».
— Ты чего не ешь? — спрашивает меня начальник.
— Я ем, — говорю я.
Беру пучок черемши, обмакиваю ее в соль, отламываю от ломтя кусочек хлеба и запихиваю все это в рот. Есть мне все-таки не хочется.
После еды Петя Бегунок отводит меня от ключа в сторонку и показывает на взгорье, где виднеются избы заимки.
— Вон, видишь, серебряная крыша? Да ты не туда смотришь. Ты смотри вот на эту сосну. Вон, видишь, серебряная крыша? Это изба, в которой Кланька живет.
Из-за ветвей хорошо видно оцинкованную крышу. Она действительно поблескивает сейчас на солнце, как серебряная. Такие крыши — редкость на таежных заимках.
Я смотрю на эту крышу, и мне немножко обидно, что Бегунок показывает мне на нее. Я же вместе с Венькой был под этой крышей. Бегунок, наверное, никогда не видел Кланьку Звягину, а я ее видел, был у нее. Но я молчу.
— В девять часов ровно, — говорит Бегунок, — вот с этой стороны, с правой, должны поднять жердь с паклей. Ровно в девять…

Я обижаюсь не на Бегунка, а на Веньку. Неужели он не мог мне объяснить, как будет проходить операция? Подумаешь, какой секрет, если даже Бегунок его знает! Или Венька мне об этом не говорил потому, что считал, что я сам все уже знаю? А я ничего не знаю.
— Чего это вы смотрите? — подходит к нам Коля Соловьев, все еще прожевывая хлеб.
— Да вот Петя любуется избой Кланьки Звягиной, — смеюсь я, чтобы показать, что это для меня не новость.
— А которая изба? — интересуется Коля. — Вот эта белая, что ли?
Значит, Коля тоже ничего не знает. Тогда я возмущаюсь про себя. До чего же глупо организована операция! Никто ничего не знает. Как же действовать в таких условиях? Все, значит, получается втемную. Даже не сказано, что нам делать, когда над крышей поднимется жердь с паклей. Для чего же нас сюда собрали?
Начальник сидит на траве, спиной привалившись к сосне. Он курит, но глаза у него прищурены. Похоже, он задремывает.
А Веньки все еще нет. Куда же, интересно, он ущел?
На взгорье хлопает выстрел.
— Начинается, — веселеет Бегунок и, ухватив за повод свою лошадку, вкладывает ей в рот удила. Потом легко запрыгивает в седло и, уже сидя в седле, всовывает ноги в стремена.
Иосиф Голубчик и Коля Соловьев тоже бегут к лошадям.
А я смотрю, как начальник, неторопливо опираясь на руку, подымается с травы.
Раздается второй выстрел, третий, четвертый.
Иосиф Голубчик, еще не обратав лошадь, передергивает затвор карабина.
— Спокойно, — говорит начальник, отряхивая травинки, приставшие к брюкам. — Спокойно! Ничего покамест не случилось… — Он подходит к своей лошади и закидывает повод на конскую шею. Все делает он неторопливо, как бы с ленцой.
— Жердь! — кричит не склонный к спокойствию Бегунок. И показывает плетью с седла. — Жердь, смотрите-ка, подняли!
— Ну, слава тебе господи! — вздыхает Воробьев. Он, пожалуй, даже перекрестился бы, если бы руки не были заняты мешком и карабином и если бы не стеснялся осенить себя крестным знамением в присутствии партийного начальства.
На взгорье громыхают телеги, лают собаки. Слышно даже, как гремят цепи и взвизгивает проволока, по которой скользят кольца от цепей, удерживающих собак-волкодавов. А человеческих голосов не слышно.
Из зарослей боярышника выходит Венька.
— Взяли, — говорит он.
Но лицо у него не веселое, а скорее печальное. И весь он какой-то измятый, не такой, каким мы видели его еще меньше часа назад.
— Ну, слава богу! — опять вздыхает Воробьев.
Венька подходит к начальнику, недолго разговаривает с ним, потом не запрыгивает, а устало залезает в седло. Вялый он, медлительный. И кепка надета уже как следует, козырьком вперед.
А начальник становится вдруг необыкновенно быстрым в движениях, натягивает повод, бьет лошадь по брюху толстыми ногами в стременах и кричит:
— Внимание! Выезжаем на большак! Голубчик, особо учти: без моей команды ни во что ни в коем случае не соваться!..
Мы выезжаем на большак и поднимаемся на взгорье, окутываясь горячей, удушливой пылью.
Навстречу нам громыхает телега, в которую запряжена мохнатая лошаденка, точно такая, на какой разъезжает старший милиционер Воробьев. На телеге сидят, свесив ноги, два мужика, а между ними лежит, распластавшись, третий, с окровавленной бородой.
— Убили? — спрашивает Веньку начальник, глядя на бородатого.
— Да нет, это не Воронцов, — отвечает Венька. — Это Савелий Боков. Оказал сопротивление. Ничего нельзя было сделать. И Кологривова сильно ранили. Наверно, умрет…
— Ну и пес с ним! — говорит Воробьев. — Прости меня господи. Ведь как озорует, как озорует! Даже в царское время не было такого озорства…

Я смотрю на проезжающую мимо телегу, на мертвого Савелия Бокова. Вот, значит, какой он, этот Савелий, именем которого мы зимой вошли в избу Кланьки Звягиной.
— Бывший прапорщик, — смотрит на него Воробьев. — Я с ним в одном полку служил в германскую импери…алистическую. — И кричит мужикам, сидящим на телеге: — Там внизу остановитесь! Я потом к вам подъеду. — И опять вздыхает, провожая взглядом телегу. — Тоже вполне порядочные бандиты эти мужики, не гляди, что сейчас тихие. Я их обоих знаю. Братья Спеховы. У них и отец бандит, хотя и старичок…
Странно все это. Бандиты везут на телеге убитого бандита и подчиняются распоряжению старшего милиционера Воробьева.
Я оглянулся. Они действительно остановились внизу.
На взгорье я наконец все вспомнил. Вот мимо этого забора мы проходили на лыжах зимой. За забором лаяли и гремели цепями собаки. Они и сейчас лают.
Мы проезжаем дальше. И вот уже виден весь дом Кланьки Звягиной. Мы въезжаем в распахнутые ворота.
Во дворе на телеге со связанными за спиной руками молча лежит босой, в разорванной шелковой рубахе красивый молодой мужчина с русой, аккуратно подстриженной бородой. Он жадно дышит раскрытым ртом, и широкая, сильная грудь его, чуть поросшая рыжим волосом, нервно вздрагивает.
На груди фиолетовой тушью наколота надпись: «Смерть коммунистам».
— Гляди, чего написал, — читает надпись Воробьев. И спрашивает: — Ты каким же местом думал-то, бандитская морда, когда эти слова писал? — И, послюнив палец, трогает надпись. — Это же вечное тебе будет клеймо. С этими словами и помрешь…
Бандит не удостаивает Воробьева даже взглядом. Он не мигая смотрит в голубое, нежно— голубое небо. На небе ни облачка.
В глубине двора, у высокой колоды, привязаны крупные сытые лошади. Они спокойно хрумкают овес и поблескивают крутыми, лоснящимися задами. На этих лошадях приехали бандиты из глубокой тайги. На них они и уехали бы, если бы не случилось всего, что случилось.
— А этого куда? — спрашивает Бегунок, выходя из избы и показывая в распахнутые двери на бандита, лежащего в сенях на соломе.
— Кончился он?
— Кончился.
— Кладите их рядом, — приказывает Воробьев.
— Но этот же мертвый, а этот живой, — вмешивается Коля Соловьев, подходя к телеге.
— Ничего, — говорит Воробьев, — кладите их рядом. Они дружки. Им обоим одна дорога.
На крыльце появляется наш начальник. Он уже обошел весь двор, побывал в избе и вышел вспотевший, сердитый.
— Ты тут глупостей не устраивай, — выкатывает он глаза на Воробьева. — Ты представитель чего? Ты представитель власти. Значит, что? — Воробьев испуганно и почтительно вытягивается. — Значит, глупостей творить не нужно. Живой пусть так и остается, как живой. А мертвого надо на другую телегу.
Начальник отдает еще какие-то распоряжения Веньке и, взобравшись в седло, выезжает из ворот в сопровождении Пети Бегунка.
Мы остаемся во дворе без начальника. Нас остается всего пять человек: Венька Малышев, Иосиф Голубчик, Коля Соловьев, старший милиционер и я. А незнакомых во дворе становится все больше.
Мне еще непонятно, кто тут бандиты и кто просто жители этой заимки. И вообще непонятно, как это все произошло, кто связал «императора всея тайги», кто убил Савелия Бокова и кто смертельно ранил Кологривова. Многое еще непонятно.
В избе, в полутьме от задернутых на окнах занавесок, я не сразу узнал Лазаря Баукина. Он сидел у стены за столом, все еще уставленным бутылками, стаканами, тарелками с оставшейся едой, и негромко разговаривал с Венькой. Похоже, о чем-то договаривался. Тут же у печки на табуретке сидела, как мне показалось, немолодая женщина в темном платке, по-монашески повязанном. Она вставила в разговор мужчин какие-то слова, но Лазарь грубо ее оборвал:
— Ты, Клавдея, помолчи. Тебе самая пора помолчать сейчас…

Как же это я не узнал Кланьку? Будто тяжелая болезнь изменила ее. И она не показалась мне теперь такой красивой, как тогда, зимой. Даже странно, что я готов был жениться на ней в ту метельную, суматошную ночь.
Я услышал, как Лазарь сказал:
— Ты, Веньямин, ни об чем не тревожься. Как ты поступаешь, так и мы поступаем. Уговор дороже денег. Мы проводим вас до самого места. И я сам в Дудари явлюсь. Будет нужно меня судить, пускай судют. Я весь наруже. Был в банде, товарищи мои бандиты на меня не обижались. И ты не обижайся, что я тебя тогда подстрелил в Золотой Пади…
— Об этом незачем теперь говорить, — отодвинул от себя пустую бутылку и стакан Венька и облокотился на стол. — Надо думать, Лазарь Евтихьевич, как дальше жить…
Наверно, всякого бы удивило, что они так, сравнительно спокойно, ведут какой-то разговор, когда в сенях на соломе все еще лежит мертвый Кологривов, а во дворе на телеге ворочается связанный Костя Воронцов и вокруг него толпятся неизвестные люди.
— Туман. Во всем туман. Во всей жизни нашей туман, — сказал Лазарь Баукин и стал вылезать из-за стола так, что загремела посуда на столе. Но уж если дело сделано, об том тужить не надо. Все равно какой-то конец должен быть… — Он увидел на полу смятую фуражку-капитанку с блестящим козырьком, наклонился, поднял. — Это чей картуз?
— Это… этого, — затруднилась с ответом Кланька.
— Кологривова, что ли?
— Да что вы, ей-богу, разве не знаете, чья это фуражка? — будто обиделась Кланька. — Это ж Константина Иваныча фуражка…
— Отнеси ему ее.
— Нет, уж вы сами относите. Сами вязали его, сами и относите…
— А ты что, невеста, жалеешь жениха?
— Никого я не жалею, надоели, осточертели вы мне все! — отвернулась Кланька и пошла в сени. — Вон как ухалюзили избу! Нахлестали кровищи, все забрызгали. Кто это будет замывать?
Мне подумалось, что Кланька словами этими, вспышкой мелочной ярости и хозяйственной озабоченностью и суетой хочет спрятать что-то в душе своей, старается не показать, что она чувствует сейчас. А ведь, наверно, она что-то чувствует. Ведь не корова же она.
Я вспомнил, что вот на этой печке зимой всю ночь стонал и кряхтел старик. Я спросил у Кланьки, где он. Она сделала любезное лицо и как будто даже улыбнулась.
— Крестный-то? Помер он. Зимой еще помер. Здравствуйте! А я и не признала вас второпях… Еще раз здравствуйте…
И ни тени огорчения не было на ее припухшем лице.
— Отнеси ему, Клавдея, картуз, тебе или кому говорят? — опять зачем-то приказал Лазарь.
— И сапоги эти отнеси. Это его? — кивнул он на фасонистые коричневые сапоги.
— Да чего вы ко мне пристали! — отмахнулась она. И заискивающе заглянула в глаза Веньке. — Чего он ко мне пристал, товарищ начальник? Я-то тут при чем?
— Вот гляди, Веньямин, какие бабы бывают, — показал на нее Лазарь Баукин. — Пока Костя царствовал, она юлила вокруг него. Даже плакала, что Лушка его, видишь ли, завлекает. А сейчас… Вот гляди…
Но Венька молчал. Он как будто стеснялся этой женщины и старался не смотреть на нее. И только когда мы выехали из ворот, он оглянулся на окна ее дома под серебряной крышей и сказал:
— Да, бывает по-всякому.

Даже на большаке, когда мы далеко отъехали от Безымянной заимки, было слышно, как протяжно и грозно ревут медведи, справляя свои свирепые свадьбы в глубине тайги. Но теперь, наверно, никого уже не пугал и не тревожил этот рев.

Только, может быть, я один представлял себе, как самцы сейчас встают на дыбы, как рвут друг друга когтистыми сильными лапами, как летит с них клочьями линялая шерсть. А где-то в стороне сопит, стоя на четвереньках и поглядывая на них, красивая медведица, которая достанется победителю, которая будет любить победителя — того, кто окажется сильнее, крепче.

Венька ехал рядом со мной, но все время молчал, задумавшись о чем-то. Лицо у него опять почернело, как тогда, после ранения.

Чтобы немножко взбодрить его, я сказал:

— Все-таки ты здорово это организовал…

— Что организовал?

— Ну, всю эту операцию. Никто ведь не думал, что вот так запросто к нам попадется в руки сам «император всея тайги». По—моему, даже начальник в это дело не сильно верил. Если бы не ты…

— Да будет тебе ерунду-то собирать! — поморщился Венька. — Это и без меня бы сделали. Это все Лазарь Баукин сделал. Это мужик, знаешь, с какой головой!

— Ну, это ты можешь кому-нибудь рассказывать, — перебил я его. — А я сейчас многое понимаю…

— Ничего ты не понимаешь, — сказал Венька. — И давай не будем про это…

Говорили потом, что Венька ловко сагитировал этого упрямого, звероватого Лазаря Баукина и других подобных Баукину мужиков. Но это не совсем так. Мужиков этих мало было сагитировать. Мужики эти, рожденные и выросшие в дремучих сибирских лесах, могли быстро забыть всякую агитацию, могли еще много раз свихнуться, если бы Венька, презирая опасность, неотступно не ходил за ними по опасным таежным тропам, не следил за каждым их движением, не напоминал им о себе и о том, что замыслили они по доброму сговору сделать вместе с ним.

Он покорил этих неробких мужиков не только силой своих убеждений, выраженных в точных, сердечных словах, а именно храбростью, с какой он всякий раз готов был отстаивать свои убеждения среди тех, кто доблестью считал накалывать на груди, как у атамана, несмываемую надпись: «Смерть коммунистам».

А Венька представлял здесь коммунистов.

Он, конечно, хитрил, — и еще как хитрил! — действуя, однако, во имя правды.

Нет, он не напрасно прожил всю весну и часть лета среди топких болот, в душном комарином звоне Воеводского угла.

Он добился крупной удачи, самой крупной из всех, какие были у нас за все это время. Но удача теперь будто не радовала его.

Он сидел в седле по-прежнему вялый и какой-то безучастный, с почерневшим то ли от загара и ветра, то ли еще от чего лицом.

Дорога шла сначала через густой, однотонно шумевший лес, изгибаясь вокруг широкоступных деревьев, потом пошла напрямик, через мелкий кустарник, по кочкам, и скоро вышла на пыльный, горячий тракт, поросший по бокам отцветшим багульником.

Воронцову было неудобно лежать на спине, на связанных за спиной руках, под палящим солнцем. Но он так долго лежал без движения, будто умер или впал в беспамятство. Только крупные капли пота, выступавшие на лбу и заливавшие глаза, показывали, что он жив.

Наконец он грузно пошевелился, как медведь, лег на бок и вдруг громко и почти весело проговорил:

— Эх, кваску бы сейчас испить! Холодного. Хлебного. С изюмом!

И со стоном вздохнул, опять перекинувшись на спину.

Все промолчали. Только Семен Воробьев, ехавший рядом с телегой, тоже вздохнув, сказал:

— Нет, видно, отпил ты свой квас, Констинктин. Не будет, видно, тебе больше ни квасу, ни первачку. Отошла коту, как говорится, масленица, настал великий пост…

Воронцов покосился на него крупным, лошадиным глазом.

— Эх, попался бы ты мне, папаша! — сказал он задумчиво. — Я бы из тебя сделал… барабан!

— Знаю, — усмехнулся Воробьев. — Знаю это все, прекрасно знаю. Да, видно, неспроста не дал бог свинье рог. Для того и не дал, чтобы она лишнее не озоровала…
Венька Малышев встрепенулся, поднял голову, подъехал к телеге и велел прекратить разговоры.
— Для чего ты пристаешь к нему? — спросил он Воробьева.
— А для чего он сам меня затрагивает? — почти по-детски обиделся Воробьев. — Я ему все-таки не мальчик. И я ему ничего не говорю. Я ему только говорю, поскольку он пострадал из-за бабы, пускай в таком случае помалкивает…
— И ты помалкивай, — строго посоветовал Венька Воробьеву. И, поглядев на Лазаря Баукина, кивнул на Воронцова: — Надо бы его, пожалуй, развязать?
Лазарь, возвышавшийся на игреневом белоногом жеребчике, пожал плечами: дело, мол, ваше, вы начальство, глядите, как будет лучше, а мне все равно.
— Уйдет! — зашипел, зашептал Воробьев. — Шуточное ли это дело развязать! Уйдет, в одночасье уйдет! И тут же всегда, — он оглянулся на разросшийся по сторонам тракта и колеблемый легким ветром кустарник, — тут же всегда нас могут встретить его компаньоны. Они уж и сейчас, наверно, про все прослышали. У него ведь банда-то какая! И все на лошадях…
— Развязать! — приказал Венька.
Мужик, сидевший на передке телеги, опасливо оглянулся на Воронцова.
— Ну-к что же, давай-ка я развяжу тебя, Константин Иваныч. Велят, стало быть, надо развязать.
Однако он не смог развязать туго стянутые ременные узлы.
Венька строго взглянул на Воробьева:
— Ножик!
Воробьев отогнул полу форменной гимнастерки, покорно вынул из кармана брюк свой большой, остро наточенный складной нож, которым резал на привалах хлеб и мясо. Но сам не взялся разрезать ремни, протянул нож Веньке.
Венька, наклонившись с седла и ухватившись одной рукой за передок телеги, быстро, тремя ударами, рассек знаменитые ремни-ушивки, которыми связывали бандиты своих пленников и которые пригодились теперь для того, чтобы связать бандитского главаря.
Воронцов негромко, болезненно закряхтел. Должно быть, у него сильно затекли руки. Потом потянулся, сгреб под себя солому и сено, сел. Надел фуражку, лежавшую в телеге. Натянул козырек на глаза. И, взглянув из-под козырька на Веньку, спросил:
— Это ты и есть Малышев?
Венька не ответил.
— Ловок. Ничего не скажешь, ловок, — спокойно, внимательно оглядел его Воронцов. — Давно я про тебя слышу, что есть такой Малышев. Еще с зимы слышу. Все хотел тебя повидать. Посылал даже людей за тобой; Шибко хотелось встретиться…
Венька опять ничего не ответил.
— Ну вот и встретились, — усмехнулся Воронцов. И посмотрел по сторонам. — Курить хочу.
Лазарь Баукин, сидя в седле, вынул кисет, аккуратно свернул из клочка газеты большую цигарку и, не заклеивая ее своей слюной, протянул с седла Воронцову.
Воронцов высунул кончик языка, заклеил цигарку и взял в зубы.
Лазарь же высек для него огонь на трут и поднес прикурить.
— Эх, Лазарь, Лазарь! — выпустил дым Воронцов и покачал головой. Продажная все-таки твоя шкура! Не думал я, что она такая, до такой степени продажная…
— Не продажней твоей, — зло прищурился Лазарь. — На чей счет живешь, тому и песни поешь… «Император»! «Император всея тайги»! Кто тебя ставил тайгой править? Пес ты, а не император, кулацкий пес! Для запугивания тебя кулаки поставили. Для запугивания людей. И для заморачивания голов…
Воронцов с любопытством посмотрел на него, даже фуражку приподнял над глазами.
— Не худо, — как бы похвалил он его взглядом. — Не худо говоришь. Не хуже комиссаров, которые болтают на сходках. Быстро они тебя обучили…
Лазарь сдвинул самодельную кепку с затылка на лоб. Видно, его задели слова атамана. Он заметно смутился.

— Никто меня не обучал. У меня и свой умок есть. Я своими глазами вижу, чего вокруг делается. Не слепой. Народ хлебопашествует, смолокурничает, работает. А мы с тобой, Константин Иваныч, вроде игру придумали со стрельбой. Народ от дела отбиваем. Губим народ. А для чего? Для какой цели жизни?
— Для какой цели жизни? — переспросил Воронцов и поудобнее уселся на телеге, свесив ноги. — Ты эту цель жизни хорошо понимал, покуда тебя комиссары не словили. Покуда ты не снюхался с комиссарами. Я это сразу почуял, что ты снюхался. Не хотел я тебя допускать к делам, когда ты явился будто с побега из Дударей. Ни за что не хотел. Это вот Савелий все время подсудыркивал. — Воронцов показал глазами на телегу с мертвым. — Он все время уговаривал меня. Допусти, мол, Лазаря Баукина. Он, мол, не вредный, честный, давно воюет. Мухи сейчас за эту доверчивость и едят Савелия. Видишь, как бороду облепили…
— И тебя еще облепят мухи, — сказал Лазарь и, вытянув руку, ударил жеребчика рукояткой плети по голове, чтобы он не тянулся к пахучему сену на телеге Воронцова.
— И меня, может, еще облепят мухи, — понурился Воронцов. И тотчас же вскинул голову. — Но ты не радуйся, Лазарь, в комиссары ты все равно не пройдешь. Ты расстегни-ка рубаху, покажи, что у тебя на грудях наколото. У тебя же наколоты те же самые слова, как у меня. Не простят тебе этих слов комиссары. Не простят, помяни мое слово.
— Буду смывать эти слова.
— Чем же? Моей кровушкой надеешься смыть?
— Хоть твоей, хоть своей, но смывать надо. Уж какой-то конец должен быть. Утомился я достаточно от этой игры со стрельбой. Пускай любой конец…
Воронцов пошарил рукой в телеге позади себя. Нащупал в соломе сапоги. В сапогах же оказались и портянки. Натянул один сапог, уперся подошвой в перекладину телеги, оправил голенище, стал натягивать второй. И, натянув до половины, спросил Лазаря:
— Что же ты раньше-то не уходил, если говоришь, утомился? Шел бы к бабе своей в Шумилово. Ей, говорят, комиссары коня выдали на бедность…
— А ты что, тревожить бы меня не стал, ежели б я ушел? — опять зло прищурился Лазарь.
— Не знаю уж, как бы я с тобой распорядился, — наконец натянул и второй сапог Воронцов. — Не знаю…
— А я знаю, в точности знаю, — сказал Лазарь. — Я своими глазами видел, как ты сам срубил Ваську Дементьева, когда он хотел навсегда уйти к своей избе на заимку. Вот этой штукой ты его срубил. — Лазарь вытащил из загашника и показал длинный вороненый пистолет, еще часа два назад принадлежавший Воронцову. — Нет уж, ежли рвать, Константин Иваныч, так уж с самым корнем, чтоб и памяти не было. И лишнего шуму…
Лазарь то отъезжал от Воронцова, то опять подъезжал к нему.
Всю дорогу они вели, с перерывами, не очень громкий, даже не очень сердитый разговор. И к этому разговору настороженно прислушивались почти все, кто сидел на телегах и ехал верхом.
Здесь были люди, еще вчера, еще сегодня служившие Воронцову, еще сегодня боявшиеся его, но сейчас во всем подчинившие себя Лазарю Баукину. Он изредка оглядывал их, будто проверяя, все ли они на своих местах, с некоторыми коротко переговаривался. И держался в седле так, как подобает держаться человеку, несущему ответственность за всю эту процессию. Под ним сдержанно танцевал игреневый, белоногий жеребчик, принадлежавший «императору всея тайги». Ничего, однако, царственного не было в этой резвой, крутобокой лошадке. Только на седле был раскинут и притянут желтыми ремнями красивый бархатистый ковер с длинными кистями.
Мы с Венькой Малышевым ехали недалеко от телеги, на которой то сидел, то лежал Воронцов. Лежал спокойно, подложив руки под затылок и заслонив глаза от солнца лакированным козырьком фуражки-капитанки. Видно было, он примирился со своей участью. Ни волнения, ни скорби не было заметно на его широком белом лице, обрамленном светлой бородой.
Такое лицо могло быть у богатого купца, у содержателя большого постоялого двора, даже у молодого священника.
Такое лицо было у атамана одной из самых крупных банд, отличавшейся особой свирепостью.

Лазарь предложил ему еще раз закурить, но он отказался:
— Труху куришь. Комиссары могли бы тебе папиросы выдать. Дешево они тебя ставят! Очень дешево…
Я не расслышал, как отозвался Лазарь на эти слова, потому что мое внимание отвлек Венька.
— Интересно, — сказал он, — что мне теперь ответит Юля. По-настоящему, она должна бы написать мне.
Веньку уже не интересовал Воронцов и его разговор с Лазарем Баукиным. Для Веньки в эту минуту Воронцов уже был, как говорится, пройденным этапом.
Я вспомнил, как он загадывал еще ранней весной: «Вот поймаем «императора» — и наладим все свои личные дела. Что мы, хуже других?»
Я вспомнил душную, предгрозовую ночь накануне этой поездки, когда Венька писал свое первое в жизни любовное письмо. Потом, мне казалось, он забыл о нем, занятый всем хитросплетением этой сложной операции, прошедшей, однако, незаметно для нас.
Я, например, так и не понял, как это случилось в подробностях, что Баукин, которому не доверял Воронцов, все-таки оказался на Безымянной заимке и сумел повязать «императора» с помощью его же телохранителей. Впрочем, двое из приближенных были уничтожены. Остальных же Баукин заставил покорно сопровождать «императора», может быть, в последний путь.
Мне все это представлялось удивительным в те часы, когда мы ехали по тракту, возвращаясь в Дудари.
А Венька, кажется, ничему не удивлялся. Он теперь говорил только о том, ответит ли, Юля Мальцева на его письмо и что именно ответит.
Он теперь не выглядел таким уверенным, боевитым, неутомимым, каким я видел его в эти дни и сутки перед самой операцией и во время операции, когда он цепко удерживал в своих руках тонкие и трепетные нити этого опасного и неожиданного дела, организованного им.
В эти дни он почти не разговаривал со мной по-приятельски, не советовался и даже что-то, как мне думается, скрывал от меня.
А сейчас он вдруг сник, будто опять заболел, и, похоже, спрашивал моего совета, говоря:
— Просто не знаю, что делать, если она мне не ответит. Это будет уж совсем ерунда. Я ей написал, думал, что она ответит…
И в выражении его глаз было что-то тоскливое. Он как будто разговаривал сам с собой:
— Я чего-то лишнее ей написал. Можно было подумать и написать получше, если бы было время. Но все равно, я считаю, она должна мне ответить. Если она мне ответила, то письмо, наверное, уже пришло. Конечно, пришло…
После этих его слов, произнесенных на редкость растерянным голосом, мне почему-то стало казаться, что письмо это еще не пришло и, может быть, никогда не придет.
Мне стало жалко Веньку. Но я ничего не сказал.
У нас была нормальная мужская дружба, лишенная сентиментальности, излишней откровенности и холуйского лицемерия.
Вероятно, если бы я попал в беду, Венька бы не решился вслух жалеть меня или успокаивать.
У каждого есть свое представление о силе своей. И каждый поднимает столько, сколько может и хочет поднять.
Вмешиваться в сугубо личные дела, уговаривать, предсказывать, жалеть это значит, мне думалось, не уважать товарища, считать его слабее себя.
Поэтому я промолчал.
И момент для разговора был уже неподходящий.
В лесу с двух сторон тракта вдруг одновременно затрещали ветки кустарника, зафыркали лошади и зазвучали голоса.
Воронцов поднял голову, потом приподнялся на локтях.
— Ляг, — сказал ему Лазарь.
Но Воронцов не лег, а присел и улыбнулся.
Лазарь взмахнул над ним плетью.
— Ложись, я тебе говорю!

И мужик, сидевший в передке телеги, опасливо оглянулся на Воронцова. Потом тихонько потянул его за могучие плечи:
— Ложись, Константин Иваныч. А то опять свяжем. Нам недолго. Для чего ты сам себя конфузишь?
Воронцов мельком взглянул на него, будто вспоминая, где он еще раньше видел его. И, должно быть не вспомнив, отвернулся.
Ветки в лесу трещали все сильнее, все ближе к нам.
Венька побледнел. Я видел, как бледность проступила на его коричневом от загара лице, и я, наверно, побледнел тоже.
Мне подумалось, что это бандиты пробираются по лесу на выручку Воронцову. Но из леса на тракт с двух сторон выехали конные милиционеры.
Их было много. Новенькая, недавно выданная форма — синие фуражки с кантами, синие гимнастерки с блестящими пуговицами — красиво и неожиданно выделялась на фоне пыльного тракта и пыльных придорожных кустов.
Воронцов лег. Потом опять сел и засмеялся ненатуральным, болезненным смехом.
— А все-таки, Лазарь, не шибко тебе верят комиссары! Продать меня доверили, а охранять не доверяют. Нет, не доверяют. Милицию вызвали. Боятся: а вдруг ты меня отпустишь? Вдруг я уйду…
На тракт выехал наш начальник. Он уже успел переодеться в Дударях в новую милицейскую форму, сменил коня и, величественно—грозный, неузнаваемый, приближался к нашей группе, похлопывая по взмыленным конским бокам короткими толстыми ногами в стременах.
Венька, конечно, заметил начальника, но сделал вид, что не замечает, и, проехав чуть вперед, заговорил о чем-то с Лазарем, склонившись к его плечу.
Оба они потом посмотрели на начальника и, как мне показалось, презрительно улыбнулись.
Начальник сам подъехал к Веньке и спросил, о чем он разговаривал с Лазарем. Видно, улыбка Веньки не понравилась начальнику.
— Ни о чем я с ним не разговаривал, — ответил Венька. — Просто я извинился перед ним за этот хоровод…
— Какой хоровод? Ты что, милицию считаешь хороводом?
— Я считаю, — твердо, и дерзко, и довольно громко сказал Венька, — что милиции не было, когда брали Воронцова. Люди сами, без нас, это все сделали, вот эти люди. По своему убеждению. И не надо было сейчас им показывать, что мы им не доверяем, когда все дело уже сделано. Можно подумать, что мы какие-то трусы и боимся, что Воронцов убежит. Я бы на вашем месте…
— Вот когда ты будешь на моем месте, тогда и будешь учить, — остроумно перебил его начальник. — А пока я еще, Малышев, числюсь начальником, а ты много на себя берешь. Больше, чем надо, берешь. Не пожалеть бы тебе об этом!..
— Все равно, — упрямо сказал Венька, все больше бледнея от обиды и злости, — все равно я на вашем месте хотя бы извинился. Вот хотя бы перед Баукиным…
— Буду я извиняться перед всякой… перед всякой сволочью! — выкатил нежно—голубые глаза начальник и, тронув Лазаря Баукина за плечо, велел ему проехать вперед. — И вы проезжайте вперед, — приказал он другим всадникам из группы Баукина.
Я увидел, как, проехав вперед, Баукин и его товарищи оказались в окружении конных милиционеров.
У Баукина за спиной все еще висел обрез, в руке была плетка, но он уже выглядел арестованным.
Мое сердце тронула обида, может, самая горькая из всех, какие я испытывал в ту пору. Мне показалось нестерпимо обидным и оскорбительным, что Костя Воронцов, ненавидимый нами, выходит, был прав, когда говорил Лазарю Баукину, что комиссары ему, Баукину, не доверяют, что они его дешево ставят.
Но ведь это неправда. Не один наш начальник представляет Советскую власть, которую Воронцов называл комиссарами.
Однако мы сделать ничего не могли против несправедливости начальника. Он был величествен и непреклонен в этот момент. Он был похож, наверно, на Петра Великого во

время Полтавской битвы. И усики его топорщились. Но ведь битва-то уже кончилась. И не наш начальник ее провел.
Венька же как будто успокоился и спросил начальника:
— Разрешите, я тоже проеду вперед? Я вам сейчас не нужен?
— Не нужен, — сердито сказал начальник.
Я поехал за Венькой. Мы поравнялись с Баукиным и поехали рядом.
Баукин был мрачен и все время молчал. Потом звероватое лицо его вдруг осветилось улыбкой, и он сказал нам:
— Вы, ребята, поехали бы как-нибудь отдельно. А то неловко выходит. Вы не в форме. Могут подумать, что вы, как и мы… одним словом… арестованные…
— Пусть подумают, — засмеялся Венька.
И это он в последний раз засмеялся.

22

В Дударях мы с Венькой проехали прямо в конюшни конного резерва милиции, что стоял тогда на окраине города, в слободке, сдали лошадей и не спеша, отдыхая, прогулочным шагом пошли в наше управление, подле которого уже толпился народ, услышавший о поимке неуловимого Воронцова.
Всем это казалось невероятным. Уж сколько раз даже в губернской газете объявляли, что он пойман, а потом оказывалось, что это только слухи. И вот наконец он в самом деле взят и посажен в каменный сарай во дворе уголовного розыска.
А рядом с сараем, с тыловой его стороны, выходящей в Богоявленский переулок, на деревянном помосте лежат для всеобщего обозрения мертвые соучастники Воронцова — Савелий Боков и Гавриил Кологривов. Вечером их увезут в мертвецкую при больнице, в тот погреб под железной вывеской с твердым знаком: «Для усопшихъ».
Остальные бандиты, взятые вместе с Воронцовым, заключены в обычном арестном помещении при уголовном розыске.
Вечером же их переведут в городской домзак, как теперь называется тюрьма в Дударях.
Все эти сведения мы с Венькой почерпнули из разговоров в толпе, пока пробивались в уголовный розыск.
Пробиться было не так-то легко: народу все прибывало, как воды в половодье.
В дежурке мы увидели Якова Узелкова. Он уже успел поговорить с начальником и теперь хотел, чтобы его допустили взять интервью у Воронцова.
— Начальник мне рекомендовал обратиться к тебе, — остановил он и даже охватил руками Веньку. — Начальник так и сказал: «Обратитесь к моему помощнику Малышеву». Меня больше всего интересует разговор с Воронцовым. Это же необыкновенная сенсация! Говорят, тут какая-то романтическая история. Замешана какая-то Грунька или Кланька. Жаль, что ее не привезли! Словом, как говорили древние, шерше ля фам. Ты должен дать мне разрешение. Я все это опишу…
— Иди ты! — вдруг обозлился Венька и вырвался из рук Узелкова.
— Вениамин! — проникновенно сказал Узелков. — Умоляю тебя, во имя всего святого, разреши мне хотя бы пять минут поговорить с Воронцовым! Я умоляю тебя от имени тысяч читателей! И кроме того, я полагаю, что именно сейчас ты должен быть добрее. Начальник мне, между прочим, сообщил, что он тебя представит к награде…
Венька сузил глаза.
— Возьмите с начальником себе эту награду. Она вам, может, больше пригодится…
И мы зашли в секретно-оперативную часть.
Я сказал Веньке, что так, пожалуй, не надо было бы говорить о начальнике, тем более в присутствии Узелкова. Он ведь сейчас же все передаст.

— А мне все равно, — сказал Венька. — Я все равно больше не буду работать в Дударях. Меня вызывают в губрозыск, вот я и уеду. Раньше не хотел уезжать, а сейчас твердо решил: еду, если такое отношение…
Он вытаскивал из ящиков стола бумаги, быстро прочитывал и откладывал в сторону или сразу разрывал и выбрасывал в корзину, стоявшую под столом. Было похоже, что он в самом деле собирается сейчас же уезжать из Дударей и хочет перед отъездом навести порядок.
В дверь постучали. Вошел Коля Соловьев и тоже сказал, что начальник собирается представить Веньку к награде. И не только Веньку, но всю группу сотрудников, участвовавших в операции.
— В какой операции? — спросил Венька.
— Ну, в этой вот, в какой мы сейчас были, — чуть смутился Коля.
— А где Лазарь Баукин?
— Начальник приказал его временно задержать, для проверки, — сказал Коля. — И этих, которые с ним, тоже. «Потом, говорит, разберемся. Может, удастся их подвести под амнистию…»
— И ты считаешь, это правильно?
— Что правильно?
— Что нас с тобой представить к награде, а Лазаря посадить для проверки. Для какой проверки?
— Но начальник же говорит, что будем потом хлопотать за него и за других, — опять смутился Коля. — Ты же все-таки помощник начальника, ты же лучше меня знаешь, какой должен быть порядок.
— Порядок должен быть такой, чтобы людей уважали, когда они стараются стать людьми, — сказал Венька. — Сначала оскорбить, а потом хлопотать! Кому нужны такие хлопоты!
— Ты погоди, погоди, — взял Веньку за руку Коля Соловьев. — Мы же не имеем права его сейчас отпустить. Он же у нас был под арестом и потом убежал. Это же закон не позволяет…
— Закон не позволяет издеваться! — блеснул глазами Венька. — А Лазарь и не просил его отпускать. Он сам хотел, чтобы все было по закону. «Пусть, говорит, судят меня за то, в чем я был виноват». Но можно же все делать по-человечески! Ведь Воронцова-то не мы взяли, а Баукин. За что же нам награда?
— Это верно, — согласился Коля. — Я тоже так сообразил, что тут какая-то неловкость. Можно даже так подумать, что начальник не в силах забыть, как Баукин еще тогда, зимой, обозвал его боровом…
— Ну и что же? Обозвал и обозвал. А потом сделал дело. Мы бы еще сколько ловили Воронцова! Да и вряд ли бы так просто поймали…
Венька вышел из комнаты секретно-оперативной части и пошел по коридору, будто пол качается под ним. Я подумал, что это от усталости, оттого, что он долго не спал.
В дежурке он спросил, не было ли ему письма.
— Что-то было, — сказал дежурный и посмотрел в толстую книгу. — Нет, заказных не было, — захлопнул он книгу. — Может, простые были. Надо спросить Витю…
У Веньки дрогнули губы. Он хотел что-то сказать и не сказал. Может, он хотел обругать дежурного?
Пришел делопроизводитель Витя, отомкнул ящик своего стола, долго рылся в нем, потом развел руками.
— Ничего нету.
— Может, нам домой письмо прислали, — предположил я. — Могли прислать на домашний адрес…
— Могли, — как эхо, отозвался Венька.
И мы пошли домой, потому что дел на сегодня не было, да и едва ли мы сумели бы сегодня еще работать, голодные и усталые. Начальник тоже уехал домой обедать.
Дома, однако, не было письма. И хозяйки нашей не было. Она уехала по ягоды, как сказала нам соседка. И никакой еды не оставила.
— Пойдем к Долгушину, — позвал я.
— Пойдем, — согласился Венька как-то уныло, безучастно.

— А может, ты сильно устал? Может, ты не хочешь идти?
— Нет, пойдем. Все равно, — сказал он. И опять меня слегка встревожил его унылый вид.
Был уже вечер, когда мы переходили через базар, чтобы коротким путем пройти в городской сад.
На базаре никого не было. Все ларьки и лавки давно закрылись. И только у одного навеса стояли ночной сторож и молодой человек с валенками в руках.
Мы узнали Сашу Егорова, паренька с маслозавода.
— Ты не уехал? — удивился Венька, и лицо его вдруг оживилось: это было заметно и в сумерках.
— Нет, я завтра уезжаю.
— А валенки — это для чего в такую жару?
— Хотел продать. Тут один велел мне к нему зайти. Хотел, словом, у меня их купить…
— У тебя что, на билет не хватает? — спросил Венька.
— Нет, на билет у меня хватает. Я просто так хотел продать валенки. Зачем они мне сейчас? Я лучше племянникам гостинцы куплю.
— Ты погоди, — сказал Венька. — Не уезжай. На днях вместе поедем. И гостинцы купим. Я тоже уезжаю.
Венька теперь словно хвастался тем, что уезжает.
Поговорив недолго с Сашей Егоровым, он будто почерпнул в этом разговоре новую надежду и сказал мне, когда мы пошли дальше:
— А вдруг мне все-таки пришло письмо? Ведь почту и вечером подают. Может, зайдем на минутку в управление?
Нам надо было сделать большой крюк по городу, чтобы зайти сейчас в наше управление. И мы сделали этот крюк, прошли по улице Марата, свернули в Ольшевский переулок и вышли прямо к бывшему махоткинскому магазину, где работала кассиршей Юля Мальцева.
На железных дверях магазина под лампочкой в проволочной сетке висел, как всегда в эту пору, огромный ржавый замок. Юля давно уже ушла домой, на свою Кузнечную улицу.
Проще всего, казалось бы, нам с Венькой вместе пойти к ней домой в этот вечер, если он стеснялся идти один. Но он ждал от нее письма, точно она живет в другом городе. Это письмо ему нужно было сейчас, до крайности.
Он просто не мог жить без этого письма.
В дежурке нас опять встретил Узелков. Опять стал приставать к Веньке с просьбой допустить его к Воронцову. Венька сказал, что Воронцов не игрушка, и принялся перебирать свежую пачку писем, только что доставленных с почты и лежавших на столе дежурного.
— Все-таки, Вениамин, ты извини меня, но ты очень жестокий человек! сказал ему Узелков. — Неужели ты не способен понять, что беседа с Воронцовым мне нужна не для игры, а для работы?
— Ничего я теперь не способен понять, — ответил Венька, так и не найдя письма. — Иди к начальнику. Вы с ним, как я замечаю, дружки и все хорошо понимаете. А я ничего не понимаю.
— Да, теперь я вижу, что ты человек, не обижайся, но я вижу, что ты человек недалекий. — Узелков вынул из портфеля книгу. — Мне сегодня случайно пришлось прочесть вот это твое письмо, и я страшно удивился. Хотя я не охотник читать чужие письма, тем более любовные.
Узелков раскрыл книгу, и из нее выскользнул и полетел на пол конверт с письмом.
Венька быстро наклонился и поднял его.
Я узнал конверт того письма, которое он всю ночь писал перед нашей последней операцией. Как это неприятно, что оно попало в руки Узелкова.
— Ты где его взял? — спросил Венька.
— Не вытаращивай глаза, — насмешливо попросил Узелков. — Я еще не арестованный. И тут нет ничего загадочного. Твое письмо лежало в моей книге «Огонь любви», которую я давал читать Юле Мальцевой. Сегодня она вернула мне мою книгу…
Венька быстро перечитал свое письмо, потом тщательно и спокойно разорвал его и разорванное положил в карман.

В дежурку вошел наш начальник. Он вынул из застекленного ящика, висевшего над головой дежурного, ключ от кабинета и, выходя из дежурки сказал:
— Малышев, зайди ко мне.
Узелков пошел за ними. Но начальник не принял его.
Венька вышел из кабинета минут через пятнадцать вспотевший, взъерошенный и злой.
Я спросил:
— Ну что, не пойдем к Долгушину? Пожалуй, поздно.
— Нет, почему? Пойдем. Куда угодно пойдем, если надо.
По дороге он все время плевался, точно попробовал что-то горькое.
Я ни о чем его не спрашивал.
В окнах здания укома партии и укома комсомола горел свет, когда мы проходили мимо. Даже одно окно на втором этаже было распахнуто. У раскрытого окна сидела завучетом Лида Шушкина и стучала на пишущей машинке, несмотря на поздний час.
Мы остановились под окном. Венька спросил, в укоме ли Зуриков.
— Уехал, — сказала Лида, навалившись грудью на подоконник и высунув стриженную после тифа голову из окна. — Вчера еще уехал насчет двухнедельника по борьбе с самогоноварением. И от вас ведь тоже кто-то поехал…
— А Желобов, не знаешь, сейчас в укоме партии?
— Нет, — замотала головой Лида. — Он тоже уехал. Да вы что хватились-то? — удивилась она. — Все сотрудники ушли уже по домам. Я вот одна сижу. Просто беда, какая запущенность в личных делах!..
Она еще что-то говорила, но ни я, ни Венька не слушали ее. Я смотрел на Веньку. У него было какое-то странное лицо, будто он в самом деле тяжело заболел.
— Ну ладно, — сказал он, словно очнувшись, — пойдем к Долгушину, если ты хочешь… Я не возражаю. Мне все равно.
У Долгушина он слегка успокоился. В передней перед зеркалом аккуратно причесался, подтянул голенища сапог, оправил гимнастерку и вошел в павильон, как всегда входил в общественные места, чуть приподняв голову.
В глубине павильона на деревянном помосте смуглый и длинный, чем-то напоминающий змею молодой человек в черном костюме с белой грудью, размахивая соломенной шляпой-канотье, отбивал чечетку и выкрикивал входившую тогда в моду песенку о цыпленке жареном и цыпленке пареном, который тоже хочет жить. Он трудился добросовестно, этот молодой человек, то подпрыгивая, то приседая и в сидячем положении, на корточках, продолжая отбивать чечетку.
— Умеет, — посмотрел на него Венька, но не улыбнулся.
Долгушин заметил нас, когда мы уже уселись в дальнем углу.
— Ох, какие дорогие гости пожаловали! — подбежал он стариковской рысцой к нашему столику.
— Ужин бы нам, — сказал Венька.
— И пивка позволите?
— И пивка.
Уже накрыв на стол, Долгушин, изогнувшись и заглядывая нам в глаза, спросил:
— Говорят, поймали вы этого самого Воронцова?
— Поймали, — кивнул Венька.
— Говорят, начальник ваш сильно отличился? Говорят, он сам и ловил его и очень отличился? Перестрелка, говорят, была?
— Была, — опять кивнул Венька.
— Вот видите, — округлил глаза Долгушин. — Ну, хорошо. Очень хорошо. И он еще больше изогнулся перед нами: — Интересно, что же вы будете теперь делать с ним? Застрелите, наверно…
— Застрелим, — механически подтвердил Венька.
— Ну, хорошо, — опять сказал Долгушин. — Очень хорошо. А я думал, вы его еще судить будете.
Венька почти не слушал Долгушина. И поэтому я, чтобы не было неясности, кратко объяснил, что мы никого не судим, мы только ловим, а это уж суд решит, что с ним делать, с Воронцовым.

— Суд? — снова округлил глаза Долгушин. — Ну, это хорошо. Очень хорошо.
— Что хорошо? — сердито спросил я.
— Все хорошо, — сказал Долгушин. — Поймали — значит, хорошо. Теперь уже будет полное спокойствие. — И, взмахнув салфеткой позади себя, как лиса хвостом, отошел от стола.
Венька выпил пива сразу два стакана, но котлеты есть не стал, слегка поковырял вилкой и отодвинул тарелку.
Пока я ел, он задумчиво водил ножом по скатерти, вычерчивая незримые фигуры. Потом сжал в кулаке нож, легонько постучал им по столу и сказал:
— А все-таки мне здорово обидно…
— Да уж, Юлька поступила некрасиво, — поддержал я разговор. — Главное, нашла кому показать письмо — Узелкову! Он теперь будет трепаться.
— Ерунда, — сказал Венька и сделал свое обычное отталкивающее движение, будто отметая что-то мелкое, ненужное, наносное. — Не в этом дело. Совсем не в этом. И Юля, я считаю, ни в чем не виновата. Просто мне самому не повезло. Это как моя мама говорила: «Оце тоби, чайка, и плата, що в тебе головка чубата». Я сам, наверно, во всем виноват. Но я по-другому не могу…
— А мать у тебя украинка?
— Украинка.
Голос у него был очень усталый, как у пьяного, хотя он, конечно, не мог захмелеть от двух стаканов пива. Может, у него опять заболело плечо? Ведь так бывает, что рана затянулась, зажила, а внутри еще что-то болит, ноет, и даже в голове мутит. У меня у самого так было после ранения. Я внимательно посмотрел на него и спросил:
— Тебе, Венька, что, нехорошо?
— Конечно, нехорошо, — ответил он и стал наливать пиво в граненые стаканы сначала мне, потом себе. — И для чего я это письмо дурацкое написал? Хотя что ж, хотел написать и написал. Не жалею…
— Можно, — сказал я, отхлебнув пива, — можно как-нибудь сделать, чтобы Узелков не трепался насчет письма. Можно его как-нибудь предупредить…
— Да что мне Узелков! — брезгливо поморщился Венька. — Я сам еще больше его натрепался. Мне теперь так противно все это дело с Воронцовым, будто я сволочь какая-то, самая последняя сволочь и трепач!
— Но все-таки ты сделал большое дело, Венька. Я считаю, что это ты один все сделал. То есть ты главный закоперщик. И даже, смотри, у начальника заговорила совесть, если он хочет представить тебя к награде. Значит, у него заговорила совесть…
У Веньки по лицу прошла как бы тень улыбки.
— Если б у него была совесть, она бы, может, заговорила. Но у него нету никакой совести. Я это сейчас хорошо понял. Ты знаешь, что он хочет? Он хочет, чтобы мы все это дело оформили так, будто это не Лазарь Баукин повязал Воронцова, а мы повязали и Воронцова, и Баукина, и всех остальных. А ты же сам видел, как мы их вязали?
— Конечно. Я даже удивился…
Венька отпил пива и зажмурился.
— Мне сейчас стыдно перед Лазарем так, что у меня прямо уши горят и все внутри переворачивается! — сказал он. — Выходит, что я трепался перед ними, как… как я не знаю кто! Выходит, что я обманул их! Обманул от имени Советской власти! Какими собачьими глазами я буду теперь на них смотреть? А начальник говорит, что этого требует высшая политика…
— Какая политика?
— Вот я тоже сейчас его спросил, какая это политика, и для чего, и кому она нужна, такая политика, если мы боремся, не жалея сил и даже самой жизни, за правду. За одну только правду! А потом позволяем себе вранье и обман. Он говорит: «Я тебя представлю к награде и всех представлю», — а иначе нас, мол, не за что награждать. А я ему говорю: «Нет, вы лучше выдайте мне другие, хотя бы собачьи глаза, чтобы я мог смотреть и на вас и на все и не стыдиться…» После этого он начал меня ругать по-всячески и даже погрозился посадить, Вроде как за соучастие с бандитами. И лучше бы уж он меня посадил, чем так вот

здесь я пиво пью и закусываю. А там, в нашей каталажке, люди, которые мне доверяли и считали, что у меня есть совесть…

Голос у Веньки стал какой-то глухой.

— Ты успокойся, Венька, — попросил я, заметив, что на него поглядывают люди с соседних столиков, — выпей еще пивка. — И я долил ему в стакан и себе долил. — Мы это дело как-нибудь обмозгуем и повернем. Мы все-таки комсомольцы, а не какие-нибудь…

— Вот в этом все дело, что мы не какие-нибудь, — ухватился Венька за мои слова. — А начальник уже всем в городе раззвонил, что мы сделали это дело, что это он сам лично сделал. Он для этого и конную милицию вызывал на тракт. И Узелкову все рассказал в своих красках. Узелков все это опишет на всю губернию. Нам дадут награды, а Лазаря и других выведут в расход. Пусть Лазарь был бандит, но ведь он же тогда еще не понимал, какая может быть жизнь. Он был еще сырой. А потом он мне лечил плечо брусничным листом, спал со мной под одним тулупом, укрывал меня от холода и от всего и говорил, что я первый настоящий коммунист, которого он встретил в своей жизни. Хотя я еще и не состою в партии…

У Веньки выступили слезы. Он задрожал всем телом. Я опять сказал:

— Ты успокойся, Венька.

— Нет, я не могу теперь успокоиться! — задрожал он еще сильнее. — Я в холуях сроду не был! И никогда не стану холуем! Никогда!..

Мне было так тяжко смотреть на него. В растерянности я снова отпил пива. Я, кажется, даже не отпил, а только наклонился и прикоснулся губами к полному до краев стакану, боясь расплескать. И вдруг услышал, как кто-то подле меня коротко вскрикнул и захрипел. Я поднял глаза.

У Веньки из виска била толстая струя крови.

Выстрела я не слышал. Я слышал только, как упал на дощатый пол тяжелый пистолет. Венька отклонился в сторону и пополз со стула.

Со мной случилось что-то неладное. Я не бросился к товарищу, а стал торопливо допивать оставшееся в стакане пиво, будто боялся, что кто-то у меня отберет стакан.

Вокруг нас мгновенно собралась плотной стеной толпа. Я вынул из петельки спрятанный сзади под гимнастеркой пистолет и пошел на толпу, расчищая себе путь к телефону.

Я кричал что-то, но крика своего не слышал, как во сне. Зато помню все, что я сказал в трубку. Я сказал:

— Товарищ начальник, ваш помощник по секретно-оперативной части Малышев умер. Сейчас в саду. Я звоню из сада.

Но не помню, что мне ответил начальник, так же как не помню, что я делал, отойдя от телефона.

Я помню только, что начальник, приехав в ресторан, схватил меня за руку, в которой был зажат кольт, вырвал его и сказал почему-то шепотом:

— Нашли, сопляки, место, где стреляться!

И этот шепот дошел до моего сознания. Помню, что первое чувство, очень ясное, испытанное мною в тот момент, было не жалость, не сожаление, а стыд, что все это произошло в таком месте. У Долгушина, которого мы презирали. А мы — комсомольцы!

Затем я удивился, увидев в дверях Венькины ноги в неестественном положении. Обутые в сапоги, они болтались на весу.

И только затем я совершенно ясно понял, что Веньки больше нет.

Начальник посадил меня в свою пролетку. И сидел со мной рядом, говоря:

— Глупость есть самая дорогая вещь на свете. Я, кажется, не раз вам на это указывал…

В полдень я принимал дела покойного старшего помощника начальника по секретно-оперативной части товарища Вениамина Малышева. Венька лежал уже в гробу в клубе. Начальник не разрешил мне идти туда.
Я принимал дела, рылся в чужом столе, читал бумаги. Сознание мое все еще было затуманено, как после болезни.
Первой мне попалась опись вещественных доказательств, в которой было написано:
«1. Сыромятные ремешки—ушивки, имеющие большую прочность и свойство крепости при завязывании узла.
2. Охотничье ружье марки «геха», обладающее свойством поражать большую площадь рассеиванием картечи при выстреле.
3. Американской системы винтовка марки «винчестер», замечательная большой дальнобойностью».
Мне вспомнились минувшая зима, поездка на аэросанях, ночная прогулка на лыжах по Воеводскому углу, мокрая, холодная весна, встретившая нас в Дударях, первые летние пожары в тайге и любовное письмо, которое всю ночь писал Венька.
Все это было совсем недавно. Но мне казалось теперь, что это было очень давно.
Бумаги эти, исписанные моим и Венькиным почерком, начинали как будто желтеть. Я старательно перебирал их, разыскивая что-то самое главное.
В это время в комнату, не постучав, ввалился Васька Царицын. Он не говорил, а кричал:
— Ты знаешь, как это получилось? Оказывается, Венька все-таки был влюблен в нее. А она осрамила его на весь город! А он взял и застрелился. Как идиот…
Я сказал, как мог, спокойно:
— Выйди, Васька, сейчас же из помещения. Или я…
Васька понял меня и ушел сейчас же.
А я вылез из-за стола и отправился в кабинет начальника доложить, что в бумагах покойного ничего существенного не найдено, что могло бы непосредственно указать на причину его смерти.
Я вошел в кабинет без разрешения. Как входил Венька Малышев. Как имеет право входить исполняющий обязанности старшего помощника начальника. Я имел теперь такое право.
Но начальник вскочил из-за стола и закричал:
— Кто позволил входить без стука?
— Простите, — сказал я, обиженный, и повернулся, чтобы уйти.
Однако начальник задержал меня. И тут я увидел, что очки его запотели, бобрик, всегда аккуратно причесанный, будто вымок и растрепался, и лицо, чисто выбритое, гладкое, чуть помялось и покрылось багровыми пятнами.
Я понял, почему он закричал на меня, и опустил глаза, чтобы не смотреть на него.
Но он снова сел за стол, хлопнул ладонью по столу и сказал:
— А?
Я хотел уже приступить к докладу. Но начальник не дал мне открыть рот и, опять хлопнув ладонью по столу, сказал:
— Какого парня потеряли! А? — И взглянул в свою открытую ладонь, как в зеркало. — Какого парня…
Я тихонько вздохнул. И начальник как-то печально крякнул.
— Если бы его можно было оживить! — сказал он тоскливо. И вдруг скулы у него зашевелились, что всегда предвещало грозу. — Я бы дал ему десять суток ареста. Пусть бы он подумал, сукин сын, как жить на свете, как вести дела!.. В публичном месте вдруг позволить себе такое…
Мне хотелось сказать начальнику, что он сам некоторым образом повинен в смерти своего помощника. Может, больше всех повинен. Но я не решился сказать ему это в глаза.
Это сказал Коля Соловьев. Он сказал это при особых обстоятельствах, когда начальник вызвал его, как вызывал по очереди всех сотрудников, чтобы установить причину самоубийства Малышева.
Прежде всего начальник спросил, не знает ли Соловьев девчонку, с которой путался Вениамин Малышев.

— Знаю, — подтвердил Коля. — Но он не путался с ней, а хотел, говорят, нормально жениться…
— А что это за особа?
— Она не особа, — возразил Коля, убежденный, что «особами» называются только классово чуждые элементы, — она комсомолка и работает кассиршей в бывшем махоткинском магазине…
— Так, так, — постучал искалеченными пальцами по столу начальник. Стало быть, ты ничего существенного не знаешь? Ну, иди…
— Существенного ничего не знаю, — сказал Коля». — Но на вас он перед смертью сильно обижался, товарищ начальник.
— Это почему же?
— Он так считал, что вы вроде хотите аферу сделать с этим Лазарем Баукиным…
— Аферу?
— Ну да. Будто вы так хотите объявить, что это мы поймали Воронцова и Баукина…
— А ты как полагаешь, кто их поймал? Сами, что ли, они поймались?
— Я тоже так полагаю, что это может получиться с нашей стороны вроде как афера…
— Стало быть, я, по-твоему, аферист? — грозно взъерошился начальник и пошевелил скулами.
— Не аферист, но…
Начальник не дал Коле договорить. Он приказал ему сейчас же сдать оружие и стукнул уже всей ладонью по столу:
— Положи его вот сюда. И на десять суток я тебя отстраняю от выполнения всяких обязанностей. А потом поглядим…
Весть о таком распоряжении начальника в одну минуту, как говорится, облетела наше учреждение.
У меня в комнате собрались почти все наши комсомольцы, да и было-то их в ту пору в нашем учреждении всего пять человек. После смерти Вениамина Малышева осталось четверо.
Коля Соловьев подробно, во всех деталях, рассказал о своем разговоре с начальником и заявил, что он, Соловьев, это дело так не оставит, что он сегодня же, вот сейчас, пойдет в уком комсомола к Зурикову. И даже, если надо, до укома партии дойдет, до самого Желобова. Пусть начальник не думает, что он тут царь и бог и выше его будто никого на свете нет…
— Глупо, — воззрился в Колю Соловьева черными горячими глазами Иосиф Голубчик. — Если бы я был начальником и ты бы сказал на меня, что я чуть ли не аферист, я бы не только отстранил, я посадил бы тебя как цуцика! Ты если не понимаешь политических вопросов, то лучше спроси…
И Голубчик стал объяснять, почему начальник хочет оформить это дело так, будто не Лазарь Баукин поймал Воронцова, а мы поймали их всех. Начальник заботится сейчас не о том, чтобы самому прославиться. Это было бы мелко и гадко. Он хочет поднять в глазах населения авторитет уголовного розыска. А это уже вопрос политический.
— Ведь вы подумайте, как было, — показал нам Голубчик свои длинные, поросшие черными волосами пальцы и загнул мизинец, — Воронцова мы ловили не один год и не могли поймать. В народе уже стали поговаривать, что мы какие-то дармоеды. А мы ведь не от себя работаем. Если ругают нас, это значит: ругают Советскую власть. На это нам много раз указывал начальник. И вот сейчас он стремится поднять наш авторитет, а это значит, он стремится поднять авторитет Советской власти…
— Это ж ты контрреволюцию говоришь, — вдруг заметил нервный, суетливый Петя Бегунок. — Что она, такая несчастная, что ли, Советская власть, что ее надо сильно подкрашивать и малевать?
Петя Бегунок меня больше всех удивил. Я считал, что он, как и Голубчик, на самом лучшем счету у начальника, что он только и способен повторять его слова и все действия. Он даже стрижется, как шутили у нас, «под начальника», тоже завел себе этакий бобрик — вся голова наголо острижена, а на лбу колючий хохолок. И все-таки у него, оказывается, есть собственное мнение.

— Обман всегда считается обманом! — закричал он. — А Советская власть без обмана проживет. Ей обман не нужен: Это, может, только тебе нужен обман…
— Ты закройся! — презрительно поглядел на него Иосиф Голубчик. — Тебя вызовут тридцать второго. И ты мне контрреволюцию не пришивай. И не бери на испуг. Тот, кто брал меня на испуг, давно на кладбище, а тот, кто собирается, еще не родился.
Иосиф Голубчик говорил как всегда напористо и сердито. Но я заметил, что слова Пети Бегунка все-таки смутили его. Я подумал, что Голубчик, бывший гимназист, у которого родители имели до революции собственную торговлю, оттого и старается показать себя самым идейным, что боится, как бы ему не вспомнили, кто он такой.
Однако я молчал. Я молчал до тех пор, пока Голубчик в запале этого спора не сказал, что Венька Малышев поступил как трус.
Уж тут я воспламенился. Кто-кто, а Венька, я это твердо знаю, никогда не был трусом.
— Ты Веньку лучше не затрагивай, — сказал я Голубчику. — Ты лучше иди обратно доучиваться в свою гимназию или в магазин твоих родителей, а Веньку не затрагивай. Венька всю свою молодую жизнь боролся за правду. Он был против всякого обмана и боролся только за правду…
— Видели мы, до чего он доборолся, — скривил гримасу Голубчик и, заметно смущенный, стал закуривать, не ответив как следует на мои слова.
Я был уверен, что Петя Бегунок и Коля Соловьев сию минуту поддержат меня. Я знал, что они не любят Голубчика, как не любил его и Венька. Но они молчали.
Потом Коля, глядя не на нас, а куда-то в сторону, сказал:
— О Веньке сейчас разговаривать нечего. Я Веньку тоже не оправдываю. И не хочу, не могу оправдывать…
— Но факт остается фактом, что он боролся за правду и против всякого обмана, — опять сказал я.
— Факт остается фактом, — тихо заметил Петя Бегунок, будто не хотел разглашать этого факта, и оглянулся по сторонам. — Мне Малышев давал рекомендацию в комсомол. Я его всегда уважал. Но сейчас даже беспартийные у нас тут говорят, что он нас всех осрамил…
— Это верно, — подтвердил Коля Соловьев. — Уж если бороться за правду, так надо бороться. А то выходит, как это самое… как дезертирство…
Получилось так, что ребята поддержали не меня, а Иосифа Голубчика, которого они действительно не любили.

Истинная причина самоубийства Вениамина Малышева так и осталась неизвестной жителям города. Да я и сам до сих пор не могу ее в точности определить, или, как модно теперь выражаться, — сформулировать. Я думаю только, что тут была не одна причина. А в городе называли одну.
В конце дня, когда я собирался домой, в комнату ко мне зашел наш делопроизводитель Витя и сказал, что в дежурке, меня спрашивает какая-то… какая-то дамочка, ухмыльнулся он.
В дежурке у запыленного окна стояла спиной к дверям Юлия Мальцева. Я не сразу подошел к ней. Я даже не хотел подходить, остановился в дверях. Но она оглянулась под пристальным моим взглядом и бросилась ко мне.
— Что же это? — сказала она. И больше ничего не сказала.
На нас смотрели дежурный и обычные наши посетители: две торговки, задержанные за спекуляцию, инвалид, ограбленный в пьяном виде и еще не протрезвившийся, мальчишка — карманный вор.
На глазах у этих людей мне было неловко разговаривать с Юлей. Я повел ее в коридор.
— Подожди здесь, — сказал я ей довольно строго и пошел в свою комнату прибрать бумаги.
Я укладывал бумаги в шкаф и в стол и все время старался сообразить, как же мне следует вести себя с ней, если я знаю, что она была одной из причин гибели Веньки. Пусть невольно, бессознательно, но она содействовала его гибели. И зачем она пришла сейчас? Как хватило у нее нахальства?
Я надеялся, что она, может быть, уйдет, пока я укладываю бумаги, и мне не придется объясняться с ней. Мне не хотелось объясняться. Мне противно было смотреть на нее.

Лучше бы она пошла к своему Узелкову. Ну ее к дьяволу!.. Еще не хватало мне, чтобы тут начался разговор о каких-то моих шашнях с ней! Пусть она лучше уйдет.
Но она не уходила. Я слышал, как ходит она по каменным плитам коридора недалеко от двери. Вот сейчас выйдет из своего кабинета начальник. Ведь он еще, кажется, не ушел. Я все время ждал, когда он поедет обедать, чтобы и самому уйти вслед за ним. Вот сейчас он выйдет, увидит ее в коридоре и спросит, что это за девушка, зачем она сюда пришла. В самом деле, зачем она пришла? Что ей еще надо?
Уложив бумаги, я постоял у окна, посмотрел на улицу, хмурую в этот предвечерний час. И так, ничего не сообразив, вышел из комнаты и стал запирать дверь. Я только думал о том, что лучше всего именно сейчас увести Юлю отсюда, пока не вышел начальник. Лучше всего поскорее увести ее…
Однако я не успел этого сделать. Начальник вышел из кабинета раньше, чем я запер дверь.
— Ты уходишь? — спросил он.
— Хотел пойти пообедать…
— Пообедай и сейчас же возвращайся. Будешь нужен. Через час.
— Слушаю, — сказал я, ожидая с тревогой, что он спросит о девушке, стоящей в коридоре. И я не знал, как ему ответить, кто эта девушка. Разве можно так прямо ответить, что это та самая девушка, из-за которой…
Но начальник даже не взглянул на Юлю, прошел мимо. А Юля подошла ко мне.
— Извини меня, — сказала она, — но я вижу, что ты…
Я не дал ей договорить.
— Давай выйдем отсюда, — почти подтолкнул я ее, — на улице поговорим.
На улице было ветрено и одиноко. Где-то вдалеке простучали по неровной мостовой колеса пролетки нашего начальника, уехавшего обедать.
— Извини меня, — опять сказала Юля, собиравшаяся, должно быть, еще что-то сказать.
Но я опять перебил ее:
— Поздно теперь извиняться. Поздно и ни к чему. Мне твои извинения не нужны. Мне наплевать на твои извинения. И тебе незачем было приходить ко мне…
— Я хотела только сказать…
— Мне неинтересно, что ты хотела. Я знаю, что ты сделала, когда передала это письмо своему паршивому Узелкову…
— Я не передавала, — взяла меня за руку Юля. — Я клянусь тебе, что не передавала!.. — И заплакала. — Я клянусь! Я проклинаю себя!..
— Ты не плачь. Теперь поздно плакать. Все-таки письмо оказалось в руках Узелкова, и он ударил Веньку этим письмом по самому сердцу…
Юля заплакала сильнее и все крепче стала сдавливать мою руку, как бы требуя, чтобы я замолчал.
Из несвязных ее объяснений, прерываемых плачем, я понял, что письмо попало к Узелкову случайно. Оно лежало в книге «Огонь любви», взятой у Узелкова. Узелков пришел за книгой, когда Юли не было дома, и хозяйка отдала книгу вместе с письмом.
— А я рассердилась на Малышева, — сквозь слезы проговорила Юля. — Я не ожидала, что он напишет мне такое письмо.
— Узелков сделал подлость, а ты рассердилась на Малышева, — сказал я. Как же это понять?
— Я рассердилась на Малышева за то, что… Ну неужели он, такой умный, честный, не мог понять? Ты ведь знаешь, что было написано в его письме…
— Я все знаю. Он откровенно признался тебе…
— А зачем? Зачем надо было признаваться? Неужели он думал, что я какая-то мещанка. Неужели он не понимал? Я хотела встретиться с ним, я ждала…
Мы проходили мимо клуба имени Парижской коммуны, где лежал в гробу Венька Малышев. Я боялся, что Юля, вот такая, заплаканная, захочет сейчас войти в клуб. Но она сама сказала:
— Нет. Я не могу. Я не хочу смотреть на него… мертвого. Я не хочу, чтобы он умирал!..
Мы прошли мимо клуба, свернули в переулок, пересекли площадь и оказались на улице Пламя революции.
Около ворот нашего дома мы остановились.

— Можно, — спросила Юля, — можно я зайду к вам?
Не «к тебе», а именно «к вам» сказала она, будто Венька Малышев все еще жил в этом доме.
Она посидела в нашей комнате минуты две, посмотрела на узенькую Венькину кровать, застланную серым солдатским одеялом, на его деревянный обшарпанный сундучок, видневшийся из-под кровати, потрогала, потом взбила его подушку и ушла, сказав:
— На похороны я не пойду. Я не могу. Я не хочу идти на похороны.

Хоронили Малышева в ненастный день.
Накрапывал нудный предосенний дождь. Но казалось, все население города вышло на самую большую улицу — на проспект Коммунизма.
Всем интересно было поглядеть, как хоронят комсомольца, застрелившегося из-за любви.
Впереди шагал духовой оркестр. За ним шли лучшие лошади из конного резерва милиции, запряженные в беговые дрожки, на которых возвышался гроб.
А за гробом следовало наше строгое учреждение почти в полном составе.
И обыватели, точно артистов, рассматривали нас.
Но мы шли, опустив головы, как и полагается на похоронах.
Рядом со мной шел Васька Царицын. Он смотрел себе под ноги и тихонько вздыхал.
Потрясенному всем происходящим, мне пришла в голову нелепая мысль, будто Васька вздыхает потому, что ему жалко сапог, надетых сегодня в первый раз и уже до колен вымазанных в этой непролазной грязи.
Мне захотелось столкнуть его в грязь, чтобы он вымазал не только сапоги, но и новенький френч, и удивительно красивую высокую фуражку с аккуратными ровными вмятинами над околышем.
Нет, такого дружка, как Венька, мне больше никогда не встретить!
Процессия шла вдоль зеленых решеток городского сада.
В этом саду мы гуляли с Венькой. Здесь он познакомился с Юлей Мальцевой. Здесь он и застрелился.
Я поднял голову и посмотрел на ворота с резными петухами. И вдруг увидел у калитки Долгушина.
В эту минуту Долгушин поразил меня, как удар. Я ведь почти забыл о нем в эти дни. И вот он стоит у калитки сада и смотрит, как мы хороним нашего товарища, застрелившегося, как все думают, из-за любви.
Гимназисты стрелялись, юнкера стрелялись, барышни какие-то травились уксусной эссенцией.
Все это было. Но мы же говорили, что это старый мир, а мы — комсомольцы.
Я оглянулся на Долгушина. Он уже отошел от калитки и направился по тротуару — за нами.
Васька Царицын тихонько потрогал меня за рукав и сказал, кивнув на гроб:
— Уж лучше бы его убили бандиты.
Должно быть, он догадался, о чем я думаю. И это примирило меня с ним.
Дождь прекратился. Показалось солнце. Кладбищенские деревья сбрасывали на нас крупные дождевые капли.
Мы пробивались меж деревьев в центр кладбища, где была вырыта новая могила. И за нами неотступно шли горожане, многие из которых еще недружественно относились к нам под влиянием, как мы считали, враждебной агитации.
Их было больше, чем нас. Значительно больше. И когда мы окружили могилу, они стали за нами плотной стеной. Их томило любопытство. И они нетерпеливо дышали нам в затылки.
Может быть, среди них стоял и Долгушин. Может быть, это он и дышал мне в затылок. Но я не мог оглянуться.
Я вспомнил, как Венька любил говорить, что мы отвечаем за все, что было при нас. Нет, неверно, мы должны отвечать и за то, что будет после нас, если мы хотим быть настоящими коммунистами.
Венька Малышев лежал в гробу, чуть повернув голову, чтобы скрыть то место, в которое вошла пуля. Он лежал, как живой, крепко сжав губы, как делал всегда, обдумывая что-нибудь. В таких случаях, я помню, он закрывал глаза.

И я готов был поверить, что и сейчас он вдруг встанет, сердито посмотрит на всех и скажет, что это все ерунда, что он никогда не умирал и не умрет.
Я готов был поверить в самое невероятное в тот тяжкий час.
Но Венька не встает и не собирается вставать.
Вот уже разбирают доски, на которых держался гроб над могилой.
Я слышу, как стучит земля по крышке гроба.
Я долго иду среди пышных кладбищенских деревьев, среди буйно цветущих на хорошо удобренной земле цветов, среди памятников, старых и новых.
Земля вольготно дышит после дождя. И над землей подымается туман.
Я долго иду в тумане.
Вдруг впереди меня возникает, как видение, форменная фуражка нашего начальника. Она колышется в тумане среди ветвей кладбищенских деревьев, высокая, с острыми краями, еще не обношенная. И тотчас же я слышу слова:
— Вы не совсем правы. Самоубийство при всех обстоятельствах не наш метод и, разумеется, не наш, не советский аргумент.
Но это говорит не начальник, а Узелков. Я сразу узнаю его голос. И вот уже вижу его белую ворсистую кепку, мелькающую в кустах, — много ниже фуражки начальника, потому что и сам Узелков ниже.
— Безответственность — это, учтите, самый серьезный порок, — как бы внушает Узелков начальнику.
А начальник глубокомысленно сопит.
Ему, наверно, искренне жаль Веньку. Но он не в состоянии понять, как это его подчиненный вдруг может в чем-то не согласиться с ним. Есть же твердые, давно определенные правила, по которым положено начальнику приказывать, а подчиненному выполнять приказания. И начальник не может быть не прав, потому что он действует в соответствии с единым планом, в конечной пользе которого никто не станет сомневаться.
— Таким образом, в основе этого печального факта лежит грубая политическая ошибка, я бы даже сказал, политическая бестактность. И это мы не можем простить Малышеву. Мы обязаны смотреть правде в глаза. Вы согласны со мной?
Это спрашивает Узелков начальника.
А начальник что-то такое бурчит, чего я не могу расслышать. Он, должно быть, все еще не пришел в себя, все еще тягчайшее огорчение томит его. Но едва ли он в чем-нибудь возразит Узелкову.
Ведь Узелков говорит правильные слова. И говорит их от имени высшей силы, произнося могучее слово «мы». Он давно уже присвоил себе это право говорить от имени высшей силы. И никто не усомнится в этом его праве, так же как никто не заподозрит его в содействии самоубийству Малышева, потому что ни один прокурор не найдет в его поступке того, что на языке криминалистов называется составом преступления.
Ведь он же ничего явно преступного не совершил. Он только прочитал чужое распечатанное письмо, случайно оказавшееся в его собственной книге. Неужели такой мелочной факт мог привести к столь печальным последствиям? Неужели такого сильного, уверенного в себе человека, как Венька Малышев, мог доконать такой тщедушный деятель, как Узелков?
И вот Узелков идет за пределами кладбища рядом с нашим начальником и, преисполненный чувства собственного достоинства и собственной непогрешимости, произносит торжественные слова о мужестве и правде и советует бесстрашно смотреть правде в глаза.
А по раскисшей земле мягко стелется теплый туман, в котором отчего-то знобит меня, и я все время думаю о Веньке, о том, что, если бы ему привелось сейчас увидеть Узелкова, он, может быть, и сам бы не простил себе этой минутной слабости.
После этого прошло много лет. Я многое забыл из того далекого времени, о котором шла здесь речь.
Я забыл, наверное, даже некоторые важные подробности.
Но запомнилось мне особенно крепко, как на кладбище дышали нам в затылки любопытные горожане, обыватели уездного города, где мы были первыми комсомольцами, и как бодро шел после похорон Узелков.

Каждый раз, вспоминая это, я заново испытываю все ощущения того ненастного, печального дня. И чувство скорби, гнева и сожаления до сих пор не ослабевает во мне.

Переделкино,

октябрь 1956 г.

Испытательный срок

1

Зайцев быстро освоился. Он носил теперь старенькое, узковатое в плечах пальто, не иначе как приподняв воротник. Кепку натягивал до самых бровей, так, что не было видно огненно-рыжих волос. И смотрел на всех, чуть выкатив сердитые серые глаза.

Еще весной на книжном развале он купил замусоленную книжку с описанием японских способов борьбы, собранных, как было указано на обложке, господином Сигимицу, начальником тайной полиций, в помощь сыщикам, морякам и господам офицерам, желающим усовершенствовать свою мускулатуру.

Сделавшись, таким образом, обладателем всех этих хитроумных способов борьбы, Зайцев прямо-таки рвался к деятельности, бурной, рискованной, головокружительной, готовый хоть сейчас поставить на карту всю свою восемнадцатилетнюю жизнь.

А деятельности все еще не было.

Вернее, деятельность-то была: в уголовном розыске почти непрерывно звонил телефон — из районов города и губернии сообщали о происшествиях убийствах, кражах, ограблениях. Но Зайцева пока не допускали к этим делам.

И Егорова не допускали.

Впрочем, Егоров, как видно, и не стремился к опасным приключениям.

Угрюмый, стеснительный, похожий в кургузом черном пиджачке и в вылинявшей форменной фуражке на обносившегося гимназиста, он целый день сидел на широкой скамейке, где обычно ожидают своей очереди потерпевшие или задержанные по подозрению, пока их не опросит дежурный. И его самого было легко принять за потерпевшего.

Дежурный по городу так ему и сказал:

— Ты, брат, тут не сиди. А то ты только путаешь меня...

Егоров пересаживался поближе к столу дежурного. Но и здесь сидеть было уж совсем неудобно. К столу то и дело подводят задержанных или подходят потерпевшие, и надо все время кому-то уступать место.

А Зайцев большую часть дня проводил в разных комнатах — слущал, как ведут допросы, или заглядывал в окошечко арестного помещения, где сидят и шумно переговариваются еще, должно быть, не протрезвившиеся самогонщики.

Да и протрезвиться им мудрено: отобранные у них самогонные аппараты свалены тут же рядом, в кладовой, отчего весь коридор пропах сивухой. Чиркни, кажется, спичкой — и воздух вспыхнет синим спиртовым пламенем.
Встретив в этом длинном полутемном коридоре заблудившуюся торговку, пришедшую заявить о краже со взломом, Зайцев, раньше чем провести ее к дежурному по городу, сам ей тут же учинял допрос. И держал правую руку в кармане, будто у него там пистолет. Но пистолета Зайцеву еще не выдали.
И Егорову не выдали.
И неизвестно, выдадут ли. Неизвестно даже, оставят ли их работать в этом грозном учреждении.
Жур, к которому они прикреплены в качестве стажеров, вот уже который день лежит в больнице. Его подстрелили бандиты на Извозчичьей горе. Говорят, очень сильно попортили ему руку. И еще не известно, вернется ли Жур к исполнению своих обязанностей.
Ничего не известно.
А время идет.
Дежурный по городу, сидя за обшарпанным столом, часто взглядывает на стенные часы и записывает время в толстую тетрадь. Он записывает с точностью до минут, когда было заявлено о происшествии, когда агенты поехали на поимку преступников, когда привели задержанных. Он записывает течение времени. Спокойно записывает, потому что ему некуда спешить. Он уже устроился на работу, и вместе с временем идет ему зарплата.
А Егорову и Зайцеву зарплата не определена.
Все будет зависеть от Жура. И не только от Жура, но и от обстоятельств.
Дело в том, что в губкоме комсомола ошибочно выписали две путевки на одну штатную должность. Значит, кто-то один может остаться на работе — или Егоров, или Зайцев.
— Останется тот, кто покажет себя с лучшей стороны, — сказал Жур в первый же день, как приставили к нему стажеров. — Но вообще-то вы не сильно тревожьтесь, ребята. Штат, конечно, почти весь заполнен. Однако у нас особая работа: все время происходит движение в личном составе. Может, вам внезапно обоим повезет. Вдруг откроется непредвиденный шанс.
— Понятно, — кивнул Зайцев и весело улыбнулся, как Жур.
А Егоров ничего не понял. Не понял, какой может вдруг открыться непредвиденный шанс.
Зайцев объяснил ему это, когда они вышли из комнатки Жура.
— Ну, честное слово, ты как бестолковый, — сказал Зайцев. — Сотрудников же непрерывно убивают. Ты сам видишь, какой повсюду бандитизм. Даже в газетах об этом пишут. Ну и вот, если кого-нибудь при нас убьют, нам освободятся места. Или, — Зайцев опять улыбнулся, — или нас самих тут ухлопают, пока мы еще не в штате...
У Егорова потемнело лицо.
— Боишься? — спросил Зайцев.
— А ты?
— Не очень.
— Ну и я, — сказал Егоров.
И по-другому он не мог сказать. Неужели он признается, что боится! А может, Зайцев нарочно испытывает его?
Зайцеву было бы куда лучше, если б Егоров испугался: пошел бы в губком комсомола и заявил, что тут у вас, мол, вышла ошибка — две путевки на одну должность. Пусть, мол, там в угрозыске остается Зайцев, а я хотел бы пойти на курсы счетоводов, как настаивает моя сестра Катя. Или хорошо бы, если есть свободная путевка, устроиться в Завьяловские механические мастерские — учиться на слесаря-водопроводчика, как советовал покойный отец.
Конечно, Зайцев был бы доволен, если б Егоров именно так поступил. Но Егоров так не поступит. Ни за что не поступит.
Нет, уж он лучше подождет Жура. Подождет сколько надо. Хотя сидеть часами в дежурке и ждать своей участи очень нелегко.
Дежурный по городу, когда подле него нет ни задержанных, ни потерпевших, достает из-под бумаг пачку печенья «Яхта», сердито разрывает обложку и, откусывая сразу от двух печенюшек, пьет чай из крышки от американского термоса.

На Егорова он теперь не обращает никакого внимания, будто это не человек, а неодушевленный предмет, такой же, как высокая китайская ваза, что стоит зачем-то вон там в углу.
Напившись чаю и съев в задумчивости всю пачку печенья, дежурный выплескивает из термосной крышки остатки чая прямо на пол, завинчивает термос и, вытерев губы аккуратно сложенным носовым платком, выдвигает ящик стола.
В ящике он устанавливает небольшое зеркало и, глядя в него, осторожно, как женщина, укладывает пальцами волнистые длинные волосы.
Вдруг на щеке он заметил какой-то непорядок, пятнышко какое-то, обеспокоился, сделал страдальческое лицо и стал натягивать кожу ногтями. Ногти у него давно не обрезались — такая мода. Особенно длинный ноготь на мизинце. Этим ногтем, как шилом, он долго оперирует щеку — счищает пятнышко, и ему, наверно, совсем неинтересно, что о нем думает Егоров.
А Егоров думает о многом.
В Дударях, где он жил недавно, тоже есть уголовный розыск. У Егорова там были знакомые ребята. Он иногда заходил к ним. И вот если сравнить ту дежурку в Дударях с этой, то получится просто позор. — Там, в Дударях, чистота, все стены заново побелены, а тут только слава, что губернский уголовный розыск. Пол затоптан, стены и вся мебель обшарпаны.
И на стенах всюду надписи гвоздем, и карандашом, и еще чем-то. Например: «Усякин, я тебя не боюсь», или: «Иванова Женя пусть помнит...», дальше зачеркнуто карандашом. «Костю Варюхина давно бы надо выгнать отсюдова. Даже фамилия, обратите внимание, Варюхин. Этого терпеть нельзя». И опять: «Усякин, я тебя не боюсь».
Дежурный, должно быть, не видит, не замечает этих надписей.
Выдавив угорь на щеке, он осторожно прижигает ранку пробочкой от пузырька с йодом. Затем выходит из-за стола, и по-петушиному отставив ногу, как артист на сцене, читает стихи, грустно глядя в отпотевшее окно, за которым идет дождь со снегом:
Не жалею, не зову, не плачу,
Все пройдет, как с белых яблонь дым.
Увяданья золотом охваченный,
Я не буду больше молодым.
Ты теперь не так уж будешь биться,
Сердце, тронутое...
— А кто такой Усякин? — вдруг спрашивает Егоров.
Дежурный, вздрогнув и прищурившись, подозрительно смотрит на Егорова.
— А тебе зачем?
— Тут написано, — показывает Егоров.
— Мало ли что тут написано, — строго говорит дежурный. И опять садится за стол, сметая рукой обложку от печенья в специальную корзинку, стоящую подле стола.
Зайцев уже узнал, что этот дежурный по городу готовится в артисты.
«Все куда-нибудь готовятся, — уныло и завистливо думает Егоров. — А я...»
И не может додумать свою мысль до конца. Не успевает. На столе звонит телефон и спутывает мысли Егорова.
— Дежурный по городу Бармашев вас слушает, — говорит в телефонную трубку дежурный. И, как-то по-особенному вывернув ручку, записывает широким пером «рондо» очередное происшествие.
Почерк у дежурного тонкий, паутинный, со многими завитушками. И сколько Егоров ни вытягивает шею, он все равно не может прочитать, что там записывает в толстую тетрадь дежурный.
А Егорову хочется узнать, где что случилось. Каждый звонок волнует его. Но заговаривать с дежурным он больше не решается. Чего доброго, дежурный еще скажет:
— А ну-ка, иди отсюда. Ты мне мешаешь...
Егоров старается сидеть тихо. Вид у него вялый. Глядя со стороны, можно подумать, что он хочет спать. Но он спать совсем не хочет. Внутри у него все кипит и клокочет.
Уж лучше бы ему, чем сидеть вот так без толку, опять пойти по дворам. Если нет постоянной работы, можно наняться к кому-нибудь попилить, поколоть дрова, тем более у

него есть хорошая лучковая пила и колун — еще от покойного отца остались. Все-таки заработок.
А то вечером придешь домой, сестра Катя спросит:
— Ну как, сыщик, кого поймал?
— Никого я не поймал, но поймаю, — скажет Егоров. — Вот посмотришь, поймаю...
— Ну уж ладно, — невесело засмеется Катя. И поставит перед ним чугунок с теплыми картошками в мундирах. — Кушай уж что есть. И получше тебя люди не могут устроиться...
Прямо в горле останавливаются эти картошки. А что делать?
И Катю винить нельзя. Ей трудно, у нее трое ребятишек, без отца. Она целый день и ночь стирает и гладит, стирает и гладит.
А Егоров сидит вот в дежурке. И чего он сидит? На что надеется? Может, ничего из этого сидения и не получится. Даже скорее всего — не получится.
А время идет. И это ведь не просто время идет — это жизнь проходит.
Было Егорову семнадцать лет, зимой будет восемнадцать.
В Дударях он было хорошо устроился — жил у дяди, работал на маслозаводе. И грузчиком работал и помощником аппаратчика. Неплохо работал, присматривался к делу. Но дядя внезапно на старости лет женился во второй раз. Новая жена стала настраивать дядю против племянника. Пришлось уехать обратно к сестре. И не рад теперь Егоров, что уехал из Дударей. Там он все-таки считался штатным работником. А тут он кто?
— Ты гляди, что нам дали, — вдруг появляется в дежурке Зайцев и протягивает Егорову две записки. — Это билеты. Нас приглашают как сотрудников. Будет вечер. В честь Октябрьской революции. И еще полагаются талоны в буфет. Пойдем к Зыбицкому, возьмем талоны... Да ты не рассиживайся, пойдем скорее. Что ты как сонный?..
Зайцев уже знает всех. И хотя на дверях комнаты, где сидит Зыбицкий, приколочена табличка: «Посторонним вход воспрещен»; Зайцев смело открывает эту дверь.
А Егоров остается в коридоре.
— Да иди ты, иди, — тянет его за собой Зайцев. — Тут написано: «посторонним». А мы же с тобой не посторонние, если нас, ты видишь, приглашают...

2

Худенькая, белобрысая, похожая на сердитую девочку, Катя вся вдруг осветилась от счастья, увидев пригласительный билет. Не ее приглашали, а брата, но все равно она была в восторге. Особенно ей понравилось: «Дорогой товарищ Егоров!» («Дорогой товарищ» напечатано на машинке, а «Егоров» приписано от руки.)
Катя несколько раз перечитала билет, словно хотела заучить его наизусть:
«Организационная комиссия по проведению праздника Октябрьской революции приглашает вас на торжественный вечер. Доклад товарища Курычева. Художественная часть. В заключение — товарищеский чай».
— Вот оно как дело-то обернулось, — говорила Катя. — Ну, я очень рада за тебя, Саша. Очень рада. — И она поцеловала брата. — А я ведь, дура, до последнего не верила, что тебя примут.
— Да меня еще не приняли, — покраснел Егоров.
— Теперь уж примут. Обязательно примут, — уверяла Катя. — Теперь уж тебя выгнать не имеют права, если пригласили. И смотри, как пишут: «Дорогой товарищ Егоров». Значит, уважают...
— Да это всем так пишут...
— Нет, это уж ты мне не рассказывай — всем. Всем, да не каждому. Товарищеский чай. Но в чем же, мне интересно, ты пойдешь? Надо бы хоть рубашку тебе купить.

И утром в воскресенье, попросив соседку приглядеть за ребятишками, Катя повела Егорова на Чистяревскую улицу.
Было слякотно, туманно, но все еще не очень холодно. Никогда, говорят, в Сибири не было такой осени — то дождь, то снег, то опять дождь.
Прежде всего они зашли в красивый магазин с громадной вывеской «Петр Штейн и компания. Мануфактура и конфекцион».
Продавец им выбросил на прилавок несколько коробок с сорочками. Но Кате почему-то не понравилась ни одна. Нет, одну она как будто хотела купить. Подошла уже к кассе, стала пересчитывать деньги, завязанные в платке.
Долго пересчитывала. Толстый приказчик в пенсне насмешливо смотрел на ее худенькую фигурку в старомодном плюшевом жакете и на Егорова в смешном, кургузом пиджачке и гимназической фуражке.
Егорову вдруг стало тошно.
— Пойдем, — сказал он сестре. — Не надо мне никаких рубашек. — И пошел из магазина.
— Как же это так не надо? — заморгала белесыми ресницами Катя, но все-таки пошла вслед за ним.
Молча пройдя всю Чистяревскую, тускло поблескивавшую запотевшим стеклом витрин и полированной бронзой, они издали увидели в низине широкую площадь, где качались, как подсолнухи под ветром, шапки, шляпы, фуражки и рокотал многоголосый гул.
Вот уж где можно было купить все, что угодно.
И на столах, и на прилавках, и на ручных тележках, и просто на рогожах на земле разложен разный товар.
Замки и старинные шкатулки, посуда и пряники, ватные пиджаки и балалайки, топоры и валенки, старые генеральские погоны и живые гуси.
И тут же лиса в клетке.
Егоров больше всего заинтересовался лисой, даже спросил, сколько она стоит. Но Катя ухватила его, как маленького, за руку и повлекла в сторону.
Она увидела старуху, распялившую на палке не новую косоворотку. Цена была подходящей. Но Катя порядилась минут пять и заставила Егорова примерить покупку. Не раздеваясь примерить, просто вытянуть руки — не коротки ли рукава. А пока он примерял, стала прицениваться к почти новому цвета морской волны френчу на руках у мальчишки.
Френч этот года два-три назад носил какой-то иностранный офицер—интервент, завезенный к нам из неведомых земель. Офицера, наверно, и убили в этом френче. Но сейчас не хотелось думать об этом, да и некогда было думать.
За френч и косоворотку удалось заплатить ненамного больше, чем за одну сорочку в магазине «Петр Штейн и компания».
Егоров надел френч и даже ростом стал как будто выше. А Катя, безмерно счастливая, оглядывала его со всех сторон и оправляла.
— Вот теперь ты сотрудник. Настоящий сотрудник. Я деньги берегла, хотела ребятишкам валенки на зиму купить, но теперь не жалею. Ребятишкам два шага до школы, им ничего не сделается. А тебе важнее, если тебя приняли на такую работу...
— Да меня еще не приняли, — опять покраснел Егоров.
— Значит, примут, обязательно примут, — успокоила его Катя. — Как же это могут не принять, если мы затратили такие деньги только на одну одежду...
У Егорова защемило сердце. Ведь вот что наделал этот пригласительный билет. Катя, расчувствовавшись, отдала почти все свои сбережения за френч и косоворотку. А вдруг Егорова все-таки не примут? Даже скорее всего не примут.
Егоров предложил тут же сейчас продать его кургузый пиджачок, чтобы выручить хотя бы часть денег. Но Катя сказала, что сперва починит пиджачок, приведет в порядок, а потом будет видно — может, он и сам его еще поносит. Трепать такой красивый френч во всякое время нельзя.
Возвращались они с базара по одной из главных улиц — бывшей Петуховской, теперь Фридриха Энгельса.
Улица уже готовилась к празднику. Над фасадами домов плескались флаги.
На крышу самого высокого дома — почты рабочие поднимали на веревках портрет Карла Маркса.

— Смотри, Катя, как красиво! И тут еще лампочки к вечеру зажгут, показал Егоров на крышу.
— А чего красивого-то? — не обрадовалась Катя. — Буржуи как были, так и остались. Только название переменилось — нэпманы...
— Это временное явление, временные трудности, — тоном докладчика произнес Егоров. И ему самому не понравился этот тон. Не так бы надо разговаривать с родной сестрой. А как? Катя сейчас, вот в эту минуту, беспокоится, конечно, не столько из-за новоявленных буржуев, сколько из-за того, что деньги, сбереженные ребятишкам на валенки, уже истрачены, почти все истрачены. И это понятно Егорову. А что касается буржуев и неустройства жизни, тут не все понятно и ему самому, хотя он комсомолец и должен бы уметь все объяснить. Но он не умеет и чувствует себя растерянным и виноватым перед Катей. Уж лучше бы не покупать эту рубашку и френч. Но что теперь делать? Куплены.
— Хорошо вам, мужикам, — опять говорит Катя. — Беспечные вы. Никакой-то заботушки у вас нет. А женщинам ох как трудно! Особенно с детями...
«И мужчинам трудно», — хотел бы сказать Егоров. Но он молчит. Не словами надо успокаивать Катю, а делом — заработком. А когда он будет, заработок?
В ту же ночь Катя перелицевала воротник на френче, срезала малиновые лычки с серебряными птицами, перешила пуговицы. И когда Егоров снова примерил обнову, оглядев его, сказала:
— А этот офицерик, видать, одного роста с тобой был. Тоже, наверно, молоденький. Дурак, поехал воевать в Россию, даже в самую Сибирь. Вот и довоевался.
— Он же не сам поехал, — сказал Егоров, — его послали.
— Все равно дурак, прости меня, господи, — вздохнула Катя. — Теперь где-нибудь лежит закопанный. А ведь тоже, наверно, была у него мать или еще кто-нибудь. Я и про тебя тоже думаю. Радуемся, что поступаешь на работу, а ведь работа какая опасная...
— Сравнила! — возмутился Егоров. — Он же кто, этот офицер? Интервент. Все равно что бандит. А я...
— Ну ладно, ну ладно, — сказала Катя. — У тебя своя голова на плечах. Сам смотри, как тебе будет лучше. А люди, между прочим, выучиваются на счетоводов. И никого ловить не надо. Сиди в тепле, считай себе на счетах.

3

Вечер устраивали не в том помещении, где находился уголовный розыск, а рядом — где управление губернской милиции. И вход был с другого подъезда.
Окна на втором этаже были ярко освещены, когда Егоров подходил к зданию в восьмом часу вечера. И внутри победно играл духовой оркестр, сотрясая стены.
И может, именно духовой оркестр внушил Егорову внезапную робость. А вдруг его не пустят на вечер? Вдруг скажут, что это была ошибка с приглашением, что стажерам нельзя? А он вон как празднично приоделся, надел френч, начистил башмаки, постригся и причесался. Волосы еще мокрые после причесывания.
Двери были широко распахнуты, и с улицы, даже с той стороны улицы, видно, что каменная лестница тоже ярко освещена и устлана коврами.
На ковре у входа стоял дежурный по городу, старший уполномоченный Бармашев, в синей шерстяной толстовке и в серебряного цвета брюках дудочкой, как было модно в ту пору.
Егоров хотел незаметно пройти мимо него. Даже подождал у дверей в надежде, что Бармашев уйдет: долго и старательно вытирал подошвы. Но Бармашев увидел Егорова, заулыбался и сказал:
— Приветствую. — И протянул ему руку. — Фуражку можешь повесить вон туда, на вешалку. Проходи. Очень приятно.

На втором этаже, в светлом коридоре, прогуливалось уже много приглашенных мужчин и женщин. Пахло духами, пудрой, легким табаком и чем-то неуловимо волнующим, чем пахнут праздники нашего детства, нашей юности.
Егоров поднялся на второй этаж и сразу остановился. Ему показалось, что все теперь смотрят только на него. А этот, мол, еще откуда взялся?
Знакомых не было видно. Да и откуда тут возьмутся знакомые?
Мимо прошел чем-то озабоченный Бармашев. Видимо, и здесь он дежурный по вечеру. Оглянувшись на Егорова, он вдруг потрогал его за плечо. И это легкое прикосновение было необыкновенно приятно Егорову.
Потом всех пригласили в зал, в тот самый зал, где в обычные дни за тесно составленными столами сидят милицейские служащие, стучат машинки, прикладываются печати, толпятся посетители.
Теперь столов тут не было. Были рядами выстроены стулья и сооружен помост с трибуной и единственным длинным столом, застланным красной материей.
Егоров не пробивался в первый ряд, но как-то так случилось, что он оказался в первом ряду и впервые в жизни увидел самого товарища Курычева. Даже рябинки на его лице увидел.
Товарищ Курычев, опираясь на трибуну, делал доклад.
Егоров неотрывно смотрел на Курычева. И ему казалось, что и Курычев смотрит с трибуны только на него.
А может, оно так и было? Докладчики ведь часто почти бессознательно выбирают в зале кого-нибудь одного, на кого бы можно было опереться глазами. Вот Курычев и выбрал Егорова, еще не зная, кто такой Егоров.
А Егоров, разглядывая Курычева, только и думает о том, что перед ним стоит человек, от которого будет зависеть вся его дальнейшая судьба. Примет Курычев Егорова на работу или не примет?
Только о судьбе своей и думает Егоров. Но вот до сознания его долетает фамилия — Боровский. Этого Воровского недавно убили где-то в Лозанне, в отеле «Сесиль». Он был нашим представителем. Его убили враги нашего государства.
Никаких подробностей убийства докладчик не приводит. Он называет дальше новую фамилию — Керзон оф Кедльстон.
Этого Егоров знает. Не лично знает, но слышал.
Еще весной, когда Егоров жил в Дударях, был митинг по поводу этого лорда Керзона. Он предъявил нам ультиматум, грозил войной, если мы чего-то не выполним, а мы этого как раз вовсе не хотим выполнять. И не обязаны, потому что мы против мировой буржуазии. Мы за рабочий класс. За весь рабочий класс, какой есть на всем земном шаре. Поэтому мы сейчас приветствуем рабочих немецкого города Гамбурга, которые вот в эти дни ведут ожесточенные уличные бои с полицией.
— ...Мы посылаем им сейчас отсюда наш пролетарский пламенный привет, говорит товарищ Курычев.
И весь зал аплодирует.
И Егоров аплодирует.
Потом товарищ Курычев объясняет, почему мы еще допускаем буржуазию торговать и даже позволяем частникам открывать заводы. И приводит подлинные слова Владимира Ильича Ленина: «...Мы сейчас отступаем, как бы отступаем назад, но мы это делаем, чтобы сначала отступить, а потом разбежаться и сильнее прыгнуть вперед. Только под одним этим условием мы отступили назад в проведении нашей новой экономической политики. Где и как мы должны теперь перестроиться, приспособиться, переорганизоваться, чтобы после отступления начать упорнейшее наступление вперед, мы еще не знаем. Чтобы провести все эти действия в нормальном порядке, нужно, как говорит пословица, не десять, а сто раз примерить, прежде чем решить».
— Вот это подлинные ленинские слова, — говорит Курычев. — Я надеюсь, вам понятна вся сложность и все неимоверные трудности, в которых мы живем. — И опять смотрит на Егорова.
И Егоров невольно кивает в подтверждение того, что ему все, решительно все понятно. А чего же тут не понять! Только Катя все обижается, что ей с ребятишками очень трудно. Но ведь всем трудно, всему народу.

Однако есть надежда, что дела исправятся, как дальше доказывает докладчик. И приводит цифры добычи угля в Донбассе.
Докладчик считает уголь на пуды, на тысячи пудов. И так по его словам получается, что угля у нас в будущем году будет больше. Ненамного больше, но все-таки больше. Как-никак уже добыто пятьдесят один миллион пудов. И, значит, мы постепенно ликвидируем послевоенную разруху, откроем новые заводы, сократим безработицу. А кроме того, наше правительство купило недавно в Америке триста тракторов.
— Таким образом, — говорит докладчик, — наша с вами судьба, товарищи, зависит сейчас не только от нас самих, но и от многих мировых факторов.
«Факторы» — это еще непонятно Егорову. Но ему становится вдруг понятным, что и его судьба теперь зависит, пожалуй, не только от товарища Курычева. Она связана, его судьба, и с добычей угля в Донбассе, и с боями в Гамбурге, и еще со многим, что происходит вдалеке от него, но имеет к нему, однако, прямое отношение. Он усваивает это не столько умом, сколько сердцем. И его охватывает необыкновенное, еще до конца не осознанное волнение.
— Теперь возьмем такой факт, — вытирает носовым платком лицо и шею товарищ Курычев. — Генерал Пепеляев, как вы знаете, недавно разбит. Его банды рассеяны, но не ликвидированы полностью. Они еще бродят по тайге, совершают набеги на сельские местности и пользуются поддержкой кулачества. Кое-кому они внушают надежду, что все еще переменится, что еще повторится интервенция. В деревне идет глухая классовая борьба. Она идет и в городе. Нэпманские элементы еще надеются, что им удастся хотя бы тихой сапой одолеть Советскую власть. Они занимаются хищением, применяют обман, и подкуп, и другие подлости. Вы же знаете, что нам пришлось недавно удалить из нашего аппарата несколько старых работников, уличенных во взяточничестве и грязных связях с нэпманскими элементами. Мы сейчас делаем ставку на молодые кадры работников. Мы должны быть уверены в их неподкупности...
Глаза у товарища Курычева вдруг стали колючими. И вот такими глазами он смотрит на Егорова. И хотя Егоров ни в чем не виноват, он ежится под этим взглядом. И в то же время улавливает в голосе докладчика какую-то особенность, которая чуть расхолаживает его, Егорова. Есть в докладчике некоторая простоватость, что ли, не такой уж он, наверно, необыкновенный человек, как показалось Егорову вначале.
— ...Во всяком случае, мы всегда должны быть начеку, — говорит товарищ Курычев. — А у нас еще есть товарищи, которые начинают почему-то думать, что мы уже всего достигли. А нам еще надо перестроить весь мир. Наша жизнь, как указывает товарищ Ленин, по-настоящему не налажена. В нашей жизни еще имеется много мусора, который надо изымать, чтобы можно было быстрее строить новую жизнь. Нам надо всеми силами насаждать революционную законность, беспощадно карать врагов нашего молодого государства, а также приводить в чувство тех, кто озорует, не желая войти в политическое сознание. Да чего далеко ходить! Вчерашний день в ресторане «Калькутта» опять бандиты зарезали пьяного. А он оказался кассиром, который спокойно и бессовестно пропивал государственные деньги! Где же, я спрашиваю, были мы? Где была наша революционная бдительность в обоих случаях, когда, с одной стороны, этот преступный кассир брал из кассы деньги, а с другой стороны, рисковал своей жизнью в ресторане «Калькутта»?..

4

После доклада был перерыв. Многие вышли в коридор поразмяться, покурить.
А Егоров продолжал сидеть в зале, боясь потерять это удобное место. Ведь уже объявили: после перерыва будет художественная часть.
Он сидел, положив локоть на спинку стула, и рассеянно оглядывал зал.

Вдруг ему кто-то замахал рукой от дверей. Кто же это может быть? Ах, да это же Зайцев!.. Егоров не сразу узнал его.
Зайцев подошел к нему. Он был в сером, излишне свободном костюме.
«Наверно, в отцовском», — подумал Егоров.
Рыжие волосы Зайцева, всегда укрытые кепкой, сейчас пылали при ярком электрическом свете. И вздернутый нос, слегка облупленный, сиял, будто чем-то намазанный. А может, и правда намазанный. Егоров, улыбнувшись, подумал, что у Зайцева, наверно, постоянный жар и от этого облупился нос. Больше не от чего — лето давно прошло.
Зайцев хлопнул Егорова по колену и сел рядом.
— Слыхал, что Курычев-то говорит? — весело спросил Зайцев. — Нужны, мол, молодые кадры, насаждать революционную законность. Даже в самом срочном порядке. А Жур, между прочим, все еще лежит в больнице, и мы из-за него должны баклуши бить. Нет, это надо поломать. Надо пойти прямо к самому Курычеву и поставить вопрос вот так: или — или...
Егоров боялся ставить вопрос вот так, как советовал Зайцев. Да и Зайцев, пожалуй, излишне горячился. Ни к кому он скорее всего не пойдет, ничего не скажет. Но Егорову все-таки понравился этот решительный тон, и он сказал:
— Для такой работы, как эта, я считаю, надо иметь особые способности, как вот у тебя. А я еще про себя не знаю...
— Ну что ты! — засмеялся Зайцев. И пожалел Егорова: — И у тебя хорошие способности будут. Если, конечно, приложишь старание... — И, не посчитавшись с тем, что они соперники — ведь все еще не ясно, кто из них остается на работе и кому придется уйти, — вынул из кармана потрепанное произведение господина Сигимицу, с которым он теперь, должно быть, не расставался. — Вот интересная книжонка, смотри. Если хочешь, ознакомься. По—моему, мировая книжонка, хотя автор явно не наш человек...
Егоров раскрыл книжку, прочитал название и сразу углубился в чтение. Но тут началась художественная часть. Зайцев ушел в задние ряды.
На подмостках появился Бармашев. Он весело, с прибаутками, объявлял артистов.
Первыми выступали какие-то молодые парни и девушки, одетые как испанцы, — в черных плащах и в широкополых шляпах. Они лихо плясали, били в бубен и пели частушки про лорда Керзона и про наши самолеты, которые мы выстроим назло всем керзонам.
Егорову это все так понравилось, что он сам стал тихонько притоптывать ногой в такт пению. И случайно прихлопнул носок сапога своего соседа, какого-то важного старичка в милицейской форме, сидевшего рядом с женой.
— Извиняюсь, — сконфузился Егоров.
— Ничего, — сказал сосед. И кивнул на подмостки. — Действительно здорово поют. И все в самую точку. В самую точку. До чего способные и политически подкованные люди...
Машинистка милиции Клеопатра Семенова, как ее объявил Бармашев, спела под аккомпанемент рояля романс «Отцвели уж давно хризантемы в саду». Потом два милиционера в форменных брюках, но без гимнастерок продемонстрировали спортивные упражнения на брусьях, старший делопроизводитель сыграл на гитаре и спел под собственный аккомпанемент «Вот вспыхнуло утро, румянятся воды, над озером быстрая чайка летит...». Уполномоченный угрозыска Воробейчик показал фокусы с картами.
Наибольший успех, однако, имел Бармашев, читавший стихи Сергея Есенина.
И это было особенно приятно Егорову. Он вспомнил, как Бармашев разучивал эти стихи в дежурке в его присутствии.
Егоров больше уже не обижался на него за то, что дежурный по городу относился к нему еще два дня назад как к неодушевленному предмету.
Внизу, в первом этаже, были накрыты столы.
Перед каждым приглашенным поставили стакан с чаем и тарелку с бутербродами, яблоками и конфетами.
Яблоки и конфеты Егоров сразу же спрятал в карман. Потом, подумав, аккуратно завернул в чистый носовой платок бутерброды с сыром и брынзой. Все это он унесет домой, племянникам и Кате.
Только бутерброды с вареньем и омулевой икрой он решил съесть сам, а то, чего доброго, измажешь икрой и вареньем карманы.

Зайцев сидел у другого конца стола и все время наклонялся к какой-то девушке с алой лентой в черных волосах.
«Хорошенькая, — подумал, глядя на нее издали, Егоров. И еще подумал: Как в песне: «Вьется алая лента игриво в волосах твоих черных, как ночь».
Зайцев оставил свою девушку и ушел ненадолго.
Потом он появился с бутылкой пива и закричал через стол, как у себя дома:
— Егоров, иди сюда!
Егоров уже допил чай и подошел.
— Пива хочешь? — спросил Зайцев. И стал наливать в стаканы сначала девушке, потом Егорову пиво. И себе налил. — Давайте чокнемся. Нет, неправильно. Вы сперва познакомьтесь.
Девушка протянула Егорову левую руку — в правой пиво — и сказала:
— Рая.
— Егоров, — сказал Егоров. И покраснел. И от смущения нахмурился. И так, нахмурившись, спросил Зайцева: — А пиво это откуда?
— Тут же еще есть один буфет — за деньги, — кивнул на дверь Зайцев. И засмеялся, облизывая губы. — Ты как будто первый раз сюда пришел.
— А я и правда первый раз, — сознался Егоров. Но если б он даже знал, что здесь продают пиво, он все равно не купил бы. На что он купит?
А Зайцев купил не только бутылку пива, но и две толстые конфеты в красивых бумажках — девушке и Егорову. От конфеты Егоров отказался.
— Это откуда девушка? — негромко поинтересовался он, отозвав Зайцева в сторону. — Тоже здешняя? Сотрудница?
— Нет, зачем! — улыбнулся Зайцев. — Это просто моя девушка. Знакомая.
— А как она сюда попала?
— Обыкновенно. Я ее провел. Взял у Бармашева билет и провел...
Егорову даже стало как-то обидно. Он стеснялся сюда идти, боялся, что его не пустят. А Зайцев не только сам прошел, но и девушку свою провел. Не побоялся.
И еще удивился Егоров, что у Зайцева уже есть своя девушка, хотя Зайцев старше Егорова всего месяца на три.
А у Егорова не было девушки, про которую бы можно было сказать, что он за ней ухаживает. Он, пожалуй бы, даже не решился пойти вот так куда-нибудь на вечер с девушкой. Ему бы совестно было, неловко.
Года два назад, когда еще был жив отец и Егоров учился в школе, ему сильно нравилась одна девочка — Аня Иващенко. Он, наверно; влюбился в нее. Конечно, влюбился. И написал ей стихи.
Он тогда еще писал стихи и мечтал стать поэтом. Но не стал. И теперь уже не станет. Сам знает, что не станет. А тогда писал. Тайно писал. Никому не показывал. Нет, показывал. Но только одному человеку — Ваньке Маничеву. Они сидели за одной партой.
Ванька Маничев был старше его года на два, учился плохо, но считал себя очень умным и говорил:
— Ты, даю тебе слово, Егоров, будешь, как... как, я не знаю кто... как Пушкин. Или в крайнем случае как Лермонтов.
Да, правда, только Маничеву Егоров показывал свои стихи, больше никому. И Ане Иващенко не показывал. Да она и не обращала на него никакого внимания, хотя, наверно, заметно было, что он в нее влюблен.
Он подружился тогда с ее братом, мальчишкой, пронырливым, жадным, выпрашивавшим в школе дополнительные завтраки. Егорову была особенно противна его жадность. Но Егоров все-таки подружился с ним, подарил ему двух лучших голубей. Все для того, чтобы бывать у них в доме и хоть мельком видеть Аню, слышать ее голос.
Егоров даже заикался, когда разговаривал с ней. А она все равно не обращала на него никакого внимания. А почему?
Егоров как бы нечаянно посмотрелся в большое зеркало. И в зеркале увидел не только себя, но и Зайцева и его девушку.
Нельзя, пожалуй, сказать, что Егоров хуже Зайцева на вид. Егоров и ростом выше, и плечистее, и нос у него не облупленный, и темные волосы хорошо причесаны.

«Шатен» называется мужчина, у которого такие волосы. Егоров шатен, а не рыжий, как Зайцев.
Но все-таки Зайцев, а не Егоров пришел сюда с этой хорошенькой девушкой. И легче все в жизни достается Зайцеву.
Наверху, на втором этаже, опять загремел духовой оркестр.
Начались танцы. Все пошли наверх. И Зайцев пошел со своей девушкой. И Егоров.
Весь вечер Зайцев танцевал с кем хотел. И девушка его танцевала то с Зайцевым, то еще с кем-нибудь.
А Егоров хорошо устроился на стуле в коридоре и вчитывался в книжку господина Сигимицу. Любопытная книжка. И хорошо ее тут читать под музыку. И музыку слушаешь и читаешь.
Егоров уже немало книг прочел в своей жизни. Особенно много он читал в Дударях. Делать там нечего было по вечерам. Он брал книги в библиотеке и читал.
Он даже старался прочитать «Капитал» Карла Маркса. Но ничего не понял. И чуть не заболел от досады. Ему было обидно, что все читают и понимают или говорят, что читают и понимают, а он вот один не понимает. Ну никак не понимает! Что он, глупее всех, что ли? Его успокоила одна учительница, сказала, что у него недостаточно образования для такого чтения, и посоветовала читать пока другие книги.
Он прочитал о звездах, о происхождении жизни на Земле, о дальних странах — таких, как Индия. Потом читал романы Гончарова, Диккенса, Тургенева, читал и делал выписки, как его научили.
Из этой книжки господина Сигимицу он тоже сделает выписки. Тем более что это теперь ему надо для работы, если его, конечно, возьмут на работу.
Он спрятал книжку в карман и решил идти домой. Но из зала вышел разгоряченный танцами Зайцев.
— А ты чего не танцуешь? Хочешь, потанцуй с моей девушкой. Запомни: ее зовут Рая.
Егорову отчего-то было неловко сказать, что он не танцует, не умеет. Он сказал:
— Не стоит сейчас. После. Я домой пойду.
— А что ты такой невеселый? Вроде печальный.
— Я думаю, — сказал Егоров.
Зайцев засмеялся.
— Все думают, но у тебя вид какой-то постный. Ты что, все тревожишься, что тебя на работу, думаешь, не возьмут?
— Да это пустяки, — слукавил Егоров. — В крайнем случае я в какое-нибудь другое место устроюсь.
— А я нет, — сделал сердитые глаза Зайцев. — Я все равно тут останусь. Мне просто нравится эта работа. Я хотел или в матросы пойти, или сюда. Мой отец работает в артели «Металлист»...
— Это его костюмчик? — кивнул Егоров.
— Его, — опять засмеялся Зайцев. — Так вот, я говорю, мой отец работает мастером в артели «Металлист». Он все уговаривал меня, чтобы я тоже к ним в артель пошел. А что мне за интерес делать замки!
У Егорова мелькнула мысль: «А что, если через Зайцева устроиться в эту артель? Вот было бы дело! Во-первых, специальность...»
Но Егоров тут же отогнал эту мысль. Из самолюбия отогнал. Если Зайцев считает, что его, Зайцева, обязательно примут на работу в уголовный розыск, почему он, Егоров, должен считать себя хуже Зайцева?
Конечно, Зайцев более шустрый. Шустрых все любят. Однако пока еще ничего не известно.

Вернувшись домой, Егоров всю ночь при керосиновой лампе изучал произведение господина Сигимицу. Вот именно изучал. Читал, и перечитывал, и делал выписки.
И под утро пришел к убеждению, что он, Егоров, способен с помощью этой книги усовершенствовать свою мускулатуру ничуть не хуже любого моряка или офицера. Все дело в упорстве, в систематичности занятий, как уверяет господин Сигимицу. Ну что ж, Егоров проявит упорство. Посмотрим, что из этого получится.
После торжественного вечера в честь Октябрьской революции, после доклада и товарищеского чая, после всей этой веселой, бодрящей душу праздничности он, несмотря на прежние сомнения, был все-таки полон самых, как говорится, радужных надежд.
Однако положение его в дежурке и после праздника ни в чем не изменилось. По-прежнему дни его текли бесплодно.
Бармашев, казавшийся таким любезным на вечере, опять как будто не узнавал Егорова. Опять во время своего дежурства он принимал его за неодушевленный предмет. Опять, не глядя на него, пил из термоса чай с печеньем «Яхта», смотрелся в зеркало и читал стихи, по-петушиному отставив ногу.
Все, словом, было по-прежнему. И по-прежнему Егоров сидел в дежурке в старом черном пиджаке с короткими рукавами. Френч цвета морской волны он решил по совету Кати не носить, пока не определится его судьба.
И пока судьба его не определилась, Егоров не обижался на Бармашева. И на Воробейчика не обижался, когда дежурил Воробейчик. Хотя другого человека нахальнее Воробейчика, наверно, нет на всей земле.
Егоров был занят, если можно так сказать, проверкой учения господина Сигимицу.
В этой великой книге были рекомендованы, между прочим, верные способы укрепления кисти руки.
Для этого надо было постоянно ребром ладони постукивать о какой-нибудь твердый, желательно деревянный, предмет, и ладонь постепенно приобретет прочность камня или железа.
Чтобы не терять даром времени, Егоров, сидя в дежурке, в часы наибольшего шума и суеты добросовестно и терпеливо постукивал о край скамейки ребром ладони то одной, то другой руки, то обеими вместе.
И действительно, вскорости он убедился, что господин Сигимицу, в общем, не врет, ладони в самом деле как будто твердеют.
Егоров продолжал с еще большей энергией стучать о край скамейки.
Делал он это, как ему казалось, незаметно для окружающих. Да и кто будет обращать на него внимание среди множества людей? Но дежурный по городу Воробейчик все-таки заметил его странные движения и однажды спросил:
— Ты чего дергаешься? Ты нервный, что ли?
— Не особенно, — конфузливо сказал Егоров.
Сказать, что он не нервный, как требовалось бы для этого дела, он не решился. Посовестился. Не хотел врать.
Может, он действительно нервный, даже скорее всего нервный.
Весь этот шум в дежурке, все эти разговоры о происшествиях, о разных несчастьях и несчастные люди, которых он видит здесь, угнетают его.
Если б он не посидел несколько дней, как теперь, в дежурке уголовного розыска, он, наверно, никогда бы не узнал, что на свете, вот лишь в одном городе, столько несчастий.
А человек, было написано в одной книге, создан для счастья, как птица для полета. Егорову в свое время так понравились эти слова, что он выписал их в тетрадку.
Но откуда берутся несчастья?
Откуда появляются воры, грабители, убийцы или вот такие женщины, как эта, что стоит сейчас у стола дежурного, в сбитой на затылок шляпке, и рыдает, и сморкается, и опять рыдает?
Волосы у нее распущены. На тонких ногах шелковые, скользкие чулки.
— Да не убивала я его! — кричит и плачет она. — Он был из себя очень полный, представительный, в хороших годах. Он покушал немного портвейну, прилег и помер. А что у него были деньги, я вовсе не знала. Мне, правда, Лидка говорила — вы же знаете

Лидку Комод! — что он будто сам из нэпманов, что у него будто свой магазин на Чистяревской. Но я не знала. Он только обнял меня, вот так, и говорит...
— Ну ладно, прекрати. Ты это расскажешь следователю, — оборвал ее дежурный по городу Воробейчик. И покосился в угол. — Тут дети...
— Да какие это дети! — опять закричала женщина. — Это не дети, а первые бандиты. Они сейчас сумку у меня выхватили в коридоре. Велите им, гражданин начальник, отдать сумку...
— Эй вы, орлы! — повернулся в угол Воробейчик.
Он, видимо, хотел сказать этим беспризорным мальчишкам, стеснившимся в углу, чтобы они отдали сумку. Но на столе зазвонил телефон.
Воробейчик снял трубку. На Бакаревской улице только что ограбили сберегательную кассу.
— Водянков! — закричал Воробейчик. — Давай на Бакаревскую. Возьми с собой Солдатенкова. Дом номер четыре. Сберкасса.
А мальчишки достали откуда-то белую булку, рвут ее грязными руками, едят и хохочут.
И Егорову, когда он смотрит на них, тоже хочется есть. И хочется узнать: откуда взялись эти мальчишки, где их родители, что они такое натворили, за что попали сюда? И еще интересно, правда ли, что эта женщина, переставшая теперь плакать, убила нэпмана?
Все это хорошо бы выяснить Егорову. Но, кроме него, это, должно быть, никому тут не интересно.
Воробейчик говорит милиционеру, кивнув на женщину:
— Эту веди в шестой номер. Я ее записываю за Савельевым. А этих, — он показывает на мальчишек, — пусть заберет Михаил Кузьмич. — И смотрит на потерпевших, сидящих у стены. — Ну, кто тут еще?
Воробейчик, наверно, сейчас же забыл о тех, кого увели. Он опрашивает уже новых людей.
А Егоров все еще думает о той женщине и о мальчишках. И неловко признаться, что его печалит их судьба, словно они ему родные, словно он, Егоров, чего-то недоглядел и вот из-за этого произошло несчастье или еще скоро произойдет.

6

Вечером Зайцев зовет его в «Париж».
— Да ты не стесняйся, — говорит Зайцев. — У меня есть деньги. В крайнем случае ты тоже меня потом пригласишь... Что мы с тобой, в последний раз, что ли, видимся?
А откуда, интересно, у Зайцева деньги?
У Егорова даже двадцати копеек не бывает. Он и на стрижку, как ни стыдно, у сестры берет.
А Зайцев, это заметно, всегда при деньгах. И на вечере тогда он пиво покупал.
Они идут через Сенной базар, мимо широких ворот пожарной команды, мимо сломанного памятника царю Александру Второму, разговаривают обо всем. Но Егоров все думает: «Откуда у Зайцева деньги?» Наконец спрашивает:
— Тебе деньги отец дает?
— Нет, зачем! Я сам зарабатываю...
— А как?
— Очень просто. Я в газете пишу. Если где замечу непорядок, сейчас же подаю в газету заметку. Вот, например, тут в прошлом году прессованное сено сложили, а укрыть не укрыли. Оно сгнило. Я написал, что надо бы дать по рукам...
— А как подписываешься?
— «Глаз».
Это почему-то удивило Егорова.
— Глаз?

— Ну да, Глаз. Мне платят за это, как рабкору. Немного, но все-таки платят. Я могу и больше зарабатывать... Сколько захочу, столько и заработаю. Я могу даже фельетончик написать.
— А почему ты не поступишь на постоянно в редакцию?
— Не хочу.
Этот ответ просто ошеломляет Егорова. Зайцев ведет себя так, будто все в мире зависит только от него, Зайцева. Куда захочет, туда и поступит. И не похоже, что он хвастается. Нет, он, наверно, в самом деле так думает, так уверен, что удастся все, что он захочет.
— Я же тебе говорил, что я люблю эту работу в уголовном розыске, напоминает Зайцев их разговор на вечере.
И это тоже удивительно Егорову. Как это можно любить или не любить работу? Да Егоров стал бы хоть камни на себе перетаскивать, лишь бы платили, лишь бы не сидеть на шее у Кати, не ходить вот так в ресторан на чужой счет.
В «Париже» они сидят за столиком у стены, под пальмой. А над ними висит клетка с канарейками. Играет музыка. И большая белотелая женщина с красиво изогнутыми бровями поет на подмостках, точно желая успокоить Егорова:
Пусть ямщик снова песню затянет,
Ветер будет ему подпевать.
Что прошло, никогда не настанет,
Так зачем же, зачем горевать?..
В жизни Егорова еще ничего не прошло. Или прошло пока что очень мало. Жизнь его, по сути дела, только начинается. Но как-то странно она начинается.
Отец сперва хотел, чтобы сын стал кровельщиком, как он сам, как дедушка. Потом отец переменил свое мнение, стал говорить, что сыну лучше всего после школы выучиться на слесаря-водопроводчика. Но отец умер.
И Егоров так ни на кого и не выучился...
— Ты где на комсомольском учете состоишь? — наливает ему пиво Зайцев.
— Пока нигде, — поднимает стакан Егоров и сдувает пену. — У меня учетная карточка еще в Дударях.
— А членские взносы ты платишь?
— Пока не платил. Не с чего платить. Я же не считаюсь безработным. На бирже труда не состою.
— Ты смотри, как бы тебя не погнали из комсомола. Ты возьмись на учет в управлении милиции.
— Да кто же меня примет?
— Примут. Я уже взялся. Мне вчера дали одно комсомольское поручение. Буду драмкружок организовывать...
Егоров опять удивлен:
— Ей-богу?
— Комсомолец не должен говорить «ей-богу». Пора от этого отвыкать, нравоучительно произносит Зайцев. И прищуривается точно так, как дежурный по городу Бармашев. — Ты что, в бога веришь?
— Не верю, но... — Егоров ставит стакан на стол, — но просто такая привычка. — И вдруг сердится: «Что он меня учит? Подумаешь, какой большевик с подпольным стажем...»
Но Зайцев как будто не замечает, что Егоров сердится. Или в самом деле не замечает.
— Да ты пей пиво, — кивает он на стакан. — Сейчас поедим пельменей, и у меня есть предложение...
Егоров пьет пиво медленно, мелкими глотками. Оно приятно холодит рот, горло. Во рту у него была сегодня весь день неприятная сухость. Уж не простудился ли он?
Не френч бы ему надо было покупать, а башмаки. Они совсем прохудились. Ноги по такой слякоти все время мокрые.
— У меня есть вот какое предложение, — говорит Зайцев Егорову, когда официантка подносит им пельмени. — Вы тарелки-то как держите? — вдруг спрашивает он официантку. — Вы же пальцы туда макаете. А ресторан, между прочим, называется «Париж».
— Да ладно, — машет рукой Егоров.

— Ничего не ладно. В другой раз вызову хозяина, заставлю переменить. Идите, нечего на меня глазеть! На первый раз я это дело прощаю.
— Да не стоит с ними затеваться, — машет рукой уже с ложкой Егоров. Они, эти официантки, тоже, можно сказать, рабочий класс. Работают от хозяина.
— Вот в том-то и дело, я заметил, — не может успокоиться Зайцев, когда сюда зайдет какой-нибудь толстопузый нэпман, так они готовы в три погибели изогнуться. А когда зашли, они видят, простые ребята, значит, можно без подноса... Нет, это дело надо поломать.
Зайцев берет ложку.
— Так вот какое у меня есть предложение, — говорит он, осторожно пробуя горячий бульон. И вдруг кричит: — Перец!
Поперчив пельмени, он с удовольствием их ест, прихлебывая пиво. И уж потом выкладывает свое предложение:
— Надо бы навестить Жура.
Эта мысль, такая простая и ясная, могла бы, кажется, давно прийти и в голову Егорову. Но не приходила. И может быть, не пришла бы. — А Зайцев уже все обдумал.
— Вообще-то, — ковыряет он в зубах спичкой, — я сейчас не держусь за Жура. Я мог бы работать, допустим, с Водянковым. Он даже согласен взять меня к себе. Но ему неудобно перед Журом. Поэтому нам лучше всего завтра пойти в больницу и узнать, какие дела у Жура. Может, он еще год собирается болеть...
И тут, между прочим, выясняется уж совсем удивительная подробность.
Оказывается, пока Егоров все эти дни сидел в дежурке, Зайцев сумел побывать на четырех происшествиях.
Водянков сегодня искал Солдатенкова, чтобы ехать на Бакаревскую, где ограбили сберкассу. Но Солдатенкова вызвали к начальнику. А тут подвернулся Зайцев. И Водянков взял его с собой.
Рассказывая Егорову об этом происшествии, Зайцев свободно пользовался словами из обихода уголовного розыска, как будто он не дни, а годы провел в этом учреждении.
Он восхищался Водянковым, который «сразу наколол наводчика».
— Наводчиком оказался племянник сторожа соседнего со сберкассой дома.
— Рыжий, вроде меня, и наших лет с тобой парнишка, но дурак, — смеялся Зайцев. — Когда Водянков начал допрашивать его дядю, он хотел тут же подорвать когти. Бросился к окошку, но я тут же сшиб его с ног. Знаешь, тем приемом? Вот так... А потом, когда мы его вели, он сразу же раскололся, раскис. Говорит: «Я год был безработным, прямо все продал с себя, поехал к дяде, познакомился тут с одними ребятами...» И плачет...
— А может, он правда был безработным, — предположил Егоров.
Зайцев прищурился.
— Ты что, его жалеешь? Воров жалеешь?
— Не жалею, — смутился Егоров. И опустил глаза в пустую тарелку. — Но все-таки, когда посмотришь на это, как сегодня в дежурке, неприятно...
— Все равно надо кончать эту публику, — решительно заявил Зайцев. И постучал ножом по тарелке, подзывая официантку. — Вечером просто нельзя пройти по саду Розы Люксембург. Вырывают у женщин сумки. Даже у моей девушки — помнишь эту Раю? — чуть не вырвали...
Егоров опять вспомнил женщину, которая будто бы убила нэпмана, и мальчишек, вырвавших у нее сумку.
— А с твоим характером, я тебя предупреждаю, тебе будет худо, — сказал Зайцев. — Характер тебе придется менять.
— Ну да, — согласился Егоров. И в задумчивости стал постукивать ребром ладони о край стола, как рекомендует господин Сигимицу.
Это превращалось в привычку.

7

Утром они решили навестить Жура в больнице. Но когда они явились в уголовный розыск, чтобы спросить разрешение на отлучку и узнать точный адрес, Воробейчик им сказал, что Жур ходит где-то тут. И они сию же минуту увидели Жура.
Высокий, плечистый Жур изрядно похудел, побледнел. Веселые глаза его запали. Но, увидев практикантов, он заулыбался.
— Ну как, ребята, вас еще не подстрелили? А я вот досрочно встал на текущий ремонт. — И он пошевелил правой толстой забинтованной рукой, висевшей на черной повязке. — Такие дела, такая работа...
Он долго перелистывал журнал происшествий. Потом сказал дежурному по городу Воробейчику:
— Ты мне больших дел не давай. Я еще числюсь на больничном листе. У меня рука. Но дай что-нибудь такие не очень хлопотное, чтобы с ребятами съездить. — И кивнул на Егорова и Зайцева. — Огневые, видать, ребята.
Эта случайная и еще на заслуженная похвала не обрадовала, а, пожалуй, встревожила Егорова. «Огневые»! Зайцев — эта правда, огневой. А про себя Егоров не решился бы такое сказать.
И даже чуть струхнул. Вот сейчас начинается самое главное. Они поедут, как говорят тут, на дело, где надо будет действовать в опасных условиях, и сразу обнаружится, что Егоров не годится. «Хотя почему это вдруг? — про себя обиделся Егоров. — Еще ничего не известно. Посмотрим».
— Тут у меня есть одно дело, такое вроде ученическое, — сказал дежурный по городу. — Аптекарь какой-то не то отравился, не то удавился. На Поливановской улице, номер четырнадцать. Против приюта для глухонемых...
— Вот, вот, это подходяще, — почти обрадовался Жур. — Надо только вызвать Каца.
— Кац тут, — сказал дежурный.
И вскоре пришел Кац, худенький старичок с маленьким чемоданчиком.
— А как же с оружием? — спросил Зайцев. — Нам надо бы хоть какие-нибудь пистолеты. Так-то, пожалуй, с голыми руками, будет неудобно...
— Да они сейчас ни к чему, — улыбнулся Жур. — Но если есть нетерпение, можем достать...
Зайцеву он вручил браунинг, а Егорову наган.
Зайцев подошел к окну и стал передергивать затвор.
— Ты погоди, — остановил его Жур. — Как бы ты не ахнул в окно.
— Да нет, я умею, — сказал Зайцев. — Мне уже сегодня Водянков давал точно такой. Это же, кажется, бельгийский, первый номер, если я не ошибаюсь... — И Зайцев сунул пистолет в карман.
А Егоров не решился поступить так же. Он опасливо держал револьвер в руке до тех пор, пока Жур не объяснил ему, как нужно обращаться с таким оружием. Жур посоветовал носить наган под пиджаком на ремне, вот с этой стороны, как у самого Жура.
Егоров легко приспособил наган, положил в кармашек за пазухой, как орехи, десяток патронов и готов был к любым действиям. Но его знобило. И он не мог понять, отчего его знобит. От простуды или от предчувствия опасности? И во рту была нестерпимая сухость. Все время надо было облизывать губы, а они от этого потом потрескаются. Неужели он правда простудился? А вдруг он сляжет как раз в эти дни, когда он еще не служащий и не безработный? Вот будет приятный подарок Кате...
— Ну, пошли, товарищи, — позвал Жур. — Главное в нашем деле — не робеть. В любое время. Мы, как говорится, ребята хваткие. Семеро одного не боимся. И на печке не дрожим.
На улице было по-прежнему слякотно. Хваленая сибирская зима долго не могла установиться в том году. Накрапывал мелкий дождь.
Жур прошел несколько шагов по тротуару. Потом поднял левую руку и подозвал извозчика.

— Познакомьтесь, — сказал он уже в пролетке, когда все уселись. — Это судебный медик Илья Борисович Кац. А это, — показал он на Зайцева и Егорова, — это мы еще поглядим, что из них будет. — И засмеялся.
На Поливановской у дома номер четырнадцать, где внизу аптека, толпились любопытные. Два смельчака даже взобрались на карниз и заглядывали в тусклые, забрызганные дождем окна.
— Ты нас, уважаемый, тут подожди, — приказал Жур лохматому извозчику. И вошел в дом.
На узкой деревянной лестнице было темно. Пахло мышами и лекарствами. Мышами — сильнее.
Жур открыл дверь в коридор, набитый людьми.
— Здравствуйте, — сказал так громко и приветливо, точно здесь собрались исключительно его знакомые. — Что это у вас случилось?
— Да вот, — указала болезненного вида женщина на коричневатую запертую дверь. — Наш сосед, аптекарь Коломеец Яков Вениаминыч, разошелся с Супругой. И, видимо, переживал.
— Короче говоря, скончался, — заключил мужчина в жилетке.
— Ключ? — спросил Жур.
— Да он изнутри замкнутый, — вздохнула женщина, подперев ладонью щеку.
Жур левой рукой вынул из кармана большой складной нож и стал заглядывать в скважину замка. Потом молча протянул нож Зайцеву.
И Зайцев без слов все понял. Быстро раскрыл нож, просунул лезвие в щель двери, поковырял-поковырял, и дверь бесшумно открылась.
Лучше было бы Егорову не приезжать сюда, не сидеть в извозчичьей пролетке, не греть у живота наполняющий сердце гордостью наган.
Как открылась дверь, Егоров сразу обмер.
В спертом воздухе под потолком на шнуре висел человек с обезображенным лицом.
— Ваше слово, Илья Борисыч, — кивнул на покойника Жур и повернулся к дверям: — Граждане, лишних все-таки прошу отойти. А вот вы и вы, — указал он на двух мужчин, — пожалуйста, останьтесь. Нам нужны понятые...
Но разве кто-нибудь сам себя посчитает лишним! Почти все и остались, но в комнату не вошли. Продолжали толпиться у дверей.
Кац потрогал повесившегося за ноги, сморщился, пожевал стариковскими губами.
— Это называется «смерть». Надо его снять.
Зайцев поднял лежавшую тут стремянку, на которую, может быть, в последний раз поднимался аптекарь, мигом установил ее, укрепил на шарнирах и полез по ступенькам с открытым ножом.
— Придерживай его! — крикнул Жур Егорову, когда Зайцев стал перерезать шнур.
Егоров, однако, не понял, кого придерживать, и взялся скрепя сердце за стремянку.
А придерживать надо было аптекаря, чтобы он не рухнул. Но этого уж Егоров, пожалуй, не смог бы. Не смог бы заставить себя.
Аптекаря снял Кац. И Жур помогал ему левой рукой. А Егоров все еще держался за стремянку, хотя Зайцев уже слез.
— Так, — сказал Жур и стал осматривать комнату, подошел к окнам.
Узенькая форточка была плотно притворена, но не защелкнута на крючок. Жур ее толкнул кулаком, отворил. Потом опять прикрыл.
Вышел в коридор, прошелся по нему взад-вперед.
— Ходили к нему его компаньоны — братья Фриневы, Борис и Григорий. Очень жалели его, — рассказывала Журу болезненного вида женщина. — Все сговаривали его прокатиться на извозчике. Для удовольствия. Чтобы, значит, согнать тоску. Даже нанимали извозчика. Но он не схотел, бедняжка...
— Какие братья? — спросил Жур.
— Фриневы. Тоже аптекари, с Белоглазовской.
— Давно они были?
— Да уж давно. Дня, наверно, три назад.
Жур опять вошел в комнату.

Кац рассматривал лицо и шею мертвого аптекаря. Трогал зачем-то его уши.
— Не нравятся мне эти линии, — показал Кац на шею покойника. И опять потрогал его уши.
— Да, не очень хорошо он выглядит, — согласился Жур. (Как будто аптекарь, удавившись, мог выглядеть хорошо!) — Егоров! У тебя как почерк? Разборчивый?
— Ничего, — глухо ответил Егоров.
— Ну, тогда садись пиши. Только старайся, почище пиши, неразборчивей...
Жур подвинул ему стул и положил перед ним стопку бумаги.
Егоров взял перо. Он боялся, что у него будут дрожать руки. Но руки не дрожали.
— Пиши, — повторил Жур. — Сначала заглавие: «Протокол осмотра места происшествия». Написал? Молодец! Теперь год, месяц, число. «Двенадцать часов дня... Я, старший уполномоченный уголовного розыска Жур У.Г., значит, Ульян Григорьевич, — в присутствии судебного медика Каца Ильи Борисовича, практикантов Егорова...» Как тебя зовут?
— Саша.
— Нет, так не пойдет. Надо полностью.
— Александр Андреевич.
— «...Александра Андреевича и Зайцева...» А ты, Зайцев, как называешься?
— Сергей Сергеевич, — поспешно и с достоинством откликнулся Зайцев.
— «...Сергея Сергеевича, а также понятых, — Жур посмотрел удостоверения личности двух мужчин, — Алтухова Дементия Емельяновича и Кукушкина Свирида Дмитриевича, составил настоящий протокол осмотра места происшествия смерти гражданина Коломейца Якова Вениаминовича». Написал? Хорошо пишешь. Дальше. «Осмотром установлено. Двоеточие...»
Егоров старательно, почти без ошибок, записал под диктовку Жура все, что установлено осмотром. И как расположена в общей квартире комната аптекаря, и сколько в ней дверей, и окон, и форточек, и как они закрыты, и куда выходят, и какого размера передняя в квартире. И как была вскрыта комната («путем отжима ригеля») в момент прибытия представителей органов власти на место происшествия.
«Значит, этот язычок у дверного замка называется «ригель». Интересно, подумал Егоров, продолжая писать. — И как ловко Зайцев его отодвинул перочинным ножиком, этот ригель. Молодец Зайцев! А на покойника мне не надо глядеть. Ни в коем случае. Да ну его».
Жур диктовал четко, ясно, выговаривая каждую букву.
И Егоров писал спокойно, радуясь, что рука не дрожит. Значит, всякий человек может заставить себя делать что угодно, если этого требуют обстоятельства.
Он подробно описал под диктовку всю мебель в комнате аптекаря, перечислил склянки с лекарствами на столе, подушки, большие и маленькие, матрац, голубое тканьевое одеяло, которым покрыта постель, брюки, жилет и пиджак аптекаря, сложенные на спинке кожаного кресла.
Затем так же спокойно он описал вделанный в потолок массивный медный крюк для люстры, на котором висел на шнуре, — и толщину и цвет шнура описал, — труп мужчины средних лет, невысокого роста, плотного телосложения, одетый в нательное теплое егерское белье сиреневого цвета.
— Хорошо пишешь, — опять похвалил Жур Егорова. — Но погоди минутку. — И снова стал осматривать труп, расстегивая пуговицы на рубахе. — Пиши дальше. «После освобождения шеи трупа от петли и констатации судебным медиком факта смерти произведен детальный осмотр трупа. Белье на трупе оказалось целое, чистое, без каких—либо пятен. На лице, голове и теле трупа никаких ран, ссадин, царапин и иных повреждений нет. Конечности целы. На шее трупа, однако, имеется неясно выраженная странгуляционная борозда, оставленная шнуром, что указывает на необходимость судебно—медицинской экспертизы. Из ранних трупных явлений налицо сильное окоченение челюстей и конечностей, а также трупные пятна, расположенные на ногах в виде сливающихся овалов размером с куриное яйцо и пятикопеечную монету царской чеканки». По—моему, правильно? — обратился Жур к Кацу.
Кац утвердительно мотнул головой. И Егоров мотнул. Мотнул, как клюнул. И свалился со стула. Обморок.

Ах как растерялся, а затем обозлился Жур! Ведь не будешь объяснять любопытным, все еще заглядывающим в открытую дверь, что это не работник уголовного розыска упал в обморок, а стажер — мальчишка, щенок!
— Нашатырный спирт, — сказал Кац и стал близорукими глазами осматривать склянки на столе аптекаря.
Егорову дали понюхать нашатырного спирта. Он очнулся.
Жур и Кац усадили его на стул. И Жур еще для большей верности с особой энергией потер ему левой рукой виски и уши.
— Зайцев, пиши, — приказал Жур.
Зайцев уселся за стол. Потом вскочил, подошел к трупу, потрогал его ноги и сказал:
— А это вы немножечко ошиблись насчет пятен, товарищ Жур. Куда же с пятикопеечную монету? Это как две копейки царской чеканки...
— Пожалуй, — согласился Жур. — Ну, пиши: с двухкопеечную монету...
Зайцев продолжал писать протокол.
А Егоров, бледный, с красными ушами, сидел в стороне от стола и автоматически, уже совсем бессознательно, постукивал ребром ладоней о край стула, как рекомендует господин Сигимицу для укрепления кистей рук. Но на кой черт нужен теперь господин Сигимицу со всей его наукой и хитроумными способами, если, кажется, все пропало, все?
Когда явились из морга санитары в серых халатах, Зайцев стал суетливо помогать им укладывать на носилки труп аптекаря.
А Егоров даже не приподнялся со стула. Зачем он будет еще поднимать этого мертвяка, если из-за него — вот именно из-за него — рухнула, пожалуй, вся карьера Егорова? И что ему не жилось, аптекарю? Нет, видите, пожелал удавиться...
Внизу, у подъезда дома, все еще ждал лохматый извозчик. И рядом стояли дроги из морга.
Егоров, спустившись вниз по этой узкой деревянной лестнице, хотел сразу же направиться домой. Ведь все ясно: не служить ему больше в уголовном розыске. Пусть ему сделают отметку на комсомольской путевке, что он не справился, и отошлют ее обратно в губком. Не справился и не справился. Что ж теперь делать? Пусть...
Но все-таки, проходя мимо Жура, садившегося в пролетку, Егоров спросил только из вежливости:
— Мне больше не надо приходить?
— Это в честь чего не приходить? — осердился Жур. — Нет, милости просим. Давай садись в пролетку. Поехали...

8

В дежурке в тот же день узнали о происшествии с Егоровым. Ведь о чем-нибудь хорошем чаще всего узнают позднее, а о плохом мгновенно.
Воробейчик хохотал больше всех.
— Значит, могло получиться сразу два мертвяка — аптекарь и стажер. Вот так работнички...
— Почему работнички? — спросил Егоров. — Ведь я один упал. Зайцев не падал.
— Значит, боишься? — допытывался Воробейчик. — Покойников боишься?
— Боюсь, — сознался Егоров.
И то, что он не оправдывался и не обижался, когда смеялись над ним, в какой-то степени выручало его.
Новые факты потом постепенно ослабят, может быть, впечатление от этого, в сущности, исключительного случая. Однако забыть о нем совсем сотрудники, наверно, не смогут. Так всегда и будут вспоминать: «Егоров? Какой это Егоров? Ах, этот, что упал в обморок, когда поднимали мертвого аптекаря! Ну и слюнтяй...»

Больше всего здесь не прощают трусости, душевной слабости, излишней чувствительности. Ты пришел сюда работать — так работай. Ты же знал, что тут не гимназисток воспитывают...
Это знал и Егоров. И все-таки допустил непростительный промах.
Воробейчик не даст теперь ему проходу. Нахальный, надоедливый Воробейчик. Черный, как грач.
Егоров сперва думал, что его тут так прозвали — Воробейчик. За юркость. Он и ходит подпрыгивая. А потом выяснилось, что это его настоящая фамилия — Виктор Антонович Воробейчик...
И как раз сегодня он до самой ночи будет дежурным по городу. Поэтому сидеть в дежурке Егорову уже совсем тяжко, невыносимо тяжко.
Лучше ему побродить по коридору, благо коридоры длинные и полутемные.
Жур, должно быть, забыл о Егорове. Или Журу противно вспоминать про него. Где-то в коридоре слышен голос Жура.
Егоров невольно идет на этот голос.
Узенькая дверь чуть приоткрыта. За дверью разговаривают несколько человек. Пять или шесть, или всего трое.
— Почему вдруг выгнать? — кого-то спрашивает Жур. — А если тебя выгнать или меня?
Егоров догадывается, что это говорят о нем. Кто-то требует, чтобы его выгнали. Ну и пусть. Может, это сам Курычев требует. Ему уж, наверно, доложили. Уже нашлись старательные болтуны и доложили...
Близко подходить к двери Егоров не решается. Но, и совсем отойти не может. И не может расслышать всех голосов. Только голос Жура он слышит довольно ясно:
— Вообще мне противно это слово «выгнать». Это барское, дурацкое слово. А что касается Усякина, то я считаю, что его увольнять пока не надо. Его надо только решительно предупредить. Пусть он знает, что у нас тут не балаган и безобразий мы не потерпим. Пусть Усякин занимается только собаками и никуда не лезет.
Усякин, Усякин. Ах, это тот Усякин, про которого в дежурке написано: «Усякин, я тебя не боюсь». Но Егорову сейчас даже не хочется догадываться, кто такой Усякин.
«Я сам теперь Усякин», — угнетенно думает Егоров и проходит мимо двери.
Но дверь вдруг открывается.
Из комнаты выходят Жур и трое незнакомых. Нет, один знакомый. Ой, да это сам товарищ Курычев, начальник угрозыска!
Егоров хочет с ним поздороваться. Но Курычев, даже не взглянув на него, уходит в глубину коридора — в свой кабинет, где ковры. Интересно, знает он, как оскандалился Егоров, или не знает? Хотя теперь это уже все равно.
— Ну, как ты, Егоров, себя чувствуешь? — кладет Жур левую руку Егорову на плечо.
— Ничего, — говорит Егоров.
— Ты вот что, — задумывается Жур, — пойди в криминалистический кабинет. Ты был у нас в криминалистическом кабинете?
— Нет еще.
— Вот пойди. И Зайцева позови. Пойдите вместе. А потом можете идти домой. Завтра приходи ровно в девять. И в дежурке не сиди. Там тебе нечего делать. Приходи прямо ко мне, вот сюда. Ну, будь здоров. Гляди веселее...
Не очень-то, однако, весело глядеть чувствительному человеку на эту страшную выставку в криминалистическом кабинете. Даже стошнить может с непривычки.
Егоров подумал, как бы ему тут опять не упасть, в этом кабинете. Вот был бы позор. И он все время облизывал губы. И все время ему хотелось сплюнуть куда-нибудь, но сплюнуть, к сожалению, некуда. И неловко.
Все стены увешаны веревками, мешками, колотушками. И указано точно, кого, когда и кто убивал этими предметами.
А в витринах разложены пистолеты, винтовочные обрезы, ножи и кинжалы со следами порыжевшей крови.
И это еще ничего. Но зачем сфотографированы в разных позах убитые, повешенные, утопленные люди? И непонятно, для чего развешаны портреты убийц: старуха какая-то, как баба—яга, убила восемнадцать человек разными способами и в разное время, бородатый

ломовой извозчик, погубивший своих детей, торговка, делавшая пирожки из человечьего мяса... Много их, всяких, тут. В стеклянных банках заспиртованы чьи-то внутренности. Егоров просто не может смотреть на все это. Но Зайцев кричит с другого конца зала:
— Егоров! Иди сюда! Вот смотри-ка, еще что... — И показывает на большую стеклянную банку, в которой мерцает — издали видно — что-то розовое с синим, отвратительное что-то.
— Тут всего за один день не разглядишь, — говорит Зайцев, когда Егоров приближается к нему. — Я во второй раз смотрю и то удивляюсь. Нам надо с тобой сюда еще раза два-три прийти, чтобы все как следует рассмотреть... во всех подробностях...
— Придем, — покорно кивает Егоров. — А сейчас мне некогда. Надо идти.
— Подожди, — удерживает его Зайцев.
Все-таки очень деликатный человек Зайцев. За все время он ни разу даже намеком не напомнил о том, что сегодня случилось с Егоровым на Поливановской, в комнате аптекаря. Разговаривает обо всем, а о том ни слова.
На улице Зайцев вдруг останавливается.
— Погоди. Нам надо зайти в комсомольскую ячейку. Я все-таки хочу, чтобы тебя взяли на учет.
— Не возьмут.
— А я тебе говорю, возьмут. Я уже разговаривал с Шурочкой...
— Кто это Шурочка?
— Там, наверху, в управлении милиции.
И они поднимаются на второй этаж, входят в тот зал, где был торжественный вечер. Никакой торжественности тут теперь, понятно, нет. Опять тесно составлены столы, над столами склонились милицейские служащие.
Зайцев быстро находит коротко остриженную девушку, издали похожую на парня. Ее даже неловко называть Шурочкой — такая она большая, могучая. И голос у нее хриплый. Но Зайцев все-таки называет ее Шурочкой.
— Вот, Шурочка, наш парень из уголовного розыска, Егоров. Я тебе про него говорил...
Дело, томившее Егорова все время, пока он здесь живет, решилось в две минуты. Шурочка сказала, что она сама запросит учетную карточку из Дударей, а пока поставит его на учет условно.
— Спасибо, — сказал Егоров уже на улице. — Большое, я даже не знаю, какое тебе большое спасибо, Зайцев. Я это никогда не забуду. Ты меня, ей-богу, сильно выручил...
— Опять «ей-богу»? — засмеялся Зайцев.
— Ну ладно, я потом отвыкну, — пообещал Егоров.
Они проходили в сумерках мимо красного здания городского театра, где подле освещенного подъезда среди голых, давно уже сбросивших листву деревьев толпилось множество людей.
И над толпой возвышались три конных милиционера.
А на фасаде театра в окружении электрических лампочек висела огромная афиша: «Был ли Христос? В диспуте примут участие нарком просвещения А.В.Луначарский и митрополит Александр Введенский».
Весь город, казалось, рвался в театр. И, конечно, не потому, что всем хотелось немедленно выяснить, был ли на самом деле Иисус Христос.
Всем хотелось посмотреть на знаменитого наркома просвещения, вдруг пожелавшего приехать в этот далекий сибирский город. И на митрополита Введенского — главу так называемой живой церкви — многим тоже хотелось посмотреть.
— Хочешь, зайдем? — показал на театр Зайцев.
— Ну, разве пробьешься? — усомнился Егоров.
— А хочешь?
— Я бы пошел с удовольствием, если б пустили, — сказал Егоров.
— Тогда сразу пойдем, — позвал Зайцев и, наклонив голову, устремился в толпу.
Егоров еле поспевал за ним.
Зайцев расталкивал людей и говорил только одно слово «минутку».
У самых дверей они вынуждены были остановиться.
Их остановили билетеры, стоявшие с двух сторон.

— Ваши билетики?
— Из угро, — как-то глухо и грозно произнес Зайцев. И оглянулся на Егорова. — Этот со мной.
— Пожалуйста, — сказал один билетер и опасливо посторонился.
Все великолепие этого старинного театра с его люстрами, синим бархатом и позолотой в одно мгновение как бы обрушилось на Егорова и придавило его.
Оказывается, он никогда еще не был в театре и не знал, что здесь так красиво.
— Гляди, Луначарский, — показал Зайцев, когда они уселись на бархатный барьер ложи.
— Который?
— Да ты что, Луначарского не видел?
— Где же я его увижу?
— А на портретах?
— Ах, на портретах...
— Вы что тут, долго будете безобразить? Слезайте сейчас же. А то я милицию вызову.
Зайцев посмотрел сверху вниз на чистенького старичка билетера.
— Вызовите. Я как раз хотел вас об этом попросить.
А Егоров спрыгнул с барьера и потянул за собой Зайцева.
— Не валяй дурака, Сережа, а то подумают, мы — хулиганы.
— Не подумают, — скосил глаза на билетера Зайцев, но все-таки тоже спрыгнул.
— Который, ты говоришь, Луначарский? — опять спросил Егоров, жадно вглядываясь в людей, разместившихся за высоким и длинным столом президиума, застланным красным бархатом.
— Вон тот полный, налево смотри, в пенсне, редкие волосы. Причесывается, что ли? Нет, просто ухо потрогал...
— А я на этого подумал, на худощавого...
— Ты что? — удивленно посмотрел Зайцев на Егорова. — Разве плохо видишь?
— Нет, ничего.
— Этот же, худощавый, — поп. Его сразу заметно, что он поп. Это и есть митрополит Введенский.
Однако ошибиться было легко.
Из-за трибуны видно только голову и плечи выступавшего митрополита. Волосы у него не длинные, как бы полагалось духовному лицу. И он в эту минуту перелистывал на трибуне бумаги. Вычитывал цитаты, как всякий докладчик. Только цитаты он приводил из Библии на церковнославянском языке, непонятном многим.
Егорову же был понятен этот язык. Он и грамоте стал учиться сперва по-славянски.
Раньше, чем он пошел в школу, его учил отец по какой-то старинной книге.
Отец Егорова больше всего любил чтение именно старинных, главным образом божественных книг. Верхолаз-кровельщик, он часто чинил купола храмов, разъезжал с этой целью по всей Сибири и считал себя близким к церковным делам. Только, кажется, перед самой смертью, уже на гражданской войне, он разочаровался в религии. А бабушка Егорова постоянно, до сих пор читает Библию. И кажется, еще совсем недавно она возила внука на пароме в Староберезовский монастырь, на поклонение мощам святого Софрония.
Егоров до сих пор помнил все молитвы. Но сейчас весь этот божественный, религиозный мир был от него где-то далеко-далеко, как в тумане. И ему было вовсе не интересно слушать митрополита.
Он рассеянно оглядывался по сторонам, рассматривал расписанный потолок, балконы, галерку.
— Не люблю я их, — негромко и досадливо сказал он, опять покосившись на митрополита Введенского.
— Кого? — удивился Зайцев. — Кого не любишь?
— Ну, одним словом, попов и вот всю религию. У меня из-за них в Дударях чуть большое дело не вышло. Чуть-чуть меня из комсомола из-за них не наладили...
— А что такое? — обеспокоился Зайцев. — Ты в церковь ходил? Молился?
— В том-то и дело, что я уже не молился. И не ходил. А все-таки пришили дело. Меня, одним словом, один парень спас. Вениамин Малышев. Мировой парень! Так я ему до сих пор письмо и не написал. А он меня, можно сказать, спас. А то бы я сейчас скитался.

— Да в чем дело-то было?
— После я тебе расскажу. Но это было большое дело, — вздохнул Егоров.
— После так после, — оборвал его Зайцев. — А сейчас слушай. Говорит Луначарский. Вон он, видишь, встал... — Зайцев схватил Егорова за руку. Теперь внимательно слушай — Луначарский...
Полный, плотный человек с крупной седоватой головой поднялся за столом. Пенсне его заблестело.
— Ну, хорошо, — сказал он, — допустим на минутку, что митрополит Введенский ведет свое происхождение непосредственно от бога Саваофа. Допустим, что он создан по образу и подобию божию. А я и те, кто со мной согласен, происходим, как утверждает наука, от обезьяны. И вот если вспомнить, как выглядит обезьяна, и взглянуть хотя бы на меня, можно сказать, какой прогресс. А теперь вспомните могущественного бога Саваофа, каким его изображают на иконах, и посмотрите на нашего собеседника митрополита. Не правда ли, какой ужасный регресс?!
Многие засмеялись и захлопали.
А когда смех и аплодисменты утихли, Егоров наклонился к уху Зайцева и доверительно прошептал:
— А мы правда все от обезьяны.
Зайцев опять засмеялся.
— Я серьезно говорю, — нахмурился Егоров. — Я это еще в Дударях читал, что мы все от обезьяны...
Тон у Егорова был такой, что мне самому, мол, неприятно это открытие, но не признать его все же нельзя. И Егоров вздохнул.
Домой он пришел очень поздно, но в темном дворе еще визжала пила и ухал топор.
Катя и ее ребятишки азартно работали под окном кухни, в полосе света, падавшей из окна от керосиновой лампы—"молнии». Они пилили и кололи дрова, и укладывали их тут же под низеньким навесом.
Егорову стало стыдно. Ребята и Катя работают, а он где-то там ходит, слушает митрополитов... А все думают, что он задерживается на работе. А на работе он сегодня оскандалился.
Катя, однако, обрадовалась его приходу.
— Вы, ребята, пилите, — оставила она пилу, — а я покормлю дядю.
Раньше она его не так называла.
— Нет, я уже поел, — сказал Егоров.
— Вижу, — вытерла руки фартуком Катя. — Вижу по личику твоему прекрасному, как ты поел. Краше в гроб кладут.
— Нет, я правда не хочу есть. Я буду сейчас пилить с вами.
— Поешь, — повела его в дом Катя. — Я сегодня щи варила. Большой чугунок. Мы уж во второй раз поели. Еще теплые щи.
Она три раза повторила это слово «щи», и Егоров вдруг так захотел есть, что у него засосало внутри.
— Хорошие, очень наваристые. С костями от ветчины варила, — поставила Катя на стол ароматную еду и нарезала толстыми ломтями хлеб.
Пригласительный билет на торжественный вечер в честь Октябрьской революции был, как сказали бы историки, переломным моментом в отношениях брата и сестры. Она теперь, казалось, с особым удовольствием ухаживала за ним, как за важным лицом, оказавшим ей высокую честь состоять в прямом родстве.
Егоров поел, и его быстро сморила дремота, но он ее преодолел и пошел пилить дрова. Племянники оживились. Каждый хотел пилить с ним. Но счастье это выпало только младшему — Коле. Митя и Валентин кололи и укладывали дрова.
А Катя ушла намочить белье к завтрашней стирке.

9

Всю ночь Егоров ворочался, бился. И даже кричал во сне.
Снились ему мертвый аптекарь и какие-то облезлые тигры, которые во что бы то ни стало хотели сожрать Егорова. Он забирался от них на высоченную лиственницу, но они упорно лезли за ним.
И он чувствовал, что хочет спать, что силы иссякают, и боялся, что тигры обязательно растерзают его в таком состоянии. Но поделать ничего не мог.
Тигры, однако, его не растерзали.
Утром он проснулся бодрым, опять поел вчерашних щей и пошел на работу.
Работа оказалась на редкость странной.
Жур посадил его и Зайцева переписывать старые протоколы допросов и осмотра мест происшествий. Они сидели за одним столом.
Зайцев писал и сердился.
— Опять школа первой ступени...
Хотя едва ли ему приходилось в школе переписывать такие документы.
А Егоров молчал.
Школа первой ступени была сладчайшим воспоминанием его жизни.
В школе он встретил Аню Иващенко и влюбился в нее. И еще сейчас это воспоминание слегка туманит его голову. Надо бы хоть разыскать как-нибудь брата Ани. Интересно узнать, где сейчас Аня. Но все это успеется. Все это можно сделать потом.
А сейчас главное — работа. Все равно, какая работа — переписка или что-нибудь другое. Лишь бы пройти испытательный срок, утвердиться на этом месте.
В двенадцатом часу дня пришел Воробейчик и попросил Жура отпустить Зайцева съездить вместе с ним в Замошкину рощу, где минувшей ночью произошло два ограбления.
В третьем часу Зайцев вернулся из Замошкиной рощи, и уже сам Жур послал его привезти в уголовный розыск вдову аптекаря Коломейца, которая по справке адресного стола проживает в Зверином предместье, Вокзальная улица, дом номер двенадцать.
Зайцев во второй раз уехал.
А Егоров все продолжал переписывать старые протоколы.
Нет, он не все время переписывал. В обеденный перерыв, когда на втором этаже — в управлении милиции — затрещал звонок, Егоров вынул из кармана мешочек, в котором были кусок хлеба и две картошки, съел их и запил теплой водой из «титана» с кислой конфеткой «барбарис», выданной ему Катей в знак особого ее уважения к его необыкновенной деятельности.
Деятельность же оказалась не ахти какой необыкновенной.
Егоров понял, что его отстраняют от оперативной работы, но зато собираются, может быть, оставить на канцелярском деле. Вот так, наверно, все и будет. Их зачислят обоих в штат — Зайцева и Егорова. Только поставят на разную работу. Ну что же! Лишь бы оставили. Не все ли равно, что делать, в конце концов. Надо только стараться хорошо работать, а то и с канцелярского дела могут попросить.
И Егоров старался. Он выписывал аккуратно каждую букву и огорчался только, что ручка попалась какая-то расхлябанная, перо в ней все время болтается. Все пальцы испачкал чернилами. И еще, чего доброго, можно испачкать страницу.
Зайцев привез на извозчике вдову аптекаря и, оставив ее в коридоре у дверей, вошел в комнату Жура.
— А я тебя жду, — сказал ему Жур. — Надо бы еще привезти старшего брата Фринева, Бориса. Он живет на Белоглазовской, тринадцать...
Жур мог бы послать Егорова за этим Фриневым Борисом, пока не было Зайцева. Подумаешь, какая сложность! Но Жур все-таки не послал Егорова. Значит, правильно: Егоров, по мнению Жура, не годится даже для самой простой оперативной работы.
«Ну что ж, пусть, — подумал Егоров. — Пусть Зайцев ездит, а я буду переписывать. Все буду делать, что заставят. Я не капризный. Мне так даже лучше. Башмаки у меня худые. А на улице слякоть».

И все-таки где-то в глубине его сознания тлела, как уголек, горчайшая обида.
Не мог Егоров примириться с тем, что Зайцев лучше его, что Зайцеву все доступно, что Зайцева здесь уже считают боевым, а он, Егоров, вдруг бухнулся в обморок, как девчонка, испугался мертвого аптекаря.
Но теперь уж поздно жалеть об этом. Может, потом еще будет время и Егоров тоже покажет себя. А пока: «При осмотре места происшествия обнаружено... двоеточие. Как это может быть обнаружено двоеточие? Чепуха какая! Я ошибся. Я, наверно, устал...»
И он действительно устал.
Был уже шестой час дня. За окнами потемнело. Но Егоров решил исправить ошибку, решил снова переписать протокол осмотра с самого начала.
В это время к нему подошел Жур.
Егоров побоялся, что Жур прочтет последнюю фразу, заметит глупую ошибку и поймет, что стажер не годится и для канцелярской работы.
Егоров закрыл последнюю строку ладонью и размазал чернила. Руки от волнения у него были потные.
Но Жур не обратил никакого внимания на то, что пишет стажер. Жур сел на стул против него и сказал:
— Слушай, Егоров, у меня к тебе есть просьба. (Не задание, заметьте, а просьба.) Я вчера велел, чтобы в мертвецкой заморозили этого аптекаря Коломейца, ну его к черту. За ним тоже вскрываются дела. Но у нас, знаешь, какие там работнички. Может, ты съездишь в Ивановскую больницу, проверишь?
— Ну что же, — опустил глаза Егоров.
— Я знаю, тебе почему-то неприятно смотреть на этого аптекаря. Но такое дело — послать некого. У меня еще два допроса. Съездишь?
— Ну что же.
— «Ну что же» — это не разговор, — вдруг посуровел Жур. — Ты находишься на работе, с тобой говорит уполномоченный, — твой, стало быть, непосредственный начальник. Надо, во-первых, встать...
— Ну что же, — еще раз невольно сказал Егоров. И встал.
— Так, значит, съездишь? Можешь съездить?
— Отчего я не съезжу? Пожалуйста. Сейчас?
— Да, нужно бы сейчас съездить...
Но это только так говорится — съездить. А охать не надо. Можно пешком пройти два квартала Главной улицы, потом свернуть на Бакаревскую и спуститься к набережной.
Тут, на набережной, за понтонным мостом, и находится Ивановская больница.
Егоров пошел пешком. Он шел и все старался подавить в себе гнетущее чувство надвигающейся на него неотвратимой беды. И в то же время он думал: «А что, если б послали в мертвецкую сейчас Воробейчика или даже Зайцева? Они, пожалуй, и не почесались бы. Нет, наверно, и им было бы неприятно. Но они бы все равно пошли. И я иду. В чем дело?»
На набережной было уже совсем темно и холодно.
Великая река, объятая холодным туманом, ревела со стоном и скрежетом. Будто томилась, что до сих пор нет настоящего мороза и она никак не может покрыться льдом.
За мостом стало чуть светлее от ярко освещенных окон больницы.
Она большая, во весь квартал, больница. И вдоль нее тянется чугунный забор на каменных столбах.
Егоров вошел в больничный двор, где было еще светлее.
Из боковой двери две женщины в серых халатах вынесли укрытые простыней носилки.
— Это откуда? — спросил их мимо идущий мужчина с газетным свертком под мышкой. — Из десятой?
— Из десятой.
— Неужели Савельев?
— Он.
— Значит, преставился?
— Значит, так.

— Ну, этак-то ему лучше будет, отмучился, — удовлетворенно вздохнул мужчина, тоже, видно, здешний человек, наверно санитар, и, поправив сверток под мышкой, пошел дальше.
«В баню, — подумал Егоров. И еще подумал, глядя на женщин с носилками: — У людей вот такая работа, может, каждый день, и они ничего. А меня ненадолго сюда послали, и я уже чего-то боюсь. А чего бояться-то?»
Егоров хотел спросить этих женщин, где тут мертвецкая, но понял, что носилки несут именно туда, и побрел за носилками.
— Никодим! Никодим Евграфыч! — закричала одна женщина, державшая носилки. — Открывай, принимай гостя!
— Чего кричишь? Открыто для всех. И для вас лично, — отозвался откуда-то из-под земли старческий голос.
И над дверями подвала вспыхнула лампочка.
Из подвала вылез на свет старик в брезентовой куртке и в брезентовых же штанах, с тонкой, длинной шеей, как у гуся, и с маленькой, детской головкой в теплой шапке.
— К вам тут вчера привезли аптекаря, — сказал ему Егоров. — Приказали заморозить. Аптекаря фамилия, — он посмотрел в бумажку, — Коломеец Яков Вениаминович.
— Ничего не знаю, — снял шапку старик и, отряхнув ее, опять надел. — У меня тут все почти что аптекари. Если велели заморозить, значит, заморожен. Иди гляди...
И повел Егорова по широким каменным ступеням в подвал, куда уже пронесли носилки.
В глубине подвала старик опять зажег лампочку над нишей, откуда пахнуло зябким, мертвенным холодом, и Егоров увидел на помосте восемь в ряд лежащих мертвецов. Три женщины, четыре мужчины и один мальчик, что ли. Не разберешь.
Лампочка светит тускло, она грязная.
— Он вам родной? — спросил старик.
— Это с какой стати? — почти обиделся Егоров. — Я из уголовного розыска.
— А—а, ну, это другое дело.
Егоров думал, что старик, узнав, кто он такой, проникнется к нему особым почтением и станет извиняться, что еще не заморозил аптекаря. Но старик, напротив, утратил к Егорову всякий интерес, выяснив, что он не родственник аптекарю.
— Ищите его, где он тут лежит, — показал старик на весь подвал. И зажег еще одну лампочку. А потом еще одну.
Подвал оказался громадным.
— Где же его тут найдешь? — растерялся Егоров и поежился.
Здесь, казалось, даже холоднее, чем на набережной. И все-таки откуда-то шло, должно быть, тепло. Нет, это просто было душно.
— Они как же у вас тут, по номерам? — спросил Егоров, стараясь не показать растерянности.
— По номерам? — засмеялся с дребезгом старик. — Да разве на них наберешься номеров? Их вон сколько тут напихано, накладено! Видимо-невидимо. Ужас...
Однако ужаса старик, должно быть, не испытывал.
Ужас испытал Егоров. Он почувствовал, что его опять подташнивает, как тогда. И от лампочек-в углах шевелятся тени. Кажется, что здесь не только мертвые, но притаились и живые. И эти живые в сговоре со стариком. В сговоре против Егорова. Вот они сейчас его погубят. Очень хитро и страшно погубят.
Егоров пошел к дверям.
А может, ему в самом деле уйти и сказать, что аптекаря не нашли, не могли найти? Пусть придет сюда Воробейчик, если он так любит над всеми подфигуривать. Или Зайцев. Или кто-нибудь еще, кто хочет. Даже зарплату не платили, а уже посылают куда-то.
— Вы что это, вроде как робеете? — вдруг с ухмылкой посмотрел на Егорова старик.
И весь позор вчерашнего дня снова встал перед Егоровым. И позор этот повторится.
— Отчего это я робею? — не сразу, а переведя дыхание, спросил Егоров. Ты не робеешь, а я робею?
— Мне-то уж чего робеть, — опять ухмыльнулся старик. — Мое дело такое, что мне робеть не полагается. Но многие, я замечаю, робеют. Даже из вашего этого самого... из сыскного, словом.

— Я не из сыскного, — твердо и с вызовом сказал Егоров. — Я из уголовного розыска. Сыскное — это при царе было. Ну-ка, давай показывай, где у тебя самые свежие, кого, допустим, вчера привезли...
— А я их не отбираю. Это не ягода. Вы сами тут разбирайтесь. Мне за отбор денег не платят...
Егоров на мгновение снова растерялся. Как же он тут разберется сам? Ни за что ему не разобраться. Но его внезапно осенила счастливая мысль.
— Тебе ведь, отец, еще вчера приказали заморозить аптекаря. А ты чего делаешь? Чего ты тут выясняешь, кто робеет и кто не робеет? Тебя поставили на дело — делай, а нечего дурочку разыгрывать! Я ж тебе говорю, что я не из шарашкиной конторы, а из уголовного розыска. Показывай мне, где тут аптекарь...
— Пожалуйста, глядите, — вдруг действительно оробел старик. — Давайте вот этого сымем. — И он потянул за ноги мертвеца, лежавшего первым от края. — Женщин тревожить не будем, а мужеский пол оглядим. Не этот? Глядите...
Глядеть на это было самым трудным для Егорова. Но он глядел.
— Нет, не этот.
— Ну, тогда зайдемте с этого краю, — предложил старик, потирая будто озябшие руки.
Егоров не считал мертвецов, но, пожалуй, не менее двадцати перебрал их старик, пока Егоров угадал:
— Вот этот.
Это был действительно аптекарь. И сейчас, как тогда, Егорову, мельком взглянувшему на него, опять стало плохо.
«Только бы снова не сыграть дурака, — быстро подумал он и привалился плечом к каменному столбу. — Не упасть бы тут при старике. А то просто позор будет. Просто позор...»
Но старик уже не глядел на Егорова. Он, как бревешко, поднял аптекаря и понес к той высокой нише, где лед.
Как благодарен был Егоров старику за то, что он не попросил помогать ему!
Однако, дотащив аптекаря до ниши, старик закричал:
— Ваше здоровье, молодой человек! А ну-ка, давайте вдвоем закинем его!
Егоров никогда не смог бы вспомнить, как это произошло. Но он все-таки собрал в себе силы, заставил себя взять аптекаря за каменно—холодные ноги, и, чуть качнув, они уложили его на лед.
— Большое спасибо, — сказал Егоров старику.
Бодро, твердо сказал. И пошел из подвала.
— И вам спасибо, — ответил старик. — Это наше дело — призревать усопших. А как же! Каждого надо устроить куда надлежит...
Егоров вышел из подвала, и силы, казалось, оставили его. Коленки дрожали. Но все-таки он прошел весь двор. И только у забора остановился.
Не мог дальше идти, навалился на забор. Тошнит, и в глазах темно. И отчего-то хочется плакать. И страшно: вдруг кто-нибудь увидит его тут... Что это, молодой человек, покойников, что ли, испугались? А сколько вам лет? Зимой будет восемнадцать. А где вы работаете?
— Ну ладно, — сказал Егоров самому себе, — пойдем потихоньку...
Когда он проходил по набережной, коленки уже не дрожали. Но все еще подташнивало. Он постоял недолго на мосту, облокотившись на перила, будто смотрит в воду. Потом пошел дальше.

На Главной улице уже вовсю горело электричество. И особенно много было света, как всегда, у кинотеатра «Красный Перекоп».
Здесь стояли, освещая рекламу, старинные шестиугольные фонари. Они остались еще от той поры, когда кино называлось иллюзионом и содержал его забредший в Сибирь итальянец.
Шла старая картина «И сердцем, как куклой, играя, он сердце, как куклу, разбил». И готовилась новая, которую будут показывать завтра, — «Солнце любви».
Егоров остановился посмотреть в широком окне фотографии из новой картины. Остановился не потому, что уж так хотелось все это посмотреть, а потому, что ему опять вдруг стало нехорошо. Ах, какой ты нежный, Егоров!
Он сам сердился на себя.
Вдруг его кто-то потрогал за рукав. Оглянулся. Перед ним стоял высокий румяный молодой человек в хорошем драповом пальто, в серой кепке. Узконосые штиблеты, фасон «шимми» или «джимми», ярко начищены, несмотря на слякоть.
— Егоров, ты не узнаешь меня?
— Отчего же не узнаю? Маничев Ваня. Но вид, правда, богатый. Где работаешь?
— У частника. Сейчас только у частника и можно заработать. На консервной фабрике Гусева. А ты, мне сказали, куда-то уехал...
— Я уже приехал. В Дударях работал, на маслобойном заводе...
— А сейчас где?
— А сейчас, — Егоров затруднялся, — сейчас приглядываюсь только...
Сказать, что он работает в уголовном розыске, Егоров не решился. Да он еще и не работает. По-прежнему не известно еще, будет ли работать.
Поговорили они недолго о том о сем — в общем ни о чем, как говорят давно не видевшиеся люди, знавшие друг друга еще школьниками. Но Маничев все время разглядывал Егорова тяжелым взглядом взрослого человека, которому понятно многое. Потом сказал:
— Удивительно... Я помню, ты стихи писал. Ты мне показывал. Наша географичка Нина Степановна говорила, что у тебя... вроде того, что... природные способности. Я думал, ты далеко пойдешь...
— Не пошел, вот видишь, не пошел, — улыбнулся Егоров. Невесело улыбнулся, потому что ведь в самом деле горько, что он не пошел далеко. Некоторые пошли, а он не пошел. Даже на башмаки себе не может заработать. Хлюпает грязь в башмаках.
И все-таки очень приятно, что он встретил Ваньку Маничева.
Конечно, было бы еще приятнее, если бы он встретил его, когда и у самого были бы получше дела. Но все равно радостно вспомнить детство, школу, школьный сад, где они забирались с Ванькой в укромный уголок у, каменной сырой стены соседнего со школой дома и Егоров тайно, таинственным голосом читал свои стихи. Ох как волновался он тогда в предчувствии каких-то необыкновенных перемен в своей жизни, с каким торжеством и трепетом произносил, читая стихи, это красивое слово — «будущее»!
И вот будущее наступило. Он идет еле живой из мертвецкой. И стыдится сказать об этом даже Ваньке Маничеву. Нечем гордиться Егорову. Недалеко он пошел...
— Ты что, — еще измерил его взглядом Маничев, — болеешь или болел?
— Нет, я здоровый.
— Живешь, что ли, худо? Вид плохой у тебя. Ровно после тифа.
— Нет, ничего. Живу неплохо.
— Приходи к нам на фабрику, — пригласил Маничев. — Могу устроить как старого дружка...
— Спасибо, — сказал Егоров и подумал: «Кто знает, может, еще придется прийти». Но не стал спрашивать, куда приходить. Спросил только: — Наших старых ребят не встречаешь?
— Встречаю. Аню Иващенко помнишь?
— Аню Иващенко? — зачем-то переспросил Егоров. И почувствовал, как перехватило горло. — Где она?
— Вон она, — показал Маничев в стеклянные двери кинотеатра.
И Егоров увидел Аню.

Она стояла в светлом вестибюле, в легком жакете, отороченном мерлушкой, и в мерлушковой шапочке — покупала яблоки. Какая-то чужая, не такая, как раньше, но еще более красивая.
Егоров не хотел, чтобы Аня увидела его в таком виде. И в то же время он рад был бы услышать ее голос, потрогать ее руки. Нет, не потрогать, а только посмотреть на них, увидеть, как она улыбается, поднимая изломанные брови, а на щеках возникает нежный-нежный румянец, от которого становится всем светло.
Он мечтал когда-то не о женитьбе, нет, но каком-то удивительном приключении, вдруг сталкивающем его с Аней. И ему нравилась старинная песня:
Обобью свои сани коврами,
В гривы алые ленты вплету.
Прогремлю, прозвеню бубенцами
И тебя подхвачу на лету.
Нет, он только с виду такой тихий, Егоров. А это именно он собирался прогреметь-прозвенеть бубенцами. И именно Аню Иващенко он собирался подхватить на лету.
Вскоре Аня вышла из вестибюля на улицу, поискала глазами Маничева, нашла, улыбнулась и, вынув из кулька, протянула ему большое красное яблоко.
Егорова она не узнала.
— Аня, это Егоров, — сказал Маничев и протянул Егорову яблоко.
— Не хочу, — замотал головой Егоров.
— Все ужасно изменились, — посмотрела на Егорова Аня. — А ты, Егоров, как прежде, дикий. Кушай яблоко. У меня еще есть...
Она не поздоровалась с ним, не удивилась, что встретила его, спросила только:
— Ты тоже на этот сеанс — в семь тридцать?
— Нет, — опять мотнул головой Егоров. — Я просто мимо шел. Просто мимо...
Потом он спросил, где ее брат и что она сама делает. Брат ее вьется вокруг театра. Она так и сказала: «вьется». Не артист, но что-то вроде администратора или помощника. Уехал в Барнаул. А она на курсах иностранных языков. Уже второй год учится.
— Это сейчас мировое дело — иностранные языки, — надкусил яблоко Маничев. — На любую концессию можно устроиться переводчицей. Они платят валютой. Говорят, им уже отдают в концессию даже пароходство. Не справляются с делами большевики...
Маничев точно хлестнул Егорова по лицу этими словами. Но Егоров ничего не ответил. Да, наверно, и не сумел бы ответить.
В вестибюле загремел колокольчик. Это приглашали в кинотеатр тех, кто взял билеты на семь тридцать.
Маничев потрогал Егорова за рукав.
— Ну, будь здоров.
— Буду, — пообещал Егоров. И, кивнув Ане, пошел дальше.
А Аня взяла Маничева под руку и даже не оглянулась на Егорова. Да и почему она должна была оглядываться?
Из всех витрин — из магазинов, аптек и парикмахерских — лился на улицу яркий свет.
И над самой улицей, над серединой ее, качались электрические лампочки. А под лампочками мерцали лужи.
На каждом углу сидели подле маленьких черных ящиков мальчишки чистильщики обуви. Мало кто хотел сейчас чистить обувь, в такую слякоть. Но каждого прохожего пытались остановить своим криком мальчишки: «Почистим, гражданин? Почистим до блеску, до самого треску!»
И только Егоров не интересовал мальчишек. Не такие у него башмаки, чтобы их еще чистить за деньги. Да и денег нет у Егорова. И не скоро будут.
Не скоро он купит себе такие штиблеты с узким носком, фасон «шимми» или «джимми», как у Ваньки Маничева. А может, не купит никогда. И все равно надо было что-то ответить Ваньке Маничеву, когда он сказал о большевиках.
Надо было ответить так, чтобы Аня вдруг покраснела. Не барин, мол, ты, Ванька, а холуй, хотя и корчишь из себя барина. И папа твой, лихач—извозчик, тоже холуй. И вечно вы будете холуями. «Сейчас у частника только и можно заработать». Ну и зарабатывайте! Ну и целуйте частника во все места! А Аня пусть целует этих самых... концессионеров. И Ваньку

Маничева, если ей нравится этот боров. «Не справляются с делами большевики». Еще посмотрим, кто с кем справится! Послать бы тебя, Ванька, сейчас в мертвецкую искать аптекаря, ты бы свободно набрал там полные штаны...
Егоров так взбодрился, что от недавнего его нездоровья не осталось и следа. Лоб вспотел. Клеенчатая подкладка фуражки прилипла ко лбу. Он потрогал козырек, сдвинул старенькую фуражку на затылок, и исхудавшее, бледное лицо его неожиданно приобрело залихватское выражение.
Вот таким он и вошел к Журу.
Жур, однако, не только не похвалил его, но и не взглянул на него, озабоченно роясь в каких-то бумагах на столе.
Весь стол был завален бумагами.
— Ах как жалко! — наконец вздохнул Жур. — Я про Шитикова и забыл. Просто выпал у меня из головы этот Елизар Шитиков.
— Я Елизара Шитикова знаю, — сказал Егоров. — Он у нас во дворе жил. Потом он переехал. Он теперь на Извозчичьей горе живет...
— Нигде он не живет, — опять стал рыться в бумагах Жур. — Его сегодня убили.
— Убили?
— Ну да. Надо было его тоже велеть заморозить. Он нам будет нужен. Это все одно дело. Ну и навязался на нашу голову этот аптекарь Коломеец Яков Вениаминович! Без него мало работы. А теперь бросить нельзя. Надо заморозить Шитикова...
Егоров молчал. А Жур все рылся в своих бумагах. И чего он такое потерял?
— Надо было мне сразу тебя попросить, когда ты пошел, чтобы заморозили и Шитикова, — опять сказал Жур.
Егоров неожиданно для себя предложил:
— Я еще раз могу сходить...
— Сходишь? — как будто обрадовался Жур.
— Схожу.
— Сходи, пожалуйста, Егоров. Не посчитай за труд... А ты обедал?
— Успею...
— А деньги на обед у тебя есть?
— Ну, откуда? — даже удивился Егоров. И успокоил Жура: — Я дома потом пообедаю.
— Дома ты завтра будешь обедать, — посуровел Жур. — Ты сейчас сходи еще раз в больницу насчет Шитикова, а потом пойдешь в «Калькутту» и там поешь. На вот, — он достал деньги. — Бери, бери, не ломайся! Я этого не люблю. В получку отдашь...
— Ну уж, в «Калькутту»! — улыбнулся Егоров, уверенный, что Жур шутит. Там меня только и дожидаются, в «Калькутте».
— Все уже закрыто, все столовые закрыты, — посмотрел на часы Жур. — А в «Калькутте» только начинают гулять. Зайди поешь. Послушаешь музыку. Но вина смотри не пей. Ни капли. Ты на работе.
— Да я и никогда не пью, — покраснел Егоров.
— Ровно в двенадцать ты мне будешь нужен, — постучал Жур пальцем по вещественному доказательству — по циферблату настольных часов в форме башни, подаренных когда-то кому-то в день чьей-то серебряной свадьбы, о чем гласит серебряная же, еще не оторванная пластинка. И вдруг сказал: Хотя погоди, я вот что сделаю. Шитикова поднимал Водянков, пусть он его и замораживает. Я ему сейчас позвоню. А ты иди в «Калькутту». Обязательно хорошо поешь. Солянку возьми. Ночью, однако, мороз будет. Я чувствую, у меня рука ноет...
Егоров в «Калькутту» все-таки не пошел. Хотя было любопытно — никогда не был. Но не решился пойти. И домой пойти тоже не решился. Ведь все равно сегодня же придется опять уходить, а Катя обязательно пристанет с вопросами, куда да зачем.
Но до двенадцати часов еще было далеко. А тут толкаться в коридорах не хотелось.
Егоров вышел на улицу, постоял у подъезда. Улица на его глазах чуть побелела — повалил снег.
Напротив, на другой стороне улицы, светился вход в клуб имени Марата. На дверях висела афиша:
«Сегодня лекция. Начало ровно в 8 часов. Вход свободный для всех».

Егоров перешел на ту сторону.
До начала лекции оставалось восемь минут, но народ собирался медленно. На кино или на постановку все идут, а на лекцию, даже когда вход свободный для всех, народу немного.
Егоров на деньги Жура взял в клубном буфете винегрет, селедку и полфунта хлеба. Все съел, показалось мало. Подумал, не взять ли еще бутерброд с сыром и чаю с сахаром. Что он, не отдаст эти деньги Журу? Конечно, отдаст. Жур сам сказал: «Отдашь в получку». Значит, будет получка.
Эта надежда развеселила Егорова. Он взял еще не только бутерброд с чаем, но и два печеньица из пачки «Яхта» — точно такие, какие ест во время своего дежурства по городу старший уполномоченный Бармашев. Не для одного же Бармашева делают это великолепное печенье!
Все получилось очень хорошо. Егоров допил чай и доел печенье как раз в тот момент, когда из зала вышел заведующий клубом и сказал:
— Ну, товарищи, мы начинаем лекцию. Больше ждать нельзя. После лекции будет кино...
Лекция называлась «Будущее Сибири».
И вот есть дураки, которые не ходят на такие лекции!
Егорову было все безумно интересно.
Седенький старичок, какой-то ученый, что ли, подробно рассказывал, как все будет.
Через какое-то время — ученый, правда, не сказал, через какое, — Сибирь никто не узнает. Ленин указывает, что электрификация должна изменить всю страну. И как раз в Сибири есть все возможности для электрификации. В Сибири появятся во множестве такие грандиозные заводы, каких еще не видывал мир. Они будут выпускать все — от сложнейших машин до одеколона. И нам не нужны будут никакие концессионеры. В кабалу к мировой буржуазии мы не пойдем. Мы будем делать все сами. Мы построим новые, чудесные города. И наши люди забудут даже такие слова, как «разруха» и «безработица».
Егоров, конечно, не сомневался, что все именно так и будет. Но он хотел бы, чтобы это все поскорее делалось.
Иначе, если дело такое затянуть, многие могут не выдержать. Многим очень трудно.
И этот старичок лектор, пожалуй, умрет, пока ликвидируют безработицу. Надо скорее строить и открывать заводы, чтобы всем была работа. А то ведь как нехорошо у нас пока получается: говорят, на работу надо принимать только членов профсоюза, а чтобы пройти в члены профсоюза, надо сперва поступить на работу. А как поступить?
Из-за этого и сестра Егорова Катя вот уж второй год не может никуда устроиться. Много ли она заработает стиркой при трех детях? И при ней же, вроде как на ее иждивении, находится пока брат...
Егоров сидит, внимательно слушает лектора и ребром то одной, то другой ладони, то обеими вместе постукивает о край стула.
Хорошо, что он попал на такую лекцию. Но как бы ему не опоздать на работу. Надо ровно к двенадцати. Он наклоняется к соседу и спрашивает шепотом, сколько времени.
— Десятый час. Двадцать минут десятого.
Значит, можно еще посмотреть и кино.
Неплохо идет время. Неплохо. А будущее еще не наступило. И лектор об этом говорил. Егоров ошибся сегодня, когда скорбно подумал там, у кинотеатра, что будущее уже наступило.
Нет, будущее наступит еще. Замечательное будущее. Но в том будущем, которое наступит, уже не будет прежней Ани Иващенко. И не будет прежнего, влюбленного в нее Егорова. Он что-то приобрел сегодня и что-то потерял. Но так и идет жизнь...

Ровно в двенадцать ночи Егоров вошел в полутемный коридор уголовного розыска.
После яркого света в клубе имени Марата тут» ему показалось уж совсем темно. Как в освещенном восковыми свечами подземелье Староберезовского монастыря, куда бабушка еще маленьким привозила его на пароме, чтобы поклониться мощам святого Софрония. И стены тут такие же толстые, глухие, как там, в подземелье. Пол бетонный.
Многие сотрудники давно ушли домой. Остались только те, кто дежурит и кому предстоит участвовать в операции нынешней ночью.
Из дальней двери, должно быть, из кабинета начальника, вышел Жур, увидел Егорова.
— А Сережа где?
Это он уже так называет Зайцева.
— Я могу его поискать, — предлагает Егоров.
— Не надо, — встряхивает черными волосами Жур. Днем видать, что они с проседью, с чуть заметной проседью. А сейчас, в этом полутемном коридоре, ничего не заметно. — Зайцев сам найдется. Он паренек точный.
Значит, Журу уже известно, что Зайцев паренек точный. А какой паренек Егоров? Об этом еще ничего не известно.
— Иди, Егоров, посиди там у меня, — говорит Жур, проходя дальше по коридору. — Скоро поедем. У нас сегодня серьезные дела. Очень серьезные...
Жура подстрелили прошлый раз на Извозчичьей горе, когда он производил обыск — искал оружие. Были проверенные сведения, что с Дальнего Востока опять поступила партия японских карабинов.
Две крупные партии оружия Жур отыскал еще весной. Был уверен, что отыщет и третью, о которой все время поступают сведения. Но не вышло. Бандиты оказали сопротивление.
Правая рука висит на перевязи. И ноет, надоедливо ноет. Видимо, кость серьезно повреждена.
Однако Жур не может сейчас лежать и нянчить руку. Он хочет поскорее отыскать эту третью партию оружия. Вот отыщет, тогда будет видно, что делать с рукой.
— Поехали, — говорит он в половине первого ночи и быстро шагает по коридору.
Зайцев уже нашелся и идет за ним. И Егоров идет.
Во дворе они усаживаются в старенький автобус фирмы «Фиат», который в уголовном розыске для простоты, что ли, называют «Фадеем».
В кузове, со всех сторон затянутом дырявым брезентом, уже сидят какие-то люди, но рассмотреть их невозможно, потому что в кузове темно.
И во дворе темно и на улице. Город давно спит.
А они куда-то едут...
Не весь город, однако, спит. В «Калькутте», когда они проезжают мимо, играет музыка. И будет играть всю ночь. И всю ночь из широких окон ресторана будут литься на улицу трепетные полосы синего света. И всю ночь будет греметь бубен. И гортанные голоса цыган будут разрывать пьяный гул.
Хорошо там, наверно, в «Калькутте», тепло. А в автобусе холодно. В дыры и в щели врывается ветер — уже зимний, пронзительный.
Егоров сидит в автобусе у самого края, на узкой скамейке, держится за железную скобу и чувствует, как коченеет рука от холодного металла. Но не держаться нельзя, а то, чего доброго, вывалишься из автобуса. Вот тогда будет хохоту в дежурке.
— Ты где там, Егоров? — спрашивает Жур. — Живой?
— Живой, — говорит Егоров. Но голос у него сейчас отчего-то сиплый, жалобный.
В автобусе смеются. Так теперь, наверно, всегда будут смеяться над ним. Что бы он ни делал, что бы ни говорил. Ну и пусть!
По хохоту Егоров узнает Воробейчика. Значит, и Воробейчик едет с ними. А рука уж совсем закоченела. Что же будет дальше?
Автобус дребезжит, как консервная банка на веревочке.
И вдруг останавливается. Какое счастье, что можно погреть руку! Хоть минутку погреть. Ведь рука будет нужна для дела. Может, этой рукой сейчас придется взять наган. Может, придется стрелять. Кто знает, что придется делать!
Нагану тепло, он угрелся на животе Егорова. А Егорову холодно. Правильно предсказал Жур, что ночью будет мороз.

Трое, пошептавшись, выпрыгивают из автобуса и уходят в кромешную тьму.
Вот теперь совсем хорошо. Егоров усаживается поудобнее. Можно больше не держаться за скобу. Руки он прячет за пазуху, под самое сердце. А сердце отчего-то сильно бьется. Может, Егоров трусит? Может, он правда боится? А чего бояться-то? Сколько народу в автобусе! И никто ничего не боится. Зачем же он один будет бояться!
Воробейчик опять смеется. Но Егоров понимает, что Воробейчик теперь смеется не над ним.
Теперь Егоров хорошо различает все голоса в автобусе, слышит все слова.
— Значит, ты немножко сердишься на меня, Ульян Григорьевич? спрашивает Воробейчик Жура.
— При чем тут ты? — говорит Жур. — Я сам это дело выбрал. Но вообще-то получилась серьезная петрушка. Выбрал, называется, мелкое дело для практики стажерам. А теперь этот аптекарь всю душу из меня вымотает. И как раз он в эту пору мне сильно нужен при моих делах. Просто без него мне бы делать было нечего...
— Давай, Ульян Григорьевич, я аптекаря возьму себе, — предлагает Водянков. — И стажеров твоих возьму.
— Нет, уж пусть они при мне остаются, — весело отвечает Жур. — Больно хорошие ребята. И аптекаря мы между делом сами доработаем, доведем до ума.
Жур, в сущности, такой же, как все, уполномоченный, старший уполномоченный. Но по тому, как с ним все остальные разговаривают в автобусе, можно понять, что Жур имеет над ними еще какую-то власть, что ли.
Водянков вдруг просит его:
— Ты поговори, Ульян Григорьевич, с Курычевым насчет Баландина. Это все-таки политическое дело. А он не дает мне людей. Я хочу, чтобы работала группа. Это всегда лучше, когда сразу начинает работать группа...
— Я поговорю, — обещает Жур. — Но толк-то какой? Тут не все от Курычева зависит...
Егоров прислушивается к разговорам и догадывается, что Жур какой-то особый человек. Не начальник, но все-таки особый. Ах, ну чего же тут гадать! Жур просто секретарь партийной ячейки.
Егорову с Зайцевым, наверно, сильно посчастливилось, что они попали именно к Журу.
А может, и не посчастливилось. Кто знает, что еще будет...
Автобус опять остановился. И опять двое выпрыгнули из автобуса. И еще выпрыгнул один, когда автобус переехал Архиерейский мост.
Вот этот, наверно, самый смелый, который выпрыгнул сейчас. Здесь же, где-то рядом, кладбище, а за кладбищем — это давно известно — живут самые отчаянные жиганы. Это даже отец Егорова всегда говорил, что за кладбищем ютится самое отъявленное жиганье. Отец рассказывал, что ему пришлось тут однажды, еще в молодости, девушку провожать, так он, говорил, чуть ума не лишился. На обратном пути на него четверо жиганов в мертвецких саванах напали. Еле убежал. А отец был человек не трусоватый, на войне был, и на германской и на этой, на гражданской.
— Егоров, где ты? Иди сюда, — позвал Жур.
Жур сидит недалеко от шофера. И Зайцев тут же.
— Чего ты там уединился? — говорит Жур. — Садись с нами. В компании-то веселее.
Егоров садится рядом с Журом, но особенного веселья не испытывает.
Автобус теперь продвигается медленно.
На ходу из автобуса выпрыгнули еще двое. И еще один.
Этот один был Воробейчик. Егоров узнал его в темноте.
В автобусе остались только Жур, Зайцев и Егоров. Егоров думал, что Жур будет что-то объяснять, расскажет, как надо вести себя в случае чего. Но Жур молча курил. И когда цигарка из газетной бумаги вспыхивала при затяжке, было видно лицо Жура, как показалось Егорову, печальное.
Наконец автобус остановился.
— Пошли, — сказал Жур и первый выпрыгнул на прихваченную морозом звонкую землю.
За ним выпрыгнул Зайцев, потом, чуть помедлив, Егоров.
На улице стало как будто светлее, даже намного светлее.
Это из развалин тучи вышла луна.

Нет, кладбище они еще не проехали. Вот оно — белые столбы забора, чугунная ограда и церковь. Это они заехали с другой стороны кладбища. Оно большое, Егоров не думал, что оно такое большое.
Снег смешался с грязью и так застыл. Ноги в башмаках скользят. Надо было бы надеть валенки. У Егорова есть валенки. Хорошо, что он не продал их тогда, летом, в Дударях. А Жур правильно еще с вечера говорил, что к ночи будет мороз, хотя вечером было слякотно, шел снег.
Жур идет подле кладбищенского забора, поднимается в горку. У него тоже скользят ноги, но он идет уверенно.
— Ну, ребята, — говорит он, — тут глядите в оба!
Зайцев как-то странно горбится и озирается.
Жур вдруг смеется.
— Ты что думаешь, ты похож на Пинкертона? Ты сейчас на собаку—ищейку похож. А человек должен всегда походить только на человека...
Легко сказать — походить на человека. А на человека походить, может, труднее всего.
По скользким комкам мерзлой грязи они переходят улицу. Идут по переулку, мимо длинных сараев, мимо ветхих домиков, вдоль заборов, сплетенных из обрезков кровельного железа, березовых прутьев и еловых жердей. Здесь официально обитают ломовые и грузовые извозчики, печники, скорняки, сапожники, скобяных дел мастера, и мало ли еще кто здесь обитает неофициально.
Кладбище теперь позади, но его хорошо видно с горки — кресты, склепы. Выше всех склеп купцов Трубицыных.
Жур стоит на горке, подносит к глазам левую руку, смотрит на часы. Потом долго и молча оглядывает кладбище.
И стажеры молчат. Так, наверно, и надо вести себя перед важной операцией.
Жур, может быть, еще раз обдумывает, как ее лучше проводить. Но Жур вдруг говорит:
— Ох, как я покойников сильно боялся! Долго боялся. Бабушка у меня была такая болтливая! Все мне, маленькому, про покойников разные страсти рассказывала. Вот я и боялся. Даже ночью другой раз не мог уснуть. Все мне что-то такое мерещилось...
— А потом? — спрашивает Зайцев.
— А потом, уж не знаю, как-то притерпелся, — пожимает могучими плечами Жур. И улыбается. — Все еще может быть. Может, и сейчас еще испугаюсь...
Зайцев тоже улыбается.
— Ну уж, сейчас?
— А что вы думаете? — серьезно говорит Жур. — Может найти всякое затмение...
А Егоров молчит. И в этот момент огромный, сильный Жур становится ему как бы ближайшим родственником. Вот с кем Егоров хотел бы когда-нибудь поговорить по душам!
— Укрепляйте, ребята, нервную систему, — вдруг советует Жур. — Вас еще и на войну пригласят. И не один раз. Много еще будет всякого. Молодой человек, я считаю, должен укреплять свою нервную систему...
А как ее укреплять, не сказал. Пошел дальше.
И стажеры пошли за ним.

12

Останавливаются они у двухэтажного, избитого дождями, и ветрами, и самим временем дома. Внизу лавка, наверху жилье.
Жур поднимается по шаткой лестнице, по узким обледеневшим ступенькам и опять оглядывает местность.

Тихо здесь, мертвенно-тихо, словно и сюда распространилась территория кладбища. Впрочем, кладбище видно и отсюда. Только теперь его видно уже смутно.
Вслед за Журом по лестнице поднимается, держась за поручни, Зайцев. И уж потом, когда Жур стучит в дверь, на лестницу вступает Егоров.
Дверь открывается, обдавая посетителей душным теплом.
— Высоко живете, — говорит Жур женщине, стоящей на пороге в одной рубашке и в цыганской шали, накинутой на голые плечи.
— Выше-то лучше. К богу ближе, — насмешливо откликается женщина, нисколько, видимо, не удивляясь столь поздним посетителям.
— Вам-то хорошо. Гостям худо. Хоть бы вы обкололи ступеньки ото льда, показывает на лестницу Жур и продолжает оглядывать местность. Подниматься трудно...
— Зато спускаться легко, — уже смеется женщина, и на смуглом лице вспыхивают белые зубы. — Если отсюда кого пихнешь, он вниз пойдет без задержки. Не затруднится...
— И часто спихиваете?
— Бывает... Ой, да вы меня простудите! Я с постели...
Они входят, как в предбанник, в крошечный коридор. Жур включает карманный фонарик.
— Жарко топите.
— Нельзя не топить — жильцы, — вздыхает освещенный фонариком старик, похожий на святого угодника Николая Мирликийского, спасителя на водах. Дунька, лампу...
— Ожерельев? — вглядывается в старика Жур. — Тебя что-то давно не видать было...
— А вы будто не знаете, где я был. По вашей милости все было сделано. Но вот отпустили. Не находят за мной особой вины. Не находят. Сколько ни искали...
— Ох, так это вы, гражданин начальничек, а я думала — Яшка, — смотрит при лампе на Жура молодая женщина, почти девочка, которую старик назвал Дунькой. — А говорили, что вас вроде того что убили. Значит, вранье...
— Значит, вранье, — подтверждает Жур. — А ты, значит, по-прежнему здесь живешь?
— А где же? Раньше у дедушки Ожерельева жили и теперь живем. И так, наверно, будет до скончания века. Не выбраться, видно, нам отсюдова...
Дедушка Ожерельев сел к столу, постучал ногтем по табакерке, открыл, взял щепотку, набил обе ноздри, помотал головой.
— Не могу. Нюхать нюхаю, а чихнуть не могу. Слабость. И сна нету. Пропал сон. И все по вашей милости. Вся наша жизнь одно беспокойствие...
Жалкий этот дедушка, чуть живой, а его еще по тюрьмам таскают, как он сам сказал. За что? И все тут какие-то жалкие.
Егоров смотрит на худенькую Дуньку, которая удивительно похожа на его сестру Катю. Бывает же такое сходство. Рост одинаковый, волосы, глаза. И щурится так же от лампы. И родинка над верхней губой. С той же стороны родинка, с правой.
Дунька говорит Журу:
— Никакого изменения в нашей жизни, гражданин начальничек, уж, видно, не предвидится...
— А какого же ты изменения ждешь? — спрашивает Жур. — Сама и виновата. Надо устраиваться. Я тебе давал адрес...
— Адрес — это одно, а дело — это другое, — будто сердится Дунька. — Вы думаете, это легко — солдатские шинели шить? Я себе все руки исколола...
Егоров почти разочарован. Он был уверен, что именно сейчас, в этом доме, начнется какое-то опасное действие. Он немножко боялся этого действия, но все-таки ждал его. Может, их начнут обстреливать, думал он. А ничего не случилось. Такие же, как везде, разговоры. И жалобы такие же: на плохую жизнь.
Жур уселся почему-то у самой двери, где стоит ржавый умывальник. Может, Жур ждет чего-то.
— Значит, ты всех сюда перевез из старых своих домов? — спрашивает он старика. — И из женского монастыря тут, я смотрю, девушки?
— Да куда же я всех перевезу? — кряхтит старик. — Я и никого-то не перевозил. Они сами. Они работают от себя. Мне только за квартиру...
— Это верно, — соглашается Жур. — Разве всех перевезешь! У тебя ведь, кажется, три таких дома было...

— Вы мне все прочитываете, — обижается старик. — Был один дом, правда, мой, а второй — женин, жены моей, покойницы. А теперь вот самого загнали в этакую халупу и еще здесь по ночам беспокоят...
«Действительно, — думает Егоров, — для чего мы сюда пришли? Людей разбудили, сидим. А людям, наверно, завтра на работу».
— А сынок твой где? — спрашивает старика Жур.
— А откуда же я знаю? — разводит руками старик. — Вы бы не пришли, я и про вас бы не знал, где вы есть и в своем ли здоровье...
— Значит, не знаешь, где сынок?
— Не знаю. Я ж говорю, только на днях вернулся. А Пашка, говорят, совсем уехал. В Читу, говорят...
— Значит, ты еще не приступал к делам?
— А какие ж у меня дела? Мелкая торговля, и то лавка стоит запечатанная. Наложили зачем-то арест. А ведь что писали в газетах? В газетах писали: частный капитал должен торговать. То есть у кого есть деньжонки, пускай торгует...
— Но никто не говорил, что надо торговать обязательно краденым.
— А я не спрашиваю, из каких мест доставляют товар. Откуда мне знать, краденый он или дареный.
На эти слова старика Жур не отвечает. Должно быть, не находит что ответить. Молчит. Где-то далеко глухо хлопают выстрелы. За перегородками, за черным занавесом тихо и тревожно переговариваются разбуженные люди. Кто-то поспешно одевается, стучит башмаками.
Все это слышат Егоров и Зайцев. И Жур, конечно, тоже слышит. Но он, должно быть, не придает этому никакого значения. Он по-прежнему сидит на табуретке подле умывальника, курит. Вдруг он спрашивает старика:
— Ну, а сейчас-то чем еще думаете торговать, кроме оружия?
— Какого оружия? — возмущается старик. — Собираете вы бабью сплетню какую-то. Делать вам нечего. И раньше были сыщики. Но такого не было, чтобы по ночам будить...
— Раньше, это правда, такого не было, — соглашается Жур. — Раньше ты бы сунул сыщику от щедрот своих красненькую, допустим, и воруй и спи спокойно...
Егорову хочется разглядеть лицо старика, но старик отворачивается от света лампы. Однако понятно, что он усмехается, сердито усмехается.
— Раньше, гражданин начальник, ты, пожалуй, и сам бы посовестился меня будить. Без всякой красненькой. Раньше, пожалуй, тебя бы не назначили на такую должность. Ты ведь, я знаю, молотобойцем у Приведенцева работал. Я и твоего папашу—хохла знал. Он бондарничал у Вороткова в мастерской. Вот это была ваша настоящая должность. А теперь, выходит, вы хозяева...
— Выходит, что мы, — опять соглашается Жур.
Старик наконец чихает и смеется, вытирая полой рубахи нос.
— Выходит, что правда. Ведь как вся жизнь, целиком вся, перевернулась... А может, она опять обратно перевернется? А что, если она перевернется обратно? А?
— Ты, наверно, на это и надеешься, — говорит Жур. И включает карманный фонарик, зажимает его в коленях, смотрит на ручные часы. — И Буросяхин на это надеется. И еще кое-кто. Иначе бы ты на старости лет не рисковал, не берег для них оружие...
— Тю, канитель какая! — еще больше сердится старик и плюет. — Опять он про оружие!.. Да ты его сначала найди. Найдешь — тогда разговаривай и хвались...
— Найдем, — обещает Жур. — А как же не найти! Нас на это дело специально поставили. Из молотобойцев, как ты говоришь, в сыщики перевели. Кому-то и этим делом надо заниматься...
На кирпичной плитке близко от лампы стоит незакрытая кастрюля с пшенной кашей. Егоров смотрит на кашу. Она необыкновенно белая.
«Наверно, на молоке, — думает Егоров. И еще думает: — Уж поскорее бы все это кончалось!»
А Жур продолжает разговаривать со стариком.

И Зайцев заметно томится. Когда где-то далеко хлопают выстрелы, он, как охотничья собака, делает стойку, козырьком прикладывает ладонь ко лбу, смотрит в окно. Ходит от окна к окну, заглядывает за перегородки.
В дверь негромко стучат.
Опять та женщина в цыганской шали на голых плечах выходит из-за перегородки открыть дверь, как будто не могут открыть старик или Жур, сидящие у двери.
Входит раскрасневшийся вспотевший Водянков. Он здоровается, хозяйственно сморкается, щурит от света глаза.
— Беседываете?
— Да вот разговорились, — улыбается Жур, кивая на старика. — Давно не виделись. То он в тюрьме сидит, то я лежу в больнице...
— А у нас получилось все как надо, — рассказывает Водянков. Буросяхина только что отвезли, со всей компанией...
— Буросяхина? — спрашивает старик.
— Его, дедушка, его, собственной персоной, — разглаживает пальцами пышные усы Водянков. — Правда, оказал сопротивление, а как же... Но, слава богу, отвезли. Отмучился, болезный. Отшумел...
«Где-то было что-то интересное, — огорченно думает Егоров. — А мы тут просидели». И смотрит в широкую щель, как за перегородкой перед зеркалом худощавый мужчина в пенсне дрожащими руками застегивает на затылке готовый галстук—"бабочку».
— Ну куда же вы теперь пойдете? Еще ночь. Они ведь к дедушке, они нас не затрагивают, — успокаивает мужчину женщина в цыганской шали. — Да и вас разденут по дороге. Тут опасно. А у вас вон какое богатое пальто...
— Знал бы, не поехал, — никак не может застегнуть крючок на затылке мужчина. — Ведь как я не хотел сюда ехать! Это меня этот скотина Аркадий Алексеевич уговорил. Стоеросовая дубина. Уверял — приличное помещение...
— А чего особенного? — будто обижается женщина. — У нас и не такие люди завсегда бывали. И все спокойно...
Егорова отвлекают от этой картины выстрелы, вдруг захлопавшие, кажется, у самого дома. Егоров смотрит на дверь. А Зайцев бежит к двери.
— Зайцев, не торопись, не на пожар, — негромко говорит Жур, не подымаясь с места.
Жура, должно быть, не удивляют и эти выстрелы. А стреляют, похоже, прямо в дверь.
«Как в ловушке мы», — думает Егоров. Но странное дело — страха не испытывает.
Дверь открывается.
В коридорчик не входит, а вваливается парень в кожаной тужурке, с лицом, измазанным чем-то черным.
Это, наверно, шофер автобуса.
— В самое ухо, — вздыхает он.
И когда подходит к лампе, видно, что это не черным, а красным измазан он — кровью. Кровь льется ему за ворот.
— Ах, дурак! — наконец сердится Жур.
— Почему же я дурак? — обижается шофер.
— Да не ты... Зайцев, перевяжи его... Умеешь? Это вот дедушкин сынок дурак, — кивает на старика Жур. — Это его работа. Ни в какую Читу он не уехал. Он старается сейчас отогнать от дома. Надеется еще перепрятать с папашей оружие. Значит, сведения правильные...
— Это что, вы насчет стрельбы думаете? — спрашивает старик. — Это, вы думаете, мой сынок Пашка стреляет? Нет, это не Пашка. Благородное даю вам слово, не Пашка...
— Именно благородное слово, — усмехается Жур. — У тебя все слова благородные.
Зайцев не умеет делать перевязку. И Егоров не умеет. Но он помог шоферу снять тужурку. Перевязку делает Водянков, зубами разорвав индивидуальный пакет.
А Жур отдергивает черный занавес.
— Здравствуйте, — говорит он мужчине в пенсне, уже застегивающему жилетку. — Прошу предъявить ваши документы.
— Я не обязан вам предъявлять, — с достоинством отвечает мужчина, и пенсне вздрагивает на его жилистом тонком носу. — Я, во-первых, случайно сюда... случайно попал. Меня ввели в заблуждение. Я ни за что бы сюда не поехал. А во-вторых...

— Егоров, обыщи его.
Жур брезгливо поморщился и прошел дальше, за перегородку.
А Егоров смутился больше этого случайного посетителя. Как это вдруг обыскивать такого почтенного гражданина? Но делать нечего.
— Ну-ка, гражданин, поднимите, пожалуйста, руки.
На Егорова пахнуло запахом духов, хорошего табака и самогонки.
Человек в пенсне оказался нэпманом, совладельцем фирмы «Петр Штейн и компания. Мануфактура и конфекцион».
Егоров вспомнил тот красивый магазин на Чистяревской, куда они заходили с Катей покупать сорочку. И не купили. Егоров больше не чувствовал почтения к этому человеку. Он сперва подумал, что это какой-нибудь профессор или доктор. А это нэпман, хозяйчик, частник...
— Держите, гражданин, ваши документы. А это у вас что?
— Это зажигалка в форме браунинга. Можете ее взять себе...
Егоров легонько нажал курок, пистолет фыркнул, зажегся огонек. Егоров удивился: правда, зажигалка.
— Возьмите ее, — опять предложил нэпман.
— На что она мне? — сказал Егоров и отдал зажигалку нэпману, хотя в самом деле занятная была зажигалка. Никогда такой не видел.
— Молодой человек, я надеюсь все-таки, что эта наша встреча останется между нами, — улыбнулся тонкими губами нэпман. — Я тем более семейный человек. Мне будет неприятно. — И все еще дрожащими руками раскрыл бумажник. — Вот, пожалуйста, вам. Никто не видит. Это за ваше молчание. По случаю нашего такого малоприятного знакомства. В таком месте...
— Ну что вы, ей-богу, одурели, что ли? — отвел его руку Егоров. — Для чего это?
Жур приказал отпустить нэпмана.
— А он мне деньги давал, чтобы я помалкивал, — засмеялся Егоров, когда нэпман ушел.
— И ты взял? — спросил Жур.
— Ну, для чего?
— Значит, ты взятки не берешь?
Тут только до Егорова дошло, что этот нэпман ведь правда предлагал ему взятку. Егоров покраснел; Он готов был сломать нэпману пенсне, переломать все кости. За кого этот нэпман принимает его, комсомольца Егорова? И как он сразу не догадался, что это ведь и есть взятка? Он думал, что взятки дают как-то по-другому...
Егоров выбежал на лестницу. Но по лестнице поднимались Воробейчик и еще какой-то парень в дорогой пыжиковой шапке и в борчатке с мерлушковым воротником, с таким же мерлушковым, как на шапочке и на воротнике у Ани Иващенко, которую Егоров встретил вечером, несколько часов назад. Но теперь ему казалось, что это было очень давно.
Воробейчик подталкивал парня, а парень оглядывался и огрызался.
За ними шли еще два человека, незнакомых Егорову.
— Вот он, гроза морей, — втолкнул в коридор парня Воробейчик.
— Прямо из Читы прибыл? — спросил парня Жур. — Папаша говорит, что ты в Читу отбыл...
— Я его с крыши ссадил, — кивал на хозяйского сына Воробейчик. — Он залез вон на ту крышу и постреливал вот из этой штуки, — Воробейчик достал из-за пазухи тяжелый пистолет «кольт». — А я его тихонько из-за трубы, как кошка мышь. И еще счастливый его бог. Я бы сделал из него покойника, если б он оказал сопротивление...
— Эх! — снял пыжиковую шапку хозяйский сын и шлепнул ею об пол. Потом стал расстегивать борчатку с оторванной полой.
Полу он оторвал, когда Воробейчик сталкивал его с крыши.
Под борчаткой у него были синяя косоворотка, опоясанная шелковым шнурком с кистями, синие же брюки галифе и белые, измазанные в саже бурки, обшитые полосками коричневой кожи.
Егоров с интересом смотрел на него.

Это был первый крупный бандит, которого вот так близко увидел Егоров, настоящий бандит. Он только что прострелил ухо шоферу и мог убить шофера. Мог убить кого угодно. И, наверно, убивал.
Однако ничего особенного все-таки Егоров в нем не заметил. Хозяйский сын был похож на обыкновенных нэпманских сыновей, что торгуют в лавках на Борзовском базаре. И у него такие же, как у них, нахальные, насмешливые глаза. Он и сейчас не испуган, не растерян. Он только огорчен.
Вынув из кармана брюк расческу, он, глядя в зеркало, стал расчесывать мокрые волосы, кольцами слипшиеся на лбу.
— Для чего же ты учинил стрельбу? — спросил его отец, как спросил бы, наверно, всякий отец набедокурившего сына.
— Вы, папаша, не суйтесь, — ответил сын, собирая с расчески опавшие волосы. Потом подул на расческу и спрятал ее в карман.
— Ну ладно, купцы, показывайте ваш товар, — улыбнулся Жур. — Ломик, надеюсь, у вас найдется?
— Девок тут развел! — закричал на отца сын. — Они все сыскные. Для чего они были тут нужны?
— Ломик, — повторил Жур. И спросил: — Сами будете поднимать пол или нам придется?
— Я у вас на службе не служу, — огрызнулся сын. — И служить не буду...
— Это определенно, — подтвердил Жур. — Служить ты у нас не будешь, нет.
Зайцев уже где-то в коридоре добыл топор и долото.
— Это что тут, в углу? — показывает Жур. — Надо разобрать.
Зайцев разгребает какие-то тряпки, мочало — сперва ногой, потом руками. Егоров начинает ему помогать. Они вытаскивают из кучи тряпья ватное одеяло, тянут матрац, набитый мочалом.
И вдруг в самом углу испуганно заплакал ребенок. Голый, худенький, лет, наверно, трех, со всклокоченными волосами.
— Ну, ты сопляк! — сердито отодвигает его Зайцев. Он сердится сейчас на все, на всех. Он уверен, чти таким сердитым и должен быть всегда работник такого учреждения.
Ребенок встает на тоненькие ножки, жмурится от света, но не уходит из угла.
— Мальчик, — удивляется Егоров.
— Уберите ребенка, — обращается к женщинам Жур. — Чей это ребенок?
На свет лампы выползает страшная, как баба—яга, старуха. Точно такую Егоров видел в криминалистическом кабинете на снимке. А эта только что спала на печке.
— Кто его знает, чей он? Верка его мать. Она уехала во Владивосток. Оставляла мне ему на харчи, но чего она там оставила...
— А как Веркина фамилия?
— Кто ее знает как! Верка и Верка. Княжна ей была кличка...
Егоров поднял ребенка с полу, и ребенок цепко ухватился за его шею.
— Глядите, признал отца, — засмеялась женщина в цыганской шали.
Егоров покраснел.
— Кешка, — сказала Дуня мальчику, — это твой отец нашелся. Поцелуй папочку.
Мальчик еще крепче обнял Егорова и действительно поцеловал.
— Ничей? — спросил Егоров старуху. — Совсем, совсем ничей? — и повернулся к Журу.
— Работай, — нахмурился Жур. — Тут не детский дом. Положи ребенка...
Егоров посадил мальчика на сундук около кирпичной плитки и прикрыл его плечики байковым одеялом.
Зайцев уже оторвал топором плинтус и стал вырубать первую от стены доску.
— Подожди-ка, не так, — взял долото Егоров. — Она так может расколоться...
— Ну и пусть, — продолжал орудовать топором Зайцев. — Жалко, что ли...
— Подожди, — опять сказал Егоров.
И подсунул долото в то место, где забиты гвозди. Надавил коленом на ручку долота. Доска скрипнула протяжно и подалась, сильно пахнув старой, слежавшейся пылью и плесенью, от которой трудно дышать. И в то же время чуть расколотая смолистая доска вдруг запахла свежей лиственницей или сосной, будто под слоем тлена таилась жизнь, и вот она обнаружила себя.

Егоров ловко отрывал долотом одну доску за другой, точно не один год провел на такой работе. Он делал теперь это с явным удовольствием. Но вдруг над его головой закричал Воробейчик.
— Ящик!
Под полом оказалось три ящика — два длинных и один квадратный.
В длинных ящиках лежали короткие японские карабины, обмазанные по стволам вонючей желтой мазью и обернутые в вощеную бумагу. В квадратном ящике — обоймы с патронами.
— Мало, — вздохнул Жур. — Отдирайте еще. И смотрите, куда прячут оружие. Это ж внизу потолок может обвалиться...
Вот теперь Егоров взял топор, потому что надо было отодрать тяжелые плахи.
— Да руби ты, не возись, — посоветовал Зайцев и хотел отобрать топор.
— Погоди, — отстранил его Егоров и снова, подсунув топор, как долото, в то место, где гвозди, навалился на черенок.
Плаха заскрипела со стоном, и опять после запаха пыли и плесени появился живучий и сильный запах сосны.
Тут, у русской печи, были обнаружены пистолеты.
— Н-да, — поглядел на пистолеты Водянков, — Буросяхин со своей компанией натворил бы еще много бед при этих шпалерах. Опоздал он...
Дедушка Ожерельев ругался из-за чего-то с сыном Пашкой, глядя, как их оружие переносят в автобус.
Женщины за печкой тревожно перешептывались. А худенький мальчик в байковом одеяле смирно сидел на сундуке. Увидев Егорова, проходящего мимо, он, как родного, вдруг ухватил его за штаны и показал на незакрытую кастрюлю с кашей, все еще стоявшую на кирпичной плитке.
— Хочу каши. Каши хочу.
Егоров не знал, как быть. Но разве можно взять чужую кашу? И он неожиданно для себя сказал мальчику:
— Погоди, потом! Дома покушаем.
Егоров, конечно, нечаянно это сказал, но все-таки не совсем нечаянно.
Отрывая старые доски, разгребая руками старую, слежавшуюся пыль, он все время думал о мальчике. Вот они сейчас уйдут, уедут отсюда, из этой душной тесноты, а мальчик останется. Надо бы забрать мальчика. Не надо мальчику тут жить. Нехорошо это, нечестно оставлять тут мальчика. Мальчик же ни в чем не виноват. Виноваты вот этот подлый дедушка Ожерельев, его сын Пашка и еще какой-то Буросяхин. Виноват, наверно, и этот трусливый нэпман, хозяин красивого магазина «Петр Штейн и компания. Мануфактура и конфекцион».
В сердце Егорова закипала злоба. И в то же время пробуждалось еще неясное ему самому чувство ответственности за жизнь. Не ясное, но сильное и острое, как свежий запах сосны, что пробивается из этих оторванных старых досок, пробивается вопреки всему, что налипло на них за многие годы.
Ох, какая тяжелая работа попалась Егорову!
Жур приказал ему стоять внизу, у автобуса, где уже стояли Воробейчик и шофер с забинтованной головой.
Вскоре сюда подошел еще автобус — черный, прозванный в уголовном розыске почему-то каретой. Этот автобус для арестованных. — Ну как, не боишься бандитов? — насмешливо спросил Егорова Воробейчик.
— Не боюсь, — ответил Егоров. И добавил: — Покамест не боюсь...
Внизу, у автобуса, пришлось стоять долго, пока наверху продолжали обыск и потом писали протокол. И все время, должно быть со скуки, Воробейчик посмеивался над Егоровым.
Смеялся даже над тем, что Егоров, как он признался, не пьет, и не курит, и еще не женатый.
— Скопец, что ли?

13

Начинался медленный, мглистый рассвет, когда из дома вывели и усадили в «карету» задержанных. Вышли из дома наконец все сотрудники.
— Поехали, — сказал Жур, залезая в «Фадей». — Кажется, все вышли.
«А как же тот ребенок?» — хотел спросить Егоров. Но не решился спросить. А спросить хотелось.
Воробейчик взглянул на растерянное лицо Егорова и засмеялся.
— Ребенка-то что же не берешь? А он тебя признал за родителя. Какие бывают бессовестные отцы...
— Ну и что? Я его возьму, — сказал Егоров и посмотрел на Жура. — Можно, я его возьму?..
— Как хочешь, — сказал Жур. И нахмурился. Или это показалось Егорову, что Жур нахмурился.
Егоров побежал наверх. Он укутал мальчика байковым одеялом. Потом снял свою телогрейку, укрыл его еще телогрейкой. И в одном черном куцем пиджачке выбежал на улицу.
В автобусе смеялись. Только Жур не смеялся, но он и не смотрел на Егорова. Видимо, ему было неприятно это странное поведение стажера.
А Водянков вынул из-под сиденья телячью шкуру и протянул Егорову.
— Ты укройся сам-то. Простынешь...
Зайцев опять сидел с Журом.
Жур спросил его:
— Ну как, Сережа, нравится тебе работа?
— Боевая, — весело откликнулся Зайцев. — Я такое дело вообще люблю...
— А тебе нравится? — спросил Жур Егорова. Надо было спросить и Егорова, уж если он спросил Зайцева.
— Ничего, — ответил Егоров.
— Ничего — это дырка, пустота, — сердито проговорил Жур. И смуглое лицо его как окаменело.
— Тебе надо бы, Егоров, в детский дом поступить, — насмешливо посоветовал Воробейчик.
— Ну, кто же меня туда примет?
— А если б приняли, пошел бы?
— Ну, откуда я знаю...
— Значит, тебе не нравится наша работа? — еще строже спросил Жур. — Ты скажи прямо...
— Нет, ничего, — повторил Егоров. — Я же говорю, ничего. Работать можно. Только, конечно...
— Это многим неинтересно, — сказал Жур. — Никому не интересно мусор убирать. Но кому-то же это надо делать покуда. И надо учиться так делать, чтобы мусор убирать, но самому не измараться. Надо вот это уметь...
— А мне все было интересно сегодня, — признался Зайцев. — Только я сперва думал, товарищ Жур, что вы нас с Егоровым предупредите, как все будет, и скажете, как действовать.
— А меня и всех прочих работников бандиты тоже что-то не предупреждают, — усмехнулся Жур. — И не говорят, как надо с ними действовать. И раньше мне никто ничего не говорил. Я как вернулся с фронта, вышел из госпиталя, меня направили на эту работу, так вот сразу и пошло.
— Но вы все-таки на фронте были, на гражданской войне, — как бы позавидовал Зайцев. — И потом, может быть, читали специальные книги...
— Читал, — подтвердил Жур.

Зайцев вынул из-за пазухи книгу господина Сигимицу, начальника тайной полиции. Он, оказывается, и на операцию ее захватил.
И не только Жур, светя фонариком, подержал и полистал эту книгу в автобусе, но и Водянков, и Воробейчик, и другие.
Воробейчик даже сильно заинтересовался.
— Это вот какая книга, — показал он большой палец. — Ты дай мне ее хоть на денек. Я тебе тоже что-нибудь дам...
— Пустяки это, детские пустяки, — кивнул на книгу Жур. — Я такие тоже читал. Нет в них ничего нового. — Он потрогал Зайцева за колено. — Тут понимаешь, Серега, в чем дело? Все, что говорится в этой книжке насчет мускулатуры, — это, конечно, все, может, даже правильно. Но ведь кроме мускулатуры еще многое требуется в нашем занятии. Например, ум и совесть. А про совесть много ли там говорится, в этой книге?
— Про совесть? — почему-то смутился Зайцев. — Про совесть я чего-то не помню...
— Вот видишь. А совесть нам требуется в нашем занятии почти что на каждом шагу, поскольку нам выданы, чувствуешь, — большие права...
Жур вынул левой рукой из кармана жестяную коробочку с табаком и стал скручивать на колене папироску из газетной бумаги. Табак у него рассыпался.
— Давайте я вам скручу, — предложил Зайцев.
— Нет, спасибо, — отказался Жур. — Мне хочется самому. Я так стал практиковаться еще в больнице. Меня учили инвалиды. Иногда у меня получается, иногда нет...
На этот раз получилось. Жур закурил и сказал:
— Мне вот сегодня дедушка Ожерельев в сердцах напомнил, что я бывший молотобоец и меня, мол, в старое время, при царе или при том же Колчаке, не взяли бы в сыщики. Это, положим, он брешет, что не взяли бы. Взять-то бы взяли. Не такая уж это высокая должность. Но при Колчаке или вообще в старое время все это было куда проще. Все шло, одним словом, как вроде по заведенному порядку. А сейчас это надо как-то по-новому налаживать. А как? Вот опять же этот дедушка Ожерельев, уже прижатый нами сейчас, все старался побольнее меня уколоть, даже отца моего вспомнил, как он говорит, — хохла. А мне бы, по-умному-то, надо было промолчать, поскольку я тут выступаю в данный момент как представитель власти, представитель, можно сказать, государства. А я вдруг чуть не пустился с ним в перебранку. И вот сейчас жалею...
— Жалеете?
— Ну да, жалею. Вышло, как будто я с ним личные счеты свожу, с этим дедушкой, ну его к черту. — Жур приподнял край брезента и плюнул на улицу. — А это нехорошо и глупо. И опасно. Ну, конечно, мы живые люди и у нас могут быть разные личные счеты. Но мы не должны в наши личные счеты вмешивать государство. А у меня вышло со стариком, — я это сам заметил, не очень красиво. Я начал было серчать. А серчать нельзя, если ты представитель власти и хочешь делать все по закону...
— Да по закону его бы стукнуть надо, этого дедушку паршивого, — сказал Зайцев. — Стукнуть — и все, чтобы он не вонял.
— Стукнуть-то это проще всего, Серега. И легче всего, — очень пристально посмотрел на Зайцева Жур. — Труднее разобраться как следует, разобраться и понять...
А в чем разобраться и что понять, Жур не объясняет. Глубоко затягивается и долго молчит. Потом говорит снова:
— Нету книги, к сожалению, в которой бы все было указано, как делать и понимать. До всего надо додумываться самим, своей башкой. Все самим надо пробовать. И не бояться, если другой раз обожжешься. Без этого ничему ведь не научишься.
Мальчик, угревшись на руках у Егорова, крепко уснул. И Егоров, казалось, забыв про него, внимательно и даже с удивлением слушал Жура, как все мы слушали в детстве, в юности разных чем-то удививших нас людей, встретившихся нам на разных жизненных перепутьях.
И, не подозревая об этом впоследствии, мы легко усваивали и усваиваем многое из характеров этих людей, прошедших мимо нас, ушедших навсегда, но продолжающих существовать и действовать не столько в нашей памяти, сколько в наших поступках и в наших душевных движениях.

Конечно, Егоров потом забудет во всех подробностях эту ночь. Забудет, как дребезжал на ухабах старенький автобус фирмы «Фиат», прозванный для простоты «Фадеем». Забудет и подлого дедушку Ожерельева и отчаянного мерзавца его сына Пашку. Забудет и продушенного духами, хорошим табаком и самогоном нэпмана — совладельца фирмы «Петр Штейн и компания. Мануфактура и конфекцион». Забудет и многие слова, говоренные Журом. И даже многие мысли, высказанные им, забудет. Но что-то необходимое для жизни все-таки отложится, отслоится в самом сердце и в глубинах сознания молодого человека, и это будет называться потом жизненным опытом. За жизненный опыт, однако, придется еще заплатить дорогой ценой, придется еще многое пережить, узнать и услышать...

Впрочем, не все мы и не все усваиваем в жизни одинаково. Даже, казалось бы, бесспорные истины разными людьми воспринимаются по-разному и в разных душах находят разное преломление.

Егоров думает одно, а Зайцев другое.

Зайцеву не понравилось, что Жур так начисто отверг книгу господина Сигимицу. Зайцев почти обиделся. И не за господина Сигимицу, а за себя. Ведь книга эта теперь принадлежит Зайцеву. Он нашел ее на развале, купил, прочел, дал почитать Егорову. И у Зайцева есть об этой книге свое мнение не такое, как у Жура. И Зайцев вообще не обязан во всем слушаться Жура. Тем более Жур эту книгу не читал.

— Вы правда эту книгу не читали, товарищ Жур?

— Нет, эту книгу не читал, — опять посмотрел на обложку Жур. — Но они почти все похожи. Их на базаре и сейчас можно сколько угодно найти...

— А эту, значит, вы не читали? — еще раз спросил Зайцев.

И непонятно, чего он добивается. Даже смешно. Жур улыбнулся.

— Ты что, Серега, хочешь доказать, что это какая-то особая книга господина Сигимицу?

— Я ничего не хочу доказывать, — сказал Зайцев. — Я просто спрашиваю...

Но он не просто спрашивал. Он взъярился, как молодой петух. И это было действительно смешно.

Если б так повел себя, допустим, Егоров, над ним бы первым засмеялся Воробейчик. Но Зайцев рассмешил только Жура. А смешливый Воробейчик на этот раз не смеялся. Может, не хотел смеяться. Не заметил, что это смешно. Или ему просто нравится Зайцев. Ведь может и Воробейчику нравиться кто-то. И к тому же Воробейчик хочет выпросить эту книгу у Зайцева.

Зайцев сердился и пропустил мимо ушей все рассуждения Жура. Но Журу понравилось даже, как сердится Зайцев.

— Ох, я смотрю, ты шибко самолюбивый паренек, Серега!

Это сказал Жур Зайцеву, когда все выходили из автобуса во дворе уголовного розыска.

— Ты останься, Серега, ты мне еще будешь нужен немножко. А ты иди домой, — сказал Жур Егорову. Как-то обидно сказал. И должно быть, сам заметил это. — Или лучше вот так сделаем. Шофер сейчас сменится, и тебя отвезут домой в автобусе...

14

Многие удивились на Ужачьей улице, когда утром чуть свет Сашку Егорова привезли на автобусе и еще с ребенком на руках. Но больше всех удивилась, прямо ужаснулась сестра Егорова.

— Чертушка ты! — всплеснула она руками. — Ты как на погибель мою стараешься. Куда ты ребенка притащил? Для чего? У меня вон своих трое, без отца, с открытыми ртами...

— Ты, Катя, не обижайся, — смущенно попросил Егоров. — Ты его только искупай. Чем-нибудь немножко покорми. Он здорово есть хочет. Гляди, какой худой. А ему, говорят, три

года. И ты его не оскорбляй. Я его потом снесу в детский дом. Он будет считаться как мой собственный сын. Он прямо признает во мне отца. Ну и пусть. Я его на свою фамилию запишу...
— Да мало ли сейчас детей беспризорных, даже получше этого! — сказала Катя. — Ты посмотри, что на вокзале делается! По всей России едут почти что одни беспризорные. Разве ты можешь всех записать на свою фамилию?
— Сколько смогу, столько запишу, — упрямо проговорил Егоров. — А ты. Катя, не обижайся. Я скоро буду очень хорошую зарплату получать. Все деньги будут твои. Я ведь даже не курю. Хотя некоторые и смеются. Ну и пусть. Я все равно курить пока не собираюсь...
На счастье Егорова, это внезапное прибавление его семейства совпало с другим событием, которого, впрочем, надо было ожидать.
На следующий день в обеденный перерыв Егорова у «титана», где берут кипяток для чая, встретил Зайцев:
— Ты почему, Егоров, деньги не получаешь?
— Какие?
— Как какие? Мы же здесь не ради Христа работаем. Нам выписали за две недели как стажерам. Я получил...
Егоров держал кружку под краном. Она уже наполнилась. И кипяток пошел через край, полился на пол, на башмаки Егорова. А он все еще удивленно смотрел на Зайцева.
— Ну да? Ей-богу?
— Вот именно ей-богу! — засмеялся Зайцев. — Ты просто малохольный! — И закричал: — Ты смотри, смотри, ты же сейчас ошпаришься!
Егоров в растерянности уронил кружку. Потом поднял ее, поставил на подоконник и пошел на второй этаж получать зарплату, если правда, что Зайцев его не обманывает.
Однако на втором этаже в бухгалтерии, как во всем учреждении, как во всем городе, был обеденный перерыв. Касса была закрыта.
Егоров, забыв о своем обеде, сел у кассы. Он хотел, чтобы поскорее пришел кассир. И в то же время его тревожила мысль, а вдруг Зайцев чего-то напутал? Или Зайцеву выписали, а ему, Егорову, еще не полагается? Зайцев ведь чуть раньше его пришел в уголовный розыск. Нет, они, кажется, в один день пришли. Ну да, в один день...
Мимо Егорова проходили служащие, возвращавшиеся к своим столам после обеденного перерыва. И ему было неловко. Ему казалось, что все смотрят на него и думают: «А этот уже пришел за деньгами. Еще ничего не наработал, а уже пришел за деньгами. Бывают же нахалы...»
Однако в свой час явился угрюмый кассир и, поискав прокуренным пальцем в ведомости фамилию Егорова, спокойно отсчитал ему деньги.
— Распишитесь вот тут...
— Пожалуйста, — сказал Егоров.
Он, безмерно счастливый, сбежал по каменным ступеням вниз. Но внизу взял себя в руки и степенно, даже степеннее, чем надо, и медлительнее, чем надо, прошел по коридору мимо постового милиционера, чтобы и милиционер не подумал, что Егоров уж так сильно обрадовался этим деньгам. Что он, денег, что ли, никогда не видел, Егоров? Все получают зарплату, и он получил...
Внизу, в узенькой своей комнатке, Жур приступил уже к третьему допросу одного из братьев Фриневых.
Все было ясно теперь. Аптекаря Коломейца отравили братья Фриневы. Он был их компаньоном не только по содержанию аптеки, но и по сбыту краденных у государства спирта и дорогих лекарств.
При дележе огромных барышей у компаньонов встретились серьезные затруднения.
Яков Вениаминович Коломеец, как глава всего дела и бывший учитель братьев Фриневых — он был старше их и по возрасту, — присваивал наибольшую долю.
Кроме того, он намекал, что в случае повторных протестов со стороны братьев у него есть возможность их жестоко наказать. Он знал за ними такое, что, если об этом узнал бы и уголовный розыск, им ни за что не миновать бы тюрьмы.

А он сам, Коломеец, человек разочарованный. От него ушла жена. Ему жизнь теперь вообще не мила. И терять ему, стало быть, нечего...
Это и заставило братьев Фриневых применить к своему старому учителю и соучастнику самые крайние меры. И они применили. Но у них получилось немножко не так, как они сперва задумали.
Они старались его выманить из квартиры. Хотели прокатить его за свой счет на извозчике, чтобы якобы развлечь, рассеять его хмурые мысли по поводу подлой измены супруги. А потом намеревались завезти его на Дачу лесного короля, в эту необыкновенно красивую, но пустынную в осеннее время местность, и здесь прикончить с помощью веревки, которая была припасена и находилась уже в великолепном экипаже на дутых шинах, на «дутиках», извозчика Елизара Шитикова.
Затея эта, однако, не удалась.
Тогда братья Фриневы, Борис и Григорий Митрофановичи, явились к своему учителю в день его рождения и принесли с собой подарок — американский фотоаппарат, купленный в комиссионном магазине Шальмеера.
Им было известно, что Коломеец еще неделю назад облюбовал этот аппарат, но купить по скупости своей не решался. Они преподнесли этот подарок, и старший брат Борис сказал, что уже довольно бы им спорить и ссориться. Яков Вениаминович все-таки их учитель, и они помнят это и хотят извиниться. И хорошо бы по такому случаю и тем более в честь дня рождения выпить и забыть все. Правильно, мол, что Яков Вениаминович берет себе большую часть. Он и должен ее брать, если он их учитель.
В спирт, который был у Коломейца, они добавили очень полезной для желудка облепиховой настойки, так как учитель их по слабости здоровья никогда не употреблял спирт в чистом виде. И вообще в выпивке был воздержан. Мог охмелеть от одной рюмки даже не вина и не спирта, а только лимонада, если при этом будут чокаться лимонадом и произносить тосты.
Поэтому братья спирт развели облепиховой настойкой по-разному — себе покрепче, учителю послабее. И он сам взбалтывал и разводил эти вроде как разные напитки.
Ему, конечно, и в голову не могло прийти, что напиток, который он приготовил для себя, и есть самый крепкий, даже больше того — смертельный. В нем был яд, очень сильная доза яда, принесенного братьями из своей аптеки и аккуратно вдавленного в пробку как раз той бутылки, которую взбалтывал для себя в день своего рождения Яков Вениаминович Коломеец.
Яд должен был убить его не сразу, а часа через три, максимум через четыре, когда гости уйдут домой. А пока захмелевший аптекарь веселился и радовался, что ему попал в руки такой чудесный фотоаппарат.
Он проводил гостей в начале десятого часа вечера, тщательно, как всегда, замкнулся у себя в комнате и решил лечь спать. Но ему вдруг стало душно, и он открыл форточку. Он думал, что воздух его освежит.
Но воздух его не освежил.
В начале двенадцатого именинник умер. А форточка так и осталась открытой.
В час ночи братья Фриневы опять подъехали к дому своего учителя и компаньона. Их встревожило вот что: а вдруг кто-нибудь видел, что они вечером были у Коломейца? Ведь очень легко при вскрытии трупа заподозрить, что именно они отравили аптекаря. Конечно, доказать это было трудно: яд такой мог быть и у него самого. И он сам мог лишить себя жизни, огорченный уходом жены.
— Глупо мы сделали, что не взяли обратно фотоаппарат, — сказал старший Фринев, Борис. — Я себе эту глупость никогда не прощу. Можно было бы перед уходом опять поссориться с ним и забрать аппарат. И зачем он ему? И вообще все это крайне глупо. Я уверен, что нас заподозрят...
И тут братья опять посмотрели на открытую форточку. А что, если сговорить извозчика Елизара Шитикова попробовать залезть в форточку и забрать аппарат? Все равно они с ним в сговоре. Все равно ему надо платить. А пролезет ли он в форточку?
— Моментальное дело, — сказал Шитиков.

И от себя внес серьезную идею. Он залезет в форточку вот с этой веревкой, что у него уже давно припасена под козлами, подвесит аптекаря на какой-нибудь крюк или гвоздь. И тогда уж комар носу не подточит: понятно будет, что аптекарь сам удавился.
Шитиков потребовал только, чтобы братья ему вперед уплатили за эту работу очень крупную сумму.
— Верить на слово по теперешнему времени никому нельзя, — вздохнул Шитиков. — Больно много развелось плутов и бессовестных людей. Многие, даже образованные люди прямо как бандиты действуют. Даже хуже других бандитов и мазуриков...
Братья тут же уплатили Шитикову. И он так ловко обделал это поручение, что можно было только удивиться. Он, как змея, пролез в узкую форточку, куда, казалось, и голову не просунет нормальный человек. И вылез с фотоаппаратом. Но отдать аппарат братьям он, однако, наотрез отказался. Он стыдил их, когда они требовали фотоаппарат, напоминал им, что они так же, как и он, христиане и что господь их обязательно покарает за жадность.
— А окромя того, — в заключение погрозил братьям Шитиков, — мне моя жизнь тоже не дорогая. Я в случае чего и повиниться могу. Могу поехать в губрозыск и повиниться. Кто я такой? Я человек темный. Извозчик. А вы все-таки люди образованные — фармазоны. Лекарства составляете, людей травите...
И с этими словами извозчик уехал к себе на Извозчичью гору. Но прожил он после этих слов только сутки.
Через сутки он был убит.
Все ясно, что касается убийства аптекаря. Остается только выяснить, кто убил извозчика Елизара Шишкова.
Братья Фриневы отказываются говорить об этом. Старший брат, Борис, сознался как будто во всем, рассказал в подробностях, как они отравили аптекаря, но об убийстве извозчика он, вот истинный Христос, ничего не знает.
А младший брат, Григорий, что сейчас сидит перед Журом, держит себя так, словно он и в отравлении аптекаря не принимал никакого участия.
— Поклеп, все поклеп на меня, — говорит он одно и то же, мотая лысой головой.
Жур, однако, терпелив. Даже излишне терпелив, как кажется Зайцеву.
— Григорий Митрофанович, — смотрит Жур почти жалостливо на младшего Фринева, — мы же с вами разговариваем не первый день. Зачем мы понапрасну время расходуем? Ведь все же главное и так ясно. А что не ясно, мы все равно выясним. Мы для этого тут работаем. А вы, честное слово, как дурака валяете. Брат у вас умнее...
— Ему и полагается, — пробует пошутить Григорий Фринев. — Он старший брат.
— Ну, скажите, если можете, откровенно, — просит Жур, — кто кому сильнее надоел: вы мне или я вам? Ведь вы же который день повторяете одни и те же слова...
— А что же еще повторять, если натуральный поклеп? — вскидывает на Жура оловянные глаза младший Фринев.
— Я бы его сейчас прямо сразу стукнул, — вспыхивает Зайцев, когда арестованного уводят обратно в камеру. — Он — вы же сами видите — просто играет у вас на нервах, как на гитаре.
Жур улыбается.
— Я же говорил вам, ребята, надо укреплять нервную систему. Нервы еще потребуются. Время такое, что нервы потребуются. Надолго еще потребуются. У нас нервы должны быть всегда вот какие...
Жур сжимает в кулак длинные, сильные пальцы левой руки. Правая у него еще на перевязи.
— Все равно, — пылает в красивых рыжих волосах голова Зайцева, — все равно таких, как эти Фриневы, по-моему, надо кончать всеми способами. Прямо немедленно кончать...
— Это как же? — опять улыбается Жур. Ему, видимо, нравится страстность Зайцева. — Как же ты, Серега, предлагаешь их кончать? Вот так же, как они кончали аптекаря?
— Хотя бы. Убийство за убийство. Я бы даже и разбираться не стал...
— Видишь, Серега, — трогает его за колено Жур, — это вот они, Фриневы, не разбирались. Они хапуги, жулики, воры и убийцы. А мы представляем здесь наше государство. Оно нас обязало разбираться. И оно обязано и нас наказывать, если мы плохо разбираемся...
— Но ведь сказано: карающий меч революции, — напоминает Зайцев.

«Он начитанный», — уважительно смотрит на Зайцева Егоров. Но Егорова сейчас, откровенно говоря, не сильно интересует этот разговор. Он хотел бы сегодня пораньше уйти — отнести домой получку. Ох, наверно, будет рада Катя!
— Меч, ведь он очень острый, Серега, — ходит по узенькой своей комнатке Жур. — Особенно если он карающий. С ним требуется большая осторожность. Очень большая осторожность. Нам наша партия на это прямо указывает...
— Но партия не указывает, что надо нюнькаться со всякими отравителями, — возражает Зайцев. — Когда я еще хотел поступить в уголовный розыск, у меня было такое представление, что здесь сразу кончают. Берут и сразу в случае чего... кончают...
— Тогда ты ошибся, Зайцев, — вдруг останавливается Жур и смотрит на Зайцева в упор. Лицо у Жура становится каменным. — Тогда тебе всего лучше было пойти в палачи...
Эти слова ошеломляют Зайцева. И может быть, даже выражение лица Жура пугает. Зайцев молчит, опускает глаза. Потом внезапно усмехается.
— Ну, вы тоже скажете, товарищ Жур!
И Жур, должно, быть, чувствует, что перехватил.
— Чудак ты, Серега, — говорит он, чуть помедлив. — Чудак. Молодой еще. Больно горячий. Тебе еще надо книги почитать, подумать, поглядеть, как народ живет, узнать, в чем его трудность жизни. Бывает, что люди и в преступники попадают от безвыходности. Если всех вот сразу так карать...
— А эти братья Фриневы тоже попали от безвыходности?
— Ну, эти другое дело, — морщится Жур. Он задел больной рукой о спинку стула. — Этих мы не будем брать в пример. Но с ними нам по закону тоже надо как следует разбираться.
Жур подходит к столу, перелистывает бумаги.
— Довольно, ребята, философии. Я займусь, однако, Грачевкой. Надо нам готовить большую операцию. А ты, Серега, вот что. Поезжай привези сюда нового мужа этой вдовы аптекаря. Надо его во что бы то ни стало найти. Парфенов Терентий Наумович. Нет, вы лучше поезжайте вдвоем с Егоровым. И смотрите в оба. Мне думается, по некоторым данным, что это серьезный жук. Он может много прояснить в аптекарском деле. А в общем дело неинтересное...
— А мне показалось, что оно интересное, — вдруг говорит все время молчавший Егоров. — Как ловко вы его раскрыли...
— Не все еще раскрыли, — уже уселся в свое кресло Жур. — Надо, однако, стараться дальше так же все тщательно анализировать...
Это непонятно Егорову. Как это надо стараться анализировать? Но спрашивать сейчас об этом у Жура неловко. После надо спросить, в подходящий момент.
Жур вчитывается в бумаги. Лицо у него становится необыкновенно озабоченным.
Зайцев и Егоров уходят.

15

Зайцеву и Егорову снова надо было ехать на Извозчичью гору, где на Водопойной улице, в Щенячьем тупике, проживает новый муж вдовы аптекаря некто Парфенов Терентий Наумович.
Извозчичья гора, наверно, долго еще будет притчей во языцех. Долго еще будет тут ютиться разная шпана. И не только городские жители, но и работники уголовного розыска долго еще будут с особым чувством вспоминать об этой горе, о ее огромном заросшем густым кустарником кладбище, о «хитрых хазах» и «малинах», что теснятся за кладбищем и вокруг него.
Не отличишь, где живут кустари и где настоящие, опытные, профессиональные бандиты. Все смешалось здесь, как на свалке.

Понятно, что» Егоров и Зайцев чувствуют себя по-особому настороженно, снова отправляясь на Извозчичью гору.
Егоров немножко тревожится из-за того, что с ним сейчас вся его двухнедельная получка. Вдруг что-нибудь случится — деньги пропали. А как обрадовалась бы Катя, увидев эти деньги...
На углу Кузнечной и Стремянной Зайцев остановил извозчика точно так, как это сделал Жур, когда они ехали на первое в своей жизни происшествие поднимать мертвого аптекаря. А теперь они едут одни, без Жура.
Жур сказал, что этот Парфенов, муж бывшей аптекарши, серьезный жук.
«Интересно, сейчас узнаем, какой он жук, — думает Егоров. И уже забывает о том, что у него в кармане вся его получка. — Парфенов, Парфенов. Фамилия какая знакомая!» Потом он думает над словами Жура: «Надо стараться все тщательно анализировать».
Егоров готов изо всех сил стараться, но ему непонятно: как это надо анализировать? И в книге господина Сигимицу ничего об этом не сказано.
Егоров и Зайцев сидят рядом в извозчичьей пролетке с поднятым кожаным верхом. Впереди у них толстая ватная спина извозчика в круглой войлочной шляпе с блестящей пряжкой на околыше.
— Как ты это понимаешь, Сергей, — «надо анализировать»?
— А чего тут не понять? — говорит Зайцев. — Очень просто. Человек, допустим, отказывается: я, мол, не воровал. А ты ему все равно не веришь. Ты делаешь в уме свой анализ: нет, мол, я тебя знаю, ты вор...
— А если он правда не вор?
— Все равно ты должен его подозревать. Ты всех должен подозревать...
— Всех?
— Ну да. Никому верить нельзя.
Зайцеву уже все понятно. А Егоров во многом сомневается.
— Погоди, Сергей. Как же это так? Никому верить нельзя. Это, выходит, мы должны жить, как Елизар Шитиков. Это же он перед смертью сказал. Так прямо и в протоколе записано. Шитиков сказал братьям Фриневым, что, мол, отдайте мне деньги вперед, потому что по теперешним временам никому верить нельзя...
Зайцев смеется.
— Он правильно сказал. — И кивает на спину извозчика. — Ты поосторожнее с разговорами. Мы на дело едем...
— А я ничего особенного и не говорю, — оправдывается Егоров. — Но понимаешь, что я думаю. Если всех подозревать и всем не верить, так это получается, что все люди плохие...
Зайцев подтягивает голенища сапог. Один сапог вытирает об извозчичий плюшевый коврик и досадливо морщится.
— Для чего ты сейчас завел этот разговор? Плохие, хорошие... Ты, честное слово, как... как девушка какая-то. Или даже как... баба...
Егоров молчит. В самом деле, может быть, он завел сейчас ненужный разговор?
А Зайцеву хочется, видимо, сгладить излишнюю резкость слов, и он, помедлив, говорит уже другим тоном:
— Ты пойми, Егоров, одно. Если ты, допустим, не работаешь в розыске, если ты просто человек, ты можешь верить кому хочешь...
— Но я все равно остаюсь человеком, — перебивает Егоров, и лицо его принимает упрямое и даже сердитое выражение.
Зайцев опять смеется.
— Ох, до чего ж ты забавный... — И, выглянув из пролетки, делает строгое, озабоченное лицо, такое же, как у Жура. — Кажется, мы с тобой приехали.
Он» подходят к высоким зеленым воротам.
Зайцев не начальник Егорову. И никто не говорил, что Зайцев должен быть старшим. Но он ведет себя как старший.
— Ты меня тут жди, Егоров, у ворот. Если услышишь стрельбу или я крикну, тогда забегай в ворота. А если все тихо, просто стой. Конечно, если кто побежит, задерживай. Тут зевать никак нельзя...

Егоров ждет Зайцева минут пять, десять. Никто не бежит, не кричит, не стреляет. Все тихо вокруг.
Только внизу, под горой, ревет невидимая отсюда река, ревет и глухо скрежещет. Трудно ей. Мороза все еще нет — настоящего, крепкого, сибирского. Не скоро еще в этом году замерзнет река. А она буйная, озорная.
Егоров вспоминает лекцию в клубе имени Марата. И лектора вспоминает, седенького старичка. Он говорил, что здание величайшей гидростанции, которая будет выстроена на этой реке, вероятно, разместится в районе так называемой Извозчичьей горы.
Егоров сейчас думает об этом. И ему становится вдруг весело. Все тогда тут изменится, на этой горе. Все эти хибарки придется сломать. И все воры и бандиты разбегутся как тараканы. Или они будут тут работать на гидростанции, на строительстве. Их заставят тут работать...
Из ворот выходит Зайцев. Нет, пока ничего не получилось. Вдова аптекаря говорит, что она ничего общего не имеет теперь с Парфеновым. Он оказался, говорит она, темной личностью. Да, она им одно время увлекалась. Но это было временное увлечение. Она жалеет об этом.
Зайцев, однако, разузнал у вдовы про всех родственников и знакомых Парфенова, записал их адреса, взял его фотографию. Теперь будет легче его искать. А он явно скрывается. И вообще подозрительный тип. Нигде не работает и что делает — непонятно. И непонятно, чем он мог соблазнить аптекаршу. На фотографии он в котелке, при галстуке, морда отвратительная, отлитая из какого-то тяжелого серого вещества, глаза сонные. Это он снимался еще до революции.
— Ну, пойдем, — говорит Зайцев.
Почти весь день они потратили на поиски этого неуловимого Парфенова. Они ездили и на извозчиках и ходили пешком.
Егоров несколько раз хотел продолжить разговор о том, как надо анализировать. Но Зайцев сердился:
— Не люблю разговаривать про разную бузу, когда надо работать, соображать. Жур, наверно, думает, что нас уже ухлопали. А мы никак не можем найти этого типа в котелке...
В каждом доме, куда они заходили, им говорили, что Парфенова нет. Был недавно, но сейчас нет. И давали адрес места, где он может быть. Они узнали, между прочим, что у Парфенова уже есть новая симпатия — некая Нюшка. Но фамилия ее неизвестна. Однако живет она на Канавной улице, дом номер то ли шесть, то ли семь, а может, и десять.
На Канавной Зайцев сразу облюбовал маленький старый домик, у ворот которого на лавочке сидела старуха. А над нею качался, поскрипывая на ветру, жестяной сапог, извещавший, что здесь живет сапожник.
«И Парфенов здесь живет», — почему-то сразу, каким-то непостижимым чутьем, угадал Зайцев, хотя на воротах написан краской номер три.
Зайцев подошел к старухе.
— Терентий дома?
— Да он дома, и нету его. Он вышел, — сказала старуха. — А ты чей? Веркин брат, что ли?
— Веркин брат.
— Так вы проходите. Они вас ждут. Нюшка сейчас пельмени будет крутить. Терентий побег за мясорубкой к Захаровым. Да вон он сам идет, — вдруг показала старуха.
Из соседних ворот вышел огромный мужчина в пальто, накинутом на плечи, и в бобровой круглой шапке с бархатным верхом, нисколько не похожий на свою дореволюционную фотографию. В правой руке у него была мясорубка.
— Вы Парфенов Терентий Наумович? — пошел ему навстречу Зайцев.
— Хотя бы...
— Вы нам будете нужны на минутку. Пройдемте с нами. Тут неудобно стоять...
— Это кому же... неудобно?
Мужчина без заметной тревоги, но с явным презрением оглядел совсем молодых ребят — одного в потертом, узковатом в плечах пальтеце, с рыжими волосами, прикрытыми старенькой кепкой, другого в стеганой телогрейке и в вылинявшей, должно быть гимназической, фуражке.
— Да вы что, сопляки, на бимбор, что ли, меня хотите взять?

И он взмахнул мясорубкой.
Всегда Егоров будет восхищаться Зайцевым.
Пусть они потом поссорятся, будут сильно и непримиримо враждовать. Но Егоров не забудет, как Зайцев стремительно толкнул верзилу головой в живот.
А пока Парфенов подымался, Зайцев двумя ударами как обрубил ему обе руки.
Егоров только и сделал, что отпихнул ногой от Парфенова выпавшую мясорубку.
— Бабушка, — сказал он старухе, — возьмите ее. Приберите...
А старуха даже не ойкнула. Она почти спокойно взирала на эту сцену. Мало ли бывает драк на Извозчичьей горе!
— Не шуми, — прямо в ухо Парфенову дохнул Зайцев. — Ты понял, мы откуда?
— Как не понять.
— Иди тихонько вперед. Побежишь — убью, — пообещал Зайцев и сунул руку в карман, где у него лежал теперь настоящий бельгийский браунинг.
— Бабушка, — опять сказал Егоров, — вы действительно приберите мясорубку. Мы ушли...
— А Жур говорит, что Сигимицу — это пустяки, — засмеялся Егоров, когда они сели опять рядом в извозчичью пролетку.
Огромного Парфенова они посадили впереди себя на узенькое сиденье.
— Давай, извозчик, прямо в уголовный розыск, — тронул Зайцев извозчика за рукав.
Егоров был уверен, что в розыске теперь только и будет разговору о том, как Зайцев красиво задержал этого верзилу Парфенова. Вот уж действительно здорово!
Но в розыске даже внимания никто не обратил на этот факт. Задержали и задержали. Чего же тут особенного?
И Жур не похвалил стажеров.
Жур вначале был как будто недоволен, что они так много времени убили на розыски Парфенова. Потом он сказал:
— Ну, ладно, ребята, аптекарское дело у нас вроде того что идет к концу. Надо его поскорее закруглять и заниматься серьезными делами. Завтра я вас познакомлю с Грачевкой. Тут придется пораскинуть мозгами. А на сегодня вы свободны. Идите по домам.
Егоров вынул из-за пазухи старенькое, еще отцовское портмоне с шариками на застежке и отдал Журу долг, положив деньги на стол, на бумаги.
— Спасибо, — сказал Егоров.
— Не за что, — сказал Жур. И ссыпал деньги с бумаг в выдвинутый ящик письменного стола.
Зайцев опять пригласил Егорова в «Париж». И можно было бы пойти: деньги есть. Но Егорову хотелось поскорее обрадовать Катю, и он предложил Зайцеву:
— Может, ко мне пойдем, Сергей? Возьмем закуски, пива, все, что надо, и пойдем ко мне. Посмотришь, как я живу. Посидим по-семейному.
— Нет уж, это я успею, — засмеялся Зайцев. — Я еще насижусь по-семейному.
Егоров зашел по дороге в роскошный гастрономический магазин Егорова.
Из-за этого однофамильца у него уже были неприятности. Когда еще в Дударях на маслозаводе его принимали в комсомол, все спрашивали, не сын ли он этого Егорова, не родственник ли. Как будто на свете и есть всего один—единственный Егоров, владелец магазина и кондитерской фабрики.
В магазине у Егорова разбежались глаза. Всего было много, и все хотелось купить.
На полках до самого потолка стояли коробки с конфетами и с печеньем, бутылки с вином и сладкой водой. На прилавках лоснились окорока, колбасы, сыр, балыки, икра. И продавщицы в белых наколках на головах розовыми пальцами резали и взвешивали на бронзовых весах всю эту благодать.
Егоровский магазин, помимо всего, славился своими продавщицами: все, как на подбор, красавицы, любая, кажется, хоть завтра могла бы пойти в киноактрисы. Но в том-то и дело, что пойти они никуда не могли. Во всей стране была безработица.
Очень трудно было найти работу. Но если человек ее нашел, — хоть какую, — он мог не сомневаться, что еда, одежда, обувь и все прочее у него будут. Магазины по всей стране ломились от изобилия продовольствия и разных товаров. Требовались только деньги.
И вот у Егорова сегодня они опять появились.

Егоров зашел, чтобы купить колбасы, которой он не ел, пожалуй, с самого детства. И в детстве ел не так уж часто, разве только в большие праздники — на пасху и на рождество. Да и, наверно. Катя забыла, какая она бывает, колбаса. Ребятам же ее этот продукт совсем мало знаком. Они родились в первые годы революции и росли в гражданскую войну. Какие уж им в это время доставались продукты...

Егоров пригляделся к ценам, прикинул в уме, во что ему обойдутся все покупки, и твердо решил оставить в этом магазине ровно четверть получки.

Он купил и колбасы, и ветчины, и сыру, и балыка, и две пачки печенья «Яхта», и большую коробку бело-розовых конфет под названием «Зефир», и три бутылки сладкой воды. И бутылку портвейна. Хотя не был уверен, что Катя одобрит это последнее приобретение.

Но Катя одобрила портвейн.

— Что мы, разве не люди? — вонзила она взятый у соседей штопор в пробку. — Вот сейчас и выпьем за все хорошее, что еще будет в нашей жизни. А детям ты правильно Купил сладкой воды. Я им на Первое мая ее покупала. Они ее очень любят...

Подле стола ходил уже чисто вымытый, обряженный в старенький матросский костюмчик, из которого вырос младший сын Кати, приемный сынок Егорова Кеха и смотрел на разложенную еду вострыми глазами волчонка. Чтобы успокоить Катю, Егоров сказал:

— Я его завтра же сведу в детский дом. Я уже знаю, куда я его сведу...

— Погоди, — будто не слушала брата Катя, оглядывая стол. — Погоди, я еще селедочку хочу лучком обложить. Ах, жалко до чего, что мы Алексей Егорыча не можем пригласить. Пусть бы он с нами выпил. Хороший человек. Ведь он все захаживал, спрашивал, как мы живем. Вот и пусть бы поглядел, как живем...

Есть из многих великих, жизнеутверждающих качеств нашего народа одно поистине удивительное — забыть мгновенно при первой же удаче все плохое, что было, и помнить только о хорошем и надеяться только на хорошее.

Катя вспомнила в этот вечер и Алексея Егорыча, ломового извозчика, в долг перевозившего ей дрова, и тетю Настю, прачку, вот уже второй год безвозмездно разрешавшую ей пользоваться вместительным баком для парки белья, и Зину Козыреву, девицу легкого поведения, подарившую ее детям к празднику два фунта кедровых орехов.

Счастливая Катя всех хотела осчастливить в этот вечер, всех хотела пригласить к своему столу. Но было уже слишком поздно. А праздничный ужин нельзя было откладывать. Уселись за стол только своей семьей.

Выпив рюмку портвейна, Катя сразу захмелела, стала много говорить, много беспричинно смеяться. Приблизила к себе приемыша и долго гладила его, говоря:

— Какой хороший мальчик! И зовут хорошо, чисто по-сибирски — Кеха. Значит, Кеша, Кеночка, Иннокентий...

— Я сведу его, — опять пообещал Егоров.

— И не думай! — вдруг строго сказала Катя. — Что значит «сведу»? Я обмыла его, приодела, видишь, как хорошо обстригла — в кружок, хотя у меня ножницы тупые. А ты теперь будешь говорить «сведу». Нет, уж пусть он у нас тут растет. Где три, там и четыре. И это большое дело, Саша, что ты уже работаешь, что ты уже на своей тропе. И я работаю. А если есть работа, значит, есть и деньжонки. А при деньгах и купить все не трудно. Для чего же мы будем от себя хорошего мальчика отгонять? Пусть растет при нас. И нам веселее...

Так решилась в тот счастливый вечер судьба случайно найденного мальчика Кехи, получившего широко известную фамилию Егоров. Но его уж впоследствии, наверно, не будут спрашивать, не сын ли он, не родственник ли владельцу роскошного гастрономического магазина Егорову.

На работе теперь, кажется, только один Воробейчик продолжал подсмеиваться над Егоровым:
— Ну как, ребенок-то у тебя, живет?
— Живет.
— Кормишь его?
— Кормлю.
— А как кормишь-то? Чем? Грудями?
— Грудями, — отвечал Егоров. И проходил мимо.
У него были прежние башмаки, на которых по-прежнему хлябали еле державшиеся подметки, но он все-таки после первой получки тверже ступал по земле, хотя по-прежнему было не ясно, оставят ли его на этой работе.
А работы все прибавлялось и прибавлялось. И работа становилась все более сложной. Жур доверял теперь Егорову так же, как и Зайцеву, вести некоторые допросы, посылал их с кем-нибудь из старших на происшествия даже весьма серьезные, где надо было проявить и сметку, и ловкость, и мужество. И Егоров вел себя не хуже других — и стойко, и серьезно, и находчиво.
И все-таки Воробейчик продолжал подсмеиваться над ним.
Непонятно было, за что Воробейчик так невзлюбил Егорова, но всякий раз он как нарочно, и, может, в самом деле нарочно, старался подчеркнуть, что Зайцев — это действительно оперативник, огневой паренек, как любил выражаться Жур, а Егоров — это вроде как ходячее недоразумение.
В Баульей слободе произошло убийство.
Воробейчик пришел сообщить об этом Журу, потому что Жур ведет почти все дела, связанные с убийствами и крупными вооруженными ограблениями. Журу бы и сейчас надо было выехать в Баулью слободу. Но Жур был занят подготовкой к важной операции. Поэтому он попросил Воробейчика:
— Съезди, пожалуйста, сам. Возьми с собой моих ребят. Им тоже невредно промяться.
— Я Зайцева возьму, — сказал Воробейчик, хотя Егоров сидел тут же, в этой узенькой комнатке Жура.
— Ну, возьми Зайцева, — согласился Жур. — Мне все равно.
И Журу действительно было все равно. Он даже не заметил, что Воробейчик особо выделяет Зайцева.
А Егорову, конечно, было обидно, хотя он сам признавал, что Зайцев паренек на редкость огневой, и сам им восхищался. Но всякому человеку, пожалуй, станет обидно, если его все время убеждать, что он тут вроде мебели присутствует. И Егорову стало обидно.
Ему казалось даже, что Воробейчик нарочно превозносил Зайцева, рассказывая о его необыкновенной храбрости, когда они вернулись из Баульей слободы.
— Ты понимаешь, Ульян Григорьевич, я сам в первую минуту немножко ошалел, — рассказывал Воробейчик Журу. А вокруг стояло много сотрудников. — Приезжаем мы туда. Глядим, лежит у сарая здоровенный мужик — мертвый. А убийцу граждане с трудом загнали в сарай, и он там ревет, как медведь: «Всех расшибу!» Нас предупреждают, что в руках у него мясницкий топор. Его так с топором и загнали в сарай. Ну, что тут делать? Стрелять в него как будто не положено, а у него топор. Вот такой, ну, обыкновенно мясницкий. Трахнет по башке — и привет родителям. Я, открыто говорю, задумался. А Зайцев спокойно подходит к сараю и сбрасывает заложку. Убийца даже ахнуть не успел, как Зайцев вышиб у него топор и ему еще для верности два раза врезал по морде. Тут мы замечаем, что убийца пьяный в дымину. Он все лезет и лезет к Зайцеву. И Зайцев вдруг озверел. Я у него еле вырвал этого убийцу. Зайцев бы его самого свободно убил...
Журу, должно быть, не понравился этот рассказ. Он слушал Воробейчика, чуть нахмурившись. Или просто Жур был еще занят своими мыслями, связанными с другими делами, и поэтому хотел, чтобы Воробейчик поскорее досказывал.
На убийцу Жур не пошел смотреть, спросил только, из-за чего произошло убийство.
— Из ревности, — сказал Воробейчик.
— Ну ладно, я этим потом займусь, — решил Жур. И попросил Воробейчика произвести предварительный допрос убийцы.

Журу было очень некогда. Он в тот же день к вечеру должен был выехать на крупную операцию в Грачевку. Уже расставил соответственно людей и думал об этой операции, старался думать только о ней. Но никак не мог по-настоящему сосредоточиться, потому что его все время отвлекали всякие другие более мелкие дела, которыми, однако, нельзя не заниматься.
Опять вдруг всплыло это аптекарское дело. Следователь требовал от Жура каких-то дополнительных данных. Следователь утверждал, что у него нет достаточных оснований подозревать именно Парфенова в убийстве Елизара Шитикова, хотя это яснее ясного. Братья Фриневы, конечно, не признаются, что они наняли Парфенова на это убийство. И Парфенов не признается. Им всем невыгодно увеличивать себе меру наказания. Но их уличают вещественные доказательства. Разве это не улика, что фотоаппарат, подаренный братьями Фриневыми аптекарю Коломейцу и взятый потом в комнате мертвого аптекаря извозчиком Шитиковым, оказался в конце концов у Парфенова? Как он к нему попал? Как попали к Парфенову такие личные вещи Шитикова, как серебряные часы в форме луковицы, бумажник, опознанный женой извозчика?
Чего же еще надо следователю?
Жур готов, если угодно, снова заниматься этим аптекарским делом. Но ведь и так все ясно. И следователю тоже не вредно раскинуть мозгами. А главное — Журу некогда, у него сегодня важная операция в Грачевке.
К тому же его вызывают к трем часам в городской комитет партии: контрольная комиссия не согласна с решением партячейки губрозыска по делу Кумякина, работавшего здесь уполномоченным и получившего по партийной линии строгий выговор с предупреждением. Жур, как секретарь партячейки, должен явиться в контрольную комиссию. И он должен все — держать в голове. Все подробности дела Кумякина, и аптекарское дело, и сложный переплет агентурных сведений, необходимых для операции в Грачевке.
Ни с кем он поделить этих дел не может. Он не начальник. Он, в сущности, обыкновенный работник уголовного розыска — уполномоченный. Старший уполномоченный. Только и всего. И, кроме того, у него болит рука, потому что для ее заживления нужен покой. Но покоя, наверно, не будет до самой смерти.
Жур все время хмурится. А Егорову кажется, что он хмурится оттого, что недоволен им, Егоровым. Но что же Егоров делает не так?
К пяти часам дня Журу наконец удается во многом убедить следователя, побывать в контрольной комиссии, провести два допроса, имеющих некоторое отношение к предстоящей операции. И он заметно веселеет. И сразу веселеют приставленные к нему стажеры — Егоров и Зайцев.
Впрочем, Зайцева, кажется, не сильно занимает настроение Жура. Зайцев уверен, что все идет так, как и должно идти. Он спрашивает Жура:
— А может, вы допросите Соловьева?
— Какого это еще Соловьева?
— Ну, этого убийцу, которого мы с Воробейчиком привезли из Баульей слободы...
Жур хотел бы отдохнуть, почитать газету, выпить чаю. Даже неплохо было бы побывать дома перед операцией. Неплохо бы хоть часок вздремнуть. Но он сам не любит, когда у него остаются «хвосты» от дневных дел. Они переходят на завтра. А завтра появляются новые дела и, стало быть, новые «хвосты». Особенно нехорошо переносить на завтра допросы, если их можно завершить сегодня. Зачем излишне томить арестованного человека?
— Давай его сюда, — говорит Жур.
Зайцев уходит. Молодец Зайцев! Он не ждет, что прикажет сделать Жур, он даже сам подсказывает, что делать Журу.
Жур готовится к допросу, кладет перед собой на столе бланки протоколов, вставляет в ручку новое перо.
В коридоре лязгает винтовка. Это милиционер и Зайцев ведут арестованного.
Наконец Зайцев открывает дверь и вталкивает в комнату худенького человека в разорванной рубахе без пояса.
Арестованный, видимо, еле стоит на ногах. Левый глаз у него заплыл, нос вспух. Из рассеченной брови сочится кровь.

— Прошу садиться, — строго говорит Жур. И вдруг вскрикивает: — Афоня!
— Жандармы. Сучье племя — жандармы, — всхлипывает арестованный. Глядеть на вас не хочу...
Жур выходит из-за стола.
— Да ты что, сдурел, что ли, Афоня? Это ж я, Ульян...
— Все вы гады... Жандармы...
— Ну и дурак, — удивленно смотрит на него Жур. — Да ты сядь, тебе говорят. — И, трогая его левой рукой за худенькое плечо, усаживает. Егоров, налей воды...
Арестованный пьет воду, захлебывается, плачет, зубы стучат о край стакана.
В комнатке распространяется запах самогонного перегара.
— Я, конечно, дурак. Вы все больно умные, — опять всхлипывает арестованный и дрожит всем тщедушным телом. — Меня вот сейчас выведут в расход, а вы будете сидеть тут в тепле. Жандармы...
— Ну, будет молоть чепуху-то, — чуть суровеет Жур. Он гладит арестованного, как ребенка, по голове, будто старается причесать его жиденькие волосы. — Ты что, зазяб, что ли? Может, чаю выпьешь? Егоров, скажи, чтобы принесли чаю...
Приносят чай. Жур достает из ящика письменного стола сахар, кладет в стакан, размешивает ложечкой, подвигает стакан арестованному, вздыхает:
— Эх, Афоня, Афоня! Что ж это, брат, случилось-то такое?
— Случилось, — отхлебывает чай Афоня и морщится: чай очень горячий. Марафонтова знаешь?
— Это какого? Илью Захарыча?
— Нет, Тимку, сына его.
— Конечно, знаю.
— Вот я его и аннулировал сегодня. Прямо насмерть. Даже сам не ожидал...
И Афоня медленно рассказывает историю своего тягчайшего преступления.
Жур не записывает ее в протокол. Он сидит не за столом, а посреди комнаты на стуле, опустив голову. Ему тяжко слушать эту историю.
Афоня Соловьев если не дружок ему, то, во всяком случае, старый знакомый, старый товарищ. Они еще в тринадцатом году, в тысяча девятьсот тринадцатом, вместе работали в экипажной мастерской Приведенцева: Афоня жестянщиком, а Жур молотобойцем.
И во все бы мог поверить Жур, только не в то, что Афоня Соловьев, хилый, болезненный, смирный, может убить человека. А вот смотрите, убил. И зверским способом — мясницким топором.
— Может, еще хочешь чаю?
— Горит у меня все внутри, — показывает на голую свою грудь Афоня и опять вздрагивает и плачет.
Был давно такой слух, что Грушка, Афонина жена, путается с мясником Марафонтовым. Надо было бы Афоне давно уйти от нее или ее прогнать. Но жалко было деток. Две девочки беленькие — Тамарка и Нина. Ну как они останутся без матери? И Афоня терпел. Может, еще, думал, наговаривают лишнее на Грушку злые люди.
Да и выяснить все это досконально Афоне было некогда. Он все время в разъездах. Постоянной работы давно нет. Все случайные заказы.
И Марафонтов в прошлом году ему дал заказ — сделать большие бидоны для молока. Афоня сделал, а деньги не получил. Марафонтов жаловался, что нету денег, — все, мол, израсходовал на новый магазин. Вот наторгую, мол, и отдам.
А Афоне тогда случилось уехать в Дудари, подработать на маслозаводе. Он работал там почти что восемь месяцев. Мог работать бы еще с полгода, но соскучился больно по семье — по своим девочкам. И по Грушке тоже.
Приезжает вчера, выходит на вокзале, идет в киоск купить жене и детям подарки и тут встречает сильно подвыпившего соседа своего по дому Емельяна Лыкова, проводника вагонов, который со смехом нехорошим вдруг говорит: «Да ты что стараешься шибко насчет подарков-то? Разве хватит у тебя средств подарить такое, что дарит твоей жене Марафонтов Тимка?»
Вся душа как перевернулась у Афони от этих слов. Даже домой идти не захотел. Сдал он вещи в камеру хранения, а сам пошел к знакомой старухе в шинок тут же, при вокзале.

Уже сильно пьяный явился домой, когда девочки спали, а Грушка, заспанная, на его укоры дерзко ответила: «Что ты колешь мне глаза Марафонтовым? Что, ты разве денег мне много оставил на харчи, чтобы я не ходила к Марафонтову?»
Так вся ночь и прошла в скандале.
А утром Афоня снова выпил и пошел требовать долг за те бидоны для молока.
В лавке много было народу. Марафонтов не хотел излишнего шума при покупателях и стал тихонько выталкивать Афоню из лавки, говоря: «Ты и так и жена твоя хорошо попользовались от меня. Я жалею даже, что связывался с вами. Нужна мне твоя Грушка, как собаке пятая нога! Ее каждый может поманить, твою Грушку, за полфунта мяса. И тебя самого. Вечные вы нищие. Избаловала вас Советская власть. — И еще сказал Марафонтов уже за дверями лавки: — Уйди ты за ради бога и не являйся больше, а то вот тяпну я тебя неосторожно топором по башке, будешь знать, как являться оскорблять».
Эту мысль несчастную о топоре подал пьяному Афоне сам Марафонтов. И еще взмахнул топором для острастки. А дальше уж случилось черт знает что.
Афоня выхватил у Марафонтова топор и закричал страшным голосом, что убьет в одночасье себя и всех подлецов, кто торгует и ворует и с чужими женами живет.
Марафонтов, может, в десять раз сильнее Афони Соловьева. Он саженного роста, Марафонтов. Но тут он струсил вдруг и кинулся во двор.
А в Афоне прибавилось сил от трусости Марафонтова. Он погнался за ним. И не верил до последнего, что убьет, что хватит у него смелости убить. Но убил...
Афоня опять заплакал, опустив голову. Потом поднял ее и сказал твердо, со злостью:
— А уж после приехала жандармерия, когда я запертый сидел в сарае...
— Да какая жандармерия? Чего ты мелешь, Афоня, несусветную чепуху?
— А вот та жандармерия, которая, видишь, глаз мне как испортила, покривился арестованный. — Судить судите, можете даже расстреливать, а бить по глазам не имеете полного права. Не для этого Советскую власть устанавливали. Я сам с дробовым ружьем сражался против Колчака. Имею ранения...
Зайцев встал и вышел, но вскоре вернулся, — видимо, хотел показать, что не боится отвечать за свои действия. Он спокойно сидел у края стола и, не мигая, смотрел на арестованного.
Жур пошел к Водянкову. Он попросил Водянкова взять это дело об убийстве к себе, так как убийца личный знакомый Жура. И едва ли теперь удобно Журу самому вести такое дело.
Арестованного отправили обратно в камеру.
Жур собирался на операцию. Он звонил по телефону, вызывал к себе людей — словом, делал все, что делается в таких случаях.
На Зайцева он не смотрел и ни о чем его не спрашивал, хотя Зайцев все время сидел у стола.
Только когда позвонили, что автобус готов, Жур сказал:
— А ты, Зайцев, иди домой. Отдыхай...
— Почему?
— Ты уже сегодня совершил один геройский подвиг. Будет с тебя...
— Ладно, — надел кепку Зайцев и пошел к двери. Но у двери остановился. — Я все-таки хотел бы выяснить, Ульян Григорьевич, с чего вы вдруг так обиделись на меня? Ведь я там был не один, в Баульей слободке, когда мы брали этого убийцу Соловьева. Со мной был товарищ Воробейчик, и он не считал, что я нарушаю инструкцию. Ну кто же знал, что этот убийца ваш знакомый? Или, может, даже дружок?
Жур надевал пальто. Надевать пальто при раненой руке ему было трудно. А Егоров не сразу сообразил, что надо помочь.
Журу стал помогать Зайцев.
— Спасибо, — сказал Жур, продевая в рукав левую руку.
Правую просто прикрыл полой и, не застегиваясь, пошел к автобусу.
Так Зайцев и не получил в тот вечер никаких ответов на свои, в сущности, дерзкие вопросы. И на операцию не поехал.

17

Операция сложилась крайне неудачно. Агентурные сведения, на которых строился первоначальный план, оказались ложными или путаными.
В Грачевке не удалось найти не только крупной партии оружия, как рассчитывал Жур, но даже стреляной гильзы не удалось найти.
Дедушка Ожерельев и его сын Пашка тоже не дураки. Они сами до ареста или их сообщники, еще не задержанные, успели, видно, вывезти оружие из Грачевки. А куда вывезли — пока неизвестно. Да и было ли оружие здесь?
Жур уже стал сомневаться. И все-таки, надеясь на удачу, он всю ночь рыскал по этой слободе, по этим глубоким оврагам, застроенным покосившимися хибарками и бараками. Все было безрезультатно.
Жур устал до последней степени, хотя и не желал из упрямства признаваться в этом даже самому себе. Пронзительный ветер исхлестал ему лицо, и шею, и плохо прикрытую легким шарфом грудь.
И спутники Жура уже стали сердиться на эту бесплодную операцию, когда произошла приятная неожиданность.
Приятной эту неожиданность назвал Воробейчик. Он первым и совершенно случайно набрел на крупного преступника, на Федьку Буланчика, известного прихватчика, который действовал почти всегда в одиночку, заметных знакомств не вел, и поэтому долгое время поймать его не удавалось.
Над обрывом над рекой Саманкой, открытый всем ветрам, стоит беленький, аккуратный домик вдовой прачки Курмаковой Авдотьи Захаровны. Ничего подозрительного за ней никогда не наблюдалось. Жила она после смерти мужа-портного одиноко, смирно, стирала на дому белье — видная женщина лет за тридцать, русые волосы, голубые глаза, весьма опрятно одетая.
Известно было, что сватались к ней в разное время мясник Новокшенов, лавочник Дудник, столяр и ящичный мастер Орлов Егор Кузьмич — все тоже видные вдовцы. И ни за кого она не пошла. Говорили, что ей будто совершенно опротивел мужской пол.
И вдруг у нее, у этой прекрасной, прекрасного поведения женщины оказался ночью в доме опасный и злой ворюга Буланчик.
Он спал не на кровати, а на отдельной перине, постланной на сундуке, в одном белоснежном белье, ничем не укрытый, так как в домике жарко натоплено.
И еще топится плита, над которой сияют на полке медные тазы и кастрюли, начищенные до ослепительного блеска. А на плите жарится и потрескивает в глубокой сковородке картошка со свининой, нарезанной квадратными кусками.
— Он пришел ко мне недавно, — показывая на спящего, объяснила вдова. Ну, пришел, прилег отдохнуть. А я ему вот готовлю ужин. Он через часик хотел уходить. Он всегда если зайдет, так ненадолго...
Буланчик спал так сладко, как спят только в раннем детстве. И причмокивал губами во сне — толстыми надутыми губами, — будто обиделся на что-то и обида эта никак не проходит.
А работники уголовного розыска Жур, Воробейчик, Водянков и Егоров стояли тут же у плиты и разговаривали с вдовой. Знала ли она, что этот человек преступник?
— Догадывалась, — кротко ответила она. — Он же нигде не работает, ничем не торгует, а одевается чисто, как какой-нибудь частник, нэпман. Вот глядите, какое у него пальто, с бобровым воротником...
— Это не его пальто, — определил Водянков. — Это доктора Кукшина пальто. Доктора Кукшина, покойника.
— Вот видите, — сказала вдова. — Я тоже так догадывалась, что это чье-то пальто. И как он не боялся его носить! Ведь всегда могли родственники доктора узнать, если вы, например, не родственник и тоже узнали. Но он очень смелый, Федя. Ведь сколько раз я ему говорила и советы давала, чтобы он бросил свое занятие. Я так ему говорила: «Брось,

Федя, свою глупость, и тогда я буду с тобой жить. Даже, если хочешь, обвенчаемся. Я свободная гражданка». А он одно говорит: «Дотя... (Он так зовет меня — Дотя...) Я, — говорит, — Дотя, не глупее тебя». И вот, пожалуйста, достукался... — И женщина заплакала. — А я ведь знала его, когда он еще кровельщиком был. Он был хорошим кровельщиком. Он сватался ко мне, когда я еще не замужем была. Но родители толкнули меня, глупости ради, за Курмакова, вот за покойного моего мужа Курмакова, — и вдова показала на портрет мужчины с узенькими проволочными усами, висевший над сундуком, где спит Буланчик.
Егоров так же, как Водянков, как Воробейчик, осматривает, обыскивает весь домик, пока спит Буланчик. А Жур стоит подле Буланчика. И Егорову интересно, о чем думает сейчас Жур.
Наконец Жур кладет руку на плечо Буланчика.
— Ну-ка...
Буланчик вскакивает, сует руку под подушку. Но под подушкой уже нет браунинга. Браунинг в кармане у Жура.
— Да ты не пугайся, — говорит Жур. — Тебе бы раньше надо было пугаться...
Водянков пошел позвонить по телефону, чтобы вызвать автобус.
Автобус затарахтел у домика скорее, чем оделся Буланчик.
Буланчик все медлил и медлил. Жур обозлился.
— Выходи, — сказал он, слегка подтолкнув Буланчика. — Выходи. Нечего дурака валять...
Буланчик подошел к дверям в брюках, в сапогах, но без пиджака.
И тут черт дернул Егорова сказать:
— Пусть он наденет пальто, а то вон какой ветер. Его в одну минуту прохватит насквозь...
И Егоров, не спросившись, снял с вешалки пальто и, как швейцар, подал Буланчику.
Журу он не сообразил сегодня помочь надеть пальто, когда они ехали на операцию, не успел сообразить. А тут вот вору, преступнику, вдруг решил оказать услугу.
— Тебе бы, Егоров, на вешалке служить хорошо, в парикмахерской Маргулиса, — зло засмеялся Воробейчик.
И Жур сердито посмотрел на Егорова.
Всю дорогу в автобусе Воробейчик смеялся над Егоровым.
А Жур сердито молчал. Уж это можно было понять, когда Жур сердится. Конечно, он сердится не только на Егорова. Ему неприятно, что так бестолково прошла операция. Буланчик — это мелочь для Жура, копеечный трофей. Не стоило всю ночь бродить под ветром, чтобы словить Буланчика. А крупное дело не вышло.
Вот из-за этого и сердился Жур. Про Егорова он, наверно, и не думает, забыл. И Егоров немножко успокаивается.
Но когда автобус въехал во двор уголовного розыска и Воробейчик стал выталкивать арестованного из автобуса, не Воробейчик, а Жур вдруг сказал Егорову, кивнув на Буланчика:
— А ты что же? Подхвати его под ручку, окажи помощь... уж если ты такая... сестра милосердия...
Не поймешь Жура.
Зайцева он не взял на операцию за то, что Зайцев грубо обошелся с убийцей. А на Егорова сердился за то, что Егоров такой жалостливый. Чего же хочет Жур? Чего же он сам добивается?
— Иди домой, — сказал Жур Егорову. И посмотрел на свои ручные часы. Нам скоро опять на работу. Иди поспи...
Егоров пошел было домой, но, проходя по коридору мимо дежурки, увидел Зайцева. И Жур увидел Зайцева.
— А ты почему не ушел?
— Жду.
— Кого это?
— Вас. Надо бы нам все-таки поговорить, — как бы с вызовом сказал Зайцев.
— Что, мы с тобой завтра поговорить не успеем? — нахмурился Жур. Завтра еще будет время...

— А может, мне завтра не приходить, — достал из кармана Зайцев пачку папирос «Цыганка Аза». — Мне тоже без толку неинтересно тут толкаться, если не дают работы. — И, слегка встряхнув пачку, так, что из нее наполовину выдвинулись три тоненькие папироски, протянул Журу. — Курите...
Жур не взял папиросу. Жест стажера, видимо, не понравился ему. И слова не понравились. Жур еще больше нахмурился. Но Зайцев не придал значения этой хмурости и, еще раз встряхнув пачку, протянул ее Егорову.
— Хотя ты, кажется, не куришь.
— Иди домой, — опять сказал Жур Егорову. И слегка подтолкнул в плечо.
Но Егоров не уходил. Ему интересно было, чем кончится разговор Зайцева с Журом.
Зайцев размял папиросу в пальцах.
— Мне все-таки непонятно, Ульян Григорьевич, чем я вам не угодил. Ведь все-таки, как ни крутить, этот Соловьев убийца, хотя и ваш знакомый...
— Он приятель мой, — сказал Жур. — Хороший старый приятель, с молодых лет...
— Ну, тем более. Но я-то тут причем? Я действовал согласно инструкции.
— Что, в инструкции сказано, что надо бить по глазам?
— В инструкции это не сказано, — чиркнул спичкой Зайцев и стал смотреть на огонек, раньше чем прикурить. — Но понятно, что если убийца с топором, надо действовать решительно и смело. И не целовать убийцу. В инструкции прямо говорится...
— Что ты мне тычешь инструкцию? — отогнал Жур от себя рукой дым от папиросы Зайцева. — В инструкции всего не запишешь. Где, в какой инструкции сказано, что делать, когда хорошая, честная женщина живет с бандитом и любит его?
— У меня еще не было такого случая, — не понял Зайцев, к чему такой поворот в разговоре.
— И у меня раньше такого не было, — сказал Жур. — Ты вот инструкции читаешь. Прочитал еще книгу какого-то Сигимица...
— А что, инструкции не надо читать? — перебил его Зайцев. — Вы считаете, не надо?
— Нет, надо, — подтвердил Жур. — Но надо еще согласовывать инструкцию со своим умом, со своей совестью и с сердцем, если оно не деревянное...
Эти слова не удивили Егорова. Он даже уловил и противоречие.
— А я, — вдруг вмешался в разговор он, — а я, вы считаете, товарищ Жур, поступил неправильно, когда подал пальто этому Буланчику? Я ведь тоже, выходит, послушался своего сердца...
— Ты — это другое дело, — оглянулся на Егорова Жур. — Может, ты и правильно поступил...
— А почему же вы на меня сказали, что я эта... сестра милосердия?
— Ну, я тоже не святой, — улыбнулся Жур. Как-то непривычно для него, почти растерянно улыбнулся. — Я тоже могу ошибиться. И у тебя это как-то не к месту получилось. Но вообще-то нигде не сказано, что арестованного надо обязательно морозить. Ты правильно поступил, дал ему пальто, но подавать пальто не надо было. Это смешно. Но ты погоди, ты сбил меня. Я чего-то хотел ответить Зайцеву.
— Вы хотели мне ответить, чем я вам не угодил.
— Да что, дело в том, что ли, чтобы мне угождать? — опять нахмурился Жур. — Ты можешь угодить любому начальству. Но дело не в этом. Ты обязан, мы все обязаны угождать всему народу в его трудной жизни...
— Ну, всем я угодить не могу, — скатал Зайцев окурок, как шарик, и бросил в высокую вазу для окурков. — Это значит, и бандитам надо угождать. И ворам...
— Воры и бандиты — это не народ.
— А откуда же они берутся? — прищурился Зайцев.
— Вот над этим и надо подумать, — поднял брови Жур. — Надо понимать, как живут люди. В инструкции этого всего написать нельзя. Надо самим додумываться, отчего люди бывают плохими или несчастными.
— Человек создан для счастья, как птица для полета, — сказал Егоров. Я прочитал это в одной книге.
— Вот это хорошая книга. Я ее не читал, но знаю — хорошая, — поддержал Егорова Жур.
— И мы с вами ведь не просто сыщики, как было в старое время. Мы с вами раньше всего

большевики. А большевики объявили всему миру, что добиваются сделать всех людей счастливыми. И мы не должны держаться тут как будто мы какие-то чурки с глазами. Как будто мы ничего не чувствуем, а только лупим по глазам. Убийца, мол, значит, бей его...
Зайцев слушал теперь Жура, похоже, почтительно, но глаза у него как-то нехорошо косили. Вдруг он спросил:
— А вы сами, Ульян Григорьевич, извиняюсь, с какого года член партии?
— Я? — опять чуть растерялся Жур. — Я с семнадцатого. А что?
— Ничего. Просто так спросил. Мой отец тоже с семнадцатого. Даже почти что с шестнадцатого...
Егорову было неприятно, что Зайцев задал Журу такой вопрос. Но Жур, должно быть, не обиделся на Зайцева. Жур только сказал:
— Не задевает, я вижу, вас, ребята, то, что я говорю. Молодые вы еще, не обтрепанные в жизни. Не клевал еще вас жареный петух. Ну ладно, пойдемте спать...

18

Они вышли на темную улицу, очень темную перед рассветом.
Ветер, посвистывавший всю ночь, бряцая железом крыш и карнизов, стих, упал. Но предутренний влажный холод знобил.
Жур поднял левой рукой воротник, нахлобучил шапку на самые глаза.
— Эх, ребята! Вам кажется, что вы одни проходите тут испытательный срок. А на самом-то деле все мы проходим сейчас» через тяжелое испытание, весь народ. А вы этого не видите или не понимаете. Уж не знаю, как сказать...
— Кто не видит, кто не понимает? — спросил Зайцев. — Надо же конкретно говорить...
— Вот ты, например, не понимаешь, — посмотрел на него Жур. — У тебя, по-моему, большая муть в голове. Вот ты сегодня и напорол.
— Вы скажите конкретно: чего я напорол? — взъярился Зайцев. — Конкретно скажите...
Оно тогда только входило в моду, это слово «конкретно», пришедшее в быт от политики, от яростных митинговых речей. Не всем еще ясен был его точный смысл, но почти все хотели его произносить. И Зайцеву нравилось это слово.
— Могу сказать конкретно, — улыбнулся Жур. — Ты повел себя в Баульей слободе как хвастун. Ты хотел похвастаться перед всеми, показать, какой ты смелый. А надо быть смелым, но не хвастаться этим, не рисоваться...
— Да я и не хвастался. Я просто немножко погорячился. И меня взяло зло...
— Ну, значит, ты нервный. Как это человека на работе вдруг может взять зло? Значит, ты слабый?
— Вы еще скажете, что я псих?
— Не знаю. Может, и псих. Ты же сам говоришь, что тебя взяло зло. Значит, ты собой не управляешь, если оно тебя взяло. А если человека взяло зло, если он позволил, чтобы оно его взяло, стало быть, он уже не видит, не может видеть, что делает. Не может анализировать...
Вот опять это слово, не очень понятное Егорову, — «анализировать».
— Ну хорошо, ты ловко вышиб топор из рук Соловьева. Это, конечно, хорошо. Хотя геройства большого я в этом тоже не вижу. Афоня Соловьев и так еле живой. А зачем ты его еще стал бить после того, как вышиб топор?
— А что же, я на него любоваться должен, если он фактически убийца?
— Ты, значит, решил ему тут же объявить приговор и привести в исполнение? А кто уполномочил тебя судить его? Тебе государство поручило только задержать убийцу. Только задержать поручило тебе государство. А судить будут в другом месте. В другом

месте будут разбираться во всех подробностях. А ты, значит, превысил власть. А за превышение власти полагается домзак...

«Домзак» — это тюрьма. Но тюрьму тогда тюрьмой не называли. Лучше, благозвучнее казалось называть ее «домзак», что значит дом заключения, или «допр» — дом предварительного заключения, или «исправдом» — исправительный дом. Но тюрьма, как бы ее ни называть, все-таки есть тюрьма.

И Зайцев, понятно, притих. Вот когда он наконец притих и перестал петушиться.

Молча шли они втроем по пустынным улицам, мимо темных силуэтов зданий, тускло поблескивавших стеклом неосвещенных окон.

Город спал в сизой мгле, город, полный тревог, огорчений и надежд, противоречий и сложностей, большой сибирский губернский город, в котором все время клокочут страсти, клокочут даже в те часы, когда кажется, что город спит.

Впрочем, именно в эти часы и совершаются многие огорчительные события, вмешиваться в которые обязаны по долгу своей службы вместе с другими и эти трое, что идут по уснувшему или кажущемуся уснувшим городу.

В этом городе всегда, как во всем мире, были воры, грабители, убийцы. Но должны ли они быть всегда? Всегда ли сильный будет обижать слабого? Слабый всегда ли будет хитрить, чтобы обмануть сильного? Всегда ли человеческую жизнь будут омрачать звериные нравы?

Журу шел тридцать третий год, но в черных, дегтярного оттенка волосах его уже все явственнее проступала седина, и порой он сам себе представлялся стариком.

К непогоде, как у старика, у него ноет не только недавно раненная рука, но и разорванное осколком немецкого снаряда бедро и плечевая кость левой руки, задетая разрывной пулей.

Все-таки он побывал на двух войнах — на германской и гражданской. И сейчас каждый день для него как бы продолжается война, может быть, более трудная, которой не видно ни конца ни края. А во имя чего идет эта война? И чем она должна завершиться в конце концов?

Жура постоянно одолевают какие-то посторонние мысли, не имеющие как будто прямого отношения к его делу, к его ежедневным делам, но все же как-то связанные с его делами, с его жизнью, со смыслом его жизни.

Особенно томят его раздумья по ночам, когда, усталый после напряженного дня, он долго не может уснуть, не может, как он сам говорит, собраться с мыслями.

А ему обязательно надо собраться с мыслями.

Внешне он собранный человек, всегда аккуратно одетый, по-военному подтянутый. Никто, например, никогда не видел его небритым. Он научился бриться даже левой рукой. Он многому научился.

И все-таки ему часто кажется, что он еще не понял чего-то самого главного в жизни, что записано, наверно, в каких-то важных книгах, которые ему некогда прочесть. Некогда ему и додумать многое. Некогда разобраться в вопросах, встающих перед ним.

— А вы, ребята, как считаете, воры всегда будут или все-таки переведутся?

— Не знаю, — затрудняется Егоров.

— А ты, Зайцев, как думаешь?

— А чего мне думать? Мне все равно...

— Ну как же это все равно? — удивляется Жур. — Вы же, ребята, комсомольцы. Как я понимаю, вы готовитесь стать не только работниками уголовного розыска, но и коммунистами. А коммунист и комсомолец на любой работе обязан думать: какая у него работа, для чего она, что из нее должно получиться. Нет, Зайцев, это не ответ. Тебе полагается думать.

— А чего мне еще думать? Вы же сказали, что мне полагается домзак за превышение власти.

— Ну, это само собой. Но и в домзаках люди думают. Их для этого туда и помещают.

— А вы правда считаете, меня надо посадить?

— Вместе со мной, — говорит Жур. — Ты стажер, а я уполномоченный. Я обязан был тебя предупредить. Но мне и в голову не приходило...

Из-за угла вылетает взмыленная пара лошадей, впряженная в широкую пролетку, полную пьяных мужчин и женщин. Кучер, видимо тоже пьяный, свесился с козел, вот сейчас свалится.

Вожжи держит, стоя в пролетке, молодая женщина с распущенными волосами. Она хлещет лошадей длинным кнутом и кричит что-то отчаянное, будто зовет на помощь. Нет, это она поет.
И все остальные в пролетке поют. Но как-то смутно, тревожно становится от их пения.
— Нэпманы, — смотрит на них Егоров.
— Ну, почему обязательно нэпманы? — говорит Жур. — Если б одни нэпманы гуляли, это не страшно было бы. Отгуляли и померли, не жалко. Они мутят хороший народ, вот в чем беда. Я на этом нэпманском деле хороших товарищей потерял. Одного мне было сильно жалко, вот как Афоню Соловьева. Я даже заплакал, когда узнал все подробности...
Нет, он не такой каменный, Жур, как иногда кажется. Но, может, это даже хорошо, что он не каменный. Егоров вспомнил, как Жур признался им у кладбища, что долго боялся покойников.
И сейчас Жур рассказывает историю своего товарища, хорошего парня, который сел в тюрьму. И ничего нельзя было сделать. Был виноват этот товарищ. Хотя не один он был виноват. И условия жизни были виноваты, если можно винить условия жизни.
— Хотя условия жизни винить нельзя, — подумав, сказал Жур. — Человек должен сам закалять себя, должен думать. Анализировать.
Егоров хотел было спросить, как понимать это слово, но не решался перебить Жура.
Жур остановился подле своего дома, взялся за холодное кольцо калитки, но во двор не вошел. Будто вспомнив что-то, отпустил кольцо, стал рассказывать, как трудно работать в уголовном розыске. Ведь при нынешнем разгуле бандитизма, воровства, при нэпманском подкупе работников не на всех и в розыске можно положиться. И в розыске есть мутные люди.
— Ты, Зайцев, не обижайся. У тебя, я замечаю, есть муть в голове, но я тебя мутным полностью не считаю. Но есть просто мутные. И они все-таки пока работают. Мы их выявляем, убираем. Но есть такие, что будто бы и хорошо работают. У них есть опыт, знания, сноровка. Но не вся их сноровка нам годится...
Это удивило Егорова больше всего. Вот уж чего он никогда не ожидал и не думал, что в розыске есть мутные люди.
— Даже взяточники есть в самом розыске, — сказал Жур. — И их не всегда легко поймать за руку. Ловим, но не всегда можем поймать. И кроме того, у нас даже были случаи, когда некоторые наши работники стреляли на операциях в своих же сотрудников, в коммунистов и комсомольцев. Попробуй потом разберись, кто убил сотрудника, бандиты или еще кто...
Это удивило и Зайцева. Он спросил:
— Но неужели это так и остается неизвестным? А, может быть, они и сейчас в угрозыске, эти люди?
— Какие люди?
— Ну, которые хороших сотрудников... укоцали.
— Очень приятно, — сказал Жур. — Очень, очень приятно. Ты, я смотрю, уже научился, говоришь «укоцали». Это же бандиты так говорят. Но я думал, что комсомольцы-то уж покажут пример, как можно переплыть море и не утонуть в море, как можно убирать грязь и не завязнуть в грязи...
— А что? — не сильно смутился Зайцев. — И Воробейчик так говорит. А он работник, считается, опытный...
— Очень опытный, — подтвердил Жур. — У Воробейчика и у других вы можете многому поучиться. И обязаны учиться. Но и Воробейчика и других, я думаю, вы тоже многому можете поучить. Не худо и Воробейчику будет у вас поучиться...
Это было уж совсем непонятно Егорову. Чему же он может поучить Воробейчика? Воробейчик только смеется над ним.
А Зайцеву понравились слова Жура. Зайцев понял, что весь этот разговор происходит именно потому, что их, стажеров, скоро переведут в штат. Это, должно быть, уже решено. Иначе не стал бы Жур тратить на них время.
— Вы должны, ребята, собрать все хорошее, что в вас есть, и показать это на работе, — сказал Жур. — Показать, что вы настоящие комсомольцы, что вы работаете не просто за кусок хлеба, за зарплату, а за идею, что вы чувствуете эту идею каждый день, каждый час. И тогда к вам никакая грязь не прилипнет. Спокойной ночи, ребята...

Жур снова взялся за кольцо калитки, повернул его и оглянулся:
— А ты, Зайцев, особо подумай.
Зайцев засмеялся.
— Видишь, — сказал он Егорову, когда Жур скрылся в глубине двора, — мне ведено особо подумать. То ли Жур считает тебя умнее, считает, что ты уже все обдумал. То ли все выходит наоборот...
— Наоборот, — сказал Егоров. — Жур тебя уважает. Ты ему нравишься.
— Что я ему, барышня, нравиться? — опять засмеялся Зайцев.

19

Журу в самом деле нравился Зайцев.
Впрочем, многое нравилось и многое же не нравилось. И не всегда было легко отличить, что же нравится и что не нравится. Одна и та же черта в характере Зайцева вызывала разное отношение к нему.
Зайцев был необыкновенно подвижен, горяч и исполнителен. Против этих качеств едва ли можно возражать. Их сразу обозначили в уголовном розыске как оперативность. Но в оперативности Зайцева проступала и хищность.
И хищности этой он не скрывал. Он, казалось, не видел существенной разницы между, допустим, Афоней Соловьевым и Пашкой Ожерельевым. Оба для него были одинаковыми преступниками.
Он даже огорчился, когда узнал, что Афоню Соловьева суд приговорил не к расстрелу, как Пашку Ожерельева, а к заключению на десять лет.
— Мало. Я бы его тоже стукнул, этого малохольного Афоню. Ну что это десять лет?
— Давай, — предложил Водянков, — давай я тебя, Зайцев, запру не на десять лет, а только на трое суток вот у нас тут, в предварилке. Парашу тебе поставлю для удобства. Посиди попробуй, как это другие сидят...
Зайцев смеялся.
Может, в нем еще не перебродила, не перегорела мальчишеская страсть к шалостям, к озорству? Может, в нем самом еще борются разные начала? Может, с возрастом он станет серьезнее?
А пока ему многое кажется смешным. Особенно его рассмешила Дуня, девушка из бывшего заведения дедушки Ожерельева, пришедшая в уголовный розыск к Журу посоветоваться, как она сказала, «насчет дальнейшей жизни». Нашла куда идти советоваться. «Вот тоже дура», — определил Зайцев. И спросил:
— Надеешься получить советы, как лучше обирать клиентов?
Дуня вдруг заплакала. Так, заплаканная, она и вошла в комнату Жура, сказав:
— Этот рыжий у вас, товарищ начальничек, просто очень нахальный...
Жур сделал замечание Зайцеву.
— А чего я ей сказал? — удивился Зайцев. — Чего она из себя строит? Обыкновенная эта самая... Ее бы тоже надо устроить вместе с дедушкой Ожерельевым. Все они одинаковые...
— Да, много, я гляжу, мути у тебя в башке, Зайцев, — говорил Жур. Огромное количество...
Но муть — это еще не очень опасная вещь. Муть еще рассеется, отойдет, осядет.
Зайцев свое дело делает, ловко делает.
Его уже заметил сам товарищ Курычев. Ночью во время генерального обхода города, вернее объезда, Курычев пригласил вдруг Зайцева в свою машину, в старенький «рено». Как это случилось — непонятно, но Зайцев оказался в одной машине с самим начальником уголовного розыска.
— Что, расскажи, тебя Курычев спрашивал? — допытывался потом у Зайцева Воробейчик.

— Ничего особенного. Просто похвалил вас и меня за то, что мы лихо задержали этого Соловьева Афоню. Говорит, что это был героический акт. И кто ему про это рассказал?
— Ты, наверно, и рассказал.
— Нет, я ему ничего не рассказывал. А он сам забавный...
— Кто забавный?
— Ну, Курычев. Видно, тоже, как все грешные, побаивается бандитов...
— Почему ты думаешь?
— По всему. Это же сразу заметно. Когда на Селивановской мы входили в эту малину — помните, Васюкова квартира, на втором этаже? — он дверь дернул и остановился. Меня вперед пропустил. Будто из вежливости. А потом, когда туда зашли вы и Водянков, он стал сильно распространяться, чтобы все видели, что он не кто-нибудь, а сам начальник. Даже перед этими девками рисовался, расстегивал пальто, чтобы видели, что у него орден...
Зайцев не боялся даже в дежурке смеяться над начальником. Все должны были понимать, что он и перед начальником не собирается заискивать и пресмыкаться. Ну что из того, что сам Курычев пригласил его в свою машину? Он, может быть, из соображений собственной безопасности его пригласил. Может, с Зайцевым Курычеву спокойнее во время обхода. А Зайцеву все равно с кем ехать...
— Ох и мировой этот парень — Зайцев! — восхищался вечером в дежурке Воробейчик, сидя в кругу сотрудников, еще свободных от происшествий. — Вы не смотрите, что он стажер. Мы все еще наслужимся под его начальством. Вот попомните мои слова. Он далеко пойдет.
А Жур продолжал относиться к Зайцеву несколько настороженно. По-прежнему Жур не мог определить точно своего отношения к нему. Егоров казался проще Зайцева, понятнее. За Зайцевым же нужен глаз и глаз. Никогда нельзя угадать, что он сделает, если ему дать полную волю на какой-нибудь операции.
И в то же время Зайцев все больше нравился Журу. Не во всем, но нравился. Нравилась напористость Зайцева, безотказность в деле и, конечно, смелость. Однако и в смелости его было что-то не очень правильное, что ли...
Жур не мог до конца разобраться в Зайцеве. Да он и не торопился в выводах. Он сам сказал однажды стажерам:
— Вы, ребята, не думайте, что я старше вас и, значит, все хорошо понимаю. Я сам до многого еще не додумался. И вы, я считаю, тоже должны шевелить своими мозгами. Вот, например, у нас как поется в нашем гимне? «Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем...» Как вы, ребята, вот это, например, понимаете — «а затем»?
— Что ж тут не понять! — удивился Зайцев. — Все ясно: «...а затем — мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем...»
— Вот и не ясно, — возразил Жур. — Некоторые так понимают, что мы сперва все разрушим, и, мол, давайте только разрушать. А я считаю, что автор гимна, как говорится, поэт, вставил эти слова «а затем» в том смысле, что не когда-нибудь потом, а сразу, тут же, мы и обязаны его строить, то есть новый мир. И это мы видим на фактах. Мы разгребаем обломки от старого мира, убираем мусор, и тут же, сразу, нам надо строить. Поэтому нельзя смотреть так, что мы должны только ловить и уничтожать преступников. Мы должны искать, где причина, что человек становится преступником. И эту причину наше государство должно начисто уничтожить...
— А преступников уничтожать не надо?
Это спросил Зайцев и опять скосил глаза.
— Нет, почему же, — сказал Жур. — Преступников нужно уничтожать. Тут никакого спора нет. Нужно и убивать. Но надо все время смотреть, может, кого удастся и исправить...
— Мало кого, — покачал своей огненной головой Зайцев. — Мало кого удастся исправить...
— А это мы потом посмотрим, мало или много, — нахмурился Жур. — Но я ведь это к чему говорю? Вот вы возьмите меня. Я человек, конечно, сердитый. Меня в жизни еще в детстве много обижали. Но даже я стараюсь не сильно сердиться, когда я на работе. Я другой раз нарочно сдерживаю себя. А вы ребята молодые. Вам еще не из-за чего сердиться...

Жур пристально смотрел чуть печальными черными глазами то на Зайцева, то на Егорова, хотя Егорова уж никак нельзя было заподозрить в том, что он излишне сердит. Ему не вредно бы, пожалуй, даже добавить злости, что ли, Егорову. Уж очень он тихий.
— Нам, ребята, еще воевать и воевать. И вашим детям, когда они у вас будут, еще придется, однако, сходить на войну. Но мы должны всегда помнить, за что мы воюем. Ты правильно сказал в прошлый раз, Егоров, что мы воюем за всеобщее счастье на земле...
Егоров этого не говорил. Но сейчас он не хочет перебивать Жура, не решается перебивать. Он сидит и внимательно слушает. А Зайцев ерзает на стуле, испытывая нетерпение.
Потом он вызывает Егорова в коридор и говорит:
— Ты не сильно развешивай уши. Тут еще есть одно серьезное дело. Как бы нам обоим не погореть. С нас сегодня будут снимать анкету. С меня уже сняли. Сам Курычев велел. Он даже сердился, спросил, почему до сих пор со стажеров не сняли анкеты. «Я, — говорит, — не буду их утверждать без анкет...»
— Ну что ж, — сказал Егоров, — пусть снимают анкету. Мне скрывать нечего...
— Да я не об этом, — поморщился Зайцев. — Ты, главное, вот учти: тебе двадцать два года.
— Да нет, что ты! — засмеялся Егоров. — Мне только восемнадцать. И то еще нету. Зимой будет, в январе...
— Глупый, ты не обижайся, но ты, честное слово, как дурак. Они обоих нас примут. Я уже все выяснил. У них теперь есть две штатные должности. Они передвижку сделали. Но им обязательно нужен возраст. Я сказал, что мне уже исполнился двадцать один год, а ты говори, что тебе двадцать два. Ты выглядишь старше меня. У тебя вид угрюмый. А метрики все равно не спрашивают.
— Неудобно как-то, — задумался Егоров. — Поступаем на такую работу и вдруг сразу же допускаем обман. Вроде как сами мы жулики...
— Ну, как хочешь, Егоров. Но ты отсюда можешь свободно вылететь. Один парень вот так же, мне рассказывали, прошел весь испытательный срок, а потом вылетел из-за молодости лет. У него двух лет не хватало.
— А если...
Егоров хотел еще что-то спросить, но из глубины коридора, из полутьмы, закричали:
— Егоров!
Это его позвал Воробейчик.
Почему-то именно Воробейчику поручили снимать со стажеров анкету. Но Егоров сейчас даже обрадовался этому. Воробейчика он не любит. Поэтому он, думается, не обязан говорить ему правду. Вот если бы Егорова спрашивал Жур, Егоров бы сказал честно. А Воробейчик... да ну его!
И, стоя перед ним, на его вопрос о возрасте Егоров бессовестно сообщает:
— Мне сровнялось двадцать два года. Уже сровнялось... Еще весной сровнялось...
И все-таки сразу потеет, как от тягчайшего напряжения. Нет на свете, наверное, более тяжкой обязанности, как обязанность врать.
Воробейчик спокойно записывает. Заполнив всю анкету, говорит:
— У тебя, Егоров, хорошее происхождение, чисто пролетарское...
Егорову это приятно. Однако, помедлив, Воробейчик продолжает:
— Но для работы в уголовном розыске у тебя нет призвания. Понимаешь, призвания.
— Не понимаю.
— Призвание — это когда человек просто создан для этого дела. Просто создан. Понятно?
— Нет, не понятно, — мотает давно не стриженной головой Егоров.
— Неужели непонятно? Ну, как же это тебе еще объяснить, если ты такой... ну как это... вроде вялый, как после сыпного тифа? А в уголовном розыске должны быть люди очень понятливые, быстрые — ну, как бы тебе это сказать? — сообразительные. Чтобы они никогда ничего не боялись. Ни живых, ни мертвых. И чтобы всегда были, ну, одним словом, — начеку. Ну разве ты можешь быть таким?
— Могу, — расправил плечи Егоров.
— Упрямый ты, вот это я вижу, как какой-нибудь, — не обижайся, — ишак. Ну ладно, как-нибудь разберемся.
Воробейчик собирает со стола бумаги и уходит.
В тот же день в узенькой комнатке Жура происходит короткое совещание.

Стажеры на этом совещании не присутствуют, потому что разговор идет о них. Быть ли им сотрудниками уголовного розыска, губернского уголовного розыска, — вот этот вопрос и решается сейчас.
Впрочем, о Зайцеве вопрос почти решен. Все высказываются за него.
Только Жур сделал одно замечание. Он сказал, что Зайцева надо немножко сдерживать, Зайцев слишком горячий. Ну что же, это не такой уж грех, что горячий. Работа тут в общем не холодная. Холодные сапожники тут не требуются.
Зайцев уже знает, что идет такое совещание. Знает, что там, в узенькой комнатке Жура, сейчас решается его судьба. Но он спокоен за свою судьбу. Он спокойно пьет в буфете чай с печеньем «Яхта».
Впоследствии, наверно, он купит себе такой же термос, как у дежурного по городу Бармашева. Или не купит. Даже скорее всего не купит. На кой ему дьявол термос?
— Налей мне еще стаканчик, — говорит он буфетчице.
— Опять с лимоном?
— Конечно.
Зайцев совершенно спокоен.
А Егоров волнуется. Он сидит за столиком против Зайцева, тоже пьет чай, но не с печеньем, а с булкой и ужасно волнуется. У него даже пальцы холодеют от волнения. Он греет их о стакан.
И Егоров волнуется не напрасно. На совещании только Жур высказался за него. И то очень осторожно.
— Почему нам не попробовать его еще? — говорит Жур. — Парень он, видать, честный, серьезный, старательный.
Но Воробейчик прямо кипит от злости:
— Да куда же его еще пробовать? Месяц пробуем. Сегодня ровно месяц.
— У меня против Егорова нету возражений, — разглаживает пышные усы Водянков. — Парень он как будто ничего. Но не могу я его понять, вроде как он робкий, что ли. Застенчивый какой-то.
Вот за это слово «застенчивый» и цепляется Жур, защищая Егорова.
— А что же, — говорит Жур, — надо, чтобы человек был нахалом? Он просто, я замечаю, совестливый паренек. А это, мне думается, неплохо. Если есть сомнения, можно ему дать еще самостоятельное задание, тем более он комсомолец. Неплохой, я считаю, комсомолец...
— Ну, разве что комсомолец, — ухмыляется Воробейчик.
И тут происходит странное. Воробейчик, все время выступавший против Егорова, предлагает послать его с последним заданием на «Золотой стол».
Казалось бы, Воробейчик мог придумать Егорову более трудное задание, на котором бы Егоров уж наверняка провалился. Но Воробейчик как будто настаивает на этом задании. Ну что ж, Жур не возражает.
Час спустя он вызывает к себе Егорова и спрашивает:
— Ты можешь поприличнее одеться? У тебя есть во что?
— Есть, — говорит Егоров.
— Ну вот, оденься как можно получше и вечером пойдешь на «Золотой стол».
«Золотой стол» — это казино, где играют в лото, в карты и еще во что-то. Оно помещается в центре города, почти рядом с уголовным розыском, в следующем квартале, против кинотеатра «Красный Перекоп». Там собираются богатые люди — нэпманы, старатели с золотых приисков. И жулики и бандиты, бывает, тоже там собираются. Особенно много бывает карточных шулеров, есть приезжие шулера.
Егоров в «Золотом столе» ничего особенного не должен делать. Если, конечно, вспыхнет скандал, он обязан задержать подозрительных. Ему поможет в этом милиционер, который стоит внизу, у подъезда. А так Егоров должен только наблюдать, не привлекая к себе внимания. Пусть все думают, что он просто игрок, молодой нэпман, гуляющий глупый молодой человек. Он может принять участие в игре в лото или в какой-нибудь другой игре. Для этого ему выдается казенных три рубля. Если проиграет, не страшно. Если выиграет, тоже. Вот и все. Сам, конечно, он не должен затевать скандалов. Боже упаси! Он должен держаться скромно, ни во что без толку не впутываться.

— Ну иди, Егоров, — сказал Жур. — Желаю тебе... Ну, словом, иди и старайся, чтобы все было как следует...
Егоров зашел домой, пообедал, переоделся, надел почти новый, перешитый Катей френч цвета морской волны, аккуратно причесался и уже в самую последнюю очередь посмотрел на башмаки.
Башмаки до крайности худые. Он уже два раза их сам ремонтировал, прикреплял дырявые подметки тонкой проволокой, вырезал из картона стельки. Все равно вида они никакого не имеют. Хотя их можно еще подкрасить сажей.
Егоров развел в керосине сажу и, поставив ногу на ступеньку крыльца, стал подкрашивать башмаки.
Его окружили племянники. Каждый хотел помочь ему в этом деле.
В одно мгновение они измазались, как чертенята. Но больше всех измазался Кеха. Он старался всех оттолкнуть и кричал, что это не чей-нибудь, а его папа, поэтому только он, Кеха, имеет право красить отцовские башмаки.
— Да он и не папа тебе, — сказал младший Катин сын. — Нам он дядя, а тебе чужой.
— Не чужой, не чужой! — закричал и заплакал Кеха. И стал ругаться вдруг такими словами, какие не только в три или в четыре года, но и в тридцать лет не все, пожалуй, знают.
Егоров растерялся. Он утешал Кеху, говорил, что он ему, правда, не чужой, но слова плохие, нехорошие слова. Надо их забыть. Поскорее забыть.
Егоров вышел из дома расстроенный. И всю дорогу думал то о Кехе: «Взяли ребенка, так надо воспитывать», — то о том, что ему, Егорову, самому сегодня предстоит.
Все-таки он идет сейчас на свое последнее испытательное задание.
Завтра уже будет ясно, как решилась его судьба. Вернее, она решится сегодня. Но Кате он об этом ничего не сказал, чтобы она не волновалась лишний раз.
А сам он сильно волновался. Хотя чего бы ему волноваться? Ничего страшного там не может быть. Да если и будет, он, пожалуй, не шибко испугается. За этот месяц он уже кое-что повидал. Все будет хорошо, как надо. Иди, Егоров...
В девятом часу вечера у развалин Хмуровского пассажа, сгоревшего еще в гражданскую войну и до сих пор не восстановленного, он неожиданно встретил Жура.
У Жура был редкостный свободный субботний вечер. Он шел домой ужинать. Он так и сказал с улыбкой Егорову: «Иду домой ужинать». А Егорову очень интересно: как живет дома Жур? Если ли у него дети? Но спрашивать об этом неудобно. Не такие у Егорова с Журом отношения, чтобы спрашивать о домашних, о семейных делах.
Жур оглядывает Егорова под фонарем, видит, что у него под распахнутой телогрейкой красивый френч, — не «френч» теперь надо называть, а «тужурка».
— Что же ты так всегда не ходишь? У тебя же вид совсем другой, солидный...
Это звучит как похвала. Но Егоров вдруг вспоминает свой грех и совсем некстати в замешательстве говорит:
— Это все ничего, но я напутал в анкете...
— Пустяки. После исправишь.
— Но я здорово напутал...
— Исправишь, — хлопает его левой рукой по плечу Жур. — Анкета — это дело не страшное. Ты сейчас вот старайся, чтобы все было хорошо, умно. Последнее тебе задание — и, можно считать, кончился твой испытательный срок.
Жур идет с ним по улице, под неяркими сегодня фонарями. Видимо, опять падает напряжение на электростанции. Никак ее не могут наладить после гражданской войны.
— Наладится, все наладится, — смотрит на фонари Жур. — Лет через десять, через двадцать никто не узнает наш город. Это будет мировой город.
Так любили тогда говорить, лет тридцать с лишним назад: мировой парень, мировой город, мировые дела.
Жур дошел с Егоровым почти до самого казино, потом свернул в переулок к своему дому и сказал:
— Ну, счастливо тебе, Егоров. Работай. Главное, не горячись. Мы еще увидимся сегодня. Я с двенадцати ночи буду дежурить по городу...

Егоров даже удивился: почему это Жур так сказал? Отчего тут надо горячиться? Все спокойно.

20

У подъезда, где ресторан, стоит бородатый, в расшитой золотом ливрее швейцар. Он открывает двери Егорову. Егоров снимает внизу, на вешалке, телогрейку, фуражку, еще раз причесывается у огромного зеркала и поднимается на второй этаж. Нет, теперь он больше не волнуется.

В огромном зале расставлены длинные столы. За столами сидят какие-то ветхие старушки в допотопных шляпах, старички в стоячих воротничках, каких нынче уже не носят, полные, румяные мужчины с младенческими лицами и с телами купчих.

Все это лавочники, бывшие чиновники, домовладельцы. Они сидят над узкими полосками картона с цифрами.

А у стены на возвышении стоит однорукий, усатый инвалид и выкрикивает номера:

— Двадцать восьмой—и... Тридцать шестой—и...

Для чего он вытягивает это «и»? Егорову очень смешно. Но он не смеется. Никто не смеется, и он не смеется.

У него есть казенных три рубля. Но он пока не собирается играть. Он ходит меж столов, как ходят многие, с виду такие же, как он. Никто тут не догадывается, что он из уголовного розыска.

Вдруг он видит знакомое круглое лицо.

Это Ванька Маничев покусывает белыми зубами черную костяшку, которой закрывают цифры, и жадно смотрит на однорукого инвалида, выкрикивающего номера.

Ванька сейчас, увлеченный игрой, никого не замечает вокруг себя. А Егоров его хорошо видит. И сердце у Егорова чуть замираете Ванька для него теперь навсегда связан с Аней Иващенко. Может, и Аня здесь? Нет, Ани не видно. А где же она?

И хотя Егоров все это время, все дни после их недавней встречи, думал, что он уже вытеснил Аню из своего сердца, Аня все-таки волнует его. И наверно, еще долго будет волновать. Пусть он думает, что уже не любит ее. Даже Ванька Маничев, этот бывший его дружок, оказавшийся нэпманским холуем, интересен Егорову только потому, что связан с Аней. Может, он уже женился на ней?

Но какое дело Егорову? Пусть женится. Пусть они все женятся. Он занят своим делом. Он заканчивает сегодня свой испытательный срок.

Егоров даже взглядом не хочет встретиться с Ванькой, проходит, уже не глядя на него, меж рядов, переходит в соседний зал, поменьше.

Вот из-за этого зала и все казино называется «Золотой стол». Здесь играют в карты.

И все здесь необычное, даже таинственное. Горят большие голубые, с мохнатой бахромой люстры. Окон не видно. На стенах висят черные полосы гладкой материи, на которой вышиты серебром и золотом луна и звезды, цветы и птицы и какие-то знаки, иероглифы.

Душно здесь и накурено так, что дышать, кажется, нечем. Но никто этого, должно быть, не замечает. За небольшими квадратными столами с зеленым суконным полем сидят нервнобольные, с землистыми, дергающимися лицами игроки. Коротко, сердито переговариваются. Иногда стучат по столам кулаками. Но никто тут и этому не удивляется. Только важный старик с задумчивым лицом в бакенбардах, разносящий картонные колоды, изредка плаксивым голосом просит:

— Нельзя ли поаккуратнее, а?

Кажется, что тут собрались вдруг ожившие покойники. Все у них так же, как у живых, а лица покойницкие. И носы, как у покойников, острые.

Впрочем, это, может быть, свет от люстры, от боковых светильников, укрытых вощеной бумагой, зеленовато-серый свет искажает лица. И у Егорова сейчас лицо, наверно, не лучше, чем у игроков.
Егоров на ходу смотрится в мутное зеркало. Да, лицо у него потемнело, позеленело. Все, значит, зависит от света. А для чего тут такой свет? Для чего это разрешают в центре города глупую какую-то игру в карты?
Тут ведь не только нэпманы и приискатели сидят, но и, может быть, кассиры — сидят и проигрывают тайком казенные деньги.
Однако никак не угадаешь, кто тут кассир, кто нэпман и кто просто жулик или шулер. Все игроки выглядят почти одинаково. И Егорову никто не поручал проверять у них документы. И вообще непонятно, зачем его послали сюда. Глядеть за порядком? Но тоже непонятно, какой тут должен быть настоящий порядок.
Егоров переходит от стола к столу, хочет все-таки понять, как идет игра, какие действуют правила. А сам играть пока не собирается. Да он и не умеет. Он может только вглядываться в лица, может только стараться угадать, кто тут подозрительный.
И все ему кажутся подозрительными, хотя он понимает, что это неправильное у него представление. Нельзя же всех подозревать. Но очень возможно, что здесь сейчас присутствует среди игроков необыкновенно опасный преступник, которого давно разыскивают. И вот его-то Егоров как раз и прозевает. А что он может сделать? Ему ведено только наблюдать. Вот он и наблюдает.
Наблюдение это быстро утомляет его. Глаза все сильнее пощипывает густой табачный дым. Егоров выходит в коридор и видит белую дверь с небольшой красной табличкой: «Пти шво». А за дверью что-то негромко гудит и пощелкивает, и слышатся голоса. Можно ли войти в эту дверь? Надо ли входить? И что это значит — «Пти шво»?
Раздумывать, однако, долго не приходится. В дверь входят один за другим разные люди. И Егоров входит.
Оказывается, в этом помещении есть еще один зал, где светло, и чисто, и на белых стенах висят картины. А в самом центре зала огромный круглый стол. И вокруг стола толпятся люди. Много людей — молодых и старых. Больше молодых.
Некоторые выстроились вдоль стены в очередь к серебристому кассовому аппарату, который выщелкивает узенькие билетики. Протяни кассирше рубль и получишь билетик. Потом с этим билетиком надо пробиваться сквозь толпу к высокой, черной, горбоносой женщине, что возвышается над круглым столом.
У этой женщины все черное: и гладко причесанные волосы, и густые брови, и ястребиные глаза, и длинное платье с высоким воротником. Она командует разноцветными металлическими лошадками, с легким гулом бегущими по круглому столу. Она их то пускает, то останавливает. Для этого ей достаточно нажать кнопку.
— Граждане, делайте ваши ставки, — провозглашает черная женщина гортанным голосом.
— Не задерживайте аппарат. Ваша лошадь ожидает вас. Она стремится привезти вам счастье...
Каждый игрок облюбовывает какую-нибудь одну лошадку на круглом столе. Или сразу двух-трех лошадок.
— Игра сделана, ставок больше нет, — опять провозглашает женщина, собрав все билетики, и нажимает кнопку. — Наблюдайте бег лошадей.
Лошадки, как живые, стремительно бегут по кругу.
Впрочем, это не лошадки бегут, это вращается круг. А кажется, что бегут лошадки, намертво приколотые к кругу. Кажется даже, что вон беленькая обгонит всех. Нет, всех обгонит игреневая. Но и игреневую, пожалуй, обойдет каурая. Или вот эта гнедая. Хотя нет, скорее всего первой придет игреневая.
Игра неожиданно увлекла Егорова. Он уже не вглядывался больше в лица игроков, ища подозрительных, как ему полагалось бы. Он смотрел теперь только на лошадок, стараясь угадать, какая придет первой.
Первой пришла серенькая в яблоках.
— Гражданина, сделавшего ставку на девятый номер, — провозгласила черная женщина, — дирекция просит получить в кассе свой выигрыш...

Егоров видел, как сморщенный, лысенький старичок в клетчатой куртке подошел к кассе и получил пачку денег.
А что, если и Егорову сыграть? Поставить вон, допустим, на ту каурую лошадку и сыграть. Ведь ему для этого специально выданы три рубля. Правда, они ему выданы не для игры, а для того, чтобы в случае необходимости он мог показать, что играет, что увлечен игрой, если на него станут обращать внимание игроки.
Игроки сейчас не обращают на него никакого внимания. Но он сам хотел бы сыграть. Ведь это очень интересно. Вдруг ему повезет? Вдруг он выиграет такую же толстую пачку денег, как этот сморщенный лысенький старичок в клетчатой куртке? Вот было бы здорово!
Егоров прикинул в уме, сколько может быть денег в той толстой пачке, и решил, что в ней, пожалуй, не меньше как две или даже три месячные получки.
Егорову за такую пачку надо работать два-три месяца. А тут поставить всего рубль — и, пожалуйста, собирай деньги, сколько хочешь собирай.
Можно, конечно, и проиграть. Даже скорее всего с непривычки проиграешь в первый раз. Ну так что же! Придется потом сказать в уголовном розыске: проиграл, мол, один рубль или два рубля, прошу, мол, вычесть из моей зарплаты.
Ведь вторую получку за две недели он еще не получал, но она ему уже полагается. Ее выплатят ему все равно, если даже его не примут в штат. Наверно, завтра и выплатят. Вот он и отдаст свой проигрыш. А вдруг он выиграет? Вдруг вон та каурая лошадка, которую он облюбовал, придет первой? Что тогда?
Егоров представил себе сияющее лицо Кати, увидевшей на столе пачку денег.
Можешь делать с этими деньгами что хочешь. Можешь купить себе шубу. Можешь купить ребятишкам не только валенки, но и каждому по костюмчику. Можешь заготовить дров, и картошки, и капусты хоть на целую зиму. Можешь каждый день покупать на базаре мясо и ветчинные кости к щам или гороховому супу.
И деньги еще останутся.
Егоров взял бы из этих оставшихся денег только немножко — на башмаки.
Башмаки у него ведь действительно худые. Больше в них ходить никак нельзя. Да и, пожалуй, стыдно. Работаешь в таком учреждении, а ходишь черт-те в чем...
Башмаки он себе обязательно купил бы. И еще купил бы шапку. А то уши просто стынут на ветру. Даже, чего доброго, можно свободно отморозить уши, если начнутся холода. Будут отмороженные уши висеть, как пельмени. Нет, шапку тоже надо купить обязательно. Без шапки никак нельзя.
— Граждане, делайте ваши ставки, — снова провозглашает черная женщина.
А что ж она сама не делает свою ставку? У нее на глазах люди выносят из кассы такие деньги, а она только советует. Или ей нельзя делать ставки, потому что она находится здесь на службе? Конечно, ей нельзя. А Егорову можно? Пожалуй, можно. Ему же выдали три рубля, специально выдали.
А вот интересно: если он выиграет, как быть? Надо сказать в розыске, что он выиграл, или скрыть это? Нет, пожалуй, скрывать нельзя. Конечно, нельзя скрывать. Тут хитрости никакой не должно быть. Надо показать Журу весь выигрыш, выложить перед ним все деньги и спросить, что с ними дальше делать.
Если Жур скажет, что деньги надо сдать в кассу уголовного розыска, надо, конечно, сдать. Тут никаких разговоров быть не может. Но Жур может и так сказать, отсчитай, мол, казенные три рубля, которые тебе были выданы, а остальные бери себе. Тогда другое дело. Тогда можно смело идти с этими деньгами домой, к Кате. Ух, она здорово обрадуется!
— Игра сделана, ставок больше нет, — провозглашает черная женщина и садится на высокий черный вертящийся стул.
А Егоров так и не успел сделать ставку. Но все равно смотрит теперь только на каурую лошадку номер семь, которую сразу облюбовал. У каурой красиво выгнутая шея и вздернутая голова. Будто она ржет на бегу.
Егоров неотрывно смотрит на каурую и продолжает взволнованно думать.
А как, интересно, Кате он скажет, где взял эти деньги? Надо ли ей все в точности говорить? Нет, пожалуй, не надо, а то еще она засмеет. Что же это, мол, ты все в сыщики стремился и вдруг в игроки перешел? Боюсь, скажет, как бы ты шулером не сделался...
Нет, конечно, Кате не надо всего говорить.

Надо просто сказать ей, что ему прибавили зарплату.
И даже лучше не отдавать Кате всех денег, а выдавать ей по частям. А то она на радостях накупит разного барахла, когда необходимо купить самое-самое нужное.
В первую очередь надо купить ребятишкам валенки. Всем ребятишкам и, конечно, Кехе. Ведь как некрасиво получилось: Егорову купили рубашку и френч, а ребята остались на зиму без валенок. Из первой получки Катя так ничего и не смогла выкроить. Только что получше, посытнее стали есть.
А сейчас, если Егоров выиграет, сразу все изменится к лучшему. Но Кате не надо отдавать все деньги. Удобнее выдавать по частям. Тогда и врать не надо насчет прибавки к зарплате. Ведь Егоров больше играть не будет. Он сыграет только один раз. Нет, обязательно надо сыграть два раза. Хотя почему только два раза? Уж играть, так играть на все три рубля. Из трех раз он уж наверняка хоть на одной лошадке выиграет.
Каурая лошадка действительно кажется красивее всех. И хотя Егоров еще не сделал ставку на каурую, еще не внес свой рубль в кассу, у него все-таки замирает сердце. А вдруг буланая обойдет каурую? Нет, не обойдет.
— Стоп, — говорит черная женщина.
Бег прекратился. Каурая пришла первой. Егоров готов был захлопать в ладоши.
— Гражданина, сделавшего ставку на седьмой номер, — выкрикивает женщина, пристально оглядывая игроков, — дирекция просит получить свой выигрыш в кассе!
Егоров видит, как молодой человек в крагах вихляющей походкой приближается к кассирше. Вот он принимает от нее большую пачку денег.
Пачка кажется толще той, что получил лысенький старичок в клетчатой куртке. Но ведь это деньги Егорова. Ведь он первый облюбовал каурую лошадку и все время, волнуясь, следил за нею.
Нет ничего хуже нерешительного человека. Егоров сильно сердит на себя. Уж если задумал, так надо играть, а не хлопать глазами. Вон какой-то джек в крагах унес из кассы его деньги и даже громко стукнул дверью, уходя: вы, мол, тут, дураки, стоите, глазеете, трясетесь за свои рубли, а я выиграл и пошел домой.
Егоров покраснел от обиды. Расстегнул пуговицу на френче и сунул руку во внутренний карман, где у него лежат эти казенные три рубля, рядом с комсомольским билетом.
«Никогда не кладите комсомольский билет в одно место с деньгами. Полезешь за деньгами — и можешь легко обронить комсомольский билет», — это говорил еще в Дударях секретарь укома комсомола Зуриков.
И Егоров сейчас вспомнил эти слова. Но он никогда раньше и не носил комсомольский билет рядом с деньгами. Да он и деньги не так уж часто носил в кармане. Это случайно получилось сегодня, что комсомольский билет оказался рядом с деньгами.
Егоров вынул три рубля и зажал их в кулаке, направляясь к кассе, где опять скопилась небольшая очередь.
В очереди стоял пожилой мужчина в пенсне, показавшийся Егорову удивительно знакомым. И мужчина, должно быть, узнал Егорова.
— Наконец-то решились? — усмехнулся мужчина. — А я все время наблюдаю за вами...
Вот так так! Егоров послан сюда наблюдать за игроками. А оказывается, и за ним наблюдают. Но откуда же он знает этого мужчину?
— У вас, как мне показалось, серьезные финансовые затруднения?
— Чего это? — нелюбезно спросил Егоров.
— Я заметил, что вы долго рылись в своем кармане. — Мужчина поправил пенсне на жилистом, тонком носу. — Мне показалось, что у вас не хватает денег.
Чуть сиплый голос мужчины сразу же встревожил Егорова. А когда мужчина поправил пенсне на жилистом носу, Егоров мгновенно вспомнил дом дедушки Ожерельева на Извозчичьей горе. И нэпмана вспомнил, того нэпмана, что долго застегивал на затылке трясущимися руками готовый галстук—"бабочку», а потом предложил Егорову взятку за молчание.
Егоров тогда не очень хорошо разглядел его в полутьме. А теперь-то совершенно ясно, что это именно тот нэпман, совладелец фирмы «Петр Штейн и компания. Мануфактура и конфекцион», что на Чистяревской, дом восемнадцать.

Нэпман точно таким движением, как тогда в доме дедушки Ожерельева, вынул из внутреннего кармана пиджака желтый бумажник.
— Могу одолжить на неопределенное время. Пожалуйста, не беспокойтесь...
Вот до какого унижения дошел Егоров! Его послали по делу. Сегодня кончается его испытательный срок. А он не только ничего хорошего не сделал, никого не выследил и не поймал, но даже вступил в знакомство с нэпманом, и ему, комсомольцу Егорову, как своему дружку, нэпман вдруг опять протягивает деньги. Значит, они тут, выходит, заодно орудуют, стараются разжиться на даровщинку, комсомолец Егоров и какой-то нэпман.
— Да идите вы! — заорал вне себя Егоров, так что на него оглянулись все в зале.
И этого не надо было делать. Нэпман сейчас не виноват. Во всем виноват только Егоров. Виноват прежде всего в том, что хотел поправить свои дела за счет вот этих лошадок. Люди работают, стараются работать. А он вон на что соблазнился! Может, он позавидовал нэпманам? Может, он тоже хочет открыть свой магазин на Чистяревской?
В одно мгновение Егоров осудил себя и вынес себе строжайший приговор. Он даже ужаснулся тяжести своего еще не совершенного преступления.
— Вы не кричите, — сказал нэпман. — Это моя добрая воля предложить вам взаймы. Я не вижу в этом ничего неприличного...
Егоров повернулся и пошел, как чем-то ушибленный, через весь зал к выходу.
Вот сейчас он был действительно в тяжелом положении, в более тяжелом, чем в тот час, когда поднимали мертвого аптекаря, или в тот вечер, когда ему пришлось впервые войти в мертвецкую.
Не было еще более тяжелого положения в жизни Егорова.
Ведь часа три назад, проходя через зал, где играют в лото, он посмеялся про себя над Ванькой Маничевым, жадно взирающим на однорукого инвалида, который выкрикивает цифры.
Егоров тогда просто презирал Ваньку Маничева за жадность. А потом вдруг сам захворал жадностью. Как же это могло случиться с Егоровым?
Он опять проходил через зал, где видел Ваньку, но Ваньки здесь уже не было. И других игроков не было. Все ушли.
Уборщицы подметали мусор и гасили свет. Большие электрические лампочки, свисавшие с потолка в центре длинного зала, гасли одна за другой.
Можно было бы зайти в тот зал, где играют в карты. И надо было бы, пожалуй, зайти. Но Егорову почему-то казалось неудобным сейчас заходить туда. Да и время его вышло. Нет, кажется, еще не вышло. Надо все-таки посмотреть на часы.
Егоров медленно проходит по затемненному коридору и возвращается в тот зал, где играют в карты.
Тут уж в самом деле нечем дышать. Накурили так, что сильно режет глаза. И пахнет нехорошо. Черт знает чем пахнет! А лица у игроков густо-синие. Можно подумать, что тут действительно собрались вдруг ожившие покойники и опять решили играть.
Егоров проходит в глубину зала и смотрит на стенные старинные часы с огромным медным маятником в лакированном футляре.
Времени, оказывается, еще очень много до конца дежурства. «Золотой стол» закрывается, кажется, в три часа ночи. Но если идет крупная игра, и в три часа не закроют. Неужели тут придется ходить до трех часов?
Егоров опять смотрит на часы и вспоминает слова Жура: «Особенно долго-то там не толкись. Побродишь часов до двенадцати и можешь идти домой, если, конечно, не будет серьезного дела...»
Серьезного дела пока что нет. И, наверно, не будет. Но все-таки надо побродить здесь хотя бы еще с полчасика. До двенадцати обязательно надо побродить. Неудобно уйти раньше.
«А этот нэпман паразит, настоящий паразит, — думает Егоров, вспоминая происшествие у кассы «Пти шво». — Уже в свои дружки меня зачислил. Но я тоже хорош: полез, как дурак, за барышами».
Егоров расстроен до последней степени. Он медленно проходит меж столиков, рассеянно смотрит на игроков и все время думает, не может не думать о том, как он глупо, непростительно глупо поступил в «Пти шво», будь оно проклято.

И ведь об этом рассказать никому нельзя. Даже стыдно рассказывать. Вот какой он оказался барахольщик! Он и сам раньше не знал, что он такой жадный и глупый...
— Скучаешь?
Егоров, все еще сконфуженный своими мыслями, оборачивается. Может, это не его спрашивают? Нет, его.
Перед ним стоит худой, длинный пожилой человек с необыкновенно бледным, костлявым лицом, на котором горят глаза сумасшедшего.
— Ты меня знаешь? — спрашивает сумасшедший.
Ну конечно, он сумасшедший. Глаза горят и как будто прыгают, а на губах, в уголках губ, вроде как пена.
— Нет, — отвечает Егоров.
Внезапный испуг, как электрический ток, входит во все его существо и омертвляет мускулы.
Точно ватой сейчас набили Егорова. Вынули внутренности и набили ватой.
— А ты сам из угро?
Егоров отвечает не сразу. Он не может ответить — перехватило дыхание.
— Я тебя спрашиваю: ты сам из угро? Глухой?
— А в чем дело? — наконец откликается Егоров и слышит в своем голосе унизительную робость.
Вот такого человека, с таким голосом, надо немедленно выгнать из уголовного розыска. Зачем он нужен там? Да и на свете жить такому человеку незачем.
Егоров никогда в жизни так не презирал себя, как в это кратчайшее мгновение. И чего он вдруг испугался? Что он его, съест, что ли, этот сумасшедший? Ну и пусть съест. А из уголовного розыска, если узнают, Егорова сейчас же выгонят. Выгонят после всего испытательного срока. А он и в мертвецкую уже ходил и на операции ездил.
Сумасшедший ухмыляется, будто читает мысли Егорова.
— Чего вам надо? — спрашивает Егоров. Вот сейчас он спрашивает почти хорошо, более твердо.
— Давай выйдем. Я тебе там покажу, чего надо...
Можно было бы, пожалуй, и не выходить. Пусть он здесь говорит и показывает. Для чего это надо с каждым сумасшедшим выходить? Но тогда можно подумать, что Егоров правда испугался.
— Пойдем.
И они выходят в дверь, над которой светится красная табличка: «Запасный выход».
На небольшой квадратной площадке над лестницей темно. Только поблескивает какой-то кружок. Нет, два кружка поблескивают. И еще блестит что-то. Глаза! Не сумасшедшего глаза, а еще чьи-то, нечеловеческие. И хриплый замогильный и все-таки немножко знакомый голос говорит:
— Ну-ка живо, руки... вверх!
Егоров отшатывается, упирается спиной в дверь, будто хочет ее открыть спиной, потом вытягивает ногу и сильно бьет ногой снизу, стараясь попасть носком башмака в блестящий предмет. Нет, такого приема не было в книге господина Сигимицу. Он появился только сейчас, вот тут впотьмах, этот прием.
На бетонную площадку упал пистолет. Это он и блестел. И блестит на полу. Егоров падает на него.
А на Егорова валится сумасшедший. Он хочет отнять пистолет. Но Егоров его ни за что не отдаст.
Им сейчас владеет то, что называется храбростью отчаяния. Только жалко, что он не умеет еще стрелять из такого пистолета. У него еще никогда не было в руках бельгийского браунинга. Наган был, а браунинга не было.
Сумасшедший сопит, стараясь отнять пистолет. От него несет тяжелым запахом винного перегара. Он, наверно, сильно пьяный. А в углу кто-то стонет и ругается.
Наконец Егоров слышит голос Воробейчика:
— Дурак! С тобой пошутили, а ты мне, кажется, руку сломал. Это ж Усякин. Ты что, Усякина не знаешь?
— Никого не знаю.

Егоров поднимается на ноги.
Глаза его уже привыкли к темноте. Он видит в углу Воробейчика, который поддерживает левой рукой правую.
Егоров по самому локтю ударил его носком башмака. Это очень больно.
— Ну ладно, давай пистолет, — говорит Воробейчик. — Пошутили — и хватит. Давай, давай. — И протягивает Егорову левую руку.
Но Егоров со всей силой отпихивает его. Да он что, с ума, что ли, сошел, Егоров?
Обида, и злость, и острая, нестерпимая боль в локте сокрушают Воробейчика. Неужели этот сопляк Егоров, над которым они действительно хотели пошутить, хотели напугать его страшной маской в темноте, подведет их теперь под крупную неприятность? Неужели он так и не отдаст пистолет? Неужели они вдвоем не одолеют его?
— Не таких видали фрайеров! — кричит Воробейчик и, превозмогая боль, старается ударить Егорова в бок ногой.
Но Егоров увертывается и хватает за шиворот Усякина, ринувшегося было к двери.
— Вниз, — толкает Усякина на лестницу Егоров, — вниз идите!
Воробейчик опять собирает силы, чтобы ударить Егорова в бок ногой. Он бывал в серьезных переделках. Но Егорова ему не удается ударить. Егоров увертывается.
А Усякин, видимо, надеется все-таки уйти.
— Стой! — кричит ему Егоров. — Побежишь — буду стрелять. — И показывает Усякину на Воробейчика. — Веди его, поддерживай...
Они выходят не на главный подъезд, где стоит швейцар, а во двор, где темно и никого нет. Только в стороне белеет поленница березовых дров.
Воробейчик кидается к поленнице. Может, он надеется схватить полено? Все-таки он не хочет покориться какому-то стажеру, чью судьбу он еще три часа назад решал на совещании. Если он добежит до поленницы...
Но он не добежит. Егоров сбивает его с ног. И тут у Егорова почти совсем отлетает подметка. Она держится на одном гвозде. Однако некогда думать сейчас о подметке. Фуражка и телогрейка Егорова остались на вешалке. Но это ничего. Он потом за ними зайдет.
Теперь главное — отвести этих жуков в уголовный розыск. Тоже нашли кого разыгрывать! Пусть сам Курычев и Жур посмотрят на них! Пусть узнают, какие они устраивают дурацкие шутки со стажерами! Стажеры хотят работать, а они видите что устраивают! Просто с жиру бесятся. Недаром Жур прошлый раз говорил, что в уголовном розыске не все еще сознательные. Вот пусть теперь Жур посмотрит...
Егоров, потный, злой, с разорванным воротом, стоял посреди двора и смотрел на сбитого у поленницы Воробейчика. Потом он потрогал себя за бок, нащупал оторванный накладной карман и еще больше обозлился.
У нового френча оторвали карман! Надо бы им еще добавить за это. Карман, наверно, оторвал Усякин. «Ну, погоди!» — сердито думает Егоров.
— А ты-то, — говорит Воробейчик Усякину, подымаясь с его помощью, ты-то болван! Он мне, кажется, руку сломал или вывихнул. Я вздохнуть не могу. А ты...
— Да ну его... — берет под руку Воробейчика Усякин, косясь на Егорова. — Пойдем. Он еще шухер тут поднимет на весь город.
Но Воробейчик, прихрамывая, доходит до ворот и останавливается.
— Слушай, чалдон, — оглядывается он на Егорова, — отдашь пистолет или нет?
— Не отдам.
— Хочешь так — вынь обойму, а пистолет отдай?
— Не отдам.
— Дурак, да ты еще не имеешь права носить пистолет! У тебя даже разрешения нету. Тебе же не дали пистолета, когда посылали сюда. Ты еще не сотрудник. И не будешь сотрудником. Не будешь. Я тебе это твердо говорю. Ты помнишь, кто я такой?
— Не помню.
— Ну и дурак! Ох, какой тупой дурак! Ты же, наверно, сломал мне руку. Ты за это ответишь. И за то, что взял чужой пистолет, ответишь...
— Я его сдам дежурному по городу.
— Да над тобой же все будут смеяться. Над тобой и так целый месяц все смеются...

— Пусть.
— Пойдем, — тянет Усякин Воробейчика за рукав.
Но Воробейчик упирается.
— Да погоди ты, собашник! — говорит он Усякину. И опять оглядывается. Ну, слушай, Егоров. Будем мы с тобой толковать по-хорошему?
— Не будем.
— Ну ладно, — угрожает Воробейчик, — потом не плачь...
Они выходят из ворот и не спеша идут по темной опустевшей улице. Усякин и Воробейчик впереди. Усякин поддерживает Воробейчика. А Егоров шагает за ними, высоко, как журавль, подымая ногу, чтобы окончательно не оторвать подметку. Даже удивительно, что она до сих пор держится.
И еще заботит Егорова пистолет. Он сунул его в карман брюк, потому что неудобно все-таки с открытым пистолетом идти по улице, даже ночью. А вдруг он нечаянно выстрелит в кармане?
Егоров слышал, что у таких пистолетов есть какой-то предохранитель. Но где он находится, предохранитель, этого Егоров не знает. Надо было бы спросить об этом у Зайцева. Жалко, что раньше не спросил.
У Зайцева был как раз такой пистолет. Егоров его видел. И про предохранитель ему Зайцев сказал. Кажется, Зайцев. Надо было его сразу обо всем расспросить. А то вдруг сейчас ахнет пистолет прямо в кармане? Заденешь за курок или за предохранитель — и ахнет...
Егоров не боялся этого, когда схватил пистолет и Зажал в кулаке, чтобы кулаком ударить Усякина. Ему и в голову тогда не приходило, что пистолет может внезапно выстрелить. А сейчас он этого серьезно опасается. Но все-таки не вынимает пистолет из кармана.
Если б Воробейчик мог угадать эти тревожные мысли Егорова, он, наверное, действовал бы по-иному. Но он, конечно, не догадывается.
Шагая по улице под руку с Усякиным, Воробейчик пытается применить психологический, что ли, способ. Хочет вроде как подольститься к Егорову, потому что другого выхода, как ему кажется, нет. Егорова не возьмешь теперь силой, а если начнешь сопротивляться, Егоров, чего доброго, действительно откроет стрельбу. «От этого психа, — думает Воробейчик, можно любую пакость ждать. Ему же терять нечего. И он злой, как взбесившийся».
Воробейчик оглядывается на Егорова.
— А ты, оказывается, здоровый. Я даже не ожидал, что ты такой здоровый...
Лесть, однако, не смягчает ожесточившееся сердце Егорова. Он молчит, будто не слышит слов Воробейчика.
Он думает о телогрейке и фуражке, оставленных там, в гардеробной, на вешалке. А вдруг все уйдут, швейцар закроет двери и телогрейка с фуражкой так и останутся там? До утра их, пожалуй, не получишь. Да и в чем пойдешь получать их утром? Неудобно вот так, во френчике и даже без фуражки, идти утром по городу. Да еще швейцар может утром начать волынку: откуда, мол, я знаю, чья это одежда?
— Вы чего плететесь, как мухи по струне? — кричит Егоров Воробейчику и Усякину. — Идите быстрее!
У Егорова стынут уши и по спине пробегает холодок. Ведь все-таки сейчас не июль и не август.
— Ты не подгоняй нас, Илья Муромец, — огрызается Воробейчик. Подумаешь, какое геройство сделал! Своих же сотрудников подловил и ведешь, угрожаешь шпалером. Ты бандитов бы ловил, если ты такой храбрый. А своих сотрудников любой дурак может подвести...
У Егорова и руки стынут. Запястья прямо заледенели. Он потирает руки, стараясь их согреть.
А Воробейчик опять говорит, пробуя разные психологические, что ли, подходы:
— И сотрудники у нас тоже разные бывают. Одни с бандитами сражаются в открытую, жизнь свою не щадят, а другие перед начальством выслуживаются, как, например, ты, Егоров. Приведешь сейчас нас в управление и сразу выслужишься. Тебя зачислят на должность как комсомольца, а нас выгонят к такой-то матери. Тем более что я в данную

минуту выпивши. Меня, конечно, выгонят. У меня до этого было два замечания. А ты займешь мою должность...
Егоров уже согрел руки. Теперь он греет ладонями уши. Он не все слышит, что говорит Воробейчик, да он и не старается его слушать. А Воробейчик говорит и говорит:
— Все-таки, Егоров, ты плохой товарищ. Никудышный товарищ. Сволочь! С тобой пошутили сотрудники, старшие твои товарищи, а ты вдруг обозлился, как цепной кобель. Товарищи так не поступают. Мало ли какая может быть шутка! Мы же все-таки в одном учреждении служим. И тем более мы сейчас выпивши, в состоянии, как говорится, аффекта. Это даже на суде учитывается. А ты, как сволочь...
Эти слова неожиданно трогают Егорова.
— Да брось ты причитать! — кричит он, останавливаясь. — Хочешь, я сейчас отдам тебе твою пушку, и вались ты к черту...
— Давай, — ошеломленный этим решением, протягивает руку Воробейчик.
Егоров осторожно вынимает из кармана пистолет и протягивает его Воробейчику.
— А вы видите... вы видите, как вы мне френч изорвали? — показывает Егоров. — Это тоже, считается, шутки?
— Да я тебе его сам зашью, — предлагает Усякин. — Приходи ко мне хоть сегодня домой, и моя жинка тебе зашьет...
— Да не надо мне, — отказывается Егоров. — Мне и дома зашьют. Но вы все-таки, я считаю, гады. Так люди не делают, как вы со мной.
Усякин останавливается под фонарем и показывает свое лицо.
— А фотокарточку ты мне вон как исказил! Это не считается?
— Сами виноваты, — отворачивается Егоров. — Пьянчужки...
— Будешь звонить про это, как мы с тобой хотели пошутить? — спрашивает его Воробейчик.
— Для чего это я буду звонить?
— Не будешь? Дай честное слово...
— Да для чего я буду честное слово давать? — опять греет уши ладонями Егоров. — Я говорю, что не буду звонить, значит, не буду. Для чего это мне надо звонить?
— Ну, тогда держи пять, — протягивает ему непокалеченную руку Воробейчик. — А я сейчас пойду прямо в больницу, в приемный покой. Пусть поглядят, что у меня в руке. Может, правда, перелом? Сильно ноет. Просто терпения никакого нет...
Егоров возвращается в казино. Он теперь почти рад, что все так в общем хорошо закончилось.
Действительно, это было бы глупо, если б он привел Воробейчика и Усякина в дежурку. Можно было бы подумать, что он правда хочет выслужиться перед начальством и что он плохой товарищ. С ним пошутили, хотели проверить, какой он, пугливый или нет. Ну и вот, проверили.
Жалко только, что карман оторвали. Катя будет ругаться, но ничего, пришьет. Немножко посердится и пришьет. Не с мясом же оторвали.
Егоров еще раз в гардеробной осмотрел карман. Нет, ничего, это можно пришить. Но что с подметкой делать? Опять идти, по-журавлиному подымая ногу? Да еще, чего доброго, и потеряешь на улице подметку. Пожалуй, ее лучше оторвать.
Егоров так и сделал — оторвал подметку и спрятал в карман.
Ноге стало холодно на холодном глянцевитом полу, выстланном разноцветными керамическими плитками. Но Егоров этого не замечал. Он не замечал и озноба и того, что у него горят и ноют уши.
Торопясь, он оделся и снова вышел на улицу. Как же ему теперь быть? Рассказать ли обо всем Журу? Или не рассказывать? Рассказывать или не рассказывать? Ведь он пообещал Воробейчику «не звонить».
Уши у него сперва горели и на улице. Потом стали остывать и, наконец, снова зазябли. Ветер слишком сильный, как в ту ночь, когда они ездили на операцию в Грачевку. Нет, ветер, пожалуй, еще сильнее, чем тогда. И ветер как будто свирепеет.
Егоров греет уши ладонями и опять невольно вспоминает, как еще сегодня собирался купить шапку, за счет этих лошадок хотел разжиться. Хотел разбогатеть. И уже в мыслях

был богатый. Уже делил деньги — сколько дать Кате и сколько оставить себе. А потом его пожалел нэпман...
Егоров плюнул, вспомнив жилистый нос нэпмана и вздрагивающее на носу пенсне.
Он шел по улице очень быстро. Оторванная подметка лежала в кармане, а ноге было нестерпимо холодно. Почти голой ногой, в одной портянке, приходилось ступать на застывшую слякоть тротуара. Уж скорее бы дойти! И тут совсем недалеко до угрозыска. Но это недалеко, когда идешь хорошо обутый...

21

Жур сидел в дежурке один. Он что-то записывал левой рукой. Егоров вошел почти бесшумно и остановился у дверей, как бы стараясь не помешать Журу. Но Жур вдруг поднял на него веселые глаза и, точно ему уже все известно, сказал:
— Так, так. Значит, вот так и заканчиваешь свой испытательный срок?
Егоров вновь с особой остротой почувствовал себя виноватым.
— Никаких происшествий не было, — пожал он плечами, словно стараясь все-таки хоть как-нибудь смягчить свою вину.
— А что ж ты такой унылый? — улыбнулся Жур. — Ты же не виноват, что не было происшествий. Мы же сами их не делаем. Стараемся не делать...
— Нет, я просто так, — опять пожал плечами Егоров.
Жур продолжал улыбаться.
— Деньги казенные не проиграл?
— Нет, что вы! Они при мне. Вот, пожалуйста...
Жур взял смятую трехрублевую бумажку, разгладил ее пальцами на столе, прочитал номер кредитки. Задумался. Потом опять улыбнулся.
— Что же не сыграл на казенные? Они, говорят, счастливые...
Егоров молчал.
— Не хотел, что ли? — допытывался Жур. — Боялся рисковать?
— Не в этом дело, — сказал Егоров, готовый признаться Журу во всем, во всех своих помыслах. Но не знал, как начать. И, затрудняясь, повторил: Не в этом дело...
— Не в этом, — подтвердил Жур. — Это ты правильно говоришь, не в этом. Я тоже точно так считаю.
Егоров все-таки хотел признаться Журу в том, как он чуть было не соблазнился. Надо сказать, как встретил у кассы будто знакомого нэпмана. И зачем сам подходил к кассе, тоже надо сказать.
Егоров начал уже рассказывать, как смотрел на механических лошадок. Но на столе зазвонил телефон. Вот он всегда тут звонит в самое неподходящее время. И так будет, может быть, постоянно.
Жур снял трубку.
— Хорошо, — сказал он в трубку, — хорошо, сейчас пришлем. — И повесил трубку. — Вот что, Егоров, ты можешь сейчас съездить на Голубевку?
— Могу. Отчего же я не могу? Сейчас?
— Сейчас.
Егоров посмотрел на свой башмак без подметки.
— Только я, Ульян Григорьевич, должен на минутку выйти...
— Выйди, конечно, выйди, — засмеялся Жур. — Законное дело...
Жур не понял Егорова. Умный, сообразительный Жур, а все-таки не понял.
Егоров надеялся найти в коридоре веревочку или лучше проволоку и хоть как-нибудь прикрепить подметку. Нельзя же так ехать на происшествие. А сообщить Журу об аварии с

башмаком не решился. Жур, чего доброго, тогда скажет: «Ну, в таком случае не езди». И так никогда для Егорова не кончится испытательный срок.
В коридоре, на свое счастье, Егоров встретил Зайцева, вернувшегося с происшествия. Зайцев, узнав, в чем дело, сперва захохотал, потом моментально достал, словно из земли вырыл, моток проволоки, не очень толстой и не очень тонкой, как раз такой, какая нужна. И Егоров тут же, в коридоре, стал не только прикреплять оторвавшуюся подметку, но и укреплять еще не оторвавшуюся.
— Ты смотри-ка, Егоров, у тебя и карман оторвался, — заметил Зайцев и опять захохотал.
— Ты что, в переделке был?
— Да так, глупость одна получилась, — смутился Егоров и пошел в дежурку, где, наверно, уже сердится Жур.
— Ты погоди, — задержал его в дверях Зайцев. — Ты Воробейчика на «Золотом столе» не видел?
— Видел. А что?
— Я хотел тебя предупредить, но не успел. Они хотели тебя разыграть. Для этого и послали на «Золотой стол», выбрали вроде легкое задание. Я слышал, они тихонько сговаривались в дежурке, Воробейчик и Усякин. Ты Усякина не видел?
— Видел.
— Ну вот, они сговаривались, чтобы тебя разыграть. Они многих тут разыгрывают новичков. Я хотел тебя предупредить, но не успел. Значит, они тебя разыграли?
Егоров утвердительно мотнул головой.
— Ну и как? — спросил Зайцев.
— Ничего. Вот видишь, карман оторвали...
— А ты?
— А я ничего.
— Жалко, что они не на меня напали, — сокрушенно пожалел Зайцев. — Я бы им показал кузькину маму... Не Воробейчику — он мужик в общем неплохой, а этому Усякину. Он дрессирует тут служебных собак, ну и пусть дрессирует. А комсомольцы — это ему не служебные собаки. Я бы его сразу отучил от этих штук...
— Он больше, наверно, не будет разыгрывать нас, — сказал Егоров. — Я думаю, что он больше не будет. Это они еще по старинке делают...
— Но тебя-то они правда разыграли?
— Разыграли, — опять мотнул головой Егоров.
— А как? — загорелся Зайцев. — Ты расскажи мне все подробно. Воробейчик был в маске?
— Ага.
— Я видел у него эту маску на столе. Вот такие большие глаза. И фосфором намазанные, чтобы светились в темноте. Это действительно можно испугаться с непривычки. А Усякина ты раньше не видел?
— Никогда.
— Усякин — он и без маски страшный, — засмеялся Зайцев. — Он походит на сумасшедшего. Я его сам тут, в коридоре, чуть не испугался, когда увидел в первый раз. Он многих пугает. Ты мне расскажи, как это они начали тебя разыгрывать. Я сам хотел пойти за тобой на «Золотой стол», чтобы тебя предупредить и посмотреть. Но меня Жур послал на происшествие. Я уже сегодня на два происшествия съездил. А мне было бы интересно посмотреть, что они с тобой будут делать...
— Ты понимаешь, я дал слово никому про это не рассказывать, — вздохнул Егоров. — Тебе-то, конечно, можно. Но меня сейчас вызывает Жур...
В дежурку он вошел заметно повеселевший. Все-таки это большое дело хорошо укрепить подметки.
Жур сказал ему, куда ехать, как ехать и кого взять с собой.
— Да, еще вот что, самое главное: я тебя так и не успел поздравить, остановил Жур Егорова уже в дверях. — Ты приказ-то видел?
— Какой?
— Да вон висит. С нынешнего числа ты зачислен в штат...
— А Зайцев как же?

— И Зайцев зачислен. Я его еще час назад поздравил. А тебя не успел. Поздравляю. — И Жур протянул ему левую руку.
— Спасибо, — сказал Егоров очень тихим голосом, стараясь не выказать радости. Да и радость как бы не дошла еще полностью до его сознания.
Никогда не думал он, что это долгожданное событие произойдет так просто. Ему казалось, что его еще долго будут испытывать, проверять. А вот, оказывается, уже проверили и вывесили приказ. И наверно, сам Курычев подписался.
Егорову хотелось своими глазами прочитать приказ. Но он не мог задержаться. Надо было ехать.
— Поздравляю, — повторил Жур. — Это очень приятно, что ты уже закончил испытательный срок. Но все главные испытания впереди. Нас теперь с тобой будет испытывать сама жизнь. До самой смерти, однако, будет испытывать. Со всей строгостью...
Жур еще что-то говорил, но Егорова сильнее всего тронули слова «нас с тобой».
Жур, казалось, приобщал его этими словами к чему-то необыкновенно значительному и важному — более важному, чем уголовный розыск, куда так старался поступить Егоров.
Вот он и поступил. Но это еще не все. Далеко не все.
Жур вышел с Егоровым во двор.
Во дворе уже трещал, кряхтел и пофыркивал старенький автобус «Фадей».
— Ты сейчас едешь, Егоров, на происшествие в первый раз не как стажер, а как работник. Ты это учти, — сказал Жур во дворе. — Вся ответственность на тебе. Кузнецов и Солдатенков должны слушать тебя. Я их предупредил. Ну, счастливо тебе, Саша...
Автобус уверенно зафыркал и, медленно набирая скорость, выехал из ворот в темную ветреную ночь.

Переделкино, ноябрь 1955 г.

Последняя кража

В человеческой судьбе много самых неожиданных изгибов, поворотов, случайных и странных. Буршин, может быть, не стал бы вором, если б не такой вот случайный поворот. Он стал бы приказчиком, официантом или, в лучшем случае, слесарем, к чему имел несомненные склонности.
Особую его склонность к слесарному делу признавал и Алексей Дудыкин, владелец небольшой мастерской и скобяного магазина в Театральном проезде в Москве. Но Дудыкину казалось, что мальчишка заносчив чрезвычайно, непочтителен к старшим. И однажды, после краткого разговора, вспылив, хозяин выгнал мальчишку из магазина и в дверях еще дал подзатыльник ему.
Буршину было десять лет. Он весь день просидел на холодных ступенях Большого театра. Он не знал, что делать ему, куда идти. Он был совершенно одинок в огромном городе.
В кармане его холстинных штанов было двадцать копеек.
Двадцать копеек — это бездна удовольствий для мальчишки: это увлекательная игра в кегельбан на базаре, это леденцы и сайки, это сладкий квас и сладкие петушки на палочках.
Но Буршин был серьезен.
На две копейки он купил хлеба, на пятак — селедку и чай, а на остальные — керосину и ночью облил керосином четыре угла деревянного дудыкинского дома.
Подожженный дом осветил тишайшую осеннюю ночь.
Очарованный мальчик стоял на углу и смотрел на багровое зарево.
По-улице скакали какие-то сказочные всадники, гремели пожарные бочки, и надсадно свистел в кулак похожий на памятник городовой.

А мальчик все стоял и стоял на углу, не в силах оторваться от зловещего зрелища. Из глаз его катились слезы. Они катились не от раскаяния, но от дыма, коловшего глаза.
Пойманный, он не мог уже плакать. Он выплакал все свои слезы и молча шел с городовым, который вел его за руку. А позади шел второй городовой, придерживая на ходу трепетавшую шашку. И мальчику было приятно такое исключительное внимание к его особе.
Это был самолюбивый и своевольный мальчик.
Из колонии для малолетних преступников, куда поместили его для исправления, он бежал через шесть дней и снова был пойман только через три года, теперь уже как стремщик большой грабительской шайки.
В тюрьму вошел новый вор.
Полиция сфотографировала его анфас и профиль, взяла дактилоскопические оттиски и записала для памяти краткую его биографию.
Но ни биография эта, ни особые приметы, ни оттиски ничем не удивили полицию. Буршин был обыкновенный вор. Он неукоснительно повторял историю своих предшественников, шаблонную, в сущности, историю.
В тюрьме нашелся сердобольный старичок из профессиональных ширмачей, иначе говоря — карманников, которому мальчик очень понравился, и он со скуки стал учить его грамоте по обрывку старой газеты, обычно употребляемому на цигарки. Буршин учился прилежно, с большой охотой.
Из тюрьмы он вышел грамотным во всех отношениях. Некий Гржезинский, пожилой медвежатник, или, иначе говоря, шниффер, пожелавший на старости лет передать в надежные руки редкостное и рискованное свое ремесло, пригласил его к себе в напарники по взлому сейфов и несгораемых шкафов.
Буршину просто повезло. Гржезинский принадлежал к старинному роду высококвалифицированных преступников, мастеров так называемого шниффера. Он в запальчивости утверждал, что его предки и сородичи изобрели все древнейшие и новейшие способы ограбления денежных хранилищ и действовали в этом направлении чуть ли не во всей Европе. Он, конечно, хвастался, преувеличивал, но бесспорно было одно — сам он выдающийся специалист по вскрытию сейфов. За ним числились десятки таких преступлений, о которых в свое время под рубрикой «Происшествия» писали многие столичные и провинциальные газеты.
Буршину, случайно попавшему на выучку к Гржезинскому, таким образом, сильно повезло. Одинокий Гржезинский полюбил его, как сына. Он водил его с собой на преступления, открывал ему тайны преступного своего ремесла и при этом не только учил воровским принципам, но и внушал ему особые житейские принципы.
Он говорил, что мир устроен для сильных, что только сильные имеют право на жизнь. Им предоставлены все удобства. И не важно, чем занимаются они грабежом, торговлей или коммерцией. В мире царствуют только деньги. И только деньгам покоряется человек.
Гржезинский повторял это очень часто. Он был философом. По вечерам читал библию, пел псалмы и часто пил запоем. В запое он видел источник постоянных своих неудач, но ничего поделать не мог.
Буршин слушал его внимательно. Ходил за ним неотступно. Вместе с ним два раза попадал в тюрьму и сидел в одной камере. И в тюрьме продолжал учиться. Упорно, прилежно, старательно.
Люди учатся так, чтобы стать слесарями, механиками, инженерами. Он учился так, чтобы стать вором. Настоящим, квалифицированным, первоклассным.
В двадцать лет, после смерти учителя, замученного запоем, Буршин стал работать самостоятельно. Он знал уже все приемы. В совершенстве овладел искусством не только выбирать объект и быстро производить операцию, но и умением хладнокровно и тщательно заметать следы. Знал, кому, как и какую взятку давать и кому не давать. И никогда не ошибался в этом.
Изредка он все-таки попадал в тюрьму. Но и в тюрьме чувствовал себя неплохо. Воры беспрекословно уступали ему лучшее место, лучшие нары, лучший кусок. Он был для них главарем. Он владел редчайшей воровской специальностью, которой мог бы позавидовать любой, пусть даже самый удачливый вор. И любой позавидовал бы его внешности, его телосложению, на редкость крепкому.

Буршин сделал блестящую воровскую карьеру.
Внешне — в лайковых перчатках, в котелке, в заграничном драповом пальто — он походил теперь на фабриканта, на наследника богатой фирмы, на потомственного барина. И на всякий случай у него была заготовлена подходящая биография. Он говорил, что отец его был генералом, а мать жива и до сих пор, она помещица в Калуге.
Настоящая же его мать жила в кухарках в Коломне. Она сделала для него все, что могла сделать мать-кухарка, записанная в паспорте девицей. Она отправила его, девятилетнего, в столицу, на обучение в магазин, дала ему рубль денег, буханку хлеба, пучок зеленого лука и сказала на прощание, горько плача:
— Ты один, Егорша. Как перст, один. Помни это. И не балуй.
Она сказала все, что могла сказать. Она мечтала, что сын пойдет по торговой части. Но сын пошел по тюрьмам.
За пятнадцать лет он обошел больше десятка тюрем. Совершал ошибки, делал промахи. Но от ошибок не был свободен и его учитель.
Однако Буршин превзошел учителя в умении изворачиваться, уходить от преследования. Довел это умение до виртуозности.
И наконец наступил период, когда он мог спокойно жить. Настолько спокойно, насколько это возможно для самого удачливого вора. Полиция получала свою долю и не беспокоила его без крайней необходимости. В домовой книге было записано, что он коммерсант.
Как у всякого настоящего коммерсанта, у него была хорошая квартира. Были деньги, влиятельные знакомства. Был даже постоянный помощник. Что-то вроде личного секретаря. Некий Подчасов.
Подчасов работал поваром в Офицерском собрании. Но эта работа не была его главным занятием. Она служила только дымовой завесой для другого занятия, основного, прибыльного, секретного. Подчасов высматривал «объект», иначе говоря — шкаф, сейф, выяснял условия и докладывал патрону о своих наблюдениях.
И только после того, как вся обстановка, в которой находился объект, становилась совершенно ясной, патрон шел на «дело». С безупречной точностью опытного хирурга он вскрывал стальной и лакированный шкаф, неторопливо, но быстро потрошил его.
А Подчасов в это время бегал где-нибудь у входа и, по-собачьи вытянув голову, прислушивался к шорохам. Он очень сильно походил на собаку. Весь взъерошенный, согнутый пополам, с вытянутыми вперед руками, он, казалось, готов был каждую минуту встать на четвереньки и побежать, по-собачьи виляя незримым хвостом.
Буршин слегка презирал его, но все-таки дружил с ним, держал около себя. И Подчасов был единственным человеком, которому безгранично доверял Буршин.
Был у Буршина еще один человек. Некий Чичрин Василий. Слесарь. Замечательный слесарь-лекальщик. Он готовил воровские инструменты, ремонтировал их и хранил у себя. Он тоже пользовался доверием у патрона. Однако далеко не таким, как Подчасов.
У Подчасова была не только внешность собачья, но и собачья преданность своему патрону.
Буршин женился, обзавелся семьей. Но даже жена не знала о его делах всего, что знал Подчасов. Жена простодушно думала, что муж ее действительно коммерсант. О занятиях своих он никогда не рассказывал. И она привыкла не интересоваться ими.
Буршин вел свое дело очень тонко. Не бросался с горячностью маньяка на всякий сколько-нибудь подходящий объект. Тщательно выбирал объекты. И преступления совершал не очень часто.
Кроме того, он непрерывно совершенствовал свои приемы. Разбирал детально не только каждую свою операцию, но и операции своих коллег.
Узнав из газет или из разговоров, что такой-то медвежатник завалился на крупном деле, Буршин посылал Подчасова выяснить причины этой неудачи. Все причины, все подробности.
Подчасов бродил по «малинам», по «хитрым хазам» и «кодлам» и добросовестно собирал интересующий патрона материал. Сам патрон без особой надобности старался не входить в какие-либо отношения с воровской средой. Он всегда презирал эту мелкую шпану.
Однако с крупными ворами, равными ему по положению, он тоже старался не заводить знакомств. Встречался с ними только в тюрьмах и только в тюрьмах поддерживал с ними дружбу.

Впрочем, едва ли эти отношения можно назвать дружбой. Это были вынужденные встречи главарей, всегда враждующих конкурентов. И приличие требовало, чтобы они не враждовали в тюрьме. Буршин не нарушал приличия. Всегда был предан воровскому этикету. В тюрьме говорил по-блатному, выполнял все правила хорошего воровского тона.

Но на свободе он вел себя совсем по-другому. Много читал, заводил знакомства среди молодых офицеров, купеческих детей, среди студентов и коммерсантов. И старался как-нибудь использовать эти знакомства, научиться чему-нибудь у этих людей и в конце концов устроить свою жизнь так же, как они, почтенно и прочно.

У него росли дети. Они были еще очень маленькие. Но надо было уже думать и об их судьбе. Буршин не хотел, чтобы дети росли ворами. Хотел, чтобы они стали не хуже других — гимназистами, студентами. Хотел, чтобы они выросли хозяевами жизни, как люди, чье расположение он старался завоевать теперь.

Он старался теперь войти в круг солидных, независимых людей, о чьей силе восторженно говорил Гржезинский.

Незаконный кухаркин сын хотел стать коммерсантом. Не по паспорту, не по домовой книге, а по-настоящему. При этом он не собирался бросать свое старое ремесло. Нет, он искал только совместительства. Добротного, приличного совместительства, которое могло бы служить и хорошей вывеской. Искал очень долго. И наконец нашел.

Но тут грянула революция. Грянула совершенно неожиданно для него. Однако Буршин не испугался. Ведь он не князь, не граф, не помещик. Он просто вор. Впрочем, ворам тоже может не поздоровиться во время революции.

Буршин, улыбаясь, вспоминал один печальный случай.

Этот случай был в пятом году. Буршин работал тогда еще вместе с Гржезинским. В качестве практических занятий ему доверялись иногда небольшие самостоятельные кражи. Одну такую кражу надо было провести в Москве, на Пресне.

Пресня была в огне. Буршин всегда любил рискованные положения. Он пробрался через линию боев, вышел к зданию, где находилась нужная ему касса, взломал ее и был весьма разочарован операцией.

В кассе, уже опорожненной кассиром, лежали только десять рублей и маленький револьвер «бульдог».

Буршин все-таки взял револьвер и деньги взял, чтобы не возвращаться с пустыми руками. И, опечаленный, опять побрел через линию боев, через вскопанные мостовые и поваленные заборы.

У Кудринской площади его остановили. Жандармы обыскали его. Нашли «бульдог». И, приняв за революционера, повели в участок.

У ворот участка были выстроены в два ряда полицейские, дворники и члены «Союза русского народа». В руках они держали поленья.

Буршина вместе с дружинниками прогнали сквозь этот строй. До участка он, однако, не добежал. Потерял сознание. И без сознания пролежал всю ночь.

А утром выяснилось, что он просто вор. Полиции было некогда возиться с ворами. Буршина выгнали на улицу. Он долго не мог оправиться после этой ночи. Но, оправившись, любил вспоминать эту ночь.

— Вот вам единственный случай, — говорил он, смеясь, в кругу товарищей по ремеслу, — когда я пострадал. И то по ошибке. А в общей сложности я жил безбедно.

Безбедно Буршин жил до Октябрьской революции.

Затем начались затруднения. Запись в домовой книге могла доставить ему большие неприятности. Нет, он теперь не хотел, чтобы его считали коммерсантом. Коммерсант — это значило, по новым временам, нетрудовой элемент, паразит, бывший человек. Это значило — плати налоги, подавай сведения о доходах. Буршина это не устраивало.

Он приобрел где-то новые фальшивые документы и попросил управдома изменить старую запись в домовой книге. По новым документам он числился старшим агентом кустарной артели «Красный инвалид».

Из этой же артели он часто получал командировочные удостоверения и разъезжал по многим городам. Дважды съездил в Сибирь и на Дальний Восток, побывал на Кавказе и в Средней Азии. Четырежды за два года подвергался приводам в уголовные розыски разных городов, но трижды был отпущен за недоказанностью преступления, а один раз сбежал.

Он сбежал один раз, но этот случай был зарегистрирован в Ростове-на-Дону, и когда весной 1923 года его снова задержали в Иркутске, ему предъявили уже несколько совершенных им преступлений. Его повезли под конвоем в Москву.

Из архивов старой сыскной полиции были извлечены его прежние «дела». Как рецидивист, он должен был подвергнуться суровому наказанию, но ему опять повезло.

У здания суда он выпрыгнул из фургона и, раненный в бедро, все-таки ушел от преследования по дворам и узким московским закоулкам, знакомым ему с самого детства.

Он вынужден был уехать из Москвы, скитаться по дачным местностям, боясь показаться на глаза даже своим сообщникам, которые могли бы выдать его, чтобы самим отличиться.

Буршин становился особо недоверчивым, боязливым и нервным. И для этого были серьезные основания.

Большое, скуластое его лицо с немного выпуклыми, грустными глазами и оттиски пальцев — длинных, ширококостных, утолщенных на концах — были теперь известны почти во всех уголовных розысках страны.

Буршин понял, что взятки его больше не спасут, как спасали в старое время, что приходит конец, что ему не миновать расстрела и что коричневая борода может служить только вывеской отчаяния. Она надоела ему, эта искусственная борода, приклеенная в пору особенно плохих дел. Он сорвал ее в первом же перелеске, переступив кордон, и долго смотрел, как плавала она в зеленой воде канавы...

В Варшаву Буршин шел уверенный, что она приютит его.

И Варшава не разочаровала Буршина. Здесь он встретил друзей, с которыми сиживал когда-то в российских тюрьмах. Некоторые из них стали здесь богачами. Заболоцкий, например, открыл шикарный ресторан и гостиницу «Полония».

Буршин пришел к Заболоцкому.

В «Полонии» Буршину отвели две комнаты и предоставили полный пансион. И все это совершенно безвозмездно, в память прошлого, в память молодости, которая прошла.

Она прошла в российских тюрьмах, на базарах, на воровских квартирах, эта позорная воровская молодость. Но все-таки Заболоцкому было приятно вспомнить ее.

В Варшаве Буршин устроился, пожалуй, не хуже, чем когда-то в Москве. Даже лучше, пожалуй. Опять в домовой книге было записано, что он коммерсант, и никто не приставал к нему с нескромными вопросами.

Варшава в этом смысле была благословенным городом. Здесь можно было заниматься чем угодно. Важно только вовремя платить налоги или взятки. Особенно взятки. И всякой, пусть самой темной, личности предоставлялась вся полнота независимости и свободы. Варшава в этом смысле была свободным городом. Недаром крупные воры всего мира почитали ее своей священной Меккой. Как Чикаго, как Марсель, как Рим.

Воров в Варшаве было очень много. Их ловили, конечно, били в участках, сажали в тюрьмы, заковывали в кандалы. Но били только мелких, неквалифицированных воров.

Буршина в Варшаве не били.

Освоившись в новой обстановке, Буршин вскоре ушел от Заболоцкого. Он удачно провел два дела — вскрыл два шкафа в двух конторах, разделил добычу между участниками, взял свою долю и решил дальше жить и действовать самостоятельно.

У него была теперь своя квартира, свои деньги. У него не было только семьи, которая осталась в Москве.

В Москве остались жена и дети.

Буршин сильно скучал о детях. Он был не настолько молод, чтобы думать о второй семье, чтобы обзаводиться второй семьей. Он постоянно думал о первой. Он думал о том, как лучше перевести семью из Москвы в Варшаву.

Однажды он написал об этом жене, но ответа не получил. Это взволновало его. Однако он не потерял надежды, что когда-нибудь все устроится само собой. Добудет большие деньги, откроет ресторан, кофейню или магазин, выпишет семью — и все пойдет как надо.

Буршин завидовал людям, которые имеют денег меньше, чем он, но живут все-таки лучше его, по-человечески нормально, семейно и спокойно. Зависть иногда переходила в хандру. Начинал пить. Как в молодости, ходил по первоклассным ресторанам. И за ним ходила неотступно большая компания прихлебателей.

Эта компания пила на его деньги, пропивала будущие его магазины, рестораны, кофейни. Пропивала его мечту. Но она же удовлетворяла его врожденному тщеславию. Пейте и ешьте! Бурщину ничего не жалко, он богатый человек. И завтра, если захочет, будет еще богаче. Он богаче в десятки раз Алексея Дудыкина, который хотел когда-то лишить его куска хлеба за непокорность и выгнал из магазина. Где он теперь, этот толстомордый, прыщеватый урод?
Ярость просыпалась в человеке неожиданно и страшно. Вспыхнув, пьяный до ослепления, он ломал и мял ресторанную обстановку, бил посуду и, дойдя до высшего градуса безумия, разгонял почтенную публику стулом, палкой, кулаками. Он позволял себе то, чего никогда не позволил бы в трезвом виде, — осторожный, хладнокровный и немножко грустный человек.
Разогнав гостей, он оставался один. И тогда во всем мире были только два человека — дочь и сын, которых он искренне любил. Это дети его. Он должен думать о детях. Для них должен добывать деньги, должен жить по-волчьи, в вечном напряжении, в беспокойстве, без веры в завтрашний день. Что может случиться завтра? Может быть, завтра его убьют на месте преступления, выдадут связчики или продаст полиция, когда ей выгодно будет его продать...
Бурщин к старости стал искать оправдания своему ремеслу. И нашел его в том, что у него есть дети, о которых он должен заботиться.
Больше десяти лет Бурщин прожил в Варшаве и все время оправдывал себя этой мыслью о детях, хотя дети давно уже стали для него иллюзией, далеким миражем, приятной выдумкой. Он ничего не знал о своих детях. Но все-таки думал о них. И для них, для их обогащения, как казалось ему, он предпринял рискованную гастроль из Польши в соседнюю маленькую страну. В этой стране, в одном провинциальном банке, надо было взломать несколько сейфов.
Был хмурый день, когда он выезжал из Варшавы. Ветер гнал по перрону пыль и ржавые листья. Собирался дождь. Бурщину было грустно.
Всякому человеку бывает грустно в такие дни. Но Бурщину было особенно грустно. Он просто не знал, куда девать себя. Нетерпеливо шагал по перрону в ожидании поезда. Потом увидел знакомого старичка киоскера и подошел к нему.
— Нет ли русских газет?
Старичок спросил:
— Каких? Парижских?
— Нет, — сказал Бурщин, — московских.
Старичок полез, как в нору, под широкий прилавок киоска и вытащил оттуда газету «Известия». Бурщин дал ему целый злотый и вошел в вагон.
В вагоне сейчас же разделся, лег на нижнюю полку и развернул газету.
В газете большое место было отведено международной информации. Бурщина это не интересовало. Потом шли длинные статьи о каких-то хозяйственных делах. Это тоже не интересовало Бурщина. В этом он просто ничего не понимал. Домны там какие-то, мартены, хозрасчет...
Вагон качало. Бурщина начала одолевать дремота.
Хотел уже отложить газету и уснуть, но в этот момент его внимание привлек большой снимок. На снимке улыбались десять парней и девушек. Бурщин удивленно прочел под снимком свою фамилию. Было написано: «Бурщин Иван»...
Может быть, это однофамилец? А может быть, это сын? Сыну было бы сейчас семнадцать лет. Это он, должно быть. Широкие скулы, как у отца, такой же серьезный взгляд исподлобья. Нет, это несомненно сын Бурщина. Значит, у Бурщина два сына — Иван и Яков. И еще дочь — Наталья.
В газете было написано, что Бурщин Иван, как девять его товарищей, отлично окончил школу, ударник учебы. Значит, бойкий парень. Бойкий в отца.
А отец его, старый жулик, шляется где-то по заграницам, хитрит, ворует.
Дети растут без него. Они выросли уже. Выучились. Выучились без отца. Им плевать теперь на отца, который бросил семью на произвол судьбы и никогда двух злотых не послал семье в подарок. Кому нужен такой отец? Дети больше будут уважать какого-нибудь чужого дядю, нового мужа их матери.
Она, наверно, уже вышла замуж.
Бурщин озлился вдруг при этой мысли. Два чувства — ненависть к жене, которая, наверное, изменила ему, и нежность к детям — обуяли его одновременно.

Он вышел из купе и пошел по вагону, нервный, нетерпеливый. Он испытывал сейчас какое-то новое, большое, горячее чувство, какого не испытывал никогда в жизни, даже в тяжелые дни хандры, когда думал о детях, когда мечтал о них.
Все в жизни он очень быстро забывал. Забыл свою мать-кухарку, которая жила и умерла в Коломне. Привык к им же выдуманной версии, что мать его, помещица, живет в Калуге. И никогда за всю свою жизнь не вспомнил как следует настоящую, родную мать.
Он не был сентиментален, нежен, слезлив. Он был самостоятелен, решителен и жесток. И чувство одиночества никогда не угнетало его, вероятно, потому, что он всегда был крепко убежден в неистребимости сил своих, верил в бесконечность жизни своей и в свое превосходство над людьми, хотя бы над этими людьми, что идут с ним рядом, занимаются его профессией, его ремеслом, — перед ворами.
Он всю жизнь был вором профессионалом, как бывают люди бухгалтерами, слесарями и плотниками. И всегда считал свою профессию законной, неумирающей, а в рискованности ее находил особое удовлетворение.
Он жил так долго, десятки лет. И вдруг почувствовал страшную усталость.
В зеркале увидел однажды свои седые волосы, проступившие в курчавой и густой еще шевелюре. Буршин увидел свое изображение в старости. Увидел себя в будущем — дряхлым и немощным, с лицом, оплетенным сеткой морщин.
И именно в этот день, перед зеркалом, Буршин впервые подумал о тихой жизни. Именно в этот день он особенно нежно вспомнил о детях. И даже о матери своей вспомнил. Искал теперь новых, прочных, вечных связей с жизнью. Искал бессознательно, тревожно. И неудержимо старел.
В вагоне ему захотелось вдруг поговорить с кем-нибудь, рассказать о сыне, может быть, даже спросить совета. Но в вагоне ехали чужие люди, занятые своими делами. Ехали поляки, немцы, какой-то длинный, сухой англичанин.
Буршин молча побродил по вагону и вернулся в» свое купе.
Хорошо бы ему сейчас сесть во встречный поезд, собрать дома вещи и поехать к детям. Он представил себе весь путь до настоящего дома, через леса и овраги, через болота и реки, мимо строгой охраны с той и другой стороны.
Этот путь нисколько не пугал его. Однажды он уже проделал этот путь. И пошел бы опять, несмотря на все трудности. Но только не сейчас. Сейчас он едет по «делу».
Буршин всегда серьезно относился к своим «делам». Считал себя аккуратным человеком и гордился этим: раз сказал — да, значит, да, раз сказал — нет, значит, нет.
Поездку свою он теперь оправдывал также тем, что это его последняя поездка на «дело». Он ехал и всю дорогу, волнуясь, думал о детях и особенно о сыне, чей снимок видел в «Известиях». Интересно, какой он, его сын? Высокий, широкоплечий, сильный, в отца? Или худенький, как мать? Нет, наверно, высокий, большой. Не может быть, что худенький. Не может быть...
Ночью поезд остановился на маленькой станции.
Буршин вышел из вагона. На перроне его ждали два связчика, два похожих друг на друга господина в беретах, какие носят чаще всего французские художники. Они сразу же узнали Буршина, подошли. Они встречали его, как знаменитого профессора, который прибыл, чтобы сделать сложную и срочную операцию тяжелобольному. Они уже все подготовили. Егору Петровичу остается только взломать, точнее говоря — вскрыть сейфы.
Буршин, величественный, в толстом драповом пальто, в мягкой шляпе, с палкой, украшенной позолоченной головой змеи, неторопливо пошел по перрону.
Один связчик суетливо бежал впереди. Другой на почтительном расстоянии шел за Буршиным. Они охраняли его.
В воровской гостинице, иначе говоря — в «малине», подали прекрасный ужин с вином, с русской водкой. Но Буршин не стал ужинать. Он никогда не ест перед работой. Этому учил его еще Гржезинский.
Он просто выпил два лафитника водки, закусил моченым яблоком и попросил крепкого чая с лимоном. Потом тщательно осмотрел инструменты, одобрил их. И они пошли — он и два связчика. Связчики несли инструменты.
В городе, на главной улице, горело несколько тусклых одиноких фонарей. Над городом висело черное небо. И под небом этим, пасмурным и тяжелым, незнакомый серенький город выглядел тревожно.

Впрочем, тревожно он выглядел, может быть, потому, что настроение у старого вора в эту ночь было на редкость подавленное и вялое. Мысли о детях, взволновавшие его в вагоне, продолжали гнездиться в мозгу и не давали сосредоточиться.
Будто сквозь дрему он слышал слова связчика, шедшего сейчас рядом с ним и вполголоса излагавшего ему важные подробности. Буршин улавливал только отдельные слова и пристально вглядывался в темную перспективу улицы, точно ожидая, что вот сейчас кто-то страшный выйдет навстречу ему из темноты.
Но на улицах не видно было прохожих. Было тихо-тихо. И в тишине вдруг раздался странный, металлический смех.
Буршин вздрогнул. Перед ним, как привидения, возникли две женщины в широких шляпах. От неожиданности он даже остановился, но в то же мгновение понял, что это проститутки, грубо оттолкнул их, одну ударил палкой по заду и, провожаемый их визгом, пошел дальше.
Однако настроение его от этой, в сущности, обыкновенной встречи почему-то еще более ухудшилось.
«Не выспался я, что ли?» — подумал он, привыкший все объяснять простейшими причинами. На минуту заколебался. Не отложить ли?
По опыту он знал, что при таком настроении заниматься опасным делом нельзя.
Но в этот момент они подошли уже к банку.
У банка Буршина встретили еще три связчика. Они сообщили, что охрана убрана, сигнализация парализована, все готово. Буршин слушал их рассеянно и тревожно думал: «Чего это такое со мной? Уж не захворал ли я?»
И, думая так, делал все, что нужно. Осмотрел потайной ход, проделанный для него специальными людьми, так называемыми кобурщиками, остался чем-то недоволен, но все-таки снял пальто и, солидно крякнув, полез в узкую темную дыру...
Близких его сообщников, людей довольно опытных в воровском ремесле, всегда удивляли его спокойствие во время операции, особая точность жестов и эдакая почти хозяйская уверенность, совершенно, казалось бы, неестественная для вора, постоянно думающего об опасности.
Буршин никогда не волновался во время операции. Во всяком случае, волнения его никто не видел.
И на этот раз, войдя в полутемное помещение сейфов, где горела в потолке маленькая матовая лампочка, он аккуратно стряхнул с груди и колен землю, приставшую в потайном ходу, и прежде всего закурил.
Уж это черт знает что — закуривать в такой момент! Дорога каждая минута. Помощники его нервничали. Но в следующее мгновение они уже были убеждены, что так надо, что это шик, необходимый мастеру.
Буршин приблизился к первому сейфу. Он не осматривал его по нескольку раз со всех сторон, как это делают все медвежатники, не кряхтел, не возился вокруг него с глубокомысленным видом. Очень спокойно, как слесарь, пришедший утром к своему верстаку, он разложил около себя инструменты, небрежно снял и бросил в саквояж одни перчатки, надел другие и приступил к делу.
Первый сейф хрустнул и открылся раньше, чем это можно было ожидать.
Буршин подошел ко второму сейфу, к третьему. Он вскрывал их по-разному, разными способами, но с одинаковой быстротой и легкостью, будто показывал фокусы в присутствии почтенной публики.
А лицо у него при этом было печальное.
Наверно, и сейчас, вскрывая сейфы, он думал не о них, а о чем-то другом, далеком. Наверно, он в самом деле заболел, и движениями его на этот раз больше руководил профессиональный автоматизм.
Управляемый этим автоматизмом, он аккуратно собрал инструменты после работы и около одного из сейфов бросил докуренную папиросу и нож для раскупоривания консервов, что делал всегда, желая подразнить полицию.
Но, уходя через потайной ход, он забыл соблюсти несколько элементарных предосторожностей, допустил неточности, что с ним случалось очень редко, и в результате...
Перед утром, на вокзале, когда он снова принял величественный вид знаменитого профессора, его окружили похожие на певчих птиц суетливые полицейские.

Буршин оказался выше их на целую голову, и публика, собравшаяся в этот ранний час на вокзале, могла видеть его лицо, на котором презрение сменялось удивлением; Уважающему себя столичному вору было глубоко оскорбительно стать добычей провинциальных полицейских.
Но в полиции не знали, что перед ними крупный международный вор, представитель той особой категории воров, для которых во всем мире, во всех полициях мира заведен особый этикет.
Провинциальные полицейские били мэтра, как мелкого вора. Он потерял до суда два передних зуба и получил десять рваных ран.
Потом его судили. Выяснили, что он крупный вор. Приговорили к пяти годам строжайшего заключения. И два года возили по всей небольшой стране, по разным тюрьмам, не зная, должно быть, куда получше, понадежнее посадить.
Эти два года были, пожалуй, самыми тяжелыми в жизни Буршина. Исхудал, изнервничался, поседел совершенно.
Наконец весной ему удалось бежать.
Побег ему устроили связчики. Они же принесли ему приличную одежду, деньги. Для связчиков он по-прежнему был хозяин, начальник, мэтр. Они кормились около него. И думали кормиться дальше.
Но он решил вернуться в Советский Союз.
Во что бы то ни стало. Домой, к детям.
До границы он доехал в поезде. А потом, дождавшись ночи, пошел пешком через границу. Пошел через чащу, по кочкам, по зеленеющим мхам болот. На болотах его кусали комары. Заболел лихорадкой.
И когда его поймали на советской границе, он был уже совсем больной. Его лечили. Две недели пролежал в бреду. Потом поправился.
Прекрасное здоровье, унаследованное от предков, пахавших землю и бивших бурый камень на каменоломнях, спасало его не раз.
После суда, определившего, в сущности, не очень строгое наказание, он был переведен в тюрьму, в одну из старых белорусских тюрем, где он уже сидел когда-то, еще в молодости. И если память ему не изменяет, сидел даже вот в этой самой камере. Против окна, на правой стороне, стояли его нары.
Нар теперь нет. Но камера осталась такой же, как была, и такой же «глазок» у двери. Правда, стены наново побелены, и в камере стало как будто светлее, чище, просторнее. Вместо нар койки с матрацами.
Изменения, происшедшие в тюрьме, не удивили и не обрадовали Буршина. Он одобрил, конечно, библиотеку и театр. Эти новшества могли смягчить суровый режим. Но все-таки тюрьма, черт бы ее побрал, заведение не из приятных, и не дай бог в нее попадать. Не дай бог вдыхать этот смрадный, будто настоенный на всех отбросах мира воздух, не поддающийся никакому проветриванию, воздух отчаяния и нищеты.
Особенно тяжело в тюрьме вечером, когда, после одиннадцати, камеру замыкают до утра и ключ курлыкает и визжит в замочной скважине. Очень тяжело в этот момент в тюрьме.
Но в этот же момент уголовники начинают как-то сближаться между собой. Общая участь роднит людей. Они вспоминают о своих «делах», рассказывают друг другу свои истории, и тяжкая тоска рассасывается. Людям становится веселее...
Так было всегда. И, вероятно, сейчас так.
Буршин присел на койку, снял башмаки и, по-калмыцки подогнув ноги, заговорил на чистейшем блатном языке.
В уголовном мире всегда были свои лингвисты, свои филологи, свои хранители чистоты блатного языка. Они возмущались, когда в их присутствии начинающий вор путал дрянной базарный жаргон с истинной блатной музыкой. Это разные вещи.
Буршин говорил на чистейшем блатном языке.
Воры, притихшие, сидели вокруг него на койках. Они, казалось, внимательно слущали его. Потом кто-то засмеялся. И за ним засмеялись все.
Буршин сконфузился. Он не рассчитывал на такой эффект. Не собирался смешить. Он заговорил на блатном языке, чтобы воры поняли, кто сидит перед ними. Не фрайер какой-

нибудь, не рогатая кошка. А получилось наоборот. Воры приняли его за чудака. Не поняли его. И он почувствовал себя одиноким среди воров.
Немного погодя он начал расспрашивать, чем они занимаются. И получил самые разнообразные ответы. Оказывается, они ничем не занимаются. Они не знают своего ремесла. Удалось украсть — украл. Не удалось — попался. Вот и все. Ну, какие это воры! Это не воры, а барахольщики, рвань, дикари какие-то. Нет ни одного порядочного человека, который знал бы в совершенстве ремесло фармазонщика или скокаря, громщика или ширмача. Жалкие люди без профессии...
Буршин молча разделся, спрятал башмаки и одежду под матрац и, по-стариковски кряхтя, уснул. Он совершил непростительную ошибку, заговорив с этой шпаной. Он, высокомерный, уважающий себя, самолюбивый Буршин...
Утром его, сонного, потрогал за теплое плечо румяный парень в матросском тельнике. Буршин заворчал. Парень присел на койку, толкнул его в бок, чтобы подвинулся, и спросил:
— Ты чего, отец, будешь делать?
— Спать, — сказал Буршин.
— Ну-ну... Я тебя серьезно спрашиваю. Я бригадир. Ты чего на воле делал?
Буршин вдруг осердился.
— Уйди! Я тебя...
— Ты глаза протри, — посоветовал парень. — Гляди сюда. Я бригадир. Тебя как человека спрашивают... Чего ты можешь делать?
Буршин притих.
Действительно, что он умеет делать? Он умеет вскрывать несгораемые шкафы и сейфы, умеет заметать следы. Кто понимает — это непростое дело. Он занимается этим делом не один десяток лет. Оно кормит его, это дело. Вернее — кормило. И неплохо.
Но едва ли бригадира удовлетворит упоминание об этом деле. Да и выгодно ли Буршину упоминать? Здесь все равно не поймут его. Никто не встанет со своего места, чтобы добровольно уступить его пахану — мастеру, гроссмейстеру воровского ремесла.
Воры выродились. Они утратили свой язык, свои традиции, свое понятие об этикете. В стране произошли какие-то глубокие и сложные процессы, которых не понимает иностранец Буршин. Но он догадывается о них. Он сбрасывает с койки свои большие ноги в заграничных продранных носках и говорит, зевая:
— Я бухгалтер.
Он говорит это неожиданно для самого себя и слегка бледнеет. Что будет, если его здесь, в тюрьме, назначат бухгалтером? Он осрамит себя в первый же день...
Но бухгалтером его не назначили. Эти должности были уже заняты. Буршина, принимая во внимание его нездоровье и возраст, назначили учетчиком в тюремных мастерских. Однако в камере его прозвали «бухгалтером». Ему кричали теперь: «Эй ты, бухгалтер!..»
И — что делать? — Буршин, гордый, строгий, привыкший к почету в воровской среде, покорно отзывался на эту дурашливую кличку. Он вел себя скромно.
Непосредственным его начальником в тюремных мастерских был Адольф Петрович Жлоц, бывший главный бухгалтер лестреста. Он попал сюда за растрату. Он был такой же заключенный, как Буршин. Но он вел себя солидно. Носил белоснежный крахмальный воротничок и галстук, аккуратно проглаженные брюки и выпуклые в золотой оправе очки. В тюрьме он выполнял обязанности помощника начальника мастерских.
Буршину он чем-то напоминал его старого, теперь покойного учителя знаменитого медвежатника пана Зигмунта Гржезинского. Может быть, такой же склонностью к философичности и таким же стремлением к аккуратности во всем — и в одежде и в поведении.
— Острие свое, — говорил он многозначительно, — закон в нынешнее время направляет в первую очередь не против воров, экспроприирующих частных граждан, не главным образом против этих воров, а против шпионов и разных изменников или тех, которых принимают за шпионов. Лично я или вы с точки зрения нынешней юриспруденции особой опасности не представляем. Поэтому нам дается минимальный срок и шанс на перековку...
Не все, далеко не все было понятно Буршину в рассуждениях Адольфа Петровича Жлоца. Даже несколько утомляла этакая витиеватость его речей, но в то же время и нравилась именно витиеватость и слова «юриспруденция», «экспроприация», «минимальный срок». И сам Жлоц все больше нравился.
Буршин заискивал перед ним.

Заискивал не из холуйства, не из низменных каких-то чувств, а исключительно из уважения. Буршин считал его приличным человеком. И профессию, которую представлял такой почтенный человек, он считал приличной. Он любил говорить: «приличные деньги», «приличное пальто», «приличные люди». Бухгалтер — приличный человек. Это все-таки не дворник какой-нибудь, не трамвайный кондуктор. Это серьезное дело. И нет, пожалуй, ничего обидного в этом прозвище «бухгалтер». Работа учетчика кое в чем походит на работу бухгалтера. И книги такие же под руками.

Буршин постепенно привыкал считать себя бухгалтером.

Человек, привыкший чуть ли не с детства жить двойной жизнью, он легко вживался в любую выдуманную роль. Он когда-то легко вошел в выдуманную роль коммерсанта. Он чувствовал себя коммерсантом. Точно так же он чувствовал себя теперь бухгалтером. Да, он в прошлом бухгалтер. Не шниффер, не медвежатник, а бухгалтер, счетный работник. Понятно?

В тюрьме он ежедневно читал газеты, но из газет было трудно узнать, как живет страна, как живут обыкновенные люди. Больше сообщалось о строительстве, о колхозах, о международных делах.

Международные дела Буршина не интересовали. И колхозы и строительство новых заводов его тоже не могло заинтересовать. В старое время он читал в газетах только отдел «происшествий» и торговые объявления. Теперь ни торговых объявлений, ни «происшествий» в русских газетах не было. Можно было так подумать, что в России уже все настоящие, квалифицированные воры и грабители перевелись. Неужели действительно перевелись?

Вечером однажды Буршина повели вместе с другими заключенными в тюремную баню. Вымывшись, он долго сидел в предбаннике, ожидая, когда дойдет его очередь на ножницы, чтобы обстричь ногти. До него ножницами пользовался пожилой благообразный мужчина, похожий на дьякона. И с этих ножниц начался у них пространный разговор.

— Значит, прежних строгостей в тюрьмах теперь нет, — сказал Буршин, глядя, как этот благообразный мужчина выстригает перед зеркалом колючие волосы на своих отвислых, будто лопухи, ушах. — Говорят, раньше, при царе, никакие острые предметы в тюрьмах не допускались...

— Кто это говорит? — обернулся к нему благообразный.

— Люди говорят, которые сиживали в тюрьмах, — уклончиво и смущенно ответил Буршин, не желая теперь каждого осведомлять о том, что он тоже сиживал. — А теперь, глядите, арестантам выдают ножницы. Не боятся...

— А чего ж бояться-то? Ведь на время выдают, во временное, так сказать, пользование, только в бане. — Благообразный поднял перед зеркалом нос и стал выстригать из него волосы, испытывая терпение Буршина.

Но Буршину некуда было спешить. Здесь, в предбаннике, было как-то веселее, чем в камере. И он с удовольствием сидел на деревянной лавке, приминая босыми ногами солому, которой устлан цементированный пол в предбаннике.

— Я говорю, это хорошо, что нету прежней строгости, — продолжал поддерживать разговор Буршин. — И воров, видать, в России стало меньше...

— Ты откуда, с луны, что ли, упал? — опять обернулся к нему благообразный.

— Не с луны, а из-за границы, — не обиделся Буршин. — Я приезжий, из-за границы...

— Из-за границы? — удивился собеседник. — Ну, тогда, конечно, тебе всякое может показаться. — И, передав Буршину ножницы, присел с ним рядом. — Из-за границы? Не русский, что ли?

— Нет, нормально русский. Раньше жил в России, даже в Москве. Но давно не был. И на многое удивляюсь. Воров в тюрьме как будто не видать. И строгости особой не заметно...

— Строгость — она, видишь ли, не для того, чтобы ее замечали, а для того, чтобы чувствовали, — нравоучительно произнес благообразный. — И кому она положена, ее очень хорошо сейчас чувствуют. Даже мелкому прихватчику, ежели не первый раз попадается, в нынешнее время запросто дают расстрел. Не больно-то разгуляешься. Это с одной стороны. А с другой... видишь ли, какое дело... смысла сейчас нет воровать...

Буршин улыбнулся.

— Оно и раньше-то не было большого смысла, а воровали все-таки...

— И сейчас воруют, — сказал благообразный. — Очень даже сильно воруют, но, однако же, не так, как раньше. В нынешнее время вору уделяют большое внимание. Его поймают и

заставляют перековываться. Если сразу не ухлопают, то заставляют перековываться. И в тюрьмах без толку не держат...
— А как же?
— Вот так же. Забирают воров и сразу скопом после суда везут в лагеря по всей державе, где идет строительство. Если вор с головой и с желанием, он может любую специальность приобресть и очень просто выбиться в люди. Вот, допустим, какую ты желаешь специальность?
— Я бухгалтер, — с достоинством представился Буршин. — Если мне бы предоставили должность...
— Предоставят, — заверил его собеседник. — Очень просто предоставят. Сейчас этих счетных работников готовят повсеместно в самом спешном порядке. Я сам работал кассиром в сапожной артели, но получился у меня небольшой конфуз. Взяли мы с председателем из кассы очень неаккуратно двенадцать тысяч денег. Нас тут же и сцапали. На прошлой неделе мне был суд. Дали по смягченной норме пять лет. Теперь жду, куда меня повезут. Кассиром, наверно, больше не поставят, но что-нибудь такое предложат. Народ сейчас повсеместно нужен. Вон какое идет строительство...
— Значит, вы, я так вас понял, не сильно и переживаете, что сюда попали? — как можно деликатнее спросил Буршин. — Вы говорите, если вор с головой и с желанием, он может даже здесь, как я вас понял, пробиться в люди...
— Это совершенно точно, если ему, конечно, сперва не пробьют его голову. Смотря какая голова и что в ней. Это тоже тут определяют, ухмыльнулся благообразный. — Один и отсюда, из тюрьмы, с деньгами уйдет и даже с большими, — а другой...
— Все вполне понятно, — поклонился Буршин. — Благодарю за разговор...
Этот разговор с вороватым кассиром неожиданно ободрил Буршина и заронил в его сердце большие надежды.
Буршину, в сущности, опять повезло. Особые органы, которым надлежит заниматься проверкой сомнительных личностей, не нашли за ним политических преступлений, опасных для государства. Уголовные же преступления были совершены им внутри страны так давно, что за давностью срока не было законных оснований очень строго наказывать его сейчас. И он два года спустя был выпущен, как говорится, «по чистой», с выдачей нормальных гражданских документов и с небольшим пособием, необходимым для переезда к постоянному месту жительства в Москве.
Из тюрьмы домой он ехал теперь «бухгалтером». На нем была добротная шерстяная толстовка, из тех, что с удовольствием носят пожилые бухгалтеры, хорошие хромовые ботинки и темно-синий, прорезиненный, вполне приличный макинтош.
Все эти вещи он заработал в тюрьме, впервые в жизни честным трудом, работая учетчиком в тюремных мастерских, а потом помощником бригадира.
В Москве стояла теплая, предосенняя погода, когда он вышел из поезда на Белорусском вокзале и деловито зашагал в толпе таких же, как он, приезжих людей. Он только не знал, как ему попасть на Тульскую улицу, какие идут туда трамваи. Милиционер посоветовал ему спуститься в метро. И даже откозырял ему.
На Тульской улице, в Замоскворечье, Буршин без труда отыскал небольшой деревянный дом, в котором жил когда-то, поднялся на ступеньки крыльца и позвонил осторожно.
Навстречу ему вышла высокая девушка, белокурая, стройная, в халате. Она спросила строго:
— Вам кого?
— Буршина Татьяна Федоровна, — сказал смущенно Буршин, — не проживает ли, простите за беспокойство, в этом доме?
— Проживает, — сказала девушка иронически и, улыбаясь, осмотрела его с ног до головы. — Войдите, пожалуйста.
Буршин вошел в полутемный коридор, в тишину старого своего жилища. Он вошел робкий, растерянный. Снял кепку и долго ненужно мял ее в руках.
Никогда в жизни он не был таким растерянным.
Высокий, красивый парень подозрительно посмотрел на него исподлобья. Это был тот самый парень, чей снимок Буршин видел в «Известиях».
— Я ваш папа, — сказал Буршин. И не узнал собственного голоса.
Парень еще более подозрительно посмотрел на него. А девушка, та, что открывала дверь, переспросила:

— Наш папа?
— Да, — сказал Буршин тихо и, увидев вешалку, повесил свою кепку на крюк.
Из комнаты вышла немолодая женщина. Она в нерешительности остановилась против посетителя, всматриваясь в него. Потом просто, как тысячу раз в повестях и романах, бросилась ему на шею и заплакала, тихо всхлипывая.
И этот плач мгновенно поставил все на свои места.
Буршин снял макинтош, повесил его рядом с кепкой и прошел в комнату. Он испытывал еще некоторую неловкость. Белокурую дочку, такую большую и незнакомую, неудобно было называть на «ты». Да и сын, этот крупный парень с уверенными, мужскими движениями, казался чужим, незнакомым.
В дом свой Буршин вошел, как в сон. Он сел в кресло и не знал, с чего начать разговор. Помолчав минуту, он все же начал и сразу рассказал все. Все, что придумал за это время, сидя в тюрьме. Он ничего не сказал о воровской своей профессии, о тюрьмах, о побоях, о побегах. Он сказал:
— Я работал бухгалтером... Просто работал бухгалтером в одной коммерческой фирме в Польше...
— В Польше? — удивился сын.
— Ну да, в Польше, — подтвердил отец, будто в этом не было ничего удивительного. — В Польше, в городе Варшаве, в небольшой торговой фирме.
— Н-да, — неопределенно произнес сын и еще более подозрительно посмотрел на отца.
— А где Яша? — вдруг спросил отец и оглянулся по сторонам.
— Яши давно нет, — подняла к глазам уголок передника жена. — Яша умер еще в двадцать пятом году. В феврале двадцать пятого года... От скарлатины...
— От скарлатины?
— А как же вы попали в Польшу? — спросила дочка, стоявшая у окна.
— Кто? Я? — повернулся к дочке Буршин, и лицо его порозовело то ли от внезапного волнения, то ли от лучей заходящего солнца. — Видишь ли, какая история, — проговорил он после долгой паузы, — в Польшу я попал случайно. Поехал, собственно говоря, в командировку. Я часто тогда ездил в командировки. Мать вот помнит... Ну и тут поехал ненадолго. А меня там вдруг задержали. Приняли, как я понял, за шпиона, хотели даже посадить в тюрьму. Даже почти что посадили. Потом разобрались, судить не стали, но из Польши не выпустили...
— А потом? — спросил сын.
— Что «потом»? — повернулся к сыну Буршин.
— А потом — выпустили?
— Не то что выпустили, Мне самому пришлось бежать, хотя я занимал там впоследствии уже вполне приличную должность. Я же говорю, я работал бухгалтером...
— Так, так, — сказал сын, невесело усмехнувшись, и непонятно было, верит он словам отца или в чем-то сомневается.
— Вот так, — усмехнулся и отец, пожав плечами. — Одним словом, принял я за эти годы, как говорится, казнь господню. И там поляки меня преследовали, и тут я сразу же ввалился в неприятность. На границе меня чуть не убили, да и потом пришлось отсидеть в тюрьме, пока разобрались у нас, что такое я из себя представляю. На старости лет, вот видите, пришлось отсидеть в тюрьме в своем же родном отечестве...
— А в какой тюрьме, в каком городе? — опять спросил сын, но уже без усмешки, сочувственно.
— В двух тюрьмах я сидел, — вздохнул отец. — Последние месяцы я находился в Минске, в минской тюрьме...
— В одиночной камере?
— Нет, зачем! — будто растерялся отец. — Я в общей сидел, со всеми. Да и не все время сидел. Днем-то мы работали в мастерских. Щетки делали, умывальники, замки. Всякую мелкую работу исполняли. Я-то, правда, и в тюремных мастерских работал бухгалтером. По старой своей специальности. Одним словом, занимался учетом. Учетная работа...
— Это еще хорошо, — сказал сын.
А дочка вздохнула. И жена вздохнула.
— А Яша, значит, умер? — сказал отец. — Жалко Яшу. Ему бы сейчас было...
Но Буршин так и не успел подсчитать, сколько сейчас было бы лет его сыну Якову.

В комнату, не постучавшись, твердым шагом вошел в макинтоше и в шляпе чернявый молодой человек.
Буршин заметно встревожился, увидев незнакомого. Но тут же сразу выяснилось, что это его зять, муж дочери. Они недавно поженились, на той неделе.
— Жалко, я опоздал на свадьбу! — уже развеселился Буршин, здороваясь с зятем.
Зятю наскоро пересказали печальную историю тестя, только что тут рассказанную. И зять присел на стул, готовясь слушать ее продолжение. Он внимательно и удивленно смотрел на тестя черными выпуклыми глазами.
Буршин должен был еще объяснить причину своего длительного молчания. И он объяснил:
— Вы понимаете, я написал вам три письма. Вы мне не ответили. Ну, я решил, что вы переехали. И больше не писал...
Это было наивное объяснение, но оно как будто удовлетворило семью.
Только зять сказал Буршину:
— А я так считал, что вас и в живых уже нет...
Буршин печально улыбнулся.
— Я сам не надеялся, что выживу. Но вот выжил. Теперь все хорошо...
И в самом деле все было хорошо.
У Буршина были правильные документы. Он мог быть спокоен, что его не пригласят теперь в уголовный розыск. Он свое отсидел. Он говорил, что вот-вот поступит на службу, только бы ему вылечиться от этой проклятой болезни, от этой... малярии.
Жена накрыла на стол.
Буршин увидел плоское блюдо с синими цветочками, высокий голубой молочник, чашку с лепными птичками — давно знакомую ему посуду, приобретенную еще перед свадьбой, и испытал приятное волнение, как при встрече с живыми существами.
«Посуду сберегла, — подумал он про жену и почувствовал к ней еще большую нежность. — Хозяйка!»
Он сидел за столом по-домашнему, в нижней рубашке, ел суп и поглядывал исподлобья то на жену, то на детей, то на зятя и опять на детей. Дети-то какие большие, видные! Неужели это его дети?
После обеда он прилег отдохнуть.
А когда проснулся, ни зятя, ни детей уже не было. Был вечер. В комнате было тихо. В углу, под лампой, сидела жена и починяла его толстовку.
Буршин спросил:
— В ребята где?
— Ушли, — сказала жена. — Ваня пошел на собрание, а Надя с мужем — в театр.
— Мужа-то ее как зовут?
— Анатолий. Он же тебе сразу сказал...
— Я что-то не расслышал... Значит, Анатолием его зовут? Это хорошо. А чем он занимается?
— Он в аптеке работает.
— В аптеке? Ну что же. Это тоже ничего...
Буршин встал, умылся и сел около жены.
Казалось, после стольких лет отсутствия он должен был найти какие-то особенные слова для разговора с женой. Но слов таких не было. Он говорил о своей болезни, этой — как ее — малярии, и ему было самому противно слушать себя.
Никогда он ничем не болел и не любил говорить о болезнях. А тут такой разговор... Будто поговорить больше не о чем! Однако оборвать разговор почему-то было трудно. Он тянулся никчемно и долго.
Наконец жена начала рассказывать, где она работает.
В это время пришел Иван и вскоре Надя с мужем. Они пришли оживленные, веселые. Поели что-то на кухне и сразу же легли спать.
А родители все сидели и беседовали ни о чем.
Было у них, у родителей, что-то очень важное, что-то главное, как казалось им самим, о чем следовало бы рассказать друг другу. Но это главное как-то не высказывалось.
Буршин думал о женщинах, встречавшихся ему в разное время на его длинном пути. И сейчас ему казалось, что жена думает о них же и, может быть, хочет спросить его о них, но только не решается.

А жена, пожилая женщина, испытывала неловкость, вспоминая сейчас завхоза овощного треста. Ведь завхоз в свое время и на службу ее устроил кассиршей в магазин. Она могла бы замуж за него выйти, если б не стеснялась в свое время детей. Ведь она была молодая женщина, а муж ее ушел неизвестно куда. Ну кто же знал, что он вернется, вот так, неожиданно?
И женщина, уронив шитье, внезапно заплакала. Мужчина наклонился к ней. Он не спрашивал ее о причине слез. Он просто гладил ее по голове и говорил, почему-то робея:
— Ну, Таня, Таня...
Мужчина чувствовал себя виноватым. Женщина же жалела о чем-то. И оба казались друг другу то близкими, то чужими.
Наконец мужчина сказал простую фразу:
— Ну что ж, Таня, что было, то прошло.
И обнял женщину.
Утром Буршин проснулся позже всех.
В квартире уже никого не было. Все ушли по своим делам. На столе ему был оставлен завтрак. Он поел и тоже пошел.
Идти ему, правда, было некуда. Он просто пошел по улицам. Город, знакомый ему с детских лет, удивлял его новизной, и почему-то, глядя на прохожих, он снова испытывал странную, легкую неловкость, как и дома, в родной семье.
Но это скоро прошло.
Буршин начал осваиваться.
В семье пока не нуждались в его заработке. Жена работала кассиршей в магазине. Сын зарабатывал около четырехсот рублей на заводе. Дочь училась и получала стипендию. Отец ходил в поликлинику, лечился, в ту самую поликлинику, которую указал ему зять-аптекарь.
— Это сейчас для вас, папаша, самое главное — поддержать свое здоровье, — сказал зять. — Ни о чем ином вы пока не думайте...
В поликлинике однажды Буршин встретил старого знакомого. Это был очень известный когда-то вор, фармазонщик. Он делал теперь уколы больным. Буршин подошел к нему и спросил:
— Не узнаешь, Григорий Семеныч?
— Узнаю, — сказал тот. — Егор... Отчество забыл...
— Петрович... А вы тут кем?
— Я лекпом.
Буршин наклонился к нему и спросил вполголоса:
— Я извиняюсь, а старое-то дело как же? Бросили?
— Бросил, — сказал лекпом и сконфузился. — А вы?
— Я бухгалтер теперь...
Больше в эту поликлинику Буршин не ходил.
Он по-прежнему бесцельно бродил по городу и напряженно думал: как же ему быть? Жить на средства жены и детей нехорошо, стыдно. Просить рубль на папиросы у сына унизительно. Воровать?.. Нет, нет, нет! При взрослых детях... Поймают. Позор!.. Поступить на службу? Но куда же он поступит? Бухгалтером его не возьмут.
Пойти чернорабочим «бухгалтеру» неудобно. Все будут удивлены. Нельзя даже сослаться на то, что для бухгалтера нет работы. Все знают, что бухгалтеров теперь берут нарасхват. Впрочем, так же, как и работников других специальностей. Но у Буршина нет никакой специальности. Что же делать ему?
И вдруг его осенила такая мысль. Надо достать крупную сумму денег, спрятать ее, тайно поступить на бухгалтерские курсы, а дома сказать, что он служит уже бухгалтером, и в доказательство этого каждый месяц приносить в семью пятьсот — шестьсот рублей или сколько там получают бухгалтеры. Будет не стыдно есть хлеб.
Потом он устроится настоящим бухгалтером и станет честно работать, честно жить, как жена, как дети, как зять, как этот рыжий дьявол из поликлиники, бывший фармазонщик. Такая бандитская морда у человека, а он лекпомом служит, и все его уважают. Больные говорят: «Григорий Семеныч, Григорий Семеныч...» Неужели он, Буршин, хуже этого рыжего Григория Семеныча, неужели он не может бухгалтером стать? Конечно, может.
Но где взять крупную сумму денег?

Буршин вскоре ответил и на этот вопрос: надо вскрыть шкаф. Вскрыть один шкаф, взять деньги, замести следы и больше никогда не возвращаться к этому ремеслу. Забыть его навсегда. Навсегда забыть.
Однако это не простое дело — вскрыть шкаф. Нужны инструменты, сообщники. Должен кто-то стоять на стреме. Кто же будет стоять?
Домой после бесцельных прогулок он возвращается усталый и рассеянный.
Небольшая квартира, оклеенная старыми обоями, освещенная осенним солнцем, всякий раз представляется ему и своей, знакомой, из которой он, кажется, никуда не уходил, и чужой, увиденной впервые.
Иногда за обеденным столом сидит семья — его жена, дети. Услышав отцовские шаги, они оглядываются и смотрят удивленно, точно не ожидали, что он придет. И особенно удивленно и даже подозрительно смотрит на него сын. Или это только кажется Буршину?
Буршин садится не во главе стола, как полагалось бы отцу, а где-то в сторонке, за самоваром, и сидит молча.
Жена наливает ему чаю и спрашивает: «Не жидкий ли?» Как гостя спрашивает. И это обидно ему. Хотя жена, быть может, и не собиралась обидеть его.
Он пьет чай и придумывает тему для разговора, как придумывал бы гость, случайный гость, пришедший в этот дом впервые.
Иван рассказывает, какие у них дела на заводе, что сказал ему бригадир, и, рассказывая, смотрит не на отца, что было бы вполне естественно, а попеременно то на мать, то на сестру, будто им это более интересно, чем отцу, будто они в его делах больше понимают. Он говорит:
— Помните, я вам рассказывал про Сашку Смирнова? Так его нет теперь. Он перевелся от нас на другой завод — на «Красный пролетарий»...
Буршин не знает этого Сашку. Он, Буршин, похож на человека, который вошел в театр посередине действия и не может понять, что же было до него, никак не может войти в курс событий.
Он хочет рассказать о том, что он видел за границей, он многое хочет рассказать, но это как-то не получается у него. А то, что он уже рассказал в первые дни, когда приехал, не вызвало у слушателей особого интереса. Он это еще тогда заметил по их глазам.
Правда, он мог бы наверняка заинтересовать их, если б рассказал то, что действительно было с ним, то, что он пережил, перестрадал.
Но это нельзя рассказать, это невыгодно ему. И он сидит за столом как посторонний...
Будто сейчас только заметив его присутствие, дочка спрашивает:
— Ну как, папа, тебе нравится Москва? Ведь сильно изменилась? Правда, сильно?
— Сильно, — говорит папа.
Но это слово он как будто выдавливает из себя. Нет, разговор явно не клеится.
Может быть, в этом он сам виноват. Может быть, надо действовать более решительно, самому задавать вопросы. Ведь нельзя сказать, что семья относится к нему враждебно, что она презирает его.
Но у него нет вопросов. Вернее — он не знает, с чего начать вопросы. Слишком долго семья жила без него, и вышло так, что интересы его и семьи стали разными, очень разными.
Например, Буршину совершенно непонятно: почему сын его, окончив среднюю школу, по-прежнему сказать — гимназию, окончив отлично, первым учеником, пошел не в учреждение, где работа чистая и легкая, а на завод, обыкновенным слесарем, и, похоже, гордится этим?
Непонятно ему и многое другое. Но спросить обо всем этом он пока не решается. Будто не пришло еще время спросить.
Жена, оставшись с ним наедине, рассказывает ему иногда о старых знакомых, которые раньше бывали у них. Но эти знакомые не очень интересуют Буршина.
Буршину хочется спросить жену, не знает ли она случайно, где теперь Подчасов. Он несколько раз собирался спросить об этом. И ни разу не решился, будто боясь разоблачить себя.
Обижает его также, что жена за все время ни разу не посоветовалась с ним по хозяйственным делам, не сказала, как думает тратить деньги.
Однако, обижаясь, он сам же оправдывал ее: она давно привыкла зарабатывать свои деньги и тратить их самостоятельно, ведь он денег не дает.

Да, он не дает денег. Может быть, в этом и заключено главное. Может быть, поэтому он и в семье себя чувствует неловко. Ну что ж, надо подождать немного. Он придумает верный способ — и все устроится.
Впрочем, способ этот он уже придумал. Он станет бухгалтером. Он, черт возьми, совсем не хуже этого рыжего дьявола из поликлиники. Он достанет деньги, выучится и станет бухгалтером. Настоящим, приличным бухгалтером. Дебет, кредит, контокоррент...
Думая так, Буршин успокаивал себя. Но что-то невыразимое и тяжелое давило ему на сердце. Он не мог сидеть дома и все бродил и бродил по улицам.
И вот однажды на улице, на Арбате, он встретил наконец Подчасова, Илью Захаровича Подчасова, повара-весельчака, сукиного сына и родного брата Федьки Подчасова, известного громщика, расстрелянного бог знает когда.
Подчасов обрадовался этой встрече. Он раскрыл для улыбки свой огромный, как чемодан, утыканный гнилыми зубами рот и шумно приветствовал Буршина.
Буршин тоже обрадовался. Но проявил сдержанность.
Через полчаса он пил уже водку с Подчасовым. Пил много и, как обычно, не хмелея, но говорил мало, вызывая повара на разговор.
— Плохо, — говорил повар. — Очень плохо. Ну, какая это жизнь...
— Н-да, — соглашался как будто Буршин. И вдруг, между прочим, спросил: — А Чичрин где?
— Вася? Ну где ж ему быть? У себя в Сокольниках. Стучит старик. Ударник.
Буршин задал еще несколько вопросов о Чичрине. Выслушал внимательно. И сказал грустно:
— Знакомств нет. Скучно.
— Каких знакомств?
— Всяких. Человеку для интереса жизни знакомства нужны. Хоть какие-нибудь.
— Это верно, — сказал Подчасов. — Желаешь, я тебя познакомлю с одним человеком?
— Он меня на службу может устроить?
— Свободно.
И Подчасов начал рассказывать о некоем Варове, завхозе института. Парень вполне интеллигентный. Молодой. Хороших родителей.
— Отец его шубную фабрику держал.
— Меня его отец не интересует, — сказал Буршин. — А если он завхоз, это любопытно. Я через него мог бы на службу пройти. Мне давно пора поступить на службу. Считаешь, что он может меня устроить?
— Куда угодно, — сказал Подчасов, смеясь и по-кошачьи сощурив пьяные глаза. — Это такой парень, такой парень...
— Меня дома, наверно, потеряли, — вдруг, как бы встревожившись, сказал Буршин. — Ну, будь здоров, Захарыч. Я к тебе на днях вечерком загляну... Спасибо за угощение. Посидел бы еще, да меня дома ждут...
Но домой он не поехал. Он постоял недолго на Смоленской площади, потом спустился в метро и поехал в Сокольники.
Вечер был холодный, январский. Буршин вышел в Сокольниках, поднял воротник и отправился искать Чичрина.
Память не изменила ему. Он легко отыскал в конце Русаковской улицы маленький, укрытый снегом домик в два окна с покрашенными суриком ставнями, постучал в дверь, и ему открыл сам Чичрин.
Хозяин не узнал гостя. Он долго вглядывался в него. Потом сказал:
— Да это никак ты, Егор Петрович?
— Я, — сказал Буршин.
И хмель, теперь только ударивший в голову, подвел его на этот раз.
Без всякой подготовки, он сразу же изложил Чичрину свое дело, чем привел старика в большое беспокойство.
Чичрин снял очки, похлопал слезящимися глазами и сказал, невесело засмеявшись:
— Ну и шутник ты, Егор Петрович! Да кто же теперь такими делами занимается?
— Кто раньше занимался, тот и теперь занимается! — грубо ответил Буршин. — Ты чего, в партию вступил, что ли?
— Я не вступил, Егор Петрович. Но все-таки... Неудобно как-то. Некрасивая вещь. Я на заводе работаю, в инструментальном, меня в ударники произвели — и я вдруг клешню тебе делаю...

— Какие все сознательные стали! — молвил Буршин сердито. — Да ведь ты, старый черт, этот домик-то на мои деньги поставил, на ворованные деньги! Это ты как считаешь?
— Мало что, — сказал старик. — Мало что. — И внезапно плачущим голосом попросил: — Уволь меня, Егор Петрович, пожалей меня, старика...
— Ну, не хочешь — не надо, — сказал Буршин.
И ушел, не прощаясь.
Всю ночь Буршин не мог уснуть. Ну зачем он сказал старику об этих инструментах? Испугавшись, старик пойдет в уголовный розыск и завалит его.
Надо быть дураком, чтобы без всякой подготовки вовлекать человека в преступление.
Это значит — не жалеть и самого себя.
Но раз сделана глупость, не надо ныть, надо исправить ее немедленно.
Рано утром Буршин опять поехал в Сокольники.
В выходной день Чичрин копался у себя во дворе, выдергивал из-под снега куски обгоревшей жести.
Буршин подошел в нему и, не здороваясь, спросил:
— Это чего будет?
— Да вот бабке кастрюлю хочу починить.
— А как насчет инструментов?
— Я же сказал, Егор Петрович, я не могу...
— Не можешь? Ну, это другое дело. Так бы и сказал сразу: «не могу».
Буршин повернулся, чтобы уйти. Он застегивал крючок у воротника и говорил небрежно, не глядя на Чичрина:
— Мне ведь не надо, чтобы ты мне старую клушку делал. Это старо. Техника вперед идет.
Застегнул воротник, вздохнул.
— Мне надо рычаг с ножом американского типа, два рака: один — ходовой, другой — запасный. И все. Это серьезное дело. Не всякий сделает...
— По чертежам, — сказал старик, — любую вещь можно сделать.
Он сказал это так, между прочим, больше из вежливости, чтобы поддержать разговор.
Но Буршин вынул из пиджачного кармана маленький самодельный чертеж и разложил его на завалинке. Чичрин наклонился над бумагой, вгляделся в пунктиры и черные линии и сказал насмешливо:
— Ну, и что же тут хитрого? Подумаешь, американский тип! Я на заводе и не такие вещи делаю... По сложности...
В Чичрине заговорил мастер.
У мастера этого было самолюбие ребенка. И, может быть, больше из самолюбия, чем из других соображений, он вдруг согласился сделать инструмент.
Даже Буршин не рассчитывал на такой успех.
Чичрин делал инструмент две недели по вечерам, при свете керосиновой лампы. Он делал его, увлекаясь самым процессом работы и радуясь, что избежал конфликта с Буршиным. А то, чего доброго, Буршин рассердился бы, пошел куда следует, заявил, как старик ему раньше раков делал, и старику тогда прямо дорога в тюрьму, за решетку.
Обо всем этом думал старик Чичрин, обтачивая в тисках воровские инструменты. И о старухе своей думал. Как бы она осталась, если б его, например, в тюрьму, не дай бог, посадили? Как бы она осталась?
А Буршин тем временем с помощью Подчасова завязал знакомство с завхозом Варовым. Буршин бывал у него каждый вечер, пил с ним чай и вел философские беседы. Он изучал его. Изучив же, начал обрабатывать вплотную. Он говорил, что никакой ответственности за соучастие он, Варов, нести не будет. Никто и не догадается даже, что он участвовал.
Да и какое это, в самом деле, участие? Буршин просит за приличное вознаграждение достать ему постоянный пропуск в институт. Только и всего. Все остальное сделает сам Буршин.
Варов хмурил свой узенький, детский лоб и говорил:
— Нет, нет, нет...
Буршин смеялся. Он по-отечески смеялся над неопытным молодым человеком, который упорно отказывается от счастья. Буршин говорил:
— Ну и чудак вы! Вы не завхоз, а трусишка! Ваш папа имел фабрику...
— Откуда вы знаете?

— Я все знаю. Я на три метра вглубь вижу. И вижу, как ваш папа переворачивается сейчас в гробу, недовольный вашим поведением. Ваш папа прожил жизнь в свое удовольствие. Он имел деньги, имел счастье. А вы? Вы говорите, что деньги теперь не нужны. Ну кому вы это говорите?
Варов смущенно молчал.
Буршин пробуждал в нем заглохшую страсть, которая руководила двумя поколениями Варовых.
Наконец Варов сказал:
— Ну хорошо, я попытаюсь...
Назавтра Буршин получил от него долгожданный пропуск.
Варов стал соучастником Буршина. И уж теперь Буршин не просил его, а командовал им, говорил, куда идти, что делать.
Варов беспрекословно исполнял приказания. Он оказался на редкость исполнительным человеком. Он даже точно выяснил, сколько будет денег в институтской кассе в день получки.
Чичрин изготовил инструменты.
Буршин осмотрел их, принял и сказал:
— Ну, а деньги, отец, подожди. У меня сейчас денег нету...
— Это успеется, Егор Петрович, — махнул рукой Чичрин. — Ты посмотри, инструмент-то какой...
— Хороший инструмент, — взвесил на руках тяжелый рычаг Буршин.
Чичрин, счастливый, заулыбался.
— То-то! А ты говоришь — американского типу...
Буршин завернул инструменты в газету, принес их домой и спрятал в чулан. Он боялся, что жена, или дети, или, не дай бог, зять найдут их.
И в то же время он испытывал странное желание показать инструменты сыну.
Иван работал слесарем на военном заводе. Он был слесарем седьмого разряда, хорошим слесарем, как свидетельствовали награды и премии, полученные им.
Буршин хотел бы показать ему инструменты и сказать: «Вот, Ваня. Видишь, работа...»
Буршин хотел похвастать перед сыном чужой работой. Хотя бы чужой работой, если нет своей.
И это понятно. Иван почти каждый день приходил с работы возбужденный, веселый и почти каждый день рассказывал о новых своих успехах. Отцу это было приятно. Отец гордился сыном и завидовал ему. Он завидовал и жене, и дочери, и зятю, которые, возвращаясь домой, обязательно рассказывали что-нибудь о своих делах. И дела волновали их. Они могли бесконечно говорить о своих делах.
А Буршину не о чем было говорить. Не мог же он посвящать семью в свои преступные замыслы! Не мог рассказать о своих надеждах. Но ему очень хотелось рассказать что-нибудь о себе, похвастать чем-нибудь реальным.
В семейной жизни тоже надо иметь успех. Буршин этого успеха не имел. И это угнетало его.
Угнетало его также сознание, что он ест не свой кусок хлеба, что он не вносит свой пай в общий семейный котел.
Упрямый, уверенный в себе, слегка жестковатый в своих отношениях с соучастниками, дома он превращался в тихого, робкого, незлобивого человека. И по временам ему думалось, что сын, такой активный, полнокровный, здоровый человек, должен презирать его за бездеятельность.
Но сыну казалось, что отец все еще нездоров. Он спрашивал участливо:
— Ну как твое здоровье, папа?
И даже в этом невинном вопросе отцу мерещилась насмешка. Он опускал голову и исподлобья смотрел на сына. И сын исподлобья смотрел на отца. Не сердито, не враждебно, а так просто, по врожденной привычке смотреть исподлобья.
Потом отец говорил:
— Ничего. Подожди. Я поправлюсь. И ты посмотришь, как у меня дела пойдут...
И он нетерпеливо ждал этих хороших дел, этого счастливого времени, когда он будет уравнен во всех правах с семьей — с женой, с дочерью, с сыном, когда он станет таким же, как они, работящим человеком и сможет с таким же азартом рассказывать о своих делах.
Однако прежде всего он считал необходимым вскрыть шкаф. Вскрыть шкаф, взять деньги — и концы в воду.
Операций такого рода он проделал в своей жизни около трехсот. Но эту, последнюю операцию он считал самой серьезной, самой решающей. От нее зависела вся его дальнейшая жизнь.

И он готовился к ней долго и тщательно.
Наконец все было подготовлено.
Буршин вышел из дому поздним вечером, в половине двенадцатого, сел в трамвай и поехал к институту, где находился облюбованный им несгораемый шкаф и где служил его соучастник Варов.
У входа в институт швейцар остановил его, спросил пропуск.
Буршин порылся в карманах, достал красную книжечку и показал швейцару.
Потом он беспрепятственно поднялся на третий этаж и здесь разбудил уборщицу.
— Слушайте, — сказал он уборщице, — я тут, может быть, стучать буду, так вы того... не пугайтесь. Я шкаф починяю...
Уборщица сказал, зевая:
— Пожалуйста, я не пугливая...
И опять легла спать.
А утром несгораемый шкаф в директорском кабинете оказался вскрытым. Из него похищена была крупная сумма денег. Злоумышленник ушел в неизвестном направлении. И метель замела его следы...
Ульян Григорьевич Жур пил чай, как лекарство, страдальчески морщась, и угрюмо смотрел в окно на метель. Был март, первые числа марта. Хлопья снега ложились на переплет окна.
Ульян Григорьевич хандрил. Все-таки ему почти что под пятьдесят. И когда не поспишь трое суток подряд, это чувствуется сразу. В голове шум. Ноги ослабли. Во всем теле глухая боль. Уж не простудился ли?..
Жена спала в соседней комнате, завернувшись в стеганое одеяло. Было слышно жаркое ее дыхание.
Ульян Григорьевич умрет от простуды. Его увезут на кладбище, похоронят и забудут, может быть, на следующий день.
А жена вот так же будет спать до одиннадцати часов, получая приличную пенсию за мужа, который умер, не выспавшись. Ни разу как следует не выспавшись за всю свою длинную жизнь.
Даже в доме отдыха его одолевало беспокойство, и он просыпался раньше всех. Может быть, у него болезнь какая-то особенная, страшная. А полечиться вот некогда. Ну буквально некогда. Все дела, дела, дела...
— Да ну их к черту! — сказал Ульян Григорьевич.
Домработница, стоявшая у стола, вздрогнула.
Ульян Григорьевич, задумчивый, прошелся по комнате. Потом сказал домработнице:
— Даша! Позови мне доктора с Собачьей площадки. У меня, понимаешь, грипп... Без температуры...
— Сейчас, — сказала Даша, вытирая передником руки. — Я сию минуту, Ульян Григорьевич. Только чашки помою.
Зазвонил телефон, Ульян Григорьевич снял трубку.
— Ну, еще чего такое?
— Грабеж, — сказал дежурный.
Ульян Григорьевич рявкнул:
— Машину!
— Пошла к вам, товарищ начальник, — сказал дежурный.
Жур внимательно выслушал подробности, записал адрес, повесил трубку. Потом он, согнувшись, подтянул голенища сапог, протер сапоги до блеска черной бархоткой и, выпрямившись перед зеркалом, критически осмотрел себя. Побриться бы надо...
Он вынул из столика бритву, мыльницу, мыльный порошок, налил в жестяной стаканчик кипятку из самовара и, стоя перед зеркалом, начал бриться. Он брился ровно полторы минуты.
Даша сказала восхищенно, как всегда:
— До чего быстро...
— Привычка, — сказал Жур хвастливо. — Я, брат, человек военный...
И он действительно становился военным в такие минуты. Всякое новое дело возбуждает его и как будто молодит.
Ульян Григорьевич достает из большой коробки десятка два папирос, укладывает их в металлический портсигар. Потом вынимает из заднего кармана брюк маленький браунинг,

передергивает его, вгоняет один патрончик в ствол, защелкивает предохранитель и снова засовывает браунинг в задний карман.
Все у него предусмотрено, рассчитано, проверено. Даже в мелочах он ведет себя как профессиональный сыщик. И людям, знающим его, кажется, что он рожден для того, чтобы быть сыщиком.
Ульян Григорьевич, однако, придерживается на этот счет другого мнения. В тысяча девятьсот двадцатом году, весной, когда ему выписывали путевку на работу в уголовный розыск, он сильно волновался. Он говорил, что дело это ему совсем не по душе, что он, собственно говоря, молотобоец, что он всегда любил кузнечное дело и никогда не собирался ловить бандитов или этих самых... как их... ширмачей.
Не считаясь с этим, ему все-таки выписали путевку, и он примирился со своим новым положением. Он успокоился и стал только более угрюмым, «чем был. Никто никогда впоследствии не слышал от него никаких жалоб.
У крыльца загудел автомобиль.
После телефонного звонка прошло шесть минут. Ульян Григорьевич надел пальто, шапку с ушами и вышел на крыльцо.
Даша крикнула:
— А доктор-то как же?
— Завтра, — сказал Ульян Григорьевич, садясь рядом с шофером, и невесело улыбнулся. — Хотел хоть один денек отдохнуть, отоспаться. И не удалось, не вышло...
У большого, ширококрылого, с модными теперь колоннами здания он вылезает из машины и поднимается на третий этаж, где прошлой ночью произошло редчайшее для наших времен преступление.
Подобных преступлений не было в столице почти десять лет.
Ульян Григорьевич здоровается с двумя работниками розыска, приехавшими сюда до него. Потом, сидя на корточках, внимательно осматривает вскрытый шкаф и разглядывает брезент, оставленный вором, странный какой-то буравчик и небольшие клещи.
— Мало, — говорит Ульян Григорьевич. — Мало он оставил... — И хмурит брови. — Это, по-моему, работал опытный медвежатник. Я знаю четырех, которые могли бы так сработать...
И он перечисляет всех четырех.
Один из этой четверки известных медвежатников расстрелян еще десять лет назад. Другой — некий Буршин — много лет назад исчез. Может быть, умер или ушел за границу...
В Москве есть только два бывших высококвалифицированных взломщика, но они давно уже оставили свое ремесло.
Однако кто может поручиться, что это не они взломали шкаф?
Уголовный розыск не имеет права верить на слово. Особенно если есть серьезные подозрения. А против двух бывших взломщиков подозрения были весьма серьезные.
Ульян Григорьевич извлек из архива их фотографии и читал коротенькие справки об их старых делах.
В прошлом это были крупные воры.
В криминалистическом музее выставлены орудия их былого производства. Выставлены были когда-то и портреты с объяснительными надписями и фамилиями.
Но лет десять назад они бросили воровское ремесло и пошли работать. Они стали порядочными людьми. И поэтому их фамилии в криминалистическом музее закрашены, а портреты убраны. Нельзя человеку, сменившему воровское ремесло на честный труд, напоминать о его прошлом.
Однако у Жура не может быть уверенности, что эти парни, которым нельзя напоминать об их прошлом, сами не вспомнили своей старой профессии. Жур обязан проверить, виновны ли его бывшие клиенты.
Дня четыре он работал с большим напряжением, прежде чем напал на малюсенький след. И еще дня два сомневался: уж так ли важен этот след и стоит ли дальше копаться в порыжевших от времени папках архива старой, царской сыскной полиции, если известно, что люди, на которых могло бы пасть серьезное подозрение, давно умерли, уехали или увезены в специальные лагеря?
Однако, сомневаясь, Жур все-таки продолжал работать, наводить справки и перелистывать архивные дела, в которых были запечатлены деяния высококвалифицированных шнифферов, или, иначе говоря, медвежатников специалистов по вскрытию сейфов и несгораемых шкафов.

У Жура было твердое убеждение, что это «дело» в институте сделал не новичок, не случайный вор, а именно крупный, опытный медвежатник. И Жура поддерживал в этом убеждении старейший работник московского уголовного розыска — Фомичев Виктор Карпович. Он первый назвал фамилию — Буршин.

— Ох, это был мировой гад! — сказал Фомичев.

— Именно был, — невесело улыбнулся Жур. — А где он теперь?

— Это уж надо выяснить, — пожал плечами Фомичев.

Выяснить это было не просто. В адресном столе назвали адреса четырнадцати Буршиных. Трое из них имели одинаковые имена и отчества Егоры Петровичи. Требовалось определить, кто из них еще в старое время занимался взломом несгораемых шкафов.

— Буршин, Буршин... Неужели он где-то сохранился до сих пор? — говорил Жур. — Было у меня еще в Сибири такое дело с сейфами. Тоже был замешан Буршин. Ну да, Буршин. Но что-то тогда не подтвердилось. Отпустили мы его... Мужчина лет за сорок, рыжеватый... Он теперь, пожалуй, старичок...

— Это старичок и работал, — подтвердил Фомичев. — Молодому такое не сделать. Чистая работа. И нахальная. Кожаную перчатку или нарочно бросил, или обронил. А работал все время в перчатках. Следов от пальцев нигде не видать...

И все-таки след от Буршина остался. Остался его, если можно так выразиться, воровской почерк, позволивший Фомичеву вспомнить не кого-нибудь, а именно Буршина. Именно Буршин всегда работал клешней. Для этого требовалась большая физическая сила. Но силу Буршину не надо было занимать. Силы ему еще хватало. А чтобы не напрасно расходовать ее, он с годами все больше удлинял рычаг клешни, применяя, так сказать, механизацию, облегчавшую этот подлый труд.

И вот до тех пор, пока надо было вспарывать и потрошить несгораемый шкаф, Буршин действовал и осмысленно и деловито. В нем проснулась и прежняя энергия и прежняя ярость профессионального вора, сообщающая всем движениям необходимую ловкость, точность и быстроту.

А затем началась цепь нелепых действий, таких нелепых, какие едва ли допустил бы в подобных обстоятельствах и молодой, начинающий, малоопытный ворюга.

Может быть, это произошло оттого, что Буршин растерялся в последний момент, осознав всю степень угрожавшей ему опасности. Ведь это была в самом деле его последняя кража. На нее он сделал самую крупную ставку. И от ее исхода зависела теперь вся его жизнь, весь остаток жизни. Что будет, если его сейчас поймают, разоблачат?

Буршин вышел из института не так бодро, как вошел. Он словно постарел вдруг еще на одно десятилетие. Руки и ноги дрожали, особенно ноги. И он даже присел на мгновение у входа, чтобы унять дрожь. Что он вдруг струсил, что ли?

Инструменты он сложил в зеленую брезентовую сумку, и она висела у него на плече, а деньги были рассованы по карманам и равномерно разложены за пазухой толстовки, подпоясанной ремнем.

Деньги не радовали Буршина.

Впрочем, он и раньше не радовался деньгам. Вернее, не испытывал восторга при виде денег. Только досадовал, когда их в шкафу или в сейфе оказывалось меньше, чем он рассчитывал, приступая к делу.

На этот раз, на взгляд, денег в шкафу было примерно столько, сколько предполагал Варов. И главное — деньги в купюрах крупного достоинства удобно были упакованы в большие пачки. Буршину это понравилось. Он не любил возиться с мелочью.

Все, таким образом, сложилось как будто удачно для Буршина. И все-таки он чем-то был расстроен. Наверно, эта внезапная слабость, стремительно разлившаяся по всему телу, опечалила его. Неужели это старость или сама смерть так близко подступила к нему — и в такой неподходящий момент, когда он несет деньги, которые должны, как он надеялся, изменить всю его жизнь? Неужели уж он такой старый и слабый? Неужели и эти деньги не принесут ему счастья?

Буршин так и не смог унять дрожь в ногах. Они дрожали и подкашивались, когда он вышел на высокое, многоступенчатое крыльцо.

Здесь, у крыльца, он хотел что-то сделать. Что-то важное ему надо было сделать. Но он не мог вспомнить, что, и стал медленно спускаться с крыльца.

Издали у фонаря он увидел Подчасова.
Подчасов, сгорбившись и засунув руки в карманы пальто, ходил взад-вперед.
«Дурак какой! — беззлобно подумал про него Буршин. — Зазяб и не видит, что я вышел. Старый дурак! А вдруг я не окликну его и уйду — он и будет вот эдак до утра тут ходить. Совсем выжил из ума, малохольный».
Буршин спустился с крыльца. И Подчасов сию же минуту приблизился к нему. Но Буршин не движением, а только глазами, строгим взглядом, отогнал его от себя и опять подумал: «Какой дурак! Уже обрадовался. Какая жадность в людях!»
Подчасов подождал Буршина на той стороне улицы. Но Буршин не подошел к нему, побрел по тротуару вдоль многооконного здания, потом направился к замерзшей реке.
Вот тут только он вспомнил, что ему надо было сделать у крыльца. Ему надо было посыпать свои следы нюхательным табаком из пачки, что лежала в боковом кармане пальто. Он специально приготовил эту пачку, чтобы заставить розыскную собаку чихать, когда ее пошлют по его следу. Как же он забыл об этом?.. Он же вчера еще купил эту пачку. И не так просто было ее купить. Почему-то теперь редко продают нюхательный табак. А табак этот очень хорош для посыпки следов. Другая собака так расчихается, что и не захочет дальше идти.
«Хотя все это пустяки, — уныло подумал Буршин. — При чем тут собака? Не в собаках теперь дело. Дело сделано, а как дальше все пойдет, никто этого не знает. И незачем про это думать...»
Тяжелое равнодушие ко всему вдруг окутало мозг Буршина. Он, как пьяный, брел по заснеженному берегу, и мысли его путались, терялись, а слабость все разливалась по телу. Захотелось закрыть глаза и лечь прямо в снег, в сугроб, зарыть голову. Но он все-таки удержал себя от этого желания и продолжал шагать по берегу, еле передвигая ноги. Какая-то нестерпимая тяжесть давила его. И он не сразу обнаружил эту тяжесть. А когда обнаружил, обозлился. Это, оказалось, ремень от сумки с инструментами режет ему плечо. И груз-то как будто небольшой, а плечо просто отнимается. Ослабел Буршин, сильно ослабел, отбегал, отворовался. А для чего и куда он тащит эти инструменты? — Разве он и дальше собирается вскрывать шкафы?
— Да ну это к черту! — вслух сказал он и, опять оглядевшись, скинул с плеча ремень, так, что сумка с грохотом упала на каменные плиты прибрежного тротуара.
Буршин наклонился над ней и, в последний раз осмотрев инструменты, стал бросать их через парапет на лед реки. Он видел, как, скатываясь по откосу, они прочерчивают тонкий след в снегу. Затем он бросил через парапет и сумку.
Подчасов стоял в нескольких шагах от Буршина и опасливо смотрел на него, как на сумасшедшего. И в самом деле Буршин вел себя как сумасшедший. С чего это все вдруг?
В руках у Буршина остался только длинный рычаг, и он зачем-то долго нес его. Он бросил его в сугроб уже на том берегу, когда перешел мост.
Рычаг этот вскоре нашли сотрудники уголовного розыска. На нем сохранились отпечатки пальцев Буршина. Отпечатки его пальцев сохранились, впрочем, и на других инструментах, также найденных вскоре.
Не было отпечатков только на месте преступления, где Буршин действовал в перчатках и где оставил одну перчатку — то ли по рассеянности, то ли нарочно, чтобы позлить тех, кто поведет по его следу собаку.
Пачка же с нюхательным табаком так и осталась нераспечатанной в кармане у Буршина.
Раньше всего он поехал с Подчасовым на трамвае к Варову в Марьину рощу.
Здесь Буршин аккуратно сосчитал украденные деньги, честно разделил их между участниками, взял свою часть и поручил ее спрятать Подчасову.
У Подчасова же он прожил три дня, не желая впутывать в грязное дело семью в случае каких-нибудь непредвиденных неприятностей. Предвидеть все никак нельзя.
Подчасов служил ему так же, как раньше. Он старался, чтобы гость не чувствовал никаких неудобств за время вынужденного сидения в его квартире. Он сам готовил для него обед, бегал за водкой.
Водки Буршин выпил за эти три дня очень много, но ни разу не был пьян. Водка не могла прекратить напряженной работы его мозга, она только обостряла его мысли.
Буршин обдумывал свое положение. Он даже чертил какие-то каракули на бумаге.
Подчасов ходил на цыпочках.
Вдруг Буршин сказал:

— Ну-ка, дай мне бритву, Захарыч!
Подчасов дал ему бритву.
Буршин побрился и пошел домой.
Домой он пришел очень веселый. Таким веселым дома еще не видели его никогда. Он улыбался, потирал руки, будто собираясь бороться. Потом рассказал, что был за городом, искал работу, встретил старого приятеля и загулял с ним немножко, по-стариковски. Приятель пообещал его устроить бухгалтером на одном подмосковном заводе...
— А мы думали, ты под трамвай попал, — сказала дочка.
— Я-то? — удивился Буршин. И захохотал. — Да разве я могу под трамвай попасть? Вы просто плохо знаете вашего папку! Ваш папка ни в огне не горит, ни в воде не тонет.
— Я хотел уж в милицию заявить, что пропал человек, — сказал сын угрюмо. — Но мама говорит: «Подождем еще денек. Может, он сам объявится или нам сообщат, если что-нибудь серьезное с ним произошло. Всякое ведь теперь бывает...»
— Это хорошо вы сделали, что не заявили, — сказал отец, и лицо его потемнело на мгновение. Но потом он опять стал улыбаться.
На столе весело запел самовар.
Буршину вдруг захотелось купить ребятам торт. Самый большой, самый дорогой. Но он сейчас же раздумал: ребятам покажется подозрительным, что у отца завелись такие деньги. Нет, лучше подождать...
Вот устроится на курсы, скажет, что устроился на работу, и тогда можно будет слегка шикнуть. Бухгалтер имеет право шикнуть. Ведь он получает не только зарплату, но и премии...
Буршин представил себя в роли удачливого бухгалтера.
И весь вечер жил в этой выдуманной роли. Потом лег спать. Во сне он видел большую темную комнату и себя в этой комнате. Он не мог из нее выйти. Шарил по стенам, спотыкался о какие-то брусья, поднимался, падал и опять начинал шарить по стенам.
Наконец кто-то постучал в дверь. Значит, дверь в этой комнате есть. Значит, можно выйти. Буршин обрадовался и пошел на стук. Стучали очень сильно, и он проснулся от сильного стука во сне.
Проснулся и снова услышал стук. Стучали в двери его квартиры.
Буршин встал и в одном белье пошел к двери. Он спросил:
— Кто тут?
Ему ответили:
— Уголовный розыск.
Буршин сказал:
— Одну минутку...
И вернулся в спальню, чтобы одеться. Все спали. Он торопливо надел брюки, толстовку, ботинки и крадучись вышел из спальни в коридор. Все по-прежнему спали. Он сказал еще раз у двери:
— Я сию минутку.
И надел калоши, пальто и кепку.
В тамбуре его ждали два человека. Буршин вышел к ним и негромко, стараясь придать своему голосу твердость, сказал:
— Извините, я не расслышал: вам кого?
— Буршина, — сказал один молодой человек и зажег электрический фонарик. — Мы из уголовного розыска...
— Я Буршин, — сказал Буршин. — Что вам будет угодно?
— Будьте добры, — сказали оба молодых человека почти одновременно и притронулись к его рукавам.
Буршин покорно поднял руки. Его обыскивали. Он говорил растерянно:
— Не понимаю: в чем дело? Я не спросил у вас даже документов.
Документы ему были показаны. Сотрудники розыска вошли в квартиру и начали обыск.
Буршин отдал бы все, чтобы сейчас не зажигали свет в его квартире. Он безропотно пошел бы под расстрел, лишь бы дети не знали о его позоре. Он сделал бы что угодно. Он ведь нарочно оделся и вышел в тамбур, чтобы никто не услышал его разговора с сотрудниками розыска.
А сейчас проснулись все — жена, дети, зять.

В квартире шел обыск. В шкафу звенела посуда, посторонние люди перебирали в сундуке вещи, заглядывали под кровать, перебирали даже землю в большом цветочном вазоне.
Буршин в пальто и в калошах сидел на кровати и мрачно смотрел в пол. Сын подошел к отцу и растерянно спросил:
— Что это такое?
— Это недоразумение, Ваня, — ответил отец, не подымая головы.
Сын удивленно переспросил:
— Недоразумение?
— Вы поедете с нами, — сказали Буршину.
Он, кряхтя, поднялся с кровати и, по-стариковски шлепая калошами, пошел к выходу. Он был растерян. Он был стар. Он был глубоко несчастен.
Но в машине, на свежем воздухе, он вдруг окреп, собрался с мыслями. Перестал на какое-то время быть отцом, который любит своих детей. Снова стал вором-профессионалом, который знает, как вести себя на допросах, и которого ничем не удивишь.
Жур ждал его в уголовном розыске.
Перед Журом на столе лежало несколько фотографий Буршина. Буршин в молодости — в котелке, в красивом костюме, с тросточкой. Буршин в советское время, в годы нэпа, — в котиковой шапке, в длинной дохе.
Жур извлек в эти дни из архива много «дел», в которых были описаны и манера Буршина и его способ вскрывать шкафы.
Это Буршин всегда на месте преступления оставлял какие-то нелепые инструменты, не имеющие никакого отношения к взлому, но нужные, вероятно, для того, чтобы запутать преследователей. И всегда, для особого воровского шика, он любил выкинуть эдакий фортель — посмеяться над сторожем, положить в разрушенный шкаф арбуз, или сайку, или кусок колбасы.
Жур допрашивал его когда-то в Сибири. И вот довелось встретиться во второй раз.
В комнату вошел высокий пожилой человек в мохнатой кепке и в теплом поношенном пальто. Жур пригласил его сесть.
— Ну-с, Егор Петрович, здравствуйте...
— Здравствуйте, — сказал Буршин и сел.
— Гора с горой, — улыбнулся Жур приветливо, — как говорится, не встречаются, а люди — они обязательно встретятся. Что это вас не видать было, Егор Петрович?
Буршин ответил что-то невнятное, пошевелился на стуле. Потом сказал:
— Закурить разрешите?
Ульян Григорьевич подвинул ему портсигар.
— Курите...
Но Буршин не притронулся к его папиросам, сказал:
— У меня свои...
И вынул из кармана коробку трехрублевых папирос «Дели».
Эти папиросы были единственной покупкой, какую он сделал самостоятельно на украденные деньги.
Из восьмидесяти тысяч он лично истратил всего три рубля.
Жур достал с подоконника бутылку с кефиром, открыл ее, налил в стакан.
Как бы извиняясь, он сказал:
— У меня с желудком что-то такое. Я постоянно в это время кефир пью... А вам, Егор Петрович, чайку заказать?
— Пожалуйста.
— А может, кушать хотите? Бутерброды можно.
— Нет, спасибо, — сказал Буршин, — я ночью ничего не ем. Чаю — это другое дело...
Подали чай.
Ульян Григорьевич размешал ложечкой кефир в стакане, отхлебнул немного и, хитро прищурившись, посмотрел на Буршина.
— Постарели, Егор Петрович... А? Седина...
— Немножко, — сказал Буршин, наклонившись над стаканом. — Да и вы, гражданин начальник, не помолодели...
— Это верно, — согласился Ульян Григорьевич. — Годы не те...

Помолчали. Ульян Григорьевич пил кефир. Буршин смотрел в стакан, где вертикально плавала чаинка.
— А кепочка эта вам не идет, — прервал молчание Жур. — Вы ведь всегда, как мне помнится, франтом были.
— Это я у сына взял, — конфузливо объяснил Буршин. — У меня летняя...
— Вы ее снимите, — вроде посоветовал Жур. — Тут тепло... А сын-то у вас какой молодец! Говорят, слесарь он... И говорят, хороший слесарь...
— Да, — сказал Буршин и густо покраснел.
— Неприятный сюрприз вы ему подготовили, — как бы нечаянно заметил Жур.
Буршин промолчал. Он пил теперь чай. И со стороны могло показаться, что все это происходит не в уголовном розыске, а в кабинете какого-то обыкновенного учреждения, где случайно сошлись два знакомых.
Об уголовном розыске напоминал только большой стенд у стены, увешанный отмычками, фомками и другими орудиями воровского ремесла.
Буршин допил стакан и отодвинул.
Ульян Григорьевич сказал:
— Ну, давайте, Егор Петрович, поговорим о деле. Рассказывайте, как это было. Все рассказывайте. Секретов у нас с вами нету. Не должно быть секретов...
— Я ничего не знаю, гражданин начальник.
— То есть как же это так? Буквально ничего не знаете? И шкаф не вы ломали?
— Не я. Я такими делами не занимаюсь.
— Бросили, что ли?
— Бросил.
— А работа — ваша. Чистая работа! Это не я один так считаю...
— Я такими делами не занимаюсь.
Жур задумался. Он порылся зачем-то в бумагах, лежавших на столе, будто вспомнив какое-то дело, не имеющее никакого отношения к Буршину. Потом опять сложил бумаги и спросил:
— Это вы серьезно?
— Совершенно серьезно.
Буршин наклонил голову и с интересом стал рассматривать свой теплый шарф.
Ульян Григорьевич смотрел на него.
За окнами была ночь.
На улице горел фонарь.
За дверью, в коридоре, раздавались шаги застоявшегося милиционера. Садиться ему нельзя, милиционеру. По уставу он должен стоять. Устав, однако, разрешает ему ходить на посту. И вот он ходит, нарушая тишину ночи, подчеркивая эту тишину.
Ульян Григорьевич закуривает. Закурив, он хлопает металлическим портсигаром, встает, отодвигает стул и говорит раздраженно:
— Гражданин Буршин!
Гражданин Буршин все еще рассматривает свой теплый шарф.
— У меня такое впечатление, гражданин Буршин, что вы пришли сюда, чтобы морочить мне голову...
— Я никому не порочу голову, — глухо и враждебно отвечает Буршин.
Непонятно, зачем он заматывает шею шарфом. В комнате тепло. И даже более тепло, чем надо.
Жур поворачивает ключ в замке массивного шкафа. Он выкладывает перед вором вещественные доказательства, раскладывает их на столе, говорит:
— Пожалуйста... Ну... Вы думаете, что здесь дураки сидят, которым жалованье платят, чтоб они в носу ковыряли... А?
Буршин смотрит на стол, на клешню, извлеченную из проруби, на рычаг, напоминающий трость, на кусок брезента...
Ночь проходит. Медленно проходит зимняя ночь. На улице гремят ночные грузовики. В коридоре тихо-тихо.
Буршин делает первую уступку. Уже не отрицает, что вскрывал шкаф. Вот Жур придвигает ему дактилоскопические отпечатки. Ну что ж, запираться, как видно, ни к чему. Нет смысла запираться.

Но Буршин не хочет выдать сообщников. Хоть убейте, не выдаст. Он старый вор. Он знает традиции воровской дружбы. И не изменит этим традициям. Ни за что.
Жур откидывается на спинку стула, вздыхает. Глубоко и сокрушенно. Буршин тоже вздыхает.
Жур говорит:
— Эх вы!..
И осматривает вора внимательно, как будто видит его впервые.
— Нехорошо! — говорит он, разглядывая седину на его висках. — Нехорошо, Егор Петрович! Мы же с вами уже немолодые люди. Ну как не стыдно вам так вертеться, врать на старости лет?..
Буршин опускает голову. Он молчит.
Жур опять встает, ходит по комнате.
— У вас дети есть, — говорит он. Он говорит о том, что не имеет никакого отношения к следствию: о детях, о седине, о том, что жизнь изменилась неслыханно, о смысле жизни. — Я не понимаю вас, — говорит он. Вот вы старый вор, я старый сыщик. Вы воруете, я вас ловлю. И все это страшно глупо. Понимаете? Глупо!..
Буршин молчит.
А Жур шагает по комнате.
В уголовном розыске любят его за прямоту характера, за добросовестность в работе.
Но иногда любя посмеиваются. Называют его в шутку проповедником. Говорят, что на допросах он читает проповеди ворам.
А попадают к нему на допрос чаще всего рецидивисты, старые волки, видавшие виды.
Жур, впрочем, бывает и очень строгим на допросах.
Но на Буршина, казалось, ничто не действует.
Он сидел с опущенной головой и курил четвертую, пятую, шестую папиросу. Он признал себя виновным в совершении взлома, но назвать соучастников не хотел.
Ульян Григорьевич раздражал его простотой своей.
В простоте этой Буршин видел несерьезное отношение к себе. Что он, фрайер какой-нибудь, чтобы его агитировали? Он и так все понимает. Попался — сидит. Что дальше будет, покажет время. Но разговаривать его никто не заставит.
Он достает седьмую папиросу и закуривает.
Жур спрашивает:
— А Подчасова тоже не знаете?
— Не знаю, — говорит Буршин.
— А Чичрина?
— Тоже...
— И Варова не знаете?
Буршин отрицательно мотает головой.
По лицу его, непроницаемому, нельзя угадать ни одной мысли. Нельзя понять, на что он надеется.
Вероятнее всего, он думает, что этот простоватый человек в конце концов устанет и отпустит его. Буршин просто хочет спать. Все равно где спать дома или в камере.
Но простоватый человек, по всей видимости, не собирается отпускать его, говорит:
— В таком случае разрешите, я познакомлю вас с этими людьми.
И снимает телефонную трубку.
— Дежурный? — говорит он в телефон. — Будьте добры, товарищ дежурный, пригласите ко мне Подчасова, Чичрина и Варова. Это Жур говорит.
Жур подтянул ремень на серой гимнастерке, пригладил черные, густо обсыпанные сединой волосы.
В комнату входят Подчасов, Чичрин, Варов.
Жур широким жестом приглашает их садиться. Они садятся полукругом против Буршина. У них унылый вид.
Жур говорит:
— Ну что ж, общее собрание шнифферов можно считать открытым. Вы узнаете вашего хозяина? — И показывает на Буршина.
Все молчат. Только Варов поднимается и почти истерически кричит:

— Я, гражданин начальник, жаловаться буду! Я это так не оставлю! Меня вдруг вместе с какими-то ворами...
— Ой, как вы кричите! — говорит Жур. — Это же черт знает что. Здесь же все-таки не сумасшедший дом... Буршин, вы узнаете этих граждан?
Буршин молчит. И все молчат.
Жур подходит к Чичрину.
— Ну, хорошо, — говорит он, — я понимаю: Буршин ломает шкафы, Варов ему пропуск достает, Подчасов стоит на стреме. Им много надо. У них свой план. А тебя-то зачем черт понес? Чего тебе-то не хватало? Слесарь ты...
— Вот именно... Слесарь, — сказал старик и заплакал. — Меня в ударники по всей форме произвели, аттестат дали как самонаилучшему мастеру. Пятьсот рублей в месяц. А я...
Чичрин взглянул на Буршина и заплакал в голос, как женщина.
— Погубил ты меня, Егор Петрович! Погубил... И денег мне твоих не надо, и товару. Погубил ты меня со старухой. Что она сейчас, бедненькая, может производить без меня?..
Потом очная ставка кончилась.
Подчасова, Чичрина и Варова увели.
Жур спросил Буршина:
— Ну, что вы теперь скажете?
— Чисто работаете, — сказал Буршин.
— А вы говорите! — хвастливо молвил Жур.
И после этого краткого диалога беседа приобрела нормальный и даже интимный характер. Буршин рассказал Журу и про Варшаву, и про варшавские порядки, и про сына своего, и про дочь, и про жену, и про зятя — аптекаря. Рассказал все. И о том, как пожелал быть бухгалтером, как задумал преступление и как совершил его.
Через несколько дней его приговорили к расстрелу.
Приговор не удивил и не испугал его.
Но все-таки ему было обидно. Было обидно, что жизнь прошла страшно глупо, незаметно и неинтересно, что он не смог изменить ее. Не смог устроиться, как хотел, на старости лет, как устроились даже такие, как этот рыжий Григорий Семеныч, бывший фармазонщик, теперь работающий лекпомом в поликлинике. Разве Буршин хуже его? Разве Буршин не мог бы так же сделаться бухгалтером или еще кем-нибудь? Разве у него мало сил?
Сил у Буршина еще очень много. И эти силы всегда спасали его. Приговоренный к смерти, опозоренный, одинокий. «Ты, Егорша, один. Как перст, один», — говорила ему мать, — он сидит в одиночной камере и старается не падать духом. Читает, даже занимается гимнастикой и пробует петь тихонько. Пробует успокоить себя. И это удается ему на какое-то время. Но затем опять начинается мучительное беспокойство.
Беспокойство это особенно тяжко после полуночи.
В камеру проникает лунный свет. И по камере бродит унылый Буршин. Жизнь, большая, прожитая, вспоминается сразу и еще раз стремительно проходит в воспоминаниях.
Буршин видит себя в детстве — дома, у матери, в Коломне. Он живет на кухне у зубного врача. Носит старые докторские штаны. Они широки ему немножко и длинны непомерно. Он завязывает их где-то у горла.
Но они нравятся ему, эти докторские штаны. Он хвастает ими на улице перед мальчишками и мечтает сам стать доктором, зубным врачом.
Не коммерсантом, не бухгалтером, а зубным врачом мечтал он быть. Все детские годы мечтал. А потом забыл. И вспомнил только сейчас. Вспомнил и еще сильнее пожалел себя.
В коридоре, лязгая винтовкой, ходит часовой. Жизнь проходит. Она прошла уже, волчья, воровская жизнь.

Абрамцево, весна 1937 г.

Варя Лугина и ее первый муж

1

В барабанщики обычно выбирают мальчиков.
Но Варя Лугина запротестовала. Она кричала, что это зажим.
И добилась своего — ее избрали в барабанщики.
Она ходила впереди отряда, закинув белокурую голову, гордая, самостоятельная девочка в коротком платьице.
Из-под платьица ее выглядывали загорелые, коричневые коленки в синих ссадинах и царапинах. Она ни в чем не уступала ребятам.
Зимой она каталась на коньках, командовала постройкой крепостей из снега. А летом плавала, лазала по крышам и даже играла в футбол с мальчишками.
Но в двадцать седьмом году, когда исполнилось ей двенадцать лет, она упала с качелей и сломала бедро.
Она вышла из больницы на костылях, похудевшая, бледная, угрюмая.
На Усачевке жалели ее:
— Командирша вышла в отставку.
Варя Лугина говорила:
— Посмотрим...
И когда можно было бросить костыли, она опять стала бегать. Она бегала теперь, припадая на левую ногу. Боли она не чувствовала и не хотела чувствовать себя калекой.
Она по-прежнему лазала по крышам, барабанила на пионерских сборах и старалась даже вернуть свое первенство по конькам. Она была решительная девочка.
И такой решительной она осталась на всю жизнь.
В семнадцать лет она выглядит как двадцатилетняя. У нее зеленые задумчивые глаза, белокурые косы, уложенные, вокруг головы, очень стройная, крепкая фигура. Она по-прежнему чуть-чуть припадает на левую ногу.
Но это не так уж заметно теперь: она носит сапожки или туфли на высоких каблуках и в одну туфлю, в левую, подкладывает толстый подпятник.
В городе, на заводе, это, может быть, и следует делать. А в Сочи, на отдыхе, зачем же подпятник? Варя Лугина, приехав на отдых, сразу спрятала модные туфли в чемодан, надела шлепанцы и в синей майке, перекинув полотенце через плечо, пошла к морю.
Доктор встретил ее в кипарисовой аллее. Это был добрый пожилой доктор, из тех, что любят свою профессию. Он, прищурившись, посмотрел на девушку и участливо спросил:
— Это что же у вас такое... с ногой?
Варя Лугина покраснела.
— Ничего, — сказала она. — Пустяки. Это с детства...
— Вы бы все-таки зашли ко мне. Пустяки, пустяки, а может быть, вам и купаться нельзя...
Она зашла. Он внимательно осмотрел ее, выслушал сердце, легкие. Потом осторожно ощупал живот, ноги, особенно долго ощупывал левую ногу и наконец грустно покачал седеющей головой.
— Н-да, молодая леди... — сказал он после некоторого раздумья... Купаться вам, конечно, можно. Купайтесь на здоровье. А вот это... как бы сказать... деток рожать вам, по-моему, будет очень трудно. Да...
Варя удивленно посмотрела на доктора. При чем тут дети? Ведь она не спрашивала его, можно ли ей рожать!
Вероятно, он принял ее за кого-то другого, все перепутал. Она готова была улыбнуться.
Но доктор, приподняв очки, изучающе посмотрел ей в глаза и молвил медленно, как бы намеренно растягивая слова:

— Видите ли, какая история. Из-за бедра у вас значительно искривлены и позвоночник и вся область таза. — И, может быть боясь, что девушка не поверит ему или еще, чего доброго, обидится, добавил: — Это, в сущности, не мое дело. Я здесь по общему наблюдению. Но я к тому же и гинеколог. Я понимаю...
Доктору, видимо, было нечего делать. В доме отдыха в большинстве жили здоровые люди, не нуждавшиеся в его помощи. И сейчас, пользуясь свободным временем и возможностью обнаружить знания, он с явным удовольствием и с особой стариковской обстоятельностью прочитал девушке пространную лекцию и о строении человеческого тела, и о деторождении, и о многом другом, что совсем не входило в его скромные обязанности курортного врача.
Варя теперь стояла перед ним растерянная, подавленная.
Никогда раньше она не думала по-настоящему ни о замужестве, ни о материнстве. Для нее это были далекие понятия, к ней не имевшие пока никакого отношения.
Ведь она даже не влюблялась ни разу, если не считать, что в школе была влюблена в учителя рисования — в длинные волосы его была влюблена и в белый галстук, завязанный пышный бантом. Но это было давно, в детстве, лет восемь назад. И любовь эта, детская, естественно, не предполагала ни замужества, ни материнства.
О материнстве она серьезно подумала только сейчас, встревоженная скучным шумом докторских слов. Значит, матерью она не может быть. Значит, у нее никогда не будет детей. Вообще-то говоря, в этом нет ничего страшного. Ведь живут же на свете женщины, не способные стать матерями.
Но Варю такая мысль не могла успокоить. Не важно, станет ли она когда-нибудь матерью или нет. Важно чувствовать, что она может стать матерью.
Варя спросила робко:
— Неужели так навсегда? — И голос ее дрогнул.
— Операция, — сказал доктор, зажимая в зубах папиросу. — Я не скажу, что это будет легкая операция. Но только оперативным путем можно обеспечить вам деторождение. Вернуть, так сказать, эту способность. Впрочем, надо посоветоваться и с другими врачами...
На этом неожиданная лекция была окончена.
После лекции Варя пошла купаться. Но и купанье не могло прогнать плохого настроения. Настроение все ухудшалось.
Варя впервые и как-то особенно остро ощутила свое тело, кости, мышцы, которых раньше почти не замечала, не чувствовала, как, впрочем, не чувствуют их все здоровые люди. Она прислушивалась теперь к биению своего сердца, и ей казалось, что сердце у нее работает неправильно, бьется уж слишком учащенно.
Для нее всегда было привычно сознание, что она не хуже людей, что она как все, что она здорова, нормальна, обыкновенна, и это сознание сближало ее с людьми, делало равными ее им и их ей.
И вот доктор поколебал это сознание.
Варя бродила по шоссе, сидела на вросшем в землю камне, лежала на желтой, спаленной солнцем траве, смотрела в небо и чувствовала себя одинокой.
А мимо проходили люди, проезжали по шоссе скрипучие арбы, шуршали шинами нарядные автомобили.
На волейбольной площадке, подбрасывая мяч, весело шумели парни, девушки.
Варя видела их из своего уединенного местечка, завидовала, но подойти к ним почему-то не решалась. Не могла себя заставить подойти.
В последующие дни она намеренно опаздывала и к завтраку, и к обеду, и к ужину, чтобы сидеть за столом одной. И отдыхающие составили о ней неправильное мнение, считая ее гордячкой, и сами стали обходить ее.
Варя заметила это, и настроение ее еще больше ухудшилось.
Наконец, на четвертый день, расстроившись окончательно, она собрала свои вещи, купила билет и поехала домой, в Москву. Отдохнуть не удалось.
Печальная, она лежала на второй полке вагона, смотрела в окно на море. И море наполняло ее еще большей печалью.
Под головой у нее увядали магнолии, распространяя удушливый, печальный запах.

Она лежала на второй полке, а напротив нее, тоже на второй полке, поместилась некрасивая, старая женщина. И Варя завидовала некрасивой женщине, не лишенной, вероятно, этой самой «способности», о которой говорил доктор.
— Простите, — сказала Варя, не узнавая собственного голоса, — простите, у вас были дети?
В вагонах вначале обычно спрашивают у незнакомых людей: «Далеко ли едете?», «Сколько времени?», «Не знаете ли, где тут будут торговать молоком?», «Нет ли у вас чайника?» Или говорят вдруг, вытирая шею носовым платком: «Жара-то какая... А? Дождик, наверно, будет...» А потом уже переходят к другим вопросам. Говорят о чем хочется.
Варя нарушила этот старинный порядок. Она заговорила о детях. И соседка охотно ответила:
— Дети — это вещь нехитрая. У меня их восемь было. Шесть живы, два померли. Ну, и уж этого я не говорю. То есть абортов...
— И аборты тоже были?
— Ну, а как же? В семейной жизни, дорогая моя, все бывает...
Женщина оказалась разговорчивой. Варя еще спросила:
— А не страшно... аборты?
— А чего же страшного? Неприятность, конечно. Все нутро как будто вынимают. Кричать другой раз приходится...
Варя замолчала. Опытная соседка осмотрела ее всю, как покупку, и в глазах ее; заспанных, мутных, блеснула ирония.
— Да вы чего, — спросила она, — с курорта, что ли, едете?
— Да. В доме отдыха была...
— А-а, — сказала соседка понимающе. И, помолчав, нравоучительно молвила: — Пугаться здесь в общем не приходится. У всякой» женщины такое дело может выйти. Ему-то что! Он ушел — и все. А тебе беспокойство.
В другое время такое предположение оскорбило бы Варю. А сейчас ей даже приятно было, что соседка считает ее «способной».
Варя неопределенно сказала:
— Это верно, с одной стороны...
И отвернулась к стенке.

2

В Москву она приехала утром.
Искупалась в Москве-реке, позавтракала. И, сказав матери, что едет по делам, пошла в амбулаторию, к хирургу.
На другой день она уже лежала в клинике.
Первая операция прошла неудачно. Ей сделали вторую. Потом третью, четвертую.
Операции были не из легких. Один раз она пролежала под наркозом около двух часов. В последний раз ее оперировали почти без наркоза. Это было особенно мучительно.
Варя в кровь искусала губы. Она не кричала. Она только морщилась и вздыхала. И профессор сказал:
— Вот это девушка. Это я понимаю.
Она пролежала в клинике весь свой отпуск и еще два месяца.
Под окнами проходила осень, шелестя бумажными листьями.
Больную навещали мать, и отчим Семен Дементьич, и товарищи по работе.
Никто не знал, чем больна Варя, какие и зачем ей сделаны операции. Да и не многие, пожалуй, узнав об этом в подробностях, нашли бы ее поступок нормальным. Хотя и

осуждать ее было не за что. Она так хотела. Она добивалась чего-то. И вот добровольно обрекла себя на муки.
Впрочем, люди, навещавшие ее, даже родственники, не подозревали и об этих муках. Они просто сочувствовали Варе, как всегда сочувствуют или должны сочувствовать здоровые больным, — приносили ей конфеты, яблоки.
Добряков приносил цветы:
— Я, понимаешь, сильно волнуюсь. Варя.
— Ты чудак, — говорила она. — Ну чего же тут волноваться? Я скоро поправлюсь. Еще одна небольшая операция — и я поправлюсь...
— Давно бы уж пора. Варя, — вздыхал Добряков.
— Тебе, может, надоело навещать меня?
— Ну для чего этот разговор, Варя? Я, напротив, с удовольствием, Варя...
Раньше он говорил ей «Лугина», а теперь «Варя».
Должно быть, он считал неудобным называть ее, больную, по фамилии. И Варя действительно не походила теперь на Лугину, на такую немножко озорную, немножко заносчивую девушку.
Насмешливый огонек, всегда чуть заметно теплившийся в зеленых ее глазах, теперь погас. Она не хмурила больше длинных бровей и не смотрела исподлобья. Лежала кроткая, исхудавшая, укрытая белым и в белом этом одеянии очень красивая.
Добряков приходил к ней чисто выбритый, нарядный, каждый раз в новом галстуке, и неожиданно от него пахло духами. Он сообщал:
— Вышла новая книга. Автора я тебе сейчас не скажу. Я авторов никогда не помню. Очень интересная книга. Хочешь, я тебе принесу?..
— Какой у вас интересный супруг! — сказала про Добрякова соседка по палате. — И какой заботливый! На редкость.
— Он мне не супруг, — сказала Варя. — Он мне товарищ.
И ей было смешно представить его в роли своего супруга. Слово-то какое смешное: супруг!
Добряков приходил к Варе в клинику в самом деле как к товарищу по работе. Он и к парню, наверное, так же приходил бы. Цветов не носил бы, наверное. Но книги носил бы обязательно.
— Знаешь, Варя, я забыл тебе в прошлый раз сказать: Володьку-то Бисюгина сняли, — сообщил однажды Добряков.
Володька Бисюгин — это тот самый парень, который работал пока, вместо Вари, секретарем цеховой комсомольской ячейки. Он был кандидатом партии, Бисюгин. Его исключили из партии.
— За что?
— Ну это... вообще-то... не для больницы разговор, — покосился на соседок по палате Добряков. — Но вообще-то тебе надо поправляться. Варя. На заводе тебя все вспоминают. Жалеют, что ты лежишь. Жарков прямо рвет и мечет...
Добряков ушел. Пришел доктор.
— Ну, Лугина, скоро мы вас выпустим. Еще одна небольшая операция — и вы свободны...
— Нет, — сказала Варя, — не надо, доктор. Я и так уж залежалась. Я хочу выписаться...
Но все-таки ей пришлось пролежать в клинике еще целый месяц.

3

По заводу Варя Лугина ходила несколько дней, опираясь на палочку.
А потом опять стала бегать, будто это не она перенесла четыре серьезные операции и больше трех месяцев пролежала в больнице.

Она опять была секретарем цеховой комсомольской ячейки. И комсомольский групорг Добряков называл ее по-прежнему «Лугина».
Но однажды, в середине дня, он подошел к ней, немного сконфуженный, и сказал:
— Понимаешь, какое дело... У меня два билета к Вахтангову. Я хотел с одним парнем пойти. Он болеет. Ты не пойдешь, Лугина?
Она деловито спросила:
— Деньги тебе когда отдавать за билет — сейчас или в получку?
— Да не надо мне, — сказал Добряков, покраснев. — Что я, торгую?
— Ну, а так я не пойду. Я тебе не барышня. Ты и в больницу мне сколько цветов перетаскал...
— Брось, брось! — сказал Добряков и покраснел еще сильнее.
Варя сказала:
— Ну ладно, пойдем. Чудак ты, ей-богу. Добряков.
И вот так всегда — она относилась к нему слегка покровительственно, слегка насмешливо. Впрочем, она со всеми такая. И глаза у нее насмешливые.
Добрякову не нравился этот тон. Но девушка ему нравилась. Он не обиделся бы, если б сказали, что она умнее его, способнее. «Да, — сказал бы он про себя, — это верно».
Но только про себя. Публично признать это он не решился бы. Это оскорбительно для него. Хотя Варю он любил именно за это. За то, что у нее есть какие-то качества, которых он сам лишен. Ему нравилась этакая ее напористость, самостоятельность. И даже насмешливость ее нравилась.
Не нравилось только, что она насмешливо относится и к нему. Но что делать?
Пригласив ее однажды в театр, он стал частенько приглашать ее в цирк, в кино. И она ходила с ним. Но не разрешала брать ее под руку.
— Я тебе не барышня.
И так прошла зима.
Весной они часто вместе катались на пароходе по Москве-реке. Иногда бродили по Ленинским горам.
Это было, как в детстве, увлекательно и немножко страшно. Они забирались в самые таинственные уголки, где трава еще не измята дачниками. Они первые мяли эту первую весеннюю траву, бегали, лежали под деревьями, подстелив газеты.
Добряков вот так, лежа под деревом и задумчиво глядя в небо, однажды сказал:
— Знаешь, Лугина... Я тебя даже во сне другой раз вижу.
Варя сказала без восторга и почти грустно:
— Я тебя тоже, Добряков. Ты хороший. Или я ошибаюсь...
И, грустная, она погладила его по голове, потом по лицу.
Добряков не шевелился. Он лежал как оглушенный, чуть наклонившись к девушке. А когда она перестала его гладить, он сказал:
— Знаешь, Варя, это место, где мы сейчас находимся, очень историческое. Здесь, говорят, Наполеон стоял, на Москву смотрел...
— Пусть, — сказала Варя с безразличием, которое могло бы оскорбить Добрякова.
Но он не оскорбился. Забыл о Наполеоне тотчас же.
Неожиданно он вскочил на ноги и закричал:
— Знаешь, Варя, что сделаем?
Варя испуганно посмотрела на него.
Не придумав ничего, Добряков наклонился к ее уху и прошептал что-то ласковое тихо-тихо, чтобы не слышал никто, никто...
— Ох, и идиот! — сказала Варя. Но опять погладила его по золотистым волосам, по лицу и притянула к себе.
Добряков все еще не знал, можно ли ему поцеловать Варю. А вдруг обидится?
Она первая поцеловала его.
Стало как-то тепло. Даже жарко стало.
Добряков хотел расстегнуть воротник и в запальчивости необыкновенной оторвал три пуговицы.
Потом Варя аккуратно заколола ему воротник своей английской булавкой. И они пили ситро в маленькой кофейне на пристани.

Варя объяснила, почему она пока против официального брака. Она секретарь, а он — групорг. В одном цехе. Будут говорить — кумовство. А потом, если даже официально жениться, где же они будут жить, женатые?
— Ведь у тебя отдельной комнаты пока нет? Нет. И у меня нет...
Варя Лугина жила в одной комнате с матерью и отчимом.
Это была большая комната, высокая, светлая, но проходная. Через нее проходили жильцы всей квартиры.
Жизнь этой комнаты была открыта для всех.
Варин отчим, Семен Дементьич, говорил управдому с обычной своей игривостью:
— Я, как лицо мужского рода, не очень-то стесняюсь. Пожалуйста. Я вроде привык. А для женщин, для семейной жизни, эта площадь кругом неудобная. Ни переодеться, ни другое чего сделать. Я даже так скажу — я под влиянием этой площади в актеры пошел, чтобы лишнее время не сидеть дома. Надо же человеку куда-нибудь деваться.
И это походило на правду.
После работы в гараже, по вечерам, Семен Дементьич уходил в клуб. Виновата ли была неудобная комната или просто в пожилом человеке, в ремонтере автомашин, вспыхнула неутоленная страсть к театральному действию — неизвестно. Но он и впрямь «пошел в актеры» и чуть ли не каждый вечер, до часу ночи, проводил в клубе.
Дома обычно сидела только его жена, Варина мама.
Варя же приходила домой после занятий на курсах, в девять вечера, и сейчас же ложилась спать. Она спала до четырех утра.
А в четыре часа, когда спит еще весь дом, она просыпалась и, пользуясь тишиной, готовилась к следующим занятиям на курсах. Она собиралась поступать в институт.
В эти же предутренние часы она подготавливала задания Добрякову и другим групоргам.
И так они жили — Варя, Варин отчим и мать.
Жизнь эта в проходной комнате не сильно огорчала их. Они спокойно работали, думали, учились и надеялись на лучшее. Ничего не поделаешь. В Москве пока тесно.
Управдом говорил:
— Вы представляете, я сам, собственно говоря, живу в клетушке.

4

В Москве была осень, сухая, безветренная. Хорошая, теплая осень. Варя Лугина шла с Добряковым под руку по Парку имени Горького, по свежеопавшим листьям.
Добряков рисовал увлекательную картину. Он теперь уже не групорг. Его перевели в другой цех. Он теперь опять просто токарь, так что Варя может не думать, что их кто-то заподозрит в кумовстве. Они могут жить вместе, тем более что начальник цеха обещал выхлопотать комнату Добрякову.
Это будет большая комната, метров на тридцать, как он думает. Он видел уже эту комнату в новом доме. Если Варя хочет, пусть берет к себе мать и отчима. Они будут жить все вместе. Он одинокий человек, Добряков. Он давно уже живет на койке. А теперь он будет жить в семье.
— Я думаю, Варя, что нам надо зарегистрироваться. Будем жить как люди. Вдруг ребенок...
— Уже, — сказала Варя и опустила глаза. — Я чувствую...
Добряков в одну минуту переменился. Он стал серьезнее в эту минуту. Добряков поцеловал жену в висок и сказал деловито:
— Только ты не бегай, Варя...
И потом много раз он повторял эту просьбу. Говорил он с нежностью, с еле заметным волнением. Казалось, его нельзя заподозрить ни в чем. Но Варя заподозрила. Она спросила:

— В чем дело? Мне не бегать нельзя. Я работаю. И это мне не вредно. Чего же ты волнуешься?
И Добряков доступно объяснил:
— Я как тебя увижу с чужими парнями, у меня даже сердце как-то не в порядке... Я не могу...
— Какие же они чужие? — наивно сказала Варя. — Они же комсомольцы! Я должна с ними разговаривать.
— Все равно, — сказал Добряков, — я страдаю...
Варя засмеялась.
Она не могла привыкнуть не смеяться над мужем. Она всегда смеялась. Правда, беззлобно, любя.
Но Добрякова эти чуть заметные насмешки раздражали все больше.
Этот смех, казалось ему, разделяет их. Он не чувствует, что жена близка ему, что она под веселую руку не высмеет его когда-нибудь и при посторонних людях.
И если раньше ему нравилась ее самостоятельность, то теперь эта самостоятельность угнетала его.
Добряков сказал однажды:
— Я не чувствую, что я женатый. Я как будто замужем. Ты не слушаешь меня.
— А что слушать? Говори — буду слушать...
Она опять смеялась. А он все мрачнел. И мрачно сказал:
— Я же тебе говорю — не бегай. Не разговаривай с другими парнями...
— Да ты что, с ума сошел, что ли? Я работать должна...
— А я говорю — не надо. Можно и не работать в крайнем случае. Я и сам хорошо получаю.
— Вот так так! — сказала Варя. — И это называется комсомолец, бывший групорг! Да таких из комсомола надо исключать.
— Исключай! — закричал вдруг Добряков. — А я тебе говорю — не бегай! Я тебе приказываю...
— Вот как? — удивленно протянула Варя. — Да ты, оказывается, строгий муж! Чего доброго, ты бить меня начнешь...
— А ты не выводи из терпения...
Помолчали.
— Ну ладно, — сказала Варя, — брось дурака валять! Что это за новости? Мы с тобой комсомольцы, Васюк. Получается, что ты меня ревнуешь...
— Не ревную, — сказал Добряков, — а просто не хочу. Я тебе муж. При чем тут ревность?
Этого последнего слова он боялся. Это страшное слово. Это только мещане могут ревновать. А он не мещанин. Он комсомолец. И он просто хочет, чтобы жена любила его так же, как любит он ее.
В новом доме наконец ему дали комнату. Довольно большую. Не тридцать метров, но двадцать четыре. Добряков купил шкаф, тахту и кровать. Надо купить еще стулья.
Варя сказала:
— У тебя больше денег нет. Я вот получу, и купим остальное. Будет все вместе...
Добряков сказал:
— Не надо. Я в кассе взаимопомощи получу...
Вышло это у него немножко грубовато. И он поправился:
— Зачем же, Варя, ты свои деньги будешь тратить? Тебе одеться надо. Я жалею, что не могу тебе сейчас чего-нибудь купить...
Добряков был ласков. Но план у него был неумолимый. Он хотел быть полным хозяином в своей комнате. И говорить по-хозяйски: «Я велел, я велю...»
Этот тон он усвоил сразу же, как жена сказала ему о беременности. Он уже тогда понял, что девушка эта, слегка заносчивая и не в меру гордая, чье внимание заслужить он считал еще недавно недостижимой мечтой, завоевана теперь им окончательно. Он не сказал этого даже самому себе. Но он чувствовал это.
И вот она поднимается по лестнице в его дом, в его комнату. А он стоит в кухне у окна и видит ее. Он очень счастлив сейчас.
Это поднимается по лестнице жена, мать его будущего ребенка, его любимая девушка. Этой девушкой гордится весь завод.

А он. Добряков, ее муж. Он тоже не олух. Он способный человек. Его уважают на заводе. Ему дали комнату. Большую, светлую. Два окна, центральное отопление, газ, ванна. Не всякому дают такие комнаты. А ему дали. Его ценят. Он далеко не олух, Добряков.
Он идет навстречу жене, берет у нее из рук небольшой чемодан, целует ее в лоб, говорит:
— Варя, зачем ты таскаешь такие вещи? Я сам принес бы...
— Ну, я тоже не калека.
— Тебе же нельзя.
Потом он идет на кухню, где стоит на газовой плитке блестящий чайник с плетеной ручкой. Он снимает чайник, несет его в комнату. Они пьют чай.
Зеленый круг от абажура лежит на глянцевитом полу. Они пьют чай со сладкими сухарями. Добряков макает сухарь в дымящийся чай.
— Ты знаешь, Варя, я так доволен. Ты скажи матери, пусть переезжают...
— Ладно, — говорит Варя. — Я скажу.
За окнами ночь. Эту ночь они проведут вместе, в новой комнате. Впервые по-настоящему вместе, в своей квартире. Впервые в жизни.
Варя говорит:
— Эх ты, черт, я вторую-то подушку забыла...
— Ничего, — говорит Добряков, — на одной переспим.
И через час их головы лежат на одной подушке — белокурая Варина голова и золотистая добряковская.
Зеленый круг от абажура все еще лежит на глянцевитом полу. Добрякову не хочется тушить свет. Он хочет видеть свою комнату, белоснежные ее стены, коричневый лакированный шкаф.
— Я тебя очень люблю, Васюк, — говорит Варя, прижимаясь к мужу. — Я к тебе все больше и больше привыкаю. Ты очень хороший. Я не ошиблась...
Она никогда еще не говорила так. Она беззащитна сейчас, как всякая влюбленная женщина, и такая кроткая, нежная. И Добряков нежный. Нежно он говорит жене:
— Ты только никогда не серди меня, Вареник. Я очень жестокий, если меня сердят...
— Чем же я тебя сержу?
— Ты знаешь, я не люблю, когда ты с мужчинами...
— Ну, снова эта музыка! — как от боли поморщилась Варя.
Добряков встал, потушил свет. Опять лег.
— Я серьезно говорю, — сказал он, натягивая одеяло. — Я не люблю это. Симаков на тебя смотрит, как кот на сало. Тебе это не заметно, а я вижу. Вы, женщины, вообще ничего не замечаете, а нам, мужчинам, видно. Другой раз хорошая женщина с таким человеком сойдется, что просто жалко. И как она не видит... — Помолчал. — А ты, Варя, с Симаковым не очень. Он так как будто и красавец, а у него дурная болезнь была...
— Неужели? — удивилась Варя. Потом спросила: — А зачем ты мне это говоришь? Я же за Симакова замуж не собираюсь. У меня есть свой... муж.
И впотьмах Добряков не увидел, а только почувствовал, что в глазах жены, затуманенных нежностью, загорелся опять этот каверзный огонек. Осердившись, Добряков сказал:
— А кто вас знает! Некоторые и от мужей бегают...
— Не говори чепухи! Это противно...
— А ты не серди меня... Я тебе раз навсегда говорю: если я что-нибудь замечу, я не позволю тебе работать...
Варю было трудно рассердить. Она смеялась. Немножко ей нравилось такое пристрастие мужа. Она вспомнила где-то вычитанную фразу: «Ревность — это тень любви; пройдет любовь — пройдет и ревность».
Постепенно, однако, ей начинала надоедать эта тень. Она смеялась уже не так охотно, как прежде. Но все-таки она смеялась. И, смеясь, она спросила:
— А что будет, если я этого приказа не выполню?
— Будет худо...
— А все-таки?
— Допустим, — Добряков приподнялся на подушке. Он был спокоен. Он улыбнулся даже. И непонятно было, шутит он или говорит серьезно. Допустим, я бросаю тебя. В загсе мы не зарегистрированы. Никто не знает еще, что мы живем вместе. Как узнать, кто отец?

Варя порывисто сбросила одеяло и спрыгнула с тахты.
— Я отец! — крикнула она. И зажгла электричество.
В одной сорочке, босая, она сидела на ящике. Зеленый круг от абажура лежал теперь на ее плечах. Она вздрагивала от легкого холода, идущего с глянцевитого пола. Она раздумывала о чем-то.
Добряков смотрел на нее.
За окнами была ночь, очень темная перед рассветом.
Варя начала одеваться. Она одевалась быстро, натягивала чулки.
Добряков смотрел на нее и не верил, что она уйдет. Она же беременная.
Но она уже застегивала кофточку и стояла перед зеркалом. Она спокойно приглаживала волосы.
И это спокойствие поразило Добрякова. Он сказал:
— Варя!..
— Что?
— Варя, не делай глупостей. Иди сюда...
— Нет, Добряков, — спокойно сказала она, — я уйду. Я не привыкла жить с дураками.
Пригладив волосы, она взяла со стола шарф, обмотала им шею и начала надевать куртку.
Добряков спросил:
— Варя, неужели ты уйдешь?
— Нет, не уйду! — сказала она насмешливо. — Я буду умолять моего супруга не бросать меня, беременную, на произвол судьбы. Я буду умолять повелителя усыновить моего ребенка. Я буду согревать барахольщика теплом моего сердца...
И вдруг заплакала. Большая светлая слеза выкатилась из левого глаза и поползла по щеке, оставляя влажный след.
Добряков увидел слезу и вскочил с тахты. Он закричал:
— Варя!.. Ну, прости меня, если я виноват! Я же не хотел тебя обидеть. Честное комсомольское...
— Как не стыдно! — сказала Варя, продолжая плакать. Нос ее мгновенно покраснел, и лицо стало некрасивым. — Как не стыдно говорить комсомольское...
— Я же не хотел...
Добряков стоял перед женой, высокий, теплый, растерянный. А она плакала и искала в карманах куртки носовой платок. Потом она сдернула с гвоздика мохнатое полотенце и спрятала в него разгоряченное лицо.
Добряков видел, как вздрагивают ее женские плечи. Он наклонился, обнял ее. Она прижалась к нему. Но только на мгновение прижалась.
Добряков едва не упал, когда она вдруг толкнула его в грудь и вырвалась. Она все-таки уходит.
Добряков говорит:
— Ну давай хоть простимся, как люди...
Он все еще хочет задержать ее, стоит в дверях. Слезы ее высохли. Она в последний раз осматривает комнату: не забыла ли чего?
Она не вырывает руку. Она стоит в дверях и говорит грустно:
— Я не думала, что все так получится...
Похоже, что говорит она это для себя. Она думает вслух. Потом выходит в коридор, где горит электрическая лампочка.
До лестницы Добряков провожает ее молча. Но у лестницы он опять берет ее за руку.
— Варя!.. Ну, прости меня. Ну, зачем ты делаешь какую-то глупость, собираешься вдруг уходить...
— Здесь холодно, — говорит Варя, — ты раздетый. Простудишься, и я же буду виновата...
И побежала вниз по лестнице.
Добряков побежал за нею. Босому, ему было холодно на каменных ступенях. Но он не чувствовал холода.
Он бежал за нею по мелкому щебню пустыря, где тускло поблескивали под одиноким фонарем ржавые консервные банки, осколки бутылок и бурые строительные камни.
Она остановилась у трамвайной будки и сказала:
— Отстань сейчас же! Я тебе не барышня... Отстань! Кому говорят?

— Я умоляю тебя, Варя, — сказал он. — Трамвай все равно не ходит...
— И не надо, — сказала Варя. И опять заплакала.
Добряков увидел человека, шагающего вдоль забора, и смутился. В то же мгновение он почувствовал холод и побежал обратно. Он дрожал.
А Варя шла по трамвайным путям и плакала почти с наслаждением. Она довольна была, что никто не мешает ей плакать. И в то же время ей хотелось, чтобы кто-нибудь пожалел ее. Она беременная, несчастная. И главное — одинокая.
Всю жизнь она дружила с ребятами. Девчонок никогда не любила. Но ведь ребятам нельзя рассказать всего, что можно рассказать очень близкой подруге.
Добряков был первым, с кем, казалось ей, она могла бы говорить обо всем. Она любила его. И сейчас любит. Она никогда бы не ушла, если б не эта гордость. Ну, зачем он сказал: «Я бросаю тебя. Кто отец?»
Вспомнив эти слова, Варя вдруг опять рассердилась. Гнев высушил слезы. Она остановилась, пошарила в карманах, нашла перчатки, надела их и приняла независимый вид.
Она стояла одна у фонаря. Где-то далеко замирали грохоты трамваев. Большой город спал. Она стояла на окраине большого города. К ней подошел молодой дворник, в белом фартуке, с медной бляхой на груди.
— Ожидаете, что ли, кого?
— Ожидаю, — сказала она независимо. — Трамвай... А вам что?
— Долго ждать придется, гражданочка. Теперь до утра...
Он молча прошелся раза два мимо Вари. Вынул из кармана папиросы, спички, закурил. Потом опять прошелся. И остановился опять. Не спеша, уважая себя, поправил бляху на груди. Застегнул крючок у ворота и кашлянул деликатно. Он заметно прихорашивался. Рядом с ним стояла хорошенькая девушка, белокурая, задумчивая. Он спросил:
— А далеко, извиняюсь, ехать?
— На Усачевку.
— О! — сказал дворник. — Это на двоих трамваях...
— На двух, — сказала Варя.
И он покорно согласился:
— Правильно, на двух.
Знакомство, таким образом, состоялось.
Помолчав, сколько требовало приличие, дворник, осторожно зондируя почву, пошутил:
— Вас супруг, наверно, заждался на квартире.
— У меня нет супруга.
— Это как же так? — будто удивился дворник. — Вы одинокая, что ли? Одинокая, — сказала Варя.
Это слово показалось ей сейчас смешным. Она улыбнулась и пошла в сторону завода. Идти на Усачевку пешком не было смысла. Скоро утро.
А Добряков вбежал в свою комнату и, не счистив грязи с босых ног, залез под одеяло. Зубы его стучали. Он долго отогревался, стараясь унять дрожь во всем теле.
Отогревшись, он заплакал. И плакал сердито, кусая подушку, задыхаясь и всхлипывая. Он тоже чувствовал себя одиноким, как и Варя, бродившая по трамвайным путям.
Наконец его осенила прекрасная мысль. Он оделся, обулся и вышел на улицу. Он вышел с намерением остановить Варю, упросить ее хотя бы на коленях и вернуть в свою комнату. Он прошел по трамвайным путям не меньше километра.
Но Вари нигде не было.

На следующую ночь Наталья Кузьминична подошла к кровати мужа, прилегла на краешек подушки и сказала тревожно, толкая мужа в плечо:
— Ты знаешь, Сема, чего творится?
Это было самое подходящее время для душевных разговоров. Но муж спал.
Жена растолкала его и спросила еще раз:
— Ты знаешь, Сема, чего творится?
— Чего?
— Да ты не ори, окаянный! Я тебе серьезное дело говорю: Варюшка-то беременная.
— Ну и слава богу! — сказал Семен Дементьич. — А я думал, уж не пожар ли в квартире...
— Все насмешки, насмешки! — обидчиво молвила жена. — Она тебе не родная. Тебе и горя мало. А у меня душа-то как болит! Она ведь девица...
— Обе вы с ней девицы, — насмешливо сказал Семен Дементьич. — У нее же есть этот парень. Это же, как я понимаю, ее муж... Хотя тоже, надо сказать, живем как турки в Турции. Ни подарка молодым не сделали, ни свадьбу не сыграли. А парень хороший, видный...
— Бросила она его, Сема.
— Бросила? Чего это вдруг?
— Он дурак оказался. Глупости ей говорит...
— Ну, бросила — значит, правильно, и пес с ним...
— А ребеночек-то как же? Ведь прямо хоть аборт делать... Если б можно было...
— Зачем аборт? — Семен Дементьич вдруг перекинул ноги через жену, сел на кровати и сказал строго: — Я вот вам обоим дам такой аборт, что вы у меня... Ишь абортистки какие выискались!.. Где у меня тут махорка была на столике?
Не зажигая свет, он разыскал махорку и, закуривая, сказал сокрушенно:
— Вот связался я с бабами на старости лет! Уснуть не дадут! Я тебе сколько раз говорил — не буди меня посередь ночи. Я второй раз ни за что не усну...
— Да ты не реви, арестант, Варвару разбудишь! Пятнадцатый год с нами живешь и все привыкнуть не можешь... Я вчера еще хотела тебе про это рассказать. Но Варвара запретила. А сама мучается. Я же вижу, не слепая, как она мучается. И стыдно ей. Перед людями стыдно. Называется — вышла замуж...
— Не могу, ей-богу, не могу. Чумички какие-то! — вздохнул Семен Дементьич. — Одно слово — чумички. Все чего-нибудь не слава богу...
— У меня душа болит, — сообщила жена. — Ведь несчастье-то какое! Безвыходное несчастье...
— Ужас! — в тон жене сказал Семен Дементьич. — Кошмар просто...
— Опять шуточки! Я ему дело говорю, а он свое. Ты хоть дома-то не выламывай из себя артиста...
Семен Дементьич докурил цигарку, опять лег и, натянув на плечи старенькое одеяло, приказал:
— Слушай...
Жена затихла.
— Ребенка ни в коем случае никуда не девать! Абортов я делать не велю. Ребенок обязан существовать. Будем его нянчить... — И при этих последних словах грубый голос его стал мягче. — Я сам его буду нянчить. Я в детях понимаю. У моей покойницы, ты знаешь, их трое было, и все живые. Я их лично купал.
— А где мы его содержать будем? У нас комната-то какая! Пеленки даже негде сушить...
— Как то есть негде?
— А где?
— У меня на лысине в крайнем случае будем сушить. Я человек горячий...
И, завернувшись в одеяло, он уснул.

Добряков работал теперь в другом цехе.
Варя его не видела. И не хотела видеть. Но не думать о нем не могла. Она думала и о нем и о себе...
У человека есть биография. Она слагается из фактов, единственных и неповторимых. И эти факты нельзя заменить, нельзя вычеркнуть. Они вошли в сокровенную панораму воспоминаний.
Воспоминания же, как известно, способны продлить человеческую жизнь.
Это было на Ленинских горах весной. Были солнце, трава, первая весенняя трава и первый поцелуй в губы. Был возлюбленный. Потом он оказался мерзавцем. Нет, нет! Неправда! Добряков не мерзавец...
Варя готова оправдать его. Она оправдывает не только его, но и себя. Она не стала бы всякому вешаться на шею. Она любила Добрякова. И любит сейчас. И он хороший парень. Не совсем хороший. Но все-таки. Она, пожалуй, помирилась бы с ним, если б он пришел и стал просить прощения. Она простила бы его, пожалуй.
Но почему он не идет?
Ах, может быть, он решил сделать так, как говорила та женщина в вагоне: «Побаловался и ушел»? Неужели?
Это предположение оскорбляет Варю. Она краснеет от стыда и досады.
Она жестоко отомстит Добрякову.
Бессознательно она ищет в литературе, в жизни все, что походит на ее историю. И не находит.
В литературе описаны бедные девушки, которых бросали бесчестные соблазнители.
Но ведь она не бедная девушка, и ее никто еще не бросал. И не может бросить. И не может соблазнить. Она сама бросит. И сама соблазнит, если надо. И сама расплатится за все свои ошибки. Пусть у нее будет ребенок. Пусть. Он нисколько не помешает ей работать и учиться.
И действительно, беременная, она стала работать и учиться еще с большим азартом, чем раньше. Но тяжелое сознание грубой и непоправимой ошибки не оставляло ее ни на минуту. Она носила под сердцем ребенка, думала о нем и думала о своей ошибке. Да, она совершила серьезную ошибку. Но что же делать?
После работы она пошла в заводскую амбулаторию. Ведь в прошлый раз она не долечилась как следует, досрочно ушла из клиники. Важно знать, может ли она все-таки иметь детей.
Женщина-врач приняла ее очень любезно.
Варя попросила:
— Посмотрите меня, пожалуйста, повнимательнее. Меня предупредили, что мне нельзя рожать.
— У вас муж есть?
— Нет у меня мужа, — вызывающе сказала Варя. И вдруг покраснела до слез.
Докторша заметила эти слезы.
— В другое время я вам ордер на аборт выписала бы, — сказала она, — но теперь нельзя, вы сами знаете. А как женщина я вам сочувствую. Я понимаю...
— Вы ничего не понимаете! — закричала Варя. — Ничего! И никогда не поймете...
По улице она шла заплаканная, не утирая слез.
У заводских ворот ее окликнули:
— Варя!
Она оглянулась. Утерла слезы по-детски, кулаком.
Перед ней стоял Добряков, сияющий, в новом пальто, в крагах. Была зима. Декабрь.
Добряков шел на занятия технического кружка. Он сказал:
— Здравствуй, Варя.
Варя хотела войти в главные двери. Потом раздумала, повернулась и пошла в сторону.
Добряков пошел за нею. Он осмелел, увидев ее в слезах.
— Варя, я хотел с тобой поговорить...

— Отстань от меня, — сказала она и, взглянув ему прямо в глаза, добавила: — Я ненавижу тебя... Слышишь?
Она стала очень нервная в последнее время. И никто не знал, что случилось с нею.
Дома она кричала на мать.
— Господи! — говорила Наталья Кузьминична. — Это что же такое? На родную мать... Ты бы хоть поговорил с ней, Семен. Она тебе не родная, но она тебя послушает.
Но Семен Дементьич говорить с ней не решался. Варю он сам слегка побаивался. У нее крутой характер.
И, может быть, потому, что он никогда не вмешивался в ее дела, она была всегда с ним вежлива, а иногда даже ласкова.
Она, как в детстве, называла его дядей Сеней.
В клубе ставили «Лес» Островского. Семен Дементьич играл Аркашку.
Варя сказала:
— Я хочу посмотреть...
Семен Дементьич очень обрадовался. Он боялся только, что Варе не понравится. Она привыкла смотреть настоящих актеров.
Но ей понравилось. Она много смеялась в этот вечер. И когда после спектакля они шли домой, она взяла Семена Дементьича под руку и сказала:
— Ну прямо Игорь Ильинский! Если бы тебе, дядя Сеня, годочков десять убрать, ты бы...
— Я бы... — сказал он, — я не знаю, чего бы я делал. Я бы землю носом рыл. Я горячий. Обидно, что годы не те. Давай меняться, Варя.
— Ишь ты какой! Любишь маленьких обманывать...
Варя смеялась. А Семен Дементьич вдруг погрустнел. Они шли по Арбату, мимо гастрономического магазина. Семен Дементьич сказал:
— Зайду возьму пол-литра. Душа у меня чего-то не так...
Он взял пол-литра, и они пошли дальше.
— Говорят, — сказал Семен Дементьич, — что человечество не будет потреблять напитки, если ему предоставить в полное его удовольствие театр и кино. А у меня наоборот. Мне театр душу разжигает. Я себя жалеть начинаю.
Он говорил как пьяный или как обиженный ребенок. Они переходили через Смоленскую площадь. Был первый час ночи. Варе передавалось грустное настроение спутника. А спутник все говорил и говорил.
— Главное, — говорил он, — знать, что делать. Я никогда этого не знал. Бросался во все стороны, все делал. А до главного так и не добрался. На старости лет меня за талант мой артистический хвалить стали. Режиссер мне говорит: «Ты, Сушков, прирожденный комик». Я говорю: «Артур Григорьич, какой же я есть комик, если я пожилой человек? Комик — он обязан быть моложавый, как я понимаю». Мне бы в актеры, правильно ты, Варя, говоришь, лет так тридцать тому назад надо было бы пойти. Когда я молодой был, кровь с молоком. Вот бы я был комик...
Варе было жалко отчима. Она успокаивала его как могла. Она напоминала ему, что он не такой уж старый. Но он мотал головой.
— Для чего мне, Варя, слова? — печально говорил он. — Я же сам понимаю. Человек два раза молодой не бывает. Но все-таки обидно. Я теперешнему народу завидую. Им все открыто. Куда хочешь, туда иди. Им прямо говорят: «Вот тебе место». Их прямо за уши тянут в люди. И если другой идиот упирается, прискорбно смотреть на таких идиотов...
— Да, — сказала Варя, — это верно. Бывает...
— Никакого тумана теперь нет, — продолжал Семен Дементьич. — Все понятно. Все открыто. Действуй — и все тут...
— Да, это верно, — опять согласилась Варя. — Тумана нет. Все открыто. Но нельзя сказать, что все понятно. Это неверно. Неверно, дядя Сеня. Возьмем вот меня, например. Я молодая. Я ловкая как будто. Я знаю, куда мне идти, что делать. Я хорошо работаю. Иногда думается — правильно живу. Учусь, добиваюсь своего. Меня хвалят. У меня даже учатся некоторые. Я советы даю. А вот как мне самой быть сейчас, в моем положении?..
При слове «положение» Семен Дементьич смутился.
Он знал, что Варя беременна, что через несколько месяцев она должна родить. Но делал вид, что не знает. Из деликатности он не задавал ей никаких вопросов.

И сейчас, сконфузившись, он хотел переменить разговор. Он сказал:
— У всякого человека бывает в жизни чего-нибудь такое. Вот я знаю, например, случай...
— Я беременна, — сообщила вдруг Варя.
Отчим снял шапку, вытер запотевшую лысину носовым платком и проговорил некстати:
— До чего скользко! Дай я тебя, Варя, возьму под ручку...
— А мужа у меня нет, — продолжала Варя. — Я не хочу жить с мужем. Я сама могу прокормить моего ребенка. Муж мне не нужен. Я не люблю его. Мне он противен. Мне даже противно вспоминать про него...
И в этот вечер, называя Добрякова официальным словом «муж», она действительно уже не любила его. Он был сейчас отвлеченным понятием. Он был лишен костей и мускулов. Но он был причиной ее несчастья. Да, Варя чувствовала себя несчастной.
— Я сделала глупость, — говорила она. — Не надо было сходиться с человеком, с которым не придется жить. Но кто это знал? Теперь уж поздно жалеть. Я беременна. Докторша говорит — аборт...
— Ни в коем случае! — испуганно запротестовал отчим. — Ни в коем случае, Варя!.. Я тебе это твердо говорю. Ни в коем случае!.. Я этого боюсь и не признаю...
— Я ничего не боюсь, — гордо вскинула голову Варя. — Мне даже, я скажу откровенно, мне даже приятно, с одной стороны, что у меня будет ребенок. А с другой стороны, мне как-то нехорошо, ненормально, грустно. Я просто не знаю еще, как мне быть. Ты вот говоришь: туман, туман, вся жизнь прошла, и не знал, что делать. И я ведь по-настоящему тоже не знаю, как правильно. Все живут с мужьями. У всех детей есть отцы. А я одна... Ты вот сейчас придешь домой, откупоришь свою бутылку и забудешь до утра все свои горести. А я забыть не могу. Я водку пить не буду...
— И я не буду, Варя, — мотнул головой отчим. Потом подумал и добавил: Я ее завтра, под выходной, трахну. Вдвоем с мамашей...
Вспомнив про мамашу, Семен Дементьич сказал:
— А она сидит себе, бедняжка, дома. Конфеток бы ей к чаю купить, что ли. Я просто из головы выпустил, что конфеток надо купить...
— Негде теперь, — сказала Варя, — все закрыто...
Они проходили мимо парка. На темных ветках озябших деревьев лежали синие снежные хлопья.
— Я человек беспартийный, — вздохнул Семен Дементьич, останавливаясь у ворот своего дома. — Неученый я человек. Тебе, Варя, может, и слушать меня вовсе не интересно. Но я тебе все-таки скажу по-стариковски, как я понимаю. Роди, Варя. Мы его нянчить будем, купать и так и далее, что полагается. Я лично тебе говорю от чистого сердца. Если хочешь, я его могу скрыть. Будет считаться вроде как бы наш собственный с мамашей...
— Зачем же скрывать? — обидчиво произнесла Варя. — Я нисколько не стесняюсь. Пусть... Я не об этом ведь говорю...
И они вошли в дом.

7

А Добряков, по мнению многих, в самом деле, неплохой парень.
Из деревни он пришел мальчиком. Лет ему было тогда не больше тринадцати. По протекции тетки, Марии Васильевны Кудеяровой, сиделки больницы имени Семашко, его устроили в ФЗУ. Он обнаружил способности.
Но способностей, как известно, мало для того, чтобы удивлять людей. Нужны еще трудолюбие и упорство. И эти качества у Добрякова оказались развитыми в высшей степени. Он учился грамоте и работал на станке, пел в любительском хоре и рисовал заголовки в стенгазете, играл на гармонике и занимался спортом.

Все это он делал без особенного блеска, не хуже и не лучше других, но на редкость старательно и безотказно, с добросовестностью крестьянина, добывающего хлеб.
Всю жизнь свою он распланировал. Он отобрал не главное, с его точки зрения, от главного, ненужное от нужного. И все главное, нужное вставил в свой план, в особое жизненное расписание.
В пятнадцать лет он твердо решил, что ему надо стать инженером. В шестнадцать лет он вступил в комсомол. В шестнадцать же лет он пришел на производство.
Он умел уже управлять станком, знал возможности и свойства металла. Он способен был работать не хуже среднего токаря, а иногда даже лучше среднего.
Но он не зазнавался. Он заглядывал через чужое плечо на работу других токарей, он учился непрерывно и неутомимо.
Даже у нас на заводе, где опытные старики учат молодежь довольно охотно и с удовольствием, надо все-таки подчас хитрить и по-особенному приноравливаться к знающим людям, чтобы познать все тонкости их ремесла.
Добряков это делал искусно. Он старался постичь не только смысл какого-нибудь производственного правила, но и перенять жесты опытного мастера. Он подглядывал незаметно за людьми, за учителями своими, и в то время, когда они работают, не рассчитывая на посторонний взгляд, когда они создают вещи, вкладывая в них весь свой опыт, и выучку, и незримую теплоту.
Добряков хотел быть первоклассным токарем. И он стал им. Но это была только первая часть его жизненной программы. Он выполнил ее успешно.
В восемнадцать лет он как токарь добился не только седьмого разряда, но и уважения. Его ставили в пример.
В комсомоле он считался первым активистом. Он не только хороший производственник, но и культурный человек. Он много читает, толково выступает на собраниях, вносит предложения, спорит с мастерами, когда это требуется.
И внешность у него интересная. Высокий, плечистый, он всегда опрятно одет, даже с некоторой долей этакого щегольства. У него красивые костюмы, модное пальто. Ботинки его всегда блестят. А в последнее время он приобрел модные краги.
У Добрякова есть основания уважать себя. И он себя уважает. Уважает, но не зазнается. Он выполнил пока только первую часть своей жизненной программы. Он должен выполнить и вторую. Он должен стать инженером и жениться.
Не было решено, когда он женится: после того, как станет инженером, или до этого. Он решил жениться, когда будет «подходящая кандидатура».
Этой «кандидатурой» была Варя. Он ухаживал за ней. Он включил ее в свой жизненный план.
Не увлекаясь особенно, он подсчитал все «за» и «против».
Варя — умная, знающая девушка и к тому же хорошенькая.
Варя будет помогать Добрякову жить, учиться, работать. Это верная подруга на всю жизнь. Она и посоветует и поддержит, когда надо.
Ухаживая за Варей, Добряков все время придерживался расчета. Но на каком-то этапе расчет кончился и началась настоящая любовь.
Варя оставила его в разгар этой настоящей любви. Он готов был пойти на какие угодно уступки, чтобы только вернуть ее. Он готов был валяться у нее в ногах. И если б его не удерживал второй расчет, он сделал бы это.
Второй расчет был очень важный. Добряков боялся уронить свой авторитет в глазах жены. Она будет считать его уступчивым, если он сейчас пойдет просить прощения. Она всю жизнь будет капризничать тогда, играя на слабых струнках мужа.
Нет, уж лучше он подождет, когда она сама вернется. Должна же ведь она вернуться когда-нибудь. И Добряков ждал.
Все хладнокровие свое, полученное, должно быть, по наследству, так же как и некоторые понятия о жизни, он употребил теперь на то, чтобы не думать о Варе, не волноваться и спокойно выжидать.
Он по-прежнему много работал, учился и не забывал ходить в театр, в кино, на каток или в зимний бассейн для плавания, где он в последнее время готовился побить рекорд на быстроту.

Он возвращался домой, в свою новую комнату, нарочно поздно. Он как будто боялся оставаться с самим собой наедине. Дома же он сразу ложился спать.
И в тот момент, когда он натягивал на себя одеяло, его охватывало странное какое-то беспокойство. Он чувствовал, что им что-то недоделано, что-то забыто. Он что-то проморгал. Добряков. Но что?
Добряков вставал с постели, ходил по комнате в трусах, в туфлях. Думал. И неожиданно он начинал вспоминать, как Варя сидела вот на этом ящике. «Я стулья куплю, — думает Добряков. — Деньги теперь есть... А что сейчас делает Варя?»
Утром надо рано вставать. Надо выспаться как следует. Но Добряков не может уснуть. Он ворочается всю ночь на скрипящей кровати.
И утром идет на завод невыспавшийся, желтый. Якобсон говорит ему:
— Чего это невеселый?
— Я ничего.
— Ну, как ничего? Смотри, под глазами-то что делается! По девкам, наверно, шляешься? Весна подходит...
— Да ну тебя! — говорит Добряков. Он становится необщительным, мрачным. Он изменяется у всех на глазах.
И Варя Лугина тоже изменяется.
Она всегда была очень сильная, ловкая, подвижная. Но всегда казалась хрупкой. Впечатление это усиливали зеленые ее глаза, белокурые волосы и длинные, тонкие пальцы. Беременность еще больше усилила это впечатление. Варя похудела, глаза запали, лицо покрылось желтыми пятнами. Она стала очень некрасивой. Варя Лугина, щеголиха и хохотунья.
Влюбиться в нее теперь было бы очень трудно.
Но Добряков, увидев ее на общезаводском комсомольском собрании, обрадовался невыразимо. Он даже покраснел от радости.
Она стояла у окна, окруженная десятком парней и девушек. Они разговаривали с ней, как разговаривал бы и Добряков, если б все пошло по-иному.
Теперь он боялся подходить к ней. Он хотел пройти мимо. Но пройти и не сказать «здравствуй» неловко. Он сказал.
Она оглянулась, посмотрела на него и проговорила весело:
— А-а... Здорово!..
Как будто ничего не произошло.
Добряков осмелел. Он подождал конца собрания и подошел к Варе.
— Мне с тобой надо поговорить.
— О чем?
— На минутку, — сказал Добряков, стесняясь.
Они вышли на лестницу, на широкие ступени, где летом стоят ящики с цветами и зеленой травой. Сейчас здесь стояли пустые ящики.
Добряков мял в руках свою клетчатую кепку.
— Варя, я хотел тебя спросить только одно слово... Варя, неужели ты всегда будешь так жить?
— Как?
— Ну, без меня...
Варя засмеялась.
— Да, — подтвердила она, — буду жить одна. Как жила.
— Но ведь ребенок-то — он общий...
— Нет, — нахмурилась Варя, — это будет мой ребенок. Можешь родить себе другого.
Добряков стоял перед ней, унылый, исхудавший, в черной косоворотке и черном пиджаке.
Варя смотрела на него сердито. Она сердилась сейчас на себя за то, что сошлась с этим парнем. Уж очень он унылый. Хуже бабы.
И ей казалось, что в ту первую и последнюю ночь их супружеской жизни, когда он говорил ей грубости, она любила его больше, чем сейчас.
Сейчас она его совсем не любит.
Добряков потрогал ее за руку.
— Варя, ты понимаешь...

— Ничего я не хочу понимать, Добряков, — отдернула руку Варя. — Уйдем отсюда. Могут подумать, что я с тобой какие-нибудь шашни завела...
— Пусть думают, — сказал Добряков.
Варя еще сильнее нахмурилась.
— Ну, знаешь, может, кому-нибудь интересно, чтобы так подумали, а мне противно...
Внизу, в полутемном коридоре, Добряков заговорил более твердым голосом, рассудительно и даже строго:
— У ребенка должен быть отец. Ты это понимаешь? Ребенок подрастет и спросит. А кроме того, в загсе ему будут отчество давать. Какое же ему будет отчество? Ну вот, ответь мне: какое ему будет отчество?
— Смотря кто будет, — сказала Варя. — Если девочка, значит, Варваровна. Если мальчик, значит, Варварович...
— Чудачка ты! — усмехнулся Добряков уже снисходительно. — Никто же не разрешит, чтобы такие отчества давали. Я это знаю точно, что никто не разрешит...
— Ну, посмотрим, — сказала Варя. — Посмотрим...

8

Докторша посоветовала воздерживаться от резких движений. Оставалось меньше четырех месяцев до родов.
На заводе все уже знали, что Варя Лугина беременна. А кто муж? Этого никто не знал.
Это никого бы и не интересовало, если б Варя Лугина была просто работницей, которая часть своего времени отдает заводу, а в остальное время живет где-то там, кто ее знает где. Лугина же проводила на заводе большую часть своего времени. И вся ее жизнь была у всех на глазах.
Она пришла на завод, когда завода еще, в сущности, не было. Был пустырь. И на пустыре этом вырастали первые корпуса.
В корпусах еще не было стекол, не было даже оконных рам, когда Варя Лугина пришла сюда. Она пришла прямо из школы.
В институте, куда она хотела поступить, ей сказал знакомый преподаватель:
— Вы простите меня за непрошеный совет, но я должен вас предупредить, что учеба ваша здесь не будет так эффективна, как вы, может быть, хотите. Вы не знаете производства и не знаете жизни. Вы еще слишком молоды. Инженеры со школьной скамьи никогда не бывают хорошими инженерами. По-моему, вам надо сначала познакомиться с заводом. У вас еще все впереди...
Варя поверила этому преподавателю.
Зимой она работала ученицей у монтажников, расставлявших оборудование в заводских корпусах. На субботниках с увлечением возила в тачке теплую, дымящуюся землю и таскала кирпичи.
Она счастлива была, что в строительстве огромного завода, в блещущих на солнце бетонированных его корпусах, есть и ее небольшая доля участия...
На достроенном заводе, где стоит теперь у главного входа швейцар в галунах и летом растут цветы, она работала вначале шлифовщицей. Потом ее перебросили на приемку деталей. Ей наскоро рассказали технический процесс, показали итальянскую карту контроля и, напомнив, что она окончила девятилетку, сказали:
— Учись. Будешь приемщицей.
А как учиться? Она приходила домой расстроенная, просила отчима рассказать ей все, что знает он об измерительных приборах и о таком замысловатом приборе, как микрометр.
Она говорила:
— Ты все-таки, дядя Сеня, автомобили починяешь. Ты должен знать...

— Автомобили, — говорил отчим, — это вещь одна, а микрометр — это вещь другая. Я их сроду в руки не брал, микрометры. А путать людей я не любитель.
Варя должна была доходить до сокровенных особенностей незнакомого ей ремесла почти самостоятельно, почти без посторонней помощи.
Помогать ей стали, когда она уже ухватилась за какое-то звено, уверенно и крепко. Ее заметили. Ее продвигали все дальше и дальше.
Освоив немного приемку штампованных шариков, она перешла контролером в роликовый цех. Здесь только что установили токарные автоматы. Шлифовки еще не было.
Приходилось самой готовить заказы на инструмент, чертить эскизы для постовых контролеров. Приходилось даже рассчитывать на целый год потребность в рабочей силе, знакомиться с нормированием.
Детали приходилось принимать с разных машин. Надо было знать оборудование, знать не только виды брака, но и способы его предупреждения.
В то время контролер был единственным лицом, обязанным защищать весь цех от брака.
И Варя Лугина была таким контролером. Она хотела быть таким. Она спала не больше четырех часов в сутки, не успевала обедать. И мамаша кричала:
— Семен! Это что же такое творится? Девочка погибает. Она тебе не родная, тебе и горя мало. А я-то как страдаю...
— Варя, — говорил Семен Дементьич, встретив падчерицу в краткий промежуток между работой и сном, — пожалей хоть нас, стариков, если ты себя не жалеешь. Зачем ты это самое... не ешь, когда тебя просют? Ну что за глупости, ей-богу! Я тебя прошу...
— Вы с ума сошли? — спрашивала Варя. — Я ведь, кажется, не ребенок...
И разговор обрывался на этом.
Поколению, входившему в жизнь в начале первой пятилетки, были предоставлены большие права. Но и требования к нему были предъявлены большие.
Это поколение участвовало в создании новых, грандиозных вещей в условиях труднейших и часто как будто бы непосильных. Приходилось учиться и работать. И главное — приходилось учиться и работать самостоятельно. Люди взрослели быстрее, чем в обычное время.
В девятнадцать лет Варя Лугина была уже мастером. Она говорила Фомину:
— Папаша, по-моему, ты неисправим...
— Почему?
— Ну как же... Я тебе третий раз говорю — края должны быть свободны, а ты их стачиваешь. Это же брак...
Фомин поднимал очки на лоб, внимательно смотрел на шайбу, потом на Варю. И, осмотрев ее со всех сторон, спрашивал:
— А кто учил тебя на этом станке?
— Ты.
— А теперь ты меня учишь?
— Я.
— Забавно! — говорил старик.
Но все-таки старался не стачивать краев. Ослушаться мастера нельзя.
А Лугина была очень строгим мастером.
Потом ее перебросили на комсомольскую работу. И когда она выговаривала комсомольцу за какой-нибудь промах на производстве, она не просто выговаривала, но могла и показать, как надо делать по-настоящему.
Добряков и до сих пор помнит, как Варя Лугина в свое время «брала его в работу», как он краснел перед девушкой, но ничего не мог возразить. Она всегда была права. И не отсюда ли началось его влечение к этой девушке, закончившееся так печально?
Варя Лугина ушла от него навсегда. Она привыкла все в жизни делать самостоятельно и самостоятельно хотела решить сейчас самый сложный в ее жизни вопрос. Без мужа. Без Добрякова. Сама.
Она пришла к секретарю комсомольского комитета и сказала, что хочет опять пойти на производство: ей тяжело теперь заниматься комсомольскими делами — много беготни, а ей трудно сейчас.
— Почему сейчас?

— Я беременна.
— Как? — секретарь удивился. — Разве ты, Варя, вышла замуж?
— Нет, — сказала Варя. — Я не вышла. И не хочу выходить. Не хочу...
— Ну? — сказал секретарь, еще не зная, что сказать.
Они разговаривали с глазу на глаз. На мгновение в комнате наступила неловкая тишина.
Потом секретарь, оправившись от смущения, заговорил:
— Мне неудобно, Варя. Это вообще-то как будто меня не касается. Это личный вопрос. Но все-таки кто же отец ребенка? Интересно все-таки... Мы свои...
— Один гражданин, — сказала Варя насмешливо, — пожелавший в общем остаться неизвестным...
— Так, так, — секретарь забарабанил пальцами. — И желания отца и матери в общем совпали, чтобы остаться неизвестными?
— Нет, — сказала Варя, улыбаясь весело, — мать известна. Я мать. И вот, как женщина с ребенком, я прошу тебя пустить меня на производство. Мне там легче будет. Не надо бегать. Мне сейчас нельзя бегать...
Дня через три ее желание было исполнено. Она вошла в тот цех, где работает Добряков и где она работала когда-то. Это было утром.
Добряков увидел ее и обрадовался. Она идет к нему мириться. Наконец-то! Он был великодушен, Добряков. Он не хотел напоминать ей о происшедшем. Чтобы замять неприятные объяснения, он решил сообщить ей сразу же, что приглядел в комиссионном магазине материю на весеннее пальто для нее. Называется парижский кастор. Нежно-коричневый цвет, легкий ворс...
Но Варя прошла мимо, не заметив его. Он посмотрел ей вслед. Она шла медленно, в желтых сапожках, в кожанке. Она вошла в конторку.
Из конторки она вышла вместе с начальником цеха. И они пошли меж станков.
— Здравствуй, — сказала она, — товарищ Добряков.
— Здравствуй, товарищ Лугина.
И ни тени иронии. Очень серьезно. Добряков даже с заметным почтением произнес это обычное приветствие.
Лугина обошла с начальником весь цех. Потом подошла к Добрякову.
— Я, — сказала она, — прошу тебя, товарищ Добряков, забыть все, что было между нами. Я работаю здесь мастером...
Добряков не сразу понял, что она хочет сказать. Он сначала подумал, что она просит забыть, что они разошлись, и помнить, что он отец. Он обрадовался вначале...
Но она продолжала:
— Я прошу забыть, товарищ Добряков, что мы когда-то были с тобой в каких-то отношениях. Это надо сейчас забыть...
Добряков наконец понял, в чем дело. Он побледнел. Но утвердительно мотнул головой.
— Хорошо. Я ничего не позволю...
И действительно, он все время держался хорошо.
Лугина здоровалась с ним по утрам, недолго говорила о делах. Иногда советовалась. И в этом нет ничего удивительного. Начальник цеха с ним тоже советуется.
Потом Лугина ушла надолго.
Было известно, что она родит...
После работы Добряков, как обычно, обтирал станок, прибирал инструменты, когда к нему подошла шустрая Катя Потехина.
— Слушай, Добряков, ты к Варе Лугиной как относишься?
Добряков поднял голову.
— А тебе какое дело? Ты чего прилезла?
— Не груби, — попросила Катя. — Я никуда не прилезла. У меня есть поручение от ребят. Дело в том, что Варя Лугина родила и мы собираем на подарок ребенку. Это дело добровольное, кто хочет. Не хочешь — не надо. Ребенок и без тебя обойдется...
Добряков покраснел.
— Ты не тараторь, погоди. — И стал расстегивать спецовку.
Во внутреннем кармане у него лежали в одной пачке документы и деньги. Он вынул из нее сто рублей и протянул Кате. Потом, подумав, дал еще десятку.

— Куда это? — засмеялась Катя.
— Ты же сама сказала — ребенку на подарок...
— Так ты смотри, сколько даешь, — развернула деньги Катя. — Все давали — кто пятерку, кто десятку. Симаков дал пятнадцать рублей. А у тебя, смотри, сотня и еще десятка. Ты что пьяный?
— Не твое дело, — отодвинул ее руку Добряков. — Тебе поручили собирать на подарок — ты собирай. А это не твое дело — разглядывать, кто сколько дает. Может, я и две сотни дал бы, но у меня с собой нету...
— Вот это я понимаю! — восхитилась Катя. — Я даже не думала, что ты такой парень. С размахом...
— Ну, ладно, иди, иди! — слегка подтолкнул ее плечом Добряков. — Не люблю эти разговоры...

9

Все были уверены, что Добряков не такой парень, чтобы вдруг потерять душевное равновесие. Но он потерял его. И случилось это как-то просто, еще зимой, когда начались у него по ночам непонятные приступы беспокойства.
Иногда он хотел ночью же встать и пойти к Варе, хотел плакать и просить у нее прощения. Он же совсем не виноват. Ну, сказал глупость — неужели из-за этого надо портить дружбу, разрывать любовь? Ведь он любит ее. Он жить без нее не может.
Но, зная Варин характер, он все-таки не решался идти к ней. Он сидел на тахте и думал. Он думал о том, что теперь он вовсе конченый человек.
Иногда находили приступы озлобления. Он ругался. Он кричал наедине с самим собой, что она истеричка, эта Варька. И зачем он только связался с ней? Это же хамство с ее стороны! Это даже не по-комсомольски...
Но приступы озлобления были кратковременны. Добряков опять тосковал. Он перестал бывать в театрах, не занимался спортом. Он даже работать стал значительно хуже. Он ходил какой-то сонный, потерянный, будто заболевший.
И так проходили дни, декады, месяцы.
Летом он взял отпуск и никуда не поехал. Он почти весь отпуск просидел у себя в комнате, мрачный и апатичный.
Все расчеты его пошли насмарку. Старое расписание засиживали мухи.
Однажды к Добрякову зашли приятели. Они позвали его в Парк имени Горького. Он пошел неохотно.
В парке было большое гулянье. Добряков шел по парку в кругу друзей. Он повеселел немного. Он шел и хлестал себя веточкой по крагам.
И вдруг увидел Варю.
Она шла ему навстречу по Ландышевой аллее. Горели фонари. Крутились карусели. Она шла не одна, а с каким-то парнем. Парень с виду провинциальный, очень молодой. Лет, должно быть, семнадцать. Галстук заколот английской булавкой.
Добряков взглянул на него и озлился. Нашла уже себе кавалера! Добряков хотел, как говорил он, из принципа пройти мимо. Но не мог пройти. Остановился и сказал грубо:
— Подожди.
— Ну, жду, — улыбнулась Варя. — Надо бы сначала поздороваться...
— Здравствуй, — сказал он все еще грубо и, не стараясь скрыть озлобление, покосился на парня. — Ребенок где?
— Дома.
— А ты гуляешь?

— Гуляю, — кивнула Варя. — Вот брат ко мне приехал. Показываю ему Москву. Познакомьтесь...
Добряков протянул ему руку и в первый раз спокойно посмотрел на него. Да, действительно парень походит на Варю. И глаза у него такие же зеленые. Добряков успокоился. Он сказал мягко, обычным своим голосом:
— Варя, отойдем на минутку...
И когда они отошли, он спросил:
— Ну как, ты не надумала? Я ведь, Варя, день и ночь думаю про тебя. Мне очень плохо, Варя. Я не знаю, что делать...
— Пройдет, — улыбнулась Варя. — Пройдет. Мне сначала тоже было плохо. А сейчас хорошо. Я даже удивляюсь сейчас, как это я могла жить с тобой...
— Значит, окончательно не хочешь жить вместе?
— Не хочу, Добряков. И не могу. Понимаешь, как-то все расклеилось, и теперь не склеишь. Я не говорю, что я тебя презираю. Нет. Но я тебя не люблю и, мне кажется, никогда не любила. Жаль мне только, что дружить будет трудно. Ты все-таки неплохой парень.
— Это психология, — заметил Добряков угрюмо. — Как у Достоевского. Или еще у кого-то. Я читал...
— Пусть, — сказала Варя. — Пусть психология. Дай мне веточку...
Он дал ей веточку. И она пошла по аллее, похлопывая веточкой по желтым сапожкам. Вот эту женщину он совсем недавно обнимал, она целовала его, она родила от него ребенка. И все-таки он не имеет никакого права на эту женщину...
Варя пришла на завод. И в первый же день ее позвал к себе секретарь комсомольской организации. Он сказал, улыбаясь приятельски, что неизвестный, о котором говорила Варя, уже известен. Это Добряков. Все уже знают. И все жалеют Добрякова. Он ведет себя крайне странно, плохо работает, начал пить. Не может ли Лугина поговорить с ним, что ли?
— Поговорю, — пообещала Варя. — Но толк-то какой? Разве он послушает?..
— Все-таки, — сказал секретарь. — Я прямо не знаю, как с ним быть.
— Ладно, — сказала Варя.
Но обещание свое она так и не выполнила. Она не знала, о чем разговаривать с Добряковым. Он действительно плохо работает. Но только ли любовь виновата в этом?
Однажды Добряков подошел к Варе и попросил разрешения зайти к ней, повидать дочку. Он уже видел ее раза три, когда Варя жила еще на старой квартире. Недавно ей дали две комнаты. Добряков записал адрес.
Утром в выходной день он выпил для храбрости и, небритый, пошел проведать дочку. Вари не было. Дома были только Семен Дементьич и какой-то его приятель.
Они пили водку.
Осторожно, на цыпочках, Семен Дементьич подошел к люльке и, приподняв занавеску и спугнув с занавески мух, показал отцу его ребенка. Девочка спала.
Добряков поцеловал ее в лобик и сказал:
— Какая... А? Моя дочка...
Семен Дементьич сказал:
— Да, ничего себе актриса... Есть на что поглядеть...
Потом он пригласил отца выпить с ними. Добряков согласился. Он пил водку, кусал огурец и, разливая рассол по небритому подбородку, жаловался на жизнь. Ну что это действительно за комедия? Он отец ребенка, а должен ходить и смотреть его, как картину в Третьяковской галерее.
Добряков забыл, что он в гостях и что пьет хозяйскую водку.
— На самом-то деле, — сказал он, — я прихожу, и какие-то посторонние люди мне показывают мое же дитя, моего ребенка, которому я, можно сказать, отец...
Наступила неловкость. Приятель хозяина хихикнул. А Семен Дементьич ехидно сказал:
— Насколько я понимаю, это получается как у Вильяма Шекспира. Мавр сделал свое дело, мавр может уходить...
Добряков понес было стакан к губам. Но, услышав эти слова, он опять поставил его на стол и стукнул им. И, стукнув, закричал:
— Я попрошу, пожалуйста, рот на меня не разевать! Вы тут вовсе ни при чем. Я ей отец! Законный отец и муж...

— Ты вот мне сломай стакан, — спокойно сказал Семен Дементьич. Сломай. Я тогда на тебя не посмотрю, что ты отец и муж...
Добряков ушел рассерженный.
Но через минуту он вернулся. Подошел к окну и закричал:
— Эй, присяжный поверенный...
— Чего тебе?
Семен Дементьич подошел к окну.
— Пряник, — сказал Добряков. — Я пряник девочке принес. Передай, пожалуйста...
Семен Дементьич перегнулся через подоконник и принял из рук Добрякова большой, облитый сахаром пряник.
— Она же такую вещь не может еще кушать, — засмеялся он. — Она даже коровье молоко не потребляет. Ее кормят специально-особой пищей для детей...
— Ничего, — сказал Добряков, — должна привыкать.
— Это обязательно, — согласился Семен Дементьич. — Должна.
Добряков стоял внизу, расставив ноги, как матрос на палубе, заложив тяжелые руки в карманы широких штанов. Он без злобы смотрел сейчас на Семена Дементьича. И без злобы сказал:
— А ты зверь, старик...
— Я зверь, — опять согласился Семен Дементьич. — А ты вот, я гляжу на тебя, дурак. Я тебе просто так, по-стариковски скажу. Бросила тебя девица... Ну и что же? По теперешним временам никто не гарантирован. Всякого могут бросить. А ты уж и слюни распустил, и морда небритая. Ну как самому-то не противно? Молодой человек, социализм, как я понимаю, строишь...
— Да, — сказал Добряков, — тебе хорошо, старик. Тебе хорошо разговаривать...
— И, наверно, в комсомоле состоишь? — спросил Семен Дементьич.
— Ну, это не ваше дело...
— То-то, что не наше! А жалко, что не наше. Бриться надо. Чего там стоишь? Заходи. Обедать будем...
— Нет уж, я пойду, — сказал Добряков. — Спасибо.
— Потом скажешь спасибо. Заходи...
— Нет уж. Я в другой раз. Правильно, я небритый...
— Побрейся. Могу бритву дать.
— Нет, я в парикмахерскую лучше зайду...
— Ну, как хочешь, — махнул рукой Семен Дементьич, — я неволить тебя не могу.
И Добряков ушел.
Вечером пришел секретарь комсомольской организации завода. Он пришел, чтобы без Вари поговорить со стариками. Не могут ли они повлиять на Лугину, чтобы она пожалела Добрякова? Ведь парень совсем пропадает.
— Я его сам жалею, — признался Семен Дементьич. — Паренек, видать, ничего, но какая-то в нем есть ошибка. Я с Варюшкой поговорю. Но вряд ли это дело выйдет. Уж больно разочаровалась она в нем. Говорит про него в насмешку: «Мой первый муж». Значит, предполагает, как я понимаю, снова выйти замуж, но за кого-то другого... Не знаю, не знаю, как это дело повернется... Серьезное дело...
— Если б это дело было не серьезное, я к вам не зашел бы, — сурово произнес секретарь.
— Я бы не стал вас тревожить. Но история вся в том, что пропадет замечательный парень...
— Замечательный? — переспросил Семен Дементьич.
— Вот именно — замечательный, — подтвердил секретарь.
— Ну что ж, вам виднее, — уклончиво произнес Семен Дементьич. — Вы люди образованные, политичные. Вам виднее. Но мы ведь тоже не сразу из леса. Мы тоже кое-что соображаем. Вот вы говорите — замечательный. А чем же, вы считаете, он в первую голову замечательный?
— Хороший комсомолец, работник хороший.
— Работник хороший, — как бы задумался Семен Дементьич. — Ну что ж, это, конечно, хорошо. Хороший работник — это большое дело, ничего не скажешь. И комсомолец, говорите, хороший?
— Хороший, — уверенно кивнул секретарь.

А Семен Дементьич прищурился.
— А в чем же, я извиняюсь, вы замечаете его хорошесть по комсомольской линии?
— Дисциплинирован. Аккуратно выполняет комсомольские поручения. И главное — отлично работает на производстве. Только в последние месяцы, на почве личных неурядиц, так сказать, на почве личной жизни, стал работать хуже. Личная жизнь стала отражаться и на производстве, снизились производственные показатели. И это вызывает тревогу...
— Вот тут и есть ошибка, — указал пальцем Семен Дементьич. — Вот тут и есть серьезная, как я понимаю, ошибка.
— В чем же вы видите ошибку? — с некоторой надменностью спросил секретарь.
— А вот в том, — загорелся Семен Дементьич, — в том я вижу нашу ошибку, что мы все еще меряем людей по одним только показателям, с одной только стороны. Хорошо работаешь — значит, ты во всем хороший. Ну, конечно, слов нет, хорошего работника надо повсюду выдвигать. Надо награждать его, ласкать и приветствовать. Но это еще отнюдь, как я понимаю, не все. Хорошие работники, наверно, и за границей имеются. А у нас в первую очередь они должны быть, поскольку мы работаем на себя. Но это, повторяю, еще не все, отнюдь не все. Надо и к хорошему работнику приглядываться. И заглядывать ему в середку, как говорится, в самую душу: нет ли у него какой-нибудь затхлости там, какой-нибудь чепухи ненужной, которая и ему в дальнейшей жизни может повредить и всем вокруг его — всему, одним словом, неселению? Вы глядите, вон какой Добряков. И комсомолец, и производственник, и, как я понимаю, красавец. Одним словом — орел. А внутри, в середке, у него таится какая-то нехорошая закваска, с нехорошим запахом. Но этого как будто никто до поры до времени не замечает. Или не хочет замечать, поскольку он хороший работник.
— Какая закваска? — вдруг обеспокоился секретарь. Он собрался уже уходить и стоял в дверях, когда Семен Дементьич произнес эти слова. — Вы на что, собственно говоря, намекаете?
— Я ни на что не намекаю, — сказал Семен Дементьич. — Я просто говорю, как я это понимаю. А понимаю я это так, что закваска у Добрякова нехорошая. И чем больше вы будете говорить ему в глаза, что он замечательный, тем закваска эта будет укрепляться в нем...
— Вон что? — почти сердито засмеялся секретарь и опять сел на стул, пристально вглядываясь в собеседника. — Вы, стало быть, философ?
— Ну да, — засмеялся и Семен Дементьич, — вы в точности угадали. Я философ и есть. А что ж мне остается на старости лет? Все раздумываю над разными делами. Уже помирать скоро. И вот гляжу, как идет вокруг меня жизнь, и хочу угадать, как она дальше пойдет. Не чужая она все-таки для меня, эта жизнь. И моя капля в ней есть. И моя кровушка, в двух войнах пролитая...
— Это все так, — погладил скатерть на столе секретарь. — А что касается Василия Добрякова, то надо прямо сказать, вы в нем ошибаетесь. Добряков человек политически проверенный. Это наш человек. До корней волос...
— Все люди наши, — сказал Семен Дементьич. — Ни от кого, я считаю, отказываться не надо. Но корни у человека не только в волосах. И политически если человека проверять, так его надо со всех сторон оглядывать. Со всех сторон изучать. И показателей для этого дела найдется много. Ни в какую анкету они не впишутся. Бумаги не хватит. А насчет Добрякова я с Варюшкой поговорю. Мне это ничего не стоит. Я поговорю. Но будет ли толк какой — не знаю. Этого угадать никак нельзя. А вы; я советую, галочку пока не ставьте. Галочку еще рано ставить...
— Какую галочку? — удивился секретарь.
— Ну, эту галочку, какую вы ставите в бумагах, в списке. Было, мол, такое личное дело Добрякова и Вари Лугиной. Мы, мол, комсомольская организация, вмешались в это дело и поправили. Поправить это дело не так-то просто...
— Вы, может быть, считаете, что его и поправить нельзя? — спросил секретарь.
— Почему нельзя? Поправить все можно, — опять уклончиво ответил Семен Дементьич. — Но качество требуется. Во всяком деле требуется качество. И в семейной жизни тоже. Даже тем более. А я с Варюшкой поговорю. Почему не поговорить! Я не только поговорю, я даже послушаю, чего она скажет. Послушать — это, на мой взгляд, даже много важнее, чем

поговорить... И вы послушайте, что вам скажет Добряков, если он вам откровенно скажет... А галочку, я советую, пока не ставьте...
Секретарю комсомольской организации не понравился словоохотливый Семен Дементьич. Секретарь так больше и не зашел к нему.
Добряков спустя полгода женился на шустрой и курчавой Кате Потехиной.
Варя же до сих пор не вышла замуж.
А жаль...

Москва, зима 1936 г.

Ближайший родственник

У подъезда гудел автомобиль. Шофер, должно быть, нервничал. Волков торопливо одевался. Он проспал сегодня. Открыв форточку, он сказал: «Я сейчас, Иван Прокофьевич». И, выйдя в переднюю, стал надевать шляпу, пальто, калоши.
Новые калоши надевались очень туго. Волков с трудом вбил ногу в первую и услышал звонок. У дверей стоял почтальон.
— Вам телеграмма.
Волков вскрыл ее, прочел и, так и не надев вторую калошу, вернулся в кабинет.
Нинка думала, что папа не слышит автомобильных гудков, побежала ему сказать и, ворвавшись в кабинет, увидела, что папа плачет.
Большой, широкоплечий папа сидел в пальто, в шляпе, в одной калоше и плакал, не утирая слез. Это зрелище испугало Нинку. Она побежала к матери.
— Мама, мама...
Татьяна Федоровна, взволнованная, заспанная, шурша узбекским халатом, вошла в кабинет, взяла из рук мужа телеграмму, прочла ее и тоже заплакала. И, глядя на них, заплакала Нинка.
В телеграмме было сказано: «Мама умерла тчк приезжай скорее тчк папа».
Волков три раза перечел телеграмму. Он все еще думал, что произошла какая-то ошибка, что почтальон, может быть, перепутал адрес. Он все еще не хотел верить, что умерла именно его мать, эта маленькая, сухонькая старушка с коричневым скорбным лицом, которую он видел в последний раз несколько лет назад и с которой собирался увидеться в этом году летом. Да, в этом году он собирался поехать к матери, привезти ее в Москву и выполнить наконец все обещания, данные еще в детстве.
В детстве Волков часто жалел свою мать. Она стирала белье чужим людям, ходила чужим людям мыть полы. Уходила из дому чуть свет и возвращалась затемно. И ночью, дома, продолжала работать при свете керосиновой лампы, стирать и шить, починять и гладить.
За всю жизнь свою, беспокойную и торопливую, она, как говорится, не присела ни разу, не съела ни одного сладкого куска, приберегая их для сына, Витеньки, или для мужа, Матвея Кузьмича.
Муж служил швейцаром в дворянском собрании. В свободное от службы время он сапожничал на дому — принимал заказы на починку. А когда заказов не было, ходил по дворам — чистил нужники, носил воду, колол дрова. Заработанные деньги шли на сберегательную книжку.
Затаенная мечта о собственном домике с огородом и с садиком не давала спать Матвею Кузьмичу. Он даже в снах своих, тревожных и торопливых, видел собственный домик. И ради домика этого, существовавшего пока только во сне, жена зимой и летом ходила в одних и тех же ботинках, в одном и том же платье, и старалась есть не дома, а у хозяев, где стирала белье, мыла полы и домовничала.
Виктор в детстве жалел свою мать и, глядя на руки ее, худенькие, тоненькие, в синих жилах, говорил:

— Вот подожди, мама, я вырасту, ты посмотришь, как я буду тебя кормить. Работать ты не будешь. Ты в театр все будешь ходить, конфеты есть.
Мать смеялась и, счастливая, плакала.
— Ты учись только, Витенька, — говорила она, просветленная, в слезах. А там увидим.
Виктор учился в гимназии. Отец хотел, чтобы сын его вырос таким же господином, как те, которым отец подавал пальто. Скупой, прижимистый, отказывающий себе во всем, он ничего не жалел для сына. Сын учился в гимназии вместе с барскими детьми. Учился хорошо, прилежно. Он, наверное, окончил бы ученье с золотой медалью, как пророчили ему, если б на шестнадцатом году его не исключили из гимназии с волчьим билетом. Исключили за какую-то, как говорил отец, «неподходящую» речь на сходке.
Мать заметно постарела после этого случая. Матвей Кузьмич ходил угрюмый. А Виктор, устроившись рабочим на кожевенный завод, продолжал говорить матери:
— Ты только подожди, мама. Я вот подучусь на этом деле, и мы хорошо заживем. Вот посмотришь.
— Ничего, Витенька, — говорила мать, — ничего, все устроится как-нибудь.
И она крестила сына, сокрушаясь втайне, что сын не похож ни на нее, ни на отца. Они были смирные, забитые люди, а он рос какой-то неугомонный, неукротимый. «В дедушку он, наверно, такой-то, господь с ним», — боязливо думала мать, вспоминая отца своего, волжского грузчика, пьяницу и буяна.
Но и дедушка, может быть, не позволил бы себе того, что позволял Виктор. На кожевенном заводе он организовал забастовку, пошел просить поддержки у других заводов и угодил в тюрьму. Где уж теперь было думать, что сын вырастет благородным господином! Надежды рухнули окончательно.
И родители думали только о том, как бы вызволить сына из тюрьмы. Матвей Кузьмич ходил кланяться в ноги разным господам, просил слезно, клялся вечно бога молить. Но сын был крепко посажен, и ни просьбами, ни молитвами невозможно было сократить положенный ему изрядный срок.
Матвей Кузьмич уже впал в отчаяние, перестал хлопотать, перестал даже с прежней верой молиться за сына, когда сын неожиданно сам помог себе.
В самый знойный праздничный день, в разгаре лета, он бежал из тюрьмы на глазах у всего караула, чем прославил себя и наделал в городе много шума.
Поздней осенью, когда разговоры о смелом его побеге утихли немного и жители стали постепенно забывать о нем, он явился к родителям нежданно, темной ночью, оборванный, грязный, исхудавший, рассказал без подробностей о своих делах, похлебал нежирных щей, помылся, взял рубаху, штаны и ушел в ту же ночь неизвестно куда. И надолго ли, тоже неизвестно.
В родном городе, в Сызрани, он опять появился только в революцию. Выступал на митингах, ругал царя и еще кого-то ругал. Голос у него был звонкий, сильный. И весь город, небольшой, вечно тихий, слушал его, волнуясь.
В городе помнили его, говорили:
— Это Витька Волков, Матвея, швейцара, сын. Политический.
И прибавляли при этом не то в осуждение, не то в похвалу:
— Ох, и бедовый парень!
Отец и мать не ходили слушать его речи. Они сидели дома, ожидая новых несчастий. Сын приходил домой охрипший, усталый. Он по-прежнему хлебал нежирные щи и, как прежде, уговаривал мать:
— Ты только подожди немножко. Ты не думай, что вечно так будет. Вот посмотришь, как все устроится...
Он всегда разговаривал больше с матерью. С отцом он говорил очень редко и мало, и видно было, что он не любил отца.
В начале зимы он снова уехал из города и сказал матери, что едет на фронт. На гражданскую войну.
— Буржуазию уничтожать еду, — сказал он весело, и зубы, белые, блеснув в улыбке, осветили загорелое, исхудавшее его лицо.
— Ты слышишь, Матвей Кузьмич? — сказала мать. — Витенька-то... на войну поехал...

Но отец ничего не сказал. В последнее время он уже не вмешивался в дела сына. Пусть делает что хочет. На войну — так на войну...
Эта война продолжалась почти пять лет. Волков-сын приезжал иногда на побывку. Мать стирала ему белье и одежду, а он, голый, сидел за печкой и, как в детстве, говорил:
— Подожди...
Мать ждала не чудес, не богатства, не роскоши, не хорошей еды, а спокойного житья, когда сын наконец вернется домой, осядет навсегда, может, женится и она будет качать его детей, своих внуков.
Но после войны сын заехал домой всего на три дня и снова уехал.
Жил теперь он в далеких краях, где-то в Западной Сибири. А потом заехал еще дальше, на Дальний Восток. Он работал там и учился, был директором завода и студентом. О делах его родители знали только по письмам, которые писал он регулярно. И так же регулярно он присылал им деньги.
Дела у него как-то менялись, ухудшались или улучшались, но сумма денег, посылаемых родителям, оставалась неизменно крупной. Он старался только увеличить эту сумму. Он хотел, чтобы старики хоть на закате дней своих пожили по-человечески, чтобы мать не отказывала себе в сладком куске, чтобы одевалась почище, как не могла одеваться в молодости.
Но, посылая деньги родителям, сын знал наверное, что они по-прежнему скупятся и даже не едят как следует, что отец по-прежнему урезывает себя и мать, проводит жесткую экономию и, хотя теперь у него есть свой домик в три окна и свой огород, он продолжает копить деньги, якобы на «черный день», который, может быть, никогда не наступит.
Эта неистребимая жадность отца, потомственного нищего, мечтающего разбогатеть, безумная страсть, которой подчинен был старик с молодых лет, чуть «ли не с детства, возмущала сына. И, жалея мать, вынужденную во всем покоряться мужу, отказывать себе во всем, сын стал думать, как бы это перевезти стариков на Дальний Восток. Здесь отца удалось бы взять под особое наблюдение, ограничить его власть над матерью. Мать пожила бы наконец в свое удовольствие.
Этот замысел сын вынашивал долго. Но замысел этот было трудно выполнить. Сын был занят необыкновенно. Он переезжал из города в город, и дела, неотложные, важные, волновали его больше, чем забота о матери.
Он думал, что мать подождет, что если не в этом году, так в будущем он обязательно заберет стариков к себе и все устроится в лучшем виде. Он спешил постоянно, каждый день, каждый час, и в этой спешке проходили годы.
О родителях Виктор Матвеевич снова стал думать, когда его перевели в Москву. Он жил теперь в большой квартире, в которой свободно вместе с ним, с его семьей, могли поселиться и родители. Он написал им об этом, пригласил приехать. Но они отказались.
Отказался, вернее, отец. Он заявил, что у него дела, хозяйство — домик, огород, коза и куры. Он уехать никак не может, а если мать желает, пусть едет. Он ее не удерживает.
Но мать самостоятельно не могла отправиться в Москву. За нею надо было приехать. И Виктор Матвеевич решил, что за матерью он поедет сам. Он сам привезет ее в столицу, сам будет водить ее в столице по театрам, катать на автомобиле, показывать достопримечательности. Словом, сделает все, чтобы выполнить давние свои обещания.
Это ему теперь ничего не стоит. Вот только бы выбрать время...
Но свободного времени в последние годы у него было все меньше и меньше. Он даже в отпуск ездил не каждый год. И каждый год он думал, что именно в это лето поедет в Сызрань. Ведь это же тут, под боком у Москвы...
Через две недели Волков наконец должен был поехать. Он уже подготовил себя к этой поездке, стал мечтать о скорой встрече с матерью, стал, как в детстве перед каникулами, считать дни. И вдруг принесли телеграмму: она умерла.
Волков в четвертый и в пятый раз перечитывал телеграмму. Но смысл оставался прежним. Она умерла. Умерла его мать, которая сорок лет назад родила сына, вынянчила, выкормила, вырастила его, как смогла. И вот теперь, когда сын ее стал известным человеком, директором крупного треста, она умерла, ну разу, быть может, не отдохнув как следует, — ни разу за всю свою беспокойную, торопливую жизнь.
Большой, широкоплечий, седеющий мужчина сидел в кожаном кресле и плакал. Выражение лица у него было угрюмое, злое. Он злился на себя. Неужели за все время он не мог выбрать

двух недель, чтобы съездить к матери? Неужели, наконец, нельзя было поручить кому-нибудь съездить к ней и привезти ее в Москву?

Можно было. Конечно же можно было.

Волков злился и плакал. И рядом с ним плакала его жена. Она плакала, больше встревоженная печалью мужа, чем собственным чувством к свекрови, которой, как ни странно, ни разу не видела и потому не могла сказать о ней ничего плохого и ничего хорошего.

В комнате тикали часы. За окном цвела черемуха. У подъезда гудел автомобиль, ожидая директора треста.

Но директор не слышал его. Он сидел в кожаном кресле, опустив седеющую голову, и на какое-то время весь мир замер в его сознании. Жизнь остановилась.

Волков находился в горестном оцепенении. Потом встал, застегнул пальто и пошел в переднюю, чтобы надеть вторую калошу.

В передней он взглянул на себя в зеркало, увидел влажные следы от слез и покраснел, устыдившись. «Нервы», — как бы оправдываясь перед самим собой, подумал он.

И вышел на улицу.

В тресте ждали его на заседание. Но Волков сказал, что заседать сегодня не может.

— У меня умерла мать, — сказал он. — Я должен сейчас же поехать в Сызрань.

Заместитель директора поднял брови в знак удивления и сочувствия.

Через полчаса курьерша треста несла в редакцию траурное объявление, в котором дирекция, партком, местком и сотрудники выражали свое соболезнование директору треста товарищу Волкову Виктору Матвеевичу по случаю смерти его матери Екатерины Петровны.

А Волков в это время ехал на вокзал.

Время наконец нашлось. Волков наконец выбрал время, чтобы поехать в Сызрань. Он сидел в купе мягкого вагона и думал о предстоящей встрече с отцом. Он представлял себе в подробностях, как отец встретит его, улыбнется через силу, приподняв тяжелую верхнюю губу, сделает жалкое лицо, что никак не идет к его огромному росту. И сына заранее коробило от этих рабских, холуйских ужимок отца.

Виктор с детства привык стесняться его. В гимназии сын старался улизнуть куда-нибудь, спрятаться подальше, когда видел из окна, что в гимназию идет его отец. Сын стеснялся не того, что отец его швейцар, бедный человек, а того, что отец готов унижаться перед всяким, даже перед мелкой сошкой, лишь бы вымолить какую-нибудь льготу, пустяк какой-нибудь. Все это видели, всем это было смешно, и гимназисты смеялись не только над отцом-швейцаром, но и над сыном.

Волков помнит, как однажды отец его увидел в дверях гимназии законоучителя, отца Григория Горизонтова, и, подойдя к нему под благословение, поцеловал при всех: полу засаленной его рясы.

Этот поступок смутил даже отца Григория.

— Ну что ты! — сказал он. — Как можно...

— Так ученики встречали Христа, — сказал почтительно Волков-отец и приподнял по привычке верхнюю мясистую губу, что должно было означать улыбку. — Вы наш учитель, батюшка, благодетель...

Волков-сын после этого случая готов был удавиться.

В другой раз, когда, расшалившись во время перемены, он чуть не опрокинул кипарисовую тумбочку в коридоре, поп поймал его за руку и сказал сердито:

— У такого благочестивого, богобоязненного отца воспитываешься, а сам какой разбойник...

— Плохо ты воспитываешь своего сына, Матвей, — сказал законоучитель, когда отец снова явился в гимназию. — Озорует. Остолопом растет.

— Я укажу ему, — пообещал отец. — Вы только, батюшка, не оставляйте его вашей милостью. А я укажу ему...

И Виктору в тот же вечер была задана знатная порка.

Этой порки никогда не мог забыть не только гимназист, но и директор треста, хотя отец порол сына не однажды и, может быть, еще более сурово порол, чем в тот раз. Это была самая несправедливая порка, и забыть ее было трудно.

Волков снова вспомнил ее и снова возненавидел отца, как в детстве.

И ненависть, горячей струей подступившая к горлу, детская ненависть, неожиданно пробудившаяся в сердце взрослого, пожилого мужчины, на минуту потушила все иные чувства, заставила даже забыть о смерти матери, о горечи, связанной с ее смертью.
Виктор Матвеевич вдруг ощутил непривычную мальчишескую ярость в теле, стремительно встал, открыл окно и зашагал по купе, потом по коридору взад-вперед, нервно пощелкивая пальцами.
В вагоне было много пассажиров. По вагону ходил с совком и веником пожилой проводник, выгребая окурки из пепельниц. Но Волков не видел, не замечал никого, погруженный в воспоминания о детстве, о ранней юности, полной щемящих огорчений. Именно огорчения и обиды приходили ему сейчас на память раньше всего и воспаляли сердце с неожиданной силой.
Побродив по коридору, Волков опять залезал на верхнюю полку и подолгу лежал на спине без движения, вдавив голову в жиденькую подушку и упираясь ногами в стенку.
Ветер рвал занавеску и врывался в купе, шевеля газету на полке. Запахи талой земли, прошлогоднего листа и зеленеющей травы наполняли вагон.
И вместе с ними приходило успокоение, такое же неожиданное, необъяснимое, как внезапная вспышка ненависти, запоздалой и, пожалуй, смешной.
Волков переворачивался на бок, подложив ладонь под курчавую голову, и все думал, думал. Вагон качало, подбрасывало. И мысли шли такие же неровные, как качка вагона.
Виктор Матвеевич снова думал об отце, но уже не так непримиримо. Все-таки отец учил его. Швейцар, собирающий пятаки и гривенники, хотел сделать сына своего образованным. Добивался этого, как мог, как умел.
И порол-то он сына, может быть, потому, что хотел его сделать лучше, умнее. По-своему хотел ему счастья. Воспитывал его по-своему. Неужели теперь надо ненавидеть неграмотного, жалкого старика, сводить с ним старые счеты?
Виктор Матвеевич подумал, что старика сейчас, пожалуй, надо приласкать, надо сказать ему что-нибудь такое хорошее, подбодрить его надо, поддержать.
И неожиданно даже для себя, после горьких воспоминаний, после ненависти, разбуженной этими воспоминаниями, сын почувствовал нежность к отцу, пожалел его и, укачиваемый непрерывной дрожью вагона, заснул.
В Сызрань он приехал в конце дня.
Была хорошая, солнечная погода.
Пассажир взял маленький чемоданчик и, не торгуясь, сел в извозчичью пролетку.
Извозчик удивленно посмотрел на него. Потом хмыкнул, чмокнул, озабоченный. И косматая сонная лошаденка, вздрогнув, потянула облезлый экипаж.
Извозчик вез важного пассажира. Пассажир сидел на кожаной подушке, нагретой солнцем, и рассеянно смотрел по сторонам. Он въезжал в родной город, и смутное чувство радости, грусти и сожаления волновало его.
Оно волнует каждого входящего в город свой после стольких лет отсутствия. После странствий, увлечений, разочарований и побед.
Девушки, любившие нас, уехали, вышли замуж, постарели. Дома и заборы, на которых злоупотребляли мы грамотой, много раз сменили свою окраску. Выросли новые дома. Улицы, поросшие когда-то буйной травой, покрылись булыжником и асфальтом. Все изменилось как-то. И мы изменились.
Витька Волков, озорной швейцаров сын, стал директором треста. В этом нет, пожалуй, ничего удивительного. Это не удивляет и Волкова. Он привык. И все привыкли к этому.
Но только в родном городе, на знакомых улицах, где играли в детстве в чижика и в лапту, директор треста, сорокалетний человек, вдруг с особой силой почувствовал всю необычность и своеобразие собственной судьбы.
Сорок лет он прожил, как один день, без оглядки назад, без воспоминаний — все вперед и вперед. И только смерть матери задержала на мгновение стремительный бег его дней, заставила вспомнить прошлое.
Директор оглянулся на пройденный путь и удивился несказанно. Будто не он проделал этот путь.
— Извозчик, — сказал директор, строгий и нахмуренный, привыкший к быстрой езде, — что это она у тебя спит на ходу? А ну, подгони ее. А ну!..
— Сейчас, — с готовностью сказал извозчик и торопливо вытащил из-под сиденья кнут.

Лошаденка неожиданно перешла в галоп.
Экипаж со скрипом и грохотом въехал на пустынную улицу, заваленную трубами, цементом и бревнами.
В конце улицы, под железной крышей, освещенной солнцем, стоял маленький домик, как декорация. Окна в домике были открыты. Из окон доносилось церковное пение.
Извозчик сказал:
— Вот он самый и есть. Поют...
И кнутом показал на домик.
Волков вылез из пролетки, расплатился и пошел вдоль улицы. Церковное пение было неприятно ему. Он как-то не подумал раньше, что мать, наверное, будут хоронить по старому обычаю, с попом, и что ему, как сыну, придется стоять у гроба и выполнять безмолвно, из деликатности, весь этот чуждый ему теперь обряд.
Он прошел мимо домика.
Он надеялся, может быть, что обряд будет закончен до его прихода и он избежит неприятной встречи со священником.
Но в ту же минуту он подумал, что ходить так по улице неудобно, несолидно, что это мальчишество, и, вернувшись, остановился у окна отцовского домика.
В окно был виден синий дым от ладана и в дыму обеденный стол, на котором в гробу лежала покойница, окруженная горящими желтыми свечками, священник в подряснике и в епитрахили и десятка два людей, столпившихся у стола. Они молились, склонив головы.
Виктор Матвеевич смотрел на них в окно. И минуты две никто не замечал его.
Наконец Матвей Кузьмич, стоявший на коленях у гроба жены, поднял голову и увидел в окне незнакомого бритого мужчину. Мужчина был в галстуке, в сером костюме, без шляпы. Матвей Кузьмич поднялся с колен и вышел на улицу.
Мгновение они молча смотрели друг на друга, отец и сын. Потом отец пошел навстречу сыну.
— Витенька, — сказал он очень тихо и, обняв сына, заплакал.
Виктор Матвеевич тоже обнял отца и растерянно гладил его по плечу. При этом он заметил, что отец меньше его, ниже ростом. И отец, большого роста человек, тоже вдруг почувствовал себя маленьким в объятиях сына, ничтожным, слабым.
Когда они вошли во двор, отец виноватым голосом спросил:
— Тебе, может быть, неловко, Витенька... а? Что я попа-то позвал?
— Ну что ж делать, — сказал сын и вошел в дом.
На него пахнуло сыростью, затхлостью, запахом кислых щей и ладана, от чего запершило в горле. Он прошел в большую комнату, где лежала покойница, поклонился всем и встал в сторонке, у окна.
Священник ходил вокруг гроба и размахивал кадилом. Из кадила выглядывали, как зубы, раскаленные угли и вырывался струйками синий дым. Он все больше и больше обволакивал комнату и поднимался к потолку. В дыму было трудно рассмотреть лица людей и лицо покойницы.
Виктор Матвеевич не сразу узнал отца Григория Горизонтова. А когда узнал, опустил глаза. И священник тоже заметно смутился, увидев коммуниста Волкова. Священник как будто стал торопиться, стал бормотать что-то невнятное и ходил вокруг гроба, должно быть, не так уверенно, как несколько минут назад.
Волков, однако, не обращал на него никакого внимания. Запах ладана, кислых щей и еще чего-то резкого, режущего нос, снова напомнил ему детство, и он стоял в сторонке, у окна, угрюмый, усталый, погрузившись в далекие свои мысли.
Вокруг него шептались, показывали на него локтями и пальцами, подмигивали друг другу соседи. Но он ничего не слышал. Он не услышал даже, как окончилось богослужение. Отец Григорий Горизонтов подошел к нему.
— Доброе здоровье, Виктор Матвеевич!
Священник уже снял подрясник. В комнате было душно. Дым от ладана все еще плавал по комнате, уходя от раскрытых окон.
Виктор Матвеевич, запрокинув голову, развязывал галстук, расстегивал ворот рубашки, и рука, протянутая ему бывшим законоучителем, повисла в воздухе. Наконец Волков сказал:
— Здравствуйте!

В углу висела большая, почерневшая, старинного письма икона. У иконы горела, мерно покачиваясь, зеленая лампадка. И Волков смотрел не на священника, стоявшего перед ним, а на эту покачивающуюся лампадку.
Священник говорил:
— А вам, наверно, все это дико, что мы тут, так сказать...
Бывший законоучитель как будто оправдывался, извинялся. Волков посмотрел на его измятые, узенькие штанишки из чертовой кожи, на рыжие, заплатанные башмаки, потом на лицо, изжеванное, сморщенное, с потухшими глазами, с бородавкой на носу, и вспомнил, что в гимназии законоучителя гимназисты звали «носорогом».
Ничего, кроме бородавки, не осталось от этого когда-то грозного «носорога», пугавшего малодушных гимназистов даже видом своим.
В бывшем гимназисте он не вызывал больше ни вражды, ни ненависти. Но и жалости он тоже не вызывал. Волков смотрел на него угрюмо и равнодушно.
— Вы ведь не меня отпеваете, и не я вас пригласил, — сказал он усталым голосом. — Какое мне до этого дело!
И подошел к гробу.
У него появилось желание выгнать из дома всех, всех и, оставшись в одиночестве у гроба матери, вот стоять так весь вечер и, может быть, всю ночь. «Мама, это я, твой Виктор. Я приехал к тебе, выбрал время. Мама...»
Виктор Матвеевич склонился над гробом и уронил седеющую русую голову на край оклеенной белой бумагой доски.
Люди, столпившиеся у гроба и в прихожей, поспешно и молча стали расходиться.
У гроба матери плакал сын. Плакал взрослый, пожилой, не сентиментальный человек, давно отвыкший от матери, сам ставший отцом. Плакал не только о матери, которую любил и с которой так и не встретился при жизни ее, но и о себе, о молодости своей, которой не вернуть, о детстве.
А на дворе сгущались сумерки.
Однорогая коза ходила по двору и ждала еды. Некормленые куры уселись на насест, но сон, должно быть, не шел к ним.
Маленькая, худенькая старушка лежала в гробу, и порядок в доме был нарущен. Муж и сын ее были выбиты из колеи.
На дворе сгущались сумерки. В сумерках таинственно мерцала зеленая лампадка. В масле плавал беленький огонек, и вокруг него летали две бабочки и огромный майский жук, шумевший, как самолет.
Шум этот разбудил задремавшего у гроба высокого, сутулого старика. Он стал, вытер ладонью слезы, застывшие в морщинах, и пошел во двор.
Однорогая коза приблизилась к нему, прижалась к его коленям. Он потрепал ее ласково, потом, согнувшись, вытащил из-под крыльца узкую кормушку, насыпал в нее корму и снова вошел в дом.
В доме по-прежнему было тихо, и только жук ревел оглушительно и шелестели крылья бабочек, круживших у огонька лампады.
Старик разжег огонь на кухне, поставил самовар и сел на табурет, склонив голову к коленям.
У него умерла жена. Он прожил с ней больше полувека, пятьдесят с лишним лет. И вот она умерла. И вместе с ней он потерял какую-то долю себя самого. Да, это именно так. Он стал слабее после смерти ее. Хотя не она поддерживала его, а он ее поддерживал. Всегда, во всем. Во всяком случае, он сам так чувствовал. Он знал, что она слабее его, беззащитнее. Защищал ее. Постоянно чувствовал превосходство над ней. И вот ее нет. И не над кем чувствовать ему превосходство, некого защищать. Жизнь прожита. Заново ее не начнешь.
Все кончилось.
В кухне жалобно пел самовар. Угли, сгоравшие, шуршали, рассыпаясь. Вода медленно закипала в самоваре. Было тихо-тихо.
И вдруг самовар зафыркал. Он зафыркал так же громко, с той же веселой яростью, как фыркал при хозяйке. Как будто ничего не случилось.
Матвей Кузьмич поспешно встал, заварил чай. Чайник поставил на самовар. Несколько привычных движений, легкое возбуждение. И снова слабость какая-то, отчаяние, туман.
— Витя, — сказал он печально. — Витя! Чай пить...

В кухне стоял голый, некрашеный стол, чисто выскобленный и промытый еще руками хозяйки, лежавшей сейчас в гробу.
И они пили чай за этим кухонным столом, отец и сын.
Это были, в сущности, разные люди, разных вкусов, разных привычек, разных взглядов на жизнь. Их свело здесь общее горе. Свело на несколько часов или дней.
А послезавтра или дня через два они снова расстанутся и не встретятся, может быть, никогда. Очень возможно, что никогда.
Первым об этом подумал сын. Потом эта же мысль пришла отцу. И отец сказал:
— Вот, значит, Витя... Я один остался... Как же я теперь буду жить один?..
На столе стояла лампа. Желтый свет ее разделял отца и сына. Щурясь от света, сын зачем-то спросил:
— Тебе лет-то сколько теперь?
— Мне? Семьдесят шестой...
— Порядочно, — сказал сын и задумался. После раздумья он сказал: — Ну что ж, поедем в Москву.
Виктору Матвеевичу жаль было отца. Он хотел как-нибудь приласкать его. Однако он знал, что отец ни за что не оставит этот домик — мечту своей жизни, огородик, однорогую козу и этих кур, загадивших весь дворик. Но отец неожиданно сказал:
— Хорошо бы... Повидать, какая она есть. Сроду не видал.
На лбу у него выступили крупные капли пота. Он стер их ладонью, отбросил длинные, плоские волосы, падавшие на лоб, и... может быть, кощунственно сказать, что он повеселел, но он повеселел действительно.
В неверном свете лампы показалось даже, что он улыбнулся радостно. Или это отблеск лампы заиграл на мгновение в его глазах?
— А домик как же ты оставишь?
— Продать можно. У меня тут есть одни люди. Давали, да мало. Я сам за него тыщу семьсот в шестнадцатом году отдал. Да пристройки делал, да огород...
— Ну вот, — сказал сын, не слушая длинных, отцовских рассуждений, если успеешь собраться, пока я здесь, поедем вместе. А не успеешь — я жену попрошу приехать за тобой...
— Я успею, Витенька, — сказал отец поспешно. — Чего же мне тут такое собираться? Конечно, успею. Ты меня денька два подожди, я все обтяпаю...
— Денька два, — сказал сын, — подожду.
И отодвинул пустой стакан на середину стола.
— Еще стаканчик! — предложил отец и поспешно поставил пустой стакан под самоварный кран. — Чай — он хорошо душу греет...
Но сын уже закурил и вышел из-за стола.
Хоронили мать торжественно, со всей пышностью, на какую был способен Матвей Кузьмич.
День был солнечный. Солнце вспыхивало и горело в посеребренных вышивках серой ризы отца Григория Горизонтова. Пели певчие. И две лошади в белых попонах, в белых стареньких султанах, запряженные в белый ветхий катафалк, шли медлительно впереди толпы.
Виктор Матвеевич шагал по тротуару. Этим самым он как бы подчеркивал свою непричастность к этой процессии. И сам же осуждал себя за это.
«Уж лучше бы совсем не идти», — думал он. Но все-таки заставить себя идти рядом с попом не мог. И шел по тротуару.
Вскоре и Матвей Кузьмич, шагавший за гробом, отделился от процессии и пошел рядом с сыном.
Мать везли на кладбище чужие люди, поп и певчие, десятка два старух и стариков.
А отец и сын шли по тротуару.
У сына на этот счет были свои соображения, а отец просто подражал ему. Сын сейчас для него был самым авторитетным человеком. И, шагая рядом с сыном, отец спросил:
— Витенька, ты не знаешь, водку-то на поминках надо подавать?
— Я не знаю, какой порядок, — серьезно ответил сын. — Если принято, надо подавать. Надо, чтобы все было по-хорошему, как следует. И главное скупиться не надо!
Но на поминках сын не присутствовал.
После похорон он весь день бродил по городу и вернулся домой только вечером, когда поминки уже закончились.

На кухне, при лампе, мыли посуду две женщины, и отец помогал им.
Виктор Матвеевич неслышно прошел в комнату, разделся и лег спать.
Дни стояли не по-весеннему жаркие, томительные.
На другой день после похорон сын проснулся очень рано и до завтрака пошел купаться на Волгу.
Волга была такая же, какой он знал ее в детстве. И берег был такой же. Трава, песок, камни. Виктору Матвеевичу здесь были известны все глубокие и мелкие места. Он разделся, погладил грудь, бедра. Потом забрался на бревенчатый помост, приспособленный, вероятно, для полосканья белья, и спрыгнул в воду. Вода вскипела вокруг него.
Волков вынырнул и, далеко выбрасывая сильные руки, поплыл на середину реки. Он плавал так же хорошо и неутомимо, как в детстве, как в ранней молодости. И с берега также, как в детстве, смотрели на него мальчишки, может быть, сыновья тех мальчишек, которые купались с ним в детстве.
Волков вышел из реки и, одеваясь, стал разговаривать с ребятами. Он спрашивал, как их фамилии, как звать их отцов, матерей. И удивлялся, услышав знакомые фамилии, знакомые имена. «Вон что, — думал он, разглядывая веснушчатого мальчишку, — это, значит, Васьки Пахомова сын. И лоб такой, как у отца».
За этот лоб Ваську Пахомова дразнили «тыквой». А Витьку Волкова?.. Позвольте, как же дразнили Витьку Волкова? Ах, да! «Волком». Так просто и дразнили.
Виктор Матвеевич вдруг вспомнил, как он подрался однажды в детстве с Васькой Пахомовым. Вспомнились все подробности драки. Овраг, поросший крапивой, холодный ручей на дне оврага. Забылась только причина драки.
— А отец твой где? — спросил он у мальчика Пахомова.
— Как где? — удивился мальчик. — На базе.
— На какой базе?
— Ну, на базе... на овощной...
И мальчик сурово, осуждающе посмотрел на взрослого дядю, который не знает, что в городе есть база, овощная база!..
Виктор Матвеевич понял этот взгляд, улыбнулся и стал неторопливо одеваться.
До города надо было идти по песчаной дороге. Ноги вязли в песке, и нагретый солнцем горячий песок, попадая в сандалии, обутые на босую ногу, чем-то тоже напоминал детство, рыбную ловлю в детстве и покойную мать. Было грустно, и в то же время приятно было идти по этой горячей дороге.
Незаметно Волков дошел до города и побрел по тихим улицам. На одной улице прочел вывеску: «Почта и телеграф». Зашел.
Веселая курчавая девица выдала ему четыре телеграммы из Москвы. Директор треста прочел их и сейчас же, нахмурившись, написал четыре ответа.
Лирическое настроение его моментально прошло.
В Москве, в тресте, дела шли не блестяще — провалилась важная смета. И Волков не мог больше думать о старых своих друзьях, о детстве, о приятных прогулках по Сызрани. Он думал о Москве. И все больше и больше мрачнел.
Хмурый, он вышел из здания почты и пошел домой.
Матвей Кузьмич в длинной, выцветшей рубахе без пояса возился на дворе. Руки его были вымазаны в саже, лицо раскраснелось от напряжения. Увидев сына, он закричал:
— Завтракать, Витенька! Чай пить! Я тебя уже давно жду.
Здесь же, во дворе, у самодельного умывальника, прибитого к столбу, он вымыл руки, расстелил холстинную скатерть на столе под единственным чахлым кустиком, во дворе же моментально подогрел самовар, и они сели пить чай.
Матвей Кузьмич говорил:
— Вот видишь, Витенька, у меня тут как на даче. Я хотел еще пару кустиков посадить. Да и цветов бы еще надо. Но все некогда было, мамаша болела. Эти вон цветочки она сама посадила.
И он показал рукой на крошечную клумбу, окруженную побеленными кирпичами и защищенную от козы и кур проволочным заграждением.
Виктору Матвеевичу показалось, что отец раздумал ехать, тем более что настроение у старика было уже не такое унылое, как два дня назад. Он выглядел возбужденным и как-то особенно любовался своим хозяйством.

Сын сказал:
— Ты знаешь, папа, мне уже ехать надо. Меня в Москве ждут. Ты как, собираешься?
— А как же, Витенька! Я уже домик почти продал. Я вот хотел только с тобой посоветоваться...
Виктор Матвеевич не смог дать совета.
Но Матвей Кузьмич как будто и не нуждался в этом. Он все, что надо было ему, уже сделал и советовался с сыном только для «законности», как он любил говорить.
— За домик я теперь не беспокоюсь, — сказал он. — Покупатель у меня хороший, надежный. Помнишь, на похороны приходил старичок, рыженький? Пузырев ему фамилия. Андрей Андреич. Вот он и покупает. Сегодня пойдем с ним уделывать все дело по закону. Мебель я тоже продал Вавилову. Он уже деньги отдал. Теперь бы мне еще козочку продать и курей. Куда, для чего я их повезу?
В сенях сын увидел запакованные тючки, мешки, набитые, чем-то. Видимо, отец торопился.
Виктор Матвеевич прошел в комнату, открыл свой чемодан и, вынув из него портфель, сел к столу. На том самом столе, где лежала еще вчера его мать-покойница, он разложил бумаги, повесил на спинку стула пиджак и начал писать.
За стеной возился отец. Он отдирал что-то клещами и кряхтел.
Виктор Матвеевич встал из-за стола и пошел помочь ему.
— Ну-ка, папа, дай я попробую!
— Не надо, ничего не надо! — почти закричал на него отец. — Я тут сам. Занимайся своими делами, Витенька! Я вот полочку хочу отодрать. Жалко все-таки отдавать чужим людям.
Виктор Матвеевич ушел и опять занялся бумагами. Отец продолжал возиться за стеной. Он отдирал полку, что-то передвигал. Потом кто-то позвал его со двора, и он вышел.
На дворе его ждали покупатели. Он показал им козу, кур и двух кроликов. Покупательница, высокая старуха с сердитым лицом, трогала козу за вымя и, потрогав, брезгливо поджимала губы.
Все это Виктор Матвеевич видел в окно. Он видел, как покупатели подошли к его окну и сели на лавочку, чтобы поторговаться.
— А это кто же у вас в дому-то? — спросила старуха отца. — Квартирант?
— Зачем... — сказал отец. — Это сын мой, из Москвы. Вот я к нему и еду. Приглашает.
— Он что ж, на службе там, что ли?
— Директор, — сказал отец почему-то шепотом. — Директор треста, конторы...
Виктор Матвеевич, услышав это, улыбнулся.
Однорогую козу увела старуха. Кроликов и кур, усадив в бельевую корзину, унес молодой человек в майке. Потом во двор вкатилась двухколесная тележка, и два парня стали укладывать на нее купленную мебель.
Матвей Кузьмич вошел в комнату, где сидел сын, и сказал:
— Я этот столик, Витенька, тоже продал. Все продал. Продал все, что наживал... — И в голосе его послышались слезы.
— Быстро ты, — сказал Виктор Матвеевич и, собрав свои бумаги в портфель, встал.
Два здоровых парня подхватили стол и понесли к дверям.
Дом, обжитой, любовно оклеенный пестрыми обоями, фотографиями знакомых и незнакомых людей, олеографиями битв и курортных видов, обставленный небогатой, но любимой мебелью, сейчас лишенный всего этого, лишенный полочек и этажерок, фарфоровых петушков и глиняных зайчиков, возвышавшихся на подоконниках, цветочных вазонов, икон и занавесок, выглядел жалким и чужим.
На полу валялись смятые бумажки, рваные подметки от давно изношенных ботинок, яичная скорлупа, сушившаяся для того, чтобы кормить ею кур.
Матвей Кузьмич ходил среди этого мусора и вздыхал.
В сенях стояли два окованных жестью сундука. Он складывал в них свою одежду, обувь и даже ведра, кастрюли и сковородка. Он замыкал это все тяжелыми висячими замками.
Он уезжал отсюда, где страшно было оставаться одному, чтобы жить на новом месте так же самостоятельно и хозяйственно. Он умирать не собирался. Он собирался жить.
Через день отец и сын уже ехали в поезде. Отец был в сапогах, начищенных до блеска, в черном длинном пиджаке и в такой же черной суконной фуражке с суконным козырьком. Сын был в шляпе, в сером фланелевом костюме и в широконосых американских штиблетах.

Они ехали в мягком вагоне. Сын лежал на верхней полке, отец — на нижней. И изредка они разговаривали. Сын односложно отвечал на вопросы отца и больше молчал, занятый своими мыслями.
А отец, неожиданно забыв все горести, радовался, как мальчик, и тому, что едут они, и тому, что вагон мягкий, и тому, что на станциях продают всевозможные харчи по недорогой цене. И всячески хотел угодить сыну.
— Витя, — кричал он, — жареных поросят продают! Купим?
— Купи, — говорил равнодушным голосом сын и протягивал ему десять рублей.
— Да не надо... Господи... — говорил отец. — У меня своих дай бог всякому!
И охотно объяснял соседям по вагону:
— В Сызрани домик продал. Еду вот сейчас в Москву. К сыну еду, собственно говоря...
В голосе его звучала гордость.
Обычно молчаливый, на старости лет он внезапно стал словоохотливым до смешного. И это произошло с ним в вагоне. Он лез теперь к людям с разговорами и, о чем бы речь ни заходила, все сводил к сыну, директору треста, и к собственному домику в Сызрани. О жене-покойнице он как будто и не думал.
Виктор смотрел на него и не узнавал отца. «Что случилось со стариком? Уж не рехнулся ли он?»
На одной большой станции они вместе вышли из вагона, чтобы погулять по перрону. И опять отец говорил, а сын молчал.
— Витя, — говорил отец, — ты бы взял к себе мои деньжонки-то. Все-таки они тебе нужнее. Дашь мне там какую-нибудь тройку. Мне по-стариковски хорошо будет. Куда мне...
Это тоже было не похоже на отца. Прижимистый человек, он никогда не проявлял подобного великодушия и, казалось, не способен был на это, а тут вдруг расчувствовался.
— Ты положи их на книжку, — посоветовал сын. — Когда надо, будешь брать.
— А для чего мне они? — сказал отец. — Ну, для чего?
Виктор Матвеевич молча прошелся по перрону. Потом сказал некстати:
— Ты смотри, пиджак-то как испачкал! Где это ты так?
Они снова вошли в вагон.
И ехали дальше как малознакомые пассажиры. Отец обиделся на сына. А сыну вообще не хотелось разговаривать. Не хотелось разрушать какое-то странное, почти торжественное настроение. Все разговоры отца, его вопросы, замечания казались мелкими, нелепыми, не стоящими внимания по сравнению с тем, что произошло в эти Дни.
Виктор Матвеевич то возвращался мысленно к гробу матери, то вспоминал ее молодой и себя ребенком, то начинал тревожно думать о делах в тресте, о срочных и важных делах, которые надо было улаживать, решать немедленно.
Мысли о матери мешали думать о трестовских делах, а неотложные, всегда неотложные трестовские дела не позволяли погрузиться целиком в область воспоминаний.
И в этом разномыслии, разночувствовании лежал источник глухого раздражения, которое трудно было, невозможно было подавить.
Виктор Матвеевич нервничал.
А Матвей Кузьмич облюбовал какого-то нового собеседника — старичка, пил с ним чай и пространно рассказывал, какой у него был замечательный домик в городе Сызрани.
— ...Почти у самой Волги. Может, бывали? Может, слышали?
Виктор Матвеевич лежал на верхней полке, и голос отца, идущий снизу, невольно проникал в его уши и раздражал его еще более. Казалось, что отец нарочно ведет эти разговоры, желая подчеркнуть свою независимость от смерти жены и свое равнодушие к этой смерти. Сын возмущался. Но молчал.
В Москву они приехали вечером.
На вокзал им подали автомобиль. Виктор Матвеевич сел рядом с шофером. Матвей Кузьмич уселся позади. Опять его охватило радостное волнение. Он зачем-то ощупал руками плюшевый коврик в ногах, потрогал блестящую ручку дверцы и, огладив пиджак, сделав строгое лицо, откинулся на кожаную спинку.
В таком состоянии он пробыл минуты две. Потом привстал, протянул руку, потрогал сына за плечо и спросил:
— Это что же, Витенька, машина-то у тебя своя али казенная?

— Казенная, — сухо сказал сын.
Шофер улыбнулся. И, заметив эту улыбку, сын сконфузился.
— Еще вопросы будут? — спросил он насмешливо.
Но отец смотрел в окно и молчал.
На улицах было светло, как в театре. Народу было много, как на демонстрации.
«Это куда же я еду, господи? — думал старик. — Шум-то какой, грохот...»
Наконец автомобиль остановился около большого дома.
Виктор Матвеевич ловко выпрыгнул из шоферской кабины и открыл вторую дверцу, чтобы помочь выйти отцу.
Матвею Кузьмину было жаль, что путешествие уже окончилось. Он вылез из машины и, смотря себе под ноги, пошел к двери.
Из дому навстречу ему вышли невестка и внучка. Они встретили старика приветливо. Помогли ему раздеться в передней. Потом повели его по комнатам, показывали квартиру.
Нинка вытащила из клетки белую крысу и продемонстрировала дедушке ее выучку.
Дедушка вначале хотел плюнуть и сказать, что это глупость — держать в квартире такую гадость, как крысу, хотя бы и белую, — но ничего не сказал и даже погладил крысу. Золотых рыбок он одобрил, сказал: «Хороши, канальи!» Белка и синичка ему тоже понравились. Ему понравилась вся квартира — большая, уютная, обставленная хорошей мебелью.
Он заглянул и в уборную, и в ванную комнату, и на кухню, где сидела в чистом переднике среди сверкающих кастрюль пожилая домработница Ольга Михайловна. Он поздоровался с ней, сказал задумчиво:
— Аккуратность — это в первую голову. Без этого нельзя. А как же! Человек на такой работе...
Потом ему согрели ванну. Он выкупался, посвежел, разгладил крупным гребнем пышную бороду и пошел в столовую пить чай.
За чаем сын вспомнил о покойной матери. Матвей Кузьмич большим пальцем смахнул слезу.
— Поглядела бы покойница, — сказал он. — Это же как в доме отдыха в Крыму! Хотя я, конечно, в Крыму еще не был...
Пил он чай с блюдца, поставив его на широкую ладонь, прикусывал сахар. Блаженствовал. Хорошо было ему, потеряв семью, вновь обрести ее.
Над столом висела большая пестрая люстра, и свет, нежный, сиреневый, озарял всю комнату.
— Хорошо у вас, — сказал Матвей Кузьмич. — Тихо. Как будто и не в Москве.
После чая он подошел к сыну, сказал негромко:
— Возьми ты, Витенька, мои деньги к себе. Пусть они будут твои. Я уж у вас так и останусь. Буду жить как свой.
— Да живи ты, пожалуйста, на здоровье, — сказал сын и улыбнулся. — Не надо мне никаких денег. Зачем они мне?
— Все-таки, — сказал отец. — В хозяйстве...
Вошла Татьяна Федоровна и сообщила, что постель папаше приготовлена, можно, если он хочет, отдыхать.
Матвей Кузьмич прошел в свою комнату. Она была небольшая, но уютная. Кровать, столик, этажерка.
Матвей Кузьмич достал из чемодана иконку, хотел повесить в уголок, но сейчас же раздумал. Неудобно: сын партийный, в бога не верует, невестка тоже, наверно, такая... Матвей Кузьмич поставил образок на стул, встал на колени, помолился и снова спрятал его в чемодан.
Уснуть он долго не мог. Ворочался. Кряхтел. Думал. Удивлялся. Ожидал ли он когда-нибудь, что судьба занесет его на старости лет в Москву? Никогда не ожидал.
И вот довелось. Занесла судьба. Он живет в Москве. Москва шумит за его окнами. Звенят последние, ночные трамваи.
Матвей Кузьмич потушил свет и долго смотрел в окно. Потом усталость сморила его. Он лег на спину и мгновенно уснул.
Проснулся он чуть свет. Все еще спали. Матвей Кузьмич умылся, причесался и на цыпочках потихоньку вышел на улицу.
Дворник, вытягивая длинную резиновую кишку, поливал асфальт. Матвей Кузьмич поздоровался с дворником, присел на лавочку.
Ни цветов, ни деревьев вокруг не было. Дворник поливал голый асфальт.
— Это зачем же, — спросил удивленно Матвей Кузьмич, — поливаете-то?

— Исключительно для гигиены, — с достоинством ответил дворник. — Пыль же ужасная. Это для здоровья нехорошо.
Помолчал, сколько надо, и спросил:
— А вы откуда?
— Из Сызрани я...
— А-а... Не поливают у вас?
— Нет.
— По-настоящему-то, — сказал философически дворник, зажимая пальцем рвущуюся струю, — и здесь поливать не надо. Это лишняя, как бы сказать, морока. Но велят. Что сделаешь?
— А кто велит-то?
— Милиция. Раньше-то тоже не поливали...
— Не поливали? — как бы удивился Матвей Кузьмич.
И они разговорились.
Дворник сообщил, какую зарплату он получает, сколько у него семьи, где учатся дети и как учатся.
Матвей Кузьмич рассказал, что он приехал к сыну, что сын его директор треста.
— Это что же, товарищ Волков, что ли, ваш сынок будет? — почтительно спросил дворник. — Виктор Матвеевич?
— Он самый, — подтвердил Матвей Кузьмич.
— Ну как же, знаю, — сказал дворник. — Уважительный человек. Завсегда шапку первые сымут. Здравствуй, мол, дядя Левонтий... Видать, человек не гордый, несмотря, что такую самостоятельную должность занимают...
— С детства приученный, — заметил Матвей Кузьмич. — Это многое значит.
— Ну как же! — сказал дворник. Он завернул вентиль, намотал на руку резиновую кишку и сказал как бы небрежно, к слову: — У меня тоже дочка медик. Я это сам вижу на факте. Собственными глазами.
Матвей Кузьмич сказал:
— У многих теперь дети, слава богу, ничего. Я одного мужика знаю, так у него сын теперь командующий войсками.
— Ничего удивительного нету, — сказал дворник.
Положив кишку на тротуар, он подошел к лавочке и сел рядом с Матвеем Кузьмичом.
Матвей Кузьмич вынул папиросы.
— Закуривайте.
Они закурили и продолжали разговаривать о разных делах. О детях, о погоде, о жизни. Потом в первом этаже открылась форточка, и Матвей Кузьмич услышал голос Нинки:
— Дедушка, чай пить!
— Сейчас я, сейчас, — сказал Матвей Кузьмич и подмигнул дворнику. Зовут...
После завтрака Виктор Матвеевич сейчас же уехал в трест. Татьяна Федоровна ушла на дежурство к себе в клинику.
Дома остались Ольга Михайловна и Нинка.
Матвей Кузьмич разговаривал с ними.
Потом и Нинка ушла.
— На сбор, — сказала она важно.
Ольга Михайловна стала готовить обед.
Матвей Кузьмич зашел к ней на кухню. Он рассказал ей про Сызрань. Она слушала его. Но через каждые две минуты, как нарочно, говорила:
— Пересядьте, пожалуйста, вот сюда. Мне эта табуретка нужна.
Матвей Кузьмич покорно пересаживался и продолжал рассказывать. Он говорил:
— Вот посмотрите, я не сегодня завтра получу багаж. Какие у меня там вещи! Весь, например, кухонный набор, ведра там, кастрюли...
— Посмотрим, посмотрим, — скороговоркой говорила Ольга Михайловна. Увидим.
Она спешила. Он ей мешал. Наконец он это понял и вышел из кухни. Делать ему было нечего. Он придумывал себе дела. И не мог придумать.
В Сызрани у него была служба. Он не бросал ее, несмотря на то что давно уже получал пенсию. Было у него свое хозяйство — коза, куры, кролики. А здесь у него ничего не было.
Побродив по квартире, он вышел на улицу.

Знакомый дворник куда-то ушел. Матвей Кузьмин хотел пройтись по Москве. Но грохочушие трамваи, вереницы автомобилей напугали его с непривычки, и он вернулся домой. Зашел к себе в комнату, прилег и заснул.
Разбудила его Нинка. Она пришла из школы, веселая, озорная.
— Дедушка, — кричала она, — обедать! — И тянула его за ногу.
После обеда сын вызвал автомобиль и пригласил отца кататься.
— Покажу тебе Москву, — сказал он.
В машине они сидели рядом. Виктор Матвеевич просил шофера останавливаться в наиболее интересных местах. Отец и сын выходили из автомобиля и осматривали достопримечательности.
— Это Аэропорт, — говорил сын. — Вот отсюда самолеты улетают в разные стороны...
И они видели пролетающий самолет.
Потом сын показывал отцу Москву-реку, Парк культуры и отдыха, кремлевские стены и Красную площадь.
Были они и в Планетарии. Матвей Кузьмич долго и внимательно смотрел на звезды, на луну, удивлялся, ахал и вдруг озабоченно сказал:
— Витя, а пенсия-то как же у меня, пропадает, раз я уехал из Сызрани?
Виктор Матвеевич был удивлен таким внезапным вопросом и даже немного обижен, но все-таки сказал спокойно:
— Документы ведь у тебя все в порядке? Дай их Тане, она тебе все устроит. Будешь и в Москве получать пенсию...
— А звезды-то какие, господи! — сказал Матвей Кузьмич. И снова заинтересовался космосом.
Утром на следующий день старик опять проснулся раньше всех. Умылся, оделся. Прошел на цыпочках в спальню сына. Взял его костюм, штиблеты, платье и туфли невестки. Проходя через детскую, захватил ботинки внучки.
Все это вынес на лестницу и принялся чистить.
В несколько минут он вычистил всю одежду и обувь и так же на цыпочках внес их в спальню. Все еще спали. Проснувшись, все были удивлены. Потом Виктор Матвеевич вдруг покраснел и рассердился.
— Что за холуйство! — закричал он. — Кто тебя просит это делать?
— А как же, Витенька! — смиренно сказал отец. — Помнишь, когда ты гимназистом был, я всегда тебе всю форму чистил. Или я, или мама.
— Это другое было дело, — сказал сын уже спокойно. — А теперь этого не надо делать, папа. Я сам могу себе почистить и костюм и ботинки. Ты, пожалуйста, не трогай их.
Завтрак прошел в молчании.
Опять Виктор Матвеевич сейчас же уехал в трест, а Татьяна Федоровна ушла в клинику. Опять дома остались только Матвей Кузьмич, Ольга Михайловна и Нинка.
Нинка возилась с белой крысой.
У клетки сломалась дверца. Матвей Кузьмич наладил ее. Потом он предложил сделать для крысы маленькую лестницу, по которой она могла бы взбираться. И сделал.
Нинке очень понравилась эта лестница. Она спросила, не может ли дедушка сделать такую же лестницу и для белки. Пусть белка учится залезать в свою башенку по лесенке.
Дедушка сказал, что не только лестницу, но и новый домик он может сделать. И он стал делать вторую лестницу и домик с помощью остро наточенного сапожного ножа.
Незаметно подошло время обеда.
После обеда Виктор Матвеевич опять уехал в трест. Татьяна Федоровна еще не возвращалась с работы.
Матвей Кузьмич продолжал строить домик для белки. Он сколотил его маленькими гвоздиками, выкрасил чернилами и поставил сушить на подоконник. Сам прилег отдохнуть.
Нинка разбудила его к вечернему чаю.
Вся семья была в сборе. Нинка показывала сделанный дедушкой домик. Дедушка довольно улыбался.
И так прошел день.
Впрочем, и следующий день прошел почти так же. Матвей Кузьмич скучал в одиночестве и со скуки искал себе какое-нибудь дело.

Но подходящего дела не было. Матвей Кузьмич бродил около дома, разговаривал с дворником, заходил в булочную. Времени, однако, оставалось еще очень много.
И некуда было девать его.
У швейцара на службе не всегда бывает работа. Приходится иногда часами сидеть и скучать. И Матвей Кузьмич, бывало, сидел так. Но это же на службе. На службе и бездельничаешь когда, это не так заметно.
А без службы очень плохо. «Получается какой-то неприкаянный человек, думал Матвей Кузьмич. — Вроде лодыря. Ни хозяйства у него, ни гнезда. Небокоптитель».
Матвей Кузьмич ждал все-таки, что вот придет его багаж и будет какое-то дело.
Наконец багаж прибыл. Три сундука, обитых жестью, с тяжелыми висячими замками. Матвей Кузьмич затащил их утром, после завтрака, к себе в комнату и принялся распаковывать.
Нинка прыгала вокруг него, счастливая.
Дедушка подарил ей фарфорового петушка и глиняного зайца. Заяц был засижен мухами. Дедушка тщательно вытер его полой своего пиджака и, передав внучке, сказал:
— Храни. Это тебе все равно что привет от бабушки.
Потом он позвал к себе в комнату Ольгу Михайловну и стал показывать ей посуду и кухонный инвентарь.
— Вот, глядите-ка, — говорил он ей, улыбаясь, — какое имущество. Могу второй раз свободно жениться. Ничего не надо заводить, все есть.
Ольга Михайловна, украинка, веселая и насмешливая, вынула из сундука два ведра, подняла их и сказала, смеясь:
— Ой, какие страшенные! Это кого ж с них поить?
Матвей Кузьмич обиделся. Но обиды своей никак не выразил. Однако он понял, что посуду и инвентарь вынимать из сундуков не стоит.
Интерес к распаковыванию багажа у него внезапно пропал. Он повозился еще с полчаса у раскрытых сундуков и снова замкнул их. И теперь ему стало по-настоящему скучно.
Все последующие дни он ходил угрюмый. И даже прихворнул немножко. Колотья какие-то начались в пояснице. Но скоро и колотья прекратились. А он все себя чувствовал нехорошо.
Не радовала его теперь и эта хорошая, уютная квартира и нежная привязанность к нему Нинки.
Ничто его не радовало. Он ходил мрачный.
Багаж его так и стоял нераспакованный. И заметно было, что Матвей Кузьмич как будто боится прикасаться к нему, ворошить прошлое, вынимать из ящиков все эти ведра, чашки, кастрюли. Зачем они ему, если жизнь его подходит к концу, если жены у него нет и нет даже своего, самим сколоченного гнезда?
Представление о своем гнезде у него всегда было ясное и по-старинному определенное, и теперь ему было так же ясно, что нового гнезда не создать. Вот кабы лет ему было поменьше, он, пожалуй, опять женился бы, завел бы хозяйство, стал бы хозяином...
В бессонные ночи он вспоминал теперь жену-покойницу и тайно плакал. Хорошая все-таки была женщина, тихая, послушная. Не было, наверное, на свете женщины любезнее ее. И, вспоминая жену-покойницу, Матвей Кузьмич осуждал теперь себя за излишнюю суровость характера. «Заездил старушку, думал он, сердясь на себя. — А как бы хорошо могли жить! Деньжонки у меня есть. Я еще бы работал...»
Впрочем, ведь и сейчас он может работать.
Эта простая мысль ободрила его. Действительно, хорошо бы поступить на работу. Все-таки на людях. Не хуже людей... Как это он раньше не подумал, что можно служить и в Москве?.. Все служат. Ну что ж, что семьдесят шестой год. В Сызрани-то он ведь служил...
И Матвей Кузьмич стал упорно думать о поступлении на службу. Хоть куда-нибудь бы поступить. Хоть, допустим, в сторожа.
Но поступить было некуда. Никого он не знал в этом городе. Да и ходить по городу он все еще боялся.
Правда, он уже два раза проехал самостоятельно на метро, ездил и в трамваях. Но все еще с опаской. Боялся заблудиться. И особенно боялся попасть под трамвай или под автомобиль.
Хорошо бы поговорить с сыном, попросить его пристроить куда-нибудь старика. Однако неудобно. Разве есть у сына время заниматься такими пустяками? Работает человек с утра до ночи. И ночью работает. Да и рассердится он, пожалуй, если полезешь к нему с такими пустяками.

Лучше всего поговорить с невесткой. Она в больнице работает. У них там, наверно, всякий народ нужен.
И Матвей Кузьмич так и спросил невестку:
— У вас, Танечка, в больнице-то, наверно, всякий персонал требуется? И по медицине и так. Нельзя ли и меня там где-нибудь пристроить? Я ведь не только швейцаром могу. Я кем угодно. Я бы даже мог покойников выносить. Ведь я, вы поглядите, какой здоровый... — И он выпрямился во весь рост и разгладил бороду. — Меня хоть на войну посылай, а не только что в швейцары.
— А зачем вам, папаша, служить? — спросила Татьяна Федоровна. — Все у вас готовое. Деньги у вас есть. Вот и пенсию будете получать.
— Скучно мне! — вдруг со стоном сказал Матвей Кузьмич. — До крайности прямо скучно! Вы представить себе не можете. Я и помереть так от скуки могу.
В тот же вечер жена передала этот разговор мужу. Виктор Матвеевич сердито сказал:
— В кино его надо сводить. В театр. Я же занят с утра до ночи, мне вздохнуть некогда. А ты могла бы его развлечь немножко. Действительно, старику скучно.
Немедленно супруги поссорились.
Жена кричала, что она тоже занята черт знает как.
Но в следующий же вечер старика повели в кино.
Водили его и в театр, и по музеям, и еще раз в Планетарий, по его просьбе.
Виктор Матвеевич два раза ходил с ним в Парк культуры и отдыха. Вспоминая о матери, сын всячески старался теперь сделать что-нибудь приятное для отца. В парке он водил его в цирк-шапито, и плавал с ним на лодке, и показывал ему аллею смеха. Ухаживал за ним, как за маленьким.
Но отец чувствовал себя неловко в обществе сына, точно стесняясь того, что сын тратит на его развлечения драгоценное время. И видно было, что зрелища слабо развлекают старика.
По утрам Матвей Кузьмич все чаще и чаще уходил из дому и один часами бродил по городу. Постепенно он освоился. Безбоязненно переходил теперь через улицы, запоминал номера трамваев и ездил даже куда-то на окраину города — в церковь.
Однажды утром он зашел в большое учреждение на Ильинке и, разыскав завхоза, спросил, не требуются ли здесь швейцары. Завхоз сказал, что швейцары пока не требуются, но вот рабочие для дворовых работ нужны.
Матвей Кузьмич подумал, что временно можно, пожалуй, поступить и рабочим, а потом, когда освободится должность, стать швейцаром. Матвей Кузьмич сказал, что он согласен.
Но завхоз посмотрел его паспорт и замахал руками.
— Нет, нет, таких нам пока не требуется! Тебе же скоро восемьдесят лет...
— Не восемьдесят, — сказал Матвей Кузьмич, — а семьдесят шестой. А вообще вы не по годам смотрите, а по корпусу. Какой у меня корпус! Другому и тридцать лет, а он весь скрюченный, квелый. А мне семьдесят шесть скоро, а у меня все зубы на месте. Не надо если вам рабочих — вы так и скажите, а для чего человеку намек делать...
Матвей Кузьмич ушел.
После этого случая поступать на службу он уже не пытался, хотя был твердо убежден, что встреченный им завхоз обыкновенный дуботол и, если б на месте этого завхоза был кто-нибудь другой, более серьезный, договориться о службе можно было бы. Люди везде нужны. И всякие люди.
Но Матвей Кузьмич, однако, больше ни в одно учреждение не ходил. Он по-прежнему или сидел дома, или бродил по городу, погруженный в думы свои.
Поговорить с сыном о работе он долго не решался. Да и занят был сын все время. Разговаривал Матвей Кузьмич чаще с Ольгой Михайловной. Он простил ей тот случай, когда она высказала свое нелестное мнение о его ведрах. Он приходил к ней на кухню, иногда помогал мыть посуду и, присев на табуретку, говорил, вздыхая:
— Вот, значит, какая тригонометрия! Нахожусь я, как тот суслик, в неволе. И ни дома, и ни в солдатах...
Ольга Михайловна сочувствовала ему. Она была единственным сочувствующим ему человеком. Она советовала ему поговорить с Виктором Матвеевичем.
— Он ведь очень хороший, — говорила она. — Вы объясните ему, как и что.

И Матвей Кузьмич решился наконец. Но, как нарочно, сын собрался уезжать в командировку. Утром он позавтракал, простился со всеми и уехал в трест. Из треста он должен был ехать на вокзал. Разговаривать было некогда.
Матвей Кузьмич потерял последнюю надежду. И неизвестно, как бы чувствовал себя, если бы не произошло одно пустячное событие.
Дома Виктор Матвеевич в спешных сборах забыл бритву. Он позвонил домой. Татьяна Федоровна снарядила в трест Матвея Кузьмича. Она со всеми подробностями рассказала ему, как надо ехать, на какой трамвай садиться и как идти там от остановки. Матвей Кузьмич сказал, что он найдет «безо всякого».
И он действительно нашел.
Швейцар в тресте показал ему, как пройти в кабинет директора, и посоветовал сесть в лифт. Матвей Кузьмич решил обойтись без лифта. Он поднялся на третий этаж, разыскал кабинет. Но у дверей кабинета его остановил секретарь. Чернявый молодой человек сказал, что директор занят, он сейчас уезжает и никого принимать не велел.
— Уезжает он. Понятно?
— Вот я по этому самому делу к нему и иду. Я ему папаша.
Чернявый молодой человек критически осмотрел старика. Потом попросил подождать и сам вошел в кабинет.
Из дверей сейчас же показался Виктор Матвеевич.
— Папаша мой, собственной персоной! — сказал он весело и ввел отца в кабинет.
В кабинете сидели четыре человека в хороших костюмах. Они заулыбались, глядя на старика. Матвей Кузьмин смутился.
— Садись, пожалуйста, — сказал сын и пододвинул ему стул. — Отдохни...
Матвей Кузьмич сел. Но через минуту почувствовал себя особенно неловко. В кабинет входили все новые люди, а он сидел тут и, может быть, мешал заниматься. Он подошел к сыну и сказал негромко:
— Я, пожалуй, пойду. Мне еще в одно местечко надо зайти.
— Ну, как знаешь, Матвей Кузьмич, — сказал сын и пожал ему руку. — А дорогу-то обратно найдешь?
— Конечно, — сказал отец и осторожно закрыл за собой дверь.
— Ну как, добились? — спросил его внизу швейцар, сидевший теперь за маленьким столиком в широкой нише. Он пил чай.
— Свободно, — сказал, довольно улыбаясь, Матвей Кузьмин. И зашел к швейцару в нишу. — Спичек у вас случайно не будет?
Швейцар, погремев спичками, протянул ему коробок.
Вскоре Виктор Матвеевич прошел мимо отца, не заметив его. Виктор Матвеевич спешил. До поезда оставалось меньше четверти часа.
Матвей Кузьмич, проводив сына глазами, улыбнулся и сказал швейцару:
— Видел? Это сынок мой, директор. Я к нему приехал...
— Будет врать-то! — строго сказал швейцар. — У него папаша инженер путей сообщения. Я это точно знаю. Мне говорили...
— Чудак! — не обиделся Матвей Кузьмин. — Чего это я врать буду на старости лет? Я тебе говорю — сын мой родной. Желаешь, паспорт покажу?
— Ну, зачем мне паспорт! — смутился швейцар. Решительный тон Матвея Кузьмина, видимо, поколебал его убеждение. — Может, и в самом деле ваш сынок. Я не спорю. — И вдруг такая любезность: — Да вы чего стоите? Присаживайтесь...
И придвинул стул Матвею Кузьмичу.
Матвей Кузьмич сел. Минута представлялась самой подходящей, чтобы толком расспросить швейцара обо всем и между прочим политично выяснить, нет ли тут интересных вакансий. Швейцар сказал, что вакансий, вообще-то говоря, нету, но, если желательно, можно разузнать через знакомых, где такие вакансии имеются. Известно, что сейчас повсеместно спрос на людей. Даже в газетах пишут, приглашают.
Швейцар не удивился, что папаша директора ищет себе такую должность. Швейцару это показалось вполне нормальным. Он только спросил:
— А в караульные вы не согласны пойти? У меня тут есть на примете одно местечко: караульный нужен в магазин...

Матвей Кузьмич сказал, что можно и в караульные пойти, но интереснее все-таки в швейцары — по старой, так сказать, специальности.
Швейцар сказал:
— Загляните ко мне денька через два, через три. Может, я вам это дело устрою...
Матвей Кузьмич пожелал ему доброго здоровья, поблагодарил и довольный ушел домой.
Дома в эти дни неожиданно развернулись большие работы. Должны были прийти столяры, штукатуры, белильщики — начинался капитальный ремонт квартиры.
Из всех комнат в одну пришлось снести все вещи — зеркала, столы, диваны. Матвей Кузьмич упаковывал в газеты картины, закрывал брезентом шкафы, выбивал ковры во дворе.
Невестка его просила:
— Вы уж, папаша, похозяйничайте тут. Я ведь занята, на службе. А вы уж, пожалуйста... Посмотрите, чтобы все было как следует. Штукатурить будут так вы обратите внимание на штукатурку. Вы ведь, наверное, понимаете в этом. Хозяйственный человек...
— Не беспокойся, Танечка, — говорил Матвей Кузьмин. — Я погляжу все, что надо...
Он был доволен, что ему поручили такое дело, что есть о чем заботиться, за чем следить. И когда пришли штукатуры, он не только наблюдал за их работой, но и помогал им, подносил песок, цемент, поддерживал лестницу. Потом он так же помогал столярам, белильщикам.
Весь ремонт надо было закончить до приезда Виктора Матвеевича. Ждали его через неделю. Очень торопились...
Но Виктор Матвеевич пробыл в командировке больше месяца. Он ездил по заводам Сибири и Дальнего Востока.
В Москву он возвратился поздней осенью. И прямо с вокзала поехал в трест.
Однако и в тресте ему не удалось разрешить всю дорогу мучивший его вопрос.
Из треста он поехал в главк. Он хотел поговорить с начальником главка. Черт знает что! В Сибири простаивают два завода, а здесь, в главке, не хотят даже как следует отвечать на срочные телеграммы.
Надо докопаться до корней.
В главке Виктор Матвеевич раздевался поспешно и с таким видом, как будто ему было жарко. Он был взволнован.
Сняв пальто и шляпу, он бросил их на руки стоявшего в темной нише швейцара и привычно протянул руку за номерком.
— Да не надо. Без номерка можно, — сказал швейцар. — Чего я, пальто не знаю?
Директор треста услышал очень знакомый голос.
Вглядевшись в темноту ниши, он увидел отца.
Матвей Кузьмич стоял перед ним в длинной черной ливрее с золотыми лацканами. Борода его, длинная, густая, была расчесана, разделена на две половинки и лежала на груди, как дорогой воротник.
Вид у него был величественный. Он сдержанно улыбался.
— Это что такое? — спросил растерянно и удивленно сын.
— Служу, — сказал отец.
Виктор Матвеевич хотел еще что-то сказать, но ничего не сказал, махнул рукой и пошел по лестнице.
В приемной он встретил много знакомых хозяйственников, разговаривал с ними, шутил. Потом его позвали в кабинет начальника главка. Он спорил с начальником, доказывал ему справедливость обвинений, выдвинутых против главка, делал подсчеты, вычерчивал на бумаге какие-то круги, говорил о бочках, о цементе, о гвоздях.
И все время у него не выходил из головы этот швейцар, что стоит внизу, у вешалки. Ведь кто не знает, как это вышло, может подумать, что он, директор треста, нарочно послал старика отца в швейцары, чтобы не кормить. Ведь его, директора треста, на смех поднимут. Безобразие!
Виктор Матвеевич не знал, что отец его устроился в главк по протекции швейцара треста, к которому он случайно зашел за спичкой и с которым познакомился, отрекомендовавшись папашей директора. Польщенный таким знакомством, трестовский швейцар охотно откликнулся на просьбу директорского папаши пристроить его куда-нибудь и написал ему записку к своему племяннику, коменданту в главке.

Все это было бы интересно узнать Виктору Матвеевичу. Но он не узнал об этом, потому что, выйдя от начальника главка и спустившись вниз, сразу же начал строгий разговор с отцом, потребовал, чтобы отец сейчас же подал заявление об увольнении.
— Или я попрошу, чтобы тебя уволили.
— Это как же так? — сказал отец, рассердившись. Заискивающий, немножко печальный его тон моментально пропал. В голосе послышались гнев, обида и негодование. — Это как же так — уволить? Да ты знаешь, меня сроду никто не увольнял. Не за что было. Что я, вор?
— Не вор ты, и не в этом дело, — сказал сын немножко растерянно. Просто надо, чтобы ты уволился. Тебе бумажку выдадут, что ты работал хорошо и ушел по собственному желанию.
— Да не желаю я! — сказал отец непримиримо. — На что мне бумажка, ежели я ни в чем никогда замечен не был? Я в местком пойду. Как же можно так делать! Это вам не старый режим. Просто-напросто человека угнетать. Довольно, поугнетали...
Матвей Кузьмич, сердясь, повышал голос. Проходящие смотрели на них. Виктор Матвеевич сказал:
— Ну ладно, дома поговорим.
Оделся и вышел.
Дома Виктор Матвеевич рассказал жене о выходке отца. Он так и сказал: «отцовская выходка». Жена сказала, что знает об этом, удивлена, но все-таки считает, что требовать увольнения отца не следует.
— Это неправильно, — сказала она.
— Но надо что-то делать, — сказал муж. — Надо убедить его как-нибудь, что ли. Мне перед людьми неудобно...
Вскоре пришел Матвей Кузьмич. Он разделся в передней, снял сапоги, босой прошел в свою комнату. Виктор Матвеевич постучал к нему. Виктор Матвеевич был настроен сердито.
— Это что еще за фокусы ты устраиваешь? — спросил он, входя в комнату.
Матвей Кузьмич сидел на окованном жестью сундуке, в сарпинковой расстегнутой рубашке, босиком. Вид у него был обиженный.
Без ливреи, без шапки с расписным околышем он был просто стариком, дряхлым, немощным, усталым. Из расстегнутого ворота рубашки выглядывала темная, морщинистая, стариковская шея.
— Никаких фокусов я не устраиваю, а просто скучно мне, — сказал он грустно. — Ведь любая животная и та свое дело знает.
Виктор Матвеевич внимательно посмотрел на него и сказал:
— Не понимаю я все-таки: для чего тебе служба-то потребовалась? Что ты, в деньгах нуждаешься, что ли?
— Скучно мне, Витенька, — печально повторил отец. — Очень скучно без всяких делов. Я и помереть так могу. От скуки.
Виктор Матвеевич сел рядом с ним на сундук. Он смотрел на его большие, потемневшие от работы и времени руки, мирно покоившиеся на коленях.
И эти руки убедили сына больше, чем слова.
Он подумал, что отец действительно может раньше срока умереть, вырванный из привычной для него обстановки труда, забот, мелких будничных волнений. На него надвигается смерть. И отец уже чувствует неотвратимое ее приближение. И боится ее. И, цепляясь за жизнь, хочет голову и руки свои занять делом, заботами. Хочет работать и хлопотать, чтобы не думать о смерти, не чувствовать ее приближения. Это же так просто, так естественно...
— А они, знаешь, Витенька, — вдруг оживленно сказал отец, — меня прямо ударником считают. Мне нынче комендант сказал... «Мы, говорит, вас очень ценим как старый кадр. Вы, говорит, порядок понимаете и разные манеры. Молодые могут свободно пример с вас сымать». И велел мне ходить на кружок. Говорит: «Покажите пример». Понял?
— Ну что ж, — сказал сын неожиданно для себя. — Ладно. Работай. Раз тебе нравится. Я знаю, ты работник хороший.
Выцветшие глаза отца заблестели. Он стал надевать торопливо носки и туфли, чтобы скрыть волнение, вдруг охватившее его.
Сын смотрел на него и улыбался. И, улыбаясь, сын спросил:
— Ну, а чаевые-то берешь?
— А как же! — сказал отец. — Приходится. Дают.

— Ну, это, пожалуй, лишнее, — заметил сын. — Мог бы и не брать. Что за холуйство...
— Как же я могу? — сказал отец. — Раз дают, должен брать. Обижать публику я не имею полного права.
Матвея Кузьмича позвали обедать.
Он пообедал, закурил, вышел на кухню и, присев на табуретку, сказал Ольге Михайловне:
— Вот, значит, какая тригонометрия бывает. Люди как будто и с образованием и на хорошей должности, а тоже всего не понимают, как идет жизнь и для чего она устроена. Ты, мол, не служи, отдыхай, поскольку имеются деньги и готовые харчи. А разве в харчах дело? Разве я виноват, что являюсь, можно сказать, ближайшим родственником директора треста? Разве я могу только про это все время думать?..

Москва, лето 1937 г.

Через кладбище

Милым моим товарищам в Белоруссии

1

— Не пойду я, — сказал Михась и снова потянул на себя рваное серенькое одеяло. — Не пойду и не пойду. Вот и все.
— Как это ты вдруг не пойдешь? — удивился Мамлота, протянул руку, чтобы снова сдернуть с Михася одеяло, и на мгновение мучительно зажмурился от резкой боли. — Тебе же, это подумать только, все документы уже заготовлены.
— Документы, — потер кулаком глаза Михась. — Что я, не знаю, кто их писал? Она же вовсе неграмотная по-немецки, эта Клавка Прищемилина. И этот Бумбер как лопух. Такие печати ставит, что Ворожейкова прошлый раз чуть не повесили. Еле убежал. И все из-за печати. Можешь его самого спросить. Я его вчера видел в Богатове. Говорит: «Они меня уже в сарай заперли и двух полицаев поставили». Ворожейков же врать не будет...
Мамлота поправил повязку на ноге, осторожно погладил ногу.
— Так что же ты хочешь, Михась? Может, ты хочешь, чтобы тебе сам Гитлер документы писал и печати ставил?
— Не Гитлер, но хотя бы Наташа Гилевич. Я с ее документами везде ходил. И без звука.
— Тебе же известно, где сейчас Наташа. Смешной ты, ей-богу...
— Пусть смешной. Но не пойду. Пусть хотя бы Петьку Замковича посылают. Ему, тем более, выдали сапоги.
— Что это я, что ли, выдал ему сапоги? Это же Казаков приказал...
— Пусть Казаков его и посылает.
Мамлота медленно и грузно поднимается, встает, почти касаясь черной седеющей головой потолка землянки, берет костыль. Может, собирается пойти доложить Казакову.
Михась чуть встревоженно смотрит на него, смотрит, как он прилаживает костыль под мышкой.

Но Мамлота не уходит:
— Глупый ты все-таки, Михась. Я даже никогда не думал, что ты до такой степени глупый. Даже смешно и печально. Бугреев же никого, кроме тебя, не примет. Поскольку ты уже был у него. И он твой, ты сам говорил, хороший знакомый. Неужели ты правда женщины испугался?
— Не испугался, но мне обидно, — отбрасывает одеяло Михась. — Ты знаешь, кто это такой был — Ирод?
— Ирод?
— Вот видишь. Даже ты не знаешь, — нехотя надевает штаны Михась. — А я как только подхожу к калитке, она сейчас же начинает: «Ну что, говорит. Ирод, опять явился?» И делает вот такое лицо...
Мамлота наклоняет голову и, закрываясь шапкой, смеется.
— Тебе, конечно, смешно.
— Да не смешно мне, — как бы утирается шапкой Мамлота. — С чего ты взял, что мне смешно? Ничего смешного нету. Ты только забавно показываешь, какое у нее лицо.
— А ты бы сам посмотрел. В такой момент я все бы бросил и никогда бы туда не ходил. Идешь по улице и потом еще по еврейскому кладбищу. Казаков же не велит в таких случаях даже пистолет с собой брать. Чтобы я был похож вроде как на деревенского. А тут вдруг, как прошлый раз, висят прямо у бывшего горсовета два повешенных. И на них вот такой плакат: «Мы партизаны. Мы стреляли в немецких солдат». У меня прямо вся душа в этот момент переворачивается. А они сами лезут мне в глаза. И один как будто очень хорошо знакомый...
— Правда — знакомый?
— Нет. Я говорю: как будто знакомый. Но это, наверно, и не партизаны. Это, наверно, они просто жителей, как обыкновенно, за какое-нибудь дело повесили. Но все равно, ты же сам знаешь: пока идешь, весь перетрясешься. А потом приходишь, и она сразу такое тебе говорит: «Ну, Ирод, опять явился?» И все из-за того, что я в прошлом году проводил в отряд ее парней — Виктора, а второго как зовут, я забыл. Я же не из-за своего удовольствия их провожал. И не только их, а еще двенадцать человек из Жухаловичей. Я их даже вовсе сейчас не помню. Они и не в нашем отряде были. Их направили, кажется, к Лазученкову, когда делали рейд. А она меня все время теперь спрашивает: «Где мои мальчики, куда ты их увел?» И опять добавляет: «Ирод». Ну тебе бы это, Кастусь, понравилось, если б тебя называли, допустим, Гитлером?
Мамлота задумывается. Потом говорит:
— Ты, Михась, тоже должен войти в ее положение. Она ведь все-таки ихняя мамаша...
— Ну и что? У меня тоже была мамаша...
Михась долго и, кажется, пристально смотрит в забрызганное оконце, за которым уже начинается сизый и зябкий туманный рассвет.
Не ярко, не пламенно горят в белесом тумане костры. В огне сипят и потрескивают ветки. И чадный дым, смешиваясь с туманом, ползет по холодной, жухлой траве, окутывая толстые стволы дубов и ясеней, повидавших уже не одну войну на этой многострадальной земле. Невидимый кто-то ущипнул, должно быть, девушку-повариху у костра, и она, взвизгнув, ударила кого-то половником и захохотала.
— Девки нигде никогда не теряются. Жизнь идет, — вглядывается в оконце и Мамлота. Потом поглаживает Михася по косматой голове, будто хочет причесать. — А что касается сапогов, так я могу тебе свои отдать. Хотя они и не новые. Я все равно, ты видишь, только один сапог сейчас ношу. Когда еще заживет моя нога. А там зима будет. Я, наверно, валенки надену.
— Не надо мне, ничего не надо, — вытаскивает из-под топчана мешок Михась. В мешке у него — еще мешочек и полотенце. Он с вдруг вспыхнувшим ожесточением хлопает себя полотенцем по плечу. — Когда кончится война и если мы правда взойдем в Берлин, как обещает Казаков, я у самого Гитлера сапоги отыму. Пусть, зараза, босый ходит.
— Значит, ты что, в живых его предполагаешь оставить?
— Кого это?
— Ну, Гитлера.

— А-а... Там будет видно, — достает из мешочка, похожего на кисет, зубную щетку Михась. — До конца войны далеко. Может, он еще и нас в живых не оставит.
— Настроение, я гляжу, у тебя зыбкое, Михасик.
Плащ-палатка, заменяющая дверь, шевелится, отодвигается.
В землянку впрыгивает тоненькая, рыженькая, с косичками девушка.
— Михась, ты где? Ах, вот ты!.. Доброе утречко, Константин Савельич, кивает девушка Мамлоте. — Так вот, Михась, твои документы. Это, смотри, даже с твоей фотокарточкой — постоянное удостоверение. А это тебе пропуск: аус... аусвайс.
— Сама как следует не можешь выговорить, — наклонившись над тазом, чистит зубы Михась под жестяным умывальником. — А писала их, конечно, тоже ты, Клавка?
— А кто же, — смеется девушка. — Но бланки эти настоящие, немецкие. Из немецкой типографии. Вот тут маленькими буковками, смотри, напечатано: город Лейпциг. Мы их в Мальцеве взяли, когда громили комендатуру. Это подлинные бланки.
— Подлинные, — хмурится Михась. — Немцы, наверно, после того их уже десять раз переменили, эти бланки. А печать кто ставил? Конечно, Гришка Бумбер?
— А кто же?
Мамлота осматривает документы.
— Печать... дерьмовая. Но это ничего. Ты, Михасик, ее вот так большим пальцем прикрывай, если в случае чего придется показывать. А бланки, она правильно говорит, настоящие. Я сам по таким еще неделю назад ходил. И немцам показывал. А печать прикрывал. Правда, мне аусвайс Наташа писала.
— Вот в том-то и дело, что Наташа, — прячет документы за пазуху Михась. — По Наташиным аусвайсам я без разговора хоть в Берлин пойду. Она же немецкий язык преподавала.
— А я не преподавала, но, может, еще буду преподавать, — смеется Клавка. И заверяет: — Я их в точности с Наташиных переписываю. Буква в букву. И где немецкий текст и где русский. Никто покамест не жаловался. На печать, верно, кое-кто обижается. Но это от меня не зависит... Ой, какое у тебя грязное полотенце! Как не стыдно! Кавалер! Дай постираю.
— Ладно. Обойдемся. Ты документы получше пиши.
Из-за плащ-палатки в землянку просовывается бородатая голова:
— Ну, где у вас этот хлопец, которого надо отвезть? Готовый он или нет? Ждать больше не могу.
— Сейчас выйдет, — отвечает Мамлота. И говорит Михасю: — Вон тебя уже экипаж ожидает. Очень надежный мужик. У немцев служит. Я его знаю. Ездил с ним.
Михась садится на корточки, укладывает в мешок полотенце, хлеб, кусок сала, несколько вареных картофелин, приготовленных, видимо, еще с вечера, и смотрит на Мамлоту:
— Как считаешь, взять с собой гранаты?
— Не стоит. Лишняя и вроде как бы опасная обуза.
— А пистолет?
— Ну это тем более. Казаков вообще-то, ты знаешь, не запрещает, но, как говорится, не рекомендует в таких случаях. Вдруг тебя остановят, начнут обыскивать. Не советую.
— Нет, нет, пусть он возьмет с собой хотя бы гранату, — вмешивается в разговор Клавка. Все еще она почему-то не ушла, хотя и Мамлота и Михась больше не замечают ее. Но она уселась на топчан и, минуту назад веселая, теперь, по-старушечьи пригорюнившись, неотрывно смотрит, как Михась собирается в дорогу. Вот он надевает ворсистую теплую кепку. — Я тебе говорю, возьми с собой хотя бы гранату, — осторожно трогает она его сзади за рукав стеганки. — Там у Жухаловичей на каждом шагу немцы. Возьми или гранату, или пистолет.
— А ты-то еще чего? — наконец оглядывается на нее Михась.
— Похоже как жена, — смеется Мамлота. — Или у вас, между вами что-нибудь такое?
— Я сам не знаю, чего она, — пожимает плечом Михась. — Пришла, принесла документы — и вдруг, пожалуйста, уселась.
— Я могу и уйти, — вспыхивает Клавка.
И уходит.

— Все-таки, я замечаю, Михась, ты не в духе, — морщится Мамлота, когда они поднимаются из землянки. — Может, тебе правда сегодня не ходить? Знаешь, как Казаков говорит. Если коммунист или вот, как ты, комсомолец идет на задание, у него всегда должно быть хорошее настроение. Чтобы все люди это видели и верили, что победа обязательно будет за нами. А ты сегодня какой-то вялый. Я тебя не узнаю.
— Нисколько я не вялый, — слабо протестует Михась. — Я просто позавчера не выспался и вчера тоже. И сегодня, как опять вспомню ту женщину, Софью Казимировну, у меня прямо все внутри...
— А ты ее пока не вспоминай. Забудь, — опирается всем грузным телом на костыль Мамлота. — Вспоминай что-нибудь интересное, веселое. Было же у тебя что-нибудь очень веселое. Вот это и вспоминай.

2

На широкой полукруглой поляне среди шалашей и землянок, укрытых дубовыми ветками, уже жарко пылают костры. И над каждым свисают с толстых треног огромные котлы, в которых варится — можно угадать по запаху баранина с картошкой.
И тут же, чуть подальше, в еще густом предутреннем тумане, пасутся, щиплют мокрую, тронутую первым морозцем траву короткохвостые мохнатые овцы. На них начальственно по-немецки — «цурюк!», «во вильст ду хин?» покрикивает немолодой пленный австриец в засаленном, мышиного цвета мундире.
Еще издали разглядев Михася и Мамлоту, австриец берет под козырек и старается по-военному щелкнуть каблуками.
— А-а, — кивает Михась. — Гутен морген.
— Гутен морген, — опять берет под козырек австриец. И с трудом выговаривает: — Добрая будра.
— Не будра, а — утро. Понятно — утро?
— Бутра, — охотно напрягается австриец.
— Ведь сколько воюешь у нас, — смеется Мамлота, — а запомнить не можешь — утро. Я говорю — дубист шон ланге. Давно, говорю, воюешь у нас. Понял? Геген унз, против нас. Ин унзер ланд, на нашей земле...
Мамлота показывает, как берут на изготовку автомат и веером, прижимая к животу, стреляют.
— Ой, найн, их бин найн, нет военный, — смеется и австриец. — Их бин каин зольдат мер. — И показывает на овец: — Их бин дизен шафен шеф.
— Ты слышишь, Михась, чего он говорит? Понимаешь? Он говорит: я теперь не военный, не солдат. Я только начальник над этими овцами. Овечий начальник, шафен шеф.
— Так-то лучше. Не так чтобы опасно, — улыбается Михась.
А австриец показывает куда-то вдаль, прикладывает ладони рупором ко рту и трубит, подражая ходу поезда: «Ту-ту-ту». Потом делает испуганные глаза и произносит, как бы что-то отрубая: «Бам, бам, бам! Шреклих!»
— Чего это он показывает?
— Неужели не понимаешь? Он думает, предполагает, что ты сейчас идешь подрывать железную дорогу. Представь, какой сообразительный. Он уже угадал, что ты — подрывник. Или это ты ему объяснил?
— Зачем это я буду ему объяснять? — пожимает плечами Михась. И кричит австрийцу: — Найн, их шпацире. Я просто гуляю.
— Филь фернюген, — почтительно кланяется австриец. И улыбается хитро.
— И как вы его тогда не зашибли, в такой свалке? — удивляется Мамлота.
— Случайно. Он же был безоружный.

— Как безоружный? Его автомат сейчас у Митьки...
— Ну да, у Митьки Стынина. Ох, Митька — это сумасшедший сибирячок! Он прямо с ходу тогда столкнул австрийца в овраг. А я у него вырвал автомат. И вот такой нож! Правда, Митька хотел его еще камнем по башке. Но я не дал. Я вижу — овцы. И он, правильно, и тогда был ихний шафен шеф. Если б мы его зашибли, мы бы ни за что всех овец оттуда не вывели. Он сам их погнал в нашу сторону. Правда, ему Лида Савичева помогала. Это ведь его баранина варится, — кивает Михась на котлы. — А у меня вот такое цыганское счастье. Как у нас ничего нету или одна картошка и конина, я все время здесь нахожусь. Как начнут готовить хорошую еду, вроде баранины, мне опять надо уходить...
— Ты и сегодня мог бы хорошо позавтракать, если б не разлеживался да не устраивал дискуссию. Ведь я тебя еще когда разбудил. А сейчас — некогда. Человек ждет.
— Ничего, он подождет, — неожиданно говорит Клавка. И откуда она опять появляется? — Подождет он. Подождет. Ничего ему не сделается. А ты покушай, Михась. Это, можно сказать, твоя баранина. И австриец твой.
— Это уж, если на то пошло, наш общий с Митькой австриец, — веселеет Михась. — Даже больше Митькин, чем мой...
— Митька Стынин уже загорает, — хохочет Клавка. — Ему вчера здорово попало от самого Казакова.
— За что? Митька же отчаянный парень.
— Вот за это и попало, — втыкает палец в незримую точку Клавка. — Он что сделал? Он отнял у этого австрийца не только автомат, но еще часы, письма, записную книжку и разные открытки. Потом вы, Константин Савельич, помните, ему приказали все, кроме автомата, отдать австрийцу обратно. И он отдал. Даже открытки. Но только однографические. А порнографические себе оставил. И стал всем показывать. Мне тоже показывал.
— И ты пошла пожаловалась? — презрительно смотрит на нее Михась.
— Зачем? — встряхивает рыжими косичками Клавка. — Что я, кляузница? Нашлись люди, сообщили Казакову. И Казаков вчера вечером дал ему такую прочуханку...
— А открытки куда?
— Казаков их тут же велел уничтожить. А Митька будет теперь, ему приказано, две недели копать котлованы под землянки и всякое такое.
— Все равно Митька бы сейчас скучал, — говорит Мамлота. — Нету тола, нету мин. Нету, значит, для него горячей работы. И мы сидим как цуцики. Ох, Михась, иди. Ты сейчас можешь всех выручить.
— Так я же и так иду. За мной дело не станет.
— Нет, ты минуточку погоди, — просит Клавка. И кричит девушке у костра: — Лида, давай! Он согласен.
Повариха подносит алюминиевую миску, полную картошки и баранины.
Клавка отрезает ломоть хлеба.
— Не могу я, — страдальчески глотает сладкую слюну Михась. — Меня же человек ждет.
— А ты знаешь, где этот человек? — Клавка оглядывается вокруг и показывает в туман: — Вот он под кустом сидит, твой человек. Лида ему тоже положила баранины.
Михась садится на бревно, ест. И Клавка присаживается подле него.
— Ну просто как супруга, — смотрит на них Мамлота. И, уже отойдя, смеется: — Вернешься, Михась, женим тебя на ней. Попрошу, чтобы Казаков отдал в приказе: так, мол, и так, вступили в законный брак. А после войны сами распишетесь в загсе.
Михась ест и, косясь на Клавку, как бы оправдывается перед Мамлотой:
— Я даже сам не знаю и удивляюсь — чего она ко мне вдруг...
— Но она-то знает, — смеется Мамлота. И уходит, тяжело опираясь на костыль.
А Клавка почему-то уже шепчет, хотя поблизости никого нет:
— Ты не слушай глупости, Михась. Вот мой «вальтер». Я даю тебе его на счастье. Я сама, честное комсомольское, очень счастливая. — Она кладет ему в карман стеганки небольшой трофейный немецкий пистолет.
— Да это же не «вальтер», — вынимает из кармана и разглядывает пистолет Михась. — «Вальтер» должен быть большой, почти как тэтэ...

— А я тебе говорю — это «вальтер». Только маленький. Вроде как дамский, — настаивает Клавка. И удивленно поднимает брови: — Неужели ты еще не видал маленькие «вальтеры»?
— Да видел я всякие... Дамский... Для чего это будет на войне дамский?
Клавка привстает с бревна, оправляет юбку, улыбается:
— Но дамы же тоже бывают на войне. И пистолеты, понятно, могут быть дамские...
Михась искоса и насмешливо взглядывает на Клавку:
— Ты, выходит, тоже — дама?
— Ну, не дама, — смеется Клавка, — но все-таки. А ты не разговаривай, Михась. Бери этот «вальтер». У меня другой есть. Бери. Я даю его тебе на счастье. У него полная обойма. Он как перышко легкий. И вообще — удобный во всяком случае. Ты его в любую минуту везде спрячешь. Если, понятно, тебя вдруг будут обыскивать. Там же, в Жухаловичах, на каждом шагу немцы.
— Да нету там никаких немцев. — Михась снова вынимает из кармана Клавкин пистолет и кладет его рядом с нею на бревно. — Что я там, разве никогда не был, в Жухаловичах?
— Там на каждом шагу немцы, — жарко шепчет Клавка. — Я там летом была. И меня там тоже на базаре вдруг начали обыскивать. Но я так спрятала этот «вальтер»...
— Куда же ты его спрятала?
— Не важно, — краснеет Клавка, краснеет, как вспыхивает. — Возьми, возьми, Михась.
Михась ставит пустую миску на траву:
— Не надо мне ничего, Клавка. И никакого пистолета...
— Ну скажи: Клавочка. Все Клавка и Клавка. Скажи: Клавочка. Хочешь, я тебя поцелую?
— Да иди ты, — теряется Михась. — Для чего это вдруг?
— Грубый ты какой. А я почему-то всегда тебя жалею. И всегда тебя жду, когда ты на операции. И даже боюсь иногда, что ты не вернешься. Когда вы на той неделе ходили на Блатин подрывать эшелон, ставили какую-то новую мину, без шнурка, я, ты знаешь, три ночи не спала. Я еще тогда хотела тебя поцеловать, когда ты вернулся. Но ты... помнишь, я подошла к тебе, а ты даже не обратил никакого внимания.
— А для чего я должен обращать?
— Ну неужели ты ничего не понимаешь, не осознаешь? Неужели ты не чувствуешь, что где-то есть человек, который тебя... жалеет?
— А для чего меня жалеть? Что я — инвалид какой-нибудь?
— А разве только инвалидов жалеют? Но все равно я тебя поцелую...
Клавка вдруг так сильно обняла, так крепко сдавила его шею, что ему стало душно и он не смог бы ее оторвать от себя.
Она поцеловала его не в губы, а сперва в один глаз, потом в другой.
— Это я целую тебя на память. Чтобы ты вспомнил меня, если тебе будет плохо. И если ты вспомнишь меня, ты не пропадешь нигде и никогда. Ни при каких обстоятельствах.
— Ты что, ворожея? — спросил Михась. — Или просто — суеверная?
— Я счастливая, — облизала пухлые губы Клавка. — Усваиваешь, я счастливая? И я люблю тебя. И ты никогда нигде не пропадешь. Я ручаюсь...
— А документы ты мне выдала, ты считаешь, хорошие?
— Печать плохая, — вздохнула Клавка. — Но Константин Савельич правильно сказал — зажми ее вот так пальцем.
Бородатый мужик, сидевший под кустом в отдалении, наелся.
Михась видел, как он корочкой протер внутри миски и дожевывал эту корочку, солидно оглаживая бороду.
Вот наконец мужик встал и пошел к костру, — должно быть, сдавать пустую миску Лиде.
Михась слушал торопливую, взволнованную речь Клавки, не вникая во все слова.
Напряженно ждал, когда бородатый направится от костра к лошади, белевшей за кустарником.
Там за орешником, за липами, между дубов и ясеней, пролегла неширокая длинная просека, по которой и поедет сейчас Михась.
Мужик сдал свою миску, попрощался с Лидой за руку и зашагал в сторону просеки.
И Михась, застегнув ворот рубашки, вскинув на одно плечо лямку мешка, пошел за мужиком, стесненным голосом говоря Клавке на ходу:

— Ты уж, пожалуйста, я тебя прошу, больше не иди за мной. Мне, понимаешь, просто неудобно. Все увидят. Нехорошо...
— Ну и пусть увидят.
— Нет, мне, знаешь, Клава, все-таки неудобно...
И прибавил шагу, стараясь поскорее уйти от Клавки и освободиться от внезапного волнения, сообщенного этой рыженькой, с виду невзрачной девушкой, которую и в самом деле он раньше не очень замечал.
На какое-то мгновение ему вдруг стало неясно, куда и зачем он сейчас идет. Только знал и чувствовал, что ему надо спешить.
— Пашкевич, погоди! Погоди, Пашкевич!
Михась оглянулся и с удивлением и даже с испугом увидел мелькавшую среди кустов — с той стороны, где землянки медсанбата, — белую, свежевыбритую и блестящую голову Казакова.
Михась хотел было выпрямиться, взять руки по швам, но мешок соскользнул с плеча и упал.
Михась наклонился, чтобы поднять его. А когда выпрямился, Казаков уже стоял рядом.
Низкорослый живоглазый Казаков смотрел так пронзительно и строго, будто ему уже известно, чем только что занимался партизан Пашкевич Михась вон на той поляне. И усы Казакова, черные, неожиданные на бледном лице, казалось, недовольно топорщились.
— Я сейчас еду в Жухаловичи, — в легком замешательстве произнес Михась.
— Я знаю, — кивнул Казаков и расстегнул воротник кожаного пальто. Видимо, быстро шел и ему стало жарко. — Мне уже докладывал Мамлота. Это полезное дело. Но только вот что. Надо как-то уломать старика, чтобы он допустил еще двух-трех наших парней. Дело бы, разумеется, пошло быстрее. И насчет транспорта надо подумать. Ну сколько ты можешь один унести? Килограмм десять, от силы пятнадцать.
— Нет, может, и двадцать, двадцать пять унесу.
— Ну, это едва ли. Да и, разумеется, не надо попусту рисковать. Сколько всего он может выплавить?
— Не знаю, врать не хочу. Думаю, если никто не помешает, полтонны сделает. Прошлый раз я насчитал у него пять могил. Но у него их, наверное, больше.
— Огромное дело, — погладил себя Казаков по голому черепу. — Если он даже сделает двести — триста килограмм, мы ему пару овец подарим. И еще чего-нибудь из еды. Если он нуждается.
— Он гордый. Он ничего не возьмет.
— Все мы гордые, но кормиться надо, — пошевелил усами Казаков, будто изобразив улыбку. И чуть склонил голову, прислушиваясь. — Чуешь, как он опять пошел?
И Михась услышал отдаленный стук колес по рельсам.
— Осень, далеко слышно.
— Душа болит, — неожиданно вздохнул постоянно суровый Казаков. — Почти неделю бездействуем. А его надо опять на рельсах бить. Разумеется, за тол мы ничего сейчас не пожалеем. Если надо, этот мужик, — кивнул Казаков в сторону просеки, — может прямо сюда все доставить. Попробуем, разумеется, в крайнем случае здесь выплавлять. Это золотой мужик, вполне надежный. Ты с ним сговорись. Он все, что хочешь, сделает. Смекалистый... Но, разумеется, без толку там куда не надо не лезь. Главное — разведай. Условься. Поставим дело. Пошлем людей, транспорт. Наладим ему питание, охрану, чтобы было, разумеется, с размахом. Иди. Желаю тебе.
Казаков не пожал Михасю руку, не похлопал его по плечу. Все это не положено и ни к чему. Но когда Михась повернулся, пошел, Казаков вдруг сдернул с него теплую, ворсистую кепку и спросил почти сердито:
— А этот гречневый блин зачем на голове носишь? Ведь не холодно. Неужели хочешь лысым стать?
Многие знали, что не старый еще Казаков сильно переживает из-за своей лысины. Он убежден, что, если не носить кепку или шапку, если все время подставлять лысину дождю и ветру, холоду и солнцу, она в конце концов, сама защищая себя, покроется волосами.
Так это или не так, но Казаков в это верил. И никто не смеялся. Если человек в этакой кутерьме заботится о волосах, стало быть, надеется сохранить голову.

Михась спрятал кепку за пазуху.

3

Бородатый мужик долго и как-то напряженно молчал, пока они проезжали узкую, длинную, изгибистую просеку.

И Михась молчал, сидя спиной к вознице и свесив ноги, как в воду, в сырой и мозглый туман, ползущий с ближайших болот. Он забыл, казалось, обо всем — и о Клавке, и о Мамлоте, и даже о разговоре с Казаковым. Думал только о том, что его ожидает впереди, в этих Жухаловичах, знакомых с детства и таких загадочно тревожных теперь.

О Клавке неожиданно напомнил бородатый:

— Девчонка рыженькая хорошая. Шустрая, как белка. Уцепилась — беда, нет спасения: «Дядечка, покушайте, пожалуйста». — «Да нет, говорю, не хочу. Дома покушаю. Не желаю, мол, объедать партизанов». А она одно что: «Покушайте да покушайте, хоть попробуйте маленько, какая баранина, отбитая у немцев». Ну, сел. Правильно, еда царская. Оторваться нельзя. Наелся, как дурак на именинах. Теперь можно доехать хоть до самого-самого. Хотя бы даже и до Берлина...

Михасю были приятны слова о Клавке. Но задело упоминание о Берлине. Вернее, подозрительным показался оттенок и спокойствие, с каким мужик произнес «можно доехать». И Красная Армия и партизаны стремятся в Берлин, хотят дойти до Берлина, но именно дойти с боями, с грохотом, а не доехать. Доехать до Берлина могут те, кого сейчас насильно туда везут, или те, кто связал судьбу свою с Гитлером и кто считает теперь Берлин центром земли. И мечтает побывать там, в Берлине, где будто бы идет, невзирая на войну, веселая, сытая жизнь, если верить немецким газетам на русском языке.

Михась не верит этим газетам. И никогда не поверит. И чтобы, как говорится, прощупать на всякий случай настроение мужика, спросил:

— А может, нам, гражданин, лучше уж до Москвы доехать?

— Нет, молодой человек, до Москвы нам сейчас далеко, — замотал головой возница. — Не прорваться. А Берлин — вон он. Все поезда туда идут...

И эти слова не понравились Михасю.

Телегу потряхивало на невидимых выбоинах и буераках.

Наконец выехали на хорошо укатанный большак, глянцевито поблескивавший сквозь туман под нежарким осенним солнцем.

— Да, партизаны, — опять заговорил бородатый, оглядываясь на предзимне потемневший лес. — Пятачок в лесу. Землянки. Костры. Вот тебе и все партизаны. Пятачок. Истинное слово — пятачок. А сшибить, изничтожить вас он все-таки почему-то не может, не смеет. Или занят очень на фронтах. Фронта-то какие. От моря и, можно сказать, до моря...

Михась не откликнулся. Не хотел откликаться. Да и бородатый в задумчивости как бы разговаривал сам с собой, не особенно нуждаясь в собеседнике.

Хорошо укатанный большак тянулся меж побуревших от времени заборов и загородок, мимо пожелтевших садов и неубранных картофельных полей, мимо амбаров, сарайчиков и полуразрушенных каменных и деревянных домов, то с вырванным бомбой углом, то срезанной снарядом крышей.

Михась смотрел по сторонам. И удивляли его не развалины, не обгоревшие дома, не остовы спаленных домов — их было много, и глаз давно привык к ним, — а чудом уцелевшие здания и даже свежеотремонтированные: на стенах пятнами проступает непросохшая штукатурка, а окна посверкивают только что вставленными стеклами...

Возле одного такого дома у крыльца стоял немецкий солдат без картуза и чистил щеткой, макая ее в большую банку с ваксой, должно быть, офицерский блестящий сапог, насадив его на руку по самое плечо. А рядом с солдатом хохотала, закидывая голову, хорошенькая

наша девушка в пестром, с бантами на плечах переднике. Наверно, солдат ей рассказывал что-то смешное.
Хохот девушки будто колол Михася в самое сердце. Он стиснул зубы и закрыл глаза. И открыл, когда уже миновали и этот дом с хохочущей возле крыльца девушкой и еще два таких же больших, недавно, видимо, отремонтированных дома.
Навстречу двигалась повозка, запряженная парой разномастных лошадей. Управлял ими обыкновенный деревенский дядька, а позади у него на соломе спали два немецких солдата. Из повозки выглядывали автоматы. Как легко можно было бы переколотить этих немцев даже из тэтэ. И автоматы можно было бы забрать. Тихо на дороге. Никого не видать. Эх, жалко, пистолета нету! Впрочем, и с пистолетом Михась едва ли бы решился в такой момент на такую операцию. Не за этим послан...
— Ведь что он теперь опять удумал? — услыхал Михась за своей спиной голос бородатого. — Он удумал опять ягдкоманды. Стало быть, надо понимать, по-русски — охотничьи команды. Набирает в них самых отборных своих солдат, вроде физкультурников. Добавляет к ним полицаев, тоже отборных сукиных сынов. И вот прочесывает таким способом леса, с пушками, с минометами. А толку — чуть. Партизаны как были, так и есть. И еще больше стало. В чем же дело? Не может он, стало быть, прочесать все наши леса? Не в силах? Ну вот вы, например, сидите на вашем пятачке. Не страшно вам, если он вас окружит?
Эти вопросы уже были прямо обращены к Михасю. Не отвечать на них было бы не любезно. И Михась пожал плечами:
— Кому страшно, а кому и не очень. Казаков правильно говорит: немцу должно быть страшнее, поскольку он на нашей земле.
— Вот то-то и оно-то. Вот это-то до слез и обидно, молодой человек, что он — на нашей земле, — придержал лошадку бородатый и вынул из-за пазухи кисет. — А ведь как недавно еще выхвалялись мы перед всем светом во всех газетах и по радио, что, мол, ни одной пяди своей земли не отдадим. А отдали-то, вон гляди-ка, полдержавы. И ведь вам, молодым людям, в школах, наверно, тоже объясняли учителя, что все, мол, у нас в истинном порядке и красиво, как во сне: Ворошилов на лошадке и Буденнов — на коне. А что получилось? Где, допустим, сейчас Москва и где — мы? Гитлер даже, получается, от нас в настоящее время поближе...
— Кому Гитлер поближе, тот пусть и целует его в это самое место, сердито завозился Михась, подгребая под себя солому. И опять пожалел, что не взял пистолета.
Мутный мужичонка везет его. И может завезти куда угодно с такими разговорами. И Казаков и Мамлота легко могли ошибиться в мужичонке. Были и не раз — такие случаи, когда даже в отряде некоторые вели под шумок антисоветскую агитацию, а у начальства на глазах выдавали себя за патриотов. Кто он, кто его знает, откуда он взялся, этот мужик? И голос его почему-то кажется очень знакомым. Где-то Михась уже слышал такой голос.
— Ты что, обижаешься вроде? — дохнул бородатый в его сторону махорочным дымком. — На меня разве обижаешься? Что я вроде неправду говорю? На это обижаешься?
— Ничего я не обижаюсь, — взял в рот соломинку Михась. — Но это не наше с вами дело, гражданин, не нашего ума дело обсуждать, кто ближе, кто дальше. Не нашего это ума...
— А это наше дело — воевать, когда мы остались здесь почти что одни? И армия наша отступила со всеми танками и пушками. Это разве наше дело — вот сейчас вот здесь воевать по доброй воле? Ты подумай, я на двух войнах отвоевался. У меня рука и хребет еще с той войны, с гражданской, как надо не разгибаются. А сейчас я вроде того что снова воюю — партизанов вот перевожу. Хотя и нахожусь официально у немцев на службе...
Михась вдруг вспомнил, где он слышал этот голос. И бородатый, вглядевшись в Михася, почти заревел:
— Погоди, погоди, да я же тебя знаю! Ты же Пашкевич Михасик...
— И я вас знаю, Сазон Иваныч, — засмеялся Михась.
— А я, может, секунду назад подумал — застрелишь. Ведь с вами, с партизанами, шутки плохие. Вы же, как черти, скорые. Ты подумай, как все получилось. Не только немцев, но еще и друг дружку опасаемся. Времена! Ну рассказывай подробно, где ж ты был?
— Я много где побывал, Сазон Иваныч.
Сазон Иванович взял одной рукой Михася за голову, повернул к себе:

— Гляди-ка, какое дело, а? Живой! Удивительно! Бабы у нас, в Мухачах, еще в сорок первом, зимой, рассказывали. Будто видели тебя в Жухаловичах на базаре. На виселице. Будто висишь ты в розовой майке. И портки твои многие признавали. Ты гляди, что делается, а? А ты живой! Ну, значит, износу тебе теперь не будет, если тебя уже один раз схоронили. Значит, долго ты будешь жить. Это есть такая примета. Как же ты сумел скрыться-то тогда? Неужели тебя не поймали?
— Не поймали, — выплюнул изжеванную соломинку Михась.
— Ну теперь уже, стало быть, больше не поймают. Нет, шабаш! И скажи ты мне еще на милость, где же ты тогда гранату-то взял?
— В сорок первом? Да их тогда сколько угодно было, и гранат, и винтовок. Я у румына за буханку хлеба две гранаты выменял.
— У румына? Ты гляди, что делается, а? Им что, хлеба не хватало, румынам?
— Наверно, не хватало. Хворый был такой румынский солдат, весь в чирьях...
— Ты гляди, что делается? — хлопал в ладоши Сазон Иванович, одним локтем прижимая вожжи. — Ты разнес им тогда всю столовую. Тринадцать, что ли, солдат убило и покалечило. И двух офицеров. Был разговор, что ты ее в окошко кинул. Кто хоть тебя научил-то, как ее кидать? Румын же?
— Зачем? Раненые красноармейцы показали. Помните, их за колючую проволоку согнали в Мухачах? Мы еще им хлеб передавали и картошки...
— Помню, помню, как же, — закивал Сазон Иванович. — Но ты мне еще скажи, неужели меня признать нельзя? Ну, я мог тебя не признать, это понятно. Ты в сорок первом еще хлопчиком, пацаненком бегал вот этаким. А я-то ведь уже известный был в своем районе.
— Бороды у вас не было, Сазон Иваныч. А сейчас — вы только не обижайтесь — вы чуток даже на этого... на попа смахиваете. Или на странника какого.
— Вот это и дорого, — многозначительно усмехнулся Сазон Иванович.

4

Телега загремела по бревнам широкого моста, переброшенного через тихую полноводную реку в лесистых берегах.
— Мост-то этот был железный, — показал кнутом Сазон Иванович. — Под самую войну делали. А потом раза три взрывали. Как бы не ваших рук...
— Нет, это не мы. Казаков же, вы знаете, здесь недавно.
— Все равно потом делать-то нам, наверно, придется. Или, как думаешь, пленных немцев заставим? Мост после войны должен быть обратно железный. Ажурный, как был.
— Видно будет потом, — сплюнул в реку Михась. — А пока и дальше взрывать будем, если надо. Много уж чего мы взорвали. В разных местах.
— Значит, ты не только здесь находился?
— Я, Сазон Иваныч, много где побыл. С сорок первого. В трех — ну да, в трех — отрядах. Два отряда немцы разбили почти что до корня. В одном осталось нас только двое, в другом — четверо. Всю нашу Белоруссию облазил, все ее леса. Посмотрел, какая она — разнообразная. И в городах во многих побывал. Мы даже город Слуцк брали. Командовал нами тогда — может, вы слышали — Дунаев. Ох и давали мы там немцам жизни! Всю охрану уничтожили. Выпустили из лагеря всех наших военнопленных. Забрали в банке золото, серебро награбленное. Все отправили в Москву — на оборону. Интересная была операция.
— Ты гляди что! — опять восхитился Сазон Иванович. — И сам, я смотрю на тебя, как вырос. Узнать нельзя! Плечи какие! Мужик, просто мужик! И размордел как хорошо!
— Ведь все на свежем воздухе, Сазон Иваныч. Сосна, ель. Или вот, как здесь, дубы, липа, орешник. И опять березы. Все это, говорят, полезно для здоровья. Укрепляет.

— Укрепляет, — задумчиво согласился Сазон Иванович. — Да-а... Это верно, что укрепляет... А лет-то тебе теперь сколько?
— В сентябре вот недавно исполнилось уже шестнадцать. Семнадцатый пошел...
— Ты гляди что, — округлил глаза Сазон Иванович. — Шестнадцать. Это же, если б не погубили твою мамашу, она могла бы тебе сейчас день рождения справить. Пирог хотя бы с клюквенным вареньем спекла. И паспорт тебе бы выдали, как у нас полагается. Как было заведено... в советское время...
Михась достал из-за пазухи две бумажки.
— Паспорт мне, Сазон Иваныч, уже выдали. Немецкий. Вот смотрите. Печать только, по-моему, дерьмо.
Сазон Иванович переложил в одну руку вожжи, вынул из внутреннего кармана очки, надел.
— Н-да. Документ весь правильный. И этот, и этот. А печать хвалить не за что. С такой печатью лучше и не показываться. Ах ты, жалко, раньше разговору не было! Я бы тебе мог и печать хорошую поставить, и документы даже лучше этих выправить. У меня же в Залютьеве вся управа в руках. И зондер знакомый. Пьяница. Карл Гроскопф. Значит, Большая голова. Ах как жалко! Может, заедем в Залютьево? Хоть это большой крюк. А мы, считай, почти что доехали. Вот сейчас Сачки, потом Синюрино, а там сразу и Жухаловичи. Что же делать? Нет, с такой печатью ни ходить, ни ездить...
— Ведь говорил им, — вздохнул Михась. — Лопухи! Лопухи и бюрократы! И Клавка — дурочка, припадочная. Говорит, зажимай пальцем...
— Ну ничего. Что-нибудь придумаем, — натянул вожжи Сазон Иванович, въезжая в Сачки, в большую деревню или в маленький городок, на замощенную булыжником, видимо главную улицу, некогда, должно быть, обставленную двухэтажными, то кирпичными, то деревянными, домами, а теперь во множестве разваленными, обгорелыми, обсыпанными известковой пылью.
И все-таки кое-где среди руин и пожарищ возвышались целые дома.
Михась и Сазон Иванович еще издали увидали выглядывающий из-за пожелтевших и наполовину облетевших кленов и лип аккуратный свежеокрашенный в голубой и белый цвет домик с застекленной верандой и услышали удивительно нежную, грустную музыку.
Музыка, пока они подъезжали, все усиливалась и щемяще брала за сердце, напоминая о чем-то давнем, милом, полузабытом, похожем на праздник.
Наконец подъехав, поравнявшись с домиком, они разглядели на веранде у широко распахнутых стеклянных дверей пожилого, полного, рыжеватого с лысиной мужчину в желто-малиновой с кистями куртке и в форменных немецких военных брюках. Поставив ногу в лакированном сапоге на стул, он самозабвенно играл на скрипке, сердито придавив ее, хрупкую, тяжелым подбородком.
Чтобы не греметь телегой возле домика, не мешать скрипачу и не вызвать его неудовольствия, Сазон Иванович чуть придержал лошадку. И только миновав домик, подстегнул ее вожжами: хорошо бы поскорее проехать Сачки, где разве знаешь, что может случиться.
Белая лошадка рысью пробежала почти всю главную улицу. И уже в конце ее вдруг шарахнулась так, что седоки едва удержались в телеге.
Углом глаза Михась уловил, содрогнувшись, чьи-то голые ноги, мелькнувшие над ним, и что-то черное с белым.
Уж потом они разглядели на высокой, поставленной, наверно, еще до войны в честь Первого мая арке трех повешенных: мужчину, босого, в трусах, и двух женщин в нижних сорочках.
На черном полотне, протянутом через арку, белыми печатными буквами написано:

«МЫ ВОРОВАЛИ ВЗРЫВЧАТКУ,

ЧТОБЫ ПОДРЫВАТЬ НЕМЕЦКИЕ ПОЕЗДА.

НИКОМУ НЕ СОВЕТУЕМ ДЕЛАТЬ ЭТО».

— Где же они ее воровали? — вслух подумал Михась. И, заметив, что над его башмаком размоталась обмотка, стал поспешно и очень сосредоточенно заматывать ее.
Сазон Иванович слез с телеги, ласково похлопал все еще дрожавшую лошадку под гривой, потом провел ее под уздцы мимо арки. И, снова запрыгнув в телегу, тронул вожжи:
— А? Ты гляди, что делает! И опять же с удовольствием на скрипках играет.
Михась молчал.
— А ты что притих, присмирел? — повернул к нему тронутое синеватой бледностью лицо Сазон Иванович, когда они проехали Сачки. — Задумался разве? Или испугался?
— А вы, Сазон Иваныч, как себя чувствуете? Не боитесь?
— Ну как не бояться? Мы же, слава богу, живые. А живой всегда чего-нибудь боится. Вот возьми меня. Я нахожусь, можно сказать, между двух огней. Меня рано или поздно все равно обязаны повесить или же застрелить, то ли немцы, то ли свои же партизаны.
— Партизанам-то для чего вас вешать? Напротив, Казаков, вы знаете, как про вас сказал? Это золотой мужик, он сказал, вполне надежный.
— Казаков, он, конечно, самостоятельный мужчина, — усмехнулся Сазон Иванович. — Мы уже с ним во второй раз ведем дела. Казаков, конечно, меня в обиду не даст. Но сейчас же с севера к нашему району подошел Лазученков. У него партизанский отряд как бы не побольше вашего. Он в Якушеве, говорят, весь немецкий гарнизон в одну ночь раскрошил. А там гарнизон был громадный. Не меньше двух рот стояло, не считая полицаев. И вот теперь Лазученкова хлопцы — почти что ночи не проходит — ко мне стучатся: «Дай бульбы, дай картошечков». Немцы днем донимают. А эти хлопцы ночью стучатся. И вот кому откажешь, тот тебя и повесит запросто. Канашевич Макар Макарыч был до меня поставлен немцами на должность. И немцы же его повесили. А за что? За то, что двум богам служил. И партизанам и немцам. А какой ведь был превосходительный мужчина. Помнишь Канашевича?
— Ну как же, я учился у него.
— И вот повесили. — Сазон Иванович снова вынул кисет.
Михась заметил, что руки у него трясутся.
— Давайте я вам заверну.
— Заверни.
Михась оторвал клочок от тонкого листа немецкой газеты, насыпал в него махорки и ловко, со знанием дела, свернул самокрутку.
— Сам-то не куришь?
— Курил, — сознался Михась. — Еще когда в деревне жил — курил. Тайно от матери. Баловался. И тут у Казакова в отряде тоже. Но летом он собрал нас, человек десять курильщиков, и приказал прекратить. Говорит, взрослые и то не могут бросить эту привычку, а тут еще молокососы взялись туберкулез себе наживать. «Если, говорит, захвораете, кого вы обрадуете? Только Гитлера». Ну я тут же отвык.
Их с громыханием и дребезгом обогнал грузовой автомобиль, крытый брезентом. Из-под брезента, развевавшегося от быстрой езды, высовывались ящики с черными немецкими буквами. Михась хотел разобрать буквы, угадать, что в ящиках. Не удалось.
— А грузовик-то, ты заметил, наш, — мотнул бородой Сазон Иванович. Наша трехтонка.
— И верно, — огорчился Михась. — Много они все-таки нашего нахапали.
— И хвалят. Грузовики, вот эти наши трехтонки, немцы особенно хвалят, затянулся Сазон Иванович и огладил бороду, выпустив в нее пахучий дым. Говорят вроде того, будто не думали, что у русских есть такие машины. Мечтали, наверно, в том духе, что мы по-старинному еще лаптем щи хлебаем...
Вдоль дороги на обочинах валялись железные бочки. Из некоторых медленно вытекала на солнце густая черная жидкость.
— Битум, — издали угадал Сазон Иванович. — Ты гляди что! Дорогу опять чинят. Стало быть, рассчитывают еще надолго задержаться у нас. И зятьки гляди как стараются.
— Где зятьки?
— Разве не видишь, кто работает, — кивнул Сазон Иванович на здоровых парней, долбивших дорогу ломами и кайлами. — Это же все бывшие окруженцы. Из одного немецкого окружения вышли и в другое, в бабье окружение, попали. Угрелись на

деревенских харчах, в зятья устроились. И горя мало. Пусть там, мол, кто-то воюет. А вы, партизаны, их не тревожите. Это же резерв.
— Кто?
— Резерв, говорю. Или Власов их к рукам приберет, или немцы в Германию отвезут, снаряды делать. А по-настоящему-то, по-хорошему — это вы должны, партизаны их в леса увести. Они же воевать обязаны.
— Это не простое дело, — сказал Михась, вдруг почувствовав себя обязанным объяснить, почему вот эти бывшие наши солдаты тут работают на немцев. — Мы, конечно, ведем среди зятьков разные беседы. Кое-кого выводим к себе. Вот я, например, сейчас вам расскажу про одного бывшего зятька, про Лаврушку. Это такой замечательный, оказывается, человек. Просто я даже не знаю, какой это замечательный...
— Дядя, дай закурить! — закричал молодой парень, бросив лом, и почти подбежал к телеге, когда телега уже съезжала с развороченной дороги, чтобы обогнуть ее полем. — Или докурить дай!
— Вот я дам тебе сейчас кнутом по заднице, — весело погрозил Сазон Иванович. — Попроси у немца. Вон он курит.
На взгорье на солнцепеке действительно сидел с дымящейся сигаретой немецкий конвоир, зажав в коленях автомат.
— Цурюк, — заревел он, увидев еще двух парней, бегущих к телеге. Цурюк!
— У немца не забалуешь, — засмеялся Сазон Иванович. — Это не при Советской власти. Немец — ведь он чуть что — сразу же даст прикурить. Нет, у него не забалуешь. Цурюк.
Похоже было, что Сазона Ивановича даже веселила сейчас эта простая мысль, что «у немца не забалуешь». Он как будто даже радовался, что немец так строг и беспощаден.
Сазон Иванович курил и смеялся, оглядываясь на парней, чинивших дорогу.
Докурив, хозяйственно заплевал окурок и снова стал серьезным, даже хмурым.
А у Михася вдруг пропало, желание рассказывать про Лаврушку. Михась тоже почему-то нахмурился.
Объезд растянулся чуть ли не на километр. Ехать пришлось через поле по старой сухой задубевшей колее среди скошенной ржи.
— Отец-то у тебя в армии, на фронте? — как бы спросил и как бы сам же и ответил Сазон Иванович. — Ничего не слыхать? Да и как услышишь-то? А может, уже и в плену. Много он наших в плен побрал...
— Едва ли.
— Что — едва ли?
— Едва ли мой отец в плен согласится пойти.
Сазон Иванович засмеялся:
— Да, милый ты мой, разве кто на это согласие спрашивает? Могли ранить тяжело, вот тебе, пожалуйста, — и в плену. От этого зарекаться нельзя... А Шурка ваша где? Ведь она училась где-то, в Ленинграде, что ли? На немку она вроде училась или английскому языку?
— Не знаю, где она теперь, — еще больше нахмурился Михась.
— Ну да, откуда же ты можешь узнать, — согласился Сазон Иванович. После войны только все узнаем: кто есть налицо, кого не хватает...
Телега надсадно скрипела, размалывая колесами давно засохшую грязь. И все-таки сквозь этот скрип Сазон Иванович уловил тонкий, еле слышный писк.
— Никак, перепела свистят, — удивленно повел он ухом. — Ну да, перепела. Не ко времени как будто. Ненормально...
Поглядел на небо — синее, светлое, в белых облаках. Вздохнул:
— А дождя все нет. Сухо. Сухая земля. Если озими вот в таком виде, сухие, уйдут под снег, будет очень нехорошо. И хотя нам хлеб этот, может, и не придется кушать на будущий год, может, мы и сами-то еще на будущий год не останемся, а все равно жалко. Живой думает о живом. И о живом печется...
Сазон Иванович опять как бы разговаривал сам с собой, как бы думал вслух.
А Михась молчал, насупясь. Все это время, с начала войны, он редко вспоминал о доме, о матери, об отце, о сестрах — Шурке и Антонине. По ночам только в полусне воспоминания иногда тревожили его. А сейчас Сазон Иванович вдруг нечаянно разворошил что-то горестное в душе.

От реки пахнуло ветерком — прохладным, даже холодноватым, предзимним.
— Ты чего шапку-то не носишь? — взглянул Сазон Иванович на белобрысую голову Михася. — Нету, что ли, шапки?
«Казаков не велит носить», — хотел сказать Михась, но не сказал. Надел кепку, вынув ее из-за пазухи.

5

Поле осталось в стороне. Они опять выехали на дорогу, уже отремонтированную на этом участке, — гладкую, укатанную.
— И народ вот этак же укатывают, — кивнул Сазон Иванович на тяжелый чугунный каток, стоявший на обочине. — Ведь у него какой сейчас порядок? Ежели военнопленный сделает чего-нибудь не так, он его расстреливает. Это считается вроде как военная почесть. А вот таких, как мы, то есть, как говорится, гражданских, он, в случае чего, запросто вешает на виселице. Такой у него порядок. По радио из Москвы — я сам тайно слышал — было сказано: «Создавайте ему невыносимые условия». Будто это вроде приказа, такие слова. Но палка-то, к сожалению, о двух концах. Условия-то получаются невыносимые для всех — и не только для немца, но и для нас, грешных, кои тут с ним проживают. Вынуждены, одним словом, проживать. Вдруг вот он сейчас меня вздернет. А?
Михась живо представил себе, как вздергивают Сазона Ивановича, как висит он на перекладине, закатив глаза, вскинув коричневую, длинную, просвеченную сединой бороду. Легкий холодок пробежал по спине Михася, и что-то защемило внизу живота.
— Нервы у вас, Сазон Иванович, подорваны, — заставил себя усмехнуться Михась. — Это от нервов вы все говорите. Только от нервов...
— Нервы у меня, дорогой мои, не хуже, наверно, чем у кого-либо, сурово пошевелил скулами Сазон Иванович. — Но дело сейчас не в этом...
А в чем — Сазон Иванович так и не сказал, не успел сказать.
У железнодорожного переезда, посредине дороги стояли два немца — офицер и солдат. Офицер поднял руку, солдат взял на изготовку, придавив к животу автомат.
— Опять ловят кого-то, — сообразил Сазон Иванович. — Где-то кто-то чего-то такое сотворил...
— Документ, — подошел к телеге офицер. — Затчем, куда, откуда? произнес он с необыкновенной отчетливостью русские слова.
— Битте, — сказал Сазон Иванович и медленно стал вытаскивать из-за пазухи бумажник.
А Михась, чтобы унять вдруг охватившую его нервную дрожь, вцепился обеими руками в перекладину телеги и так сидел, удивляясь и даже возмущаясь спокойствием и неторопливостью, с какими Сазон Иванович вынимал из бумажника аусвайс.
— Вот, ваше превосходительство, господин офицер, мой документик. Пожалуйста, битте шейн.
Офицер посмотрел документ, потом снова взглянул на Сазона Ивановича, должно быть сверяя фотографию на документе с подлинником.
— А это мой племенник, — кивнул на Михася Сазон Иванович. — Везу вот на свадьбу в Жухаловичи. Женить пора. Не желаете ли, господа, по нашему дикому русскому обычаю выпить за здоровье молодых? — Из соломы в передке телеги высвободил горлышко большой бутыли. — Ведь молодежь — она ни с чем не считается. Война не война, а жениться надо.
— Имеет невест? — насмешливо посмотрел на Михася офицер.
— Ну конечно, не на козе же ему жениться. Имеет невесту из хорошего дома. Дочь священника. После свадьбы предполагают поехать в Берлин или же в какой-нибудь другой

немецкий город, чтобы поработать, так сказать, на пользу, на победу великой Германии — нашей, так сказать, освободительницы...
«И чего буровит, чего буровит», — с тоской и нетерпением думал Михась, все крепче сжимая вспотевшими руками перекладину телеги.
А Сазон Иванович говорил и говорил что-то уж совсем нелепое, как казалось Михасю, пересыпал свою речь немецкими словами и перетирал между тем полотенцем два граненых стаканчика, вынутых из соломы.
— Милости просим, — протянул он немцу стаканчик. — Не побрезгуйте нашей некультурностью. Это называется, по-нашему, вишневка, а по-вашему — кирш и еще как-то. Своего, так сказать, завода. Для свадьбы специально приготовлена.
Немец, улыбаясь, взял пустой стаканчик. Подставил под горлышко бутыли, наклоненной Сазоном Ивановичем. Подержал, пока стаканчик наполнился темно-красной жидкостью. Но пить не стал, протянул хозяину:
— Сам, сам. Битте.
— Ага, понятно, — принял стаканчик Сазон Иванович и, не возражая, выплеснул его в свой обросший дремучим волосом рот. — За ваше здоровье, ваше превосходительство.
Офицер выпил после Сазона Ивановича из другого стаканчика и закусил кусочком сала, тоже после того, как сала отведал хозяин.
— Данке, — сказал офицер и резко разрубил воздух кожаной перчаткой: можешь, мол, ехать.
— Видал, как он проверил на мне, как на собаке, что выпивка и закуска не отравленные? — спросил Сазон Иванович, когда они отъехали. Культурность! Ничего не скажешь. Выпил, закусил и даже документы у тебя не проверил.
— А солдат только облизался, — заметил Михась.
— Ну это уж такое солдатское дело. Во всех державах. Только облизываться.
— А для чего, Сазон Иванович, вы вишневку с собой везете?
— Вот для этого и вожу. Если б не вишневка да не мой разговор, он, пожалуй бы, ссадил тебя сейчас с телеги с твоим аусвайсом и — в комендатуру. А там — разбирайся. Глядишь — и ножки уже болтаются, а головушка — в петле. Разговоришься...
— Ну уж вы начали и — поповскую дочь для чего-то приплели, и великую Германию.
— Глупо, что ли, считаешь? Значит, еще совсем молодой. Не понимаешь. А глупость другой раз всего сильнее за сердце берет. И лесть. Лестью можно тигра уничтожить. Уж на что есть люди высокого положения, словно каменно-железные, неприступные, а и то...
— Стой, стой! Стой, твою...
Михась похолодел, услышав злобную ругань.
Из-под моста появились, вылезли три полицая с повязками на рукавах и с винтовками наперевес — побежали за телегой.
— Стой! Не слышишь, бандит? — кричал долговязый, бегущий впереди полицай в черном матросском бушлате, в широких синих галифе и в желтых сапогах. — Я тебя сейчас подыму за уши, покажу Москву...
Михась понял, что на этот раз вишневка и разговор едва ли выручат. Легче обхитрить немца, чем полицая, который хочет выслужиться перед немцем. Нет на свете людей беспощаднее холуев.
Сазон Иванович остановил лошадку. И тут произошло неожиданное для Михася.
— Ты кого, паразит, называешь бандитом? — спросил Сазон Иванович долговязого. — Что, с утра уже залил зрение? Вот я Фогелю расскажу про ваши дела. Ты куда лошадей дел из Ермаковичей?
— Да что вы, господь с вами, господин Кулик, — опешил полицай и закинул винтовку на ремне вниз дулом за плечо. — Лошадей из Ермаковичей перегнали в Шагомль еще когда, по распоряжению господина Климовича. А я обознался. Здравствуйте...
— Здравствуй, нос красный, — все еще сердясь, усмехнулся Сазон Иванович. — Что это вы там, под мостом, засели?
— Ищем одно дело. Есть сведения, — замялся полицай. — Закурить не угостите?
— Чего ищете-то?
— Нынешней ночью — вы не слыхали? — в Ермаковичах завод на воздух взлетел. Шпалы железнодорожные который делал. Большой пожар.

— Меньше пили бы полицианты, никаких бы пожаров не было, — разобрал вожжи Сазон Иванович. — А то вот вы только пьете да мухлюете, а московские агенты действуют: взрывают да палят. Вот так все и идет. Ну ты, Захаровна! — прикрикнул он на лошадку и легонько огрел кнутом.
— А я думал, вы и этих угостите вишневкой, — улыбнулся Михась, когда лошадка с галопа снова перешла на рысь.
— Вишневка мне самому для дела нужна, — получше прикрыл соломой бутыль Сазон Иванович. — Она мне вроде лекарства. По моему положению, если не выпивать, никакой нервной системы не хватит. Ты гляди как. От населения мне — позор: немецкий, мол, подхалим и прочее такое. Погоди, мол, если Красная Армия возвернется, мы до тебя доберемся. От партизанов незнакомых — постоянная угроза. Не дам бульбы, картошечков или еще чего, значит, вот против тебя автомат — и очень скорое дело. От немцев — то же самое. Или вот, как мы видели, петля на шею. А выпьешь — как-то все в иной окраске получается. Правильно?
— Не знаю, — покачал головой Михась. И задумался. — Уж тогда, может быть, вам прямо к партизанам податься?..
— Милый ты мой человек, — вдруг горестно засмеялся Сазон Иванович, — да в партизаны я хоть завтра с дорогой бы душой подался. Чего мне терять? Мои сыновья — все трое — в Красной Армии. Старуха моя еще под войну в Саратов к дочери отъехала. Внучат нянчить. Путался я тут, откровенно говоря, с одной бабенкой в прошлом году. Одним словом, имел неосторожность спутаться. И бабенка была — беда какая въедливая...
«Вроде Клавки», — быстро прикинул про себя Михась. И мгновенно испытал двойное удовольствие — и от мимолетного воспоминания о Клавке и от того, что Сазон Иванович беседует с ним не как с пацаненком, а доверительно, как со взрослым мужчиной, которому уже известны все тонкости.
— Ну ты, очень нервная! — прикрикнул опять Сазон Иванович на лошадку, заметив, как опасливо она косится на кем-то брошенный на дорогу ветвистый куст. — И ведь что она задумала? Она, эта Ганнуля, задумала вдруг расписаться со мной. То есть полностью оформиться как моя супруга. А как же я могу это позволить при живой-то законной жене? Бабенку пришлось отпустить. Она за одного вдовца официально вышла замуж. И вот теперь гляди. Немцы ожидают от меня верной службы — стало быть, подлости. Партизаны же, напротив, требуют, чтобы я подлости не делал. И душа и совесть моя этого не позволят. Значит, как же я могу долго продержаться на своем немецком посту?
— Да, — опять покачал головой Михась. И снова спросил: — А может, правда, вам лучше в партизаны пойти?
— Да я же говорю и повторяю — я с полным удовольствием, хоть завтра. Но Казаков одно лишь утверждает: «Погоди! Погоди, говорит, еще хоть с полгода. Ты нам больше нужен у немцев, чем у партизан». Видишь, какое дело. И он сам, Казаков, иногда разной хитростью поддерживает меня на моей немецкой должности, о чем можно рассказать разве что после войны. Если я, конечно, сохранюсь, во что уж не сильно верю...
— Это плохо, — вздохнул Михась.
— Что плохо?
— Ну, что вы не верите.
— Да верю я, дорогой, во все верю, — задергал вожжами Сазон Иванович. И немцы ведь верят, что я их верный слуга... Перед самой войной, если ты хочешь знать, время прошлое, брата моего родного, Степана, в Сибири невинно сгубили. А брат у меня был лучше меня — партийный, настоящий, с юных лет коммунист. И по профессии — военный врач. Вот немцы все учитывают и считают, что из-за брата я должен быть теперь лютый враг Советской власти...
Издали послышался визг пилы. Но пильщиков не было видно. Их увидел Михась, когда телега поравнялась с развалинами элеватора. Здесь за развалинами стояли высокие козлы, на которых поместилось толстое бревно. Один мужик — наверху, на козлах, другой — внизу, у горы опилок, шаркали продольной пилой. Нарезали доски.
А возле них ходил обсыпанный по плечам опилками худой старик в мятой шляпе.
— Тараничев, — поглядел на него Сазон Иванович. И приподнял картуз: Доброго здоровья, Федор Федорыч. Бог помощь...

И старик махнул шляпой, поздоровался.
— Богатый был при нэпе мужчина, — объяснил Сазон Иванович, когда они проехали. — Десять лет, наверно, в лагерях где-то пробыл. И вот при немцах вдруг объявился. Дом строит. Женился тут на днях на старости лет на молодой красноармейке. Значит, тоже на что-то рассчитывает, располагает...
Все это, однако, мало интересовало сейчас Михася. Его поразили слова Сазона Ивановича о брате. И он только об этом думал. Наконец решился спросить:
— Кто же погубил вашего брата?
— Да разве одного моего брата... И вот немцы сейчас пишут об этом в своих газетках, колют нам глаза: глядите, мол...
— Немцы нам — враги, — сердито прищурился Михась. — Неужели мы будем слушать фашистов и читать их газетки?
— Но ведь люди-то наши читают, — вынул из передка телеги клочок газеты Сазон Иванович. — И эти газетки действуют против нас. Огорчают наш народ. И мешают нам воевать, поскольку люди наши не все соображают, где правда, а где вранье. Нет, Михась, подрастешь, тогда сам, если будет, конечно, возможность, разберешься. Не стану тебе головушку забивать...
Сазон Иванович придержал лошадку, засунул под себя вожжи, разгреб солому, достал бутыль и прямо из горлышка отхлебнул вишневки.
— Крепкая, — поморщился. — Тебе не предлагаю. Не надо тебе привыкать, если ты еще не научился. И по важному делу едешь. А мне — ничего...
— Вы тоже в конце концов сопьетесь, — посмотрел Михась в посоловевшие глаза Сазона Ивановича. — И война кончится, и наша победа будет, а вы вдруг сопьетесь.
— Сопьюсь, — вытер бороду обеими ладонями Сазон Иванович. — Очень просто может случиться, что и сопьюсь. Но сперва дело сделаем... Так ты что, стало быть, завтра обратно поедешь? За тобой заехать куда или как? Ты скажи мне сейчас, чтобы я знал заранее...
— Нет, я, наверно, завтра еще не управлюсь. Думаю, послезавтра.
— Тогда так, — поднял бурый, прокопченный в куреве палец Сазон Иванович, сосредоточивая внимание. — Если тебе будет нужна лошадь, ищи меня на мельнице каждый день в два часа. Или тоже каждый день на базаре, где были скобяные ряды. В девять часов утра. Домой ко мне не являйся... Что будем перевозить?
— Мыло, — чуть помедлив, ответил Михась.
— Мыло? — удивился Сазон Иванович. Потом хлопнул Михася по плечу и засмеялся: — Молодец! И правильно — это походит на мыло. В сорок первом году многие бабы у нас находили эту вещь в лесах и думали, что мыло. Пробовали стирать, но пены не получается...
Михась смутился и даже покраснел. Был уверен, что Сазон Иванович не знает, за чем он едет. Неужели ему это сам Казаков сказал? Очень странно...
Уже видно было в легкой дымке водонапорную башню в Жухаловичах. В сорок первом году ее разбило снарядом. А недавно немцы восстановили.
По обеим сторонам улицы Дзержинского лежали развалины.
У развалин бывшего Дома просвещения имени Янки Купалы дорогу перешла черная фигура в длинной поповской рясе.
— Тьфу, — гневливо сплюнул через левое плечо Сазон Иванович, чуть не угодив в Михася. — По прежним временам — плохая примета. Дело может испортить.
Поп обернулся и поздоровался. И Сазон Иванович почтительно приподнял картуз.
— Махолкич Демид. Бывший счетовод из Заготсырья, — сообщил он Михасю. Ты смотри, как вся жизнь кувырком пошла. Счетовод в попы подался. Ну ничего. Все-таки он не очень еще настоящий поп. Может, примета и не оправдается. Так что же, Михась, кругом тебя везти или здесь сойдешь? остановил лошаденку у развалин здания бывшего горсовета. — Тебе на Коровинскую?
— Да я сам еще не знаю, — опять смутился Михась. — Я, пожалуй, правда здесь сойду.
— Чего не знаешь? — усмехнулся Сазон Иванович. — Куда тебе идти, не знаешь?
— Нет, я знаю, — густо покраснел Михась. — Но я только еще не сообразил. Может, я правда через кладбище пойду.

— Чего ты не сообразил? — пристально и насмешливо посмотрел на него Сазон Иванович.
— Не сообразил, можно ли мне верить, раз я у немцев служу? Я с тобой, вот гляди, откровенный до пупа, а ты — темнишь. Ты же к Бугрееву идешь, к Василию Егорычу Бугрееву. Правильно я говорю?
— Ну, допустим...
— Эх, — вздохнул Сазон Иванович. — Ты гляди что. Все советские, свои на своей земле. А друг дружку опасаемся. И правильно! Не опасаться сейчас нельзя. Ладно! Значит, с послезавтрего жду, где сказал. Будь здоров! Или... хотя минутку погоди! Я тебе не велел домой ко мне являться. Это учти — днем. Но ежели что случится очень срочное, нужен буду, приходи ночью в любое время. Я ведь не там теперь живу, где раньше, не в Мухачах. Я здесь, в Жухаловичах, живу — Сенная, девять. Во дворе у меня собака. Очень строгая! Во двор не заходи. Стучи мне в крайнее окно слева. У меня у окошка кровать. Тихонько стучи, чтобы не поднять собаку. Чтобы лишнего лаю не было. Ну опять — до свиданья. Привет. Будь здоровый. Через кладбище тебе тут будет ближе...

6

Через кладбище Михась никогда не ходил. Он боялся кладбища. И даже во время войны, навещая Василия Егоровича Бугреева, он выбирал не ближний, сравнительно безопасный путь, а, напротив, дальний — через плотинку, через Почтовую.
Чаще же он пробирался к Бугрееву со стороны леса, где когда-то был артиллерийский склад.
Он и сейчас охотно обогнул бы кладбищенскую гору. Но на Почтовой наверняка у него стали бы проверять документы. Тем более на пруду, на плотинке, в бывшей школе, теперь ортскомендатура и рядом — полиция. Нет уж — лучше без нужды не рисковать.
Михась недолго постоял у какой-то белой, с выщербленной штукатуркой стены, посмотрел, как отъезжает Сазон Иванович, помахал ему кепкой и, усилием воли что-то решительно сжав в себе, вошел в широко распахнутые ворота.
В последнее время он немало повидал — и, конечно, не только повидал покойников. Но между теми покойниками, на поле боя, и этими, на кладбище, кто понимает, — громадная разница.
Легкий зыбкий ветерок, все усиливаясь, обрывает последние листья с дубов и ясеней, широко разветвившихся над могилами, над крестами и памятниками. И опавшая листва шуршит под ногами, издавая горький запах вина и тлена, грибов и непроточной, плесневелой воды.
Тоненько позвякивают и скрипят под ветром жестяные венки, обернутые длинными лентами, на которых уже слиняли, смытые дождями, скорбные слова.
Михась идет, стараясь без надобности не оглядываться, стараясь не читать надписи на памятниках и на дощечках под крестами, стараясь не вглядываться в фотографии усопших, вставленные кое-где в фарфоровые медальоны. Хочет скорее пересечь поселение мертвых, эту пологую гору, иссеченную множеством узких тропинок.
На вершине горы заканчивается одно кладбище и через дорогу начинается другое — еврейское.
Михась неправду тогда сказал Мамлоте, будто бы уже ходил по еврейскому кладбищу. Нет, он никогда не бывал здесь. И кладбище это удивляет его необыкновенной пустынностью.
На открытом пространстве, на голой глинистой почве, кое-где поросшей чахлой травой, в беспорядке расставлены, как разбросаны, бурые и черные камни памятников, то квадратных, то закругленных, и на них — непонятные надписи.
И другие камни — только очень большие, — разбросаны дальше, под горой и по всей местности.

Это так страшно выглядят отсюда, издали, каменные полуразрушенные дома Жухаловичей. Михась, однако, безошибочно узнает со склона горы среди развалин и двухэтажный Дворец труда железнодорожников (он здесь был с отцом на вечере строителей), и церковь Воздвиженья (бабушка тайно от родителей водила его сюда, когда он был еще маленьким), и кинотеатр «Октябрь» (он много раз бывал там с сестрами), и Пироговскую больницу (ему там, маленькому, лечили уши), и ресторан «Буг» (тетка его, тетя Луша, работала в ресторане судомойкой, он когда-то обедал у нее на кухне, ел котлеты с тонко нарезанной картошкой и компот в стакане).

Это был веселый, полный разных удовольствий городок. Михась любил с деревенскими ребятами пошататься по его улицам. А теперь городок выглядит мертвым.

Нет, не совсем мертвым.

За бывшим рестораном «Буг» можно разглядеть людей и телеги с лошадьми. Там — базар. Люди все еще чего-то покупают и продают.

Сазон Иванович велел искать его на базаре в девять утра. Это нельзя забыть — ровно в девять. Или в два часа — на мельнице.

Михась отгибает рукав и смотрит на часы. У него великолепные часы, с толстым стеклом, на широком ремне. Он снял их под Слуцком с немецкого офицера. Офицеру тому уже не потребуются больше часы. А Михась часто должен действовать точно по часам. И Василий Егорович Бугреев ему сказал: «Желательно, чтобы ты приходил ко мне всегда в одно и то же время. Лучше всего — в двенадцать. Я тогда дома; А если меня нет или кто лишний у меня — подкова над дверями, ты увидишь, отодвинута немножко и с подоконника цветок убран».

Было двадцать минут двенадцатого.

Михась решил, что ему лучше еще побродить здесь по кладбищу, чем спускаться с горы раньше времени. И — странное дело — он как будто попривык уже к этим бурым и черным памятникам. Рассматривал их теперь спокойно, без особого, однако, интереса. И сам удивлялся, что кладбищенская гора уже не очень пугает его. Конечно, ночью здесь не дай бог ходить. Ночью, впотьмах, наткнешься на какой-нибудь крест или еще на что. Можно просто с ума сойти. А днем — ничего. Все видно. Хорошо видно. И далеко.

Михась захотел разглядеть отсюда мельницу. Бревенчатая, старенькая, обомшелая, она всегда тряслась у плотины, когда он проходил мимо. Сейчас ее трудно было разглядеть. Заслоняло здание бывшей школы.

В школу Михась ходил почти шесть зим. Но теперь, глядя на нее издали, не испытывал теплых чувств. Даже отвернулся и стал смотреть в другую сторону — на развалины МТС. И не потому, что в бывшей школе разместилась ортскомендатура. Нет, просто неприятно было вспоминать, как он учился здесь. Плохо учился. И его постоянно угнетало состояние виновности перед учителями, чья строгость и придирчивость никогда не совпадали с его представлением о справедливости.

Михась долго смотрел на развалины МТС. И у него внезапно опять согрелось за пазухой то место, куда по утрам, отправляясь на работу, запихивал еще горячие картофельные лепешки, завернутые матерью в газету и чистую тряпочку.

Мать давала ему еще кусок сахару, когда в доме иногда бывал сахар. А Михась отказывался: не маленький, ешь, мол, сама. Но мать смеялась: «Бери, бери, пока не женатый. Женишься, сахару не поешь. Детям придется оставлять...»

Все это было перед самой войной, меньше двух лет назад. Но сейчас не верилось, что было это все так недавно. Уж очень старыми выглядели отсюда, со склона горы, развалины МТС, точно это руины какого-то древнего замка на берегу взволнованной свинцово-сизой реки.

Михась медленно спускается с кладбищенской горы. А память настойчиво восстанавливает все как было. И он снова чувствует себя тем мальчиком, каким был тогда, осенью тысяча девятьсот сорокового года, когда его приняли учеником в мастерскую при МТС.

Их собралось в то время с десяток, разного возраста мальчишек из разных деревень. Они быстро перезнакомились и дня два крутились без всякого смысла вокруг тракторов, успев только вымазаться в мазуте.

В конце второго дня пожилой человек из конторы, записывавший их фамилии и адреса, сказал:

— Теперь, ребята, хорошенько помойтесь, чтобы у вас был приличный вид. Не на речке помойтесь, а вон там у нас есть горячий душ. После с вами будет разговаривать главный механик...
В душевой кроме ребят мылся немолодой широкоплечий мужчина, весь, по всему телу, исколотый синей татуировкой. Деревенским ребятам был, конечно, в диковинку этот разрисованный дядька: на груди распластал крылья орел, на плечах извиваются змеи, на спине, на лопатках — две голые женщины с зонтиками.
Ребята сперва почтительно и робко разглядывали его, потом стали тихонько посмеиваться. А дядька, как глухонемой, будто не слышал ничего. Мылся, похлестывал себя большой мочалкой в мыльной пене.
Только один раз, когда, подталкивая друг друга под горячую воду, мальчишки нечаянно толкнули и его, он сказал:
— Ну-ка вы, орлы! Поаккуратнее. А то еще ошпарите меня. Тут же, вы смотрите, два крана. Можно смешивать воду.
Показал, как это делается.
Шкулевич Микола, уже великовозрастный паренек, хотел сделать точно так, но его вдруг обдало горячей водой, и он выругался.
— Ты не матерись, — посоветовал Михась. — А то главный механик узнает и выгонит тебя.
— Не выгонит, — дурашливо загоготал Микола, подскочив под холодную воду. — Я сам, может, скоро стану главным механиком. И может, еще его самого выгоню...
Искупавшись, ребята вышли на поляну против конторы, откуда должен был появиться главный механик. Но он появился неожиданно из душевой. И оказался — еще более неожиданно — тем разрисованным дядькой. Однако он смотрел на ребят, только что озоровавших под душем, точно видел их впервые. С каждым вежливо, как со взрослым, поздоровался за руку, назвался Бугреев Василий Егорович — и каждого спросил, как его зовут, откуда он, где учился, что умеет делать. Потом вдруг просительно сказал:
— Вы меня, ребята, пожалуйста, извините. Мне бы надо было еще вчера познакомиться с вами. Но у нас на днях вышли из строя сразу три трактора. Большая неприятность. Мне вчера здорово попало в райкоме партии. Все время поэтому был занят. Заканчиваем уборку...
Он рассказал, чем занимается МТС, какой у нее радиус действия (так и сказал — радиус действия). Затем стал спрашивать ребят: почему они, каждый из них, выбрали такое дело, решили идти учиться на механизаторов?
Один ответил, что ему велел отец. Другой сказал, что у него нет отца, а мать бьется как рыба об лед и хочет, чтобы сын хоть где-нибудь, хоть как-нибудь зарабатывал. Третий, четвертый и пятый сослались на то, что у них в колхозах очень скудный трудодень, почти что нет смысла работать, а трактористы, известно, хорошо живут.
И только Михась признался, что ему здесь просто интересно:
— Интересно, как ходят трактора, как они сделаны...
Этот ответ, должно быть, понравился главному механику. Он внимательно посмотрел на Михася и улыбнулся. Вынул из кармана расческу, причесался, хотя и так был причесан хорошо. И, задумчиво глядя вдаль, сказал:
— Никто человека ничему не может научить, если человек сам не захочет научиться. Поэтому советую вам прямо с первого знакомства самим влезать во все. Во все вникать. Вот так. Может, ребята, я ошибаюсь, но мне показалось, что некоторые из вас уже умеют материться. Хотел бы предупредить: у нас это, имейте в виду, сейчас пока не требуется.
Все притихли.
— А как же, — осмелел Шкулевич Микола, — как же — я слыхал уже тут некоторые слесаря матерятся...
— Матерятся? — как бы удивился Бугреев. И задумался. — Ну что же. У нас некоторые даже воруют. На днях один слесарь утащил олово. Поймали его. Завтра будут в Жухаловичах судить. Но, я думаю, ребята, у нас с вами до этого не дойдет. Я вижу, вы ребята, серьезные, не глупые...
Ребята, однако, оказались как будто не очень серьезные.
Недели две спустя после этого разговора случилось неприятное происшествие.

Ночью кто-то свалил под откос в глубокий овраг самый крупный трактор. И так свалил, что у него лопнула поворотная цапфа и сам он перевернулся.
Ночной сторож доложил по начальству, что вечером, не очень поздно, видел — тут возились подле трактора мальчишки-ученики, что-то такое затевали. Но куда они делись потом, сторож не заметил, так как с вечера было свежо и ему пришлось на минутку зайти домой надеть шубейку.
Никто не сомневался, что это сделали ученики, тем более двое из них утром не явились на работу.
Директор МТС Миланович — маленький, толстенький человек — хотел сейчас же звонить в районную милицию и с помощью милиции вытребовать этих ребят. А главный механик Бугреев собрал у оврага учеников и стал расспрашивать, кто же это мог такое сделать с трактором?
Все долго молчали. Наконец, Михась, как в школе, поднял руку и сказал:
— Я.
— Что — я?
— Это я, — конечно, нечаянно...
— Ах, это ты, мерзавец? — схватил Михася за плечо маленькой цепкой ручкой директор Миланович. — Народное достояние, огромная ценность, а вы, мерзавцы...
— Подождите, — легонько отстранил его Бугреев. — Михась, ты же не мог один завести трактор. Кто же с тобой еще участвовал? Ребята, ну смелее говорите, кто помогал Михасю Пашкевичу?
Ребята молчали.
— Я один, — повторил Михась.
— Ну зачем ты врешь? — возмутился Бугреев. — Для чего ты себя таким героем выказываешь? Ты скажи, кто еще тут был? Не бойся, скажи...
— Не скажу, — как бычок, напрягся Михась. — Сказал, не скажу — и не скажу.
— Нет, ты скажешь. Скажешь! — закричал Миланович. — Посажу тебя зараз в машину и свезу в милицию. Там ты все скажешь. — Он опять ухватил паренька за плечо. Но Бугреев снова отстранил Милановича:
— Никуда его не надо возить.
— Тогда я сюда зараз вызову начальника милиции Тихомирова, — направился к телефону Миланович. — Пусть Тихомиров зараз разберется с ними, с мерзавцами. Он их зараз образумит...
— Если сюда сейчас приедет Тихомиров, — задержал Милановича Бугреев, пусть Тихомиров и работает здесь главным механиком. Я сейчас же уйду...
— Да ты что, ополоумел? — удивился Миланович, глядя на Бугреева. — Ты же видишь, что они, эти мерзавцы, озоруют. И еще не хотят признаться. А этот зараз признался, — кивнул на Михася, — надо его дальше разматывать. Пока не поздно...
— Никого не надо разматывать, — сказал Бугреев. — Пойдем, Михась, вытаскивать трактор. А вы, ребята, расходитесь по своим местам, поскольку вы ни в чем, оказывается, не виноваты.
— Мы тоже с вами, — пошел за ними Шкулевич Микола. И еще два-три паренька.
— Не надо, — остановил их Бугреев. — Раз, по вашей совести, вы не виноваты, зачем же вам с нами идти? Мы с Михасем вдвоем справимся. — И, как будто одному Михасю, доверительно сказал: — Вот кого не люблю больше всего, так это трусов.
В овраге Бугреев с Михасем осмотрели опрокинутый трактор, попытались его поднять, но это им не удалось. Тогда они прицепили к трактору длинный трос и протянули один конец троса до края оврага.
У каменного сарая стояли два трактора.
— Ну что ж, Михась, заводи, если ты уже умеешь, — показал на один трактор Бугреев. — Поедем вытаскивать.
Михась взял заводную ручку, уверенно просунул ее в отверстие под решетчатую грудь трактора, крутанул, собрав все силы, раза три.
А товарищи его стояли вокруг, наблюдали.
Наконец верзила Шкулевич крикнул Михасю:
— Голова! Ты же зажигание не включил.

— А ты умеешь? — спросил Шкулевича Бугреев.
— Чего ж тут не уметь?
Но Михась сам включил зажигание и снова стал провертывать ручку. И снова Шкулевич крикнул ему:
— Сними со скорости!
— О, — сказал Бугреев, взглянув на Шкулевича. — Да ты, оказывается, все знаешь. Только все-таки чего-то тебе не хватает.
— Чего?
Бугреев не ответил. Он смотрел, как Михась, весь вспотев, крутит ручку.
— Все равно он не заведет, — усмехнулся Шкулевич. — У него силенки не хватает...
— Зато у него другое есть, чего тебе не хватает, — сказал Бугреев. Дай-ка, Михась, я тебе помогу...
— Не надо, — почти грубо оттолкнул Бугреева Михась. Еще раз крутанул из последних сил — и — трактор завелся.
— Садись за баранку.
Михась уселся на узкое металлическое, похожее на совковую лопату сиденье.
Трактор со скрежетом, дымя и фыркая, сдвинулся с места и пошел в сторону оврага.
Миланович выбежал из конторы.
— К чему, — кричал он, — к чему эти самые экстри... экстарименты? Зараз второй трактор свалите.
— Ничего, — сказал Бугреев. — Вытащим, если свалим. Все в наших руках...
В полдень, когда искалеченный трактор с большими усилиями был наконец извлечен из оврага и поставлен на ремонт, Бугреев присел отдохнуть. Усадил рядом с собой на бревно Михася. И снова пытался расспросить, кто же, на самом деле, опрокинул трактор?
— Я, — повторил Михась.
— Но это же неправда. Скажи хоть, кто с тобой был?
— Не скажу, — упорствовал Михась.
— Ну не надо, — улыбнулся Бугреев. — Значит, я так понимаю: ты не хочешь быть доносчиком? Ну что же. Доносчиком, конечно, легче стать, чем механиком...

7

Пусть пройдет еще десять, пусть двадцать лет пройдет. И все равно Михась будет испытывать хотя бы легкое волнение перед домом Бугреева, хотя Бугреев уже не главный механик. И дом его рядом с развалинами МТС мало походит на прежний. От него после артиллерийского обстрела осталась только половина с вздыбленной крышей, на которой при каждом порыве ветра грохочут искореженные и ржавые листы железа.
Бугреев, контуженный во время обстрела взрывной волной, отлежавшись, все-таки нашел в себе силы снова огородить остатки своего дома зеленым штакетником и даже приколотил на верее над калиткой вывеску:

ПРИНИМАЮ В ПОЧИНКУ ВЕЛОСИПЕДЫ И МОТОЦИКЛЫ,

ЧАСЫ И ПАТЕФОНЫ,

А ТАКЖЕ ИСПОЛНЯЮ РАЗНУЮ КУЗНЕЧНУЮ РАБОТУ

Михась дважды прошел мимо дома, стараясь издали разглядеть положение подковы над входной дверью. Убедившись, что подкова стоит как надо и цветок в горшке — на подоконнике, направился к воротам. И только дотронулся до кольца калитки, как на крыльце появилась «та женщина».
Уж лучше бы она ушла куда-нибудь. Уж лучше бы случилось с ней что-нибудь, чтобы Михасю никогда не видеть ее.
Все-таки Михась повернул кольцо «калитки и робко вошел во дворик.
Женщина, худощавая, высокая и, может быть, когда-то красивая, не смотрела на него. Занята была своим делом — полоскала что-то в тазике. Потом выплеснула воду из тазика прямо через балясник и увидела Михася.
— Ну что, опять явился? — сурово и жалобно спросила она, как он и ожидал.
— Здравствуйте, Софья Казимировна.
— Даже здороваться не хочу с тобой. И чего ты ходишь? Чего ты ходишь, Ирод? Чего опять высматриваешь? Остальных хочешь выманить? Да негодные они. Один — сухорукий, а второй — еле живой. Чахотка у него. Весь день лежит, кашляет.
— Василий Егорыч? — удивился и встревожился Михась.
— «Василий Егорыч»? — как бы передразнила женщина. И на длинной худенькой шее вздулась синяя жила. — Забирай его. Забирай нас всех. Мучители!
Из полуоткрытой двери вышел на крыльцо Бугреев.
— Ну, будет, Софушка, будет. Перемени пластинку, — сказал он. — Что ты, Софушка, опять пристала к хлопцу. Иди в дом. Здравствуй, Михась.
— Здравствуйте, Василий Егорыч!
Михась не видел Бугреева месяц с лишним и сейчас не сразу узнал его: так изменился, постарел Бугреев за этот месяц. Даже как будто сузился в плечах. Или это черная тесная куртка его так сузила. Лицо позеленело, щеки ввалились. Совсем побелели виски. Но Василий Егорович улыбался:
— Очень рад тебя увидеть, Михась. Хотя я немножечко перед тобой виноват. Прихворнул я тут немножечко. Кашель меня какой-то уже вторую неделю колотит. И в чем дело — понять не могу. Еще раз здравствуй, протянул он Михасю сухую, горячую руку, спустившись с крыльца. Немножечко у меня не получилось против того, как я тебе обещал. Всего шесть штук сделали. И Феликс опять сильно хворал, — показал глазами на высокого, болезненного вида паренька, вышедшего из-за угла дома и выжидательно стоявшего в отдалении. — Словом, сам соображаешь, Миша, на одной бульбе сильно не потянешь. И даже соли долго не было. Вчера один знакомый полицай, спасибо, килограмм соли принес. Мотоцикл ему починяю.
Михась хотел тотчас же сообщить, что Казаков обещает подарить Бугрееву пару овец, но воздержался, не сообщил. Неудобно это может вот так сразу получиться.
— А вообще дела идут нельзя сказать, что плохо, — продолжал улыбаться Бугреев. — Придумал я тут одну штуку, потом покажу. Может, наладим настоящее производство.
— Ты хоть оденься, Ирод! — крикнула женщина с крыльца. На этот раз она Иродом назвала не Михася, а мужа. Должно быть, у нее такая поговорка. Ведь не лето, опять застудишься. Не молоденький.
— Не молоденький — это правильно, сейчас оденусь.
Василий Егорович ушел в дом.
Во дворе остались Михась и носастый длинноногий, как журавль, Феликс в черном коротком плаще и в детской кепке с пуговкой на макушке.
По-прежнему издали Феликс молча смотрел на гостя. Потом спросил:
— А пистолет у тебя есть?
— А что?
— Просто так, интересуюсь...
— Нет у меня пистолета, — сказал Михась.
— Нету? — удивился Феликс и подошел поближе. — Как же ты можешь быть партизаном без пистолета?
— А откуда ты знаешь, что я партизан?
— Вижу. Что я, тебя первый раз, что ли, вижу? И потом, я помню, когда ты тут работал. Я тогда болел, учился в лесной школе. Меня взяли домой перед самой войной. И мои братья

тогда приехали из Минска на каникулы. Мои братья, ты же знаешь, тоже были потом партизанами.
— Почему это — «были»?
— Мать все время плачет, считает — они погибли. И говорит, ты их увел в партизаны. Она все время ругает тебя. А батька, напротив, считает, что ты ни при чем, раз идет такая война...
— Конечно, я ни при чем, — сказал Михась.
Феликс переступил с ноги на ногу, поежился.
— У тебя закурить нету?
Михась почти презрительно осмотрел, как смерил с ног до головы, худенького Феликса:
— И ты еще куришь?
— Иногда, если есть табак.
— Вот оттого ты такой, — указал пальцем Михась.
— Какой?
— Ну, какой ты сейчас...
— А какой я сейчас?
— Ну что я тебе буду объяснять! Ты же сам знаешь. Ты худущий, как... как скелет. И еще куришь...
Феликс, однако, не обиделся, снова переступил с ноги на ногу.
— А ты? Ты не куришь?
— Давным-давно. Бросил эту глупость и забыл.
— Это как раз не глупость. Если ты хочешь есть и закуришь, ты опять сытый.
— А ты что, хочешь есть?
— Нет, мы недавно ели.
— А то я могу тебе хлеба отрезать, — стал снимать с плеча мешок Михась. — Пожалуйста.
— Да не надо. На что это, — как бы отодвинул его рукой Феликс. — Ты к нам пришел и вдруг... Что мы, голодные, что ли? Отец, ты знаешь, как бы осердился. — Феликс опасливо покосился на окна. — Отец теперь стал очень сердитый. Раньше был веселый, а теперь узнать нельзя.
— Все теперь сердитые, — опять закинул за спину мешок Михась.
— Без пистолета тебе плохо, — швыркнул носом Феликс. И сразу улыбнулся: — А у меня есть пистолет. Итальянский. И две обоймы. Полные. Полный комплект.
— Откуда?
— Мне один парень дал, бывший комсомолец. На хранение дал. Еще весной. Но его забрали в гестапо.
— Кого забрали?
— Этого парня. А пистолет у меня хранится. Никто, кроме Евы, не знает где. И то дурак, что ей сказал...
— Покажи, — без особой заинтересованности попросил Михась. — У меня тоже был итальянский.
На крыльцо вышел Василий Егорович. Он медленно, держась за поручни, спускался с крыльца, в ватной телогрейке, в стареньких подшитых валенках, хотя было еще не холодно.
— Потом, — увидев отца, почти прошептал Феликс. — Потом покажу. Я сам в партизаны все равно не пойду. Мне характер не позволяет. И кроме того, я болею. У меня рука не действует. Я с детства сухорукий.
Втроем они вошли в деревянную пристройку за домом. Здесь когда-то, еще до войны, был коровник, а теперь — мастерская. Верстак. Большие и малые тиски. На верстаке — паяльная лампа, молотки, зубила, дрель, метчики. На стене, на вбитых в стену крюках, — два велосипеда. Под ними — ведра, кастрюли, примус, две железные печки, чайник без, носика, самовар.
У верстака — полуразобранный мотоцикл.
Мотоцикл этот — мечта детства — сразу же привлек внимание Михася. Он даже протянул было руку, чтобы потрогать кожаное сиденье. Но это выглядело бы несолидным. И он показал рукой на кухонную утварь у стены, на изломанные ходики, улыбнулся:
— Значит, по-прежнему есть заказчики?

— Заказчики-то есть, да толку от них мало, — поднял Василий Егорович с пола обрывок резинового шланга и бросил его в угол. — Плохо платят, задерживают плату. Ни у кого ничего нет. В прошлом году было лучше. И мукой платили, и солью, и сахаром. Масло даже приносили. А сейчас худо...
— А немцы как? Теперь уж вас не тревожат?
— Немцы? — Бугреев вдруг засмеялся. Засмеялся и закашлялся, да так, что пот выступил на лбу. Прислонился к верстаку, взялся за грудь.
— У вас, наверно, температура, — испуганно посмотрел на него Михась.
— Все может быть, — согласился, откашлявшись, Бугреев.
«Вам бы прилечь сейчас», — хотел еще сказать Михась. Но не сказал. Таких слов нельзя говорить Василию Егоровичу. Он сам знает, что ему делать.
— Немцы, говоришь? — вытер губы платком Бугреев. — Немцы, Миша, нас уже мало тревожат. Потревожили, как видно, достаточно. Пустыня. Пустыню сделали тут. Глухо. Никого нету. Нечего теперь делать тут немцам в нашем углу. Кладбище, овраг и речка. Из артиллерийского склада давно уже все вывезли. Тихо. Делай что хочешь. Хоть караул кричи. Только знакомые жители из Жухаловичей иной раз по старой памяти заходят. Заказчики, — улыбнулся он.
Михась все-таки не выдержал, ласково потрогал кожаное сиденье мотоцикла, прислоненного к верстаку.
— Вот я себе такой обязательно заведу, когда кончится война. С коляской.
Феликс, все время молча и как-то безучастно стоявший у дверей, ухмыльнулся:
— А когда она кончится?
— Война? Когда будет наша победа, — заученно ответил Михась и попробовал сесть на мотоцикл.
— А когда будет наша победа? — еще шире ухмыльнулся Феликс.
— Перестань! — прикрикнул на него отец. — Нечего тут дурачка разыгрывать. Это, Миша, ты знаешь, чей мотоцикл? Это мне один полицай его привел в починку. Да ты, наверно, помнишь, был у нас здесь в МТС ученик Микола Шкулевич. Он старше тебя, наверно, годика на четыре...
— Он что теперь — полицай? — округлил глаза Михась и не стал садиться на мотоцикл.
— Угу, — кивнул Василий Егорович. — У него старший брат даже какой-то начальник в полиции. И вот достали себе эту машину, только поломанную. Обещал за починку заплатить мукой. Вчера принес соли.
— Сволочи, — покосился на мотоцикл Михась. — Если б не было у нас полицаев и разных предателей, мы бы» немцев легко расколошматили. Это все так считают... Микола, ах сволочь! Был верзила такой. Все драться ко мне лез. Встретил бы я его сейчас...
— Вот эти возьми, — показал Феликсу Василий Егорович на большие кузнечные клещи. — Донесешь?
— Донесу, — мотнул птичьей головкой Феликс. И перекинул тяжелые клещи через плечо, одним концом засунув за пояс.
— А ты, Миша, бери разводные ключи, этот молоток, зубило. И пошли. Мешок свой можешь здесь оставить. Ничего с ним не случится.
Сам Василий Егорович вынес из мастерской небольшую саперную лопатку и низенькую, на крошечных колесиках тележку. Покатил ее за собой.
Они вышли во двор и направились через огород по изрытому кочковатому картофельному полю в сторону реки. Длинные плети ботвы, уже неделю назад выдернутые из земли, цеплялись за ноги.

У оврага Василий Егорович остановился:
— Помнишь, Миша, как мы с тобой тут трактор вытаскивали? Так ты тогда и не признался, кто тебе озоровать помогал.
— Что уж теперь вспоминать, — смутился Михась. Но воспоминание это, как теплым ветром, приятно опахнуло его. И тотчас же угасло.
По тропинке, давно протоптанной множеством ног, они гуськом прошли по краю оврага и свернули в густой бурьян.
— Здесь вот у нас лежат главные поросята.
Василий Егорович разгреб сухие стебли колючего репейника, и Михась увидел огромную, действительно похожую на свинью бомбу.
Феликс толкнул ее ногой, но она ничуть не стронулась с места.
— Сотка, — определил Михась. — Как же она сюда попала?
— Она не сюда попала, — ухмыльнулся Феликс. — Она вон где была, протянул руку в ту сторону, где все еще свежо зеленела болотная трава. Это уже мы ее сюда перетащили — батя, Ева и я...
— Безобразие. Называетесь партизаны, — сурово взглянул на Михася Василий Егорович.
— Вы же информацию должны давать войскам, где что по эту сторону находится. Этого немецкого склада уже, наверно, месяца три здесь нет. А наши недавно бомбили, намеревались, видимо, попасть в склад; Десять вон каких бомб сбросили. Напрасно. И четыре не взорвались. Мягкий грунт, болото. Мы их еле оттуда вынули...
Михась удивился. И не тому, что наши самолеты отбомбились не там, где следовало, а бесстрашию людей, извлекавших бомбы из болота.
— Как же вы это сумели?
— Вот так и сумели, — засмеялся Василий Егорович. И опять закашлялся.
Он кашлял долго, согнувшись, отплевываясь. Переводил дыхание и снова кашлял, будто у него все рвалось внутри.
А Феликс, должно быть привыкший к затяжному кашлю отца, подробно рассказывал Михасю, как они сперва вот на этой тележке привезли сюда лебедку, установили ее на твердый грунт, потом протянули к болоту длинный трос, как отец вошел в резиновых сапогах в болото, осмотрел первую бомбу, обвязал, укрепил на досках ролик и велел крутить ему, Феликсу, и невестке Еве.
— Наша Ева, она как конь, — сказал Феликс. — Ты ее видел?
— Нет, — помотал давно не стриженной головой Михась. — Но бомба же могла взорваться. Как вы не побоялись?
Василий Егорович откашлялся, вытер губы и печально улыбнулся:
— Как, спрашиваешь, не побоялись? А как вот один наш знакомый хлопец не побоялся гранату немцам в столовую кинуть, в окно?
— Ну это другое дело, — сконфузился Михась. — А бомбу вот такую вытаскивать из болота — это же черт-те что. И вы их, значит, три штуки вытащили?
— Четыре, — ухмыльнулся Феликс. — Вон она, в лопухах, — четвертая. Ева одна ее вытащила. Ох, она здоровая! К ней полицай тут приставал. Хотел ее пощупать. Как она ему вдруг залепит по морде. Она их презирает. Говорит, даже немцы много лучше полицаев. Ей немцы нравятся...
— Довольно болтать! — прикрикнул отец.
— А что за полицай? — спросил Михась. — Откуда?
— Да это опять же Шкулевич Микола, — сказал Василий Егорович. — Он все время к нам ходит. И в полиции служит и боится. Говорит мне: «Я все-таки ваш ученик. Если все переменится, если красные обратно придут, вы меня не продавайте. Я ведь никому не рассказывал, что вы были партийный. И брат мой о вас очень хорошего мнения». А Ева правда ему дала по морде. И он не обиделся. Все изобразил как шутку...
— Хороший, значит, сволочь, — заключил Михась. — Ну ладно, я его как-нибудь встречу...
Василий Егорович, наклонившись, внимательно осматривал первую бомбу, что-то прикидывал в уме.
А Михась и Феликс подошли к той, четвертой, лежавшей в лопухах, которую вытащила Ева.
— Здорово, — сказал Михась. — Неужели она одна вытащила?

— Одна, — подтвердил Феликс. И ухмыльнулся: — Это она боится бати. Все время теперь хочет ему угодить. Сама взяла и вытащила бомбу. Ее никто не просил. Хотела, чтобы батя был доволен. Она его сильно боится. Он ей один раз сказал: «Убью, если узнаю. Собственными, — сказал, — руками задушу...»
— За что?
— Было, значит, за что, — шумно втянул воздух носом Феликс. И опасливо оглянулся в сторону отца. — Если б не батя, если б Ева его не боялась, она давно бы спуталась с каким-нибудь немцем. Две подруги ее спутались. Немцы бывают красивые. Блондины. И шоколад дарят. И чулки. И все, что хочешь, могут подарить. Ева даже говорит, что они — культурные. И совсем не такие, как она раньше думала. Есть, говорит, даже очень культурные и очень вежливые...
— Неужели она так говорит? — возмутился Михась. — Или ты ее просто не любишь?
— Нет, я ее люблю. Она хорошая, добрая, — запротестовал Феликс. — Но ей очень скучно без Виктора. Она только четыре месяца с ним пожила. Мама говорит: она скоро совсем сбесится оттого, что ей некуда девать свою силу. Она знаешь что недавно придумала?..
— Феликс, довольно! — крикнул отец. — Довольно болтать. Разговорился...
— Он не болтает, он рассказывает интересно, как доставали бомбу, слукавил Михась, чтобы защитить Феликса.
— Батя, но ведь это верно: Ева одна достала бомбу? — вопросительно посмотрел на отца Феликс. И кивнул на Михася: — Он хвалит Еву...
Василий Егорович зачем-то очерчивал первую бомбу поперек мелом. Поднял голову, нахмурился:
— Не за что ее особенно хвалить. Была хорошая девушка. И стала портиться. На глазах портится. У нее только пестрота в голове, разные кофточки и побрякушки...
— Все женщины такие, — солидно заметил Михась, чтобы поддержать разговор, заинтересовавший его. — Все хотят что-нибудь такое, — покрутил он пальцами около ушей.
— Все, да не все, — возразил Василий Егорович. — Немцы хитрее, чем мы о них думаем. Одних расстреливают и вешают, а других — молодых особенно хотят заманить в ласковые сети будто бы своей исключительной культурностью...
— Батя! — обрадовался возможности вставить слово Феликс. — Ева так и говорит. Когда, говорит, не понимаешь по-немецки, видишь только, как они зверствуют. А когда читаешь, говорит, их журналы и разговариваешь с ними по-немецки, то видишь, что они не все звери. Среди офицеров, говорит Ева, есть такие же, как мы, студенты, которые хотели учиться, но их привлекли в военные...
— Довольно, — оборвал длинную речь Феликса отец. — Ева говорит ерунду, а ты повторяешь...
— Я не повторяю, я рассказываю, что она говорит...
— Она много чего теперь говорит. Ее только слушай. Что такое зверства? — спросил Василий Егорович. И сам же хотел ответить, но не ответил закашлялся.
Феликс покосился на отца и быстро сообщил Михасю, что Ева всего, наверно, за три месяца так научилась болтать по-немецки, что теперь тараторит, как настоящая немка.
— Правда, она училась в Минске, на медицинском. И не кончила. Виктор тоже там учился. Им преподавали немецкий язык...
— Что такое зверства? — опять спросил Василий Егорович, откашлявшись. Зверство — это уж их дело. Зверствуют, чтобы напугать нас. Чтобы больше уничтожить. Чтобы полегче, посвободнее им было здесь царствовать. Но, допустим, они явились бы к нам вот так, без приглашения, со своими танками. И не зверствовали бы, а только учили нас своим танцам. Разве мы бы простили им? Разве мы бы отказались от своего пути жизни? Разве мы бы отдали им все, за что приняли уже муки и страдания?
— А Ева говорит, — опять попытался вставить свое слово Феликс. — Она говорит...
— Мне не интересно, что она говорит, — снова оборвал его отец. — Мне только ясно, что я один во всем виноват. Надо было ее отправить в партизаны с Виктором. Она просилась, даже плакала. А я, как дурак, вмешался в это дело и не пустил ее. Думал, что так будет лучше. И сам не пошел к партизанам. Лежал контуженый. А теперь — куда я вот такой? Весь организм измятый. Мне, может, пора уже доски воровать...

— Зачем доски? — удивился Михась.
— Зачем? — вдруг невесело улыбнулся Василий Егорович. — А вот затем. Кто мне здесь и из чего гроб, если потребуется, сколотит?
— Ну это уж вы тоже сказали, — неодобрительно отозвался Михась. — При чем тут гроб? Ни с того ни с сего...
— Да это я просто пошутил, — как бы извинился Василий Егорович. — Но я серьезно говорю — это я теперь понимаю — допустил я ошибку насчет Евы. Пусть бы она пошла тогда к партизанам. Была возможность.
Феликс пошвыркал носом, сказал:
— И Еву сейчас бы там убили. Как Виктора и Егорушку. И вас бы, батя, убили, если бы вы пошли к партизанам...
— Не всех убивают. Вытри нос и не швыркай, — приказал отец Феликсу. — А Ева там была бы с мужем. И на правильном пути. А то крутится теперь машинисткой в городской управе. Примеряет какие-то немецкие кофточки. Кто может сказать, где она их берет? Фартучек какой-то добыла с бантами, как крылышки...
Михась вдруг вспомнил ту девушку в нарядном фартуке с бантами, хохотавшую у крыльца подле немецкого солдата, чистившего офицерский сапог, когда они с Сазоном Ивановичем проезжали мимо. И в сознании Михася Ева, которую он никогда не видел, мгновенно соединилась в одно лицо с той девушкой. Хотя та девушка едва ли бы вытащила вот такую бомбу из болота. А Ева вытащила.
— Она — я знаю, откуда их берет, эти кофточки, — сказал Феликс. — Ева свой свитер променяла Зинке на юбку и кофточку. А Зинке все приносит один немец — Эрик. И фартук этот от Зинки...
— Видал, какая информация, — кивнул на Феликса отец. — Во все бабьи дела вхож. Ну ладно. Нам все-таки работать надо. Как считаешь, Миша, будем сейчас эту чушку рубить? — толкнул он ногой бомбу. — В ней много тола.
— Нет, зачем же, Василий Егорыч, — сказал Михась. — Не надо ее рубить. Это хорошая вещь. Если не возражаете, мы ее так заберем. Это очень хорошая вещь. У нас в отряде есть парень один, слесарь, молодой. Он к этим чушкам взрыватели делает. Если ее закопать хорошо под железнодорожное полотно, вы знаете, какой получается эффект? Это ужас! Шреклих, как говорится по-немецки. Как фуганет, как фуганет! Только щепки от вагонов летят. Это очень красиво получается. Мы недавно две штуки таких прикопали под Барановичами...
— А как вы их отсюда заберете?
— Вот об этом я и хотел с вами поговорить, — смущенно произнес Михась. Смущенно оттого, что разговор о Еве несколько встревожил и насторожил его. Если эта самая Ева превращается в немецкую овчарку, как называют партизаны соблазненных немцами девушек, если она уже завела знакомство среди немцев, то, кто знает, выйдет ли все так, как надо, как намечает Казаков.
Михась помедлил, поправляя обмотку на ноге. Потом сказал:
— Если б, Василий Егорыч, у вас не было тут никого лишних, можно было бы...
— А кого ты считаешь лишним? — перебил Бугреев.
— Ну вот вы сами говорите, что у вашей невестки Евы всякие дела. И вы даже сами не знаете...
— Чего я не знаю? Что мне требуется знать, я все хорошо знаю! — вдруг вспылил Василий Егорович. И сердито посмотрел на Феликса: твоя, мол, болтовня. — Ты что, Миша, боишься, Ева побежит рассказывать немцам, что мы тут делаем? Ты этого боишься? Боишься, что я...
— Ничего я не боюсь, Василий Егорович. Но все-таки...
— Что «все-таки»?
— Все-таки хорошо бы не привлекать...
— Еву не привлекать? Да я без Евы тут как без рук. И насчет Евы ты можешь не сомневаться. Пока я жив, пока я здесь, она будет делать все, что я велю. Конечно, надо присматривать. Вот если меня не будет, тогда не знаю, как все пойдет. Но у Евы пока есть совесть и соображение...
— Тогда другой разговор, — сказал Михась.

— Может, ты во мне сомневаешься? Или в Феликсе?..
— Ну что вы, Василий Егорыч, — как бы вздрогнул Михась. — Если я в вас буду сомневаться, тогда я, пожалуй, и себе верить перестану. Я хочу вам вот что сказать. Наш командир товарищ Казаков прежде всего приказал мне передать вам привет и благодарность за тот тол, который вы в прошлый раз вытопили. Вашим толом мы два здоровых эшелона свалили, с танками и с пехотой. Правда, тогда у нас еще и своей взрывчатки было много. А сейчас у нас затруднение. Недавно немец нас сильно гонял, и мы не могли приспособить площадку, чтобы получать тол с самолетов. Поскольку у нас сейчас затруднение, товарищ Казаков сказал. Он сказал так. Разведай, условься. То есть он мне так приказал. Поставим, говорит, дело как следует. Обеспечим полное питание. То есть вам и кто тут еще будет. Пошлем людей, транспорт, наладим охрану. Чтобы все было, как говорится, с размахом...
— Нет, Миша, это дело не пойдет, — улыбнулся Бугреев. — С размахом — не пойдет. Никаких людей мне сюда не надо. И без полного питания я тоже обойдусь. Очки втирать никому не хочу. И не хочу никого обнадеживать. Сколько сам могу сделать — сделаю. Сколько хватит моих сил. И если ты сейчас тут будешь, поможешь мне. Значит, что ты считаешь, не надо рубить бомбы?
— Не надо, ни в коем случае. Они и так годятся. Мы их увезем. Это хорошие вещи...
— На чем же увезете? — опять улыбнулся Василий Егорович. — Не секрет?
— Не секрет, — сказал Михась. — Но я еще должен это сообразить. Есть поблизости один как будто надежный человек.
— Здешний?
— Да как сказать. Здешний и не здешний, — замялся Михась. — Я, одним словом, еще не понял его. Полностью не понял...
— Ну, когда поймешь, скажешь. Только я тоже должен знать, что это за человек, если сюда явится. Так будет лучше, — хмуро проговорил Бугреев. И горько усмехнулся: — А мы, вот видишь, без особой хитрости. За чужого тебя не считаем. При тебе стали обсуждать даже наши семейные дела. Даже чуток встревожили тебя насчет нашей Евы. Не стесняемся с тобой откровенно...
Михась густо покраснел, прошелся, наклонив голову, чтобы Бугреев и Феликс не заметили его крайнего смущения, и почти с отчаянием сказал:
— Я, Василий Егорыч, тоже хочу откровенно. Человек этот — не знаю, как вы его считаете, — Сазон Иванович Кулик. Хочу его попросить помочь с транспортом. Не знаю, что вы скажете?
— Что же я скажу? — задумался Бугреев. — Мужик он — честный, дельный, огневой. Но только пьет он сильно в последнее время и много разговаривает. Хотя, я думаю, это не помешает.
— Я тоже так думаю, — вдруг чему-то обрадовался Михась.
— Ладно, — поднял с травы веревку от тележки Василий Егорович. — Тогда пусть эти бомбы здесь пока лежат. Пойдем займемся могилками...

9

Опять Василий Егорович с лопаткой и тележкой шел впереди. Михась следовал за ним. А позади, в некотором отдалении, плелся длинноногий и отчего-то печальный Феликс с кузнечными клещами на плече.
Изредка Феликс наклонялся, придерживая клещи больной рукой, находил в траве, в стороне от тропинки, ярко-красные бусинки ягод брусники, уже тронутые ночным морозцем. Бережно клал их на язык. Один раз удалось собрать полную горсть брусники. Догнал Михася, легонько толкнул в спину, показал ягоды:

— Хочешь?
— Давай, — сказал Михась. И, с удовольствием раздавив во рту холодноватые кисло-сладкие бусинки, впервые почувствовал, как хочется есть. Пожалел, что вещевой мешок остался в мастерской. Хорошо бы сейчас снова баранины с картошкой или хотя бы кусочек хлебца. В мешке у него полбуханки хлеба, вареные картошки и кусок сала. А Клавка, наверно, думает, что его уже поймали немцы. Никаких немцев тут нет. Тишина.
Василий Егорович опять закашлялся. Остановился.
Они стояли на взгорье, среди рыжих холмиков могил, утыканных деревянными, кое-где покосившимися крестами.
Василий Егорович прислонился к высокому, давно побеленному и облупившемуся кресту.
— Сырость, — как бы оправдывая затяжной кашель отца и как бы извиняясь перед гостем, показал на небо и на легкий туман над могилами Феликс.
Небо становилось хмурым, обложенным тяжелыми, цвета мокрого шлака тучами: вот-вот закапает дождь.
— Это у него недавно началось, — кивнул на отца Феликс. — Мать думает, у него чахотка, туберкулез, но это неправда. У него это от простуды. Ева говорит: «Я его в момент вылечу». Вчера где-то горчицу достала. Будет ему сегодня горчичники ставить. А внизу, вон там, где сосны, — уйма ягод. И брусника, и клюква. Их теперь тут никто, кроме нас, не собирает. Хочешь, потом соберем? И я тебе свой пистолет покажу. У меня к нему две обоймы. Длинные — вот такие...
— Ладно, потом, — говорит Михась. Говорит это как взрослый маленькому, хотя они, пожалуй, ровесники, если Феликс не старше Михася.
— Ну что вы там остановились? — кричит им Василий Егорович. Он уже откашлялся и воткнул лопатку в могильный холмик.
Василий Егорович осторожно снимает с могилы небольшой слой дерна, и под ним обнаруживаются чуть присыпанные землей головки снарядов.
— Вот они, голубчики, — улыбается Василий Егорович, как живым существам.
На тележке сделаны выемки. В них хорошо укладываются снаряды. Будто для них специально и вырезаны выемки. Хотя они, наверно, для них и вырезаны.
Михась не может не высказать своего восхищения:
— Все-таки здорово, Василий Егорович. Ведь это, как я понимаю, вы эти снаряды еще в сорок первом году собирали...
— В сорок первом, — подтверждает Василий Егорович, очищая лопаткой снаряд от налипшей глины.
— Ведь, это подумать только, — продолжает Михась. — Все тогда бежали от немцев кто куда, даже имущество свое бросали. А вы эти снаряды прятали про запас.
— Это же наши снаряды. Тут недалеко батарея наша стояла. Как же можно? — говорит Василий Егорович. — Артиллеристы ушли, бросили свои снаряды у землянки. Не успели взорвать, не было возможности. Надо было спешно отходить, где уж там...
— Я же это самое и говорю, — перебивает Михась. — Все бежали, даже артиллеристы. А вы один тут на кладбище...
— Да откуда ты взял, что я один? — вдруг почему-то возмущается Василий Егорович. — Тут тогда еще были и мои сынки, и Виктор, и Егорушка. И вот Феликс тут был. Мы его тогда из школы взяли. И Ева у нас тогда уже была. Она все-таки хорошая девушка. Все работали. И потом — зачем ты глупость говоришь: все бежали? Кто бежал, а кто и воевал. Если б все от немца побежали, и война бы тут же кончилась. А то она все еще продолжается. Не надо глупости говорить...
Михась сконфуженно умолкает. Но ему все-таки хочется спросить: неужели уж тогда, в сорок первом, Василий Егорович предвидел, что из этих снарядов приведется вытапливать тол? И он спрашивает.
Бугреев кладет на тележку последний снаряд, вынутый из земли, и аккуратно прикрывает могильный холм пластом дерна. Все как было. Никто никогда не догадается, что под этим жухлым дерном у этого памятника таились снаряды.
— Что я — бог Саваоф? — наконец говорит Бугреев. — Откуда же я мог знать, что как будет? Просто хотел сохранить снаряды, прикопал их сперва в землянке. Может быть, думал, они опять потребуются. А насчет тола я тогда, конечно, не думал. Это мне один

полицай рассказывал, что им ведено немцами собирать в лесах снаряды и бомбы, потому что партизаны вытапливают из них тол. Тогда я решил это имущество сюда перепрятать. Потом ты явился. Я еще тогда подумал, какой мартышкин труд.
Бугреев проводом туго привязывает снаряды к тележке, чтобы они не шелохнулись на ходу.
— Почему мартышкин труд? — спрашивает Феликс.
— Ну как же? Ты подумай. Люди где-то на заводах делали эти снаряды. Теперь другие люди, вот мы, должны их разломать, чтобы добыть из этих снарядов тол. Конечно, это получается как мартышкин труд...
— Мартышкин — это, по-моему, неправильно, — вдруг возражает Михась. Мартышкин труд — это если без пользы, по глупости. А вы же сами уже сколько вытопили.
— И все равно — мартышкин, — почему-то печально улыбается Бугреев. Мартышкин труд, но надо. Пусть эти снаряды все-таки воюют. Незачем им в земле лежать. Сейчас их начнем потрошить. Сейчас все внутренности из них выпотрошим...
Василий Егорович все это говорит и ненужно долго обтирает лопатку о дерн соседней могилы.
Михась поглядывает на него и невольно улавливает затаенную тревогу — не в словах, не в движениях, а, может быть, в особом блеске глаз, в тоне голоса, то глухого, то, напротив, резкого.
Михасю вдруг вспоминаются Саша Иванцов и Саша Иванченко, молодые партизаны, выплавлявшие тол в прошлом году, глубокой осенью, на лесной поляне.
Они не были похожи не только на Бугреева, а и друг на друга. Но у них вот так же поблескивали глаза, и они почти вот так же, такими же то глухими, то громкими голосами переговаривались друг с другом, когда разводили костер под котлом. И вот так же они казались то веселыми, то вдруг злыми, то опять веселыми.
Они как будто хотели отдалить момент работы. Нет, они не были трусами. И Василий Егорович, конечно, не трус. Но он зачем-то внимательно разглядывает, отчистилась ли лопатка? Хотя какое это имеет значение?
В прошлый раз, когда Василий Егорович здесь впервые вытапливал тол на костре, он выглядел спокойнее. Он тогда еще, наверно, не подозревал всей опасности или был здоровее. А сейчас он, снова вытирая о дерн лопатку, вдруг спрашивает Михася:
— Ну а в других местах — вот в вашем отряде, ты говорил, вытапливали тоже не было градусника?
— Не было, — мотает головой Михась. — Где же его достанешь в лесу? Термометры в медсанбате есть. Но они же не годятся. И в аптеках, в городах, мы искали, тоже нет больших градусников.
— И ничего? — снова спрашивает Василий Егорович. — Аварий не было?
— Ну, как сказать, — явно мнется Михась. — Конечно, были случаи...
— Взрывались?
Это спрашивает Феликс, выглядывая из-за раздвинутых ветвей.
— И убило кого-нибудь? — подходит Феликс к Михасю. — Ну, что же ты молчишь? Убило?
— Ну, ладно. Феликс, ладно. Не надоедай...
Это говорит отец. И Феликс отходит.
— А из-за чего были случаи, сейчас не вспомнишь? — спрашивает Бугреев Михася.
— Не вспомню, — пожимает плечами Михась. — Но ведь причин разных много...
— Понятно, — кивает Василий Егорович, искоса поглядывая на Феликса, который опять безучастно стоит в стороне и что-то жует. Может, ягоду опять нашел.
— Ну ладно, поехали, время идет, — толкает тележку Бугреев.
Михась хотел бы рассказать о Саше Иванченко и Саше Иванцове, о том, что случилось с ними, когда они вытапливали тол. Но это было бы сейчас совсем не к месту.
Это понимает Михась. И все-таки, вспомнив о них, внезапно для самого себя говорит:
— Бывают очень храбрые ребята. Другой раз даже удивляешься, какие бывают храбрые...
Тележка, хорошо нагруженная и прикрытая ветками, легко катится с пригорка. Ее надо только придерживать. И для этого сзади у нее укреплены железные прутья.
Михась и Феликс держатся за эти прутья.
А Василий Егорович идет впереди и чуть сбоку, направляя тележку.

— Про кого это ты говоришь?
Михась думает о Саше Иванцове и Саше Иванченко, но говорит:
— Про Лаврушку — я такого вспомнил. Я вам не рассказывал про Лаврушку?
Василий Егорович поворачивает тележку, не откликается.
А Феликс, швыркая носом и толкая Михася плечом, просит:
— Расскажи. Ну, рассказывай.
Михась, однако, начинает не сразу. Ждет, когда тележка, лавируя меж могильных холмов по скользким глинистым тропинкам, выберется на сравнительно ровную березовую аллею. Он хочет, чтобы Василий Егорович, не отвлекаясь, мог услышать все подробности этой удивительной истории, которую Михась так и не успел рассказать Сазону Ивановичу. А история такая, что ее, кажется Михасю, все должны узнать.
— Василий Егорыч, — почти торжественно говорит Михась, будто начинает доклад, — у нас есть один парень — Лаврушка. Я вам про него не рассказывал?
— Да ты мне никогда ничего не рассказывал, — наконец откликается Василий Егорович. И по голосу можно угадать, что он чем-то опять раздражен.
— Ну вот про это я могу рассказать, — чему-то заранее радуется Михась. — Это такой парень. Это такой замечательный парень, что про него даже стих можно составить. И может, когда-нибудь составят. Или стих, или рассказ. Вы знаете, что он сделал? Он был раненый красноармеец. У него в сорок первом году во время боя была перебита нога. Он не мог ходить. Больше ползал. А так он вполне здоровый. Поэтому его подобрала одна женщина. Вдова. Подобрала и приписала к себе в своей деревне. Как мужа. Немцы тогда, в сорок первом году, это разрешали. Или просто не обращали внимания. Поскольку им казалось, что война скоро кончится и победа полная будет у них. Так что им нечего было опасаться. Словом, они так считали.
— А сейчас, ты думаешь, как они считают? — усмехается Василий Егорович. — Чья, они считают, будет победа?
— Ну, сейчас, я думаю, они стали лучше соображать. Уже не такие нахальные. Но я хочу про Лаврушку. Он, хромой, жил при своей вдове. Делал все, что она требовала, по домашности. И даже стал услужать немцам, которые стояли в той деревне. Ухаживал за ихними лошадьми, хвалил ихнюю технику, ругал, конечно, своих же, русских, Красную Армию. И так далее. Говорил, что ни за что бы не пошел в солдаты, если б знал, что у немцев такая сила и с ними заодно против нас многие другие державы. И так далее. За это за все и особенно за любовь к лошадям его очень хвалил немецкий комендант гарнизона Ганс Губерман. И только жалел комендант, что Лаврушка — хромой. «Не был бы ты хромой, — говорил он, — я бы определил тебя в полицию, на хорошую должность». А Лаврушка только смеялся. Куда, мол, мне еще в полицию, я, мол, и так-то еле хожу. Нога плохо заживает... Вы слушаете, Василий Егорович?
— Слушаю я, слушаю. Давай скорее, — отозвался Бугреев, занятый, должно быть, своими мыслями. — Нам сейчас тут сворачивать налево, крутой спуск. Тележку держите получше. Ты, Феликс, не зевай!
— Я не зеваю, я слушаю, — обиделся Феликс. И поправил сползавшие с плеча клещи.
— А в той деревне, я забыл вам сказать, жили еще и другие приписники, которые тоже хорошо угрелись около вдов, — продолжал Михась, улыбаясь. — И немцы осенью стали выводить этих зятьков на разные работы. То есть старосты назначали их по очереди. А партизаны дали им приказ — уходить в лес. Иначе, мол, будет плохо. Так за одну неделю из деревни ушли к партизанам семь красноармейцев, семь зятьков. И остался в деревне из зятьков только один хромой Лаврушка. Комендант Губерман ему так шутейно однажды говорит: «Наверно, говорит, скоро и ты в лес уйдешь?» — «Нет, тоже шутейно отвечает Лаврушка, — я не уйду. Мне моя нога не позволяет. Я, господин комендант, в случае чего, на вашем жеребчике уеду». И что бы вы думали? Уехал. Комендант — туда-сюда. А жеребчика нет. И Лаврушки нет...
— Держи! — крикнул Василий Егорович. И сам отступил в сторону.
Тележка так быстро покатилась по крутому уклону, что Михась и Феликс еле удержали ее. Потом она замедлила бег. Василий Егорович, поотставший было, снова пошел впереди.
— А дальше? — подергал Михася за рукав Феликс. — А дальше что было?

— Дальше было самое интересное, — предупредил Михась. — В партизанском отряде Лаврушка в первый же день сказал: «Поскольку я, товарищи, виноватый перед родиной, что долгое время отсиживался у вдовы и лебезил перед немцами, я хочу взять себе такое дело, чтобы мне можно было искупить свою вину. Целиком и полностью». Короче говоря, он попросил себе для разведки тот самый район, в котором жил. А я забыл вам сказать, что через тот район проходит очень важный, особый кабель в ставку Гитлера. Поэтому немцы его усиленно охраняют. Каждый день заставляют крестьян боронить дорогу около этого кабеля, чтобы любой, даже кошачий, след был заметный. Вы слушаете, Василий Егорыч?
— Слушаю.
— Лаврушка все-таки исхитрился взорвать здесь три моста. И как взорвет, сейчас оставит записку: был, мол, тут такой-то и такой-то. Служу Советскому Союзу. Комендант Губерман расклеил на всех столбах извещение: за поимку, мол, такого-то — награда мукой и маслом, а также сумма денег. Но Лаврушка снова взорвал один мост. Тогда комендант окончательно взбеленился. Расклеил новую листовку и уже увеличил сумму за его голову. Вы слушаете, Василий Егорыч? Это я вам не байки рассказываю. Это истинная правда. И вот Лаврушка прислал коменданту письмо: для чего, мол, вы, господин Губерман, меня разыскиваете через листовки? Зачем, мол, такая официальность? Я скоро, мол, лично к вам явлюсь и сделаю вам большой сюрприз за вашу жадность. А насчет жадности — вот в чем дело. На дорогах и в лесу все время было раскидано много оружия, снарядов и бомб. Комендант опять же объявил в листовках, что каждому, кто сдаст немецкому командованию найденный где-нибудь снаряд или бомбу, а также автомат или пистолет, будет выплачено, как это говорится, крупное вознаграждение. И, конечно, нашлись дураки, приносили вот даже такие снаряды, — кивнул Михась на тележку. — На каждом снаряде комендант велел делать наклейку, где найдено, сколько надо уплатить. Снаряд помещали в склад, а того, кто принес — в каталажку. Потом его повесят, как партизана, а деньги за находку получит комендант. Война не война, а деньги немцы все время считают. Наживаются. На эту вот жадность Лаврушка и намекнул коменданту в письме. Получишь, мол, полное свое вознаграждение. А дело шло уже к Новому году. Перед самой этой встречей Нового года Лаврушка достал стокилограммовую бомбу. Удалил взрыватель, выковырял из нее часть тола. А на освободившееся место заложил, засунул свою мину — сюрприз. С часовым заводом. Засыпал эту круглую мину крошкой тола и толом же аккуратно залил. После опять поставил взрыватель. И в таком виде подвесил эту бомбу на крючьях под новый, только что немцами восстановленный мост. Мост этот был ерундовый. Немцы его днем и не охраняли. И взрывать его такой бомбой не было никакого смысла. Да Лавруха и не собирался его взрывать. У него, конечно, были другие соображения. Вы сейчас поймете, в чем дело...
— Что-то чудно, — усомнился впервые Василий Егорович. — Как же он мог доставить в деревню такую бомбу? Сто килограмм? И подвесить? Нет, что-то очень чудно. Уж очень большая бомба. Не верится...
— Ничего особенного, вы погодите, — не смутился Михась. — Лавруха же был не один. Ему деревенские мальчишки помогали. Знакомые, хорошо знакомые мальчишки. И одна деревенская женщина. Тоже вдова. Но не Лаврухина вдова, а другая. Они все вместе будто из леса с дровами ехали, а под дровами бомба. И у самого этого моста сани будто бы опрокинулись. Одни ребята и женщина будто бы собирают дрова, а другие с Лаврухой вместе работают незаметно под мостом...
— Ну, это нормально, — успокоился Василий Егорович. — Только надо быстро работать.
— А они очень быстро и работали. Потом Лаврушка научил тех же ребят распространить слух по деревне, что, мол, где-то подготовлен немцам сюрприз к Новому году. Слух дошел сперва до полицаев, а от них уж до самого коменданта Губермана. Обыскали немцы все-все. Все закоулки. И за час до встречи Нового года нашли эту бомбу. «Дурачок», — посмеялся над Лаврухой комендант: даже, мол, замаскировать не сумел как следует. Бомбу моментально обезвредили, то есть удалили, одним словом, взрыватель и уложили ее, как другие такие находки, в склад в сарае во дворе комендатуры. Тут же рядом и дом коменданта и офицерский клуб. И что вы думаете? Ровно в двенадцать ночи, когда офицеры стали откупоривать это французское шампанское (я его в Слуцке тоже пробовал — кислое), вдруг ка-ак жахнет, как жахнет! У бомбы же внутри часовой завод был. И там

же, в складе, были еще другие бомбы. Все сейчас же к чертовой матери полетело. Только, считайте, доски обгорелые остались...
— Толково, — одобрил Василий Егорович.
А Феликсу, похоже, не понравился рассказ. Он огорченно пошвыркал носом. Потом спросил:
— А вдова куда девалась?
— Какая вдова?
— «Какая»! Ну, у которой жил Лавруха.
— Откуда я знаю, — сказал Михась. — Куда-нибудь девалась.
— Ее же, наверно, немцы повесили за Лавруху, — предположил Феликс. Ему-то ничего, а ее, я уверен, повесили.
— Не знаю, — пожал плечами Михась. Вопрос Феликса его явно смутил.
— Ладно, — остановился у кладбищенской сторожки Василий Егорович. Лавруха свое дело, как говорится, сделал, а наша работа только начинается. Давайте выгружаться. Про вдову потом подумаем. Хороший ты, Миша, рассказ рассказал. Замечательный просто рассказ!

10

В старой заброшенной кладбищенской сторожке Бугреев разместил что-то вроде кузницы. Самодельное горно, наковальня, небольшой верстак с тисками. Он называл это, смеясь, филиалом своей фирмы. И все знали, что здесь он по заказу иногда варит оси для деревенских телег, ошинивает колеса и делает разные кузнечные работы. Летом отремонтировал две пролетки для полиции и городской управы в Жухаловичах. От ковки лошадей он, правда, отказался. Дело это ему малознакомое. И крупных заказов сейчас не принимает — по случаю болезни. Да и помощников у него нет для большой работы. Смешно сказать, Ева несколько раз помогала ему здесь как молотобоец. Конечно, это не занятие для женщины, какая бы она ни была сильная. На Феликса же надеяться нельзя, он — совсем слабый.
— Ты, Феликс, тут не топчись, — говорит отец, сбрасывая с плеч телогрейку. — Ты лучше поглядывай, чтобы никого лишнего поблизости не было. Стой там снаружи. Поглядывай. Сегодня мы хорошо поработаем. Воскресенье. Никого нет. Но ты все-таки поглядывай, Феликс.
Михась удивился, что сегодня — воскресенье. Он забыл делить дни на выходные и рабочие. Все дни идут теперь под одну масть.
— Обстановка будет такая, — говорит ему Василий Егорович, снимая со стены с гвоздя брезентовый, обгоревший во многих местах фартук и надевая его через голову, — ты становись к тискам. Будешь откручивать головки, вынимать взрыватели, а я — вытапливать. Вот такой будет порядок. И еще, погоди, самое главное. Идем сюда.
Он вывел Михася из сторожки и показал ему старинный купеческий склеп в виде маленькой часовенки с отбитым крестом и двумя мраморными херувимами, охраняющими литую чугунную дверь с решетчатым окошечком.
— Это на всякий случай, — потянул к себе дверную скобу Василий Егорович.
Дверь со скрежетом приоткрылась.
Из темного пространства дохнуло холодом и сыростью замшелого камня, а в глубине что-то зашуршало и поникло.
— Это на всякий случай, — повторил Василий Егорович. — Если, конечно, что-нибудь такое... Ну, сам знаешь, могут все-таки появиться... Хотя едва ли в воскресенье. Но все-таки. Ты, в случае чего, сюда лезь. Я тебя закрою, опять же замотаю дверь проволокой. Не побоишься? Скажи откровенно — не побоишься?

— Ну чего же бояться, если надо, — смущенно улыбнулся Михась. И в то же мгновение представил себе всю незавидность своего положения. Вдруг нагрянут немцы или полицаи, заберут, уведут, убьют Василия Егоровича и Феликса. А Михась так и останется здесь в склепе. И никто не будет знать, что он остался. Ищи тогда свищи.
— Ты сам понимаешь, мы здешние. Нас тут все-таки знают, — говорил Бугреев как бы извиняющимся голосом. — В случае чего, нас проверят, на месте ли мы. И все. А тебя начнут спрашивать, откуда пришел, по какому делу. Поведут еще на проверку. Ну сам знаешь...
— Знаю, — еще раз заставил себя улыбнуться Михась.
— Тогда начнем работать. Не будем терять время. Пойдем, я покажу тебе, какое я сделал изобретение. Это, ты понимаешь, я в шутку говорю изобретение. Пустяки. Но все-таки теперь у нас дело пойдет скорее...
Василий Егорович быстро ломиком разобрал в сторожке половину пола и ловко сложил доску на доску.
Под полом оказалась довольно глубокая яма. В ней — чугунный котел на кирпичной кладке. Это — по сути дела — горно. И рядом небольшое поддувало с деревянной подножкой.
— Видал? — засмеялся Василий Егорович. И сию же минуту закашлялся.
До этого он не кашлял долго. Кашель сейчас был протяжный, со стоном. Василий Егорович почти лег на котел.
Михась стоял перед ним на неразобранном полу у верстака и не знал, что предпринять. Наконец он увидел в темном углу большой ушат с водой и ковшик на ушате.
— Попейте, Василий Егорович.
— Не надо, — отстранил его руку Бугреев. — От воды, пожалуй, будет хуже. Сейчас пройдет. Откручивай пока головки, как прошлый раз делали. Помнишь? Только осторожно. Чтобы не стукнуть головку. Чтобы головки не подавались вовнутрь. Ну, ты сам знаешь. Не торопись...
Михась легонько зажал снаряд в больших тисках.
— Нет, подожди, — высунул голову из ямы Бугреев. — Возьми вон то ведро и подавай мне сюда воду.
Они до половины наполнили котел водой. Бугреев стал разводить огонь под котлом. А Михась снова занялся снарядом.
То ли головка попалась какая-то упорная, то ли старые тиски плохо держали, но Михась долго возился — не мог открутить головку.
— Ну, давай. Что ты там ковыряешься? — подал голос из ямы Бугреев. Он уже легонько помогал огню поддувалом, нажимал на подножку. Дым почти незаметно уходил под железный шатер и в трубу.
— Не получается что-то, Василий Егорыч. Давить очень сильно не хочу.
— И не надо давить. Осторожно. Погоди, погоди. Ключ-то как держишь?
Василий Егорович вылез из ямы. Раскрутил тиски. Обмотал снаряд паклей. Опять зажал в тисках.
Головка отвернулась мгновенно.
— Отвыкаешь работать. Не успел еще привыкнуть, а уже отвыкаешь. Не твоя вина, — потрепал он Михася шершавой ладонью по волосам. — Эх, как зарос! Подстричься бы надо. После подстригу тебя. У меня своя машинка для стрижки. И сними стеганку, здесь не холодно. Огонь горит. Смотри, как горит. По нашей воле и желанию. А то жди, как раньше, когда вода согреется на костре. И главное — шито-крыто. В случае чего — туши и закрывай пол досками, чтобы никаких знаков препинания не было. Вся секретная фабрика под землей...
Он вдруг повеселел, как в былые времена, когда Михась учился у него.
Даже странным казалось, что он только что надсадно кашлял, будто умирающий.
Для Михася он снова был учителем, не сердитым, не строгим, даже ласковым, но таким, который невольно внушает свое превосходство ученику.
— Теперь смотри сюда. Эти головки открутишь и побоку их — вон туда, за склеп, в яму. И стаканы от снарядов — туда же. Потом присыпем эту яму. Чтобы не было никаких следов, в случае чего. Понятно?

— Полностью, — повеселел и Михась. Он откручивал одну головку за другой.
— Конечно, это пойдет у нас теперь скорее, чем раньше. Но, откровенно тебе скажу, это будет немножечко опаснее. Вот так, — поднял брови Василий Егорович. — Это надо иметь в виду. Скорость — дело хорошее. Но за скорость и на железной дороге приплачивают. Ведь печальнее всего, что мы не знаем всех тонкостей и секретов. Не знаем... — как бы это сказать? — той самой черты, за которой начинается, так сказать, опасность. Я смотрел в старых справочниках. Мало что полезного можно из них выудить. Сказано, при температуре такой-то и такой-то в закрытом сосуде происходит детонация. А как я могу узнать, какая тут температура? Градусника нет. Я могу это только чувствовать, угадывать.
Василий Егорович взял ненужный ему сейчас молоток, подошел к наковальне.
— Ну, ничего, Миша. Ничего. Трусы, как говорится, в карты не играют. Приноровимся...
— Вот только дым опять будет, — вздохнул Михась. — Дым у вас кашель вызывает.
— Дым? Ну какой тут дым! Ты смотри, как сделано. Дым уходит. Жарко только. Но это уже ничего не поделаешь. Пусть прогорят дрова. Потом будем разогревать на углях.
И пока прогорали дрова, Бугреев, заметно веселый, весело возбужденный, стоял у наковальни и задумчиво постукивал молотком по ее бокам так, что получалась незатейливая мелодия.
— Ничего, ничего, — повторял он, радуясь каким-то мыслям. — Ничего. Все идет по плану.
Михась, орудуя у тисков, будто пожаловался:
— Некоторые головки очень ржавые...
— Ничего, — снова сказал Бугреев. — Головки нам сейчас ни к чему. А тол не ржавеет. Засветло еще натопим сколько хочешь. И у меня тут лампа есть, если надо. Ничего. Лишь бы хорошо начать, немножечко приноровиться. Это знаешь как бывает. Если повезет, так и петух яйцо снесет. А не повезет, так курица снесется, да поросенок яйцо съест. Первый раз я это сегодня пробую в этом котле. Ну конечно, немножечко волнуюсь. Но это ничего. Перед горячей работой всегда волнуешься. Ну-ка, клади эти в воду, — кивнул он на снаряды, уже приготовленные Михасем и лежавшие у края ямы. — Пусть немножечко помокнут. Не так, не спеши. Поближе к желобу клади, чтобы сток был, — объяснял он Михасю, ловко спрыгнувшему в яму. — Вот теперь хорошо. Вылезай.
Бугреев продолжал постукивать молотком, глядя, как в котле закипает вода.
— Надо бы, пожалуй, еще одну тележку доставить. Но это пусть Ева с Феликсом привезут. За одним теплом сделаем, пока ты здесь. А то как бы мне не расхвораться. Что-то жжет в груди, першит...
— Вам бы, я так думаю, жир бараний надо пить. С медом, — сказал Михась. — У меня когда грудь болела, я пил. Еще у себя в деревне, до войны.
— До войны, — улыбнулся Василий Егорович. — До войны я тоже много чего пил и ел. Бараний жир, это верно, не пробовал. Да и ни к чему он мне был. Я на здоровье никогда не обижался. Жил всегда с удовольствием...
— А сейчас вы все-таки попробуйте бараний жир.
— Да где ж я его сейчас возьму? И ты говоришь, еще с медом. Может, еще лучше с сахаром и вареньем?
— Насчет сахара и меда я ничего сказать не могу, — вытер Михась двумя пальцами уголки губ. — А насчет баранины — это наш командир Казаков, я же вам говорил, прямо приказал мне передать. Мы пошлем вам обязательно хотя бы пару овечек. И еще что-нибудь из продуктов. Он так прямо приказал передать. И у нас, я же говорил, есть человек, который доставит.
— Вот как? — удивился Василий Егорович. — У вас, значит, и овцы свои? Дела, значит, идут совсем неплохо?
— Ничего, — улыбнулся Михась. — Недавно отбили у немцев овечек. Но это нам не так интересно. Взрывчатки нет. Вот из-за чего мы больше всего переживаем. Его надо бить сейчас на рельсах. А мы не можем. Нету тола. А как мы его били здорово, когда был тол! Каждый день били. Правда, он в прошлом году и вот еще недавно нас сильно гонял с места на место. Из-за этого и мучаемся сейчас без тола. Подрывники говорят: хотя бы двадцать килограмм тола...

— Двадцать я, пожалуй, вытопил прошлый раз, — сказал Бугреев. — Они у меня дома под крыльцом, в ящике. Можешь забрать в любое время.
— Это спасибо, — кивнул Михась. — Но двадцать — это все-таки тоже только слону дробина. Надо бы сто, двести, триста килограмм. Вот это было бы крепко.
— Что ж, постараемся, — пообещал Бугреев. — Только я все время думаю, как вы его отсюда заберете, если получится большое количество? Ведь это же не просто...
— Это уж мы сообразим, — засмеялся Михась. — На одном и том же транспорте: к нам — тол, к вам — овечки.
— Толково, — засмеялся и Бугреев. Потом спросил, продолжая постукивать молотком: — А как дела вообще-то на фронтах, ты не рассказываешь. У нас же тут ни черта не слышно. В газетках врут. Если по немецким газеткам судить, так немцы уже и Москву и Ленинград по два раза взяли. И все на свете.
— Москву им слабо взять, — сказал Михась. — Уже пробовали. Я с одним немцем, пленным, разговаривал...
— Ну это понятно, — перебил Бугреев. — Мне интересно, как вообще сейчас на фронтах? У вас в отряде, наверно, радио есть. Вы Москву слушаете?
— Слушаем, — кивнул Михась. И, чуть помрачнев, задумался: — Вообще-то на фронтах... В общем-то идут большие сражения... На всех фронтах...
— Ты только давай без агитации, — попросил Бугреев. — Откровенно...
Михась снова неторопливым, почти стариковским движением вытер двумя пальцами уголки рта, оставив черные следы вокруг губ.
— Если откровенно, то дела, Василий Егорович, сейчас, по-моему, плохие на фронтах. Я даже не знаю, как объяснить, — как бы пожаловался Михась. Я как раз вчера слушал радио. У нас в отряде, если уж так говорить откровенно, тоже не очень рекомендуют слушать радио. Даже из Москвы. Всякие сводки Совинформбюро — это у нас слушает сам Казаков. И еще кое-кто из командиров. А так партизаны больше слушают легкую музыку.
— Почему это?
— Ну как вам сказать? Чтобы люди, то есть партизаны, не расстраивались. Я вчера к радисту в землянку пришел. Это мой дружок — Анатоль Жевжик. Он мне включил, я послушал и тоже, можно сказать, расстроился немножко. Это я вам просто так говорю, Василий Егорович, как человеку. Вы же не будете распространять. Плохие наши дела на фронтах. Он уже к Волге подошел...
— То есть погоди, как к Волге?
— Вот так... Украина же, вы знаете, вся у него... Я теперь жалею, что плохо учился по географии в школе. Анатоль, мой дружок-радист, мне вчера показывает на карте. А я плохо понимаю. Он говорит: «Вот смотри, Дон, а это Волга. Немец сейчас сюда пройдет — и труба...»
— Подожди, подожди, — вдруг сильно взволновался Василий Егорович. Куда пройдет?
— Ну, к Волге, — упавшим голосом произнес Михась. — Вы же знаете, как передают по радио: «После упорных кровопролитных боев наши войска оставили город такой-то и такой-то».
— Да какой город-то? Как название?
— Я не могу сейчас вспомнить, — виновато вздохнул Михась, раскручивая тиски. — Один город вроде Калач, а второй... Никак не могу вспомнить. Вроде... Нет, не могу вспомнить. Может, еще вспомню...
Бугреев как-то растерянно посмотрел в окошко, потом в яму. И неожиданно со страшной силой ударил молотком по наковальне и исступленно, матерно выругался, как никогда не ругался при Михасе:
— Так что же это такое? Как же это можно понять? Неужели же он нас все-таки задавит? Неужели же все наши муки, все наши страдания, вся наша жизнь пойдет прахом? Целые годы голодали, бедствовали, строили нашу индустрию, так ее мать! И вот — нате вам. Все пошло волку под хвост. Все проворонили...
Бугреев добавил еще нехорошие слова.
Михась стоял у тисков убитый. Он понял, что только что по глупости, по ненужной откровенности совершил тягчайшую, непоправимую ошибку. Он не просто ученик Василия Егоровича. Он давно уже не ученик его. Он сейчас здесь, в этой кладбищенской сторожке,

— представитель той грозной и могущественной, во многом таинственной силы, которая способна вселять надежду во все сердца. И вот он, Михась, случайно, конечно, по глупости может быть, лишил надежды этого больного и усталого человека, действующего из последних возможностей. И зачем только Михась так разболтался? И про Анатолия Жевжика зачем-то сказал, когда не полагается даже называть по фамилии людей из отряда...
Василий Егорович снова тяжко кашлял.
В яме в котле бурлила вода.
Михась вдруг снова вспомнил замечательных парней Сашу Иванченко и Сашу Иванцова, которые в прошлом году погибли вот у такого же котла. Вот так же кипела вода. И так же шевелились в ней снаряды. Только их было меньше. Всего три штуки. А здесь сейчас — девять. Котел больше. Как раз Саша Иванцов отогнал тогда Михася, заглянувшего в котел. Отогнал от костра очень грубо и даже пообещал набить морду, если он не отойдет.
— Уйди, сопляк! — закричал как сумасшедший.
Михась, понятно, тогда обиделся. Но когда он отошел, даже отбежал, обиженный, — раздался взрыв. И обоих Саш — Иванцова и Иванченко — убило взрывом. Они вытопили двадцать девять снарядов. А на тридцатом их убило.

11

Вода бурлит в котле.
А Василий Егорович все еще надрывно кашляет, одной рукой опираясь о наковальню. И Михась опять в затруднении, опять не знает, как быть, что предпринять.
Наконец он говорит в полной растерянности:
— Может, убавить огонь?
— Не надо, — сердито откликается Бугреев. — Погоди. Я сейчас. Я сейчас сам...
Он медленно спускается в яму. И Михась без размышления спускается вслед за ним. Михась внимательно смотрит в котел, где, как крупные бесхвостые, безголовые рыбы, подрагивают в кипящей воде снаряды. Нет, Михась не испытывает тревоги. Даже рад, что теперь никто не гонит, не может прогнать его от котла. Он стал старше. На год стал старше. Никто теперь не скажет, что он — сопляк. Он такой же, как и все. И не верит, что может быть взрыв. Василий Егорович — опытный человек, был главный механик — не допустит до взрыва.
Бугреев не убавляет огонь. А напротив, прибавляет. Нажимает ногой на деревянную планку поддувала. Берет большие кузнечные клещи — вот они зачем нужны — и пододвигает снаряды к самому желобу.
— Порядок, — говорит он, увидев, как в желоб начинает тихо стекать пока из одного снаряда тонкая струйка светло-коричневой жидкости. — Какао, улыбается Василий Егорович, поддерживая снаряд клещами.
Михась смотрит на него сбоку, замечает его улыбку и сам улыбается. И хочет сказать что-нибудь ободряющее, хочет придумать, вспомнить что-нибудь хорошее, чтобы замять тот неприятный разговор о положении на фронтах, тревожный, ненужный разговор, обессиливающий сердце.
— Это лучше всякого какао, — кивает Михась на жидкий тол, вытекающий уже из другого снаряда. — Лучшее угощение для немцев.
— Неплохое, — все больше веселеет Василий Егорович.
И Михась воодушевляется. Рассказывает, как они раньше, в сорок первом году, подрывали немецкие эшелоны, когда плохо было с взрывчаткой и не умели еще по-настоящему ставить мины. Приходилось на уклоне развинчивать рельсы и оттягивать их в сторону на проволоке при подходе поезда. Тогда еще немцы не охраняли дороги. А теперь делается все

по-другому. Возьмешь ящик какой-нибудь деревянный, заложишь туда тол и еще немецкую гранату, присобачишь к ней метров двести, двести пятьдесят шнура. Прикопаешь этот ящичек на хорошем месте на железнодорожном полотне и ждешь поезда. Другой раз долго ждешь. Дождь идет, но как-то дождя не замечаешь. Весь трясешься от нетерпения. Потом вдруг — та-та-та... Поезд. Шпалы дрожат. И тут, только паровоз или первый вагон на твою мину наедет, дергаешь шнур изо всей силы, быстро.

— Я еще в детстве, когда был маленький, тоже со шнурком, с веревочкой снегирей ловил, — засмеялся Михась. — Но это, конечно, сравнивать нельзя. Тут рванешь шнур — и самому даже станет страшно. Ка-ак жахнет, как жахнет! Грохот на весь лес. Ужас! Ревут, стонут! Ведь другой раз сотни солдат. Ужас как ревут! Особенно вот сейчас осень, далеко слышно...

— А не жалко?

Это спрашивает Феликс, незаметно вошедший в сторожку и наклонившийся над ямой.

— Неужели не жалко?

Михась вздрагивает от неожиданности.

— Кого это жалко?

— Ну, этих людей?

— Каких людей?

— Ну, которые в поезде едут.

— Так это ж какие люди? Фашисты.

— Все равно, наверно, люди.

Василий Егорович выбрасывает клещами из котла пустой снаряд, говорит Феликсу:

— Унеси его, выброси. Знаешь куда? За склеп, в яму. И уходи отсюда. Если что-нибудь с тобой здесь случится, мамаша мне башку оторвет. А эти люди, которых ты жалеешь, могут каждую минуту сюда явиться и всех нас передушат. Понятно? Иди отсюда! Я же тебе велел там стоять и смотреть. Как же ты свой пост бросил?

— Там Ева стоит. Она велела мне пойти погреться. У меня рука стынет.

— Иди, иди, — все-таки настаивает отец. — Иди отсюда. Скажи Еве, чтобы она выбрала десятую могилу. Помнишь десятую? У белого ангела с крестом и с веткой. И потом сюда привезете снаряды. Могилу, скажи, чтобы она опять закрыла дерном. Иди, сынок. По-хорошему прошу...

— У меня рука стынет, — жалуется Феликс, сиротливо прислонившись к косяку двери.

— Ничего, потри ее. И ты уж немножечко погрелся. Беда с парнем, вздыхает Василий Егорович, поднимая руки над головой, чтобы впустить хоть чуточку прохлады в прорези рубахи.

— Больной, — сочувственно вздыхает и Михась, провожая Феликса глазами.

— Не в том главное, что больной, — вытирает ладонью обильный пот со лба и с шеи Бугреев. — Он головой, кажется, тронулся. Я уже жалею, что взял его сегодня сюда с собой. Не нужно ему все это видеть...

— Но он ушел, — смотрит на дверь Михась. — Он там с Евой...

— Все равно, — смотрит на дверь и Василий Егорович. — Все равно он сейчас сильно волнуется. И здесь ему находиться не к чему, и с глаз его отпускать опасно. Не угадаешь, что он может придумать... После того как погибли его братья, то есть мои сынки, он как будто каким-то слишком религиозным стал. Все время всех жалеет. За всех переживает. Говорит даже — грех. И откуда он подцепил это слово? «Грех, говорит, немцам, что они наших людей убивают, и нам тоже будет нехорошо. Очень, говорит, много народа ни за что погибает. Жалко всех людей». Вот как он разговаривает. Или кто-то ему это нашептывает, — не могу понять...

Бугреев ухватил клещами пустой снаряд, подержал его над котлом и резко отбросил, так, что он загремел на досках пола.

— А вы знаете, Василий Егорыч, у меня тоже такое бывает, — вдруг признался Михась. — Уж на что я все-таки, можно сказать, политически подкованный, а и то у меня тоже другой раз просто сожмется сердце. Станет жалко.

— Кого?

— Вы не удивляйтесь, Василий Егорович. Вот честное комсомольское. Мне тоже другой раз даже немцев станет жалко, когда попадаются пленные. Ведь куда с ними деваться?

Самим другой раз есть нечего. А их надо охранять. Вы знаете, другой раз душу выворачивает, так жалко.
— Немцев?
— Даже немцев. Даю честное комсомольское. Хотя я сам хорошо видел, что они, сволочи, творят. И у меня с ними до самой моей смерти, можно сказать, личные счеты. Хотя бы из-за мамы. И вообще из-за всего. А все-таки, когда они пленные, бывает даже их жалко. А вы как считаете?
— Нет, я хотел тебя спросить, как ты считаешь? Может, нам бросить выплавлять тол, если тебе немцев жалко? Ведь сколько еще их этим толом можно убить? Ну что? Гасить огонь?
Михась понял, что, снова разоткровенничавшись, допустил грубую ошибку.
— Вы меня не поняли, Василий Егорович, — виновато сказал Михась.
— Нет, я тебя понял, Миша. Давно понял. Ты хороший хлопец. И это хорошо, что мы не учили наших детей презирать другие народы. Но тол все-таки будем вытапливать. И пусть они в поездах ревут, как ты говоришь, и стонут. Не жалко. Мне теперь никого не жалко. Себя не жалко. Вот так. Выбрасывай эти пустые стаканы. И давай те снаряды сверху. Хороший жар! Просто удивительно, какой хороший жар!
Василий Егорович был весел, как-то злобно, озорно весел. Будто выпивши.
Михась вылез из ямы, вынес, выбросил пустые стаканы и, наглотавшись за это время за пределами сторожки свежего, прохладного воздуха, азартно возбужденный, стал подавать Бугрееву новые снаряды, тщательно осматривая их — свернута ли головка, вывернут ли взрыватель.
— Это правильно вы говорите, Василий Егорыч. Это я понимаю, что жалеть кого-то еще рано. Поскольку, во-первых, немцы сами начали, по своей охоте и теперь из-за них идет такая вот война. Нам читали на днях приказ из Москвы. И в приказе прямо указывается...
Василий Егорович перебил его:
— Этот снаряд отложи. Это стопятидесятимиллиметровый. Их, кажется, шесть штук. Их отдельно будем делать. Надо, чтобы одинаковые шли. Чтобы сразу поспевали.
Михась отложил большой снаряд, протянул поменьше и опять заговорил:
— Так вот, Василий Егорыч, я говорю, этот приказ партизанам прямо указывает...
— Указывает? — прохрипел, как перед новым приступом кашля, Бугреев. Но не закашлялся. — Эх, Миша, кабы кто-нибудь указал, как вот тол из снаряда вытапливать. Ведь вот положение. Даже градусника нету. Втемную работаем, на благ святых, наобум лазаря. И никакой инструкции. Не знаешь, когда тебя нелегкая толкнет. Зачерпни-ка мне, Миша, ковшичком водички. Жарко! Дышать нечем. А кашля нет. Грудь, что ли, согрелась...
Михась сам давно уже хотел пить. Жара истомила и его, — правда, может быть, меньше, чем Василия Егоровича, который теперь безвылазно — в яме.
Михась с наслаждением, с жадностью выпил почти полный ковшик теплой воды из огромного ушата после того, как напился Бугреев.
А есть, странное дело, теперь уже не хотелось. Михась даже забыл о своем мешке, оставленном в мастерской.
— Если б немножечко посолить эту водичку, — поднял голову над ямой Бугреев и кивнул на ушат в углу. — Не так бы тяжко было. Не так бы томила жажда. Хоть щепотку бы соли кинуть туда. Нету...
Михась удивился этим словам, но ничего не ответил, не успел ответить.
В дверь ворвался прохладный, освежающий ветер. Это Феликс открыл дверь.
— Мы с Евой привезли снаряды. Все забрали из-под белого ангела.
— Вот и хорошо, сынок. Очень хорошо, — погладил себя по мокрой от пота голове Бугреев. — Оставьте эти снаряды у дверей. Михась их занесет.
— Можно, я тут немножечко побуду? — как-то особенно жалобно попросил Феликс, опять прислонившись к косяку двери. — Я погреюсь. А Ева пока покараулит.
— Нет, — сказал отец. — Тут опасно. И ни к чему. Я же тебе русским языком говорю, и ты сам понимаешь. Мамаша мне башку оторвет, если с тобой что-нибудь случится.
— Не оторвет, — зябко поежился Феликс.
— Нет, — повторил отец. — Нечего тебе тут делать. Иди... Или вот так. Возьми этот ящик с толом. Он уже готов. Михась, поставь ему ящик на тележку. Слышишь, Феликс? Увези этот ящик домой. Отодвинешь доску под крыльцом. Знаешь, как мы делали? Туда выложишь все

из ящика. А ящик привези обратно. И дома погрейся. Погоди! Дома скажи маме, пусть готовит ужин. Картошки пусть напечет. Через час мы придем ужинать. Нет, через полтора часа. Сделаем все и придем. У нас здорово идут дела. Лучше, чем прошлый раз. Иди, сынок, не задерживайся. Еве тоже холодно на ветру. Сменишь Еву.

— Еве не холодно, — сказал Феликс. Но ушел.

— А под крыльцом — это не опасно? — спросил Михась.

— Что опасно?

— Ну вот под крыльцом вы держите тол. Это не опасно, если найдут? Ведь могут найти, если обыск...

— Были у нас уже всякие обыски, — махнул рукой Василий Егорович. — И под крыльцом искали, и везде. Нечего больше искать. Да и под крыльцом всего удобнее хранить, если хочешь знать. Там у нас напихано всякое барахло...

— Все-таки, — сказал Михась. — По-моему, это опасно...

Василий Егорович вылез из ямы, зажег лампу, повесил над верстаком.

— Многое что опасно, Миша, — улыбнулся он. — Но волков бояться — в лес не ходить. Вот теперь это, — кивнул на яму, на огонь в яме, на котел с кипящей водой, — уже не в первый раз делаю. Раньше — на кострах, а сейчас — здесь. И, наверно, в пятый и в десятый раз буду делать, если потребуется. Но начинать этот мартышкин труд всегда тяжело. Как-то муторно, тяжко на душе. А начнешь — и как будто так надо. Хочется сразу побольше сделать, чтобы снова не начинать. Такое чувство всегда, словно в последний раз это делаешь. Кажется, больше сил не хватит опять это начинать. Вот так. А сегодня я, должно быть, немножечко разогрелся и перехватил. Сколько времени?

Михась посмотрел под лампой на свои великолепные часики:

— Шестой час. Двадцать минут шестого.

— Многовато, — покачал головой Василий Егорович. — Давно бы пора чего-нибудь перехватить. Эдак, не жравши, и ноги не потянешь. Да и с тобой, Миша, я, пожалуй, некрасиво поступил. Не дал тебе даже передохнуть с дороги. Сразу втянул тебя в дела. — Улыбнулся. — Хотя ты не гость, а заказчик. Но все-таки ты, наверно, притомился?

— Нет, я — ничего. Но вы, я думаю, устали.

— Устал, — сознался Бугреев. — Очень устал. Это я, пожалуй, напрасно по жадности еще одну тележку велел привезти. По жадности. Но теперь уж делать нечего. Надо ее доколотить. Неудобно, опасно оставлять у сторожки целые снаряды. И обратно к могиле везти их глупо. Надо доколотить. Нельзя так бросить. И главное — дело идет хорошо. Хороший жар. Тишина. Воскресенье. Оставайся у нас ночевать. Завтра немножечко передохнешь, выспишься. Ты можешь еще денек у нас погостить? Не сильно забранят тебя в отряде?

— Вообще-то не забранят. Я могу. Но надо тол доставить. Ночью буду хлопотать насчет транспорта.

— Ну ладно, тогда еще немножечко поработаем.

Василий Егорович опять спустился в яму.

Михась, не надевая стеганки, вынес ящик с толом, установил его на тележку, привязал. Феликс, швыркая носом, будто плача, увез тележку в кладбищенскую темноту.

А Евы нигде не было. Где же она?

Михась, вспотевший, в прилипавшей к спине рубахе, вздрагивая от вечерней прохлады, стал переносить в сторожку только что привезенные снаряды. И все время думал о Еве. После рассказов о ней Феликса и сердитых замечаний Василия Егоровича Михась испытывал к Еве почти враждебность, смешанную, однако, с удивлением. Интересно было бы посмотреть, какая она. Интересно было бы даже заговорить с ней. Но Ева почему-то ни разу не вошла в сторожку.

Где-то она ходит здесь вблизи. Может быть, она даже видит сейчас Михася, работающего в полосе света, падающего от лампы из сторожки. А он ее не видит, не может увидать.

На кладбище стало совсем темно. Не видно даже склепа, в который Михась должен спрятаться в случае чего, в случае, если появятся полицаи или немцы.

Михась снова, орудуя у тисков, стал свертывать головки снарядов, вынимать взрыватели. Делал он это осторожно, — это и надо делать очень осторожно, не торопясь. По-прежнему попадались сильно заржавевшие головки.

Василий Егорович сидел в яме на корточках, неотрывно смотрел в котел, изредка нажимал ногой на планку поддувала. Потом снова попросил попить. И, медленно выпив полковшика, сказал:
— Все-таки был бы хоть какой-нибудь, хоть самый дерьмовый градусник, я бы нисколько не беспокоился. Я бы точно засек градус, на котором начинается выплавка. А так это в самом деле дикость. Только чутьем, одним только сверхсобачьим чутьем действуем. Позови сейчас сюда любого человека, объясни ему, в чем дело, и скажи: делай, мы тебе десять орденов дадим и миллион денег. Уверен — мало кто согласится. А мы, Миша, с тобой делаем. Все-таки неплохие мы с тобой мужики. Я хочу тебе это, Миша, объяснить, если ты не догадываешься. Не для того хочу объяснить, чтобы ты боялся. А для того, чтобы ты после этого никого никогда не боялся. Вот как. Взялись и делаем. И не худо делаем! Хороший жар! Быстро, хорошо поспевают. Раньше так не было. Две тележки свободно сегодня сделаем. Вполне свободно. Порядок. А завтра будем отдыхать. И две овцы ты мне обещал. Не обманешь?
— Ну что вы, Василий Егорыч! За этот тол не две овцы, а все стадо можно отдать. И еще добавить.
— И все равно я бы не взялся, — неожиданно захохотал Бугреев, даже немного напугав Михася. — В такой промысел можно войти не за плату, а только разве что по любви. Или по злобе. Только разве что по злобе или по любви, Миша...
Василий Егорович теперь не молчал ни одной минуты. Он все время говорил, как никогда раньше, то весело, то сердито, то почти печально. И быстро выбрасывал из ямы пустые стаканы, так быстро, что Михась не успевал их выносить. Наконец в кипящий котел была уложена последняя партия снарядов — девять штук.
— Дело идет к концу. Полный порядок, Миша. Теперь надо забрать этот готовый тол. Вынести отсюда. И шито-крыто. Чтобы никаких следов не было. Натопили — будь здоров! Я даже сам не думал, что столько натопим. Вынеси его сюда за сторожку, по левую сторону. Феликс с Евой увезут.
Михась вытащил из-под верстака длинный решетчатый, все еще пахнущий яблоками ящик и стал укладывать в него желтоватые и коричневатые плитки застывшего тола. Он прикасался к ним почти с нежностью, радуясь, что вот наготовили они этой бесценной сейчас продукции, которую так ждут в отряде, наготовили больше, чем ожидали.
— Ну теперь все дело за транспортом, — говорил Василий Егорович, стоя в яме и облокотившись на доски пола. — Значит, Сазона Ивановича хочешь привлечь? Ну, этот все сделает, куда хочешь доставит. Молодец! Мы с ним в гражданскую на одном корабле служили. Вояка. Стратег! Трепач. Но в то же время — умница. И никого не боится. У меня тут прошлой зимой один окруженец гостил, проще сказать — укрывался. Один окруженец, капитан. Надо было ему немецкие документы выправить, чтобы он мог действовать. Ну кого попросить помочь? Попросил я Сазона. У меня от него секретов нет. Пришел он, принес бутылку самогонки. Без этого он не может. И завел разговор с капитаном не о документах, а о всей нашей стратегии. И такое наговорил, что я думал, капитан его убьет. Капитан Сазона за врага народа принял. А потом Сазон же в один день выправил капитану все документы и даже свою собственную одежду и башмаки принес. «Воюй, говорит, счастливо, чтобы обязательно была наша полная победа». Капитан так расчувствовался, что чуть не заплакал. Говорит: «Я тебя, Сазон Иванович, за твою доброту вовек жизни не забуду». А Сазон смеется: «Нет, говорит, ты меня уж, пожалуйста, я тебя прошу, забудь. А то вспомнишь после войны, после победы, доложишь по начальству, что я тут тебе говорил, и сидеть мне тогда до скончания века. Нет, уж ты лучше забудь меня». Вот он такой, Сазон...
Этот рассказ удивил Михася. Хотелось расспросить, что же такое говорил Сазон Иванович капитану и почему потом просил забыть его?
«Не стану тебе головушку забивать», — вспомнил Михась слова Сазона Ивановича. Но он все-таки, должно быть, забил ему головушку. И сейчас Михась хотел о многом расспросить Василия Егоровича. Но расспрашивать было вот в эту минуту неудобно.
Василий Егорович опять присел к котлу и уже не смеялся — был сосредоточенный и хмурый.

— Ох, брат, застудили мы снарядики! Надо прибавить немножечко жару. Я тоже, как Сазон, с чего-то разболтался...
Василий Егорович снова нажимал ногой на планку поддувала.
Дверь внезапно распахнулась настежь, будто ее рвануло сильным ветром.
В лампе задрожал, заколебался язычок пламени.
Это появился Феликс. У него, видно было, тряслись губы. Он смешно пошлепал губами, потом дрожащим голосом сказал:
— Батя, батя, немцы!
— Где немцы? — выглянул из ямы Бугреев.
— По Круговой едут. На мотоциклах. С фонарями.
— Где, где?
— По Круговой. Ева велела сказать.
— По Круговой? — смахнул ладонью пот со лба Бугреев. — Ну и пес с ними. Пусть едут. Не наше дело. Они каждый вечер ездят по Круговой. У них там казармы. Ты отвез тол?
— Отвез.
— Вот и молодец. Иди, опять поглядывай. Если что — придешь скажешь. Не волнуйся. Вот еще один. — Бугреев снова выбросил клещами из котла пустой снаряд. — Унеси его, Феликс, подальше, за склеп.
Феликс обернул горячий снаряд паклей и понес из сторожки, говоря:
— Очень холодно стало. Ветер. И ноги зябнут. А немцы куда-то поехали. С фонарями...
— Не наше дело, — повторил Василий Егорович, опять сосредоточившись у котла.
Михась вынес ящик с толом и поместил на низенькую тележку, стоявшую у самых дверей.
— Феликс, — крикнул он в темноту, — отвези тележку!
— Сейчас, — ответил Феликс.
Из двух снарядов почти одновременно закапал в желоб на этот раз, казалось, какой-то густой, свинцового оттенка тол.
— Хорошо, хорошо, — повторял Бугреев, подвигая эти снаряды друг к другу. — Хорошо идет дело. Как на фабрике. Можно бы прямо здесь и мины делать. А что? Очень удобно. За одним теплом. Только надо достать градусник. Без градусника плохо. Дай-ка, Миша, еще попить. Жарко. Сейчас кончаем. Всего шесть штук осталось...
Михась подошел к ушату, наклонился, зачерпнул ковшиком уже совсем теплую воду почти с самого дна, понес Бугрееву.
В этот момент опять распахнулась дверь. Сильный ветер загасил лампу.
И впотьмах послышался почти плачущий голос Феликса:
— Батя, батя, я же тебе говорил! Говорил — немцы!
— Где? — спросил отец. Но это можно было уже не спрашивать.
Из окна было видно, как во тьме продвигается цепочка огней, и слышно близкое тарахтение и треск мотоциклов, отдаленно напоминающие пулеметную стрельбу. Они огибали кладбищенскую гору и приближались к сторожке. Дальше им ехать было некуда. Здесь тупик.
— Миша, в склеп, — посмотрел в окно Бугреев. — Беги скорее в склеп. И ты, Феликс, иди отсюда. Живо! Беги... Феликс, где ты? Уходи отсюда!
— А вы? — растерянно спросил Михась.
— Беги, беги, — повторил Бугреев. — Я успею. Я сейчас все погашу и укрою. Это как во время шторма. Без паники. Беги...
Михась как был с ковшиком, так и выбежал из сторожки.
До склепа, однако, он не добежал.
Позади что-то яростно, со свистом зашипело. Под ногами у Михася вздрогнула и зашевелилась земля. Темное, нависшее над кладбищем небо озарилось вдруг ярчайшей вспышкой. Затем Михась услышал грохот. И упал.

Где-то в отдалении то громко, то тихо, то совсем еле слышно тикают часы.
Может, они уже на том свете тикают. Может, правда, есть «тот свет». Только Михась не верил в него, потому что он все-таки комсомолец, хотя и не утвержденный еще райкомом.
Нет, он, наверно, просто спит.
Во сне он слышит острый, вкусный, веселящий душу запах жареного лука.
Это мама растерла в большом чугунке вареную картошку и положила туда горячие шкварки с луком. Ничего вкуснее этой еды на свете нет.
Вот сейчас мама снова поставит чугунок на раскаленные угли — пусть еще подогреется, добавит в него молока, соли и потом всех позовет к столу.
И правда, мама гладит Михася теплой ласковой рукой по голове, целует в лоб и говорит:
— Ну как твои ушки, сынок? Стреляют? Ничего, ничего. Пусть немножко постреляют. А платок не снимай. Пусть на ушках будет платок. Это доктор велел. Так теплее будет. Пойдем покушаем. Бульба со шкварками. И чайку с сахарком попьешь...
— Но тебя же нету, мама, — почти плачет Михась. — Тебя же немцы...
— Глупости какие, — опять целует его мама. Целует и гладит по голове. Глупости какие ты повторяешь...
— Но я же сам видел. Тебя немцы вели в сельсовет. И один тебя штыком.
— Глупости, глупости, — улыбается мама.
И какая она красивая, в синем платье. Где же она взяла это платье? Ведь раньше не было такого...
Михась не успевает спросить маму об этом платье. Из-за печки или черт его знает откуда выскакивает вдруг черный, как жук, Гришка Бумбер и кричит:
— Чего ты, Пашкевич, на меня наговариваешь, будто я плохие печати ставлю? Посмотри!
Гришка плюет себе на ладонь и ставит на нее печать. Потом переносит этот оттиск на бумажку.
— Правильно. Настоящая немецкая печать. Небольшая, круглая. Как наши двадцать копеек. Хорошая печать, — убеждается Михась. Но это почему-то его не радует.
А Гришка Бумбер хохочет так, что режет уши.
Мама вежливо отодвигает Гришку:
— Отойдите, пожалуйста. Будьте добреньки. У ребенка болят ушки.
И Бумбер слушается маму.
Михась всовывает свои голые тоненькие ножки в большие валенки и слезает с печки, где ему было тепло и уютно, но он хочет есть.
За большим столом, только что хорошо промытым мамой и еще пахнущим мокрой сосной, уже сидят отец и сестры — Шурка и Антонина. Но мама накладывает горячую, дымящуюся картошку в первую очередь не отцу, не сестрам, а Михасю и говорит:
— Наш Михасик устал. И опять у него болят ушки.
— Да не болят, он опять притворяется, — говорит Шурка. — А вы его, мама, все жалеете, что он очень маленький. Все Михасю, Михасю. И сахар он один ест...
А Антонина, сидя рядом с Михасем, тишком под столом больно щиплет его за голую ногу и елейным голосом советует Шурке:
— Не завидуй, не завидуй.
Но отец все видит, все замечает. Вот он берет деревянную ложку и сейчас даст по лбу Антонине за тайные ее проделки.
Михась видит, как отец берет ложку. Но это, оказывается, не ложка, а кузнечные клещи. И это совсем не отец, а Василий Егорович Бугреев. И руки у него дрожат.
— Не могу больше, Миша, — говорит он. — Не могу! Феликс, позови Еву! Пусть она сменит меня. Жарко!
— Батя, — умоляет Феликс. — Не надо звать Еву. Она приведет немцев. Она — немецкая овчарка, Ева. Немцы нас убьют...
— Все равно не могу, — говорит Василий Егорович. — У меня слабость. Не могу!
И тут же голос Мамлоты. Он кричит Михасю:

— Разве тебя за этим посылали? Кто, скажи, тебе велел болтать всякую ерунду про немцев, про то, что они подошли к Волге и взяли важный город? Подумаешь, какой политработник! Ты же расстроил человека! Погляди, погляди, как у него трясутся руки. А он действительно больной и голодный. А ты тут хочешь бульбу со шкварками жрать! И куда ты убежал? Ты же оставил человека впотьмах. Одного оставил. Хотел свою шкуру сберечь. Ну скажи, Пашкевич, ты хотел сберечь свою шкуру?
Михась готов возразить. Нет, он не собирался беречь свою шкуру. Просто он послушался Василия Егоровича, когда тот сказал: «Беги в склеп».
А как же он мог бы не послушаться?
Михась хочет, чтобы это понял Мамлота. Но Мамлоты нет. Мамлота куда-то исчез. А над Михасем поют попы — глухо, печально и угрожающе.
Нет, они, кажется, не во сне поют, а наяву. Михась слышит запах ладана. И догадывается, что попы — над ним, где-то наверху, а он — внизу, в темноте, как в могиле.
Может быть, он на самом деле в могиле? Но тогда бы его давила земля и он бы ничего не слышал. А он слышит, как поют попы и ладаном пахнет.
Михась хочет встать, но не может. Не может пошевелить ни рукой, ни ногой. И опять засыпает.
— Вот видишь, — говорит ему Сазон Иванович. И Михась чувствует, как борода Сазона Ивановича касается его лица, щекочет. — Вот видишь, ты умер. И это не худо. Никаких тебе больше забот и ответственности. А я еще должен сколько крутиться вокруг немцев, будь они прокляты. А ты умер. И горюшка тебе мало...
— Не умер он, не умер, — кричит и плачет Клавка. Ее не видно, но слышно, как она кричит и плачет: — Пусть я ворожея, пусть меня исключают, но он не умер, честное комсомольское...
Клавка настойчиво, сердито кричит откуда-то издали. Должно быть, кто-то ее не пускает к Михасю. Но она кричит и кричит. И крик ее медленно замирает.
Михась чувствует, как у него стынет голова. Ветер, наверное, ее студит. Откуда этот ветер?
— Говорил ведь тебе? Разумеется, говорил, — спокойно, но внушительно произносит Казаков. — Говорил — не носи кепку. Не послушался. И, разумеется, облысел. Ты же лысый теперь, лысый, разумеется...
«Разумеется» — это так говорит только Казаков. Это, конечно, он сейчас говорит.
И опять кто-то плачет. Похоже, это плачет Клавка.
Должно быть, ее все-таки не пускают к Михасю.
Конечно, это Клавка кричит и плачет:
— Но он мой муж! Поймите, он — мой муж! Что значит, что не зарегистрированные? Но он мой муж!..
Михасю стыдно, что Клавка кричит такое. И это может услышать сам Казаков. И с чего она взяла, что он ее муж? Разве это считается, что она его тогда поцеловала? Глупость какая!
Михась сердится. Голова его неожиданно согревается. Ей даже становится жарко. Может, еще ничего страшного нет? Может, еще отрастут волосы?
А попы все поют — печально и тихо, будто кого-то успокаивают. Слов разобрать нельзя.
Но вдруг Михась слышит слова:
— Мотоцикал. (Не мотоцикл, а мотоцикал.) Мой мотоцикал.
Михась узнает голос Шкулевича Миколы. Сиплый, нахальный голос, который легко отличить среди множества голосов. «Мотоцикал». Михасю даже смешно: «Дурак какой! В полицию поступил, а выговорить слова не может. Мотоцикал! Попался бы ты мне, я показал бы тебе мотоцикал, немецкий холуй!..»
Михась явственно слышит шаги над собой. Множество ног топчется над ним.
И вдруг он постигает почти всю меру опасности, в которой находится вот сейчас. Нет, он не умер. Это кто-то думает, что он умер, а он — живой.
Михась открывает глаза. Вокруг тьма. А над ним голоса и шаги. И среди всех голосов — сиплый голос Миколы Шкулевича. Вот, значит, в чем дело. Михася где-то заперли. Поймали и заперли. Он в плену. Но при чем тут попы? Неужели его заперли в церкви или, скорее всего, под церковью? Все может быть.
Немцы уже не раз загоняли пленных в церкви и расстреливали там даже мирных жителей. Михась это знает. С одной стороны, немцы пишут в своих газетках на русском языке, что

они за религию, а с другой — расстреливают людей иногда прямо в церквах. Ага, все понятно. Михася заперли в церкви. А Микола Шкулевич пришел разыскивать свой мотоцикл, который взялся починить Василий Егорович. Но зачем Шкулевичу искать мотоцикл в церкви? Нет, тут что-то не так. Может быть, это все-таки не церковь?
Шкулевич громко и сердито спрашивает:
— А где Ева? Ева куда ушла?
Это хорошо слышит Михась.
Эх, если б сейчас у Михася был пистолет, он бы объяснил Миколе, куда ушла Ева!
Михась хочет встать, старается встать. Он лежит на спине, переворачивается на бок. Упирается руками во что-то холодное, склизкое и проваливается, падает.

13

Где-то жалобно, потерянно мяукает кошка.
Михась это отлично слышит. Он теперь не лежит, а сидит, прислонившись к каменной, кирпичной стене. Прислушивается к мяуканью.
Кошка тоскует не в одном месте. Она, кажется, перебегает с места на место. Ей, похоже, на двор надо. А двери или окно открыть, выпустить ее некому.
Все это понятно Михасю, но он не в силах помочь невидимой кошке. Он и себе не в силах помочь.
Однако ему теперь легче сообразить, куда его заперли. Тут каменные стены, солома. Это, должно быть, подполье. Можно нащупать рукой картошку, свеклу, морковь. И даже качан капусты лежит рядом — то ли в ящике, то ли в загородке.
Недалеко от головы Михася — продух, но не сквозной: чем-то заткнут снаружи. И довольно узкий. Пролезть в него не удалось бы.
Михась тщательно ощупывает себя. Руки и ноги действуют. Нигде не болит. Нет, болит левое ухо, когда дотрагиваешься. И левый глаз припух. Бровь, наверно, рассечена. Но крови нет. Губы болят, если открываешь рот. И в левом боку колет. На коленях, чувствуется, кожа содрана.
Михась все-таки заставляет себя встать на колени. Боль острая, но терпеть можно. Поднимает руки над головой, касается потолка. Локти болят, но не сильно. Выпрямиться здесь, встать во весь рост нельзя: низко. И нельзя передвигаться: все завалено картошкой. Чуть свободнее там, где он лежал, а теперь стоит на коленях.
Около него какая-то клетка. Нет, не клетка, а лесенка. Нащупывает ее и соображает, что здесь где-то должен быть люк. У них дома, в Мухачах, также в подполье стояла лесенка как раз под крышкой люка.
Михась трогает доски над головой, над тем местом, где, кажется ему, должен быть люк. Доски не поддаются. Нажимает сильнее. И вдруг обнаруживает люковую крышку. Квадратная, небольшая, она приподымается под напором его рук, пропуская в подполье полосу дневного света. Но Михась в то же мгновение тихонько опускает крышку. Нету сил. Слабость.
Кошка мяукает.
Михась подумал сперва, что она уже успокоилась, самостоятельно справила свои дела. Но она, может быть, поняла, что здесь есть кто-то живой, кто выпустит ее на улицу. Сознательная кошка.
Он опять садится у стены и снова ощупывает себя. Рубашка расстегнута, и ремень на штанах расстегнут. Обмотки над башмаками размотаны. Нету обмоток. И подметки нет на правом башмаке.
Мечта Михася о кирзовых сапогах не осуществилась. И кто знает наверно, не осуществится теперь. Едва ли его спокойно выпустят отсюда.

Колени болят. Из левого сочится кровь, стекает по ноге. Если б был хоть какой-нибудь бинтик. А в мешке, который остался в мастерской, был индивидуальный пакет, в нем — бинт и вата.
Михась всегда, при всех обстоятельствах носил с собой такой пакет.
Прошлым летом на Саве, когда подрывники после взрыва отходили к лесу, немцы вдруг открыли с двух сторон ураганный огонь.
Бирюкова убили, Мусохранова тяжело ранили. А Михасю прострелили левую руку выше локтя. Но кровь так хлестала, так хлестала, что, думалось, вся сейчас выйдет.
Если б не индивидуальный пакет, Михась бы скорее всего не сидел вот в это время в подполье: его бы еще прошлым летом закопали где-нибудь.
Моментально он вытащил тогда из-за пазухи пакет, зубами разорвал его и тут же немедленно сам перевязался, как указано было в замечательной книжечке «Спутник партизана», которой весной на Первое мая наградил его лично командир отряда Казаков.
Две недели тогда не прошло — и рука зажила.
«Молодец ты, — говорил Мамлота. — На тебе, как на собаке, заживает».
Михась, сидя сейчас в подполье у стены, вспомнил в подробностях и даже с удовольствием, как в тихую, теплую ночь, освеженную дождем, он вышел на новую операцию — опять же на Саве — после того как зажила рука.
Но восстановить в памяти то, что было с ним совсем недавно и из-за чего он попал в подполье, Михась не мог.
Вернее, не мог восстановить всей картины происшедшего. Мельтешили в памяти только отдельные подробности. И почему-то раньше Василия Егоровича вспоминался долговязый Феликс, похожий на журавля, как он смешно ел бруснику, открывая рот, будто клюв.
Вспомнив это, Михась улыбнулся и почувствовал боль в уголках губ.
И в то же мгновение в дремотно-вялом мозгу его возник образ другого Феликса — не смешного, а страшного, пронзительно закричавшего: «Батя! Немцы!» Потом Михась снова услышал грохот. Ведь вот же что случилось. Может быть, и Василий Егорович погиб и Феликс. Или их захватили немцы. Но как же сам Михась попал сюда? И где он? Чье это подполье?
Только теперь Михась по-настоящему стал приходить в себя. Только теперь к нему возвращалась способность последовательно восстанавливать картину того, что произошло.
И все-таки из этой картины выпадали какие-то важные звенья. Невозможно было вспомнить, как он попал сюда, кто его сюда затащил и — зачем? Что с ним хотят делать? И когда затащили его — вчера, позавчера или сегодня?
Кошка наверху опять начинает жалобно мяукать. Должно быть, ей очень срочно надо на двор.
Михась немного жалеет кошку и в то же время сердится на нее.
«Замолчи, паскуда!» — хочет он сказать ей. Но не говорит. Неизвестно еще, можно ли ему здесь говорить. Но мяуканье тревожит его. Ему кажется, что кошка, так настойчиво мяукая, привлечет к нему чье-то внимание, опасное внимание раньше, чем он сообразит, как ему действовать в этом вот, похоже, безвыходном положении.
Единственно, что понятно Михасю: он заперт не в полиции, не в казенном помещении, а в каком-то жилом доме, где обитает кошка, приученная по нужде выходить на двор, но хозяева куда-то ушли. А кто такие эти хозяева?
Кровь из колена больше не сочится. Присохла. Не надо пока двигаться. Пусть кровь еще получше присохнет. Но может быть, ей незачем присыхать. Может быть, Михася выведут отсюда и сразу расстреляют. Нет, его сперва будут пытать. Будут загонять ему иголки под ногти. Будут пороть резиновым шлангом до потери сознания. Потом обольют холодной водой и подвесят за руки, стянутые за спиной.
Это уже известно, как делают немцы или полицаи, когда к ним попадается партизан. А откуда они узнают, что Михась партизан? У него же нет с собой ничего партизанского. Ни пистолета, ни гранаты нет. И мешок его остался где-то. Он ни за что не признает свой мешок. И вообще ничего не признает. Пусть что хотят делают. Он плевал на них. Пусть хоть расстреливают или вешают. Он плевал.
В сердце Михася вдруг закипает страшная злоба. Он хочет встать. Но не встает. Надо лучше подумать сидя, что делать. Пусть все-таки подсохнет кровь на колене.

Конечно, скорее всего немцы его повесят. Партизан и гражданских они всегда вешают. Это и Сазон Иванович говорил. Где, интересно, он сейчас, Сазон Иванович? На базаре или на мельнице? Он велел его искать на мельнице каждый день в два часа или тоже каждый день на базаре, где были скобяные ряды, — утром в девять.
Михась вдруг спохватывается, вспоминает свои великолепные часы с толстым стеклом на широком ремешке. Часов нет. Ну, понятно, или полицаи, или немцы их сняли, когда запихивали его сюда. И пес с ними, с этими часами. Если немцы теперь покажут ему его часы, он все равно их не признает, отопрется. Это же все понятно — немецкие часы, снятые с немецкого офицера. Нет, Михась ни за что их не признает. И вообще он на них плевал, на немцев, и на их часы.
А Сазон Иванович его будет ждать. Или уже ждет. И в отряде ждут, что он доставит тол. Казаков, наверно, говорит Мамлоте: «Ну где же твой хваленый Михась Пашкевич?» А Мамлота отвечает: «Он, Ефим Сергеевич, такой же ваш, как и мой. Вы же лично его награждали «Спутником партизана». Разве забыли?»
Нет, Мамлота, наверно, жалеет Михася. И Клавка жалеет. Ну и пусть жалеют.
«Мне даже самого себя сейчас не жалко», — вспоминает Михась слова Василия Егоровича. И вспоминает, как он стоял в яме, веселый и сердитый. А перед ним кипел котел.
Много толу натопили. И все пропало. «Все пошло волку под хвост», — как сказал тогда Василий Егорович. Правда, он не про тол сказал, а про другое — про всю войну, которую мы будто бы проиграли. Но мы не проиграли войну. И не проиграем.
Веселая ярость сотрясает все тело Михася, пронизывает каждый мускул.
Упираясь спиной в стену, он принимает твердое решение: снова встать, снова попытаться поднять люк и оглядеться.
Может быть, в самом деле в этом доме никого, кроме кошки, нет. И охраны нет. Может, Михася посчитали мертвым и поэтому не охраняют.
Надо быстро встать, быстро приподнять крышку люка, пока наверху так тихо и только кошка по-прежнему надоедливо тоскует.
Однако быстро встать не удается. Напрягает все силы. Острая боль в коленях.
Все-таки встает. Подползает к люку. Нажимает на крышку спиной, упираясь коленями в лесенку.
И слышит скрежет, тарахтение.
Это в замке поворачивают ключ. Потом наверху с протяжным скрипом открывается дверь.
Михась замирает.
Над ним раздаются легкие, пружинящие шаги.
Незнакомый женский голос, певучий и ласковый, совсем близко от крышки люка говорит:
— Ну что, Феклуша, заскучала? Нигде не напачкала? А то — смотри. Забыла я, забыла тебя выпустить. Что же теперь делать? Иди.
Дверь, слышно, опять скрипит, открывается.
Не трудно угадать, что это кошку зовут Феклушей.
Михась прислоняется к стене, садится.
Из левого колена снова сочится кровь. Разбередил. Колени болят. Но он как бы старается не замечать боли, прислушиваясь к тому, что наверху.
Дребезжит умывальник. Женщина, должно быть, моет руки. Долго моет. Потом она несколько раз молча проходит по дому. Больше ей не с кем разговаривать. Кошка ушла.
Наконец женщина останавливается над люком.
Михась вытягивает ноги, ложится. На всякий случай лучше, пожалуй, прикинуться мертвым. Он закрывает глаза. Но и в закрытые веки бьет яркий дневной свет, когда женщина подымает крышку люка.
Михась не видит, но слышит, как она спускается по лесенке, и догадывается, что женщина — крупная и молодая.
— Бубочка мой, — говорит она, оставив крышку открытой.
Все подполье теперь наполнено светом и свежим воздухом, отчего острее пахнет плесенью и слежавшейся сухой землей.
— Бубочка ты мой веселый...
Михасю даже смешно, что женщина, должно быть, его называет бубочкой. Но он лежит с закрытыми глазами.

— Живой. Хороший. Сердечко бьется. Все будет хорошо. Сейчас тебя опять буду чайком поить. И водочкой оботру.
Значит, она уже поила его чайком. Когда же это было?
— Ну, открой глазки, открой, мой хороший, — кладет она ему на лоб прохладную и неожиданно душистую руку.
Отчего у нее рука такая душистая? Наверно, от мыла душистого или от свежести ее здорового молодого тела, которое чувствует Михась, когда она наклоняется над ним, касаясь грудью его лица.
— Ну открой же глазки, я прошу тебя. Поговори со мной...
Михась не решается открыть глаза. Ему мучительно стыдно, что он обманывает эту добрую женщину. Но открыть глаза все-таки не решается.
Она ощупывает подстилку под ним — ватное одеяло, расстеленное не просто на земле, а на соломе, — и спрашивает:
— Ты не мокрый?
Как ребенка спрашивает. Как только что спрашивала кошку Феклушу, не напачкала ли она где-нибудь в отсутствие хозяев. Это уж черт знает что.
Михась краснеет, не открывая глаз.
— Батюшки, — сокрушается женщина, продолжая ощупывать его, — да ты коленки себе опять раскровенил. Значит, ворочался, хотел встать. Ну, это хорошо. Значит, хочешь жить. Я тебя сейчас помажу, забинтую. И чайку опять попьем.
Женщина отходит, подымается по лесенке.
Михась приоткрывает глаза. Видит ее белые ноги без чулок в домашних тапочках. И тапочки не такие, как у всех — с вырезанным задником, на ремешках. Михась еще не видел таких тапочек.
— Подыши, подыши получше, — говорит женщина. — Свежий воздух. Солнышко...
Подполье остается открытым.
Михась лежит с закрытыми глазами. Дневной свет кажется слишком резким.
Наверху в доме что-то сильно шипит, как паяльная лампа. Пахнет керосином.
Дверь опять скрипуче открывается.
— Ну что, вернулась? Холодно там? Ну посиди здесь, — говорит женщина, должно быть, кошке. — Нету, нету. Ничего у меня нету. Ешь вон суп, я тебе налила. Я сама еще ничего не ела.
Вскоре Михась снова видит на лесенке ноги женщины и край голубоватого платья. Она спускается в подполье. Михась смотрит на нее не мигая.
— Какой хороший, — говорит она. — Открыл глазки. Здравствуй.
«Здравствуйте», — хочет сказать Михась, но это у него не получается.
— Как себя чувствуешь?
— Хо-хо...
— Хорошо? — помогает женщина.
— Хорошо, — с некоторым напряжением подтверждает Михась. И делает попытку встать.
— Нет, нет! Лежи! Тебе еще надо лежать. Я сейчас приведу тебя в порядок.
В руках у женщины бутыль и вата.
— Не надо. Я, я... я встану, — упирается в пол руками Михась.
— Нельзя, нельзя! Подожди.
Но он встает. Голова его теперь возвышается над люком.
— Молодец какой! Действительно встал. Неужели ты можешь стоять?
— Могу.
Михась оглядывает большую комнату, оклеенную пестрыми обоями, увешанную множеством фотографий. Кажется, что где-то когда-то он уже видел точно такое помещение. Но где, когда — вспомнить не может.
— Ну вылезай, если хватит силенок, — ласково гладит его по спине женщина.
Он встает на ступеньки лесенки. Женщина чуть поддерживает его. Он наваливается животом на кромку Пола и — вылезает.

Как хочется жить, когда светит солнце, — пусть осеннее, не очень яркое, но все-таки — солнце.
Михась встает на колени, преодолевая режущую боль, хватается за край стола и подымается во весь рост. У него кружится голова, слегка подташнивает. Как бы он не упал.
Но женщина, уже вылезшая из подполья, подставляет ему табуретку и трогает его за плечо:
— Садись.
Она необыкновенно красивая, эта женщина. Или это только кажется Михасю. Нет, она в самом деле красивая в каждом движении — высокая, гибкая, полногрудая, с белокурой взбитой прической, в голубоватом, с крапинками платье.
И у нее удивительные глаза — синие-синие, как нарисованные на фарфоровом блюдце.
Даже люди очень взрослые, душевно сильные, давно привыкшие с настойчивостью и суровостью управлять собственной судьбой, порой впадают в такое состояние, когда им хочется, чтобы кто-то иной подумал о том, что будет с ними хотя бы через день или час, даже в том случае, если этот день или этот час будет грозить им серьезными неприятностями. Это усталость. Она может быть длительной или краткой, как болезнь. И нет ничего странного в том, что Михась, как ребенок, доверчиво отдался заботам этой женщины, еще не сообразив, кто она, и не особенно стараясь сообразить это.
В некотором отдалении от него у стены — шкаф с зеркалом, вделанным в дверцу.
Михась невольно вытягивает голову.
— Хочешь посмотреться в зеркало? — улыбается женщина. — Нет, нет, погоди, я сначала приведу тебя в порядок. Обстригу. Ты зарос просто кошмарно. Потом вымою голову.
В руках женщины над ухом Михася уже щелкает машинка для стрижки волос.
— Не... не надо, — чуть отодвигается Михась. — Не надо совсем обстригать...
— Только подстричь? Подумайте, какой франт! — улыбается женщина. — Ну, как хочешь.
Только подстричь хорошо я, пожалуй, не сумею. Но попробую...
Машинка, щелкая, скользит по затылку Михася. Он наклоняет голову.
— Если будет больно, скажи. Не могу понять — у тебя, кажется, ссадины на голове? Была кровь.
Михась не думает о ссадинах, не чувствует боли ни в коленях, ни в боку. Он думает о том, как красива и необыкновенна эта ласкающая его молодая женщина.
Таких он никогда еще не видел. Такие женщины бывают разве что в кино. Но там они далеко, неправдоподобно далеко.
А тут он непрерывно чувствует ее присутствие и сладко щурится и от солнца, остановившегося как раз против окна, и, просто скажем, от счастья.
Вероятно, людей, перенесших душевное и физическое потрясение, можно лечить не только лекарствами, не только травами, но и красотой, но и чувственным удивлением, вдруг подымающим из глубин человеческого существа такие силы, которые могут противостоять почти любым недугам вопреки предположению самых опытных докторов.
Женщину эту он, конечно, никогда не видел. Но она ведет себя с ним как давняя, очень близкая его знакомая. Она даже знает, как его зовут.
— Минуточку, Михась. Сейчас кончаю. Еще одна минуточка. Потерпи, пожалуйста...
А он готов так просидеть сколько угодно. Только бы она касалась его своим платьем, своими удивительно душистыми и прохладными руками.
Михась сидит как загипнотизированный. И женщина, щелкающая машинкой, а потом действующая длинными ножницами и расческой, может быть не подозревая об этом, конечно, не подозревая, наполняет все еще дремлющую его душу невыразимым трепетом, жадным желанием жить.
Нет, у него больше ничего не болит. Даже колени не болят. Во всяком случае, он этого не чувствует. Он сидит не двигаясь, почему-то даже не решаясь хоть чуточку пошевелиться.
Наконец она говорит:

— Все! Раздевайся. Сейчас буду тебя мыть. Снимай рубашку. Дай я тебе помогу.
— Не надо, — не очень решительно двигает рукой Михась, невольно нечаянно касаясь ее бедра, и сам пугается этого движения. — Не надо. Зачем?
Женщина как бы удивляется, просияв печальной улыбкой:
— Михась, ты что, меня стесняешься? Доктора же ты не стесняешься. А я сейчас была бы доктор, если б не война. Я никогда не думала, что ты такой...
— Я не стесняюсь. Но зачем?
— Затем, что надо помыться. И пока никого нет, я тебя тщательно осмотрю. Я должна тебя тщательно осмотреть. У тебя могут быть серьезные травмы, ну ушибы...
— Нету у меня ничего.
— Ну-ну, не разговаривай. Давай снимем хотя бы рубашку. Надо снять. И спорить не о чем...
И она действует так, что он как бы теряет способность к сопротивлению. Хотя ему стыдно. Если б была какая-нибудь другая женщина — не такая красивая, не такая нарядная.
— У меня сегодня день рождения, — говорит она. — И ты сделал мне большой подарок — открыл глаза, зашевелился. Я очень боялась за тебя. Ты сначала даже не реагировал на уколы...
Это неверно. Он, конечно, реагировал. Но ему причудилось в глубоком обмороке, что это сестренка Антонина щиплет его, маленького, под столом. Ему много чего причудилось, когда он лежал в подполье.
— Я два раза открывала продух, чтобы освежить тебя воздухом.
А Михасю казалось, когда его обдувало из продуха, что он облысел и как будто от этого стынет голова.
— Ну вот теперь хорошо. Молодец! Пойдем за печку. Брюки снимешь потом.
Это очень торжественное слово для того, что женщина называет брюками. Михась только теперь заметил, что штаны сильно разорваны. Или это кто-то их изрезал.
За печкой стоит жестяная ванночка, в которой обычно купают ребят и стирают пеленки. Она стоит на полу. А рядом ведро с горячей водой — на примусе. Вот что шипело, когда Михась сидел в подполье. И тут же мешок Михася. Конечно, это его мешок. Откуда он взялся?
— У тебя там, я видела, зубная щетка и порошок. Почисти зубы. Можешь почистить зубы?
— Могу. Только мне надо... только мне надо... выйти.
— Выйти? Ну что же, выйди. Это очень хорошо. Только на улицу выходить сейчас нельзя. Выйди в сени. Там — ведро. Иди, не стесняйся. Ну что ты какой странный? Я же все понимаю. Я сейчас была бы доктор. Странный какой. А я тебя так уважаю. Даже люблю...
Уж лучше бы она его не любила. И не говорила все это. И не была бы такой красивой. Откуда она достала его мешок?
Михась уходит в сени. Он идет покачиваясь. Потом возвращается. И видит на стене большой портрет. Усатый, суровый мужчина в матросском бушлате, из-под которого виднеется полосатая тельняшка. Так это ж Бугреев Василий Егорович. И близко другая, тоже большая, фотография — Василий Егорович сидит рядом с женой Софьей Казимировной. Подле стоят их дети. Вот этот самый высокий, наверно, Виктор, а этого отец называл Егорушкой. На коленях у матери, конечно, Феликс. Такой же носастый, остроносый, как мать.
Эти фотографии Михась видел здесь еще до войны. После, во время войны, он ни разу не входил в дом Бугреева. Как-то это не случалось. Всякий раз, когда он сюда приходил, они с Бугреевым встречались во дворе или в мастерской. Даже однажды летом, когда он ужинал у них, это тоже было во дворе под навесом. У них была там летняя кухня. Они и ели там. Только до войны Михась раза четыре или три был у них в доме.
Теперь понятно, где он сейчас. И эта женщина — просто Ева. Что же Феликс говорил, что она как конь. Она как киноартистка. Да и не всегда еще увидишь в кино такую красивую.
— Голову я тебе помою. А дальше, если стесняешься, сам мойся. Но сними брюки. Я их сейчас же выстираю и потом постараюсь починить.
За печкой, над умывальником, на стеклянной полочке стояли разные затейливые флакончики и лежали два куска мыла; один — в обертке, другой уже начатый. Вот отчего у

Евы такие душистые руки. От немецкого мыла. Это нетрудно угадать по обертке, что мыло — немецкое.

«У нее пестрота в голове, — вспомнил Михась слова Василия Егоровича. Разные кофточки и побрякушки».

Что-то недоброе блеснуло в сознании Михася. И он даже заметил, искоса взглянув на Еву, что она, пожалуй, не такая уж во всем красивая. У нее в лице, где-то у рта, какая-то простоватость, что ли. И она, как девочка, слегка шепелявит. А на носу — веснушки и красноватые черточки. Она, наверно, какой-нибудь едучей мазью выводит веснушки. И губы чуть вывернутые некрасиво. Но это уж Михась все осветил тем недобрым, что блеснуло в его сознании, заметил то, что совсем почти незаметно. И сам подумал, что не прав, покорно наклонив голову над тазом, поставленным рядом с ванночкой.

Ева осторожно и как-то особенно ласково моет ему голову и говорит певуче:

— Боже мой, боже мой, как же мы будем жить, Михась? Ведь это все не жизнь, а какой-то сплошной кошмар. Если кому-нибудь рассказать, никто не поверит. Я уже какую ночь не сплю и все-таки двигаюсь, что-то делаю. А что я делаю, я сама не знаю. Софья Казимировна мне вчера сказала: «Ты какая-то деревянная. Ты забыла мужа, как будто его совсем не было. И на похоронах ни слезинки не проронила. Я, говорит, удивляюсь». А я сама удивляюсь, Михась. Если б не ты, я, пожалуй, ушла бы куда-нибудь, убежала. Может быть, даже утопилась в Березине, если б не ты.

Михась молчит. Он догадывается, давно, еще запертый в подполье, догадывался, что произошло что-то непоправимо тягчайшее. Но что именно не решается спрашивать.

И вообще ведет себя странно. Когда Ева не разрешила ему выходить сейчас на улицу, он понял, что это небезопасно. Однако опасности в полной мере не ощутил, не встревожился. Он как бы беспрекословно покорился Еве. И терпеливо ждал, что произойдет еще что-то, когда он все узнает и будет действовать соответственно обстоятельствам.

Он многое все еще воспринимает как сквозь сон. И даже мыло это немецкое, в немецкой обертке, которым намыливает его сейчас Ева, не возбуждает в нем никаких неприязненных вопросов, вроде — откуда она его взяла?

Упоминание о похоронах, которые были, должно быть, вчера, также не сильно задевает его. Хотя ему понятно, что хоронили, наверно, Василия Егоровича. А Феликс где? Но об этом тоже не спросил. Удивился только, что Ева считает, что он, Михась, будто бы спас ее от чего-то, что она бы утопилась в Березине, если б не он. Что она — влюбилась в него? Как это может быть? Как она могла бы в него влюбиться, в такого грязного, наверно, страшного, в царапинах? Глаз, разбит, и нос распух. Губы болят от горячей воды. И в ухе ноет.

— Софья Казимировна думает, что только у нее человеческие чувства, почти всхлипывает Ева. — Господи, да я только не могу высказать. И не могу плакать.

Вот это упоминание о Софье Казимировне вдруг пугает Михася. Ничто не могло бы, кажется, его больше испугать. Он поднимает мокрую, намыленную голову:

— А где она — Софья Казимировна?

— В гестапо.

— В гестапо? Забрали?

— Нет, вызвали. Ее уж два раза вызывали. И в полицию, и в гестапо. И меня вызывали...

Это подло, нехорошо, но Михась вдруг чувствует некоторое успокоение от того, что Софьи Казимировны нет, что ее вызвали. Хотя, конечно, он не желает ей несчастья. Это страшно, что ее вызвали в гестапо. Но еще страшнее было бы Михасю встретить ее вот сейчас здесь. Уж легче было бы встретиться с полицаями или с немцами. Безоружный, он кидал бы в них кирпичи. Раньше чем они убили бы его, он покалечил бы их. Пусть бы вошел сейчас сюда, например, Шкулевич Микола. Не страшно. Пусть бы он вошел с немцами. Ничего особенного.

А с Софьей Казимировной Михась, пожалуй, не смог бы встретиться! Не смог бы посмотреть ей в глаза. Всех убили — и сыновей ее и мужа. А он, Михась, остался живой. И он — виноват. Конечно, ей кажется, что это он во всем виноват. Она называла его Иродом. Выходит так, что он действительно как Ирод.

— Ну вот я вымыла тебе голову, — подает Ева полотенце. — Теперь мойся, если можешь, сам. И не стесняйся. Я не буду смотреть на тебя. Потом осмотрю. А сейчас мойся. Я отойду.

Только сними брюки. И трусики сними. Я их постираю и постараюсь починить. Мойся. И рубашку постираю.
Ева не уходит в другую комнату. Она тут же, в двух шагах от Михася, принимается стирать в деревянном корыте его рубашку, штаны и трусы. Слышно, как чавкает материя в мыльной воде. А он за печкой моется в детской ванночке, стараясь не сильно сгибать колени.
— Боже мой, боже мой, — говорит Ева, но в певучем ее говоре два слова превращаются в одно — «божмо». — Ты представить себе не можешь, что мы тут пережили с Софьей Казимировной, что она, бедняжечка, пережила. И еще будет переживать. Ведь ты подумай, подумай — три сына и муж. Никого не осталось. Ну кто я ей? Чужая. Вчера идем с похорон, она говорит: «Зачем теперь жить? Кому, говорит, я нужна?» И сегодня всю ночь плакала. Все звала Феликса. Не мужа, а Феликса. Страшно кричала: «Подойди ко мне, Феликс, касаточка моя, голубок мой». Я даю ей валерьянку, а она отталкивает. Разбила пузырек. Просит: «Дай мне отраву. Успокой мое сердце, если ты не могла спасти Феликса». Феликс не сразу умер. Он еще три часа жил. Я ему сделала два укола... А тебя мы только утром нашли. На рассвете. Там, за сторожкой, ты заметил, был сарайчик для дров? Тебя забросало во время взрыва досками и поленьями. Мы нашли тебя и сначала думали, что ты — тоже... Но ты молодец. Ты мне сразу хорошо подышал на мое зеркальце. Потом я послушала сердце. У тебя хорошее сердце, сильное. И вообще ты молодец. Мойся, я сейчас...
Ева куда-то уходит. Слышно, как она открывает скрипучую дверь. Ее долго нет.
Михась уже вымылся. Чистит зубы под умывальником. Голый стоит над тазом, накинув только полотенце на плечи. И его неожиданно смешит забавная мысль, что партизанам, отправляясь на операцию, пожалуй, следует брать с собой хотя бы запасные штаны. А то — мало ли что может случиться. Вот как сейчас. Кто бы мог это предвидеть?
У Михася, впрочем, и в отряде нет запасных штанов. Почти все, что у него есть, он забрал с собой. На базе, в землянке, остались только маленькая карманная книжечка, которой он был награжден, — «Спутник партизана», и пистолет тэтэ — у Мамлоты.
Мамлота и, наверно, сам Казаков соображают сейчас, как выяснить, куда запропастился Михась. Они думают, может быть, что его уже забрали в гестапо и пытают. И в отряде тревожатся, как всегда в таких случаях, не выболтает ли партизан чего-нибудь лишнего под пытками. «Ведь все-таки пацаненок, — думает, наверно, сейчас Мамлота о Михасе. — Ну что с того, что комсомолец? Комсомолец, еще не утвержденный райкомом. Можно сказать, еще и не комсомолец».
Михасю обидно, что Мамлота может держаться такого мнения о нем. «Не знают своих кадров, — думает Михась о Мамлоте чужими словами, кем-то когда-то давно произнесенными в его присутствии. — Не изучают свои кадры. Поэтому и считают еще пацаненком. Если человеку тридцать лет, так они считают, что он уже все прошел и нигде не струсит. А если человеку шестнадцать, так они уже начинают подозревать».
Как бы там ни было, а в отряде сейчас многие, наверно, сильно волнуются. Думают, наверно, что Михася уже какой день пытают в гестапо.
А Михась, голый, даже без штанов, стоит вот под чужим умывальником и, как дома — у себя в отряде, чистит зубы. Губы сильно болят, когда их растягиваешь щеткой. И в левом ухе что-то подергивает. Но больше как будто нигде не болит.
Только из колена опять сочится кровь. Это уж не так страшно. Страшно, что он — без рубашки и без штанов, голый. Если что случится, он действительно тут окажется как рыбка на сковородке. И смешно — партизан без штанов.
В таком виде в насмешку немцы могут его и повесить в случае чего. Нет, это он, конечно, ошибку допустил, что так просто согласился снять рубашку и штаны.
И что это он вдруг расчувствовался перед этой красавицей Евой? Первый раз ее увидел и расчувствовался, согласился на ее заботы, как ребенок. А у нее вон на полочке и правда все немецкое — разные пузырьки и коробочки.
На одной жестяной нарядной коробочке по-немецки напечатано: «Kola-Edelbitter-Schokolade».
Михась уже знает, что это за штука. Это такой шоколад немецкие офицеры, особенно летчики, едят, чтобы не спать, когда не надо.

Михась уже пробовал под Борисовом такой шоколад, когда делали налет на немецкий аэродром.
В этой коробочке, которую он держит сейчас, уже нет шоколада — лежат пуговки какие-то, иголки.
Михась с презрением рассматривает еще разные, явно немецкие, банки и пузырьки на полках. И вздрагивает, когда снова открывается дверь.
Это возвращается Ева.
— Все в порядке, — говорит она. — Мойся спокойно. Никого вокруг нет. Я опять кругом обошла. И с пригорка посмотрела. Мойся, Михасик, мойся.
Ева опять подкачивает примус. Он сильно шипит. И от этого шипения кажется, только от этого шипения — Михасю вдруг снова делается нехорошо.
Михась даже плохо слышит, что еще говорит Ева. Ему хочется лечь, а то он сейчас упадет, как падал в подполье, когда хотел встать.
Михась ищет, на что бы лечь. И ложится на пестрый, сплетенный из тряпок, мокрый подле ванночки половик.

15

Михась лежит и слышит только, будто в полусне, как чавкают его штаны и рубашка в мыльной воде да стучит о край корыта стиральная доска под сильными руками Евы. А что она изредка теперь говорит — не слышит.
Но вот еще один голос он улавливает гаснущим сознанием — резкий, режущий слух голос. И с истинным ужасом узнает его.
Узнает и приподымается на половике, прислушиваясь. Во рту становится сухо.
— Что это ты вдруг взялась стирать? Сегодня такой день у тебя.
Это говорит Софья Казимировна. Конечно, это она говорит.
Михась не расслышал, как вошла «эта женщина». А Ева сказала, что вокруг никого нет. Но если «эта» незаметно вошла, то может так же войти сюда и всякий другой. И немцы и полицаи могут войти. И пусть бы лучше уж они вошли, только не Софья Казимировна. Что он будет теперь делать, когда она увидит его? Что Михась скажет ей? Как он поглядит на нее?
— Штаны ему стираю. И рубашку, — отвечает Ева. — Все, смотрите, какое грязное, рваное. В крови.
— А где он сам, Ирод? Все там?
— Нет, он вылез. За печкой.
— Сам вылез?
— Сам.
— Значит, может? Ходит?
— Плохо, — вздыхает Ева. — Ему надо бы еще полежать. Хоть недельку. И питание ему бы надо усиленное.
— Усиленное, — повторяет свистящим голосом Софья Казимировна. Усилишь! Опять пойдешь свои кофточки немецкие менять на сахар да яички?
— Я сегодня рису выменяла и опять сахару и муки. Отдала старый пиджак Виктора, — виновато произносит Ева. Должно быть, и она боится Софьи Казимировны. — Ну что вам в гестапо сказали, мама?
Софья Казимировна молчит.
Ева сливает воду из корыта в ведро. Снова наливает воду в корыто, на этот раз холодную, из ушата.
Ушат такой же, как стоял в сторожке, когда Василий Егорович вытапливал тол. Может быть, это тот же самый ушат.

Михась видит его из-за печки. Нет, пожалуй, тот ушат не мог сохраниться. И тот черный был, закоптелый. А этот желтоватый, новый.
— Что мне сказали? Что они мне могут сказать? Только стуком стучат, угрожают, пистолет показывают, будто вот сейчас застрелят. А я говорю: стреляйте, мучайте. Ничего теперь не боюсь. И жизнь мне моя не мила без родных моих деток и мужа моего дорогого, единственного. Чем, спрашивают, был произведен взрыв? Где достали, кричит, взрывной матерьял? Я им говорю: не знаю, не могу знать. Думаю, мол, однако, что мина старая в железном ломе попалась, с каковым имел дело мой покойный муж — механик. Говорю это им и опять слышу голос Василия Егоровича. Ведь слова эти, золотые слова, он мне сам говорил не однажды. Внушал. Бывало, ночью лежим мы с ним, а он мне говорит. Что мы делаем, говорит, там за сторожкой или на кладбище, Софушка, этого, в случае чего, ты не знаешь, не должна знать. Не положено, говорит, тебе это знать. Это, говорит, строжайший секрет для пользы родины. И ничего, говорит, со мной не может особенного случиться. Не должно случиться. Но если все-таки непредвиденно случится, пойми, говорит, и запомни одно. Пойми и запомни... А я, дура старая, бывало, кричу ему: замолчи! Не желаю, мол, слушать твои прокламации. А он ведь не о себе заботился. Он, любезный друг, обо всех о нас заботился, каковые останутся жить после него. А зачем мне жить? Зачем нужна мне эта жизнь — без детей и мужа, как осине на ветру, как осине?
Софья Казимировна плачет.
Михась это слышит, приподнявшись на половике. Он даже представляет себе, как она уронила голову на стол, обхватив его края сухими, старушечьими руками. Стол трясется.
— Мама, мамочка, — подходит к ней Ева, и слышно, как целует ее. — Вы покушайте. Вы ведь с утра ничего не кушали. Я яички принесла, сварю. Ведь сегодня, вы сами вспомнили, день моего рождения.
Михась дрожит, остывая после горячей воды. И от нервного напряжения.
Обе женщины, должно быть, забыли о нем. И, пожалуй, хорошо, что забыли. Но все-таки ему неудобно, неловко вот так без одежды здесь лежать, прикрытому только полотенцем.
— Не могу я, ничего не могу. Крошки в рот не могу взять, — стонет Софья Казимировна.
— Не могу я больше жить.
И снова плачет, колотясь головой об стол.
Ева отходит от нее. Полощет в корыте в холодной воде выстиранное. Потом развешивает над теплой плитой.
Михась определяет это по тому, как провисает веревка, один конец которой протянут за печку.
— Феликс, мальчик мой, кровиночка моя, голубок мой добрый, — причитает Софья Казимиревна. И вдруг умолкает. Почти спокойным, сердитым голосом спрашивает, увидев у люка грязную стеганку Михася: — А это чья?
— Его, — почему-то шепотом отвечает Ева.
— А он что, спит? Опять без памяти? — встает Софья Казимировна, направляясь, должно быть, за печку.
— Нет, он моется. Мылся, — в странной растерянности говорит Ева. Наверно, она сама еще не может предугадать, как отнесется сейчас к Михасю Софья Казимировна. — Он совершенно раздетый.
— Голый, что ли?
— Конечно. Вот я постирала. Просохнет. Хочу починить.
— Да ты что, девка, сдурела окончательно? — возмущается Софья Казимировна. Голос ее теперь хорошо похож на тот, которого всегда так боялся Михась. — Он же у тебя простудится, простынет, стручок окаянный. Медик еще называешься! Как же может он сидеть там голый столько времени! Ты хоть голос подай свой, Ирод, — обращается она уже к Михасю.
— Я, я, — заикается Михась. — Я сейчас уйду.
— Никуда ты не уйдешь, змей подколодный, — угрожает Софья Казимировна. — Никто тебя не выпустит. И не надейся.
От этой женщины вообще-то можно ждать всего, если даже Ева ее боится. И Михась ни на что хорошее сейчас не надеется.

— Мучитель ты проклятый, — продолжает Софья Казимировна. — Уж когда ты стал к нам ходить, я заметила тебя. Хитрость твою заметила. Как телок к корове все жался к нам. Выглядывал. Соблазнял. Матери бы твоей не было в родах счастья, стручок поганый...
— Его мамашу убили немцы, — вдруг решительно и резко вмешивается Ева. Это Василий Егорович говорил. Мне и Феликсу говорил. Его мамашу немцы штыками закололи. На его глазах.
— А ты что меня учишь, что мне говорить? — кричит уже на Еву Софья Казимировна. — Медик недоученный! Он сколько времени у тебя голый сидит. И чего ты хочешь ему починять? — трогает и трясет мокрую одежду на веревке. — Что тут можно починить? Одни тряпки.
— Но в чем же он пойдет?
— «В чем пойдет, в чем пойдет», — передразнивает Софья Казимировна. Ты спроси его, зачем он приходил? Кто его. Ирода, звал сюда больных людей тревожить? Кто его просил в партизаны людей уводить? Кто его просил, Ирода?
Она опять плачет.
Михась слышит за печкой какое-то громыхание.
Это она, плача, выдвигает тяжелый ящик комода:
— На вот, дай ему. Пусть он наденет, зверь лесной, рубашку Василия Егоровича. И вот подштанники. Брюки в шкафу. Достань брюки. Дай ему.
Большей муки и пытки, пожалуй, нельзя было бы придумать для Михася, как вот заставить его сейчас надеть одежду человека, в чьей гибели он считает виновным себя. Ведь правда, это он первый подал мысль вытапливать здесь тол. И Василий Егорович и Феликс погибли. А он, Михась, остался и вынужден, просто вынужден одеться вот в эти вещи Василия Егоровича. Другого выхода нет. Действительно, Ева едва ли сможет починить штаны и рубашку Михася.
— А это что? — пинает Софья Казимировна грязные, рваные башмаки. — Куда он в них? И кто их починит?
— Я хотела ему дать сапоги Виктора, — робко и вопросительно говорит Ева. — Они тоже в шкафу...
— Разве ты их не обменяла? Тут же летом женщина спрашивала, не меняет ли кто-нибудь сапоги на муку. Ты держала их в руках...
— Нет, я не хотела их обменивать. И продавать не хотела. Я хотела их сберечь. Может быть...
— Ничего мы не сберегли, ничего. Только самих себя. А кому мы нужны? с плачем выкрикивает Софья Казимировна. — Кому я нужна, старая, уже больная? Ну, веди меня, Ирод, в партизаны. Пусть партизаны посмотрят на меня. Пусть они меня застрелят. Или немцы пусть застрелят меня. Даже немцы меня не хотят застрелить. Только выспрашивают. Говорят: «Идите, потом опять вызовем». Чего-то еще хотят у меня выспросить... Ну чего ты стоишь? Выкатила глазищи свои, — кричит она Еве. — Дай ему сапоги. Пусть их носит хотя бы на память о Викторе. И портянки ему дай. Вон Феликса, — плачет, не сразу может выговорить, — вон Феликса шерстяные носки...
И вот Михась, уже облачившись во все сухое, теплое, надевает сапоги Виктора. Он, чего греха таить, еще совсем недавно мечтал о сапогах, но не о таких, а много похуже, о кирзовых и не новых, какие выдали, по приказу Казакова, Петьке Замковичу. А надевает он сейчас роскошные хромовые сапоги, почти точно такие, какие он видел еще до войны на ногах начальника районной милиции Тихомирова.
Михась надевает сапоги, но радости не испытывает. И опять говорит:
— Я сейчас уйду.
— Никуда ты не уйдешь. Ирод, — повторяет Софья Казимировна. — Только что мы с тобой отводились. Только что ты отудобел. И все равно ты еле живой. Ты выйдешь и тут же упадешь, турок несчастный. И еще одно горе тогда нам сделаешь. Немцы или полицаи поднимут тебя — и опять нам горе. Укрывали, скажут, партизана. И опять потащат нас в гестапо. Из-за тебя. Никуда ты не выйдешь. Ни за что. Ни под каким видом. Слышишь?
Михась молчит. Чувствует, как из колена сочится кровь. И теперь это тревожит его больше, чем час назад, — кровь пачкает чистое белье, просочится сквозь брюки.

Он чуть загнул голенища сапог, чтобы они не касались ссадин на коленях. Желтая кожа подклейки красиво обозначилась на черных голенищах. Так фасонисто носили сапоги в их деревне, в Мухачах, молодые парни. Михась когда-то мечтал о таких сапогах. Но сейчас ничто не радует, не может обрадовать его.
Софья Казимировна смотрит в окно. На лице ее застыла тоска.
А Ева, наклонившись к уху Михася, шепчет:
— Подожди еще минуточку. Покормлю ее, уложу отдохнуть и сделаю тебе перевязку. У меня прекрасная мазь. А на Софью Казимировну не обижайся. Она чудесная женщина. Чудесная. Хотя я тоже иногда ее боюсь. Не могу привыкнуть.
Софья Казимировна, постояв у окна, уходит за перегородку. Ложится.
— И ты приляг вот здесь, — говорит Ева Михасю и показывает на узенькую кровать рядом с ходом в подполье. — Здесь Феликс спал. И тебе будет удобно. Если что-нибудь, ты — опять туда, — кивает на крышку люка. — Но пока все спокойно. Можешь не тревожиться. Сапоги давай снимем пока. В сапогах на кровати не лежат...
Этого уж можно было бы и не говорить. Михась сам знает, что на кровати не лежат в сапогах. Но он молчит.
Ева присаживается перед ним на корточки, когда он садится на кровать, и стягивает с него сапоги, сперва один, потом другой.
— Теперь ложись. И не обижайся на Софью Казимировну. Не всякий может пережить, что она сейчас переживает. Она может даже рассудка лишиться... А это морковный сок, — ставит на табуретку перед кроватью наполненный до краев стакан. — Все время пыталась поить тебя с ложечки. Теперь пей сам. Только медленно пей, не торопись. Тебе много есть пока нельзя...
Ева уходит за перегородку и скоро снова появляется.
— Если скучно, полистай вот эти журнальчики, — кладет на табуретку большую кипу немецких разноцветных журналов. — Что будет непонятно, переведу.
И опять уходит.
Михась оглядывает комнату. На подоконнике — фиолетовый цветок. И рядом с ним примостилась на солнышке Феклуша.
Этот цветок должен был здесь стоять, когда все спокойно, когда можно заходить во двор без опаски.
Михась недавно еще старался с улицы разглядеть его. Было все спокойно.
Михась протягивает руку к стакану. Рука дрожит. Но он берет стакан, крепко держит, отхлебывает сок. Обратно ставит на табуретку.
Перелистывает журнал. Видит в журнале большой, во всю страницу, портрет Гитлера. Он уже много раз его видел. Видел даже крупнее этого портреты в красках, висевшие в немецких комендатурах — кажется, в Слуцке и еще где-то.
Перелистывает дальше. На фоне развалин какого-то города идет колонна пленных. Наши шинели. Грязные, заросшие лица... «А может, и отец твой уже в плену, — вдруг вспоминает Михась слова Сазона Ивановича. — Много он наших в плен побрал». Внимательно вглядывается в лица пленных. Нет, все незнакомые.
На узком цветном снимке — базар, опять же среди развалин, может быть даже где-то у нас, в Белоруссии. Прямо на земле у нехитрого своего товара сидят закутанные в платки пожилые и молодые тетки. У одной в высоко поднятой руке часы-ходики.
А рядом, на другой странице, на цветном же снимке, — красивые белокурые девушки в купальных костюмах у моря. Одна закинула голые ноги на гнутые поручни кресла и держит в тонких длинных пальцах дымящуюся сигаретку. Прическа у нее, как у Евы.
Вдруг что-то недоброе опять блеснуло в сознании Михася. И он сам воспротивился было этому. Ева добрая, милая, красивая. Софья Казимировна сказала будто между прочим, что Еве пришлось обменять свои кофточки и еще что-то на продукты, на сахар. Она поила Михася чаем с сахаром, когда он был без памяти. Она помогала Василию Егоровичу. Даже сама, одна вытащила из болота бомбу. И все-таки...
И все-таки, глядя на этот снимок, на эту девушку с сигареткой, с прической, как у Евы, Михась проникается почти неприязнью к Еве. И эти журналы немецкие она где-то набрала. И подражает потаскушкам из этих журналов.

Михась опять рассматривает снимок, на котором тетка, закутанная в теплый платок, продает, должно быть, часы-ходики.
За перегородкой стонет Софья Казимировна. Потом кого-то ругает. Может, снова ругает Михася. Нет, не похоже.
Ева выходит из-за перегородки. Что-то ищет на комоде.
— Ужас, — говорит шепотом Ева. И кивает на перегородку. — Опять зовет Феликса. Обвиняет меня, что я не могла его спасти. Говорит, всех спасаешь, кого не надо, а Феликса не спасла. Она может лишиться рассудка.
Накапывает что-то в стаканчик из пузырька. Уносит Софье Казимировне.
В доме снова тихо. Софья Казимировна, может быть, засыпает. Феклуша на подоконнике умывается лапкой.
«Намывает гостей», — вспоминает Михась, как говорила в таких случаях бабушка.
Гости тут могут быть такие, что лучше не думать о них. Но Михась думает, должен думать. Что же будет дальше? Все-таки ему надо уходить. Надо дождаться ночи и уходить. А куда уходить? Он задание так и не выполнил. С чем он вернется на базу? Что скажет Мамлоте и Казакову? И с какой стороны пойдет в отряд? Где его часы и аусвайс? Надо ли заходить к Сазону Ивановичу?
— Пей, пей сок, — возвращается из-за перегородки Ева и, поднимая с табуретки стакан с соком, протягивает Михасю. — Сейчас тебя перевяжу. Потом буду кормить. Ты не думай, что я забыла тебя покормить. Нельзя сразу. Допей сок. Яички всмятку любишь?
— Мне все равно.
— А это что ты смотришь? — замечает Ева, как пристально Михась рассматривает снимок. Но его не снимок интересует. Он просто делает вид, что интересуется снимком, чтобы не смотреть на Еву. Ему почему-то сейчас, вот в эту минуту, неприятно смотреть на нее.
Ева берет журнал:
— Это очень смешная фотография. Написано, что часы-ходики являются предметом роскоши в России, что в России самые элементарные бытовые вещи являются предметом роскоши...
— Если у них много роскоши, так зачем они сюда шли?
— Вот они и пишут, что в России очень богатая земля, богатые недра, но народ еще очень некультурный, ленивый, и большевики не могут...
— Немцы очень много могут, — презрительно перебивает Михась. — И очень культурные. В деревнях, рассказывают, они прямо при наших женщинах снимают штаны и тут же оправляются. Не стесняются нисколько, такая культурность...
— И ты не стесняйся, Михась, — улыбается Ева. — Не думай, что я женщина. Давай снимем рубашку и брюки. Я все-таки должна тебя осмотреть. Для тебя я не женщина...
Что-то есть обидное для Михася в этих словах. Но он молчит. Ева сама расстегивает его одежду. И опять от прикосновений ее, таких уверенных, ловких, исходит что-то бесконечно приятное, что не позволяет Михасю сопротивляться, что как бы обессиливает его и в то же время наполняет силой. Нет, он не может осуждать Еву за то, что она откуда-то достает эти немецкие журналы, интересуется их немецкими побрякушками, как говорил Василий Егорович. Он, Михась, сейчас всем обязан ей, он у нее, может быть, в неоплатном долгу. И все-таки...
— Мне, я теперь думаю, удалось бы спасти Феликса, — говорит Ева, накладывая повязку на колено Михася. — Я даже почти уверена, что спасла бы его, если б не начался бой. Мне не сразу удалось подойти к сторожке.
— Какой бой? — удивился Михась.
— Хотя — да. Ты ведь ничего не знаешь. Мы тоже не сразу поняли, что произошло, откуда появились немцы. Мне это вчера на похоронах рассказал Сазон Иванович Кулик. Ты знаешь Сазона Ивановича?
— А что он рассказал?
— Он рассказал... Кстати, он спрашивал, по-моему, про тебя. Он сказал, что к вам, то есть к нам, к Василию Егоровичу, должен был прийти один хлопец. Пришел ли он?
— А вы что сказали?
— Мы сказали, что ничего не знаем. А ты уже был у нас в подполье...
Михась даже привстал на кровати, хотя Ева перевязывает ему колено и шевелиться нельзя.

— Значит, вы что же, не доверяете этому... Сазону Иванычу? Вы что, считаете, что он подозрительный? Боялись, что он выдаст меня немцам?
— Подожди, — ласково, но решительно Ева заставляет своего больного снова лечь. — Подожди. Мы никого не подозреваем. Просто мы не знали, как будет лучше. Софья Казимировна никому не велела говорить, что ты у нас. Хотя мы еще не знали, выживешь ли ты. И я даже сейчас не верю, что ты сегодня открыл глаза, что ты такой молодец. — Она вдруг гладит его по голове. — Молодец! А Сазон Иванович, по-моему, очень хороший человек. Он и попа привез. Правда, он сам говорил, что это не настоящий поп, бывший счетовод из Заготсырья...
Михась мгновенно вспоминает черную фигуру, которая перешла дорогу, когда они с Сазоном Ивановичем уже подъезжали к Жухаловичам. Сазон Иванович тогда плюнул, чтобы плохая примета была недействительной.
— А зачем же нужен был поп? Василий Егорыч был партийный...
— Что же, по-твоему, мы немцам должны были сообщить, что он партийный? Всех теперь хоронят с попами, кто заявляет о смерти и заказывает гробы. Попу заплатил Сазон Иванович...
Михасю вспомнилось, как пели попы, когда он лежал в подполье. Значит, они в самом деле пели.
В его сознании, все еще несколько замутненном, сплеталось то, что было в действительности, с тем, что пригрезилось.
— А полицай Шкулевич Микола к вам приходил?
— Приходил, приходил, — говорит Ева. — Ты знаешь его? Он очень боялся, что пропадет его мотоцикл, который здесь был у Василия Егоровича. И еще больше боялся, я это заметила, что на него тоже нападут партизаны...
— Какие партизаны?
— Вот я тебе об этом и рассказываю. А ты меня все время перебиваешь. Мне это самой на похоронах рассказал Сазон Иванович. Ты его знаешь?
— А что он рассказал?
— Ты мне не ответил. Ты знаешь Сазона Ивановича?
— Слышал про него, — отвечает Михась после некоторой паузы. — Так что он рассказывает?
— Он рассказывает, что немцы на мотоциклах подъехали к сторожке не потому, что там Василий Егорович работал. Я сама сначала была уверена, что кто-то донес. Я думала, что кое-что пронюхал этот вислоухий Шкулевич. Я сама бы застрелила его...
— Застрелила?
— Ну да, застрелила бы, — кивает Ева. — Просто убила бы как собаку. Но он, оказывается, ни в чем не виноват.
— А что в полиции служит — в этом не виноват? — опять пытается приподняться Михась.
— Можно и в полиции служить по-разному, — говорит Ева. — Но я хочу тебе рассказать самое главное, что рассказывает Сазон Иванович. А ты меня перебиваешь. Оказывается, здесь уже несколько дней ходили разведчики из отряда Лазученкова. Они были и у Василия Егоровича. Но он не стал с ними особенно разговаривать. Думал, что это провокаторы, подосланные гестапо. И всех нас предупредил, чтобы мы остерегались. А теперь выясняется совсем другая картина...
— Феликс, мой голубок! Феликс, деточка моя!..
— Слышишь? — оглядывается на перегородку Ева. — Вот так будет всю ночь. Я, наверно, тоже сойду с ума. Подожди, не одевайся. Я на минуточку к ней подойду. И потом перевяжу тебе второе колено. Его надо хорошо промазать. У меня замечательная мазь. Уже на самом донышке осталась...
— Тоже немецкая мазь?
— Ты что? — удивленно смотрит на него Ева. — Смеешься? Нет, эта мазь у меня еще из Минска. У немцев нет такой мази.
Она уходит за перегородку.
Михась опять рассеянно рассматривает ту страницу журнала, где изображены девушки в купальных костюмах и одна в длинных пальцах держит сигаретку. (Журнал так и остался

раскрытым на этой странице.) Нет, Ева не кажется ему теперь похожей на эту девушку. Хотя у Евы точно такая же прическа.
«Точно такая же», — про себя убеждается Михась, взглянув на Еву, когда она снова садится подле него и продолжает перевязку.
— Спит, — кивает Ева на перегородку. — Спит и разговаривает во сне. Я дала ей снотворное... Да, так вот это были, говорит Сазон Иванович, не провокаторы, а настоящие разведчики из отряда Лазученкова...
Ева рассказывает спокойно, будто речь идет не о событиях, почти только что разыгравшихся на ее глазах, о событиях, сопряженных со смертью близких ей людей, а как о чем-то давнем, не имеющем прямого отношения к тому, что происходит сейчас.
И Михась, слушая ее, полулежит на койке, как человек, тоже только отдаленно заинтересованный в том, о чем рассказывает она.
А на подоконнике по-прежнему «намывает гостей» рыжая, пушистая кошка Феклуша. И рядом с ней стоит фиолетовый цветок, уже утративший свое конспиративное значение.
— Оказывается, эти разведчики искали подступы к большому немецкому складу, который теперь по ту сторону кладбищенской горы, выяснили, как он охраняется и нельзя ли подойти к нему прямо с плотины. Немцы нащупали их и решили закрыть им все выходы. Было этих разведчиков человек семь. К вечеру они отошли сюда, в нашу сторону, к кладбищу, где, в случае опасности, легче было обороняться. Немцы узнали, куда они отошли. Немцы окружили вечером всю гору, а мотоциклистов своих направили сюда в тупик, чтобы, если удастся, захватить партизан живьем. Такой был у немцев план. Это уже рассказывает Сазон Иванович со слов полицаев. Партизанам же деваться было некуда. Они пропустили колонну мотоциклистов почти к самой сторожке и ударили колонну с двух сторон по хвосту из автоматов. Начался бой, которого, вероятно, никто не ожидал. И я не ожидала. Мотоциклисты здесь почти каждый вечер ездили по Круговой. Все привыкли к этому. И это сравнительно далеко от нас. Но когда они свернули, я послала Феликса сообщить Василию Егоровичу. Феликс прибежал, говорит: «Батя сказал, пес с ними». А я вижу, мотоциклы уже сюда едут. Я опять послала Феликса. И вскоре начался бой. Я так растерялась, что не знала, как быть. Единственное, что я сообразила, — убрать эти ящики из-под крыльца. Думала, если в них попадет пуля, они взорвутся и подожгут наш дом. Там было три ящика. Один очень тяжелый. Я сама не понимаю, как его вытащила. Откуда взялись силы. Я все-таки женщина. Подожди. У меня вскипела вода. Я сейчас положу яйца...
— А где эти ящики? — впервые заметно волнуется Михась. — В них же тол. Их три штуки?
— Три, — встряхивает пышной прической Ева. Прическа у нее удивительная. Как же она сохраняется при всех обстоятельствах? Или она, несмотря ни на что, каждый день все равно заботится о своей красоте? — Два ящика неполных, а один — очень тяжелый. Я их оттащила к оврагу и спрятала в бурьян. Как будто они ничьи. Как будто их принесли те партизаны...
— Какие партизаны?
— Какой ты странный! Те партизаны — разведчики, которые начали бой.
— А ящики эти сейчас где?
— Там, у оврага, куда я их поставила.
— И они целые?
— Конечно, кто их заберет? Там еще четыре бомбы.
— И бомбы целые?
— Конечно. Овраг остался в стороне. Бой шел вон там, — показывает Ева в окно.
Михась приподымается, чтобы посмотреть, куда она показывает.
— Хорошее место, — говорит Михась, вспоминая, как недавно проходил там. — Два пригорка. Прямо как...
— Как ущелье, — подсказывает Ева.
— Тут можно было много немцев накрошить.
— И накрошили, — кивает Ева. — Шесть убитых и, кажется, восемь раненых. Одного офицера убили. Его звали Эрик. Тоненький такой, как комарик. Очень смешной. И совсем еще молоденький. Все время рассказывал Зинке, что его ягдкоманда уничтожила очень

много партизан. Но, я думаю, он только хвастался. Хвастунишка такой. Тоненькие ножки в блестящих сапожках. Подожди. Кажется, уже готовы. А то переварятся. Тебе вкрутую сейчас нельзя...
Ева отходит. А Михась лежит, ошеломленный ее словами о немецком офицере, каком-то Эрике. Значит, она была знакома с этим офицером, разговаривала с ним. Может быть, даже...
Михась не успевает додумать, не хочет додумывать.
— Вот теперь кушай, — приносит Ева на тарелке кусок белого хлеба и яйца всмятку, выложенные в стакан. — Это немцы так яйца едят. Очень вкусно. Называется, по-немецки, айр ин гляс.
Михасю совсем не хочется есть яйца, тем более если они еще называются как-то по-немецки. Но Ева требует, чтобы он откусил хлеба, и с ложечки собирается кормить его.
— Кушай. Когда ты лежал еще там, — кивает на подполье, — я тебя все с ложечки пыталась поить — вот так, чаем, потом рисовым отваром. И делала тебе гоголь-моголь. И очень любила тебя тогда, как своего... как своего ребенка. Даже больше любила, — печально улыбается она, — чем сейчас...
Михась вдруг закрывает глаза.
— Что тебе — плохо? — встревоженно спрашивает Ева. — Кружится голова?
— Нет, ничего, — открывает он глаза.
— Тогда кушай. Тебе нужно сейчас усиленное питание. А то у тебя будет слабость. Я потом тебя более основательно покормлю.
Михась ест и яйца и белый хлеб, которых давно не только не ел, но и не видел.
— Вот какой молодец, — говорит Ева. — Хочешь чайку сейчас? Или потом?
— Потом, — угрюмо отвечает Михась, хотя сам знает, что надо было бы сказать «спасибо».
— И вот когда начался бой, — продолжает Ева, — я так растерялась, что все время возилась с этими ящиками. И Софья Казимировна мне стала помогать. А что в сторожке, мы не знали. Когда был взрыв, я думала, это кидают гранаты. Потом я побежала в сторожку. Немцы туда долго не подходили. Я даже удивляюсь, что военные люди не сразу поняли, в чем дело. Ну, я не поняла, я женщина. А они, я думаю, просто испугались такого взрыва. И там все дымилось. Ни одного партизана они не поймали. Сазон Иванович говорит: ни одного. Хотя в «Белорусской газете», я не читала, но говорят, было сообщение, что в Жухаловичах захвачена большая группа партизан. Должно быть, они сами себя успокаивают. Сазон Иванович говорит, что это вымысел. Партизаны ушли. Самое страшное началось потом. Василия Егоровича надо было откапывать. Его, мертвого, придавило кирпичами. А Феликс был еще жив. Он лежал у самых дверей. Я понесла его в дом, он даже обхватил меня руками за шею. Не могу это рассказывать. Может быть, потом расскажу. Феликс — он как ребенок...
Ева поднимает руки, точно хочет поправить прическу. И Михась видит, как большие, в горошину, слезы выкатываются из ее прекрасных глаз. Она отворачивается.
— Ты усни. Покушал и теперь постарайся уснуть, — говорит она минуту спустя. — Я, пожалуй, напрасно расстроила тебя.
— Нет, я еще хотел спросить. — Михась пристально смотрит на Еву, желая, может быть, проверить по ее лицу, смутится ли она от его вопроса. — А почему, я хотел спросить, немцы не устроили у вас обыск? Что, вас немцы пожалели?
— Что ты, — без тени смущения отвечает Ева. — Неужели ты думаешь, что они кого-то могут пожалеть? У нас страшный был обыск. Всю ночь. Всю картошку в подполье переворошили. И полицейские, и немцы...
— А как же они меня не нашли в подполье? Где же я был?
— Тебя еще не было, — улыбается сквозь слезы Ева. И тоже смотрит на него пристально и удивленно. — Вон ты, оказывается, какой. Подозрительный. А называл меня «мамой»...
— Когда это называл?
— Когда был в подполье, без сознания... Я ведь уже говорила — мы нашли тебя только утром. Немцы тебя не искали. Они не знали, что здесь еще кто-то есть. А я и ночью искала и утром. Нашла, но не решилась сразу переносить. Во-первых, здесь утром еще были немцы, а во-вторых — я еще не знала, в каком ты состоянии, можно ли тебя нести, не

вредно ли тебе. Я сделала над тобой что-то вроде шалашика из досок. Чтобы ты мог дышать и чтобы тебя не нашли немцы. Потом уж я тебя перенесла в подполье...
— Одна?
— В каком смысле — одна?
— Одна — перенесла?
— Нет, я вызывала немцев тебя переносить...
— Как — немцев?
— Ну что ты. Глупый какой. Кого же я могла вызывать? Кто же мне бы здесь помог? Конечно, я одна тебя перенесла...
— А Софья Казимировна?
— А Софья Казимировна? Ну это, знаешь, очень страшно. Она кричала, что задушит тебя, разорвет на куски. Потом, когда днем здесь опять появились немцы, она требовала, чтобы я передвинула вот этот шкаф, закрыла шкафом ход в подполье. Чтобы немцы не нашли тебя. Но я не стала это делать. Немцы знали уже, где у нас подполье. Вечером она опять ругала меня, что я жалею для тебя одеяло, что ты лежишь только на соломе. И сама полезла тебя укрывать. А я боялась, что она все-таки задушит тебя. Хотя, я знаю, — она чудесная женщина. Но ведь здесь вот уже стояли на двух столах гробы Василия Егоровича и Феликса. Все это очень страшно. Я теперь только начинаю понимать, как это было страшно. Вот здесь вот ходит поп с кадилом. Отпевает двух покойников. А внизу лежит без сознания человек, который каждую минуту может стать третьим. И нечем помочь ему. И нельзя помогать, пока здесь есть посторонние люди. И Софья Казимировна сама как в беспамятстве. Смотрит на Феликса в гробу и говорит мне: «Он дышит. Гляди, змея бесчувственная, он дышит». А может быть, правда, бесчувственная. Я никак не могла заплакать. Из Жухаловичей приехали на похороны две тетки. Они плакали и кричали так, что я все время им подавала капли. И Сазон Иванович плакал. Он очень хороший, замечательный человек. Правда, он был сильно выпивши. На кладбище над открытой могилой кричал Василию Егоровичу, как живому, кричал и плакал: «Товарищ Бугреев, Вася, дружок мой, прими мою клятву. Что надо сделать, сделаю. Убьюсь, но сделаю. Ты же знаешь, что я не прохвост и прохвостом не был». А потом оглянулся, нет ли кого лишнего, и сказал: «Вечная тебе память и сыну твоему, господин Бугреев». Уже не товарищем, а господином его назвал. Вспомнил, должно быть, что «товарищ» запрещенное немцами слово. И потом после похорон все время говорил мне: «Поищите хлопца, который должен был к вам зайти. Беленький, говорил, такой хлопец, боевой. Может быть, его где-нибудь, говорил, присыпало взрывом. Или, скорее всего, он ушел с теми ребятами, которые тут свалили мотоциклистов. Тоже, говорил, видать, серьезные ребятки». Может быть, мне дойти до Сазона Ивановича сказать ему, что ты жив?
— Не надо.
Михась, должно быть, еще не сообразил, как ему дальше действовать. Но ему понятно, что не надо через кого-то связываться с Сазоном Ивановичем. Он лежит задумчивый. И кто не знает, сколько ему лет, мог бы подумать сейчас, что ему под тридцать и что он давно уже серьезно нездоров.
Ева мажет ему желтовато-коричневой, цвета тола, мазью бровь, нос, ухо и уголки губ. Мазь едучая и плохо пахнет.
— Завязывать не будем, так лучше подживет, — говорит Ева. — Полежи. Постарайся уснуть. А я уйду ненадолго. У меня еще есть дела. Но ты не бойся, я недалеко уйду. Я здесь близко буду. Не волнуйся, спи. Все будет хорошо.

16

Только вечером Ева вывела Михася во двор.

— Надо подышать воздухом. И немножко походи, если можешь. Нет, сначала посидим немножечко.
«Немножечко» — это любимое слово Василия Егоровича. Ева, наверно, у него переняла это слово.
Они садятся на завалинку около крыльца.
Тихо вокруг. Одиноко стоит дом Бугреева у давно затихшей дороги.
Михась вспоминает про себя, как вот отсюда, от этого вот крыльца, Василий Егорович повел их с Феликсом через картофельное поле к оврагу, где он, Михась, впервые услышал о Еве, которая будто бы одна вытащила из болота огромную бомбу, четвертую по счету. Михась тогда представлял себе Еву совсем не такой, какой она оказалась. А какой оказалась она? Разве Михась может и сейчас одним, или двумя, или десятью словами определить, какая Ева? Что-то в ней есть такое, что привлекает его и будет, наверно, всегда привлекать, и что-то будет всегда отталкивать. Но что?
Михась не старается это выразить, определить. Только чувствует какую-то тяжкую затрудненность в своих отношениях с Евой. Что-то мешает ему быть полностью откровенным с ней. Что-то невысказанное, что и высказать, пожалуй, невозможно, разделяет их. Хотя он; наверно, всегда будет вспоминать ее. Только хорошо, только с благодарностью будет вспоминать.
Луна, выступившая из развалин туманно-черных туч, освещает дом, двор, узкую дорогу против дома, пригорки кладбища. Вечер тихий, безветренный и, кажется, теплый.
Михась сидит в ватной куртке Виктора, в его сапогах, в рубашке и в брюках Василия Егоровича. И еще Ева обмотала ему шею пушистым шарфом.
Михась не помнит Виктора, которого вместе с братом Егорушкой он в прошлом году провожал в партизанский отряд. Он провожал еще двенадцать человек из Жухаловичей. Всех не запомнить. Но, судя по куртке, Виктор был большой, широкоплечий. Два Михася, пожалуй, могли бы влезть в его куртку.
Виктор — муж Евы. Его куртка могла бы ей напомнить сейчас о нем. Однако Ева смотрит на оторванные доски под крыльцом и говорит:
— Оторвала их, а приколотить так и не успела. Василий Егорович был бы недоволен. Он любил аккуратность. Завтра приколочу...
— А где эти ящики с толом?
— Я же говорила тебе — у оврага. Я их уже два раза перепрятывала. Вчера и еще сегодня. Хочешь посмотреть?
Они идут к оврагу не тем путем, каким шли тогда с Василием Егоровичем.
Ева, когда переносила тол, выломала в заборе штакетины — и путь теперь стал короче.
— Вот это тоже надо приколотить, — говорит она. — Завтра приколочу...
Она говорит это, как бы извиняясь перед кем-то, как бы ожидая, что, может быть, сам Василий Егорович еще вернется в свой дом. А он где-то, вот здесь недалеко, схоронен, где-то недалеко от тех могил, в которых хранились и сейчас хранятся собранные им снаряды. Надо бы забрать их отсюда. Надо придумать, как их забрать. Лучше всего поговорить с Сазоном Ивановичем. Он, пожалуй, их отвезет. А Ева укажет могилы...
— Осторожнее иди, — говорит Ева. — Здесь ботва. Она, как проволока, впотьмах цепляет за ноги. Можешь упасть. — И притрагивается к локтю Михася. — Боже мой, боже мой! Я привыкнуть не могу к тому, что ты уже ходишь. Еще утром был почти мертвый. И уже ходишь. Не трудно тебе? Не устал?
— Нисколько.
— Это же просто чудо... Нас учили в институте, что больным после шока нельзя напоминать о прошлом их состоянии. Но я считаю это глупостью. Смотря какие больные. Если мужественные люди, их ничем не испугаешь. Я считаю тебя мужественным. А как же иначе? Я уважаю и люблю только мужественных людей. Вот ты, например, ведь совсем молодой человек. Сколько тебе лет?
— А что?
— Какой странный. Не хочешь даже сказать, сколько тебе лет. Ведь это только женщины скрывают свой возраст. А я, женщина — и не скрываю. Мне сегодня исполнилось уже двадцать два года...
— Это тоже немного, — говорит Михась. — Вот если б сорок два, тогда плохо...

— Двадцать два — это уже серьезно. Для женщины это значит, что уже проходит молодость. Вот так она проходит, — встряхивает головой Ева. На голове у нее вспорхнул легкий платочек.
«Все немецкое, — с еле тронувшей сердце неприязнью думает Михась. — И платочек, наверно, немецкий. Откуда он?»
Ева останавливается у старой сосны, обнажившей на краю оврага свои могучие корни.
— Вот сюда прямо за корни я их впихнула. Все три ящика. И присыпала землей. Боялась, что немцы найдут. Бомбы, я думаю, они здесь видели. Они на второй день здесь все обыскали. Но бомбы, они понимают, давно лежат. Это даже хорошо, если они их видели. Значит, наше предположение, о котором мы говорим в гестапо, что это мина или снаряд оказались в железном ломе и привели к взрыву, — правильное предположение. А котел весь измят. Его выбросило взрывом. И он валяется там — тоже как железный лом. Еще две гильзы пустые валялись. Но я их сразу же убрала. Немцам сейчас, пожалуй, не к чему придраться. А эти ящики они никогда не найдут. Даже не догадаются. Только надо их поскорее отсюда забрать. Я, пожалуй, смогу достать лошадь.
— Где?
— Я поговорю с Сазоном Ивановичем. Я его видела сегодня утром. Он просил меня завтра к нему прийти. Хочет нам помочь. Сказать ему, что ты здесь? Он примет какие-нибудь меры...
Михась не отвечает. Ева снова задает ему тот же вопрос.
— Подумаем, — наконец говорит Михась.
— Может, ты хочешь посмотреть, что осталось от сторожки? Хотя это для тебя сейчас сравнительно далеко. Ты, пожалуй, устанешь. И тебе это, наверно, неприятно...
Михась молчит.
— Ты почему молчишь? Тебе трудно говорить?
— Нет, я просто думаю.
— Просто думаешь? Ну, думай. Может быть, лучше сядем?
— Нет, я хочу посмотреть на сторожку.
Ева так спокойно разговаривает с Михасем, так уверенно ведет его по буеракам, как будто немцы давно уже ушли из этих мест, как будто и война кончилась.
Они выходят на узкую дорогу, где не разъедутся, пожалуй, два автомобиля, две телеги.
По этой дороге двигались немецкие мотоциклисты в тот вечер. Ева показывает место, где их обстреляли партизаны.
— А Эрика убили у часовни. Он ехал третьим в колонне. Он хотел развернуть мотоцикл. В это время его убили.
Михасю абсолютно все равно, где убили этого Эрика. Убили и убили. И спасибо, что убили. А Ева зачем-то рассказывает подробности.
— Ну кто это мог видеть, как это было? — почти раздраженно говорит Михась. — Никого же здесь не было...
— Мне рассказывал это один полицейский. А ему рассказали немцы. А Эрика многие знали в Жухаловичах. Его команда тут давно, почти с прошлой зимы. И он был известный танцор...
— Значит, свое оттанцевал. Пусть не жалуется. Мы его не звали на танцы, — хмуро говорит Михась. — Будет время — и остальные оттанцуют...
Михась обозлен. И не на Эрика какого-то, а на Еву. Зачем она все это ему рассказывает? Неинтересно это все Михасю.
Они подходят к сторожке. Стены ее, каменные, сохранились. Вырвало только крышу, и она — железная, куполообразная — повисла сбоку, как огромная шляпа.
Внутри сторожки образовалась глубокая воронка — глубже той ямы, что была. Завалило кирпичами и землей и верхнее горно и верстак.
Ева не рассказывает, где лежал Василий Егорович. И Михась не спрашивает. Не хочет спрашивать. Обходит сторожку. Останавливается у горбатой горы из досок.
— А я где был?
— Вот здесь, почти в самом центре, — показывает Ева и поднимается на доски.
— Значит, здорово меня шарахнуло.
— Мягко говоря, — добавляет Ева.

— Это и вытащить меня было трудно.
Михась больше не может сердиться на Еву. Опять подходит к сторожке. Останавливается у пролома двери. Дальше не пройдешь.
— А это, — говорит он, — ерунду вы немцам рассказываете, будто мина или снаряд попались в железном ломе. Немцы тоже не дураки. Поймут, что это ерунда. Если считать, что тут сработала мина, то она была очень большая и глубоко прикопанная. Значит, по-другому говоря, сторожка была заминирована. А кто и зачем ее заминировал — это уж вы не обязаны знать. Здесь же воинские части стояли. Батарея была. Вот о чем надо говорить. Это уже походит на правду. И вы тогда тут ни при чем...
Михась оглядывает место взрыва как специалист, как человек, которому не однажды приходилось производить и не такие взрывы. На какое-то время он даже забывает всю скорбную сущность происшедшего. Хотя этого забывать нельзя.
Ева трогает его за локоть:
— Все-таки я свинья, что повела тебя сюда. Ты, наверно, устал?
— Нет, — мотает головой Михась, хотя он действительно устал. Но ему приятно в то же время, что он прошел, смог пройти такое расстояние. И еще хватит сил дойти до дома.
Они возвращаются к дому очень медленно.
— А где похоронили Василия Егорыча и Феликса?
— Покажу, — обещает Ева. — Но я надеюсь, ты не пойдешь сейчас на могилы?
— Не пойду. Не к чему сейчас туда ходить.
Михась говорит теперь совсем не так, как говорил еще несколько дней назад. В тоне голоса, в выговаривании слов появилась замедленность, которая как бы взрослит его.
Почти у самого дома Ева показывает место, где схоронили Василия Егоровича и Феликса. Оно на взгорье напротив дома, по ту сторону узкой дороги.
Могил отсюда не видно. Но Михась останавливается и смотрит в ту сторону, где могилы. И тотчас же слышит веселую, какую-то подрагивающую музыку.
Музыка эта раздражает его. Он оглядывается на Еву.
— Это в офицерском кафе, — прислушивается к музыке Ева. — Да, Михась! Я чуть не забыла. У меня в кармане, — я их все время ношу, хочу отдать, твои часы и твой аусвайс.
— Часы я дарю по случаю... по случаю дня рождения.
— Что ты. Во-первых, это мужские часы, а во-вторых — ну зачем?
— Затем, что я ухожу... Хочу оставить на память. И сегодня — день рождения...
— Ты же не сейчас уходишь?
— Не сейчас, но скоро...
— Нет, я не могу взять часы. Они тебе самому будут нужны.
— Я себе еще достану, — будто угрожает кому-то Михась, глядя в сторону могил. — Новенькие достану. Был бы только я, а я достану...
— Нет, я не могу, — берет его за руку Ева, крепко держит и пристегивает ему часы. — Это — на счастье.
Михась вдруг вспоминает Клавку. Где-то далеко она, когда-то давно-давно он разговаривал с ней. И она тоже говорила — на счастье. Может быть, действительно и Михась — счастливый...
— А аусвайс у тебя плохой, — говорит Ева. — Особенно печать странная. Опасно даже кому-нибудь показывать. Я работаю в городской управе машинисткой. У меня есть знакомые. Я попробую завтра, может, удастся что-нибудь сделать. Может быть, я достану тебе хороший аусвайс. Посидим? показывает она на завалинку у дома.
Михась садится. И вот теперь он чувствует, как сильно устал.
А музыка продолжается. Она продолжается с краткими перерывами — то грустная, то веселая, то опять грустная, то какая-то нервная, крикливая.
— Это в офицерском кафе, — снова прислушивается Ева. — Это недалеко, на плотинке. Они привезли на платформах разборный дом. Уже зеленой краской покрашенный. И собрали на плотинке. Но внутри там очень оригинально. Представляешь, просто колесо от деревенской телеги, а на нем разноцветные лампочки? Это такие люстры у них. А над каждым столиком японские фонарики. Очень оригинально...
— И кто туда ходит?
— Немцы и кого они приглашают.

— А кого они приглашают? Овчарок?
— Каких овчарок?
— У нас в отряде этих девок-потаскух, которые ходят к немцам в ихние рестораны, называют «немецкие овчарки». Партизаны считают, что их надо стрелять, как самих немцев, как полицаев...
— Значит, если я там два раза была, значит, меня тоже?..
Михась молчит.
— Мне только непонятно, — говорит он после долгого молчания, — как же так? Василий Егорыч рассказывал, что у вас даже соли не было. А я смотрю, у вас знакомства, какой-то Эрик. И приглашают даже к ихним офицерам в этот самый... кафе. И вещи немецкие. Как же это получается?
Он забылся, Михась. Он забыл, должно быть, кто сидит с ним рядом и что сделала для него эта женщина.
— Ну так, если рассуждать, — продолжает он почти как Сазон Иванович, зачем порядочная советская девушка, или замужняя жена, или даже вдова, например, пойдет к ихним офицерам заводить знакомства? Они же не бесплатно ее приглашают. Тот же Эрик прекрасный. Если у нее, у женщины, есть женская совесть и она не хочет быть овчаркой, она же ни за что не пойдет...
Ева сидит окаменевшая. Потом она встает и уходит в дом.
Вот теперь Михась понимает, что перехватил. Женщина спасла ему жизнь, возится с ним, оберегает его. А он...
И в то же время Михась вдруг чувствует какое-то облегчение. Все это он уже давно хотел сказать. И все это он наконец сказал. Пусть теперь будет что будет. Он не мог промолчать.
Ева выходит из дома. В руке у нее что-то черное поблескивает. Пистолет. Что она хочет делать? Стрелять? Нет, она протягивает ему пистолет и еще две обоймы. И кричит:
— Стреляй! Стреляй в меня, если я... если я — овчарка. Стреляй! Ваши же в отряде считают, что надо стрелять в овчарок...
Михась кладет пистолет в карман. И при нем еще две обоймы. Это, наверно, тот пистолет, о котором говорил Феликс. Итальянский.
— Ну что же не стреляешь? Струсил? Или тебе жалко меня? Партизан не должен жалеть овчарок. Их не за что жалеть. Стреляй!
— Ева, Ева, — говорит Михась. И в свете луны с содроганием видит, какая она красивая. Какая она просто сказочно красивая, когда у нее горят глаза и набухают слезами.
— Ну, стреляй же! Или я буду тебя презирать, как трусишку. Я буду тебя презирать!
Она садится и закрывает лицо руками. Легкий ее платочек, немецкий платочек, полощется, как под ветром. Еву сотрясают рыдания.
— Ева, Ева, — повторяет Михась. — Я сказал... Я ведь не так... Я хотел...
— Не смей, — вдруг поднимает голову Ева. — Не смей извиняться! Мне это не надо. Не смей!
Она кричит. И все это происходит под окнами. Может проснуться Софья Казимировна. Может кто-то, кто проходит случайно сейчас мимо, услышать это с дороги.
А музыка в офицерском кафе на плотинке звучит все громче, все сильнее.
Музыка как будто приближается к этому дому. Как будто снова едут сюда немецкие мотоциклисты и везут с собой эту подрагивающую, трескучую, припадочную музыку.
Эту музыку сочинили, придумали в Германии, в Центральной Европе или где-то за океаном, чтобы по ночам, в ночных ресторанах, возбуждать притупленные нервы изувеченных благополучием, богатых людей.
У нас, в нашей стране, и до войны не было такой музыки. И не было богатых ресторанов. И очень богатых людей не было. Но музыка эта способна волновать, возбуждать не только богатых.
— Я живая, — говорит неожиданно спокойно Ева. — Я живая, здоровая женщина. И еще молодая, несмотря на то что мне уже двадцать два. Что же, я должна закрыться, замкнуться в этих стенах? И заживо умереть? А я еще ничего не видела. Еще не жила. Я в апреле сорок первого вышла замуж. За Виктора. (Вот когда наконец она вспомнила своего мужа.) Вышла по любви. Хотя мои родители были против. В июне мы приехали с Виктором из Минска сюда, в эти смешные (почему смешные?) Жухаловичи. Здесь нас застала война. Выбраться

было невозможно. Немцы упали как снег на голову. В августе Виктор ушел со своим братом в партизаны. Ты их увел, — слегка толкает она в грудь Михася.

Михась хочет, что-то сказать.

— Молчи, — почти вскрикивает Ева. — Мне отвратительны люди, которые сперва что-то делают или говорят, а потом извиняются. Мне отвратительны такие люди. И ты не извиняйся. Ты ни при чем. Но я была бы, я была бы счастлива, если б тогда, в сорок первом, ушла вместе с Виктором. Я была бы счастлива. При всех обстоятельствах. Я сейчас была бы разведчицей. Да, да, не сомневайся. Или пусть бы убили меня... Молчи. Ты и так не дал мне договорить. В этом офицерском кафе сейчас выступает тоже Ева... Ева Крейцер. Она приехала со своим оркестром из Германии. Она разъезжает по многим немецким гарнизонам. Интимные песенки. Ее две недели ждали в Жухаловичах. Были расклеены афиши с ее портретом. Сейчас она выступает. Она — немка, но ее тоже зовут Ева. Многих немок зовут Евами. И меня здесь, кто не знает, принимают за здешнюю немку. Это называется фольксдойч... Молчи!.. Я шла однажды по улице и думала, что я могла бы быть разведчицей у партизан... Ну что ты молчишь? Говори, что ты хочешь сказать...

— Я ничего не хочу сказать, — говорит Михась. — Но как же вы, как же ты могла бы стать разведчицей, если, мне кажется, ты считаешь немцев культурными? И вроде как интересуешься немцами?

— Да, я ими интересуюсь, — с вызовом произносит Ева. — Я всем интересуюсь. Я даже хотела одно время стать журналисткой. Мой отец журналист...

— Что это — журналист?

— Ну он пишет в газетах. Я многим хотела стать. Но стала вот, как ты говоришь, немецкой овчаркой.

— Да я хотел... Я хотел сказать...

— Не смей, — опять почти вскрикивает Ева. — Не смей извиняться. Я тебя буду презирать. Это даже хорошо, что ты мне сказал. Ты сказал, потому что ты хороший человек. Убежденный. Конечно, с твоей точки зрения, я, наверно, не могла бы стать хорошей разведчицей, потому что... потому что перед самой войной меня исключили. Из комсомола...

— За что? За что исключили?

— За глупые разговоры и за любовь к красивым тряпкам. Вероятно, в основном правильно... правильно исключили. Но формулировка идиотская. Если б не война, у отца могли бы из-за меня быть крупные неприятности...

— А где он сейчас?

— Этого я не знаю. Я недавно ездила в Минск. Хотела что-нибудь узнать о родителях. Дом наш разбит. Мы жили у вокзала. Помнишь, такой большой серый дом?

Михась ничего не мог помнить. Он никогда не был в Минске. И сейчас ему было почему-то неловко, что он там не был. Он сконфуженно говорит:

— Все дома переломали... Но ничего. Это все мы им припомним. — Он ожесточается. — И эту музыку им припомним. Как они тут веселились почти что... — он оглядывается, — почти что на кладбище...

— Какой ты милый, — говорит Ева. — Ты не сердись, я ведь не сержусь на тебя, но ты еще просто... просто мальчик. И вот так проходит наша жизнь...

17

Луна светит в окна.

Михась долго не может уснуть после разговора с Евой. Нет, она не овчарка. Вот подруга ее, Зинка, про которую она говорила, это действительно овчарка. И от нее эти вещи у Евы, трехкопеечные всякие кофточки, как сказала сама Ева. Эта Зинка жила с тем офицером,

Эриком, что ли, которого убили. У него отец — хозяин магазина в Нюрнберге. Эрик посылал отцу отсюда ворованные вещи, а от отца возил сюда какую-то ерунду соблазнять наших девок. И Еву чуть не соблазнили. Нет, еще не соблазнили. Ее, правда, надо бы забрать в отряд к Казакову. А Софью Казимировну куда?
Софья Казимировна стонет во сне, опять зовет Феликса. А Михась лежит на его койке. Очень трудно уснуть Михасю. Но он все-таки засыпает.
Вдруг что-то теплое, мохнатое касается его лица. Михась вздрагивает. Хватает рукой это теплое.
Это кошка Феклуша пришла к нему, как, наверно, приходила к Феликсу.
Михась не прогоняет кошку. Он прикрывает ее одеялом и тихонько гладит, прижимая к себе. Ему становится уютно с кошкой. Вот сейчас он опять уснет. Но что-то смутное, еще до конца не осознанное вдруг прогоняет сон. Что это он, Михась, так хорошо угрелся? Отчего это он так успокоился? Что он вроде зятька здесь устроился? Он же совсем не больной. Весь вечер ходил, слушал немецкую музыку. И вдруг утомился, лег спать. Он лежит здесь, а тол, за которым его послали, — под сосной. И сколько же он там будет лежать?
Нет, это некрасиво все получается. Как раз ночью все можно сделать. И очень хорошо, шито-крыто, как говорил Василий Егорович. А Сазон Иванович сказал: «Нужен буду, приходи ночью в любое время. Сенная, девять. Стучи мне в крайнее окно слева». И сегодня Сазон Иванович наверняка дома, если он Еве велел прийти к нему завтра утром, то есть сегодня утром. Ева может пойти и утром и днем. А Михасю лучше идти вот сейчас, ночью. Он встает, одевается, не без серьезных усилий натягивает сапоги.
— Иди, иди, — шепотом говорит он кошке. — Ишь как хорошо угрелась. — И сталкивает ее с кровати. — Иди, — повторяет он, хотя кошка ему нисколько не мешает собираться. Михась достает из-под подушки длинный плоский итальянский пистолет и две полные обоймы к нему, кладет их в карман. Теперь он пойдет с пистолетом. Так будет лучше. Пусть немцы не принимают его за деревенского. Он вовсе не деревенский, Вот так он сейчас и пойдет — через кладбище, потом по бывшей Дзержинской, а тут и — Сенная. Он договорится с Сазоном Ивановичем, чтобы нынче же перевезти этот тол на базу. Василий Егорович не для того рисковал жизнью и отдал свою жизнь, чтобы тол этот лежал под сосной в бездействии. Немцы еще вспомнят Василия Егоровича Бугреева и сыновей его. Они еще многое вспомнят и поревут, и постонут...
Михась находит впотьмах за печкой на веревке свою стеганку. Надевает ее, хотя она не совсем просохла после стирки. В ней все-таки удобнее, привычнее. А куртку Виктора — правда, она теплее — пусть Ева в случае чего обменяет на хлеб.
Чтобы не шуметь, не разбудить спящих, он на цыпочках проходит к дверям. Но сапоги скрипят. Это почти новые, хорошие сапоги. Они и должны скрипеть.
Михась жалеет, что не догадался обуться во дворе. Очень жалеет, потому что из-за перегородки выходит Ева.
В длинной белой рубашке в призрачном свете луны она походит на привидение, какими в детстве бабушка стращала Михася. Но это не привидение, это — Ева, большая, теплая, пахнущая свежим сеном, что ли. И необыкновенно красивая, ну просто сердце рвет, какая красивая.
— Тебе что, стало плохо? — протягивает она к Михасю руки. — Очень плохо?
— Нет, почему? Мне хорошо, — улыбается Михась. — Я хочу, пока ночь, уйти. Тихонько.
— Ну как же это? Ты уходишь вот так — вдруг?
— Я еще зайду, — несколько смущенно говорит Михась. — Может, еще ночью даже заеду. С одним человеком. Короче говоря, может, с Сазоном Иванычем заеду. Нам все-таки надо забрать тол. Это очень срочное дело.
— Но как же ты пойдешь? Я тебе хотела утром, может быть удастся, достать хороший аусвайс. Печать у тебя особенно неважная...
— Ничего, как-нибудь. Ходил и без аусвайсов. Ничего.
— Ну как же это? Я хотела тебе еще что-то сказать. Может, покормить тебя?
— Нет, ничего не надо. Спасибо. И так все было хорошо. Спасибо. Я пошел.

— Ну как же? — опять говорит Ева. Она растерянна, почти беспомощна сейчас. И в беспомощности этой, в сонной рассеянности особенно удивительна и прекрасна. — Я хотела тебе еще что-то сказать. Я забыла, что я хотела тебе сказать...
Михасю трудно, неловко сейчас смотреть на нее. Он краснеет, даже потеет. Но не может оторвать глаз от ее высокой, чуть трепещущей под рубашкой груди.
— Боже мой, боже мой, — воркует Ева. — Софья Казимировна проснется и будет очень недовольна. Будет меня ругать, что я вот так тебя отпустила. Ты должен проститься с ней.
— Потом, — хочет закрыть глаза Михась, чтобы не смотреть на Еву.
— Когда же — потом? Подожди, — трогает Ева его за руку. — Одну минуточку. — И заглядывает за перегородку: — Мама, он уходит. Вы слышите меня? Он уходит...
— Кто уходит? — глухо отзывается Софья Казимировна.
— Ну, он. Наш хлопец. Михась.
— Уходит?
Софья Казимировна появляется из-за перегородки. У нее на голове — как рожки. Волосы ее переплетены какими-то бумажками или тряпочками. «Для чего это?» — удивляется про себя Михась. И говорит, почтительно кланяясь, как учительнице в школе:
— До свиданьица, Софья Казимировна.
Он хочет еще сказать: «Извиняюсь за беспокойство». Или что-то в этом роде. Но не говорит. Он скорее хочет уйти, пока она его снова не назвала Иродом, ненасытным зверем лесным или еще как-нибудь.
— Ты уходишь? — оглядывает его она. — А как же эти... вещи?
— Какие вещи?
— Эти вещи, которые делал для вас Василь Егорович. Ева их сберегла.
— Он возьмет их, — говорит Ева. — Он заедет к нам, может быть, еще сегодня, и возьмет тол. Он заедет с Сазоном Ивановичем.
— До свиданья, — снова кланяется Михась.
— До свиданья, — протягивает к нему сухие руки Софья Казимировна. Обнимает его и целует в лоб. — Извини меня, старую дуру, мальчик. Извини, что я оскорбляла тебя. У меня нет сил. Извини меня, милый. У меня больше никого нет. Только Ева, но она тоже уйдет...
Уж лучше бы Софья Казимировна оттолкнула Михася. Уж лучше бы она снова назвала его Иродом.
А сейчас, после ее ласковых слов, ему вдруг стало действительно нехорошо. Ему вдруг, странное дело, самому захотелось заплакать. Но он повернулся и вышел, не взглянув даже больше на Еву.
Он только помахал всему дому кепкой, когда перешел дорогу. Помахал потому, что эти женщины могли смотреть на него в окна. Почти весело помахал. А кепку спрятал за пазуху.
Он проходил через кладбище по той дороге, где слева должны возвышаться свежие холмики могил Василия Егоровича и Феликса. Но он не остановился у этих могил. Он только чуть опасливо посмотрел углом глаза в их сторону. И зашагал по широкой аллее через кладбищенскую гору, нисколько не тревожась тем, что у него по-прежнему не очень точно изготовленный Клавкой аусвайс и особенно неудачная печать.
Все это пустяки. У Михася в кармане пистолет и две обоймы к нему. Нет, у него больше не задрожат руки при виде тех, кто захочет проверить его документы.
И очень, пожалуй, худо будет тому, кто попытается сейчас их проверить, кто попытается поставить под сомнение его право передвигаться по родной земле.

Переделкино, апрель 1962 г.

Пятно

Никто из товарищей не мог бы в точности сказать, где вырос и где оставил семью этот невзрачный на вид, неразговорчивый, тихий и как будто застенчивый Антон Барыкин.
Никто не помнит теперь, когда и откуда пришел он сюда, в это стрелковое подразделение, которым командует капитан Князев.
Никто, впрочем, никогда и не спрашивал его об этом. Как-то так не удавалось спросить.
И он сам никого ни о чем не спрашивал.
В землянке в краткие паузы между боями он сидел всегда в сторонке, вечно занятый починкой своих штанов или прилаживанием часто рвущихся ремней на вещевом мешке.
Писем он никому никогда не писал. И неизвестно было, грамотен ли он.
Газет и книг в его руках никто не видел.
А когда с ним разговаривал заместитель политрука, он на все вопросы отвечал кратко и неохотно, уклончиво.
Бывают такие скрытные, тихие люди.
Но когда начинался бой, человек этот немедленно преображался, становился подвижным и цепким и лез в самое пекло, будто специально отыскивал для себя наиболее трудное положение в этой достаточно трудной и тяжелой войне.
И заметно было, что драться он умеет, что в боевом азарте он не теряет головы и смелость его постоянно сочетается со сноровкой и ловкостью и природным неистребимым лукавством.
Однажды зимой он прыгнул во время боя в глубокий немецкий окоп, где сидели на соломе два солдата и офицер.
Двух солдат, растерявшихся, должно быть, от неожиданности, он заколол штыком.
А офицер, не растерявшись, выбил у него из рук винтовку, свалил его, подмял под себя и стал душить.
Офицер был крупный, тяжелый и толстый, — может быть, больше оттого, что надел из-за невыносимых холодов сверху шинели дамскую беличью шубу.
Видно, и дама, носившая когда-то эту шубу, была не из мелких.
Маленький Барыкин совсем было исчез под грузной тущей офицера.
Но через мгновение офицер вдруг всхлипнул, дернулся и свалился в мокрую солому, устилавшую глубокий немецкий окоп.
Оказывается, Барыкин, полузадушенный, отыскал под беличьей шубой офицерский кинжал и сквозь сложную броню из шинели, мундира и теплой старушечьей вязанки пропорол офицеру брюхо.
В другой раз Барыкин оказался наедине с тяжелым немецким танком, прорвавшим наше боевое охранение.
Похоже было, что Барыкина больше нет. Может, танк уже раздавил его.
Но вдруг танк рванулся назад, подпрыгнул и закрутился, и тогда стало ясно, что боец тут, живой и здоровый. Он только прижался к снегу в своем белом маскировочном халате.
Вот он, чуть различимый на снегу, подползает к танку...
Много разного можно рассказать про Барыкина.
Всю зиму батальон под командой капитана Князева, как вся армия наша, начавшая наступление, шел в метель и в мороз по глубоким снегам, пробирался ползком в дыму жгучей поземки, часами и сутками лежал под открытым небом, на обледеневшем снегу, блокируя и атакуя узлы немецкого сопротивления.
И под ураганным огнем противника, под кваканье, и клекот, и визг немецких мин батальон входил в новые, отбитые у немца деревни, где над теплым пепелищем, над развалинами больниц и школ, над опаленными кустами фруктовых садов еще качаются тени повешенных, и плачут осиротевшие дети, и причитают древние старухи, призывая бога в свидетели неслыханных злодеяний немца.
Никогда не забыть этих зрелищ. Даже самые отсталые бойцы, охваченные гневом, становятся героями, рвутся вперед, забывая об усталости.
Выносливостью и даже смелостью теперь, пожалуй, нелегко удивить.
И все-таки Барыкин, рядовой, невзрачный на вид красноармеец, именно этим удивляет многих.
А совсем недавно, вот на этих днях, в апреле, он, казалось, сам превзошел себя.
Немцы пошли в контратаку, чтобы способом этим удержать укрепленный пункт, за который уже сутки шел упорный бой.

После того как контратака была сбита и наша пехота продвинулась вперед, с правого фланга, почти в тылу у наступающих, неожиданно заговорили три немецких замаскированных пулемета.
Опасность для нашей пехоты была велика.
И тут Барыкин обратил на себя всеобщее внимание.
Под пулеметным огнем, не ожидая приказаний, он быстро пополз в сторону, прорывая в глубоком снегу узенькую траншею.
Вскоре за ним поползли еще три бойца.
Но догнать его было нелегко. Он полз, как ящерица, сердито орудуя руками и ногами.
Минут через пять все услышали взрыв гранаты. Потом второй, третий. После этого раздались еще пять или шесть взрывов, но главное уже было сделано Барыкиным.
Пулеметы замолчали после трех взрывов.
Пехота снова двинулась вперед.
И Барыкин поспешно догонял наступающих, оставляя позади себя на зернистом, предвесеннем снегу крупные пятна крови.
А вечером, когда немецкие глубокие блиндажи были заняты нашей пехотой, молчаливый этот человек, отказавшийся пойти в медсанбат, перевязанный, сидел, по своему обыкновению, в углу на бревнышке и, как всегда, был занят починкой обмундирования.
Но теперь уже все разговоры были сосредоточены вокруг него, и многие спрашивали, как он чувствует себя. Не лучше ли ему все-таки сходить в медсанбат?
Барыкин сдержанно отвечал, что все у него в порядке, что пули только поцарапали его и каску помяли, а так все в порядке.
Вспомнили, что Барыкин уже был представлен раньше к медали «За отвагу». И теперь говорили, что, когда он будет получать медаль, ему, наверно, тут же вручат и орден, потому что лейтенант уже доложил про него капитану Князеву. А капитан Князев человек внимательный и давно знает про Барыкина.
Может, Барыкину даже звание присвоят.
— Будешь, Барыкин, у нас сержантом...
Барыкин вдруг улыбнулся.
— А вы согласны, чтоб я был?
— Ну что ж. Очень приятно! Человек ты смелый, деловой...
Приходили из соседнего взвода и даже из третьей роты приходили спрашивать: что за парень тут, такой отчаянный, у них во втором взводе?
Последним в этот вечер пришел сержант-сибиряк Афанасий Балахонов. Он сказал, что сибиряки тоже удивились.
Ну, один пулемет заглушить — это понятно. И два — тоже, однако, можно, если они рядом. Но чтобы три пулемета станковых один человек заглушил, этого еще, однако, не было. И главное — быстро, вот что любо-дорого! Можно считать — это просто геройство. Привет такому товарищу!
Барыкин по-девичьи конфузливо опустил глаза. Похвала сибиряков, видимо, тронула его.
Ведь теперь все знают, что за парни сибиряки. Похвала сибиряков стоит многого.
Но, похвалив, Балахонов не уходил. Он присел рядом с героем и, приглядываясь к нему, стал расспрашивать обо всем.
Потом он сказал:
— Я тебя, парень, где-то, однако, видел.
— Не знаю, где, — сказал Барыкин.
— И голос мне твой знакомый, — задумчиво произнес сержант.
И вдруг при этих словах в памяти двух людей, может быть одновременно, возникло Минское шоссе не то в октябре, не то в ноябре. Дождь, и снег, и снова дождь. И опять снег. Зима и осень и снова зима. И туман, ползущий из леса. А где-то вдалеке бухают пушки.
По шоссе вывозили раненых. А навстречу им двигалась колонна грузовиков, в которых ехали на фронт сибиряки.
На короткое время два потока сблизились, задержались по какой-то причине. Может, там бомбы упали с двух сторон.
Идущие в бой расспрашивали вышедших из боя о немце. Немец остервенело рвался к Москве. Он, говорили, уже прорвал передний край нашей обороны. Свежие бойцы закуривали и с

тревогой ждали встречи с немцем. Не понятно еще было, где и когда эта встреча произойдет. Где он сейчас, немец?
В это время из тумана вышел небольшого роста человек в измятой пилотке и в шинели, подпоясанный не ремнем, а обрывком провода.
— Разрешите, товарищи, и мне закурить, — сказал он. — Как пострадавшему бойцу.
Видно было, что он не ранен, но винтовки у него не было и с пилотки сорвана звездочка.
— Винтовка-то у тебя где? — спросили его.
— Винтовка? — повторил этот странный человек. И вдруг озлился. — Вы, наверное, еще там не бывали! Вот как побываете, как он вас трепанет, тогда вспомните царя Давида и всю кротость его...
И, как рыба на берегу, открывал рот, заросший давно не бритой щетиной.
— Дурак! — сказал ему раненый. — Это ж сибиряки. Чего ты их пугаешь? Чего ты агитацию тут разводишь, гад?
А один сибиряк брезгливо взял странного этого человека за шиворот и спихнул с обочины в кювет, заваленный грязным снегом.
— Что ж на русского хуже, чем на немца, бросаетесь? — закричал этот странный человек, снова выползая на шоссе.
— Какой ты русский! — сдержав ярость, сказал ему сибиряк, спихнувший его. — Ты чурка с глазами. Я таких русских из глины мог делать. По три копейки за штуку. Руки только марать не хочу, а пулю жалко...
И странный человек ушел в туман.
Барыкин отпираться не стал. Он признался, что все примерно так и было тогда, в начале зимы. Он был напуган, отстал от своей части, потерялся в лесу. Пошел в Москву. Говорил людям — вышел, мол, из окружения.
Народ жалел его. Угощали, потчевали чем придется. Одна баба пяток яиц ему дала. Дома, может, у нее дети, а она ему пяток яиц даром.
— На, пожалуйста, дорогой товарищ, ежели ты наш защитник, красный армеец. У меня свой мужик там мается. Или уже нету его в живых... Помяни его. Больше подать нечего.
Было стыдно Барыкину, но яйца он взял и пошел по Москве, разглядывая ее во всех подробностях.
А подробности жизни московской тогда были у всех на виду.
День и ночь ревели и выли над Москвой тревожные сирены, извещая народ о налетах немецких самолетов. И два раза Барыкин был свидетелем бомбежки, когда рушились высоченные здания и пылали пожары от зажигательных бомб.
Москвичи тушили пожары. И женщины, и старики, и дети хлопотали вокруг жарко полыхающих домов, подносили воду, песок.
А Барыкин, как посторонний, шел по Москве, омраченной ужасным горем. Он и был посторонним в этом великом городе, куда попал впервые в эти печальные дни.
Дети и жена его остались на Урале, в Пышме. И он подумывал: уж не поехать ли ему домой? Тем более многие тогда уезжали из Москвы. И не в сторону фронта, а на восток, в глубинные районы страны, не затронутые войной.
По асфальту московских улиц днем и ночью катились грузовики, доверху наполненные домашним скарбом, тюфяками и чемоданами, узлами и бельем и детскими колясками.
«Может, и мне, — думал Барыкин, — попроситься на какой-нибудь грузовик? Авось не сгонят. А не то можно протиснуться в вагон отходящего поезда. В сумятице-то этакой, пожалуй, и не разберут, кто я, откуда взялся и куда и зачем еду. Глядишь, дня за три и до дома доберусь. Баба до смерти будет рада».
Думая так, он все шел и шел по Москве, приглядываясь к потревоженной московской жизни. И все не решался попроситься на грузовик. Отчего-то не решался. Что-то удерживало его.
Уже в сумерках он забрел в захламленный двор где-то близ Москворецкого моста, поискал во дворе уборную. Не нашел. И побрел в соседний двор, еще больше замусоренный.
Тут у ворот его встретил древний старик, указал ему проход в нужное место, а потом спросил, не с фронта ли он.
— С фронта, — откровенно сознался Барыкин. — С самого, можно сказать, Западного фронта.
— Ну как там? — поинтересовался старик. — Скоро ли мы его обратно погоним?

И тут отчего-то смутился Барыкин. Не посмел он почему-то сказать старику, что дела наши на фронте до крайности неважны, что противник теснит нас со страшной силой. Хотя об этом уже сообщалось по радио и в газетах писалось со всей почти что откровенностью.
Не хотел почему-то Барыкин прямо подтверждать эти скорбные сведения и неожиданно, даже для самого себя неожиданно, сказал:
— Да ведь, видишь ли, отец, больно коротко и крепко он нас взял спервоначалу. Пушек у него больше, что ли. И опять же танки. И эти... самолеты.
— А где же наши-то самолеты и наши танки? — гневно и требовательно спросил старик, будто Барыкин отвечает перед ним за всю войну, за весь ход военных действий и за несчастья, выпавшие на нашу долю. — Где же наши-то пушки?
И Барыкин, опять же неожиданно для себя, вдруг почувствовал перед стариком свою ответственность. Он почувствовал вдруг, что на нем, Барыкине, казенная шинель с лычками, с пуговицами и пилотка, правда, не пригодная уже для зимнего сезона, ее давно бы надо заменить шапкой. Но все равно он находится сейчас в военном обмундировании и должен разговаривать с гражданским стариком как военный, поскольку он так строго его спрашивает.
— Видишь ли, — опять сказал Барыкин, будто оправдываясь, — мы его сейчас, немца, вроде как заманываем в глубину, потому что он напал на нас почти что врасплох. А потом уж есть такой замысел шарахнуть его как следует...
— Ну, до какой же поры мы его будем заманывать? — возмутился старик. Он, считай, уже под самую Москву подступил...
— Ничего, ничего, отец, будет время — мы шарахнем его! — бодро заверил старика Барыкин. И опять удивился собственной бодрости. И зачем-то еще приврал, что есть уже особый, секретный приказ от самого главного шарахнуть немца под самой Москвой, шарахнуть так, чтоб от него только шкурка осталась чертям на шапку. — Вот такие дела, отец. А сам я лично нахожусь в отлучке по особому распоряжению. Завтра должен явиться в штаб. И сейчас гляжу, где бы мне тут временно переночевать до утра, дабы я мог явиться в штаб в полной воинской сохранности и в хорошем виде...
Старик пригласил его к себе.
Старик нарезал ему небольшими ломтями кирпичик черного хлеба, налил чаю, но сам есть хлеб не стал, а только прихлебывал чай и глядел, как жадно ест этот проголодавшийся боец. И по глазам стариковским было видно, что хлеба он и сам сейчас поел бы с величайшим наслаждением, но хлеба мало и боец-то едва ли поест досыта.
Во время чаепития пришла немолодая женщина, должно быть, дочь старика. Она вежливо, но не очень любезно поздоровалась с бойцом и сразу стала искать что-то в соседнем закутке. Потом позвала туда старика. И Барыкин слышал, как она спросила строго:
— Где тут, папаша, хлеб? Я приносила... Не могу найти. Четыреста граммов хлеба...
— Угостил я, — сказал старик. — Понимаешь, неловко было, я угостил. Вон докушивает он его.
— Да вы что же думаете-то, папаша? — почти вскрикнула дочь. — Ведь Нюшка еще должна прийти. И дети еще не кормлены. Вы не маленький все-таки...
Барыкин потянул было остаток хлеба в рот и задержал руку на полпути, услышав эти слова.
— Не реви, — сказал старик дочери. — Это боец. Он с самого фронта. Мы обязаны. Он весь трясется, хочет есть...
— И я трясусь! — почти заплакала дочь. — У меня с утра ни росинки во рту. И Нюшка. Она кровь пошла сдавать. А детям я чего скажу?
— Не реви, — опять попросил старик. — Человек с фронта, не жравши. И я сам ни крошечки не съел...
Барыкину хотелось убежать из этого дома, хотелось сгинуть, провалиться сквозь пол. Но из закутка вышел старик и сказал:
— Да ты кушай, пей, не стесняйся. Это для нас большая честь, что к нам защитник наш зашел. У меня два сына на войне и зять. Разве я не понимаю...
И тотчас в доме появилась худенькая девушка лет шестнадцати в серой латаной телогрейке. Барыкин без объяснения понял, что это и есть Нюшка. Поздоровавшись с бойцом, она прошла в закуток и сразу же стала громко плакать там.
Барыкину подумалось, что она плачет, узнав о том, что он съел хлеб. Но она плакала, должно быть, о другом и сквозь плач все время повторяла:

— Уйду на фронт! Уйду на фронт! Вот завтра же уйду...
— Да полно, будет реветь-то, не корова! — прикрикнул на нее старик. Не взяли — значит, завтра возьмут...
— Не возьмут, — откликнулась из закутка девушка. — Прямо сказали: «Не приходи, не нужно».
— Ну, это уж глупость! — возмутился старик. — Как это не нужно? Человек сдает свою кровь, значит, должны уважить. Это ж мы не для своего удовольствия, а для фронта...
— Не нужно, говорят, — повторила девушка. — Считают, что я больно худенькая. У Ксеньки Дерягиной взяли, а у меня нет. И еще доктор смеется, говорит: «Тебе самой, в твой организм, надо бы добавить крови...»
— Ну ладно, погоди, — попытался успокоить девушку старик. — Подожди, подрасти...
— А я не хочу ждать! — еще сильнее заплакала девушка. — Вот завтра возьму и уйду на фронт...
«Она — на фронт, а я — с фронта», — уныло подумал Барыкин и осторожно отодвинул кусочек хлеба, как бы оберегая себя от соблазна.
Этот недоеденный кусочек хлеба старшая дочь старика вскоре разделила на три дольки. Две из них достались мальчику и девочке, вернувшимся с улицы. А третью дольку получила Нюшка, все еще плакавшая в закутке на сундуке. И слышно было, как сундук поскрипывает под ней.
Дети, стеснившись в углу, не торопясь ели хлеб и молча, не мигая, смотрели на бойца, сидевшего за столом.
Будто старик нарочно выставил тут для показа бойца, сбежавшего с фронта.
Утром, еще до света, Барыкин, переночевавший на полу, хотел уйти. Но старшая дочь старика неожиданно задержала его, попросив подождать до завтрака. Через часок откроют булочную, и она покормит его. Пусть он не стесняется. У них в семействе у всех есть хлебные карточки, и они получают хлеб. Правда, вчера им не хватило хлеба, но вообще-то обижаться не на кого, — война. И они очень рады, что к ним зашел боец.
Барыкин, однако, не стал ждать утра. Ушел.
Он еще с полдня побродил по Москве, полный тяжелых раздумий и прямо-таки смертной тоски, какой, наверное, не испытать больше во всю жизнь...
— «Чурка с глазами», сказал ты про меня тогда, на шоссейке, — напомнил Барыкин сержанту Балахонову. — Может, я действительно как чурка тогда был. Все русские как русские, а я — как чурка. Подумал я, подумал и пошел обратно на фронт. Ну куда ж было деваться-то мне?
Вот тут Барыкин и принял, как говорят старухи, всю казнь господню. Шел он на фронт, а его не пускали. Говорил в сердцах постовому на шоссе:
— Ведь я не на свадьбу иду, на войну. Чего ты меня задерживаешь?
А постовой говорит:
— Мы на войну тоже не всех пускаем. Проверить тебя надо, что ты есть за человек и откуда...
Приблудился все-таки Барыкин к одной части, показал документы, объяснил, что, мол, так и так, из окружения, мол, с трудом вышел. Время было горячее, приняли его. Да так и остался тут.
Балахонов долго слушал его, потом признался:
— А я, знаешь, тоже тогда затосковал. «Почему, — думал я, — на него пулю пожалел? Казнить надо таких людей, которые с испугу могут все на свете продать». А ты, однако, вон, гляди, какой! Действуешь. Сердце просто радуется. Ведь ты кровью своей, как я понимаю, смываешь с себя пятно... Звать-то тебя как?
— Антон Иваныч.
— Ну, действуй, Антон Иваныч, на счастье, — сказал, протянув ему руку, сержант Афанасий Балахонов. — Желаю быть с тобой знакомый...
И Барыкин заметно повеселел от этих слов.
Он, оказывается, не от природы угрюмый и тихий. Он от смертной тоски своей, от пятна на совести стал угрюмым.
А на самом-то деле он веселый, Антон Барыкин.

Западный фронт, апрель 1942 г.

Дом господина Эшке в городе Веневе

Большой бревенчатый дом стоял в глубине двора, в переулке, укрытом ветвистыми тополями, и не всякий прохожий заметил бы его, особенно в сумерки, особенно в метель, когда мокрый снег залепляет все на свете, и слепит глаза, и сбивает с пути.

Но обер-лейтенант Фердинанд Эшке, пропустив впереди себя громыхающий длинный обоз, остановился около этого дома и по-хозяйски уверенно повернул кольцо калитки.

Взъерошенный старый пес, оскорбление залаяв, рванулся ему навстречу.

Обер-лейтенант расстегнул было кобуру, но тут же заметил, что пес на цепи, и спокойно пошел дальше, оставляя в пушистом снегу глубокий след тяжелых, кованых сапог.

Похоже было, что в доме никто не живет.

Высокое крыльцо было завалено снегом, ставни закрыты, а маленькое окошечко в дубовой двери затянуто морозным инеем.

Обер-лейтенант все-таки постучал. Он постучал раз и два, потом гневливо ударил сапогом в дверь и наконец услышал мягкие шаги за дверью.

— Вам кого? — тихо, без удивления, спросил старик, осторожно высунувшись в чуть приоткрытую дверь.

— Здравствуйте, — вежливо и настойчиво сказал обер-лейтенант и так же вежливо и настойчиво, отодвинув старика, вошел в переднюю, в полутьму и тепло чужого жилища.

Больше спрашивать было не о чем.

В город вошли немцы, и старик, стоявший у входа в столовую, приготовился ко всему. Он не удивился бы, если б немецкий офицер выстрелил в него.

Но коротконогий, толстолицый немец улыбался и пристально и молчаливо, как оценщик, рассматривал мебель, стены и самого старика, обутого в мягкие войлочные туфли.

В столовой по-прежнему стоял квадратный старинный стол, за которым недавно еще собиралась большая семья: два сына, три дочери, зять и племянник — агроном, приезжавший из деревни погостить к дяде в город Венев.

А теперь все разъехались. Оба сына и дочка-фельдшерица уехали на войну в первые же дни, зятя недавно ранили, две дочери поехали к нему в госпиталь, да там и остались санитарками, а где племянник — этого никто не знает. Говорили, будто ушел он к партизанам. Может быть, и в самом деле ушел. Многие ушли.

Остались только старик со старухой.

И вот сейчас чужой человек шагает по их дому, по теплым комнатам, где они прожили почти сорок лет.

Дом этот сколочен собственными руками, вот этими, все еще крепкими руками потомственного плотника.

Взрослые дети помогали утеплять этот дом, благоустраивать его. Посадили фруктовый садик во дворе, каждую весну обмазывали стволы деревьев известью, каждую осень обматывали их тряпьем и рогожей, чтобы мороз не потревожил, чтобы заяц не обгрыз.

Постепенно завели корову, козу, гусей и посадили свирепого пса Баритона сторожить имущество.

Все было свое, нажитое, заработанное.

А сейчас — странное дело! — ничего не жалко старику Бахмачеву, и только противно, что чужеземец трогает руками его, старика, добро и на толстом лице чужеземца шевелится улыбка, ненужная для грабителя и очень обидная для хозяина.

Немец вертит в руках крошечные валенки покойного внука.

Дед отворачивается. Противно ему до боли смотреть в этот момент на немца.

И зачем тут оказались валенки внука?

Потом немец снимает с вешалки шубу самого старика. Шуба немцу, должно быть, нравится. Он щелкает языком. Примеряет ее. Она великовата ему.

Но он все-таки, видимо, думает взять ее и говорит старику на ломаном русско-польско-украинском языке, что если сюда, когда он уйдет, явятся немецкие солдаты, следует им сказать, что эта шуба принадлежит ему, обер-лейтенанту Фердинанду Эшке.
И тут он замечает велосипед. Хороший велосипед. Племянник обычно ездил на нем из деревни в Венев. Немец говорит:
— Этот машин имеет господин Эшке.
— Это же племянника велосипед, — объясняет старик. — Шуба моя. Я тебе ничего не говорю, бери. А это племянника вещь. Понятно?
— Молшать! — вдруг закричал немец. — Я сказаль: этот машин, этот аппаратен, есть собственность господин Эшке.
— Ну, пес с тобой! — сказал старик. — Ешка так Ешка.
Он терпеливо молчал все время, пока немец осматривал и ощупывал вещи и приказывал говорить о каждой, что она принадлежит господину Эшке.
Наконец немец заинтересовался небольшими портретами на стене.
На один портрет он долго смотрел, потом спросил:
— Фатер? Ойтец?
— Это Гегель, — сказал старик.
— Кто?
— Гегель.
— Что есть Гегель?
— Ну, это я тебе в точности не могу объяснить, — сказал старик. — Это дочка моя тут его повесила. Ученый он у вас какой-то. Гегель. Немецкий ученый. Дочка моя в институте его изучала. И вот повесила тут. Из уважения.
— Коммунист? — сердито спросил Эшке.
— А кто его знает, — сказал старик.
Обер-лейтенант заорал, замахнулся на старика, но не ударил, а только толкнул и приказал сейчас же снять портрет.
Нерасторопность старика раздражала обер-лейтенанта.
В конце концов он сам сорвал со стены портрет и растоптал его.
— А может, и не коммунист, — сказал старик. — Темный человек что угодно может растоптать.
Немец вошел в спальню.
На большой, двуспальной кровати лежала старуха, укрытая с головой теплым стеганым одеялом. Немец сдернул с нее одеяло. Он чего-то испугался вдруг и спросил тревожно:
— Чей женщина?
— Жена моя, — сказал старик. — Хворает. Вот я при ней и нахожусь.
Немец со всех сторон осмотрел кровать, осмотрел даже все под кроватью, снова потрогал одеяло и почти задумчиво сказал:
— Эта кровать имеет собственность господин Фердинанд Эшке. — И вдруг закричал: — Убирайт женщин! Нельзя здесь женщин!
— Хворает же она, я тебе объясняю, — сказал старик. — Куда же я ее, больную, дену? Объясняю тебе русским языком — хворает...
Но немец продолжал кричать:
— Убирайт женщин! Убирайт!
Видимо, он сам боялся захворать, что ли. Иначе старик Бахмачев никак не мог объяснить его поведение.
Немец вышел из спальни, внимательно оглядывая стены.
Дверь в передней осталась незапертой. Он толкнул ее ногой и вышел во двор. Направился в пристрой, где разместились в темном соседстве коза и корова, гуси и куры. Осмотрел все тщательно, ласково похлопал корову по бокам рукой в перчатке, козе состроил рожу и передразнил загоготавших гусей.
Потом долго со двора осматривал дом и после осмотра сказал старику, что всем, кто спросит, надо говорить, что этот дом господина Эшке, что в этом доме живет господин обер-лейтенант Фердинанд Эшке.
Все ему, должно быть, понравилось — и корова, и коза, и куры, и гуси, и пес Баритон.

Обер-лейтенант был очень доволен, что оказался предусмотрительным и в первую минуту не застрелил злую собаку. Именно злая собака должна охранять его, господина Эшке, дом. Боялся только, видимо, Эшке, как бы его соратники не захватили это облюбованное им жилище.
Ведь не напрасно, опередив всех квартирьеров, он явился сюда. Все вещи должны принадлежать только ему одному. А тут много хороших вещей. Наконец-то Луиза будет довольна...
Она все упрекает его в недостаточной практичности, пишет, что их сосед, Лемке-младший, прислал жене из России три роскошные шубы и несколько шерстяных отрезов. А он, Фердинанд, до сих пор ничего хорошего не прислал, если, конечно, не считать продуктов и обуви. Кстати, обувь оказалась непрочной. Вилли в первую же неделю разбил русские башмаки. Может быть, это потому, что он теперь увлекается футболом. А маленькая Луиза просит отца прислать какие-нибудь кружева. Она становится в последнее время ужасной модницей.
При воспоминании о детях у обер-лейтенанта щемительно сжалось сердце. Да, да, надо думать о детях. Надо заботиться о их будущем, о их благополучии.
Маленькая мелочная лавка на окраине Мюнхена должна после войны превратиться в магазин, в отличный магазин с красивой вывеской: «Фердинанд К.Эшке. Галантерея и прочие товары». Для того чтобы осуществилась эта мечта, надо действовать решительно. Луиза, как всегда, права. Надо действовать смело и решительно, не терять времени.
Осмотрев еще раз дом старика, Фердинанд Эшке сказал, что он сейчас уйдет, но через час — через два придет снова. Поэтому старик должен все сохранить до его прихода в полном порядке.
За это господин Эшке обещает ему не убивать его, старика.
Но если старик ослушается, господин обер-лейтенант вынет вот эту штуку...
Обер-лейтенант похлопал по кобуре и, улыбнувшись, сказал:
— Пиф-паф!
— Ужас как ты меня напугал! — сказал старик. — Ну, стреляй!
— Я тебя знайт, старик! — закричал вдруг с визгом господин Эшке. — Я тебя знайт! Я знайт, где твой дети!..
Об этом, конечно, не мог знать господин Эшке, но он уже привык так пугать и на дорогах Польши, и на дорогах Франции, и на дорогах России. Он привык пугать.
Через час он явился снова в сопровождении рослого, медлительного солдата.
Унылый этот детина всю ночь запаковывал посылки, запихивая в мешки добро старика Бахмачева.
А сам обер-лейтенант сидел около солдата с блокнотом и карандашом и тщательно записывал каждую вещь, боясь, может быть, как бы при упаковке солдат не стащил чего-нибудь.
Старик Бахмачев при этом не присутствовал. Он сидел в темной комнате, около больной жены, перенесенной сюда из спальни, и все говорил ей одно и то же, успокаивал ее:
— Ничего, Клавдя, ничего! Все равно Москву они не возьмут. Никогда не возьмут! Не могут...
И похоже было, что имущество этих стариков, все их достояние, нажитое за всю жизнь, находится не здесь, в этом домике, а где-то в Москве. Не попадет туда немец. Никогда не попадет.
— Все считают, — сказала старуха, прислушиваясь к чужому говору в соседней комнате. — Наше считают. Наше добро, Федя.
— Пусть считают, — сказал старик. — Пусть считают. Ихнее такое дело сейчас — считать...
Он вышел на кухню, чтобы принести жене попить, и, проходя через столовую, увидел много тюков.
Немцы прервали на минутку свое занятие, и обер-лейтенант, привстав со стула, стал объяснять старику, что все это делается в его интересах, в его, старика, интересах — и тюки запаковываются в его интересах, и в его же интересах дом становится собственностью господина Эшке.
Могло бы быть хуже, если б этим занялись немецкие солдаты. Было б много хуже...
— Да бери ты, бери! — брезгливо успокоил его старик. — Раз ваша взяла, бери. Ну, а когда наша возьмет, тоже не жалуйся.

— Молшать! — закричал немец, не поняв, но догадавшись, что старик сказал что-то очень обидное для германской армии. — Я тебя знайт, старик. Я понимайт твой старый, глупый голова...
После этого разговора немец распорядился, чтобы старик больше никогда не появлялся перед его, господина Эшке, глазами. Пусть, пока больна старуха, он сидит с ней в этой маленькой комнатке. А когда старуха поправится, они должны уйти отсюда навсегда. Навсегда уйти. Иначе господин Эшке объявит их партизанами, и тогда их вздернут где-нибудь на площади, в назидание другим. Вздернут на фонарь.
Больше старик Бахмачев и в самом деле ни разу не появлялся перед глазами обер-лейтенанта. Он выходил из темной комнаты только в часы, когда обер-лейтенант отсутствовал.
Все в доме делалось без ведома старика, будто его вовсе тут и не было никогда.
Унылый Карл, похожий на гигантскую, плохо разрисованную куклу, каждый день, по приказанию обер-лейтенанта, входил в гусятник и отрубал голову очередному гусю.
Увидев старика Бахмачева во дворе, Карл делал любезное лицо, прижимал руку к сердцу и что-то такое старался объяснить старику на своем языке. Может, он хотел успокоить его или извиниться перед ним. Но все это было безразлично старику.
Очередного гуся Карл долго жарил на кухне, распространяя удушливый чад на всю квартиру, и ждал обер-лейтенанта к обеду. Карл же доил корову и кипятил воду для господина Эшке.
Баня в городе не работала. И господин Эшке, должно быть, никак не мог отмыться после многодневного марша. Он мылся каждый день, усаживаясь в детскую цинковую ванну, но какой-то нервный зуд по-прежнему терзал его. А может быть, его терзали вши...
Наконец Карлу посчастливилось найти где-то большое деревянное корыто. Он наготовил кипятку, и обер-лейтенант впервые смог погрузить все свое исчесанное тело в горячую, благодатную воду.
Он мылся долго, чмокал, вздыхал, отфыркивался, потом вытерся насухо мохнатой хозяйской простыней, натянул теплые стариковы подштанники, надел шелковую сорочку зятя, выпил несколько рюмок водки, плотно закусил и лег спать.
На широкой, двуспальной кровати хозяев уверенный господин Эшке почему-то всегда чувствовал себя неуверенно.
Перед сном он обязательно осматривал всю кровать, заглядывал даже под матрац и, убедившись, что ничего подозрительного вокруг нет, все-таки звал Карла.
— Карл, твой начальник поручает тебе оберегать его покой...
Карл понимающе наклонял голову и через минуту уходил спать.
Все это повторялось в точности каждый вечер.
Обер-лейтенант, вообще говоря, не страдал бессонницей, но в этот вечер, после горячей ванны, он долго не мог уснуть.
Он ворочался, сопел, вздыхал.
Поскорее бы окончилась эта дьявольская война, и можно было бы начать устраиваться по-настоящему.
Надо только поскорее усмирить этих упрямых русских, и тогда жизнь пойдет нормально.
Господин Эшке мог бы даже не возвращаться в Мюнхен. Он мог бы остаться в России. И он не стал бы искать себе другого места. Он мог бы поселиться в Веневе, вот в этом самом доме. Разве это плохой дом? Он перевез бы сюда жену Луизу, и дочь Луизу, и сыновей — Карла и Вилли.
Жена давно мечтает о тихой жизни. Чем здесь не тихая жизнь? Ведь не вечно будут греметь пушки? Партизаны? Но это только во время войны. А потом не будет никаких партизан. Будут работники.
Может быть, после войны господин Эшке не будет слишком суров к этим бывшим хозяевам его, господина Эшке, дома. Очень возможно, что он оставит их у себя в работниках, и они будут всю жизнь благодарны ему за то, что он не убил их и не выгнал, а дал возможность жить. Да, да, именно в Веневе мог бы остаться господин Эшке.
Еще вчера майор Штрайх сказал, что ему, Эшке, возможно, придется остаться в Веневе на длительный срок, пока будут развиваться крупные операции. А потом, вероятно, и после этих операций, он сможет остаться здесь, закрепить за собой это хозяйство и расширить его за счет других хозяйств. Вот так и обогащаются умные, предприимчивые люди.
Где-то совсем близко загремели танки.

Обер-лейтенант прислушался и улыбнулся.
Это гремели немецкие танки. Они расположились как раз позади дома господина Эшке. Они охраняют его благополучие.
Он организует здесь большую молочную ферму и будет вывозить молоко в Москву.
Конечно, он не обязан здесь жить безвыездно. Он сможет бывать и в Мюнхене. Можно даже не приглашать сюда Луизу с детьми, если они не хотят. Можно здесь жить одному с какой-нибудь русской... с какой-нибудь русской красоткой. И изредка навещать Луизу.
Луиза не станет протестовать. Она разумная женщина. Она поймет интересы семьи...
На этом господин Эшке уснул.
Он спал, утонувши в хозяйских перинах. Ему было душно. Он разметался во сне.
Но вдруг в этот счастливый сон ворвался майор Штрайх.
Всклокоченный, грозный, он начал выгонять обер-лейтенанта из его дома.
Обер-лейтенант был удивлен и видом майора, и его поведением, и больше всего тем, что майор почему-то ругал его не по-немецки, а по-русски.
— Выходи! — кричал майор. — Выходи! Или я тебя...
Майор кричал так оглушительно, что обер-лейтенант даже проснулся от этого крика и, к несказанному своему удивлению, увидел, что перед ним, господином Эшке, стоит не майор, а старик Бахмачев.
— Выходи! — кричал старик Бахмачев. В руках у него был топор.
Эшке стал искать под подушкой револьвер, но его не оказалось, и одежды тоже не было около него.
Голый господин Эшке выпростал ноги из-под одеяла и крикнул три раза, как ворона:
— Карл! Карл! Карл!
Но никто ему не ответил.
А старик Бахмачев уже спокойно спрашивал:
— Ну, выходишь, что ли, рыжий дьявол? Ты смотри, как угрелся на чужой постели...
И спокойствие это больше топора напугало господина Эшке. Он понял, что произошло что-то невероятное и, может быть, непоправимое.
Он накинул на себя одеяло и молча пошел из спальни, но старик сдернул с него одеяло.
Не сказав ни слова, голый обер-лейтенант поднял с пола дырявый коврик и, прикрывшись им, пошел на кухню. Он надеялся, может быть, найти своего верного Карла.
Карла, однако, нигде не было.
А старик Бахмачев стоял, вооруженный плотницким топором, и по глазам его было видно, что достаточно обер-лейтенанту сделать одно подозрительное движение, как старик немедленно приведет в действие этот испытанный инструмент.
— Выходи! — еще раз повторил старик.
И если господин Эшке правильно понял, старик приглашал его, голого, выйти прямо на улицу, на снег. Но ведь он недавно принял горячую ванну, ведь он может простудиться!
— Выходи, последний раз прошу, — сказал старик. — Оглох, что ли?
И господин Эшке наконец повиновался.
Он вышел на заснеженное крыльцо.
Падал хлопьями мокрый снег.
Почти у самого крыльца прогремел выстрел. Господин Эшке попятился к двери, но старик толкнул его.
И, ужасаясь своему будущему, обер-лейтенант поставил голую ногу в глубокий снег.
Позади дома, где стояли немецкие танки, было видно багровое зарево, а вдоль улицы с криком и цоканьем скакали всадники.
Обер-лейтенант вгляделся в них и, повернувшись к старику, как бы объясняя ему и жалуясь, закричал:
— Казакен! Казакен!
— А я что ж, не вижу, что ли? — сказал старик. — Я сам вижу, что казаки. Я же тебя для этого и побеспокоил, чтобы казакам сдать. А как же!
— Зима. Мой одежда, мой одежда!
Но старик уже держал в руках его одежду, его офицерский мундир. Он бросил их ему.
— Найн, — сказал немец. — Я хотель ваша одежда. Я есть ваш арбайтер, работник, слуга...

— Ну, это ты лишнее говоришь, — сказал старик. — Мне работники пока не требуются. Я еще, слава богу, сам работник, дай бог всякому. А ты давай выходи со двора. Нагляделся я на вас на всю жизнь. Будет. Пускай теперча с тобой казаки займутся...
И так как собеседников подходящих не было, старик посмотрел на пса Баритона, с рычаньем выползавшего в этот момент из конуры, и сказал ему:
— Чего захотели, а?

Москва, декабрь 1941 г.

Егор или Василий?

В прошлом месяце пулеметчик Егор Мурашов наконец получил долгожданное письмо из дома, из Сибири.
Мать писала ему, что в доме у них все хорошо, все благополучно и, кроме того, Аниса, жена старшего брата Василия, родила мальчика.
Мальчик справный, веселый и походит на дедушку Ивана Григорьевича. Хотели его поначалу назвать Иваном.
Но пока еще никак не назвали, потому что неизвестно, где находится в настоящее время его законный родитель, гвардии сержант Василий Мурашов.
Без его согласия как-то неудобно называть дитя. Вдруг он потом скажет, что без него тут самоуправничали, когда он был на войне! Написали ему уже три письма, но ответа никакого не получили. Где он, Василий, что с ним?
Дома, конечно, понимают, что война не сахар, всякое могло случиться. Но лучше отписать как следует, что случилось, — будет легче.
Мать просила Егора Мурашова как можно скорее выяснить, где его брат, и немедленно сообщить о нем в Сибирь, в город Усолье.
«Посылаю тебе, Егорушка, — писала мать в конце письма, — мое родительское благословение. Пусть хранит тебя в боях наш сибирский святой Иннокентий, в которого ты, конечно, не веришь, по глупости твоих молодых лет, но он все равно тебя должен хранить, раз я ему молюсь каждодневно. И брата твоего Василия тоже должен. И он, наверно, живой и здоровый и в полном порядке, но отписать вовремя не успевает, потому что мы тоже не дураки и понимаем, что письма писать там, наверное, не очень хорошая обстановка.
Привет тебе и низкий поклон ото всех.
Мама твоя Катерина Михайловна Мурашова».
Пулеметчик Егор Мурашов показал это письмо своему начальству, и начальство нашло уважительной причину, по которой он просил разрешения отлучиться хотя бы часа на два, поискать брата в соседней части, где он встречался с ним недели три назад.
Василий тогда волновался насчет жены своей Анисьи. И теперь ему, конечно, радостно будет узнать, что жена благополучно родила, и именно мальчика, как он хотел.
Пулеметчик Мурашов тоже не думал, что с братом могло случиться какое-нибудь несчастье. Он шел в соседнюю часть по весенней распутице, по жидкому, израненному артиллерией лесу, уверенный, что встретит брата.
Но в части сказали, что сержант Мурашов сейчас находится в разведке. А писарь, которого пулеметчик угостил закурить, добавил еще по секрету, что разведка чего-то затянулась и никто не знает, когда теперь сержант вернется.
— Но ты заходи сюда в другой раз, — сказал писарь. — Я твоего братенника знаю. Он хороший парень. И если будут какие сведения, я тебе сообщу.
Пулеметчик Мурашов вернулся в свою часть встревоженный. А вдруг действительно Васька пропал? Что тогда написать домой?

В тревоге он прожил весь день и ночью в плохом настроении пошел на свой пост, на передний край, где улегся в еще по-весеннему голом кустарнике и, вглядываясь в сторожкую ночную темноту, прислушиваясь к тишине, продолжал думать о брате.
Потом он стал думать о племяннике, о том, как племянник вырастет, станет рослым мужиком и будет расспрашивать своего старенького дядю о подробностях гибели его, племянника, отца.
Ночь была мглистая. Накрапывал мелкий дождь.
Егор Мурашов притаился во тьме около своего пулемета, выдвинутого далеко вперед, и ждал всяких неожиданностей. Ждал и думал.
Впереди, где-то совсем близко, были немцы, но их не слышно и не видно.
Между немцами и русскими тишина, и тьма, и непролазная весенняя грязь.
И где-то в тылу у врага по этой грязи, по лужам, по лесному перегною, может, ползет сейчас на брюхе в ночи разведчик, гвардии сержант Василий Мурашов.
Всю зиму он ползал по тылам врага, по снегу. И сейчас ползет. А может, уже...
Дождь то усиливался, то стихал, то снова усиливался.
Егор Мурашов укутывался в плащ-палатку и не мигая смотрел во тьму, где ничего разглядеть нельзя было, кроме трех кустов осины, одиноко стоявших среди широкого поля.
На этом поле в прошлом году в это время сеяли хлеб, и в этом году, чуть позднее, тоже будут сеять, потому что немцы не удержатся тут долго, как не удержались на том месте, где сидит сейчас пулеметчик Мурашов.
Все время линия фронта продвигается вперед. Иногда ночью продвигается, иногда — на рассвете, иногда — днем. И сегодня, может быть скоро, опять начнется наша атака с левого фланга, или с правого, или с центра.
Война продолжается и в метель, и в мороз, и в дождь. И линия фронта все время извивается, как змея.
Немцы сейчас сидят в окопах, ожидая, может быть, что русские вот-вот откроют внезапный огонь. А может, немцы сейчас сами собираются прощупывать русских.
Обманчива тишина на переднем крае, особенно весной, особенно ночью, особенно когда идет дождь.
Под плащ-палаткой тепло и уютно пулеметчику Мурашову. Он натянул плащ-палатку и на голову, чтобы укрыться от дождя.
Но через мгновение встрепенулся, высвободил ухо — сначала одно, потом другое.
Нет, нельзя с головой закрываться, никак нельзя! А вдруг чего случится... Надо слушать.
И пулеметчик снова вслушивается в тишину.
Позади него чуть слышно чавкает грязь. Пулеметчик Мурашов не шевелится, замер. Грязь чавкает совсем близко.
Пулеметчик потрогал гранату. Ох, как нагрелась она у него на животе! Прямо горячая!
Грязь чавкает позади пулеметчика. Позади наши, но немец тоже может прийти с тыла.
Вовремя Егор Мурашов освободил уши. Он напряженно вглядывается в темноту.
И наконец успокаивается. По приметам, только ему понятным, он различает в кромешной тьме политрука. Политрук молча подползает к нему.
— Ну как дела, Мурашов? — шепотом спрашивает политрук.
— Ничего, — шепотом же отвечает Мурашов.
Политрук ложится около него на примятые еловые ветки, и оба молчат. И оба молча вглядываются в темноту.
Пулеметчик хотел бы поговорить сейчас с политруком, рассказать ему про брата, и про племянника, и про Сибирь.
Но говорить нельзя. Ничем нельзя выдавать своего присутствия в этом месте.
Можно только лежать, молчать и думать. И пулеметчик снова думает о своих семейных делах.
И так проходят минуты и часы. И проходит ночь.
А перед рассветом впереди вдруг зачавкала и зашевелилась грязь. Пулеметчик чуть приподнялся, весь настороженный, напряженный, будто готовясь к прыжку.
— Фрицы! Фрицы, товарищ политрук! — прошептал он.
— Вижу, — чуть слышно ответил политрук и тоже насторожился. В темноте уже можно было различить три или четыре фигуры. Одна из них прижалась к земле, другие, переваливаясь на ходу, продвигались вперед.

Вот одна фигура приподняла голову, вглядывается, вслушивается и опять ползет. Она уже близко.
Можно, пожалуй, открывать огонь из пулемета.
Но Егор Мурашов медлит. Политрук тихонько толкает его в плечо. Мурашов, должно быть, не слышит.
Политрук снова толкает его. Первая фигура подползает совсем близко. Между нею и пулеметчиком метров, наверное, двадцать, не больше.
— Ну, стреляй же, Мурашов! — Политрук в третий раз толкает его в плечо.
Мурашов наконец поворачивает голову к политруку. И они понимают друг друга без слов. Мурашову хочется взять немцев живьем. Он без слов просит политрука подвинуться к пулемету. А он, Мурашов, попробует подойти к немцам с тыла. И, зажав в руке гранату, он сию же минуту по-кошачьи неслышно, пользуясь прикрытием из кустов, уползает в сторону.
А еще через минуту политрук слышит его голос впереди, в темноте.
— Сдавайтесь, гады, — негромко говорит пулеметчик и добавляет чуть громче еще два-три слова, которые ни по радио не передают, ни в печати не публикуют.
В темноте молчание. Потом политрук видит, как одна фигура по-медвежьи тяжело выпрямляется, встает на колени.
— Бросай оружие! — говорит пулеметчик. — Бросай...
И опять эти самые слова.
— Наши, что ли? — медленно и удивленно спрашивает фигура.
— Руки вверх! — уже кричит пулеметчик Мурашов.
— Не шуми, — спокойно просит фигура. — Я же спрашиваю: наши, что ли?
— Бросай оружие, тебе говорят! — настаивает пулеметчик и чуть спокойнее спрашивает: — Вы кто такие есть?
— Да это ты, Егорша, что ли, глухарь собачий? Окосел? — раздраженно спрашивает фигура.
— Василий?
И в этом слове, в голосе пулеметчика, сразу совмещаются и радость, и разочарование, и конфуз.
— Это как же я тебя сразу-то не признал, Василий Семеныч? За фрица принял...
Пулеметчик ползет к брату. Между ними громко чавкает грязь.
— Погоди, — говорит Василий и снова уползает назад, в совсем густую, непроглядную темноту.
Пулеметчик возвращается к политруку. Политрук молчит. Потом чуть слышно смеется в темноте. Пулеметчик говорит задумчиво:
— Бывает какая глупость... а? Брата родного чуть не прикончил. И откуда он взялся, шайтан его знает!
Минуты через три к ним приближаются ползком фигур десять — пятнадцать или больше. Всех не различить в темноте.
Это сержант Мурашов выводит на нашу сторону свою разведывательную группу.
Молча они продвигаются гуськом мимо сторожевого охранения и уползают в наш тыл.
А Егор Мурашов по-прежнему лежит у пулемета.
Политрук пробыл около него еще минут десять и тоже уполз.
Егор Мурашов лежит один и думает о странностях судьбы.
Утром гвардии сержант Василий Мурашов, уже доложивший в штабе о результатах разведки, явился, чисто выбритый и чуть исхудавший, в землянку к брату-пулеметчику, разбудил его и спросил, что слышно из дома.
О ночном происшествии ни старший, ни младший брат не сказали ни слова, будто ночью ничего особенного не произошло.
Сидя на бревнышке, Егор Мурашов рассказывал не торопясь, по порядку, все, что пишет мать, и потом сообщил о рождении племянника.
— Понимаешь, ребенка-то они еще никак не назвали. Все тебя разыскивали.
— А как же он без имени живет? Надо бы его все-таки назвать. — И Василий задумался.
— А кроме того, — продолжал Егор, — мамаша пишет, что они желают, чтоб мальчишку назвали как-нибудь получше. В том смысле, что, мол, обычай есть называть по какому-нибудь хорошему случаю. Например, она пишет так: «Может, у вас в части есть какой-нибудь герой, так вот, — она пишет, хорошо бы мальчика, раз он первый, назвать, как какого-нибудь героя...»
Василий продолжал думать. Потом сказал:

— Ну что ж, давай назовем Егором. Пускай у нас в семействе будет два Егора. И оба Мурашовы.
— Почему Егором?
— Потому, — сказал Василий почти сердито и помолчал, сколько требовало раздумье. — Потому, что если б трус на твоем месте сегодня ночью сидел, то меня бы, может, больше не было. Он с испугу обязательно бы в меня или гранату кинул, или из пулемета шарахнул.
— Это правильно, — согласился Егор и, тоже помолчав некоторое время, спросил: — А как же тебя нелегкая на меня-то занесла, прямо на пулемет?
— Заблудились мы! — вздохнул Василий. — Ведь тут, где теперь наши, немцы на прошлой неделе помещались. Ну, мы идем из разведки. Прошли одно место, потом другое, теперь ищем третье, где бы меньше насыщенность была. Вижу я — все как будто в порядке, но кто-то в кустах шевелится. Я думаю фрицы. Ну, думаю, или так пройдем, или с боем. А лучше всего, если заберем пулеметчика. Я к нему для этого и подползал...
— Значит, Вася, и ты меня бы мог прикончить? — спросил Егор.
— Свободно, — сказал Василий. — Ничего хитрого нету.
— Отчаянный ты мужик, Василий Семеныч, — почтительно произнес Егор. И потом спросил:
— А может, назовем племянника Василием? Пускай у нас в семействе будет два Василия. По-моему, это правильно...
Василий молчал.

Западный фронт, май 1942 г.

Дуэль

Иван Торопов стоял на посту у шоссе. А вокруг бушевала весна, как бушует она все эти дни в потревоженных войной подмосковных лесах.
Но война уже отодвинулась от лесов Подмосковья, и тут, где стоял часовой, не слышно было даже артиллерийского гула.
Иван Торопов стоял у шоссе и смотрел туда, где поблескивающий под солнцем мокрый асфальт сливался с голубеющим небом. По этой дороге он шесть месяцев назад приехал сюда из Сибири, был в боях, лежал два раза в госпитале.
А сейчас все это осталось далеко позади. И позади как будто осталась война с ее грохотом, треском и внезапной, летучей смертью.
Здесь было тихо, солнечно, мирно. Часового томила тишина, от которой, таежный человек, он отвык в последние месяцы, и в мечтательной тишине ему думалось теперь, что и война, может быть, никогда не начиналась и он никогда не уезжал из Сибири.
В подмосковных лесах растут почти такие же сосны и ели, как в тайге, только, пожалуй, не так густо. Но так же пахнут они по весне. И так же дышит влажная земля. И среди кустов шевелится туман.
Белка линяет сейчас в тайге. Голодная, она ищет кедровый орех, затерявшийся где-то под мокрой хвоей, под прошлогодней травой. Вить ее жалко в такое время, да и смысла никакого нету. Шубка у нее сейчас линялая, в лохмотьях.
Иван Торопов никогда не гнался за таким товаром. Он убил в своей жизни не одну сотню белок, и все это были белки первый сорт. И еще он, наверно, много убьет их, когда кончится война и он уедет обратно в Сибирь, в деревню Оёк, что под Иркутском.
В Сибири у него два сына – четырех и двух лет. Вот они подрастут, и он будет водить их на охоту, будет учить их охотничьей хитрости и сноровке. Белку, например, надо бить в глаз, тогда неиспорченная шкурка у нее будет первый сорт. Чего? Глаз у белки не видно? Шибко маленькие у белки глаза? Это ничего не значит. Надо приглядеться, на то и охотник.
И маленькие сыновья в мечте виделись Ивану Торопову большими парнями, такими же рослыми, как он сам – их родитель. Он их видел с собой на охоте.

Над шоссе кричали вороны, и крик этот снова возвращал часового в мир реальных вещей. Он заметил, что вороны прицеливаются к какой-то куче. Из кучи торчали сапоги и руки, как сучья. Часовой знал, что это немцы, убитые еще зимой, вынуты сейчас из придорожных кюветов, из лесной чащи и собраны тут, перед тем как будут закопаны в землю. В стороне красноармейцы копают могилу. Озорной красноармеец лопатой пугает ворон.
Зимой тут шли бои, а теперь тишина и благодать, и шумят только весенние ручьи да противно каркают вороны, учуявшие мертвечину. И в воздух, смолистый, густой, ароматный, проникают сладковатые струйки трупного запаха.
А надо всем этим голубеет чистое, нежное, обогретое солнцем небо. И не хочется верить, что невдалеке отсюда еще идут кровопролитные бои. Бои идут вокруг вот этого же шоссе.
В небе кружит, распластавшись в синеве, крупный ястреб.
Часовой поднял голову, смотрит на него и думает, что ястреб сильно походит на истребитель. Наши истребители народ так и называет «ястребками».
Часовой смотрит на ястреба и не видит, как из-за леса появляется настоящий истребитель. Часовой только слышит нарастающий шум мотора и медленно поворачивает голову.
Истребитель, наверно, наш. Но зачем он стреляет?
Иван Торопов вглядывается в него острым охотничьим глазом и, наконец, явственно различает на нем фашистские знаки. Чего ему надо тут? В кого он стреляет?
Хорошо бы все-таки часовому укрыться куда-нибудь на всякий случай. Вдруг немец сослепу попадет в него, убить может. Но укрыться некуда, да и нельзя часовому уходить с поста.
Часовой смотрит в небо, заслонив глаза от солнца ладонью. А истребитель все стреляет и снижается, И часовой чувствует, как по плечу, под шинелью, потекло у него что-то теплое и густое. Истребитель стреляет в него.
Иван Торопов отступает на шаг, становится за толстый ствол сосны и вскидывает винтовку.
– Эх, мать честная, в; какое место целиться-то, не знаю! Ведь стальной он, дьявол, не пробьешь, однако, пулей-то его.
Но Иван Торопов все-таки стреляет в самолет. И под ясным небом завязывается неравная дуэль. Истребитель кружит над часовым, как те вороны, и свистят пули, вгрызаясь в асфальт, в шоссе. В ответ на множество пуль истребителя часовой может выпустить только одну, потом другую, третью, четвертую, пятую. И обойма пустая.
Иван Торопов не спеша заправляет вторую обойму. Он не чувствует теперь, как теплые струйки крови пробиваются у него под шинелью, под гимнастеркой.
«Голову бы он мне только не попортил», – тревожно думает часовой.
И снова, старательно прицеливаясь, стреляет.
Пускай бы он ниже спустился, истребитель, видно было бы хоть летчика, а то что ж так палит в божий свет, как в копейку. Не видно ничего, и патронов не наберешься.
А у немца патронов, наверно, много. Ему патроны готовит чуть ли не вся покоренная им Европа. Вот немецкий летчик и затеял, может быть из баловства, этот поединок с одиноким часовым. Конечно, из баловства, из озорства. Он уже выпустил в часового несколько очередей и не очень тревожится, должно быть, что не все пули попадут в часового. Но все-таки удивительно, что часовой там стоит, при шоссе, до сих пор. Летчик видит его за сосной. Часовой не прячется. Он просто стоит и стреляет.
А может быть, это вовсе не часовой? Может быть, это памятник, монумент? Живой человек давно уже должен бы упасть. Чудес не бывает.
Чтобы еще раз убедиться в этом, истребитель снизился до бреющего полета и в тот же момент, кувыркнувшись, врезался металлическим носом в кювет, около мертвых немцев, над которыми только что кружили вороны.
Через мгновение упал и часовой Иван Торопов.
А когда его подняли и доставили в медсанбат, оказалось, что он получил тридцать восемь пулевых ранений. Но он все еще жил.
– Попал я в него? – озабоченно спросил он.
– Попал.
– Куда? В какое место попал-то?
– В самую середку, как надо.
– Правду вы говорите?
– Правду.

– Ну, слава богу! – удовлетворенно сказал Иван Торопов и потом, напрягая все силы, медленно, с расстановкой добавил: – А я, однако, весь изболел душой. Думаю, неужели я в него не попаду? Ведь я не знаю, в какое слабое место у него целиться. Ведь я в самолеты-то ни разу, однако, не стрелял.
Он виновато улыбнулся, как бы испрашивая прощения за то, что в самолет он раньше никогда не стрелял, и с этой улыбкой умер.

Завтра

Петух не поет, а кричит на рассвете — голосисто, задорно и весело, будто радуясь, что немцы не успели сожрать его.
Всю деревню спалили, а петух остался.
Под глубоким снегом, в предутренней темноте, хлопотливо журчит ручей, пахнет прелым прошлогодним листом, землей, дегтем.
Но когда из-за леса поднимается солнце, вместе с ним возникают, как страшные видения, одинокие черные столбы печей, обугленные остовы каменных фундаментов, обрушившиеся и ставшие дыбом железные крыши.
И даже лес, поредевший, исстриженный артиллерией, напоминающий, что здесь совсем недавно ураганом прошла война.
Она сровняла с землей добротные русские колхозные избы, изранила, искромсала, обожгла эту землю.
И петух кричит из-под земли, из прикрытой обгоревшим железным листом землянки, где живет теперь его хозяйка — старуха Зотова Катерина Степановна.
Она потеряла мужа, двух сыновей, невестку и внучка, замученных немцами, и по случайности сберегла только петуха, укрываясь с ним в лесу, согревая его теплом своего старушечьего сердца.
Петух — последний живой свидетель ее былого семейного благополучия.
— И с чего он поет, окаянный? — ласково и, пожалуй, почтительно говорит она про него. — Пищи я ему никакой не даю, ведь ничего нету, а он поет и поет. Природа у него, что ли, такая крепкая, веселая?
У петуха, наверно, в самом деле природа такая. Но поет он еще и потому, что подходит весна и он чует ее приближение в темном своем подземелье, в узком логове, похожем на могилу.
Весна приходит в свои естественные сроки и на эти обожженные земли, на эти места, которые теперь мы называем Западным фронтом.
Вот здесь, на желтом немецком столбике при дороге, как будто совсем недавно еще была давно прибитая немцами табличка: «Nach Moskau» — «На Москву».
Красноармеец из наступавшей части гневно сорвал ее, бросил в снег. Потом, подумав, снова поднял ее, снова, но обратной стороной, прибил к желтому немецкому столбику и, не сильно грамотный, хмуря брови от напряжения, старательно, большими буквами написал: «На Берлин».
Наша армия пошла дальше.
Но не все немцы, ставившие эти столбики на израненной ими земле, ушли отсюда. Далеко не все. Из-под глубокого снега и сейчас еще высовываются их ноги, и руки, и заржавевшие каски.
У обочин валяются опрокинутые, разрушенные бомбой и заметенные последней предвесенней вьюгой немецкие пушки, сгоревшие танки с порыжевшим знаком свастики, изрешеченные пулями кузова автомобилей. И вдоль широкого шоссе, за кюветами, тянутся длинной шеренгой бесчисленные немецкие кресты, срубленные из наших юных, нежных березок.
Но в России еще много берез, и сосен много, и елей.
Ранним утром замореная лошаденка, которая вместе с хозяевами своими долго скрывалась от немцев в лесу, тащит из леса в деревню, в колхоз, напрягая все силы, три огромных сосновых, остро пахнущих весной бревна.
Не вытянуть бы их ей одной, если б в оглобли не вцепились женщины, дети.

Всей деревней, всем колхозом помогая коню, они тащат из леса эти три огромных бревна.
И притянут еще десять, сорок, тысячу, две, три, сколько надо, чтобы восстановить деревню.
Плотник Злобин Антип Захарович, крепкий, сильный, жилистый старик, скинув полушубок и поплевывая со страстью в ладони, берет топор и с хрустом, ловко обтесывает бревна.
Немцы сожгли его избу, расстреляли у оврага его единственного сына и его самого повели было на расстрел.
Но в самый последний момент из трех солдат, которые вели его на тот свет, двух потребовало к себе зачем-то начальство, а одного немца за околицей окружили бабы и слезно просили отпустить старика. Ведь это плотник-то какой знаменитый, его и в Москве даже знают!
— Не губи его, ваше благородие! — умоляли солдата бабы. — Он никому никакого вреда не сделал, не губи его, пожалуйста. Побойся греха. А то мы тебя растерзаем...
Но немец не внял их просьбам, пугал их своим автоматом и сердито кричал им, как собакам, какое-то собачье слово: «Цурюк!»
Тогда озорная крупная баба Степанида Любина бросилась на немца сзади, свалила его в снег, и с немцем сделали то, что и обещали.
А Антип Захарович Злобин, человек действительно добрый, несмотря на свою фамилию, незлобивый, низко поклонился бабам за спасение своей души, поднял немецкий автомат и ушел в лес, к партизанам.
Теперь он обтесывает бревна, из которых будут строиться новые колхозные избы, и на теплом предвесеннем солнце поблескивает его топор, и летят пахучие щепки.
Около него, невдалеке, на развалинах колхозной школы, поместил горн кузнец Барыка Михаиле Осипович.
Хромой после немецкой пули, он работает, кует болты для плуга, а у наковальни стоят его костыли. Но он, должно быть, забыл про них, охваченный азартом труда, по которому давно истосковались душа и руки, тяжелые, цепкие руки кузнеца.
Огонь озорно и яростно ворчит в горне. Осиротевший мальчонка лет семи, Сережа Пехов, старательно раздувает мехи, гордый порученной ему важной и ответственной работой.
Много надо железа, чтобы привести в порядок разрушенное хозяйство. И железо надо найти самим.
У горна лежат остов фашистской пушки, половина танка и тяжелая блестящая деталь бомбардировщика «Юнкерс-88».
Все это, с особого разрешения, приволокли сюда на себе колхозные ребята-школьники. Все это кузнец перекует, починит плуги и сеялки, наделает лопат и вил и подкует единственную уцелевшую в колхозе кобылу Люсю.
Весна все стремительнее наступает на эти места. Солнце торопливо растапливает снег, гонит по канавам голубую воду и торопит кузнеца, и плотника, и другой колхозный народ.
Из Москвы в воскресенье приехали шефы-женщины — домашние хозяйки и работницы. Они привезли с собой подарки, собранные от разных неизвестных, пожелавших остаться неизвестными, людей.
Из землянки вылезла худенькая, с навеки испуганными глазами девочка Нюра Петушкова. У нее теперь нет ни матери, ни отца, ни старшей сестры. Их угнали немцы куда-то далеко, в завоеванный ими и еще не отбитый нами Минск, что ли, и Нюра живет в землянке со старушкой Бубиковой, которой поручено пока наблюдать за нею.
Шефы привезли ребятам ботинки, и калоши, и штаны с рубашками.
Нюре достался пестренький ношеный пиджачок, он пришелся ей в самую пору. Она надела его, прошлась в нем вокруг землянки, и впалые, страдальческие щечки ее порозовели от счастья.
— Может, я девочку-то у вас заберу, — говорит добродушная, закутанная в мохнатый платок домохозяйка из Москвы. — У меня их трое, все мальчики. Ну, пусть четвертая будет девочка. Как-нибудь перебьемся. Муж у меня печник, человек хороший, очень даже сознательный.
— Нет, — твердо ответила старуха Бубикова. — Председатель у нас будет против этого несогласный. Девочка — она тут нужная. Она хорошая, вострая девочка. Она только сейчас немножко заморенная, а потом она поправится. Вы что ж думаете, мы вечно вот этак жить будем? Мы поправимся, встанем на ноги. А как же, дорогая!
— Ну что ж, — сказала, чуть обидевшись, домохозяйка из Москвы, — как хотите. А я думала, девочке будет лучше у меня. У нас все-таки квартира с газом, с электричеством!
Старуха Бубикова подозвала девочку.

— Желаешь, Нюрушка, с электричеством жить вот у этой тети?
— Нет, — решительно сказала Нюра. И, должно быть боясь обидеть приезжую тетю, сейчас же прижалась к ней, поиграла концами ее пухового платка и добавила: — Я никуда не хочу уходить. Я тут хочу. Я за грибами тут в лес ходить буду. Приезжайте, тетенька, к нам. У нас лес красивый...
— У вас в лесу покойники, — улыбнувшись, сказала москвичка. — Глядите, полный лес покойников немецких...
— А их не будет потом, — твердо сказала девочка. — Покойников ведь потом закопают. И одни живые будут ходить.
Большое, тяжелое, страшное горе, постигшее взрослых, постигло и маленькую, худенькую Нюру. Но как взрослые, занятые починкой разрушенного, из гордости не плачутся и неохотно вспоминают о том, что случилось с ними, так и девочка охотнее думает о завтрашнем дне.
Завтра еще будут бои, грандиозные и ожесточенные, прольется кровь, сгорят еще новые дома, осиротеют еще многие дети. Но завтра будет наша победа, обязательно будет, во что бы то ни стало.
В это верует всей силой сердец своих весь народ наш.
И весь народ работает на войну, на победу, на завтра, которое встает и встанет из этих еще теплых пепелищ.
В полдень мы выезжаем из этой деревни на шоссе.
Автомобиль опять продвигается мимо длинной шеренги могил, мимо березовых крестов, мимо оброненных в отступлении немецких касок, мимо брошенных при поспешном бегстве немецких автомобилей, танков, мотоциклеток.
Враг прошел здесь совсем недавно — может быть, всего неделю или несколько дней назад.
В двух километрах от деревни нас останавливает заградительный отряд. Проверка документов. Дальше ехать нельзя.
Автомобиль уводят в укрытие, мы идем пешком.
Вдалеке, метрах в четырехстах от нас, по широкой, уже источенной солнцем снежной целине, ползут вперед в белых маскировочных халатах красноармейцы.
— Наверно, они учатся, — вслух думает шофер.
Да, может быть, учатся. И мы, остановившись, смотрим на них.
Но странное дело — почему на ученье стреляют с той стороны, почему пули свистят совсем близко и трепещут кусты при шоссе?
— Головы! — тревожно кричит нам кто-то невидимый из кювета.
Мы наклоняем головы, потом ложимся.
Нет, красноармейцы не учатся. Они ведут бой. На целине столкнулись русские разведчики с немецкими.
Впереди, всего в полутора километрах отсюда, находится передний край нашей обороны.
Война совсем недалеко ушла от выгоревшей деревни Алексеевки.
Вот уже хорошо слышны клекот, и кваканье, и визг, и грохот мин. И на снегу впереди вспыхивает красный огонь.
Но в памяти все еще стоит уцелевший от немца исхудавший пестрый петух, который, несмотря ни на что, изо всех сил поет о наступающей суровой и нежной русской весне. И в лукошко сыплется золотистое зерно, которым скоро — вот как сойдет снег и уберут мертвых немцев — крестьяне засеют обожженную землю, как засевали в прошлом году, и в позапрошлом, и, может быть, тысячу лет назад...

Западный фронт, апрель 1942 г.

Супруги Полыхаевы

Все эти дни бабушка Надя то и дело выбегала на шоссе и, часами простаивая на пронзительном ветру, все ждала, не появится ли та машина. Но машины шли и шли, тысячи машин проходили мимо, а той, главной, на которой должен был приехать Петя, не было.
Наконец однажды утром, когда бабушка снова собралась на шоссе и суетливо искала варежки, кои опять куда-то затащил котенок, дедушка Ерофей Кузьмич сказал:
— Сядь! Ты чего, простудиться хочешь? Когда приедет, тогда и приедет. А бегать взад-вперед не надо. Не молоденькая.
И бабушка покорилась, присела, стала расстегивать шубейку.
И вот, только она раскуталась и сняла пуховый платок, на тропинке, ведущей к их домику, среди белоснежных сугробов, появился молодой человек в черной шинели, подпоясанной ремнем с блестящей пряжкой, и в черном же, не по сезону легком картузе. В одной руке он нес чемодан, а другой все время притрагивался к ушам, желая, должно быть, защитить их от ветра.
Дедушка, выглянув в окно, внимательно посмотрел на паренька, однако с места не сдвинулся и бабушке ничего не сказал. Мало ли тут всякого народа появилось в последнее время! Идут и едут тысячи людей. Дело-то вон какое громадное развивается!
В дверь постучали. Бабушка кинулась открывать и в ту же секунду отпрянула, увидев в облаке морозного пара незнакомого молодого человека.
— Полыхаевы тут живут? — спросил молодой человек.
— Петенька! — закричала бабушка и заплакала, засуетилась. — Петенька... Анфисины глаза... Как есть Анфисины...
Помогая внуку раздеваться, снимая с него холодную шинель, она нашла еще, что рот и нос у него отцовский, Васин, и, целуя его в горящие с мороза щеки, продолжала плакать.
А дедушка Ерофей Кузьмич только сказал, чуть нахмурившись :
— Чего это в картузе-то щеголяешь по такой погоде? Шапки нету, что ли? Пропил?
— Что вы, дедушка, я и непьющий вовсе! — улыбнулся Петя. — В фуражке я привык при всякой погоде. Волосы, говорят, лучше растут, когда зимой ходишь в фуражке. А шапка у меня в чемодане...
— Весь в отца, — уже смеялась; утирая слезы, бабушка. — Вася-то ведь был такой же аккуратист и щеголь. Только глаза Анфисины. Ее глаза... Да ты снимай, скорее снимай сапожки-то! Ведь зазяб, наверно, весь зазяб. — И толкнула внука к табуретке, чтобы помочь ему снять сапоги. — Сапоги-то, смотри, прямо как железные сделались на морозе. В валенках бы надо ходить...
— В сапогах как-то легче, веселей. А валенки у меня к чемодану привязаны, — сказал внук и пошел в шерстяных носках по глянцевитому, охрой покрашенному полу.
Бабушка сейчас же усадила его к жарко натопленной печке и стала собирать на стол всякую еду, приготовленную к приезду внука.
— Мы ведь тебя, Петенька, уже вторую неделю ждем, после письма...
Бабушка хлопотала вокруг стола и торопилась, словно боясь опоздать. 4Да уйди ты, дьявол!» — сердилась она на котенка, цеплявшегося за подол.
А дедушка Ерофей Кузьмич молчаливо осматривал внука, не решив еще, должно быть, окончательно, как ему следует относиться к этому, в сущности, мало знакомому пареньку.
— Ведь ты писал, что приедешь к девятнадцатому, а сегодня у нас, гляди, тридцатое, воскресенье, — сказал дедушка и сорвал листок с календаря. — Где же это ты задержался так?
— Видите ли, какое дело, — стал, солидно кашлянув в руку, объяснять внук, — я просился, конечно, в Сталинград, и мне выписали документы. А потом, оказывается, сюда уже послали наших учеников. И товарищ Антонов говорит: «Поезжай в Куйбышев. Это, говорит, тоже великая стройка, и разницы я не вижу. Или, если хочешь, пошлем тебя в Среднюю Азию». Я говорю: (Для меня все-таки есть некоторая разница, потому что Сталинград — мой город, где я родился, и у меня там были отец и мать». Он говорит: (Ты не разводи тут сентиментальности. Мало ли у кого где родители жили, а сейчас мы действуем по плану. И ты не забывай, что ты комсомолец». Я тогда пошел к товарищу Самсонову. Он вызвал к себе Антонова и сказал: «Надо уважить просьбу товарища Полыхаева, и нечего тут дурака валять! Пусть Полыхаев едет в Сталинград». Из-за этого я и задержался. А специальность у меня получается такая, что я свободно мог поехать и в Куйбышев, и в Среднюю Азию, и куда угодно...
— А какая у тебя специальность?
— Приобретаю специальность по бетону.

Этот ответ понравился дедушке. Не «получил специальность», не «имею специальность», а «приобретаю». Вот именно.
Старый каменщик, сложивший за свою жизнь не один десяток домов, он считал, что настоящую специальность приобретают на протяжении всей жизни.
Внук, похоже, неглупый паренек. И деловой.
Дедушка внимательно осмотрел уже застланный белой скатертью и уставленный закусками стол, заметил бутылку наливки и, как всегда, строго сказал бабушке:
— Ты для чего это, Надея, наливку-то поставила? Кто ее тут пить будет? А? Ты нам лучше белой хотя бы пол-литровочку достань... Как мужчинам...
— Пожалуйста, — сказала бабушка. — Но ты ведь, Ерофей Кузьмич, не пьешь, и Петеньке, пожалуй, еще рановато. ..
— Ничего, — сказал дедушка, — со свиданием можно. И тем более с морозца.
Из угловой комнаты вышли две молоденькие девушки, жилички Полыхаевых. Геодезистки. Это бабушка их вызвала, чтобы познакомить с внуком.
Здороваясь с ним, одна девушка назвала себя Верой, другая — Галей.
А он, протягивая им руку, назвался солидно, как положено взрослому мужчине, по фамилии:
— Полыхаев.
Не погасла с гибелью на войне двух сыновей фамилия знаменитых каменщиков Полыхаевых. Не погасла и теперь не погаснет, если даже умрет сам Ерофей Кузьмич.
А он помирать пока не собирается. Он еще хочет посмотреть, как все будет дальше развиваться, как построят здесь могучую гидростанцию, как она изменит всю жизнь вокруг, самый климат изменит. Ведь леса тут, говорят, огромные вырастут, благодатные дубравы. Пароходы со всех морей повстречаются в этом порту. И Ерофей Кузьмич с Надеждой Павловной, с бабушкой Надей, может, еще поплывут отсюда на экскурсию в какие-нибудь дальние моря.
Все может быть. Только бы войны опять не было. Не нужна она вовсе.
— Так вот, давайте выпьем за тебя, Петра, — как бы заключая свои размышления, сказал дедушка и поднял рюмку. — За тебя и, стало быть, за весь молодой народ, которому доведется жить при полном коммунизме. И мы, старички, я считаю, тоже не отстанем...
Все чокнулись, выпили и стали сосредоточенно закусывать. Только бабушка ничего не ела и все время, не сводя глаз, смотрела на внука, а по ее порозовевшим щекам катились крупные слезы.
Ах, какой большой он вырос, внучек! Ни за что, поди-ка, сейчас ей не поднять его и не протащить на себе хоть два шага, как тащила она его в сорок втором году, осенью, на пристань, на последний пассажирский пароход, уходивший из Сталинграда.
Ужас что творилось тогда в городе! Даже вспомнить страшно. Даже не верится, что все это видели наши глаза. И мы все-таки живем после этого.
Дедушка, тогда еще совсем не старый, работал, как обыкновенно, каменщиком, инструктором каменной кладки, а бабушка была поварихой в детском доме, где при ней в дневное время находился внучек Петя. Когда немцы подошли к Сталинграду, дедушка ушел на строительство оборонительных рубежей, а бабушка помогала эвакуировать ребят из детского дома. Внучка Петю дедушка не велел увозить:
— Пусть пока останется с нами. Может, все обойдется как-нибудь. А потом будет видно...
Внучек Петя сидел дома, под присмотром больной соседки. А жизнь в городе между тем становилась невыносимой. Противник каждый день, каждый час бомбил город. Город горел, как костер. И вот наступил момент, когда и соседка собралась уезжать.
— А вы сумасшедшие люди, — сказала она бабушке. — Зачем вы держите тут дитя и сами рискуете, когда смерть — вот она, перед глазами, и каждый день может зацепить кого угодно? Ведь, глядите, уже сколько людей погибло...
Из Сталинграда уходил последний пассажирский пароход, на котором отвозили детей. И бабушка решилась своей властью отправить внука.
— Не могу я, — сказала она, — принимать грех на свою душу, если, не дай бог, погибнет мальчик.
И, наскоро снарядив его в дальний путь, повела на пристань.
Однако пройти к пристани было теперь не так-то просто.
По обеим сторонам улицы жарко пылали дома. На мостовую падали обгоревшие бревна, горящие доски, раскаленные куски кровельного железа.

Пока бабушка с внуком прошли два квартала, на ней обгорели платье и косынка. Но бабушка упорно шла вперед. А внучек всё время плакал и упирался:
— Не пойду и не пойду! Веди обратно домой, а то я еще сильнее заплачу.
Наконец они прошли пылающие кварталы, выбрались на широкую площадь и стали идти быстрее.
Вдруг бабушка остановилась.
— Батюшки, голубчик ты мой! — сказала она, потрясенная, увидев на площади огромного, покрытого красной кирпичной пылью слона. — И тебя потревожили, бедолагу?
Слон, выгнанный бомбежкой из зоопарка, удивил ее, должно быть, больше, чем пожары.
Внук перестал плакать. Он широко открытыми глазами смотрел на слона, уныло помахивающего хоботом, как пожарным шлангом, и медленно бредущего мимо разрушенных и горящих зданий.
Даже вражеские самолеты, вдруг зашумевшие над площадью, не могли отвлечь внимание мальчика от этого удивительного, истомленного адской жарой пешехода.
— Все-таки пойдем, Петенька, — сказала бабушка. — Пойдем скорее. — И потянула внука за руку.
— Нет, погоди, поглядим на него, — решительно, как взрослый, сказал внук.
— Да ведь убьют же нас, глупенький, сию же минуту убьют! Ты же видишь, вон самолеты германские.
И она показала на небо, затянутое черным дымом. Где-то совсем близко горела нефть.
— Ну и пусть убьют, — сердито сказал Петя. — А мы все равно поглядим.
Тогда бабушка нагнулась, ухватила мальчика за ноги и, взвалив его, как мешок, на плечи, побежала через площадь.
«И откуда силы у меня брались?» —думала она сейчас, сидя за обеденным столом против веселого, до неузнаваемости повзрослевшего молодого человека.
Ей хотелось спросить, помнит ли он того слона. Но она не решалась этими воспоминаниями прерывать оживленный разговор дедушки и внука. Пусть наговорятся, давно не виделись.
А поговорить им есть о чем. Дедушка с удовольствием слушает Петю. И особенно приятно дедушке, что потомок пошел по ихней, полыхаевской стезе: хоть он и не каменщик будет, но все равно строитель. Это дело всегда нужное, золотое дело.
— На плотине, значит, хочешь работать?
— Ну да, — солидно говорит внук. — Бетон будем укладывать. Но сначала я тут буду заниматься на курсах. А потом уже приступлю к работе...
— Это хорошо, — говорит дедушка. — Хорошо, что ты вроде как основатель будешь. Вырастешь окончательно, женишься, пройдешься по плотине, может уже со своими детьми, и скажешь: «Вот, глядите, ребята, эту станцию при мне строили. Я лично участие принимал. А теперь она гремит на весь мир! »
— Я еще, наверно, неженатый буду, когда ее достроят, — улыбается внук и поглядывает искоса, чуть зарумянившись, на молоденьких геодезисток, сидящих тут же за столом.
И геодезистки тоже улыбаются. А бойкая кареглазая Галя, похожая на армянку, напоминает:
— Ведь станцию здесь должны закончить через пять лет. Это, значит, вам, Петя, будет тогда, наверно, двадцать первый год. Или больше?
Петя делает вид, что не слышит вопроса. Он не хочет, чтобы эти девушки знали, сколько ему в точности лет. Он хочет выглядеть взрослее. И, чтобы увести разговор в сторону, он говорит:
— Я прямо с нетерпением ждал, когда меня отправят в Сталинград...
А бабушка, слушая его, все продолжает вспоминать, как он, ее внучек, уезжал из Сталинграда. Дедушка тогда прибежал на пристань, а пароход уже отошел. Пароход был на середине реки, когда налетели вражеские бомбардировщики и стали бомбить его. Бабушка закрыла лицо руками. А дедушка все смотрел и смотрел на гибнущий, беззащитный пароход, на кипящую вокруг парохода воду, в которой должен был утонуть его единственный внук. Он видел, как от того берега отплыли к пароходу лодки. Но разве спасешь кого-нибудь в этакой беде?
— Утопила мальчика, не послушалась, утопила,— сказал Ерофей Кузьмич.
Но, увидев, что бабушка упала на траву и бьется в судорогах, точно хочет закопаться в землю, растерялся страшно.
— Ну, Надея, ну что же теперь делать, Надея? — говорил он, склонившись над ней.
Потом встал, зачерпнул картузом из реки воду, смешанную с нефтью, и подал ее жене.

— Ну, Надея, ну, опомнись, Надея! Нам не то еще, наверно, придется испытать...
Никогда он не успокаивал ее, никогда не сулил несбыточного. Ни в молодости, когда женился на ней, заняв для свадьбы сапоги у товарища. Ни в старости, когда вдруг тягчайшие беды, порожденные войной, постигли их.
Он поднял с травы жену, еще содрогавшуюся всем телом, и повел домой, поддерживая за плечи, с которых свисали цветастые лохмотья обгоревшего платья.
А она тихо плакала, прижимаясь к нему, и все твердила одно и то же:
Ты прости меня, Ерофей Кузьмич, не послушалась я тебя, утопила мальчика. Это правильные твои слова — «утопила». Но ведь думалось, сделаю лучше ему. Ведь кругом глядите что творится... Что же дальше-то будет?
— Не знаю я этого, Надея. Ничего я не знаю, — говорил Ерофей Кузьмич. — Нам бы только теперь домой добраться, до нашей квартиры, чтобы ты прилегла, отдохнула, капли какие-нибудь приняла. Есть ведь у тебя разные капли... Дальше-то все еще хуже будет... Надо силу беречь...
Однако дойти до дому по прямой дороге было теперь невозможно.
Обе улицы, ведушие от пристани к дому, были завалены горячим камнем обрушившихся домов. Пришлось идти кружным путем.
Пробирались почти до вечера.
А когда пробрались, оказалось, что и пробираться было не к чему.
От огромного пятиэтажного дома остались только две стены, образовавшие угол, в центре которого, на третьем этаже, висела кухонная полка, и на ней позвякивали на ветру две эмалированные кастрюльки.
— Это Завьяловых кастрюльки-то, — узнала бабушка.— Это ихняя квартира была.
— Ну, теперь уж неинтересно, чья она была, — сказал Ерофей Кузьмич. — Не в кастрюльках теперь дело и не в квартирах. Хорошо еще, что нас дома не было, а то лежали бы мы вот сейчас под этими кирпичами...
— И уж лучше бы, к одному концу, — вздохнула бабушка Надя.
— Помолчи! — закричал на нее Ерофей Кузьмич. — Ты не сей тут панику! Я совсем не собираюсь помирать. И тебе не велю. Я свое еще не отжил, что мне положено...
— Но куда же мы теперь пойдем с тобой? — робко спросила жена. И, не получив ответа, еще более робко упрекнула мужа:— Все упрямство твое, Ерофей Кузьмич! Ведь два раза приходил Златогоров из конторы, звал нас в эвакуацию ехать. А теперь, наверно, и контора уехала...
Ерофей Кузьмич молчал. Он задумчиво смотрел на развалины огромного дома, в стены которого еще лет шесть назад укладывал кирпичи.
Здесь, на строительстве, за отличную работу он получил две премии — патефон и охотничье ружье. А затем, тоже вроде премии, ему дали в этом доме квартиру, большую и светлую, в которой разместилась вся его семья.
И вот нет больше ни квартиры, ни дома, ни семьи. Еще месяц назад пришли бумаги о гибели двух сыновей, а невестка, пошедшая на войну добровольно вместе с мужем, пропала без вести. Что же дальше-то будет? А?..
Вспомнив сейчас то грозное время, бабушка снова почувствовала едкий запах гари, снова горячий воздух сдавил ей сердце, и она опять обмерла, как тогда, на развалинах.
— Чайку нам налей, Надея. Чайку, говорю, — повторил Ерофей Кузьмич и потрогал бабушку за руку, точно желая ее разбудить.
— Ах, чайку? Сейчас, — сказала бабушка и потянулась к самовару.
А дедушка, подмигнув жиличкам и внуку, засмеялся.
— Захмелела бабушка-то. От одной рюмки захмелела...
— И правда, с вами захмелеешь, — улыбнулась бабушка, как бы очнувшись от воспоминаний.
— Ну и вот, — продолжал Ерофей Кузьмич, — напьемся мы сейчас чаю, Пётра, и пойдем на строительство. Поглядишь, что у нас тут делается.
— Да зачем же вы сейчас-то пойдете? — возразила бабушка. — Я хочу еще на внучка посмотреть. И пусть он сам тут оглядится. Вот с барышнями побеседует, отогреется. Я ему домик наш покажу...
— Что же он, домиков таких не видывал, что ли? — сказал дедушка. — Он для дела приехал, он и должен поглядеть на дело.

— Успеет еще, наглядится, — не сдавалась бабушка. — Ведь домик этот, Петенька, мы сами построили с дедушкой. Это первый новый домик был в поселке. Ведь все было свалено, разрушено. Мы с дедушкой тут в блиндаже под горой жили. Дедушка контуженый был...
— Ну, опять завела! — поморщился Ерофей Кузьмич.
А бабушке хотелось сейчас же, не откладывая, рассказать, как они тогда, в ту тяжелую осень, поздней ночью, ушли от развалин своего дома, как их приняли ночью же в райсовете, который переехал из разрушенного дома под дамбу, как их определили на работу.
Работа тогда в городе было особая, печальная. Надо было трупы убирать, хоронить. Надо было улицы расчищать от завалов. Ведь ни пройти, ни проехать было нельзя. Каждый день горели и падали дома. Надо было пожары тушить.
Потом бабушку взяли поварихой в подземный госпиталь, а дедушка там же определился санитаром.
А когда противник разбомбил этот госпиталь, бабушка уже в другом месте устроилась прачкой. Она стирала солдатское белье, а дедушка помогал ей, добывал воду.
Это сейчас ее легко добывать. Вот она, вода, против окон. Бери ведро и иди по воду.
А тогда надо было действовать ползком, под проливным огнем со всех сторон, и хитрить по-всячески, чтобы на глазах у противника подступиться к Волге. Налил в ушат воды, встал на четвереньки и потащил его на санках за собой. А пули то и дело попадают в ушат и, того гляди, попадут в тебя. И попадали — у дедушки плечо и рука перебиты пулями. Да что там говорить, хватили горюшка...
Бабушка вздохнула.
— Чего ты вздыхаешь? — сказал Ерофей Кузьмич. — Надо не вздыхать, а радоваться, что такое пережили и опять дальше живем. И еще как! Может, ты жалеешь, что мы не уехали тогда отсюда, из Сталинграда?
— Не жалею я об этом нисколечко, — сказала бабушка. — Я только удивляюсь, как мы выжили. Ведь сколько народу на наших глазах погибло! Ведь железо и то горит на огне и ломается. Камень и тот не выдерживает. А мы...
— Гордость в тебе непомерная, — улыбнулся дедушка. — Самолюбие в тебе очень крепкое. Тебя послушает кто со стороны, так может подумать, что это ты сама и Сталинград отстояла...
— Не сама, но со всеми тут была и действовала, — сказала бабушка. — И этого у меня никто не отнимет.
— Ну, это правильно, — согласился Ерофей Кузьмич. — Но только вздыхать не надо. Я этого больше всего не люблю, когда попусту, беспричинно вздыхают. К нам. вон внук приехал, и ему интересно что-нибудь новенькое послушать. ..
— Напротив, я хотел спросить, как вы жили, — сказал Петя. — Я ведь только по книгам знаю, какая была Сталинградская битва. В кино это видел. А вы тут, можно сказать, участвовали...
— Конечно, можно сказать, участвовали. Все делалось на наших глазах, — оживилась бабушка. — А что делалось, это сейчас даже пересказать невозможно. И я сама удивляюсь. Я так, наверно, и помру удивленная. Ведь чуть не все сто дней мы тут ползком передвигались. Все ползком, ползком, на четвереньках, чтобы уберечь себя от какой-нибудь пули, или от осколка, или еще от чего. Из окопа в окоп, из трубы в трубу, из подвала в подвал, из блиндажа в блиндаж, все ползком. Так и переползли взад-вперед весь наш город, а потом вот сюда выползли, в этот поселок, к самой Волге. Уже бои кончились, а мы все в блиндаже жили. Жить-то было негде. Даже коробок от домов не осталось. Один битый, горелый кирпич. Дедушка лежит в блиндаже контуженый, а я около него хлопочу, как умею, вроде медицинской сестры милосердия.
— Ты уж слишком много на себя берешь, — заметил дедушка. И передразнил: — Вроде медицинской сестры! Вон куда хватила...
— Ну, или вроде санитарки, — поправилась бабушка. — Это мне все равно, вроде кого. Важно, что я за тобой неотступно ходила. А тут вдруг приезжает Иван Федорович Чалов, известный нам инженер. «Мы, говорит, сейчас срочно завод будем восстанавливать, тракторный, «Эстезе». А чего же там восстанавливать, когда от завода почти что ничего не осталось? Один памятник товарищу Дзержинскому стоит у бывших заводских ворот, тоже во многих местах пробитый пулями. Но Иван Федорович Чалов говорит: «Разбиваем вокруг завода брезентовые палатки для рабочих, и я хотел бы, чтобы вы тоже приняли участие в восстановлении». Это говорил он, конечно, не мне, а Ерофею Кузьмичу, как бывшему каменщику. Но Ерофей Кузьмич лежал еле

живой, одна кожа да кости. И я сама уже считала, что каменщик из него больше никогда не получится. Он не то что камень не мог бы поднять, но даже по малой надобности не мог выйти из блиндажа. А вокруг холод был ужасный. И питания, конечно, никакого не было, потому что мы питались кое-как, все время от военных; а бои уже кончились, и военные, обыкновенно, проехали дальше, на Берлин или куда их направили. Но тут нас вскорости разыскала женщина из райсовета, которая обходила все блиндажи, и сказала, что поставит нас сейчас же на питание, выдаст карточки и пришлет доктора. Все как она говорила, так и сделала. И когда к нам пришел Иван Федорович Чалов, я уже могла угостить его чаем с сахаром, а он принес с собой водку и колбасу. А у меня еще были картошка и лук...

— Видишь, как она все сосчитала и помнит, у кого что было, — подмигнув внуку, засмеялся Ерофей Кузьмич. — Ох, и экономистка! Она из чижика пуд сала натопит. ..

— Ты меня не перебивай, — попросила бабушка. — Я по порядку все вспоминаю, раз человек просит рассказать, как мы тут жили. И вот сидим мы в блиндаже, пьем чай, и вдруг Иван Федорович Чалов говорит: «А я, между прочим, вашего Петю недавно на Урале видел». Я спрашиваю: «Какого Петю?» Потому что мы уж с дедушкой, после того как на наших глазах утонул тот пароход, не надеялись увидеть тебя в живых. А Иван Федорович говорит: «Как какого Петю? Обыкновенного, вашего внука Петю. Он с моим сынком Гришей в одном детском доме находился, а сейчас учится в школе». Тут я сразу записала твой точный адрес, где ты находишься, и отправила тебе письмо. Но почти год никакого ответа не было, хотя я писем пять еще написала. А дедушка Ерофей Кузьмич, прямо на удивление всем, начал поправляться. И вскорости поступил на работу — правда, не на тракторный, потому что далеко было туда ездить и помещений для жилья там еще не было, кроме палаток, а здесь же, в поселке, в стройконтору...

— Ее уж тут давно нету, этой стройконторы, — сказал Ерофей Кузьмич. И показал в окно: — Она вон где была. А теперь наши барышни, — он кивнул на жиличек-геодезисток, — свою контору там открыли. И буровые мастера тоже там помещаются. Здесь ведь все теперь по-другому будет, не так, как поначалу замышлялось. Гидростанция тут все по-новому произведет. Ведь плотина — она чуть в стороне отсюда начнется...

— Я знаю, — сказал Петя. — Я это видел на чертеже...

А бабушка обидчиво сказала:

— Если хочешь, Ерофей Кузьмич, сам рассказывай. Я помолчу. Я не обидчивая...

— Нет, уж лучше ты сама. У тебя хорошо получается,— похвалил дедушка и улыбнулся.— Может, ты впоследствии книгу обо всем этом составишь...

— Книгу я составлять не буду, — сказала бабушка, — а что помню, могу рассказать. Ведь этот блиндаж, Петенька, где мы жили, он тут совсем недалеко, его только под снегом сейчас не видать. И вот один раз ночью, когда мы после боев еще жили в блиндаже, у Ерофея Кузьмича опять заболело плечо. Он, конечно, не может уснуть, ворочается и все что-то такое ворчит. Я проснулась, спрашиваю: «Что это ты опять ворчишь, Ерофей Кузьмич?» А он говорит: «Не ворчу, а думаю: как же это все странно получается? Я, например, каменщик, а живу в блиндаже. Неужели сам себе дом сложить не могу? Неужели вот так все буду ждать у моря погоды?» Я ему говорю: «Но ведь скоро нам, наверно, дадут квартиру». Он говорит: «Мало что дадут. Надо самим об себе подумать. Надо, напротив, даже другим пример показать». И вскорости утром, как раз вот также в воскресенье, он выходит из блиндажа и подает мне команду идти за ним. Я, конечно, иду, хотя еще не догадываюсь, куда и зачем. Прошли мы этак с километр расстояния, вдруг он останавливается и говорит: «Вот на этом месте мы поставим домик, и с нас начнется вся улица». А улица, я же говорю, вся лежала в развалинах, один битый, горелый кирпич. Но Ерофея Кузьмича переупрямить нельзя. Раз он забил себе в голову идею, значит, он уже не отступится. На другой же день он пошел в райсовет, написал заявление. И я смотрю, приходит к нам в блиндаж девушка-техник. «У райсовета, говорит, против вашего дома возражений нету, но мы только удивляемся в райсовете, что вы, такие в общем пожилые люди, беретесь за такое дело. Однако, говорит, райсовет чем может пойдет навстречу.. .»

— Длинно ты рассказываешь, Надея, — заметил Ерофей Кузьмич. — Очень длинно у тебя получается...

— Но ведь домик-то мы тоже не враз построили, — сказала бабушка. — Выводили сначала фундамент. В блиндаже у нас висел фонарь «летучая мышь». Подарил его нам на прощание один сержант-сибиряк, Миша Падерин. И вот, как Ерофей Кузьмич придет с работы из

стройконторы, отобедает, поспит часок, сейчас мы берем этот фонарь и идем на свое строительство — Полыхаевстрой. Это так шутейно назвали наш домик в райсовете. Повесим, бывало, фонарь на треногу и копаемся в кирпичах до полной ночи, выбираем целые кирпичи. Копаемся так неделю, вторую — вдруг однажды вечером видим: вокруг загораются такие же, как у нас, фонари. Это, оказывается, другие застройщики появились и тоже, как мы, работают. Матерьял тем более тут же, под руками, — обгорелые кирпичи и балки.
И райсовет тоже начал строительство. «Ну, теперь, Надея, выходит, мы вступили в соревнование, — говорит мой Ерофей Кузьмич. — Теперь зевать не надо. Интересно, кто скорее построит». А мы и так не зевали. Работали, как говорится, во всю душу.
— Да уж, работали, ничего не скажешь, серьезно, — поддержал дедушка, взглянув на внука. — Работали на полную совесть. Ляжешь после этой работы спать, и все еще тело у тебя ходуном ходит и перед глазами стоят кирпичи, раствор и кирпичи. Я тебя, Надея, — повернулся он к бабушке, — не хотел тогда хвалить за твою работу. Боялся хвалить. Думал, что ты загордишься от похвалы. А сейчас могу сказать: боевая ты женщина, хотя и считаешься старушка. Другим и молодым против тебя не устоять...
Бабушку смутила это похвала. Она слегка зарумянилась и продолжала рассказывать, уже не глядя на дедушку, называя его по-прежнему официально, по имени-отчеству :
— Ерофей Кузьмич больше всего старался поскорее выложить передний угол дома, с которого улица начинается. И как только мы выложили этот угол, Ерофей Кузьмич сейчас же выстрогал дощечку, раскалил костыль и выжег на дощечке название улицы, какое раньше было, и номер дома — номер один. Дощечку эту он приколотил на угол, полюбовался и мне велел полюбоваться. «Вот, говорит, гляди, Надея! Теперь у нас есть точный адрес. Пиши внуку новое письмо...» Я, конечно, написала.
— Это правильно, — подтвердил дедушка, — она читала мне это письмо. Я только сердился тогда, что она много плачет. Все письмо закапала слезами. Все буквы расплылись, раскисли...
Это замечание бабушка пропустила мимо ушей. Она торопилась досказать, что начала:
— Так вот, строительство наше, этот самый Полыхаев-строй,. подходило уже к самому окончанию, когда мы узнали, что недалеко от нас соседи наши, большей частью женщины, строят артелью дом не для себя, а для общественного дела, чтобы разместить в нем сирот, коих тогда собирали по всем блиндажам. Вот тут дедушка Ерофей Кузьмич и задумался. «Нехорошо, говорит, это у нас получается, Надея. Люди стараются для общества, а мы, как вроде частники какие, только для себя. Не отдать ли нам и наш домик тоже под детский дом? А?» Я говорю: «Ну что ж, можем отдать. Мы пока и в блиндаже поживем, а дети пусть сюда въедут, тем более у нас свои дети были.
Пусть этот дом будет в память наших погибших детей». И тут я, конечно, заплакала. А Ерофей Кузьмич вот этак смотрит на меня, как всегда, подозрительно и говорит: «Очень хитрые твои слезы, Надея. Нехорошие твои слезы. Ты от жадности плачешь. Неохота тебе свой дом отдавать детям, вот ты от этого и плачешь». Тут я ужасно как обиделась и сама пошла в райсовет — заявить, что мы дарим наш домик в пользу детей-сирот. А в райсовете на меня вот так замахали руками. «Что вы, что вы! — говорят. — Зачем нам ваш домик? Это временная мера, что мы тут детский дом для сирот из горелых кирпичей создаем, а вообще-то скоро будут выстроены настоящие дома. Уже отпущены средства». И правда, пока мы строили с дедушкой Ерофеем Кузьмичом свой домик, тракторный завод уже начал новые тракторы выпускать. И другие наши заводы уже действовали опять на полную мощность, хотя после боев от них тоже только один битый кирпич оставался. Я ведь думала, что я так и умру, не увижу, как опять поднимется наш город Сталинград. А сейчас — пожалуйста, приезжают иностранцы и удивляются. «У нас, говорят, многие города, где прошла война, еще и восстанавливать не собирались. А у вас все идет как в сказке.. “
— Ты уж хоть иностранцев не затрагивай, а то никогда не кончишь, — улыбнулся Ерофей Кузьмич. — Ты про свой дом начала, а ударилась совершенно в сторону. Будто в газету пишешь. И иностранцев для чего-то приплела.
— Я могу совсем не рассказывать, — снова обиделась бабушка.
— Нет, ты рассказывай, раз начала, но не виляй из стороны в сторону, — сказал Ерофей Кузьмич и нахмурился.
Бабушка рассказывала, как, сложив домик, они начали его отделывать, как им отпустили лес, как они сами пилили его, как добывали краску, гвозди, известку, шпингалеты и дверные ручки.

— Ну, это все пустяки, — опять перебил ее Ерофей Кузьмич. — Что мы тут, правда, сделали толково, так это подполье...
Дедушка убрал из-под ног своих половик, ухватился за медное кольцо, врезанное в пол, и без особых усилий поднял квадратную крышку люка.
— Вот оно, подполье, — сказал он, глядя в темную яму. — Я сейчас там свет зажгу. — И потрогал выключатель.
Яма при свете оказалась огромной, облицованной мелкой плиткой.
— Это, конечно, не ахти какое сооружение, — вдруг застеснялся дедушка. — Не Волгодон, не гидроузел. Но все-таки кто понимает, поймет. Тут никакая подземная вода не пробьется. Это уж действительно на совесть сделано. У нас тут и картошка, и капуста, и морковь хранятся.. .
— У нас же огородик при доме, — вставила свое слово бабушка. — Сейчас-то, под снегом, ничего не видать, а весной — красота...
— Красоты особой нету, — сказал Ерофей Кузьмич, — но хорошо, что Волга близко...
— Вот это и нехорошо! — вдруг вздохнула все время молчавшая полная, румяная геодезистка Вера.
Но шустрая подруга сейчас же схватила ее за руку. И Вера густо покраснела.
Ерофей Кузьмич посмотрел на жиличек.
— Что вы сказали?
— Да ничего особенного, — вместо Веры ответила Галя. — Глупость она сказала...
Ерофей Кузьмич чуть помрачнел. А бабушка продолжала рассказывать внуку, как они с дедушкой читали первое письмо, написанное внуком «вот этакими буквами», как собирались поехать к нему, да так и не собрались, как обрадовались, когда узнали, что он поступил в ремесленное училище, как готовили ему посылку, как ждали его...
— И вот ты приехал, Петенька. Я даже все еще не верю, что ты приехал. Ну, теперь у нас с дедушкой душа будет спокойна. Нам ведь больше ничего не надо. Ничего. Был бы только ты у нас перед глазами. Вся надежда наша в тебе...
Говоря так, бабушка Надя взглянула на мужа и встревожилась. Что это вдруг омрачился Ерофей Кузьмич? Может, она что-нибудь не так сказала? И девушки-жилички о чем-то перешептываются. Может, они заметили что-то?
Бабушка почувствовала себя неловко. И чтобы выйти из неловкого положения, сказала:
— А у меня ведь еще орешки есть, я и забыла. Пойду-ка я принесу орешки...
Бабушка ушла на кухню.
А дедушка Ерофей Кузьмич подошел к жиличкам, сидевшим рядышком на сундуке, и сказал:
— Ну что ж вы, барышни, секретничать-то перестали? Или. уже вышептали все секреты?
— Да мы и не секретничаем, Ерофей Кузьмич, — сконфуженно проговорила Галя. — Мы просто так...
— Знаю я вас, — улыбнулся Ерофей Кузьмич. — И секреты ваши знаю. Это вам только кажется, что никто их, кроме вас, не знает.
— Ну что вы, Ерофей Кузьмич! — вздохнула Вера. — Мы ничего не сказали...
— А вы скажите, не стесняйтесь, — посоветовал Ерофей Кузьмич. — Я ведь слыхал, как вы сказали про Волгу: нехорошо, мол, что Волга близко...
— Ну, это, правда, нехорошо, — подтвердила Галя. — И нам самим будет неприятно, поскольку мы у вас живем. И тоже, как вы, привыкли. Но ведь еще не известно, как все будет...
— Нет, уже известно. Хорошо известно, — сказал Ерофей Кузьмич.
— А что такое случилось? — спросил Петя.
— Пусть вот они тебе объяснят, — показал дедушка на геодезисток.
— Ничего особенного пока не случилось, — сказала Вера и кокетливо поправила волосы. — Но тут по плану, в связи со строительством гидроузла, река, разумеется, должна разлиться. И при этих обстоятельствах, конечно, не только этот домик, но и другие, рядом, будут...
Вера увидела бабушку, вернувшуюся из кухни, и умолкла.
— Словом, этот разговор сейчас ни к чему, — заключила Галя.
— А почему? — спросила бабушка, поставив на стол тарелку с орехами. — Я разве мешаю вам?
— Нет, что вы, Надежда Павловна! — смутилась Вера.
Все занялись орехами. Вера попробовала раскусить
орех зубами. Не удалось. Она взяла щипцы. Бабушка засмеялась.

— Не можешь, значит, Верочка, раскусить своими зубками-то? Не в силах? А ты погляди, как я делаю. — И прижала зубами орех. Орех сию же секунду щелкнул и раскололся. Бабушка положила его на ладонь. — Видела, Верочка? Значит, зубы у меня еще есть. Все налицо, по списку. Значит, я еще не такая старая, а ты меня жалеешь.
— Почему вы думаете, что я вас жалею?
— Жалеешь. Боишься, что я расстроюсь, если узнаю, что ты знаешь...
— Да я ничего такого не знаю.
— Нет, знаешь. Знаешь, что этот домик придется снести, и делаешь из этого секрет. Чтобы не расстраивать старуху. — Бабушка вдруг сердито прищурилась. — Да неужели, ты думаешь, я цепляться начну за этот домик во вред всеобщему делу? Неужели я буду, как буржуйка какая-нибудь, плакать, что вот, мол, пропадает моя собственность?
— Да он и останется вашей собственностью, этот домик, — сказала Галя. — Вам за него государство большие деньги уплатит. И вам в другом месте квартиру дадут, еще много лучше этой...
— Успокаиваешь? — сказала бабушка. — Да разве я на старости лет за всю мою трудовую жизнь заслужила такое, чтобы меня девочки успокаивали? Разве в деньгах дело? Разве я покой особый ищу? Да мы с мужем моим Ерофеем Кузьмичом всю жизнь во всех больших делах, какие были, участвовали. Неужели я теперь, после всего, вот в этом домике замкнусь и ничего вокруг себя не увижу?..
— Ну ладно, ладно, — сказал Ерофей Кузьмич, — будет тебе, Надея, непомерную гордость свою выказывать! Будет!..
— А что, разве я неправду говорю? — спросила бабушка. — Разве у нас с тобой, Ерофей Кузьмич, только и хватило силы, чтобы построить этот домик? Разве тут конец нашей силе?
— Нет, это еще не конец, — поддержал жену Ерофей Кузьмич. — Мы еще о тобой поживем, поработаем, Надея, поглядим на все...
— Вы, дедушка, хотели пойти со мной на Волгу, — напомнил Петя.
— Пойдем, Пётра, — сказал дедушка. — Пойдем. Я тебе сейчас покажу, что вокруг творится. А то, правда, засиделись мы тут...

Москва, февраль 1951 г.

Жучка

1

Ах, как сладко, как томительно сладко пахнут травы на Жухарях!
Нонна Павловна вышла из поезда и, как в море, погрузилась в предрассветный туман, полный запахов и прохлады.
Поезд лязгнул, загремел и тяжело покатился дальше в темноту, тускло посвечивая окнами и мигая красным огоньком последнего вагона.
В этом последнем вагоне спит сейчас на верхней полке капитан Дудичев. А может, он и не Дудичев вовсе. И не холостой. Все мужчины любят прихвастнуть в поезде.
Впрочем, какое дело Нонне Павловне до этого случайного попутчика! Мало ли их! Правда, этот какой-то особенный. Он вчера принес из буфета бутылку портвейна, коробку

шоколадных конфет, читал стихи, может быть даже собственные, играл глазами и два раза, чокаясь с Нонной Павловной, сказал: «За ваши творческие успехи!»
Он, наверно, принял ее за киноактрису. И немудрено. Прическа у нее самая модная. Капитан что-то такое говорил о ее волосах. Ну да, и в стихах было что-то такое про волосы: «Волос твоих стеклянный дым и глаз осенняя усталость». Конечно, это он сам сочинил. Наверно, тут же и сочинил. Занятный малый! И все оглядывал ее. Даже сказал, что ему всего больше нравятся полные блондинки. И опять в стихах это подтвердил, назвав ее интересной блондинкой.
Нонна Павловна представила себе, как он через час проснется в вагоне, поглядит с верхней полки сонными глазами, а ее нет. Он подумает, что она ушла умываться, подождет минутку-другую, а она все не идет и не идет. И не придет никогда. Он, может быть, сочинит стихи и по этому случаю, стихи о том, как ушла интересная блондинка. Ну да, интересная, все еще интересная...
Или, может быть, он тут же забудет про нее. Наверно, забудет. Встретятся новые пассажирки. Да и Нонна Павловна не станет горевать о нем. С чего ей горевать? Кто он ей такой? Просто попутчик, и все. Он едет дальше, а она вот уже приехала. В родное место приехала, где живут ее родные и ждут ее. Конечно, ждут. И должны встретить. Обещали. А как же иначе! Неужели она, как двадцать с лишним лет назад, пойдет пешком с этой станции в родное село?
Раньше это было просто — скинула бы башмаки, подоткнула юбку и пошла. Дорога знакомая, километров пятнадцать отсюда. А сейчас, пожалуй, смешно: снять лакированные туфли-лодочки, стянуть капроновые чулки с черной пяткой и шагать по грязи босиком, при этой прическе, как у Любови Орловой, и в этом цветастом легком платье из креп-жоржета! Деревенские мальчишки, чего доброго, засмеют.
Хотя зачем идти босиком? Можно достать из чемодана босоножки, да и вместо платья можно надеть сарафанчик. Досадно — не взяла старый сарафанчик. Этот все-таки фасонистый, в птицах, — по деревенской дороге в нем идти неудобно, да и босоножек жалко, их моментально испортишь в этакой грязи. Грязь тут, наверно, прежняя, непролазная.
Нонна Павловна одиноко стояла посреди перрона, не решаясь поставить кожаный чемодан на влажные доски. А чемодан тяжелый, в нем гостинцы, подарки. Неужели никто не встретит ее? Может, и телеграмму еще не получили? Пока здешний почтальон дойдет с ее телеграммой со станции до колхоза... Глушь, дикость! Никто, кроме Нонны Павловны, и не вышел из скорого поезда в этих Жухарях. Никому и дела нет до Жухарей.
Нонна Павловна опять подумала о капитане, который спит сейчас в поезде и, может, видит ее во сне. И ей показалось на мгновение, что все родное в ее жизни связано не с этой вот глухой, мало кому известной станцией, а с поездом, укатившим во тьму и насмешливо мигнувшим на прощание красным маленьким огоньком.
Да и станция эта, по правде сказать, не очень знакома ей. Ничего здесь не осталось от прежнего. Станционное здание раньше было деревянное, а теперь каменное. Перрон бетонный. Если б не вывеска «Жухари», можно было бы подумать, что Нонна Павловна ошиблась, не на той станции вышла.
Из предрассветного тумана проступает огромное узкое сооружение, на вершине его светятся неяркие огоньки. Интересно, что это за сооружение? Ах, ну, понятно, это элеватор. Он тогда уже строился...
Нет, ничего прежнего тут не осталось. Вот только запах трав, недавно скошенных, знакомый, родной и щемящий.
Нонна Павловна встряхивает пушистой головой и решается войти в станционное здание. Что ж делать? Она сейчас переоденется, наденет босоножки и пойдет в село. Не ждать же ей здесь утра, если она приехала в родные края! Ну, не встретили — и не встретили. Она не особенно и надеялась. Дойдет как-нибудь сама. Не больная.
И вот когда Нонна Павловна уже входила в здание, позади нее раздался голос:
— Настя! Настя, подожди...
Нонна Павловна остановилась. К ней приближался высокий, плечистый мужчина в кожаном пальто. Она не сразу узнала его.

— Здравствуй, Филимон, — наконец сказала она. И, оглядев, добавила: — Филимон Кузьмич.
— Здравствуй, Настя, — выдохнул он. Видно было, что он спешил, волновался. — Ты уж меня извини, Настя. .. Настасья Пантелеймоновна! Меня часы, понимаешь, подвели. Я испугался. Думал: а вдруг я тебя не захвачу? У нас тут не Москва — ни троллейбусов, ни такси нету. Добираться трудно...
Он левой рукой взял у нее чемодан, а правой деликатно притронулся к локтю Нонны Павловны и повел ее на привокзальную площадь.
«Умеет обойтись с женщиной, научился, — улыбнулась она про себя. — А был вахлак вахлаком».
— Настя, ну, скажи: сколько лет мы с тобой не видались?
Нонна Павловна смутилась.
— Не знаю... Я уж и счет потеряла. Лет, пожалуй, двадцать... с лишним...
— Да, пожалуй, не меньше.
Они вышли на площадь, где было еще темнее, чем на перроне. Горел одинокий фонарь, слабо освещавший длинное низкое строение — склад какой-то, тоже незнакомый Нонне Павловне, новенькие домики под железными кровлями и стену элеватора, стоявшего в стороне.
Под фонарем переминался с ноги на ногу привязанный к столбу вороной жеребец, запряженный в двухместную бричку. Свет фонаря падал прямо на его лоснящуюся, будто лакированную, спину.
— Я и забыла, когда на лошадях ездила, — сказала Нонна Павловна.
— Ты погоди, погоди, — взял ее спутник покрепче под руку. — Тут лужа. Как бы я тебя ненароком не искупал. — И покосился на ее лакированные туфли-лодочки. — К нам в таких башмаках не ездят...
«Нет, он все-таки мужик, — с досадой подумала Нонна Павловна. — Хотя Даша, помнится, писала, что на войне он был майором... Не сравнишь его с тем капитаном». И неожиданно для себя, как будто совсем некстати, спросила:
— Ты ведь, говорят, Филимон Кузьмич, был майором?
— Был, — подтвердил он, обводя ее вокруг лужи. — Закончил войну майором.
— А начал?
— А начал обыкновенно — рядовым.
— О! — произнесла она почти восторженно. И, помолчав, сказала: — А все-таки ты опять вернулся в эти места...
— А куда же я вернусь? — удивился он. — У меня тут семья — жена, дети. И я сам изначальный крестьянин. Землероб. Было бы прямо-таки довольно смешно и глупо, если б я...
— Ну, это правильно, — перебила она и, чтобы перевести разговор, кивнула на фонарь: — Ас электричеством тут по-прежнему... не богато...
— Не богато, — вздохнул он. — Что-то плохо строится Зубовская гидростанция. Второго начальника сгоняют за неудовлетворительность...
Они подошли к бричке.
Филимон Кузьмич сперва уложил чемодан Нонны Павловны, потом, раструсив сено, стал усаживать ее, поддержал за талию и вдруг засмеялся, вспомнив:
— Ухаживал когда-то за тобой. А гляжу — и сейчас еще можно поухаживать. Дебелая...
— Ну, уж чего дебелого-то! — потупилась она.
Но ей было приятно услышать эти слова. Приятно и неприятно в то же время. Неприятно, что он с такой легкостью, без грусти, даже со смехом, вспомнил о том, что было.
А было все очень серьезно, печально, горько и ей и ему. И ему было, пожалуй, горше, чем ей. Конечно, ему было горше. Она помнит — и он, наверно, не забыл, — как они сидели ночью на взгорье, у реки, накануне ее отъезда из Жухарей. И вот так же одуряюще пахли скошенные травы. Он держал ее за руки крепко-крепко и все говорил, говорил. .. Нет, он не был вахлаком, как она подумала сейчас. Вернее — она тогда не считала его вахлаком. Он был простым, красивым парнем. Она любила его. Конечно, не так, как он ее. Он любил ее сильнее. Она помнит, как он тогда заплакал, в ту последнюю ночь, как горячие его слезы упали на ее холодные руки. Ночь тогда была прохладная. И ей было то жарко от его

объятий, то вдруг холодно до дрожи. Он просил ее остаться, не уезжать. А она предлагала поехать вместе. И повторяла все одни и те же слова: «Не могу я загубить свою жизнь. Тем более я завербовалась. Ну что тебе, поедем вместе.» Но он вдруг сердито вытер слезы и сказал, как будто выступает в драмкружке, в пьесе из времен Парижской Коммуны: «Было бы прямо-таки смешно и глупо. Неужели я такой низкий человек, что ни с того ни с сего побегу в такое трудное время? Мне, во-первых, моя комсомольская совесть не позволяет..
И поднялся с травы, такой неожиданно гордый, словно и не плакал вовсе.
Однако он и не осуждал ее тогда. Он долго писал ей письма, звал обратно.
Она сперва отвечала ему. Потом переписка прекратилась. Или, может быть, его письма просто не доходили до нее. Она часто переезжала с места на место. Может, его письма затерялись. Но последнее письмо она хорошо помнит. Он писал: «Милая моя, вечно дорогая, просто драгоценная Настенька! Шлет тебе пламенный комсомольский привет и целует тебя на лету, по воздуху, в твои алые губы, если ты не возражаешь, неутешный твой друг Овчинников Филимон Кузьмич, для тебя же просто Филька-Филимон, как ты меня дразнила, когда мы были маленькими. Жизни нет без тебя, Настенька. Ни на кого и. глядеть не хотят мои печальные глаза...»
И вот он, должно быть, забыл все это. Все, должно быть, выветрилось из сердца до такой степени, что он способен теперь даже со смехом вспоминать про былые чувства: ухаживал, мол, когда-то за тобой, только и всего.
Это, конечно, неприятно Нонне Павловне. Это было бы неприятно, пожалуй, всякой женщине. Но в то же время всякой женщине, особенно когда ей под сорок, приятно слышать, что она все еще в той поре, когда за ней можно поухаживать, как он это грубовато сказал, укрывая ее плечи кожаным пальто.

2

Жеребец бежал навстречу рассвету. По обеим сторонам дороги белели каменные столбики и трепетали густой листвой толстоствольные тополя, которых раньше тут, помнится, не было. И белых придорожных столбиков не было.
И самая дорога была не такой прямой. Видно, ее заново наладили.
Нонна Павловна и Овчинников сидели рядом, тесно прижавшись друг к другу, — иначе в бричке и нельзя было сидеть. Но разговаривали они на самые отдаленные темы — отдаленные от их прошлого, от невозвратных дней юности, от той последней ночи на взгорье, у реки.
Похвалив жеребца за хороший бег, Нонна Павловна между прочим спросила:
— Ты, Филимон Кузьмич, работаешь по-прежнему... председателем?
— Нет, что ты! Я не председатель.
— А ведь был председателем. Мне Даша писала...
— Ну, это когда... еще до укрупнения колхозов. Я в «Красном пахаре» был председателем. А потом, когда мы укрупнились, выбрали другого...
— Кого же? Интересно...
— Бертенева Якова. Ты его не знаешь...
Нонна Павловна улыбнулась.
— Если ты на войне был майором и теперь не председатель, так ваш новый председатель, наверно, полковником был?
— Нет, зачем! — засмеялся Овчинников. — Наш председатель еще молодой. Он и на войне не был. Зоотехник он. Толковый паренек...
— А ты кем теперь работаешь? — спросила она.
— Я? Я — бригадиром. Вот сейчас тебя привезу, сдам с рук на руки, и надо на поля. Вечером уж мы с тобой всласть наговоримся...

Только теперь Нонна Павловна подумала, что разговор у них идет неправильно. Надо бы раньше всего спросить про сестру Дашу. Как она?
— Ничего, — ответил он. — Живем помаленьку, работаем. Ребята растут, учатся.
. — Старшей-то, Насте, кажется, шестнадцатый год?— прикинула Нонна Павловна.
— Восемнадцатый, — поправил Овчинников и, привстав, стегнул жеребца.
Стегнул, похоже, сильнее, чем хотел, и натянул вожжи так крепко, что жеребец вскинул передние ноги и перешел на галоп.
Из-под колес брички вихрем полетела не только пыль, но и щебень и крупные камни.
— Для чего такая скорость? — зажмурилась от ветра Нонна Павловна.
— Ничего. Пусть промнется, — сердито кивнул на жеребца Овчинников. — Пусть промнется, сытый, гладкий...
Все-таки воспоминания, должно быть, взгорячили Овчинникова. Он все привставал в бричке и, размашисто подстегивая коня, приговаривал:
— А ну, а ну, Буран! А ну!..
Только перед самым правлением колхоза Буран, как говорят шоферы, сбросил скорость. И тогда Овчинников, впервые поглядев прямо в глаза Нонне Павловне, сказал:
— Восемнадцатый год пошел с нынешней осени нашей Насте. Восемнадцатый. Столько, сколько тебе было тогда. Помнишь?
— Помню, — как виноватая, ответила Нонна Павловна.
— И похожа она здорово на тебя, — продолжал прямо смотреть ей в глаза Овчинников. — На вашу, словом, само-куровскую породу похожа.
— Это не очень хорошо, — несколько смущенно проговорила Нонна Павловна. — Дочка должна походить на отца. Тогда она будет счастливая. Есть такая примета...
— Ну, это мы поглядим потом, какая она будет по примете, счастливая или несчастливая. Это будет, однако, зависеть и от нее самой, — убежденно произнес Овчинников. — А пока она походит на тебя. Вылитая. И по обоюдному согласию мы назвали ее в твою честь Настей...
Нонне Павловне было почему-то неудобно сказать Овчинникову, что ее теперь зовут не Настей, что она даже в паспорте изменила свое имя. Отчество ей в паспорте не удалось переменить, но все-таки она величает себя не Пантелеймоновной, а Павловной. Так, пожалуй, красивее. Да и когда она могла бы обо всем этом сказать ему, если б даже захотела, — он ведь за всю дорогу не спросил ее, как она живет, как чувствует себя, где работает.
После какой-то странной вспышки, после внезапной горячности он умолк и молчал весь остаток пути.
— Ну вот, — сказал он, когда бричка остановилась у небольшого домика с высоким крыльцом, на котором — уже издали было видно — стояла женщина в малиновой кофточке.
Женщина эта проворно сбежала с крыльца и, заплакав, стала обнимать Нонну Павловну, еще не высвободившую ноги из брички.
— Настенька, родная, сестричка моя!—плакала женщина.
И не то чтобы Нонна Павловна не узнала сестру — она просто растерялась, увидев, что Даша совсем не такая, как думалось. Даша, оказывается, старенькая, и волосы с сединой, и лицо будто обгорелое, и кофточка не столько малиновая, сколько бурая, вылинявшая от стирки. Неужели нельзя было переодеться по случаю такой встречи? Или не во что переодеться?

3

Нонна Павловна обняла сестру и тоже заплакала.

— Ну вот, — повторил Овчинников, поглядев на сестер, вынул чемодан из брички, поставил его на крыльцо и, ничего больше не сказав, уехал.
— Ему на работу надо, — как бы извинилась за мужа Даша, вытирая слезы коричневой рукой.
А Нонна Павловна вытянула из-за выреза на груди маленький, с кружевами, носовой платочек и, приложив его сперва к своим глазам, стала вытирать глаза сестры.
Потом они вошли в дом, пахнуший свежеоструганным деревом, недавно вымытыми полами и нагретой известью, золой и глиной от протопленной русской печи. И хотя дома этого раньше не было, на Нонну Павловну вдруг от всех его стен пахнуло таким родным, давно знакомым духом, что слезы снова выкатились из глаз и повисли на ее красивых ресницах.
— Даша, милая, — проговорила она потрясенно, — да это что же с тобой?
— Что со мной, что со мной? — скороговоркой, будто испугавшись, спросила Даша.
— Да ты какая-то, я не понимаю, старенькая, что ли, сделалась. А ведь ты моложе меня...
— Моложе, моложе, — подтвердила Даша. — На три года почти что моложе. Но вот видишь, ребятишки, заботы. .. А ты-то, Настенька, какая еще красавица! Любоваться только можно...
Нонна Павловна искоса взглянула на себя в большое зеркало, вделанное в дверцу платяного шкафа, и, поправив волосы мизинцем, спросила:
— Живете-то вы как?
— Живем ничего. — Даша стала накрывать стол скатертью. — Можно даже сказать, неплохо сейчас живем. Лучше живем, чем раньше. Чуток лучше.
— С мужем-то у тебя все хорошо?
Нонна Павловна спросила это, как обыкновенно спрашивают не только сестры, но и просто подруги. В вопросе этом не было ничего удивительного. Но Даша вдруг насторожилась и, держа тарелку на весу, спросила:
— Это в каком же смысле?
— Ну, не обижает он тебя?
— А зачем же ему меня обижать? Я тоже работаю...
— Все работают, — сказала Нонна Павловна. — Но мужчины теперь чересчур гордые. Повсюду только и слышно...
А что слышно, так и не сказала. Открыла чемодан, вынула зубной порошок в пластмассовой коробке, полотенце, мыло.
— Мне умыться надо.
— И правда, и правда! — заторопилась Даша. — А я-то, дура деревенская, хотела тебя сперва покормить...
— Я кушать не хочу, — сказала Нонна Павловна. — Я так рано не кушаю...
— Какое же рано? — Даша посмотрела на ходики. — Седьмой час.
— Для нас это рано. — Нонна Павловна перекинула полотенце через плечо.
Даша вывела ее во дворик, где на столбике, под чахлой рябиной, был прибит над тазом умывальник. Но Нонне Павловне было неудобно умываться под ним, и Даша приготовилась сливать ей из кувшина. И, стоя с кувшином, говорила:
— У тебя, Настенька, и кожа-то на личике, я смотрю, чисто девичья — белая-белая. Будто тебя молоком мыли. Не стареешь ты нисколько. Только в теле раздалась немножко. И вправду ты моложе меня...
Даша произносила эти слова без тени зависти. И зачем завидовать? Раньше, в юности, Настя имела преимущество перед сестрой оттого, что была старше: за Настей уже ухаживали парни, Филимон ухаживал, когда Даша еще считалась девочкой. А теперь опять же Настя в превосходстве оттого, что выглядит моложе младшей сестры. Значит, Настя, надо думать, счастливее Даши, значит, такая неодинаковая у них судьба. Интересно, однако, узнать, как это смогла уберечь себя Настя от губительного действия времени? Ведь время-то было нелегкое, для всех нелегкое. Сколько всего пережито было за двадцать с лишним лет, пока не виделись сестры! Взять хотя бы одну войну. Сколько жизней, сколько здоровья унесла война! Сколько всего хорошего сгублено, порушено! А были ведь и другие переживания и другие заботы, сосавшие сердце, сушившие тело. Как же это Настя-то не уходилась от всего этого? Вот она стянула через голову легкое, воздушное платье в крупных цветах. Теперь хорошо видно и алебастрово-белую ее шею, без единой морщинки,

и плечи гладкие, как у статуи, и нежную, полную грудь в затейливом лифе. Или, может быть, она хорошо отдохнула от всего пережитого и снова набралась и сил и свежести в каком-нибудь санатории?
Все это хотелось Даше выспросить, выведать у сестры. И, сливая воду из кувшина, она начала было расспросы, когда в воротах появилась маленькая девочка и, как взрослая, придирчиво заговорила:
— Вы что же, тетка Даша! Где же вы? Ведь народ собрался...
— Ой, и вправду, что же это я! — Даша поставила кувшин на табуретку. — Ой, и вправду, мне ведь надо бежать! Я сейчас, я сейчас, Лизавета, — заверила она девочку. И поглядела на окна своего дома. — А ребята мои еще спят...
— Ты не беспокойся, Даша, я сама их накормлю. — Нонна Павловна стала вытираться мохнатым полотенцем. — Ты иди куда тебе надо...
— На работу мне надо, — сказала Даша. — А я и забыла, что Насти-то нашей нету. Она вчера еще оформляться поехала в райисполком. Уезжает наша Настя, главная помощница моя над ребятами...
Даша ушла, так и не успев толком объяснить, куда уезжает Настя.

4

Проснулись дети. Виктор и Сергей, семи и восьми лет, скуластые, как отец, с синими глазами матери, и Таня, двенадцатилетняя, беленькая, длинноногая. Они не удивились, увидев в доме свою тетю. Они и раньше знали, что она живет где-то в Москве и скоро должна приехать. И сразу стали называть ее тетей Настей.
Нонна Павловна раздала им подарки: мальчикам — по перочинному ножу и по набору цветных карандашей, девочке — дамскую сумочку. Таня сказала «спасибо» и прикрикнула на братьев, не сумевших так же вежливо принять подарки. Потом Нонна Павловна взяла два ножа, с яростным выражением на лице поточила их друг о друга и стала нарезать тонкими ломтиками привезенную ею московскую колбасу. Ножом же она открыла банку с джемом и коробочку с икрой.
Мальчики с еле скрываемым удовольствием смотрели на эту праздничную еду, но ели ее с достоинством, вдумчиво, не торопясь, как, вероятно, и полагается есть настоящим, уважающим себя мужчинам.
Таня очистила селедку и поставила на стол чугунок с картошкой в мундире. К городской еде она не прикоснулась и старалась даже не смотреть на нее, как бы желая показать, что уже не маленькая, чтобы в будни питаться такой деликатной пищей.
Оглядев одежду ребят, дом, вещи, Нонна Павловна «сделала вывод: «Живут не шибко. Хотя, — подумав, добавила она про себя, — получше живут, чем мы когда-то жили. Дом пятистенный, радио, патефон, кровати с шишками, одеяла хорошие, книги.»
— Кто же у вас книги-то читает?
— Все, — ответила Таня. — Ну, правда, не все, — поправилась она, — Витька еще не читает. Я ему читаю. Но он буквы уже знает. В этом году его запишем в школу.
— И мама читает?
— И мама, — подтвердила Таня. — Только она больше про телят читает. А папа сердится...
— Почему же он сердится?
— Он сердится, что она только про телят читает, как их надо воспитывать. А он говорит: «У тебя растут дети». И велел ей прочитать в обязательном порядке книгу «Жатва» Галины Николаевой.
— Ну, и она прочитала?
— Нет еще...
— А папа сильно сердится?

— Сильно...
Нонне Павловне захотелось выспросить у детей все, все о жизни родителей. Ведь у детей лучше всего выспросишь. Но вдруг пришла Настя.
Она оказалась действительно красавицей и действительно была похожа на тетку в молодости, — стройная, гибкая, с загорелым веселым лицом, освещенным лучистыми глазами, с толстой косой, с живыми движениями. Она уже выросла из своего платья, ситцевого, красного с белыми горошинами. А материнские платья ей, видимо, не придутся — она крупнее матери.
Нонна Павловна привезла в подарок племяннице кофточку, но, увидев ее, тут же передумала и решила подарить крепдешиновое платье: «Пусть помнит тетку».
— Ну-ка, Настя, примерь.
Дареное платье тотчас преобразило Настю. Она стала еще красивее и, заключив тетку в жаркие объятия, расцеловала в обе щеки, так что на щеках появились красные пятна.
— Ох, какая ты добрая, тетя Настя! Самая, самая добрая!
Эти слова до того растрогали тетку, что она подарила племяннице еще и янтарное ожерелье, так же, как и это платье, не предназначавшееся для подарка.
— Теперь я хочу, чтобы ты меня поводила по деревне, — сказала тетка. — Я ведь тут вроде как чужая...
— Повожу, повожу, — скороговоркой, подражая матери, пообещала Настя. — Обязательно повожу. Только мне надо сбегать на ферму. У меня там дела. Но я мигом вернусь. Я только скажу Фросе, чтобы она не сердилась, поскольку ко мне приехала тетя...
Настя зашла за печку и переоделась, но надела не то старенькое красное платье с белыми горошинами — видимо, оно было все-таки парадным, — а простую юбку и такую же, как у матери, малиново-бурую, вылинявшую от стирки кофточку.
Вернулась она с фермы не мигом, как обещала, а часа через два.
Нонна Павловна успела за это время хорошо вздремнуть и после сна опять умылась холодной колодезной водой. Она потребовала, чтобы племянница надела дареное платье. Но Настя запротестовала:
— Ну что это вдруг за воскресенье! Я возьму и выряжусь, а люди кругом работают...
И этими словами поставила тетку в несколько затруднительное положение.
Нонна Павловна все-таки решила не переодеваться соответственно будням. Она так и вышла на улицу, в чем приехала, в нарядном платье, в туфлях-лодочках, с красной лакированной сумкой на длинном ремне через плечо.

5

Улица, пыльная, ярко освещенная полуденным солнцем, вначале показалась пустынной. Но за углом, у магазина, толпились женщины.
— Поступила в продажу бязь, — голосом продавца сказала Настя.
Из распахнутых дверей магазина повеяло прохладой, и запахло жестяными ведрами, мануфактурой и — сильнее всего — керосином.
Женщины с любопытством посмотрели на Нонну Павловну, но никто, видно, не узнал ее. Да и она тут тоже никого не знает. Прошли годы. Выросло много нового народу. Девчонки стали женщинами. Женщины стали старухами. Конечно, если остановиться у магазина, найдутся в толпе и знакомые.
Однако Нонна Павловна не остановилась. Ей хотелось пройти к реке. Но и у реки,; где несколько парней смолили большую лодку, Нонну Павловну никто не узнал.
Только старик Жутеев, занятый ремонтом телеги, вдруг ахнул, увидев Нонну Павловну.
— Настя! Батюшки-светы! А я гляжу: что это за актриса ходит? Но потом сдогадался: да это ж Самокурова Настя...

— Здравствуй, Анисим Саввич, — принужденно сказала Нонна Павловна.
— Откуда же ты, Настя, явилась? — поинтересовался Жутеев.
И раньше чем Нонна Павловна успела ответить, другой старик, сидевший за опрокинутой телегой, засмеялся.
— Как откуда? Наверно, из тех же ворот, откуда весь народ...
Этого другого старика Нонна Павловна тоже узнала. Это отец Филимона. Оказывается, он еще жив и такой же ехидно-расмешливый, как раньше. Может, он до сих пор обижается на нее за сына.
Нонна Павловна издали поздоровалась с ним, но заговорила только с Жутеевым:
— Приехала в отпуск. Навестить сестру.
— Видать, занимаешь должность, — оглядел ее Жутеев. — Предполагаешь, значит, отдохнуть на чистом воздухе? Значит, тянет в родные места?
— Как всех, — уклончиво ответила она. И неожиданно покраснела.
— Из Москвы приехала-то?
— Из Москвы.
— Ну-ну! — как бы поощрил ее старик Жутеев. — Это и нам любопытно, когда приезжают из Москвы. Расскажешь. Вечером придем к Филимону...
— Милости просим, — сказала Нонна Павловна и, отходя, подумала: «Интересно, что я ему буду рассказывать?»
Недалеко от берега, на взгорье, — большой дом, первый этаж каменный, второй бревенчатый.
— Это наш клуб. Недавно выстроили. После войны, — объяснила племянница.
Они вошли в полутемное, просторное помещение, увешанное плакатами, диаграммами, уставленное множеством скамей и стульев.
— Здесь мы танцуем, — показывала племянница. — Бывают постановки, доклады. В большинстве сами делаем постановки. У нас свой драмкружок...
Нонну Павловну нельзя было поразить ни клубом, ни драмкружком. Драмкружок был здесь и во времена ее юности. И она сама играла Липочку в пьесе «Свои люди — сочтемся». До сих пор помнит некоторые слова из этой пьесы. И режиссера помнит. Его звали Борис Григорьевич Вечерний. Он был отчего-то несчастный, служил на станции в Жухарях и, кроме того, ездил по деревням, ставил спектакли. Ему за это платили мукой и разными продуктами. Это он когда-то сказал Насте Самокуровой: «Вы с вашей красотой, мадонна, далеко пойдете. Только не продешевите вашу красоту».
— Да, клуб хороший, — вздохнула Нонна Павловна. И печальная тень вдруг легла на ее лицо, когда она выходила из клуба.
Племянница показывала ей издали другие здания.
— Вот наш новый телятник, — кивнула она на узкое, низкое и длинное строение с маленькими окошками. — Мама наша — телятница. Собиралась на выставку, да что-то не получилось. Район нас подвел...
Но Нонна Павловна почти не слушала племянницу. Дакое-то неизъяснимое огорчение внезапно вступило в ее душу, и еще неясно было, откуда оно взялось.
Ей больше не хотелось ходить по деревне. Она остановилась на шатком мостике над протокой и, опершись на березовые неоструганные перила, задумалась о чем-то. Но племянница, не замечая настроения тетки, продолжала рассказывать о новшествах, возникших тут в последние годы.
Она показывала вдаль, на молодой сосновый бор, за которым строятся сейчас каменные здания новой МТС. А в стороне от бора, вон там, где виднеется выгоревший на солнце флаг, в прошлом году выстроили школу, и рядом со школой собираются («собираемся», — сказала племянница) оборудовать стадион.
Племянница говорила обо всем с девической увлеченностью, вспоминала, как они, школьники, работали на воскресниках, разбивали сад вокруг школы. И вдруг вздохнула, точно подражая тетке.
— Если б кто-нибудь знал, как не хочется уезжать!
— А зачем уезжать? — равнодушно спросила тетка, продолжая думать о своем и надкусывая белыми зубами сухую травинку.
— Нельзя, надо ехать, — сказала племянница. — Я поступаю в техникум.

— Вот как? — будто удивилась Нонна Павловна. — В техникум? Это хорошо...
— Конечно, хорошо,— согласилась племянница. — Я сама хотела. Но теперь горюю. Как же я оставлю маму и вообще всё?
Нонна Павловна улыбнулась и, лениво протянув свою полную руку, потрепала племянницу по горячей, румяной щеке.
— Эх, Настенька! Глупая ты еще! Это сейчас тебе кажется трудно уехать. А потом уедешь и забудешь все — и эти сосны, и ели, и эту МТС, и даже мать родную. Обратно сюда тебя, пожалуй, и палкой не загонишь, как поживешь ты в городе да еще выучишься...
— Нет, нет, нет! — запротестовала девушка. — Я обязательно вернусь. И на каникулы буду приезжать. Обязательно. Что я, дезертирка, что ли? Мне, во-первых, моя комсомольская совесть не позволит...
Нонна Павловна опять оперлась на березовые перила и стала внимательно вглядываться в мутную воду протоки, поросшей плавучей зеленью. Потом подняла голову, поправила волосы и неожиданно сердито сказала:
— Ну, посмотрим! Посмотрим, как ты вернешься...
— Обязательно вернусь, — подтвердила Настя. — Меня и учиться посылают, чтобы я потом вернулась. И что же, я буду, выходит, свиньей?
— Глупо! Просто глупо! — порозовела от внезапного волнения Нонна Павловна. — Ты рассуждаешь, как старуха. Бывают ведь обстоятельства. Вдруг ты встретишь в городе человека, влюбишься... Разве можно заранее загадывать?
— Можно, — сказала Настя.
Нонна Павловна впервые сейчас заметила, что девушка не только упрямством, но и лицом похожа на отца. У нее так же выдаются скулы. И она, пожалуй, не такая уж красивая, как подумалось вначале. И подбородок у нее не женский, а скорее мужской, тяжелый. И глаза с каким-то стальным оттенком. И странное дело — родной тетке было даже приятно сейчас думать, что в красоте ее племянницы обнаружились, в сущности, серьезные ущербины.
— Ну ладно, — махнула рукой Нонна Павловна, — спорить не будем. У меня что-то заболела голова.
— А школу нашу не хотите посмотреть? — спросила Настя.
— Нет, это уж лучше завтра.
— Завтра я уезжаю, — вздохнула Настя.
— Разве завтра? — пошевелила тонкими, выбритыми бровями Нонна Павловна. Но не огорчилась. Даже не постаралась сделать вид, что огорчилась.
Племянница теперь была неприятна ей. Нонна Павловна пожалела вдруг, что подарила Насте такое роскошное платье. Достаточно было бы подарить кофточку. А ожерелье уж совсем не к чему было дарить. Просто глупо...
Все задолго до приезда было тщательно рассчитано Нонной Павловной. И какие подарки надо привезти. И сколько денег на них надо затратить. И какое впечатление эти подарки должны были на всех произвести. И какая польза ей самой будет от этой поездки в родные места, где она хорошо и недорого отдохнет, дешевле, чем в любом доме отдыха.
Она еще в конце зимы списалась с сестрой, все выяснила, все обдумала. И все как будто именно так и пошло, как она хотела. Но сейчас ей вдруг показалось, что нет, не все хорошо пошло. Платье не надо было дарить этой своенравной девчонке. Да и приезжать сюда, пожалуй, не надо было. Едва ли она тут хорошо отдохнет.
Настроение Нонны Павловны окончательно испортилось. На самом деле разболелась голова. Это, может быть, еще и от жары. Попробуйте вот так, после дальней дороги, побродить по солнцепеку!..

Вернувшись в дом, она опять прилегла. Но отдохнуть ей не давали какие-то мутные мысли. Вот именно мутные, невыразимые. Вспомнилось детство, юность. Все как-то путалось в памяти, в душе нарастала неясная тревога.
В таких случаях действительно хорошо уснуть. Нонна Павловна закрыла глаза, но задремать не успела — во дворике вдруг послышались мужские веселые голоса и в доме сокрушенно заговорила сестра:
— Вот так всегда, вот так всегда! Ничего заблаговременно не скажет, назовет народу. А я только что с работы. Ничего не готово...
Нонна Павловна вскочила, посмотрелась в зеркало и огорчилась, увидев заспанное лицо. Не спала, а лицо заспанное.
Она быстро потерла щеки сильными ладонями, потом попудрилась и пошла к сестре, гремевшей тарелками у плиты.
Даша все еще сердилась на мужа, будто бы без предупреждения назвавшего столько народу. Но не похоже было, что она сама не готова к приему гостей. Она уже обрядилась в новое, приятно шуршащее платье с белым круглым воротником, гладко причесала волосы, притянув их к затылку, где образовался красивый, пышный узел. 4 Нет, лицо у нее еще свежее, крепкое, только сильно обветренное, — посмотрела на сестру Нонна Павловна. — Если дать ему уход... Но где уж там. .
Даша повязалась передником и стала нарезать на замасленной кухонной доске холодное вареное мясо.
— Давай я тебе помогу,— предложила Нонна Павловна.
Опоясавшись полотенцем, она принялась резать свеклу, картошку, огурцы и лук. Огурцы она разрезала сначала вдоль, потом косо, поперек, и укладывала на тарелку сердечком.
— Так готовят в ресторанах, — объяснила она сестре, прислушиваясь к мужским голосам за окном.
Голоса эти заметно возбуждали ее. Все, что она говорила теперь, называя мудреные салаты и соусы, какие готовят в московских ресторанах, было как бы рассчитано на мужчин, что ходят под окнами. И беспричинно смеялась она тоже с расчетом на них.
Но мужчины все еще не входили в дом. Хозяин им показывал, как он по новому способу окапывает посаженные в прошлом году яблони. Не каждую в отдельности окапывает, а как бы все вместе: прорывает вдоль яблонь канавы, которые он под зиму зальет особым удобрением.
В комнату вбежал запыхавшийся Витька и сообщил матери, что дедушка не придет.
— Ему, говорит, сапоги починять надо. А на нее, он говорит, и так нагляделся. Нет, говорит, в ней ничего ненаглядного...
— Молчи ты, молчи, поросенок! — закричала на него мать.
Но он уже все сказал. И Нонна Павловна все поняла. Дедушка — это отец Филимона. Гордый старик не хочет видеть ее. Однако Нонну Павловну это не сильно огорчило. Она слегка нахмурилась и тотчас же опять повеселела, заметив входящих в двери гостей.
Удивительно интересно смотреть на людей, которых не видел лет двадцать или больше! Все изменились. И Нонна Павловна, конечно, изменилась.
— На улице встретил бы и ни за что не признал бы, — пожал ей руку обеими руками колхозный кузнец Поярков, Федька Фонарь, как его дразнили в детстве за широкое румяное лицо и рыжие волосы. Волос у него осталось мало, и лицо словно усохло в кузнице у горна.
— И я бы не узнал, — оглядел Нонну Павловну Бурьков Прокофий. На войне он оставил ногу и теперь стучит и поскрипывает протезом.
— Неужели я уж такая старенькая? — засмеялась Нонна Павловна, удивленно поднимая тонкие брови.
— Нет, еще ничего, — похвалил ее взглядом Павел Чичагов, красивый, рослый, одетый прямо-таки по-московски: галстук яркий, темно-красная сорочка, серый, ловко скроенный костюм. — Все, как говорится, при вас, все детали на месте...
Вот это, пожалуй, главное. Вот это и наполняет Нонну Павловну женским торжеством.
За столом она, естественно, оказалась в центре всеобщего внимания. Да ведь и собрались-то все в честь ее приезда.
— Ну, москвичка, рассказывай! — уставился в нее взглядом старик Жутеев, подперев свое лисье личико шершавой ладонью. — Рассказывай, послушаем! Интересно.. .

— Давайте сперва выпьем, — поднял графин Филимон. И поглядел многозначительно на Нонну Павловну. — За тебя, Настя. За твои, что ли, успехи...
Нонну Павловну как обожгло этим взглядом. «Наверно, он все еще меня любит», — пронеслось в ее голове. И он показался ей красивее, чем утром. Чуть выдающиеся скулы, пожалуй, нисколько не портят его лица, они даже придают ему еще больше мужественности. Нонна Павловна вдруг вспомнила сильные руки, обнимавшие ее когда-то. Руки его, кажется, стали еще сильнее. Плечи какие! Он весь как литой. И седина, заискрившаяся в черных волосах, не старит, а как бы оттеняет силу и зрелость этого крупного мужчины. Ах, Филимон, Филимон...
Она, привстав, как все, чокнулась сначала с сестрой, со всеми гостями и уж после всех, опустив глаза, с Филимоном.
Гости зашумели после первой же стопки. Вскоре пошла вторая, третья.
Нонна Павловна охотно, не чинясь, пила, закусывала селедкой, ловко подхватывая на вилку промасленные кольца лука, с хрустом кушала свежепросоленные огурцы и с особым удовольствием — с детства любимое холодное вареное мясо с горчицей.
Она раскраснелась, глаза ее заблестели, все движения приобрели ту очаровательную свободу, с какой пляшут, рубят дрова и купаются в речке.
Изредка она поглядывала на Филимона, не прямо, а искоса, и ей казалось сейчас, что достаточно пошевелить бровью — и она немедленно уведет его хоть куда. Но она, понятно, этого не сделает. Что она, разве враг своей сестре? Конечно, этого она никогда не сделает. Однако все-таки ей приятно, самое сознание приятно, что она так всесильна.
Гости сидели за круглым столом, все в одинаковом положении, но Нонне Павловне, чуть захмелевшей, казалось, что она как бы возвышается над гостями, что все взоры, особенно взоры мужчин, направлены только на нее. Да это и нормально, ведь не кто-нибудь, а именно она приехала из Москвы.
Чичагов, сидевший с Василисой Лушниковой, бывшей Ваской Красильниковой, недавно, говорят, вышедшей замуж за председателя сельсовета, беседовал, однако, не с Василисой, а с Нонной Павловной. Ей он протягивал блюда с кушаньями, с ней первой чокался, как бы оттеняя ее превосходство. И Филимон все чаще поглядывал на нее. И Прокофий Бурьков, поскрипывая и постукивая протезом, два раза обошел весь стол, чтобы только чокнуться с ней.
Все это накаляло ее и заставляло непрерывно говорить и смеяться. Иначе, ей думалось, тотчас же угаснет веселье. Она говорила обо всем. Глядя на коротко остриженный затылок молодого человека, сидевшего с ее племянницей Настей, она заметила, что здешний парикмахер не умеет делать тушировку. А тушировка, оказывается, чуть ли не самое главное в парикмахерском деле. Можно было подумать, что Нонна Павловна сама работает парикмахером. Но когда заговорили о том, что этот молодой человек стремится в летчики, она сообщила интересные новости и о реактивных самолетах. Может быть, она летала или летает на них? О московском метро, кинотеатрах, ресторанах, о воспитании в детских садах и даже о болезнях она говорила так, что легко было поверить в ее огромное образование. И Чичагов в такт ее словам кивал головой. Только когда она зачем-то заговорила об особой строгости московской милиции, будто бы задерживающей на улицах небритых людей, Чичагов усмехнулся.
— Чудеса вы какие-то рассказываете.
— А вы вот поезжайте в Москву и посмотрите, — посоветовала Нонна Павловна.
— Да зачем мне ездить? — засмеялся Чичагов. — Я двадцать лет без малого прожил в Москве. Году нет, как сюда приехал...
— Что-то я вас не встречала в Москве, — шевельнула бровью Нонна Павловна.
— Где ж вы меня могли встретить? — сказал Чичагов. — Я на «Динамо» слесарем работал, а вы, наверно... Я уж не знаю, где вы работали...
Нонна Павловна налила в стакан холодного кваса и пила его мелкими глотками, потому что он студит зубы. Может быть, поэтому она и не ответила Чичагову, где работает.
А разговор между тем перекинулся на другую тему. Разговор теперь начал кузнец Поярков. Он придрался к какому-то слову Филимона и воинственно заявил, что дойдет даже до райкома партии, если его не послушают и перенесут кузницу в Вешняки.

— Я тут был после войны, можно сказать, один. Можно сказать, один по всем делам механик. А теперь понаехали разные люди и командуют, и командуют...
Эти слова возбудили всех. Все заговорили сразу. Нонне Павловне было непонятно, из-за чего вдруг разгорелись страсти, из-за чего вдруг вспыхнули и все время молчавшая, кроткая Даша, и племянница Настя, и слишком коротко остриженный молодой человек, и Филимон, и инвалид Бурьков, и Василиса Лушникова, бывшая Васка Красильникова, и вежливый Чичагов.
Нонне Павловне не то чтобы хотелось разобраться в сущности спора, но просто было скучно сидеть молча, и она тоже вставила свое слово:
— Я не понимаю, кому там мешает кузница. Она же в стороне. Я сегодня...
— Да ты и не поймешь! — махнул на нее рукой Филимон, как-то обидно махнул, и повернулся к Василисе Лушниковой. — Вот ты правильно говоришь, Василиса Семеновна. Твое мнение сейчас очень ценно...
Нонна Павловна вспомнила, что эта самая Васка, тогда еще Красильникова, вместе с ней уезжала из Жухарей. Они вместе тогда, лет двадцать назад, завербовались. Вместе ехали в поезде. Вместе работали на строительстве железной дороги. Кажется, носили одни и те же носилки с песком. А потом Василиса, видимо, вернулась сюда, где-то выучилась на агронома, что ли, и теперь ее мнение считается ценным. И Чичагов поддакивает ей. Он сейчас на Василису только и смотрит, когда она говорит, будто Нонны Павловны тут вовсе нет и не было.
— Да уж, верно сказано, наломали мы дров в сельском хозяйстве, — наконец вздыхает он, отодвигая тарелку. — Все это результат, или, как говорится, рецидив недооценки. Нашим машинам нужен массив, и мы, конечно, сломаем все загородки и перегородки. Я, как работник МТС, это ясно вижу. Такая же история была в Хрубинове нынешней весной...
Нонне Павловне не только непонятна, но и неинтересна эта история. И весь этот шум за столом утомляет ее. Она чувствует, как липкая испарина покрывает ее лицо, и шею, и открытые полные плечи.
Она отодвигает стул и уходит в другую комнату. Ей хочется освежиться, хотя бы попудриться.
Только сестра замечает ее отсутствие и выходит следом за ней.

7

В чемодане у Нонны Павловны лежит еще один чемоданчик. В нем много разных больших и малых флаконов и флакончиков, тюбиков и баночек. Она ловко орудует ими, наливает в ладонь одеколону, вытирает лицо и шею, потом пудрится.
— А это вот тебе, — протягивает она сестре два тюбика. — Этим на ночь хорошо натирать лицо. Кожа всегда будет свежей...
— Батюшки, — удивляется Даша, — сколько у тебя снадобий!
— Нужно заботиться о своем лице, — говорит Нонна Павловна. — Лицо для женщины — это все.
Даша молчит, вздыхает.
— А сколько ты, я думаю, всего перевидела! — помолчав, почтительно произносит она. — Я тебя сегодня послушала, так сама ровно везде перебывала. А ведь ты сперва на железной дороге работала, Василиса рассказывала...
— Я недолго там работала. Месяца два, кажется, — вспоминает Нонна Павловна. Голова у нее слегка кружится. Она садится на подоконник у растворенного окна. — Водку вы чем-то настаиваете. Я не привыкла к этому.
— Ну да, ну да, — соглашается Даша. — У нас ведь все по-простому, все по-деревенскому.

В комнату вошел Филимон. Сестры не заметили его. Он присел на корточки у низенького столика, стал выбирать патефонные пластинки, подносил каждую близко к глазам, чтобы прочитать надпись.
А Нонна Павловна, сидя на подоконнике, продолжала рассказывать о себе. Голова ее все еще кружилась. Но легкий ветерок приятно охлаждал разгоряченное тело, приятно шевелил завитки волос на шее и, похоже, сам навевал воспоминания.
И удивительное дело — все, что в прошлом было безотрадным и горьким, вспоминалось сейчас без горечи. Даже с удовольствием вспоминалось.
Это, может быть, оттого, что она тогда была совсем молодой и такой красивой, что, вот честное слово, не было парня, который не таращил бы на нее глаза. Даже старички заглядывались! Хотя она тогда еще не носила красивых платьев, не подбривала брови и губы не красила. Просто она была красивой от природы и, главное, молодой была.
На строительстве железной дороги один десятник, Мякишев Степан, тоже довольно красивый парень, немножко похожий на Филимона, сперва обхаживал ее, все старался облапить, а потом, когда понял, что она совсем не такая, вполне серьезно посватался к ней. Понятно, он ей тоже нравился. Но она подумала: а зачем? Зачем она выйдет за него замуж? Чтобы жить с ним на строительстве в палатке или пусть даже в бараке? Какая у них может выйти перспектива в их семейной жизни? Он, тем более, заметно любит выпивать. Что хорошего-то? Наплодят детей, надо будет их обмывать, обшивать, вытирать им носы. И сверх всего еще придется работать на строительстве, таскать носилки с песком, катать тачку или еще что-нибудь такое. Нет уж, покорно благодарю! Со своей красотой она и лучше устроится. К тому же тут, на строительстве, разнесся слух, что в новую больницу набирают санитарок, будут их учить, и кто пожелает, свободно может выучиться даже на фельдшерицу или медицинскую сестру. Недолго думая, она попрощалась с этим Мякишевым и перешла в больницу.
В больнице она познакомилась с артистом эстрады, которому вырезали аппендицит. Курчавый такой мужчина, немолодых лет и со своим подходом к женщинам. Звали его Аркадий Муар. И ее он стал звать не Настей, а Нонной, доказывая, что это, мол, глупо — при такой красоте называться Настей. И отчество, мол, надо сменить — не Пантелеймоновна, а Павловна. Короче говоря, в каких-нибудь несколько дней он уговорил ее ехать с ним прямо в Москву. А в больнице как раз в этот день, .когда он ее особенно сильно уговаривал, умер один старичок, и ей еще с одной санитаркой пришлось выносить его на носилках в мертвецкую. Ужас, что она тогда пережила! Он ей в первую же ночь приснился, этот покойник. И ведь он не последний, подумала она. Понятно, ведь в больнице не все выздоравливают. Что же это будет у нее за работа?
Муар отвез ее в Москву, но замуж за себя не звал, хотя купил ей два платья, туфли и обещался купить пальто, а также еще обещался устроить на хорошую работу, хотя бы даже в театр. А театры в Москве замечательные...
— Все басни рассказываете? — засмеялся в дверях кто-то, кого не сразу рассмотрела в сгустившихся сумерках Нонна Павловна. Только когда заскрипел протез, она узнала инвалида Бурькова. — Басни мы сами умеем рассказывать, — зашагал он, постукивая, к окну. — А я гляжу, все хозяева скрылись. А обещали патефон завести, «Одинокую гармонь».
— Ах ты, батюшки, что же это такое? — встревожилась Даша. — Ведь действительно — гости... Филимон, что же ты?
— Сейчас заведем патефон, — откликнулся муж. — Сейчас заведем. Я пластинку искал...
Патефон наконец запел, но сестры не ушли от окна.
— Что же дальше-то было? — чуть задрожала от нетерпения Даша. — Ты все рассказывай, ничего не пропускай!
— Короче говоря, имела я неприятности от этого Муара. Спасибо, женщины научили. А то осталась бы я с ребенком на руках, — вздохнула Нонна Павловна и задумалась.
И Даша задумалась. Потом обняла сестру, прижалась к ней и почему-то шепотом сказала:
— А может, Настенька, это и к лучшему было бы? Он вырос бы. Ему сейчас бы как не под двадцать годков сровнялось.
— Кому это? — вздрогнула Нонна Павловна.
— Ну, тому ребеночку, которого ты... извела, что ли?

— Да зачем бы он нужен мне был? — вдруг ожесточилась Нонна Павловна. — Муар и не собирался жениться...
— Все равно, — сказала Даша, — все равно ребеночек был бы твой. Все-таки свое дитя ближе всего к сердцу!
— Да к чему это теперь вспоминать! — махнула рукой Нонна Павловна и опять задумалась.
— Ну, а дальше-то, дальше-то ты как жила?
— Дальше? — повторила Нонна Павловна и неожиданно улыбнулась. — Дальше уж я жила получите. Умнее сделалась.
Она работала билетером в кинотеатре, кондуктором в трамвае, кассиршей в парикмахерской, даже воспитательницей работала в детском саду...
— А в войну-то, — допытывалась сестра, — в войну-то ты где находилась?
— В войну? В войну я эвакуировалась. Город есть такой в Средней Азии — Самарканд. Я туда от завода приехала, с детским садом.
— Вот как! — почему-то удивилась Даша. — Говорят, слишком жарко там. Пески...
— Пески — это ерунда, — отмахнулась Нонна Павловна. — Да я и недолго там жила. Как бомбежки прекратились, я сейчас же вернулась в Москву...
— Опять с детским садом?
— Да на что он мне нужен был, детский сад! Я познакомилась с одним серьезным человеком. Он меня устроил в Москве в распределитель. Вот уж тут все было в моих руках…
Нонна Павловна с удовольствием рассказывала, как она жила в войну, как распределяла продукты, какие платья шила, какие люди водили с ней знакомство, как даже заискивали перед нею. Но этот рассказ, однако, не произвел сильного впечатления на Дашу.
— А я думала, ты в войну на фронте была, — сказала Даша. — Ты про самолеты сегодня рассказывала, я подумала : уж летчицей ли ты сама была? Ведь женщины-то теперь тоже летчицами бывают...
— Да зачем мне это? — опять отмахнулась Нонна Павловна. — Что, мне жизнь моя не дорога? Я про самолеты от знакомых знаю. У меня такие знакомства, что даже у другого генерала таких нету. Передо мной, простой девкой, в войну такие люди плясали в распределителе, что я даже сама удивлялась...
И она снова стала рассказывать про знакомых, каких она приобрела еще в войну в распределителе. И знаменитые артисты ей знакомы, и режиссеры. И ее самое уговаривали сниматься. Один кинорежиссер приглашал ее, исключительно за ее красоту, играть королеву в подводном царстве. А другой, напротив, звал на роль солдатской жены. Она очень хорошо снабжала этого режиссера. Он был очень доволен. Но вскоре посадили в тюрьму за разные дела заведующего распределителем, и в распределителе почти что всех продавцов переменили. Она кинулась было к этому режиссеру — солдатскую жену играть, но режиссер сделал вид, что даже не узнает ее. Да и картину почему-то снимать не стали...
— Ну, а сейчас-то, сейчас-то ты как живешь?
— Сейчас? Сейчас опять хорошо. Я при сатураторе работаю. ..
— Это что же, машина, что ли, такая?
— Вроде того, — улыбнулась Нонна Павловна.
— Вот это хорошо! — обрадовалась Даша. И обняла сестру, как спасенную от несчастья. — На машине работать, Настенька, по теперешним временам, это лучше всего, лучше всего. Даже у нас в деревне все стремятся...
Нонна Павловна, похоже, сконфузилась.
— Глупая ты, Даша! — сказала она, помолчав. — Да это не такая машина. Это вроде аппарат такой для газированной воды. И еще пиво я отпускаю, когда бывает. Но больше я работаю при сатураторе...
— Ну, это тоже хорошо, очень хорошо, — продолжала радоваться Даша. — Все-таки в руках у тебя специальность. У нас и в деревне люди добиваются специальности. А как же! Вот Чичагов тоже из Москвы приехал к нам в МТС. Ты знаешь, как его уважают. Механик...
— Да никакой я. не механик, — засмеялась Нонна Павловна. — Просто мне так удобно. Зарплата, правда, небольшая. Да я за зарплатой и не гонюсь...
— И не надо гнаться, — одобрила Даша. — Не в деньгах счастье. Это и раньше говорили...

— Чего раньше говорили, этого я не помню, — сказала Нонна Павловна. — А мне на моей работе в том смысле хорошо, что я имею отдельную комнату, все удобства. И за свой выходной я могу столько заработать, что другой механик и за два месяца не заработает.
— Вот как? — удивилась Даша.
— Вот так, — усмехнулась Нонна Павловна. — Я за свой выходной все московские магазины обойду, а некоторые даже на такси объеду. Для скорости. Где какие товары продают, которых не хватает, я куплю. А потом — пожалуйста, кому угодно могу уступить, но цена уже будет другая...
— И не боишься? — шепотом спросила Даша. — Ведь это же получается как бы... вред. Государству вред и всем прочим..
— «Вред»! — передразнила ее Нонна Павловна. — Ты бы досмотрела, как меня приветствуют, когда я по домам хожу! А государство от меня не обеднеет. У нас не бедное государство...
— Вот в этом все и дело, — как бы согласилась Даша. — Государство, это правильно, не бедное. И не вечно же так будет, что каких-то товаров не хватает. Ну, а как все наладится, ты что же тогда?
— Ты за меня не беспокойся, — насупилась Нонна Павловна, — я себе найду... — И, вдруг осеклась, опять увидев Филимона.
Он вернулся, должно быть, за новыми пластинками и стоял посреди комнаты. И Даша увидела его. Даша как будто даже испугалась, увидев его.
— Ты чего, Филимоша? — спросила она. — Ты чего?
— Ничего, — ответил он каким-то странным, глухим голосом. — Просто так...
— Завел бы хоть танцы, — уже совсем растерянно попросила Даша.
— Заведу, — пообещал он и медленно пошел к гостям.
А Нонна Павловна как будто очнулась от тяжкого сна.
И с чего это она вдруг так расчувствовалась, разболталась, словно вывернулась наизнанку? Может, это хмель ее так закружил? Или просто всякому человеку хоть раз в жизни хочется с кем-нибудь поговорить откровенно о себе, о своих делах, какие бы они ни были? И это ведь ее родная сестра Даша. Бывало, они в детстве и еще в ранней юности спали рядышком, обнявшись, на сеновале и откровенно-откровенно поверяли одна другой свои девичьи тайны. Как недавно и как давно все это было...
Нонна Павловна, будто девчонка, спрыгнула с подоконника, но пол задрожал под ее увесистым телом. Оно не кажется слишком увесистым, когда она движется, чуть покачиваясь, на высоких каблуках. Оно все еще гибкое, стройное, сильное. И, чувствуя покоряющую силу своего тела, она уверенно оправляет платье, чуть взрыхляет волосы и идет в ту комнату, где шумят гости и патефон сладостно поет о любви.
Ничего особенного не случилось. Чичагов, захмелевший, но не раскисший, а, напротив, приятно возбужденный, протягивает к ней руки. Не Василису Лушникову, бывшую Васку Красильникову, а именно ее, Нонну Павловну, бывшую Настю Самокурову, он приглашает танцевать. И она, улыбаясь заманчиво и как бы утомленно, кладет свою белую, полную руку на его могучее плечо. А инвалид Бурь-ков смотрит на нее посоловевшими глазами и говорит:
— Кабы не мешала мне моя казенная нога, я бы сам с вами прошелся. Уж больно хороши вы во всех статьях...

8

После танцев, когда гости разошлись по домам, Нонне Павловне еще долго не хотелось спать.

Она разделась, но легла не сразу, сидела на кровати, прислушиваясь к дальним гудкам, к стуку движка где-то, должно быть на МТС, к пыхтению какой-то не известной ей машины. Да и за тонкой, оклеенной пестрыми обоями перегородкой, в соседней комнате, еще не спали супруги. Они о чем-то тихо переговаривались. И Нонне Павловне подумалось, что сейчас Филимон про себя вспоминает о ней. Все-таки ему, наверно, обидно, что жизнь его так сложилась, не с ней, а с Дашей. Что из того, что Даша моложе? Любил-то ведь он по-настоящему не Дашу. Да и теперь, увидев свою прежнюю любовь, он, конечно, не мог не пожалеть о прошлом. Нонна Павловна вспомнила, как в Филимоне взыграло сердце, когда он дорогой со станции заговорил о своей дочке Насте, о том, что дочка похожа на тетку, как он вдруг, взгорячась, погнал жеребца и как он смотрел ей в глаза, чем-то потрясенный. Конечно, потрясенный. Эх, Филимон, Филимон...

Нонна Павловна стала стягивать с ноги прозрачный и скользкий капроновый чулок и в этот момент услышала приглушенный, чуть раздраженный голос Филимона:

— Чем это ты намазалась?

Это он спрашивал Дашу.

— Мазь такая. Для лица, — кротко ответила Даша. — Мне Настя дала. Ты против?

— Я-то тут при чем?

— Ну, все-таки, все-таки? Может, тебе неприятно? Это для лица. Настя говорит, нужно заботиться о своем лице...

— Вот именно, — сказал Филимон.

И можно было угадать, что он за перегородкой сердито усмехнулся. И можно было представить себе его суровое, скуластое лицо в тот момент, когда он произнес эти слова.

— Она теперь Нонной называется, — сообщила Даша.

— Как?

— Нонной.

— Это для чего же?

— Ей так гражданин один посоветовал. Вроде как ее бывший муж.

— Ну что ж, ему, наверно, виднее, — опять усмехнулся Филимон.— Но всего бы лучше ей называться Жучкой. На самом-то деле она Жучка и есть. Жучка, которая ненароком забежала в чужой двор. Кто ее поманит, перед тем она и служит. За сладкий кусок...

Тишина. Долгое молчание. Потом Даша обиженно говорит:

— Ты ее манил, еще как манил, да что-то она не больно согласилась...

— Значит, плохо манил, — вздыхает Филимон. Вздыхает и снова, наверно, усмехается. — Не было у меня, значит, в ту пору в руках сладкого куска. Я и сам его тогда не видел. А Жучку известно чем можно приманить...

— Жучка, Жучка! — сердится Даша. — Как не стыдно! Это все-таки моя родная сестра...

— Родная. Так что же, плакать, что ли, нам теперь над ней? — ворочается с боку на бок Филимон, и кровать скрипит под ним. — Люди дело делают, а они, вот эти Жучки, все пробиваются на легкие харчи. Ведь как сказала-то: «Работаю при сатураторе. Вот так при всем она и состоит — при всей нашей жизни. А жизнь идет без нее. Она только барыши собирает...

— Неужели, — спрашивает жена, и голос ее прерывается от волнения, — неужели у тебя никакого Чувства не осталось, Филимон? Неужели у тебя сердце чисто каменное, как у идола какого-нибудь? Ведь ты любил Настю? Ответь: любил? Ответь, я тебя спрашиваю...

— Любил, — глухо признается Филимон. — Думается мне, что любил. И верил, что она человеком будет. Люди уезжают, учатся, ума набирают. А она на что свой разум расходует?

— Вот видишь! Значит, ты ее все-таки любил...

— А теперь тебя люблю. Тебя одну люблю. И главное — уважаю. За все уважаю. И тот несчастный человек, кто уважения не заслуживает...

Слышно, как он дунул в ламповое стекло и как лампа, по-кошачьи фыркнув, потухла.

Нонна Павловна, как замороженная, сидела на кровати. Потом вдруг нестерпимый жар прилил к ее лицу, к плечам, ко всему телу. Ей сделалось душно.

Бессознательным движением она стала снова натягивать чулки и впервые почувствовала, как накурено в доме. Гости накурили и ушли. Надо бы проветрить, раньше чем ложиться спать.

Она поднялась, в одних чулках прошла по комнате, тихонько растворила окно, и прохладный воздух обнял ее. Как рыба, выброшенная на песок, она глотала этот воздух — воздух спасения и жизни, полный запахов только что скошенных трав, целебных и сытных, пропитанных благодатным соком и согретых всемогущим солнцем.
Под окном, вдоль канав, прорытых вокруг молоденьких яблонь, чернела свежевскопанная земля. И яблони дремотно шелестели подсушенной зноем листвой.
Прямо в лицо Нонне Павловне светила луна.
Эта деревенская луна светила ей вот так же, когда Нонна Павловна была еще не Нонной, а Настей — маленькой, худенькой, белобрысой девочкой с тонкими косичками, потом красивой девушкой с крепкими, румяными щеками, которую хвалил в драмкружке за красоту заезжий режиссер Борис Вечерний. И когда ей не спалось по ночам, она вот так же, навалившись грудью на подоконник, смотрела в лунную даль, смотрела бездумно, как сейчас, но волновалась от предчувствия счастья, которое где-то ожидает ее. И она уехала отсюда на поиски счастья.
В городах, где она жила, она как-то не замечала луны. И звезд не замечала. Будто луна и звезды не освещают городов, будто их там не видно. Но свет деревенской луны навсегда остался светом ее счастливых сновидений. И мыслями своими, как все мы, она привыкла возвращаться в родные места, где еще, наверно, помнят ее и где обязательно удивятся, когда увидят, какой она стала — какой была и какой стала.
Всякому человеку, к сожалению, свойственно думать о себе не так, как думают о нем другие. И Нонна Павловна уверена была, что всех в деревне поразит даже ее внешний вид. Ведь в самом деле она похожа на киноактрису. Ведь тот капитан в поезде, Дудичев, что ли, так и уехал в убеждении, что ему повезло, что он счастливо познакомился с киноактрисой. И вдруг сейчас этот деревенский мужик Филимон — ну конечно, мужик! — точно уличил ее в краже, точно раздел ее донага одним только словом «Жучка».
Вероятно, если бы он сказал ей это в глаза, она нашлась бы что ему ответить. И ответила бы дерзко, даже нахально, как она умеет. Но сейчас она ничего не может сказать. Он как бы застал ее врасплох и поселил в ее душе такую сумятицу чувств, что сегодня она, пожалуй, не уснет, не сможет уснуть.
Она надевает платье, туфли и тайком вылезает в окно, даже забыв его притворить как следует. Крадучись она пробирается мимо кустов в палисаднике и выходит в поле.
Ноги ее в модных туфлях увязают в рыхлой земле, но она все идет и идет без всякой цели, без надежды освободиться от гнетущего ощущения какого-то несчастья, только что приключившегося с ней. А может быть, это несчастье произошло уже давно, но она только что почувствовала его? Может быть, ее томит теперь сознание, что она напрасно когда-то уехала отсюда? Но ведь она уехала не одна — тысячи людей уезжали. И еще будут уезжать. И будут возвращаться. А другие не возвратятся никогда. Да и не уезжавшие тоже не во всем и не всегда правильно жили и живут. В чем же виновата она? Неужели одно только слово «Жучка» подняло со дна души такой клубок тоски, которого не развить и не размотать, и он будет давить на сердце? Нет, пожалуй, дело не в одном только слове.
Уже за столом, когда было весело от вина и шума, случилось что-то такое, из-за чего Нонна Павловна вдруг вышла из-за стола и потом неожиданно разоткровенничалась с сестрой. Она хотела что-то доказать сестре, себе хотела что-то доказать, а получилось все не так, как она хотела. Она, правда, не собиралась рассказывать сестре всего о своей жизни, но как-то так случилось, что рассказала все. И не только сестре рассказала, не только Филимону, который, оказывается, подслушивал, но и самой себе. И у нее теперь было такое впечатление, будто она сама впервые услышала все о своей жизни.
Ей вспомнился сейчас весь вечер, во всех подробностях. Вспомнилось, как Чичагов, не обращавший сперва никакого внимания на свою соседку по столу Василису, когда заговорили о какой-то кузнице, уже забыл, должно быть, что Нонна Павловна тут тоже сидит, и слушал и смотрел только на Василису. И хотя в конце вечера он танцевал не с Василисой, а с Нонной Павловной, это, однако, ничего не изменило.
Ничтожные эти подробности почему-то угнетали Нонну Павловну.
В сущности душевно очерствевшая, да и раньше не искушенная в тонких чувствах, она привыкла все в жизни измерять как доход и убыток, как выигрыш и промах. И у нее сейчас было такое тревожное ощущение, будто ее за что-то должны наказать, будто она у кого-то

что-то украла. То, напротив, ей казалось, что ее самое беспощадно ограбили, лишили каких-то прав и преимуществ, которыми она пользовалась еще час назад.
Еще час назад Чичагов, танцуя, держал ее за талию и говорил с придыханием, что она похожа на артистку из «Встречи на Эльбе». И знакомая маникюрша ей когда-то сказала: «Ни за что не подумаешь, что ты из деревни». И Нонна Павловна гордилась этим. И еще чем-то гордилась. Ей казалось, что она достигла каких-то высот. И вот с высот этих ее сбросил сейчас Филимон, сбросил одним словом. А может, и высот-то никаких не было? Отчего это она вообразила себя на высотах?
Униженная, растерянная и даже чем-то испуганная, она шла, запинаясь, увязая в рыхлой почве. И клочья воспоминаний стремительно проносились в ее голове. То ей вспоминался Аркадий Муар, то ничем не связанный с ним кинорежиссер, предлагавший ей играть солдатскую жену, то опять капитан Дудичев из вагона. Все проехали и прошли мимо нее. Или она проехала мимо всех...
И вот осталась она в жизни совершенно одна, как сейчас в этом пустынном поле под луной. И никому не нужна. Ну вовсе никому.
Даже сестра ее Даша, простая телятница, презирает ее. Или это только показалось Нонне Павловне? ..
Так, в смутной тревоге и тоске, она прошла все поле и остановилась на взгорье, у широкого полусгнившего пня от древней ветлы.
Все изменилось за эти годы, все перепахали, перерыли, перестроили, а этот пень трухлявый как стоял здесь, так и стоит.
У этого пня Настя Самокурова прощалась когда-то с Филимоном Овчинниковым. И так же светила луна, и так же пронзительно пахли скошенные травы, и так же сонно плескалась у взгорья вода в каменистой речке. Что же произошло с той поры?
Нонна Павловна, в полном душевном расстройстве, но руководимая привычным автоматизмом движений, подобрала платье, чтобы не смять, уселась на этот пень, как сидела тогда, двадцать с лишним лет назад. Рядом с ней тогда стоял, потом сидел, обхватив ее колени, Филимон Овчинников. Влюбленный, безутешный, печальный. И он же сегодня, он же обозвал ее бранным словом и, наверно, спокойно спит, не томимый совестью, со своей женой. Конечно, спит. А Нонна Павловна сидит одна на пне и чувствует, как у нее отчего-то тяжелеют ноги.
Это они от грязи тяжелеют, от глины, налипшей на лакированные туфли. Не отчистить их теперь, не отмыть. Лак обязательно отстанет. Испорчены туфли, окончательно испорчены. ..
Взглянув на ноги; Нонна Павловна вдруг ожесточилась. Да ну это все к черту! Всех родственников к черту! И все эти воспоминания! Она и одного дня тут не останется. Она сегодня же уедет и все забудет. Подумаешь, невидаль — родная деревня, родная сестра! Двадцать лет жила без них и еще проживет сколько захочет. Ну их всех к черту!
Она поднялась с пня и решительно зашагала по скошенной траве в тяжелых туфлях. И все-таки чувство душевной тревоги не оставляло ее. Что-то сегодня надломилось, оборвалось в ее сердце...
У высокой, одиноко стоящей на взгорье сосны она услышала приглушенные, взволнованные голоса. Остановилась, прислушалась, вгляделась и тотчас же увидела круглую, коротко остриженную голову того молодого человека, что сидел рядом с ее племянницей Настей за ужином. И Настю она тут же увидела. Да и молодые люди, должно быть, заметили Нонну Павловну, зашептались быстро-быстро. Потом Настя встала и пошла навстречу тетке. А круглоголовый паренек исчез, — видимо, спустился к реке.
Настя подошла к тетке, обняла ее, сказала:
— Я завтра уезжаю. Мы прощаемся.
И заплакала. И Нонна Павловна неожиданно для себя заплакала вместе с ней. Заплакала даже сильнее Насти. Заплакала так, что Настя испугалась и усадила тетку на траву прямо в нарядном платье, которое та не успела подобрать.
Не только плач, но и лицо тетки удивило племянницу. Оно вдруг стало старым, пепельно-бледным. Или это лунный свет дает такую окраску?
А скошенные травы прямо-таки исступленно пахнут вокруг.
Прямо душу рвут они своим запахом.

Москва, март 1955 г.

Знакомство с Тишковым

1

Первым этого посетителя заметил секретарь райисполкома Акатьев. И хотя в посетителе не было на взгляд ничего необычного, Акатьев все-таки сразу встревожился.
Встревожился, правда, на одно мгновение.
«Не может быть, — тут же успокоил он себя, вглядевшись издали в этого неопределенного возраста человека, шедшего по коридору несколько неуверенной походкой. — Не может быть, что это сам Перекресов. Больно простоват. Это, наверно, какой-нибудь командировочный. Мало ли их...»
И Акатьев прошел в свой пасмурный кабинет: по случаю весны топить перестали, а солнце еще слабо греет, и от каменных стен отдает холодом. Он закурил, включил приемник и, однако, раньше чем диктор заговорил о весеннем севе, опять подумал: «А вдруг это все-таки Перекресов? Здорово похож лицом...»
Акатьев выглянул в коридор, но посетителя уже не видно было.
Посетитель прошел прямо в приемную. И Олимпиада Семеновна, тоже, как и Акатьев, слушавшая радио, даже не подняв глаза на вошедшего, сказала, что председателя нет, что председатель еще не приходил и что она в конце концов не может знать, где сейчас Сергей Варфоломеевич. Он, мол, приходит когда хочет. Может и вовсе не прийти.
— Как же это так? — мягко возразил посетитель. — Ведь начало занятий, кажется, в девять...
В этот момент и вошел в приемную Акатьев.
— А вы по какому вопросу? — спросил он, глядя на посетителя и внимательно и взволнованно.
— Да я, собственно, хотел видеть Сергея Варфоломеевича, — как бы замялся посетитель.
— По личному, что ли, вопросу? — еще раз поинтересовался Акатьев.
— Да нет, пожалуй, не по личному, — улыбнулся посетитель и сам спросил: — А вы кто?
И вот так он это спросил, как будто и просто и мягко, но все-таки с чуть уловимой строгостью, что Акатьев вдруг растерялся и, отбросив все сомнения, понял, что перед ним стоит действительно сам Перекресов, которого он видел до этого только один раз, и то в областной газете на снимке. Да и посетитель, когда Акатьев назвал свою должность и фамилию, сказал:
— Я Перекресов. Вот что, товарищ Акатьев: нельзя ли все-таки поискать Сергея Варфоломеевича?
Всех удивило не то, что Перекресов сюда приехал. И до Перекресова в Утаров приезжали не раз секретари обкома. Непонятно и просто загадочно было, на чем он прибыл, на каком, так сказать, виде транспорта.
Поезд очередной прошел через Утаров часа два назад. И едва ли секретарь обкома поехал бы на поезде. Проще же всего на машине — на «ЗИСе», на «ЗИМе» или в крайности на «Победе». Но никаких автомобилей близ райисполкома не было, когда Акатьев пешком

пересекал площадь, чтобы лично известить председателя на квартире о таком неожиданном визите.
Марина Николаевна, веселая толстушка, поливала цветы на открытой террасе. Увидев Акатьева, она помахала ему рукой, потом поставила лейку и, кивнув на окна, приложила палец к губам, что значило: «Не шуми, Сергей Варфоломеевич спит».
— Перекресов, — сказал, тяжело дыша, Акатьев, даже забыв поздороваться.
— Что Перекресов?
— Перекресов приехал. Будите скорее Сергея Варфоломеевича. Вот сейчас начнется компот...

2

— Убил меня Терентьев, — тяжко вздохнул Сергей Варфоломеевич, когда Марина Николаевна наконец растолкала его на кровати и он с трудом уяснил, в чем дело. — Просто убил... Устроил, понимаешь ли, в такое время свадьбу своей дочки, оторвал от дела столько ответственных людей — и вот теперь, пожалуйста... Звони, Марина, к Коршуновым... Ой, да ведь и Коршунова-то нет! Ну, теперь все!
Сергей Варфоломеевич, заспанный, всклокоченный, вышел в столовую и, заметив в растворенную дверь Акатьева, стоявшего в передней, крикнул раздраженно:
— Да чего же ты там стоишь? Заходи!
— Вы не беспокойтесь, Сергей Варфоломеевич! — взволнованно начал Акатьев. — Что касается цифрового материала, у нас все под руками. Мы как раз вчера подбили итоги...
— Глупый ты человек, — слабо улыбнулся председатель. — Извини меня, но ты, ей-богу, глупый. Перекресову цифры не нужны. Это Виктор Иваныч любил цифры. Он за цифры и пострадал. А Перекресов, это известно, любит все поглядеть в натуре. Любит с черного хода зайти. Он вот так же, передавали, в Заюрск заехал. К нему кинулись с цифрами, а он говорит: «Назовите мне лучше, какие вы знаете сорта ранней капусты». Ну, и первый секретарь райкома тут же, на глазах у всех, и скапустился. Перекресов — это черт своего дела! — Сергей Варфоломеевич округлил глаза. — Боже мой, какая невиданная перестройка идет по всем вопросам, а мы, то есть вы, — строго посмотрел он в упор на Акатьева, — все норовите по-старому! Цифры! Сергей Варфоломеевич зажмурился, как от горького. — И к тому же эта глупая свадьба у Терентьева. Ну, скажи на милость, кто устраивает свадьбы ранней весной? Все добрые люди, в сельской тем более местности, приурочивают свадьбы к осени, после уборки хлебов. А у Терентьева дочь, видишь ли, торопится. Она с мужем едет на целинные земли. Представьте, какая срочность! И до трех часов ночи почти весь актив в такое горячее время поет песни. Славное, видишь ли, море, священный Байкал... Ну, кому это, спрашивается, нужно? И какое, допустим, дело мне до свадьбы дочери начальника раймилиции? «Нет, говорят, уважьте, Сергей Варфоломеевич, милости просим, а то мы, говорят, обидимся». Я зашел только поздравить молодых, а теперь вот, пожалуйста, десятый час утра, а я еще сплю...
Говоря все это, председатель завязывал галстук, причесывался, надевал сапоги, невольно нарушая последовательность этих операций. Потом нехотя, морщась, выпил стакан холодного молока, поданный Мариной Николаевной, и, не торопясь, обдумывая положение, пошел вслед за Акатьевым.

3

Перекресов уже ходил взад-вперед у подъезда райисполкома, затененного черными кустами еще не олиствившейся акации.
Невысокий, плотный, седоватый, с чуть заметной хитрецой во взоре, он ничем не напоминал вечно хмурого Виктора Ивановича. И все-таки, когда Перекресов протянул руку Сергею Варфоломеевичу, в глазах у председателя мелькнула искорка испуга, что ли.
— Вы, должно быть, отдыхали? — любезно спросил Перекресов. — А я вас потревожил...
— Ну, какой уж теперь отдых! — уклончиво ответил председатель. — Все силы, можно сказать, кладем на весенний сев. И ночи приходится прихватывать. — И тут же подумал сконфуженно и оторопело: «Врать бы не надо насчет ночей. Глупо получается».
— Я хотел вас просить поехать со мной в Желтые Ручьи, — сказал Перекресов.
— В Желтые Ручьи? — удивился Сергей Варфоломеевич. — Ну что ж. Пожалуйста. Только, — он оглядел площадь, — только, я думаю, ваша машина туда не пройдет...
— А у меня нет никакой машины, — развел руками Перекресов. — Я поездом приехал.
— Поездом? — опять удивился Сергей Варфоломеевич и обеспокоился: — Так вы, стало быть, и не завтракали?
— Нет, я позавтракал, — улыбнулся Перекресов. — В чайной у вас тут позавтракал...
— В чайной? — будто ужаснулся Сергей Варфоломеевич. — Так там же грязюка. Какой же там может быть завтрак? — И сразу пожалел, что произнес эти слова, потому что Перекресов прихмурился.
— Ах, вот как! Значит, вы знаете, что в чайной грязно? А я-то думал, что местная Советская власть еще не дошла до этой чайной...
— Не дошла, это точно — не дошла, — поспешно согласился председатель, привыкший без промедления признавать свои ошибки и уверенный, что тех легче судят, кто быстрее свои ошибки признает. — Но я вас заверяю со всей партийной ответственностью...
— Вы лучше своих избирателей заверьте, — посоветовал Перекресов и спросил: — Так как же мы с вами поедем в Желтые Ручьи?
— Вот уж и не знаю, — смешался Сергей Варфоломеевич. — Прямо не знаю. Сами-то мы больше на лошадях: там машины постоянно застревают. Ведь дороги у нас просто наказание. Вот за что нас надо бить — это за дороги...
— Ну, уж сразу бить! — опять как бы смягчился Перекресов.
И Сергей Варфоломеевич, было приунывший, воспрянул:
— Может, мы зайдем в райком, к товарищу Никитину?
Это показалось ему спасительным шагом. В райкоме Никитин сразу придумает, как быть. И внимание Перекресова в райкоме переключится с Сергея Варфоломеевича на Никитина. Будет легче. Но Перекресов сказал, что он уже был в райкоме. Никитин, говорят, еще вчера уехал по колхозам.
— Да ведь верно, — вспомнил председатель. — Верно, Никитин уехал. Он у нас золотой человек, все время на колесах, все время...
— А вы? — спросил секретарь обкома. — Вы сами давно были в Желтых Ручьях?
— Не так чтобы давно. Сравнительно недавно, — не очень твердо ответил Сергей Варфоломеевич и опять обреченно подумал: «Врать бы не надо. Это всегда хуже, когда врешь».
Сергей Варфоломеевич хотел предложить поехать в «Авангард», или в «Искру коммунизма», или лучше, пожалуй, в «Пламя революции». Но ведь как предложишь? Секретарь обкома подумает, что председатель хочет что-то скрыть. В Желтые Ручьи — так в Желтые Ручьи. Что же делать?
— Позвольте, я только кого-нибудь приглашу с собой из наших специалистов, — сказал Сергей Варфоломеевич. — Допустим, можно взять нашего агронома. Будет неплохо...
— Нет, нет! — запротестовал Перекресов. — Вот этого не надо. Не надо отрывать людей. Мы с вами все-таки не на свадьбу едем...
«Наверно, он и про свадьбу у Терентьева узнал, — быстро и потерянно подумал Сергей Варфоломеевич. — И вот всегда так: в кои веки попадешь на свадьбу, а уж разговоры пошли. Можно подумать, что мы только и делаем, что ходим на свадьбы».

— Позвольте, я тогда распоряжусь, чтобы подали лошадь.

4

Перекресов продолжал ходить взад-вперед у подъезда райисполкома. Он начал уже проявлять нетерпение, когда к подъезду подкатила пролетка, запряженная сытым буланым жеребцом.
На козлах сидел благообразный старик с белой бородой.
А Сергея Варфоломеевича все еще не было. Наконец он появился в сопровождении худощавого мужчины в очках и в брезентовом дождевике.
— Ты слезай, Аким Семеныч, — сказал он кучеру. — Отдыхай. Вместо тебя вот Григорий Назарыч сядет. Это будет вернее...
Перекресова удивила внезапная смена кучера. Но председатель объяснил, кивнув на белобородого старика:
— Дорога там, я же говорю, тяжелая. А он, видите, какой древний. Куда там ему! Пусть отдохнет...
Поехали. Перекресов сидел рядом с Сергеем Варфоломеевичем и, глядя на темные поля, где солнце еще не растопило последние пестрые островки слежавшегося снега, спрашивал о семенах — проверялись ли они на всхожесть, каковы результаты; интересовался тракторами и сеялками, выяснял, весь ли инвентарь отремонтирован. Почти на все вопросы председатель отвечал уверенно. Только когда зашел разговор о Желтых Ручьях, он стал заглядывать все чаще в записную книжку. Но и в записной книжке не все, видно, было записано о том, что касается Желтых Ручьев. Председатель затруднился ответить, в каких дозах там вносился суперфосфат.
На этот вопрос вдруг ответил кучер, повернувшись на козлах. И затем, так повернувшись, сидел почти всю дорогу, отвечая и на другие вопросы Перекресова, когда чуть затруднялся Сергей Варфоломеевич. Кучер свободно говорил и о надоях, и о настригах шерсти, и о необходимости ознакомить трактористов со способами квадратно-гнездового сева и называл на память цифры прошлогоднего урожая в этих местах.
Осведомленность кучера не только удивляла Перекресова, но и временами, должно быть, раздражала Сергея Варфоломеевича.
— Ты гляди, Григорий Назарыч, как бы у тебя жеребец не уснул, — кивнул на лошадь председатель. — Подстегни его, не жалей. А то мы с философией-то не скоро доедем.
Дорога в самом деле оказалась очень плохой, раскисшей — выбоины, бугры, глубокие лужи. Пролетку все время качало из стороны в сторону, и седоков забрызгивало липкой шоколадной жижей.
Сергей Варфоломеевич на каждом ухабе болезненно морщился, вздыхал и виновато взглядывал на Перекресова: вот, мол, в какую поездочку я вас втравил, или, вернее, вы меня втравили, уж не знаю теперь, кого винить.
Перекресов, однако, сидел невозмутимый. Только один раз он засмеялся.
— Поделом, видно, забрызгивает нас жижей, поделом! Давно бы надо было проехаться по этим местам!
— А я так считаю, — засмеялся и кучер, — что дела наши скоро повсеместно исправятся. Вот именно — повсеместно.
— Почему вы так считаете?
— Потому, — хитро прищурился кучер, — что раньше областные товарищи дальше «Авангарда» не ездили. Виктор Иваныч — я против него ничего не имею — в последний раз только до «Пламя революции» доезжал. Ну, правда, ничего не скажешь, «Пламя революции», а также «Авангард» богатейшие колхозы. И дороги туда исправные. А до Желтых Ручьев надо еще доехать...

— Едва ли сегодня доедем, — усомнился Сергей Варфоломеевич, издали поглядев на мост через Кудинку.
Буйная речонка Кудинка, обрамленная голыми прутьями кустарника, чешуйчато поблескивала под солнцем.
Бревенчатый мост, расшатанный тракторами, заметно дрожал в ее быстром течении. И у самого моста вода бурлила и пенилась с особой яростью: что-то препятствовало ей.
— Тут трактор свалился с моста, — показал кнутом кучер.
— Давно свалился? — спросил Перекресов не кучера, а Сергея Варфоломеевича.
Сергей Варфоломеевич пожал плечами.
— Вторые сутки он тут купается, — сказал кучер, глядя на яростный водоворот.
Проехать по мосту было невозможно, — в настиле не хватало многих досок.
— Н-да, — вздохнул председатель. — Вот видите. Хозяйство... — И первым стал вылезать из пролетки.
Он как бы рад был тому, что теперь и секретарь обкома увидит, какие тут трудные, сложные, просто расшатанные дела, как им всем тут трудно — всем районным руководителям. И в то же время Сергей Варфоломеевич сознавал, что секретарь обкома едва ли посочувствует, едва ли...
Однако теперь уже ясно, что они не проедут в Желтые Ручьи. Да там и нет ничего хорошего. И не может быть. Наверно, оттуда, из Желтых Ручьев, написали какую-то кляузу в обком, вот Перекресов и стремится туда.
У Сергея Варфоломеевича затекли ноги. Левая нога даже одеревенела, и он волочил ее, как протез. Перекресов участливо спросил:
— Это что же у вас, после ранения?
— Нет, — сконфузился Сергей Варфоломеевич. — Просто, как говорится, отсидел ногу. Это сейчас пройдет...
Перекресов внимательно оглядывал мост. И как бы между прочим сказал:
— А на войне вы не были?
— Нет, как же, был! — почти весело откликнулся Сергей Варфоломеевич. Правда, не на самой войне, а вроде как бы поблизости. Я всю войну на ВАДе прослужил. Это военно-автомобильные дороги. Сперва за Москвой находился, потом — за городом Калинином...
— Вы что же, специалист по дорогам?
— Нет, какой я специалист! Просто так случилось. У меня хорошая характеристика была и, кроме того, болела печень.
— А сейчас как печень?
— Ничего.
Перекресов как будто только и ждал этого успокоительного заявления о печени. Не раздумывая больше, он ступил на мост и, держась за шаткие перила, пошел по бревну на ту сторону.
Немного помедлив, за ним по тому же бревну направился и председатель. И кучер, привязав лошадь к телеграфному столбу, тоже последовал за ними. Только он не шел, а перепрыгивал с перекладины на перекладину. Поэтому он скорее вышел на другой берег и, поздоровавшись с рабочими, столпившимися на берегу, насмешливо спросил:
— Ну как, мужички, все еще чикаетесь?
— Чикаемся, Григорий Назарыч. Действительные слова, чикаемся, — обтер смятой кепкой вспотевший лоб пожилой рабочий. — Опять трос оборвали. Прямо как в детской сказке: «Ох, нелегкая эта работа — из болота тащить бегемота!» И ведь все из-за озорства. Он, говорят, пьяный был, этот Митька Осетров. Прямо судить бы надо за такие дела! И мост тоже, прости господи...
— Вот что, — сказал, поздоровавшись с рабочими, Перекресов. — У меня к вам просьба. Настелите, пожалуйста, хоть несколько досок, чтобы мы могли проехать.
А председатель ничего не сказал. Он только снял фуражку и сначала тщательно протер носовым платком ее клеенчатую подкладку, потом стал вытирать потное лицо, шею и рано облысевшую голову.
Обильный пот заливал все его рыхлое тело. Сергей Варфоломеевич ослабил галстук и расстегнул пуговицу на вороте рубашки. В висках покалывало. Все-таки он, должно быть, не выспался после этой глупой свадьбы. Да и солнцем изрядно нагрело. Солнце нынешней

весной какое-то странное — то светит и греет вовсю, то скроется за облаками, за тучами. И сейчас у моста все опять потемнело, как перед дождем. Может быть, правда, соберется дождь?

5

Сергею Варфоломеевичу хотелось, чтобы начался дождь, чтобы случилось вдруг хоть какое-нибудь несчастье, в котором мгновенно бы изменилось все и не надо было бы ехать в эти Желтые Ручьи.

Подавленный самой неожиданностью визита секретаря обкома, душевно вялый, он, пожалуй, все-таки преувеличивал сейчас тяжесть своего положения. Ну чем, в самом деле, угрожают ему эти Желтые Ручьи? Чего он боится? Не был он там, правда, давно — с прошлой осени не был. Прошлой осенью там сменили председателя колхоза. Сменили его еще при Капорове.

Вспомнив бывшего первого секретаря райкома Капорова, снятого с работы в начале истекшей зимы, Сергей Варфоломеевич уж совсем приуныл.

Рубашка прилипла к его спине. Он пошевелил лопатками, желая освободиться от ее липкого прикосновения. Хотел было снять пиджак, но побоялся: от воды тянет свежим ветерком, а у него недавно было воспаление легких.

Воспалением он болел как раз в ту пору, когда снимали Капорова. И Сергей Варфоломеевич был уверен, что его после болезни тоже снимут, поэтому он долго болел. Но его не сняли. Напротив, новый секретарь райкома в первые дни обласкал его, сказал: «Будем работать артелью, дружно».

Дружной работы, однако, не получилось.

При новом секретаре Сергея Варфоломеевича все чаще стали пощипывать на бюро райкома, стали подкапываться под него, как определила это его супруга Марина Николаевна.

И сейчас Сергею Варфоломеевичу, стоявшему среди волнуемого легким ветерком голого кустарника, казалось, что то недавнее время, когда они работали с Капоровым, утекло навсегда и бесследно, как вот эта вода, что бурлит под мостом, яростно ревет на камнях, на том месте, где затонул трактор, и несет на себе какие-то щепки, ветки и разный мусор.

Время, недавнее, невозвратное, представлялось теперь Сергею Варфоломеевичу добрым и милым, хотя тогда тоже были свои огорчения.

Нет, они с Капоровым никогда не бездельничали: они постоянно волновались. Но у них была какая-то очередность в работе. Они отводили кампанию, допустим, уборку, заканчивали ее, рапортовали и ждали новой кампании.

А теперь все требуется делать сразу. И никаких рапортов.

Никитин старается проникнуть во всякую щель.

Однако до Желтых Ручьев и Никитин пока не добрался.

И вот сейчас за все, что там увидит Перекресов, придется расплачиваться одному Сергею Варфоломеевичу.

Сергей Варфоломеевич все-таки решился снять пиджак, хотел почистить его, но только встряхнул, подержал в руках, потом накинул на плечи и почувствовал некоторое облегчение.

Неудобно, пожалуй, что он вот так в сторонке стоит, когда Перекресов разговаривает с рабочими МТС. Надо бы хоть спросить, кто это утопил трактор и какие меры предпринимаются, чтобы его вытащить.

Сергею Варфоломеевичу показалось, что он простоял тут, в кустарнике, целый час, хотя не прошло и пяти минут. Впрочем, никто не заметил, что он стоял в стороне. Мало ли зачем

человеку требуется иногда отойти... Нет, все преувеличивает Сергей Варфоломеевич в своем странно подавленном состоянии.
Наклонившись, он подтягивает голенища сапог, просовывает руки в рукава пиджака, застегивает его как следует на три пуговицы («Ничего, что жарко... не разжарит. Перекресов пока не снимает свой китель») и неторопливо, степенно подходит к рабочим.
— Чей это трактор? — показывает он на реку. — Битюгова? Вы смотрите, значит, опять Битюгов допускает черт те что. А ведь мы его, кажется, крепко предупредили прошлый раз на бюро. А где он сам?
— А кто его знает, — небрежно отвечает молодой рыжеватый парень.
Не глядя на председателя райисполкома, он садится на свою стеганую телогрейку, брошенную на прошлогоднюю траву, не без натуги снимает сапоги, разматывает портянки, потом расстегивает армейского образца брюки и, смеясь, скинув их, входит в холодную воду. То же самое делает второй парень, третий.
Под ногами у них, в воде, должно быть, скользкие, может, еще обледеневшие камни. Парни оступаются на камнях, подскакивают, хохочут, ругают какого-то Митьку Осетрова, утопившего трактор:
— Его бы самого тут окунуть, пестромордика!
Сергей Варфоломеевич подходит к Перекресову и повторяет те же самые слова о директоре МТС Битюгове. Но Перекресов молчит. Он внимательно смотрит, как полуголые парни работают в реке.
В руках у парней трос. Они укрепляют его в воде у невидимого трактора, вылезают на берег, прыгают на берегу, гогочут.
«Им, пожалуй, не так уж холодно, — поглядывает на них и Сергей Варфоломеевич. — Им это все равно что баловство».
А давно ли он сам был такой же молодой, как эти парни! И не боялся никакой простуды. Да он и сейчас еще не старый. Всего под сорок. Но все-таки...
Сергей Варфоломеевич опять было задумался о своей жизни, но вдруг увидел, что Перекресов и Григорий Назарович подняли сырую, мохнатую плаху и понесли ее на мост, где рабочие уже настелили несколько досок.
— Еще бы одну, вот с этой стороны, — показывает Перекресов. — И мы свободно проедем.
Сергей Варфоломеевич тоже поднимает мокрую, скользкую плаху, но она очень тяжелая. Он даже не думал, что она такая тяжелая.
— Давайте вместе, — берется за другой конец плахи рыжеватый паренек, только что вылезший из воды и натянувший сапоги. — Держите ее покрепче, а то она в случае чего придется мне прямо по ногам.
Но Сергей Варфоломеевич чувствует, что не удержит плаху, и в пояснице вдруг вспыхивает резкая боль. А надо удержать. Он кряхтит и напрягает все силы, будто в этой плахе сейчас сосредоточивается его главный жизненный интерес, будто по тому, как он донесет эту плаху, люди станут судить, годится ли он еще на что-нибудь.
На его счастье, к ним подбегает, весело блестя очками, Григорий Назарович. «Милый ты человек, — думает про него Сергей Варфоломеевич. Просто спас ты меня. Просто спас».
А Григорий Назарович, уложив на мосту плаху, бежит к жеребцу, вскинувшему голову и яростно заржавшему. Вот сейчас он встанет на дыбы, оторвется от телеграфного столба и умчится вместе с пролеткой, без седоков, в привольную степь, еще не зазеленевшую, но уже готовую зазеленеть.
Григорий Назарович отвязывает жеребца, похлопывает его ладонью под гривой и выводит к мосту.

Пролетка теперь свободно переезжает мост и катится по неожиданно хорошей, или, лучше сказать, по удовлетворительной дороге. Это, должно быть, сами колхозники из Желтых Ручьев ее наладили. А может быть, и не они. Тогда кто же?

Во всяком случае, Сергею Варфоломеевичу это пока неизвестно. Ему помнится только, что и тут, за мостом, дорога была всегда плохой.

До войны, задолго еще до войны, он сюда часто ездил. Не в пролетке, а верхом. У него тут девушка знакомая жила — Клавка Бескудникова. Бедовая девушка! Она уехала отсюда на строительство какое-то. Давно уехала. А он женился на другой, хотя любил Клавку. Но на Клавке он бы все равно не женился: уж очень бедовая она была...

Небо опять прояснилось. Солнце снова нагревало лакированную обшивку и бронзированные поручни пролетки.

Солнце теперь ярко осветило всю окрестность — и поля, и перелески, и дальше длинные холмы, под которыми, говорят, захоронены то ли татары, то ли другие чужеземцы, в древние времена пытавшиеся захватить эти земли.

Холмы уже прогрелись под солнцем. На них рыжеет прошлогодняя трава. А под холмами кое-где до времени не растоплены пестрые островки снега, но рядом с ними уже пыхтят тракторы, постреливая сизыми дымками. И дымки эти ползут по влажной земле. Или это сама земля, только что оттаявшая, дышит сизоватым паром, похожим на дымки?..

Воздух насыщен запахами перегноя, сосны и полой воды, только что освободившейся ото льда, — бодрящий душу воздух. Но Сергея Варфоломеевича он уже не бодрит, не веселит, а скорее тревожит.

Весна в его жизни давно уже связана не с весельем, а с огорчениями.

Как стает снег, так и начинаются неприятности с севом, с инвентарем, с отстающими колхозами. И по каждому случаю надо давать объяснение, выслушивать упреки, опасаться выговоров или еще чего-нибудь похуже...

А потом приспеют лето, осень, связанные с новыми тревогами.

Только зимой, пожалуй, и вздохнешь немножко. Но тут опять же вскоре начинается подготовка к весне.

Так вот и живет Сергей Варфоломеевич из года в год. Конечно, он не жалуется. И смешно было бы жаловаться: уж если взялся за гуж — не говори, что не дюж.

Просто всякие мысли сейчас бродят в его голове.

А Перекресов что-то пишет. Как переехали мост, он сразу же вынул из кармана блокнот и что-то записывает, а что — разобрать со стороны невозможно. Будто он не буквы, не слова записывает, а знаки какие-то ставит. Да Сергей Варфоломеевич и не сильно старается заглядывать к нему в блокнот. Это, пожалуй, и неудобно. Пусть пишет. Сергею Варфоломеевичу-то какое дело?..

Хотя чем-то записи все-таки беспокоили его. И ему все более казалось странным, просто невероятным, что вот такой важный человек, секретарь обкома, вдруг решился поехать зачем-то, даже не на машине, в эти самые Желтые Ручьи. Ну пусть оттуда, из Желтых Ручьев, пришла кляуза в обком. Но можно было бы в таком случае послать инструктора туда или комиссию, как это водится. А он, секретарь обкома, для чего-то сам поехал. А для чего?

И что он вывезет оттуда? Какая польза будет? Ведь даже у Сергея Варфоломеевича, на что уж он небольшой работник — не такой большой, все-таки скопится за сегодняшний день большая почта. Тут и то, что надо прочитать и понять, и то, что самому надо подписать и отправить.

А секретарю обкома, не то что председателю райисполкома, пишут отовсюду: и из Москвы, и со всей области. Это, наверно, вот такая пачка за каждый день. А он поехал в Желтые Ручьи. А зачем?

Виктор Иванович, бывало, тоже разъезжал, но у того была другая хватка. И что бы теперь ни говорили про него, Сергей Варфоломеевич всегда будет вспоминать прежнего секретаря обкома добрым словом. Всегда будет вспоминать, хотя и имел от него неприятности. Виктор Иванович любил, что называется, накачать работников. Бывало, он проедет, так только треск стоит. Этому, тому — всем раздаст, если задержались с уборкой или хлебозаготовками. Зато он зла не помнил. А Перекресов еще не известно, что за человек. Всего про него еще не известно.

Сергей Варфоломеевич улыбнулся, вообразив, как повел бы себя Виктор Иванович, если б на его пути оказался расшатанный мост и к тому же утопленный трактор. Да он бы душу вытряс и из председателя райисполкома, и из того же Битюгова — директора МТС! Он бы уж его нашел! А этот ничего. Только записывает в блокнот. Может, про это как раз и записывает. Но что-то больно много пишет, как резолюцию готовит для партактива.
Всю дорогу Перекресов называл Сергея Варфоломеевича уважительно на «вы» и неизменно по имени-отчеству, чего никогда не делал Виктор Иванович, любящий всех называть только по фамилии и на «ты». Но мало кто обижался. А этот, пожалуй, слишком вежливый, и от этой вежливости получается какая-то жесткость.
Как-то все время неуютно Сергею Варфоломеевичу, когда Перекресов даже молча сидит с ним рядом в пролетке на пружинной клеенчатой подушке.
А Григорий Назарович вроде того что дремлет на козлах.
Напрасно его, пожалуй, взял с собой Сергей Варфоломеевич. Напрасно: болтливый он очень! Лезет, куда его не просят. И Перекресов из его болтовни может составить совсем не то мнение.
А вообще-то ничего не поделаешь, пусть составляет.
На прошлой неделе какие-то корреспонденты приезжали. Тоже чего-то такое расспрашивали. Может, уже написали статейку. Может, скоро появится в газете. Ну и пусть. Что же теперь делать? Перестройка идет по всем вопросам. На всех не угодишь.
А все-таки немножко обидно. Похоже, что Сергей Варфоломеевич преждевременно состарился. Ужас как заболела вдруг поясница, когда он поднял плаху. Теперь уже не болит — прошло.
А все-таки в чем же дело? Рано бы еще стариться. И Терентьев, пьяный, на свадьбе вдруг погладил его по голове и захохотал: «Мало у тебя волосьев-то остается на голове. Как ветром сдуло. От умственного, что ли, труда?» Похоже, что и Терентьев посмеялся над ним. Пьяный, конечно, был, осмелел. Не надо было гулять у него на свадьбе. Надо было поздравить молодых и уйти.
В висках опять началось покалывание, и затылок заболел. Сергей Варфоломеевич потер затылок ладонью, боль как будто утихла, но зато, кажется, сильнее стало покалывать в висках.
«Хвораю, — жалостливо подумал Сергей Варфоломеевич. — Хвораю, а никто этого, может, и не понимает. Все только требуют, строго спрашивают с тебя, критикуют...»
Он снова вспомнил этих двух корреспондентов, что на прошлой неделе заходили к нему. Из какой они газеты, он забыл. И лиц их не запомнил. Нет, одного запомнил — черненький такой, в очках, слишком шустрый. Все допытывался, как идет составление планов в колхозах, участвует ли в этом деле райисполком, как участвует. А что ему ответишь? Он же ищет, этот корреспондент, обязательно недостаток, хочет на чем-нибудь тебя поддеть, чтобы потом описать во всех красках. И не знаешь, как ему лучше ответить. Боишься ошибиться в ответе. Всего боишься, постоянно волнуешься. Ведь живешь у всех на виду. И все предъявляют к тебе претензии. А если говорить начистоту, так что это, простое, что ли, дело — составлять планы? Попробуй-ка ты сам, черненький корреспондент в очках, составить хоть один план, да так, чтобы к тебе потом не придирались.
Сергей Варфоломеевич недавно вмешался в один такой план колхоза «Красный пахарь» — предложил увеличить поголовье свиней и уменьшить стадо рогатого скота, — так его на очередном бюро райкома так трясли за это, что он и костей, думал, не соберет.
А между прочим, он и сейчас не понимает, за что его трясли. При Капорове таких недоразумений не было. А ведь тоже составляли планы. И все было в порядке. И Сергей Варфоломеевич никого, кроме Виктора Ивановича, не боялся. И корреспонденты ему были не страшны. По главным показателям район был всегда на видном месте в области.
И никто не смел кричать Сергею Варфоломеевичу на бюро райкома, что он не читает новую сельскохозяйственную литературу. А когда ему читать? Акатьев заставил этой литературой всю этажерку в его кабинете. Часть брошюр Сергей Варфоломеевич перенес к себе на квартиру, сложил в спальне на тумбочке у самой кровати. Однако читать — ну совершенно некогда. Газету возьмешь перед сном — и то глаза сразу слипаются. И раньше никто за это не придирался к нему. Не обращали на это внимания, не спрашивали, читает ли он какие-нибудь там брошюры. Не школьник же он, в самом деле. И никто не требовал,

чтобы он ни с того ни с сего, без всякого смысла ехал вдруг вот так, на пролетке, куда-то к черту, в Желтые Ручьи, когда это никак не связано с его планами.

7

Желтые Ручьи ничего не определяли и сейчас не определяют во всем районном масштабе. А чтобы там побывать, надо, вот как сегодня, целый день убить. Целый день! И никакой пользы району от этого не будет.

Ведь там, в Желтых Ручьях, все равно как во всех колхозах, сидят районные уполномоченные. Они подают сигналы, делают указания, нацеливают колхоз на определенные задачи. Чего же еще надо?

Этот вопрос Сергей Варфоломеевич мысленно адресовал как бы самому Перекресову. Ведь все равно Перекресов будет расспрашивать его о Желтых Ручьях. Будет, конечно, упрекать, указывать, обращать внимание. Все, наверно, будет как водится. Но Сергей Варфоломеевич раньше всего хотел бы заметить секретарю обкома, что район этот не маленький: в районе больше тридцати колхозов, точнее сказать, тридцать два. Желтые Ручьи и вот вся эта сторона должны были бы отойти к железнодорожной станции, где мог образоваться новый районный центр. Был уже года два назад такой проект, но где-то его замариновали.

Жеребец опять задрал голову на бегу и заржал с такой исступленной страстью, что спутал все мысли Сергея Варфоломеевича.

И Перекресов спрятал свой блокнот в карман.

А кучер сказал, кивнув на жеребца:

— Застоялся наш Эдуард. Давно не был на просторе. Доволен. Мечтает о своих делах...

— И дорога хорошая, — сказал Перекресов. — Вот бы так все время.

— Так теперь будет все время, — пообещал кучер. — Это уж хозяйство Тишкова начинается. Это уж он тут свирепствует...

— Правда, что свирепствует, — поддержал разговор Сергей Варфоломеевич. — Я его знаю. Он с прошлой осени тут выбран председателем. Был он у меня зимой. Чего-то такое ругался, даже угрожал. Я его, правда, осадил немножко. Больше не являлся...

— Значит, вы с ним в конфликте? — спросил Перекресов и с любопытством посмотрел на Сергея Варфоломеевича. — Из-за чего же, интересно, поссорились?

— Да не поссорились мы, — мотнул головой Сергей Варфоломеевич, отбиваясь от крупной мухи, неведомо откуда появившейся. — Просто серьезно поговорили, и, видать, этот Тишков мужичонка, заметно, свирепый. Или нервный слишком. Не понял я его...

— И больше не виделись?

— Нет, виделись. У нас зимой конференция была. Опять он мне чего-то дерзкое сказал. С трибуны. Но разве можно на все обращать внимание, тем более он здесь долго не продержится, этот Тишков. Это ошибка была еще товарища Капорова — рекомендовать Тишкова в председатели. Хотя, конечно, мы должны были эту ошибку исправить...

— Да никакой ошибки нет, — сердито дернул вожжи кучер.

Но Сергей Варфоломеевич, как бы не услышав его слов, продолжал говорить о Тишкове. Он что-то такое затеял, этот Тишков, с прежним председателем тамошнего колхоза Бескудниковым, что-то вроде вымогательства. И все на почве пьянства...

— Да он и не пьет, — опять сказал кучер.

— Все они не пьют, — махнул рукой Сергей Варфоломеевич. — И брат у него оказался ворюга. Мне начальник милиции рассказывал, Терентьев...

Упомянув о Терентьеве, он невольно зажмурился. А кучер предложил:

— Хотите, я об этом расскажу подробно?

— После, — сделал строгое лицо Сергей Варфоломеевич, желая завести с секретарем обкома обстоятельный разговор. Дело ведь не в самом Тишкове. Тишкова, конечно, нужно

освободить. Но как, очень важно выяснить, будет с разделением района? Вот главный вопрос.
И Сергей Варфоломеевич начал было об этом говорить, но Перекресов перебил его:
— А этот Тишков тут, стало быть, с прошлой осени?
— С осени.
— А вы, — опять спросил Перекресов, — вы, Сергей Варфоломеевич, давно уже председателем?
— Да как сказать...
— Давно, — чему-то усмехнулся кучер.
И усмешка эта непонятная задела Сергея Варфоломеевича.
— Ты, Григорий Назарыч, за меня не отвечай, — гневно попросил он. — Я за себя сам способен ответить. — И повернулся к Перекресову. — Я, видите ли, какое дело... Я до войны тут секретарем райкома комсомола работал. Первым. Первым секретарем. Потом, после войны, когда я сюда вернулся, меня взяли на работу в райком партии. Завотделом. Ну, и тут, как видно, массы меня вспомнили и уже вскоре выбрали председателем райисполкома.
— Так. Значит, вы человек популярный?
— Можно и так считать, — скромно потупился Сергей Варфоломеевич. — Во всяком случае, я не сам себя назначил на пост председателя...
— Ну, это понятно, — кивнул Перекресов. — А до этого поста что делали?
Сергей Варфоломеевич перечислил как будто все свои должности.
— Ну, это, так сказать, руководящая деятельность, — улыбнулся секретарь обкома. — А где вы работали, пока вас не узнали массы?
— Это сейчас вот, вдруг, и не вспомнишь, — затруднился Сергей Варфоломеевич. — Вообще-то трудно сказать...
В разговор опять вмешался кучер.
— Я так понимаю, — посмотрел он на секретаря обкома, — что вас интересует, где Сергей Варфоломеевич находился с молодых лет?
— Ах, с молодых лет, — сказал Сергей Варфоломеевич. — С молодых лет, просто с детства, я учился в школе. И, по желанию родителей, кроме того, проходил обучение у портного в сельской местности. Потом я поступил в столярную мастерскую и вскоре на маслозавод...
— А портняжному-то ремеслу научились? — спросил Перекресов.
— Как сказать...
— Ну допустим, можете себе сами сшить рубашку? — поинтересовался кучер и опять усмехнулся.
— Не вижу пока такой надобности, — сверкнул глазами Сергей Варфоломеевич.
Ему хотелось выругать Григория Назаровича, поставить его, как полагается, на место. «Это уж какая-то комедия получается, — сердито подумал он. — Нечего из меня комедию строить. Заговорили о Тишкове и вдруг на меня перешли». Но тут же у него мелькнула тревожная мысль: может, и Григорию Назаровичу уже заметно, что под него, Сергея Варфоломеевича, где-то подводят мину. От этого, может, и осмелел. Григорий Назарович вообще-то тихий мужик. Все может быть. Однако сдаваться нельзя. Нельзя себя слишком низко ставить. И Сергей Варфоломеевич спросил:
— А что это вы, товарищ Перекресов, решили с меня анкету снимать? Вообще-то мое личное дело находится в обкоме...
— Обиделись? — удивился Перекресов.
— Не обиделся, но вообще говорили о деле...
— А дело, как известно, делают люди, — улыбнулся Перекресов. — Я, понятно, и интересуюсь людьми. И вы мне интересны. Вы сами из крестьян?
Сергей Варфоломеевич уже пожалел, что так резко ответил секретарю обкома, и старался теперь говорить мягко, деликатно. Да, так точно, он из крестьян, но в крестьянском хозяйстве, к сожалению, долго работать не пришлось, хотя он любит крестьянское дело. Ну как же! У него вся родня крестьяне. Колхоз «Авангард» — его, можно сказать, родина. Вспоминают его там. Как приедет в «Авангард», сейчас же вокруг него народ, земляки. Вспоминают, как в детские годы в городки играли. И тогда ведь невозможно еще было

угадать, кто кем будет. Большинство его сверстников и по сей день рядовыми колхозниками работают. Бывают забавные случаи. Бабка одна, некая Аграфена Понтрягина, недавно приехала по своим делам в райисполком, зашла в приемную председателя и, показав на двери кабинета, спросила у секретаря: «Серега-то здесь?»

Перекресов улыбнулся. И Сергей Варфоломеевич, заметив его улыбку, успокоился. Значит, секретарь обкома не обижается на него.

8

— Вот они самые и есть, долгожданные Желтые Ручьи, — показал кучер на незавидные избушки, расставленные неровно на краю оврага и ползущие на облысевшую бурую гору, где совсем немного сохранилось елей и сосен, и еще каких-то деревьев — не то лип, не то дубов.

А внизу, под горой, столпились белоствольные березки и яркой, праздничной своей красотой как бы подчеркивают бедность жилищ. И недавно побеленные каменные столбики у въезда в деревню тоже оттеняют эту бедность. Но они же, эти столбики, серьезному наблюдателю внушат, может быть, и ободряющее чувство. Кто-то же вкопал здесь эти столбики, и выбелил их, и окаймил для большей красоты черной краской или, скорее всего, печной сажей. Была, наверно, у того, кто это делал, какая-то веселая мысль.

— Батюшки, Григорий Назарыч! — всплеснула руками немолодая женщина, выглянувшая в распахнутое окно самой крупной избы, где над дверью прикреплена большая железная вывеска: «Правление колхоза «Желтые Ручьи». Батюшки! Да что же это такое? А Тихона Егорыча-то нет...

— Где же он? — спросил Григорий Назарович.

— В разбеге, — засмеялась женщина, завязывая на подбородке белый платок. — Я сама его жду. Беги, Никишка! — закричала она тут же мальчику, стоявшему у столба. — Беги на ферму. Может, там знают, где Тихон Егорыч. Скажи, что Григорий Назарыч приехали. И с ним, скажи, какие-то... представители, — оглянулась она на пролетку, из которой уже вышли секретарь обкома и председатель райисполкома.

Перекресов засмеялся. А Сергей Варфоломеевич опять помрачнел. Почет, выказанный женщиной Григорию Назаровичу, был явно не по душе Сергею Варфоломеевичу. «Вот комедия! — подумал он. Почти все неприятное определялось им этим словом. — И еще чего-то будет. Не иначе чего-то еще будет. И зачем я только взял с собой этого вредного щелконога Григория Назарыча?»

У правления стали собираться люди, в большинстве старики и старухи, несколько подростков. И нельзя сказать, чтобы они совсем не обращали внимания на секретаря обкома и председателя райисполкома. Нет, их, конечно, интересовали эти степенные люди, как всегда везде всех интересуют приезжие. Однако разговаривали и здоровались за руку колхозники только с Григорием Назаровичем. Видимо, он им был известен давно, а Сергея Варфоломеевича они не знают. А когда он сам узнал и назвал по фамилии одного старика, старик обрадовался, заморгал и засуетился:

— Ну да, я тоже тебя сразу признал. Только немножко усомнился. Больно полный ты из себя-то сделался. Раздобрел...

Замечание это нельзя было признать приятным. И Сергей Варфоломеевич уклонился от разговора со стариком. Да и на площади вскоре появился, видимо, сам председатель колхоза. Большой, сутулый, в выцветшей солдатской фуражке и в солдатских же старых штанах и гимнастерке, он тяжело опирался на суковатую палку, но шел все-таки довольно быстро, с сердитым выражением лица, точно стремился кого-то поскорее наказать. Но вот он поравнялся с пролеткой, увидел Григория Назаровича, и на буром грубом его лице, иссеченном морщинами, вдруг засияли молодые глаза.

— Григорий Назарыч! А я уж тебя и не ждал. Вот, скажи на милость, какая радость! А я думал, ты очень занятой. Не можешь вырваться к нам. Ну, смотри, как ты меня обрадовал...
Он пожал ему руку прямо-таки с хрустом и поглядел на председателя райисполкома.
— О, глядите, и Варфоломей Сергеич...
— Сергей Варфоломеевич, — поправил Григорий Назарович.
— Ну, это я извиняюсь, — не сильно смутился председатель колхоза. Редко видимся. А вы, наверно, и фамилию мою не помните?
— Почему же? — улыбнулся Сергей Варфоломеевич. — Тишков. Встречались.
— Тишков, вот именно встречались, — подтвердил Тишков и взглянул на секретаря обкома. — А вас я, кажется, знаю. Вы, наверно, будете товарищ Перекресов. Ну да, я вас видел в прошлом году на областном совещании. Вы речь говорили... — И опять повернулся к Григорию Назаровичу, точно боясь, что тот вдруг уйдет. — А тебя я, имей в виду, сегодня не отпущу. Я тебя арестовываю прямо на сутки. Ты у меня должен будешь тут кое-что поглядеть...
— Я погляжу, — пообещал Григорий Назарович. — Мне самому интересно на твои яблони посмотреть.
— Да что яблони! Ты погляди, что мы в Темном Углу делаем. Мы там весь кустарник, всю эту бузину свели. Сейчас будем сеять...
— Я погляжу, — еще пообещал Григорий Назарович и пошел через площадь.
— Должно быть, толковый человек, — кивнул в его сторону Перекресов.
— Толковый — это мало сказать. Первый агроном в районе, если не во всей области, — просиял Тишков. — Я у него учусь. Всю зиму, с моими ногами, по два раза в неделю к нему ездил. Он мне много чего хорошего в голову вложил. Брошюр одних сколько я от него перечитал. А также ответы дает на все вопросы...
— А что у вас с ногами?
— Ноги у меня, можно сказать, не свои, — постукал он палкой по носкам башмаков. — Одна, как говорится, искусственная — протез, а вторая болит. Может, тоже придется отымать. А жалко. Все-таки своя нога, она много значит. Частная, можно сказать, собственность...
Он шутил, и видно было, что в человеке этом, несмотря на его больные ноги и, наверно, значительный возраст, заключена большая энергия, живая и веселая. Она светилась и в его глазах, неожиданных на этом лице, словно вырубленном из бурого камня, каким богата, должно быть, вон та гора, по которой ползут подслеповатые избушки.
Перекресов кивнул на гору:
— Камень никак не используете?
— Как же это так не используем? Очень даже используем. Но ведь вот начальство не поддерживает нас. — Тишков показал палкой на Сергея Варфоломеевича, поставившего ногу на колесо пролетки и счищавшего щепкой присохшую грязь с сапога.
Он делал это, пожалуй, только затем, чтобы как-то скрыть свое, все еще продолжавшееся смущение. Неумная его затея — взять агронома вместо кучера — теперь и ему самому представлялась нелепой. Что это он, спьяна, что ли, придумал? И как он мог надеяться, что это не будет разоблачено? Перекресов, наверное, еще в дороге догадался. Конечно, Григорий Назарович мог всегда понадобиться для справок. Сергей Варфоломеевич не раз брал его с собой как живой справочник даже на областные конференции.
Всего ведь не удержишь в памяти, как ни старайся. Но Перекресов специально предупредил, что никого с собой брать не надо. А Сергей Варфоломеевич схитрил.
И теперь уже все покатится под гору. Перекресов теперь ничего ему не простит, ничего. И этот Тишков еще наболтает. Хоть вспомнить, что же Тишков просил у него зимой, из-за чего скандалил и еще на конференции из-за чего-то оскорбил его с трибуны!
Сергей Варфоломеевич напрягает память, но вспомнить ничего не может, ведь у всех председателей колхозов свои претензии.
Кажется, шел какой-то разговор о детских яслях. Нет, о яслях просил Жолобов из колхоза имени Ворошилова.
А этот Тишков ругался, если память не изменяет, из-за кирпичного завода. Ну да, кажется, из-за кирпичного завода.

Стоять вот так, на глазах у всех, возле пролетки и счищать присохшую грязь с сапог, пожалуй, не очень удобно. И главное — глупо. Все равно ведь не отвертишься от разговора. Надо что-то сказать. И Сергей Варфоломеевич говорит Тишкову:
— Вы ведь тут с осени?
— Нет, — улыбается Тишков. — Я тут не с осени. Я уже тут третий год живу. Мне, — смотрит он на Перекресова, — врачи на нашей шахте свежий воздух прописали. Я-то их так понял, что свежий воздух перед смертью. Болезнь у меня в самых легких. Называется «силикоз». Шахтерская болезнь от вдыхания угольной пыли. И, кроме того, я, можно понять, уже в хороших годах нахожусь. Ну, не в очень хороших, мне под шестьдесят, но по моим болезням оно, разумеется, надо собираться. После фронта, когда я приехал на шахту об одной ноге, мне уж обратно спускаться под землю не велели. Я на поверхности стал работать. Но, поскольку врачи говорят про свежий воздух, я смотрю — значит, и на поверхности мне не удержаться. Что-то, значит, надо соображать. Тут, откровенно скажу, я и вспомнил про брата. Написал ему, он ответил. Я и поехал сюда...
— И вот видишь, — вдруг вступила в разговор суховатая женщина с визгливым голосом и со скорбным лицом монашки, — вот видишь, брат-то тебя принял, как родного принял, единоутробного. А ты как, красиво поступил?..
— Ты, пожалуйста, не скули, — кротко попросил ее Тишков.
— Как же это я могу, то есть, не скулить? — взвизгнула женщина. — Ведь брата родного, все видели, не пожалел...
— Да погоди ты, пчела! — опять попросил Тишков и как бы заслонил ее своей спиной от Перекресова. — Вот такая у меня, выходит, биография жизни. Из шахтеров я обратно превращаюсь в колхозника. Хотя раньше я колхозником не был. Я тридцать шесть лет проработал на шахтах. А до шахтерства был просто крестьянином, жил в родительском дому. Ну и вот, я приехал сюда почти что три года назад. Жена моя сразу же ударилась в слезы. Воздух-то здесь имеется точно такой, какой нужен, — чистый, свежий. Речка красивая рядом. Гора. Лес. А вот с пищей, глядим, неважно.
«Это верно», — про себя согласился Сергей Варфоломеевич, вдруг почувствовав, что хочет есть. Ведь с утра, кроме стакана молока, он ничего не ел. А день уже клонился к вечеру. Однако надежды на обед не было. Едва ли тут, у этого Тишкова, пообедаешь.

Только что улыбавшийся Тишков опять посуровел, сделался даже страшным. Бурая кожа на его лице побагровела. Он стал рассказывать о Федоре Бескудникове, который председательствовал тут до него.
«Правильно, — про себя подтвердил Сергей Варфоломеевич. — Это брат Клавдии Бескудниковой. Я его знаю — алкоголик. А где теперь, хорошо бы узнать, сама Клавдия?»
— И ведь что обиднее всего? — говорил Тишков. — Обиднее всего, что все в колхозе видели, что этот Федор Иванович никуда не годится. А вот они, он кивнул на председателя райисполкома, — его все-таки поддерживали. Бескудников прямо откровенно заявлял, что у него своя рука в райисполкоме. Вот эта рука. — Тишков уже с ненавистью смотрел на Сергея Варфоломеевича.
Сергей Варфоломеевич хотел возразить: Бескудникова он и не собирался поддерживать. Но вдруг подумал с почти болезненным безразличием. «А, все равно, валите все на меня!» И ему даже есть больше не хотелось.
В толпе, окружившей приезжих, Тишков отыскал какую-то старуху и сказал ей:
— Иди, Варвара Саввишна, к себе. Мы сейчас к тебе придем твоих чушек смотреть. — Потом увидел молоденького паренька и ему приказал: — Ты тоже жди нас, Семен. Будь у себя, на месте.

«Он, видите ли, этот Тишков, уже все заранее решил. Даже не спрашивает приезжих, куда бы они хотели пойти. Он сам за них распорядился, будто они тоже прибыли под его начало. Нехороший мужик, — поглядел на него Сергей Варфоломеевич. — С ним только свяжись. Правильно про него рассказывал Терентьев, что они тут с братом какие-то махинации творили и он брата родного обманул. Даже женщина вон какая-то подтверждает. Надо поговорить с этой женщиной. А Капоров допустил грубейшую ошибку — рекомендовал его в председатели. И теперь я буду это расхлебывать. Нет, кажется, не Капоров его рекомендовал. Кажется, Никитин. Ну, все равно, все равно. А мне расхлебывать».

— ...И вот, — продолжал рассказывать Тишков, — я сперва определился тут по конной части. Потом меня перевели в бригаду по огородничеству. А дальше уж пришлось заняться полеводством. И спасибо Григорию Назарычу. Ведь полное расстройство во всем. А этот Федор Бескудников гуляет. Жена его спекулирует на станции, а он гуляет. Баб много, бабы молодые. И он везде желанный гость. Всем справки выдает, кто ударяется в спекуляцию. Ну, что тут делать? А? — как бы спрашивает он секретаря обкома. — Ну, что вы станете делать? Жена моя, понятно, предлагает, как женщина: уедем, Тиша. Не мы, говорит, уделали этот развал, не нам, мол, его и разбирать. А кому же? Нет, я подумал, это будет для меня слишком обидно — уезжать, поскольку я уже сюда прибыл и поскольку некоторые колхозники уже уцепились за меня и поверили, что я буду наводить порядок. И, кроме того, я шахтер. Конечно, здесь обстановка другая. Но я так всегда считаю — и на войне считал, — что если человек есть мастер какого-нибудь дела, то он, где бы ни было, все равно себя окажет, и не потеряется, и все поймет вне зависимости от обстановки. А я все-таки на шахте был и бригадиром, и недолго, правда, работал начальником участка. Кто же, кроме меня, тут может разобраться, поскольку к тому же я нуждаюсь в свежем воздухе для поддержания своего здоровья. А свежий воздух здесь есть. Вы глядите, какая красота!

Никакой особой красоты его собеседники, однако, не заметили.

Они шли по длинной улице вдоль покосившихся клетушек-амбарушек, и Тишков продолжал рассказывать о неукротимом характере Федора Бескудникова, чуть было вконец не развалившего этот колхоз.

И ведь до чего был упорный этот Бескудников! Ни за что не хотел уйти со своего поста. Уж по-всякому его уговаривали колхозники: уйди, мол, добровольно, Федор. Он одно что твердил: «За меня — райком и райисполком».

Тогда Тишков решил подойти к нему по-иному. Тишков купил на станции пол-литра и еще четвертинку, зазвал к себе Бескудникова, хорошо с ним выпил и обрисовал ему за выпивкой всю картину бедственного положения колхоза.

«И ведь все это так просто не кончится, — говорил ему Тишков. — Ведь рано или поздно нагрянет какая-нибудь комиссия, все вскроется. И хорошо ли тогда тебе будет, Федор, в твоих сравнительно молодых годах сидеть за решеткой?»

Бескудникова, похоже, проняли эти слова. Он даже всплакнул пьяными слезами, признал, что в колхозе творится черт знает что. Глядеть даже на все это не хочется. И, чего греха таить, может, правда, его, как председателя, потом первого потянут в суд. А жена его Аришка останется с детьми одна.

Бескудников решил завтра же отказаться от председательства и, успокоившись на этом, пьяный, уснул на сундуке у Тишкова. Но утром, протрезвев и допив оставшуюся в четвертинке водку, он вдруг начал кричать, что Тишков пройдоха, что он прибыл сюда неведомо откуда, что он спаивает и мутит порядочных колхозников и обманом старается пролезть на пост председателя колхоза, что таких, как Тишков, надо кончать на месте, а не давать им ходу при социализме, а тем более при полном коммунизме.

В тех же словах он написал заявление в райком, кое-чего еще, наверно, прибавил. И вскоре из района в Желтые Ручьи приехал на машине «газике» (дело было зимой) сам Ерофей Петрович Капоров, секретарь райкома.

Он сразу спросил Тишкова: «Было ли все точно так, как описывает в своем заявлении Бескудников: ставил ли ты ему выпивку, сговаривал ли уйти из председателей, грозил ли тюрьмой?»

«Все было точно так», — признал чистосердечно Тишков.

«А кого же ты, — еще спросил секретарь райкома, — кого же ты, если не секрет, намечал вместо него в председатели?»

И Тишков опять чистосердечно признался, что намечал в председатели именно самого себя, Тишкова, поскольку некого больше было намечать, кроме разве Надежды Бескудниковой, комсомолки и очень старательной девицы, имеющей среднее образование.
«Некрасивый поступок для коммуниста, — сказал Капоров. — Очень некрасивый».
Тишков стал было ему возражать. Но Капоров, очень нервный мужчина, никого не мог долго слушать. Он только погрозился, что в случае повторения подобных фактов Тишков будет строго наказан по партийной линии за подрыв руководства колхоза. И сейчас же уехал на своем «газике», так и не выяснив, в каком состоянии находится колхоз Желтые Ручьи.
Тишков на этом, однако, не остановился. Он ездил к Капорову в райком, но никак не мог к нему попасть и пошел в райисполком — вот к Сергею Варфоломеевичу.
«Правильно, — вспомнил про себя Сергей Варфоломеевич, — было давно, наверно, с год назад что-то такое. Был у меня еще тогда Тишков. Я готовился как раз, кажется, к пленуму. Он чего-то такое кричал. Значит, я его давно знаю. А Федька Бескудников, это точно, пьянчужка».
И все-таки Сергей Варфоломеевич возмущался сейчас не Бескудниковым и не Тишковым, хотя он много лишнего рассказывает, а Перекресовым.
«Неправильно ведет себя Перекресов, совершенно неправильно. Даже странно для секретаря обкома. Ему бы надо было потребовать у председателя колхоза документы, допустим, тот же план, просмотреть его, потом проверить в крайнем случае на фактах. Можно даже было собрать колхозников, поговорить с ними, дать указания, напомнить задачи. Люди любят послушать руководителя. А Перекресов вроде как пошел на поводу у этого Тишкова. Для чего-то согласился смотреть свиней. Что, он их никогда не видел, что ли? И хоть бы раз он перебил Тишкова. Слушает все сплетни. А ведь известно, нужно выбирать главное даже в разговоре. Надо хотя бы задавать вопросы. А Перекресов молчит».
Сергею Варфоломеевичу опять хотелось есть. У него даже чуть кружилась голова, может, от голода или от вчерашнего — ведь выспаться так и не удалось. И он уже совсем невнимательно слушал Тишкова. Хотя Тишков еще раза два кольнул Сергея Варфоломеевича.
Тишков снова за что-то хвалил Григория Назаровича, превозносил его агрономические способности и, похоже, противопоставлял агронома всему районному руководству. Ну, это-то уж явный перекос и глупость.
Наконец Тишков рассказал, как снимали Бескудникова и выбирали его, Тишкова. Ему, видно, не с кем раньше было поговорить обо всем этом. Некому было это все рассказать. И вот он обрадовался, что нашлись слушатели.
— Ну, а теперь прошу поглядеть наше хозяйство, — сказал Тишков и обвел вокруг своей суковатой палкой, когда они вступили на узенький мостик через ту же Кудинку, которая здесь, на землях колхоза, делает излучину.

10

У Сергея Варфоломеевича вспотели ноги. И это было самое неприятное. Все-таки нельзя столько ходить по такой жаре в сапогах. Надо было бы туфли с дырочками надеть. Что, в самом деле, обуться разве не во что? Но кто же знал, что придется так долго ходить!
«Этот черт безногий Тишков, — сердился Сергей Варфоломеевич, — будто нарочно решил уморить и секретаря обкома, и председателя райисполкома. А ему самому ничего не делается. Или на протезе ему легче ходить? Он ведь сам сказал, что у него не свои ноги. Не своих-то ног не жалко!»
Тишков повел гостей сперва на колхозные огороды. Потом провел зачем-то по некоторым приусадебным участкам. Показал, где уже строятся из бурого камня коровник и конюшня.

«Все-таки, глядите, я добился своего! радовался он. — Свой строительный матерьял!» И уже затем вывел гостей на поля, где в первую очередь, по новому заведению, будет разведена кукуруза, а также увеличены посевы пшеницы, ржи и овса.
Особо гордился Тишков так называемым Темным Углом, где нынче колхозники выкорчевали весь ненужный кустарник, освободив для посевов большое пространство.
— Тут у нас вроде как свой Казахстан, — смеялся он, хотя ничего смешного, по мнению Сергея Варфоломеевича, не было. — Глядите, какая целина! А ведь никто не верил, что освоим. Освоили.
И Тишков повел гостей вокруг Темного Угла, уже вспаханного и готового принять семена.
— Земля-то какая, масло! — наклонялся он над черными комьями и брал в руки. — Хоть сию минуту на хлеб намазывай.
А у Сергея Варфоломеевича просто отваливались ноги.
— Коровок я сейчас вам не покажу. Не имею возможности, — сожалел Тишков. — Они у нас далеко, на выгоне. К вечеру только прибудут.
«Ну и слава богу!» — вздохнул про себя Сергей Варфоломеевич.
— А вот чушки тут. Сейчас мы вам покажем чушек.
О чушках Тишков упоминал несколько раз, водя гостей по полям. Чушки, можно было подумать, главный предмет его гордости.
«Уж показал бы ты их скорее, и ну тебя к дьяволу, — раздраженно думал Сергей Варфоломеевич, тяжело дыша и искоса поглядывая на Перекресова. Неужели он не устал, Перекресов? Неужели это, все ему интересно? Хотя, кто его знает, может, это все ему в новинку. Книг-то, брошюр разных по сельскому хозяйству он начитался, а в натуре, наверно, мало что видел. Вот и восполняет пробел в образовании. А я для чего тут болтаюсь?»
Хозяйство Тишкова не произвело сильного впечатления на Сергея Варфоломеевича.
«Конечно, — думал он, желая быть справедливым, достижения тут кое-какие есть. Тишков, должно быть, мужик с головой, хотя и наговаривает лишнее. Но кто видел хозяйство в том же «Авангарде», того этими показами не удивишь. В районном масштабе это семечки. Что бы о нас ни думали в обкоме, мы тоже, слава богу, не дураки. Если б Желтые Ручьи представляли районный интерес, мы бы сами давно ими занялись. Никитин что-то сюда не торопится. Он тоже вокруг передовых колхозов хлопочет. Там решаются главные успехи. А чушек разных мы видали... Не в них дело. И где они у него, эти чертовы чушки? Уж показывал бы скорее, да хоть бы присесть. Ноги прямо не идут. Мочи никакой нет».
Они подходили опять к узенькому мосту, с которого начался осмотр хозяйства.
Сергей Варфоломеевич напрягал последние силы. Если б его сейчас посадили обедать, подали бы ему, допустим, даже кетовую икру с маслом, яички всмятку, украинский борщ с сосисками или любимые с детства пельмени, он бы все равно не смог есть — устал до последней степени. Уснуть бы лучше всего. Или хотя бы посидеть. Перейти мост, поглядеть, если уж так хочет Тишков, на этих его паршивых чушек и потом посидеть в прохладе, выпить холодной водички, а еще лучше бы кваску из погреба. Вот кваску бы он, правда, выпил. Не надо никакого обеда, а только бы кружечку кваску кисленького.
Подошли к мосту.
Сергей Варфоломеевич чуть приободрился. Но Тишков вдруг сказал:
— Погодите. Вон видите кустарник в низине? Вы думаете, он останется? Нет. Тут же лучшие земли!
«Ну и пусть лучшие», — хотел сказать Сергей Варфоломеевич, стремившийся к мосту. Но не сказал, потому что Перекресов заинтересовался словами Тишкова.
А Тишков, придерживая рукой скрипящий протез и тяжело опираясь на палку, стал спускаться у моста в низину, где гнилостно пахло болотом и чернел густой кустарник.
Пришлось пойти за Тишковым.
— Это уж на будущий год будем делать, — показывал Тишков на прутья кустарника. — Начнем-то в этом году, а уж посеем на будущий. У народа есть насчет этого большое желание...
И Тишков стал подробно рассказывать, какой у них боевой народ в Желтых Ручьях. Просто удивительный народ!

Тишков сам никогда не думал, что тут такие замечательные люди имеются. Но ведь сперва-то и трудно было угадать. Когда дела шли плохо, людей как-то не видно было. Многие, казалось, навсегда ударились в спекуляцию: дежурили на станции, ждали, когда какой поезд пройдет, чтобы продать проезжим ягоды, или грибы, или яички, или рыбу. Все больше занимались своими приусадебными участками. Да и тоже не сильно занимались. И многие делали вид, что колхоз их не так уж очень интересует. Пусть, мол, в колхозе орудует Федор Бескудников, поскольку его поддерживает будто бы райисполком.
— Да не поддерживал его райисполком, — болезненно скривил лицо Сергей Варфоломеевич. — Для чего напраслину-то говорить?
— Ну как же это не поддерживал? — посмотрел на него Тишков. — Очень даже поддерживал. Имеются факты...
Никаких, однако, фактов Тишков не привел. Да и Сергей Варфоломеевич не требовал. Он хотел только поскорее вылезти из этой низины, где зыбкая, сырая почва, прикрытая прелым прошлогодним листом, чавкала под ногами.
А Тишков ковырял эту почву своей суковатой палкой, показывая, какой она может быть плодородной, если, конечно, приложить руки. И опять хвалил здешний народ.
Правда, он сознался, что раньше, еще года два назад, ему здешний народ не нравился. Тишков раньше не только не хвалил здешних людей, но даже ругал. Если сравнить, например, с Донбассом, то там люди совсем другие. На одном собрании, где отчитывался Федор Бескудников и многие, даже члены правления, молчали, Тишков прямо так и спросил в сердцах: «Вы что же, граждане, как вас понимать — овцы или колхозники?» Многие, конечно, обиделись тогда. Начался сердитый разговор. Но Тишков этого и хотел. Он сказал: «Вы глядите, весь мир смотрит на нас. И весь мир удивляется, какие у нас творятся великие дела. Уже атомную энергию придумали и еще много чего. А что мы видим в Желтых Ручьях? Глупость видим и позор. И пьянство председателя колхоза. И молчим, как овцы. Что же мы прячемся от глаз всего мира? Или у нас силы нет? Или нету самолюбия? Ну, ответьте мне, товарищи колхозники, я приезжий к вам человек и, может, не все еще понимаю».
Тишков теперь признает, что он тогда ошибался. Народ, понятно, везде одинаковый. Надо только разобраться в народе, вглядеться в него. И вот, вглядевшись, он увидел...
Но что увидел, Тишков не сказал. Опять, поддерживая рукой скрипящий протез, он стал, кряхтя, подниматься из низины.
— Верно, я еще признаю, — перевел он дыхание уже на мосту, — верно, я еще признаю: если б не Григорий Назарыч, нам трудно было бы вылезать из нашего положения. Он много чего нам показал.
Узенький мост покачивался под ногами. Под мостом хлюпала и плескалась вода, и от нее шла приятная, освежающая прохлада.
— Так вот о людях, — как бы вспомнил Тишков. — Валечка у нас есть такая, тоже Бескудникова. Двадцать два года, девица. Ничего завидного на взгляд нет. Белобрысенькая, нос в веснушках. Говорят, она моряка тут одного полюбила, а он, знаешь, взял и отверг ее. Ну и дурак, я скажу. Недавно нам тут пришлось вывести из бригадиров одного некрасивого человека, между прочим родственника моего. И что же вы думаете? Назначили мы вместо него бригадиром Валечку, как ее все называют. Мужики в бригаде сперва омрачились: для чего, мол, пигалицу эту ставят над ними? А мы правлением решили твердо провести это дело. И вот сейчас мужики в бригаде — да что мужики, все, можно сказать, колхозники — не нарадуются на Валечку. И откуда, думается, в человеке вдруг вскрывается такой талант? Пантера — не девка! Григорий Назарыч говорит: «Ее надо в Тимирязевскую академию отправить». А мы пока не согласны. Или вот зачем далеко ходить, показал он на длинное низкое строение, обшитое старыми досками, порыжевшими от дождей и ветров. — В конюшнях у нас сейчас Бескудников, тоже Федор, но не тот, что был председателем. Федор Прокофьевич. Старик. Работал сторожем. Еле как будто живой. Но мы в нем разобрались. И вот сейчас вы можете поглядеть...
«Неужели и на конюшни потащит нас? — с ужасом подумал Сергей Варфоломеевич. — И что же Перекресов-то молчит? Неужели он и конюшни не видал?»
Но Тишков почему-то не повел гостей в конюшню.

Рассказав о достоинствах старика Бескудникова, он, сойдя с моста, завернул в сторону, где по едкому запаху можно было определить свинарник.
— Интерес к жизни — вот что главное, — сказал он философически. — Когда видишь, как под твоими руками жизнь налаживается, сам веселеешь. Конечно, если где-то сидеть, бумаги без толку перебирать, так, понятно, заскучаешь. И жизнь будет не мила. И состаришься раньше сроку...
«Это он на меня намекает», — подумал Сергей Варфоломеевич. Но Тишков, кажется, не имел его в виду.
— Мне тоже предлагали завхозом поступить в санаторий в городе Славянске, — продолжал он. — Один хороший знакомый усиленно предлагал. Говорит: «У тебя большой партийный стаж, с двадцать четвертого года, есть опыт работы. Можем тебя включить в номенклатуру». А я подумал: для чего она мне на старости лет, номенклатура? Ведь век я без нее прожил по своей специальности, своими руками. Добывал уголь...
«Хвастается, — определил Сергей Варфоломеевич. — Ну и пусть. Лишь бы поскорее показал своих проклятых чушек, и хоть присесть бы где-нибудь. Дальше свинарника не пойду. Пусть хоть что делают, не пойду. Не вижу необходимости».
— А сейчас я, честное вам слово, как во второй раз живу! — просиял Тишков. — Такое у меня настроение всей жизни. И нога моя, когда она на ходу, ничего. А вот как лягу, тут она мне показывает свой характер. Ноет, прямо гудит. Когда я у брата приютился, его супруга сильно обижалась, что я и по ночам стонать начинаю. Я-то сплю, не слышу, а нога, значит, меня стонать заставляет...
Перекресов, почти все время молчавший, спросил:
— А что у вас, Тихон Егорович, с братом произошло?
— С братом? — как бы растерялся Тишков. — А вы откуда знаете?
— Женщина там, на площади, в чем-то вас упрекала.
— Женщина? Ах, это супруга моего брата Ивана Егорыча. Нехорошая в общем женщина. Кукушка.
«Уклоняется, — подумал Сергей Варфоломеевич. — А тут что-то есть. Вот про это самое и рассказывал Терентьев. Но не запомнил я в подробностях...»
— История мне эта тоже, в общем, неприятная, — признался Тишков. Ничего занятного в этой истории, в общем, нет. Но поскольку заходит разговор, я, если вас интересует, могу объяснить. Но вы, может быть, сначала чушек наших желаете посмотреть? Вот они тут...

11

Из свинарника, сопя и хрюкая, выкатились на коротких ногах четыре огромные свиньи — свиноматки, как официально назвал их Тишков. Сквозь золотистую щетину просвечивали их розовые тела. И следом за ними выбежали, вертя хвостиками, поросята.
— Одиннадцать штук, — сосчитал Тишков. И как будто сконфузился. Немного. Но глядите, какая порода! Это нам Григорий Назарыч помог из «Авангарда» достать.
«Бедность, — подумал Сергей Варфоломеевич. — Какая бедность! А он радуется. И даже показывает своих чушек секретарю обкома. Хотя бы сотня их была — тогда другое дело».
Перекресов, однако, наклонился над каждой свиньей и каждую погладил по жесткой щетине.
И Сергей Варфоломеевич счел своим долгом проделать то же самое.
Перекресов поймал одного поросенка и подержал на руках. Этого Сергей Варфоломеевич сделать не смог, да и не захотел: к чему это?
Тишкову было приятно, что Перекресов поласкал поросенка. Тишков поймал еще одного и показал:
— Глядите, какие у него ноги. У него вся порода в ногах. Это нужно понять.

Сергей Варфоломеевич присел на опрокинутый ящик и наслаждался покоем. Пусть они рассматривают поросят, а он отдохнет. Пусть подольше рассматривают. Невидаль какая! В «Авангарде» ходит такое стадо в несколько сот голов, и никто не удивляется.
Удивляло теперь Сергея Варфоломеевича только то, что Григорий Назарович куда-то исчез. И за все время, обходя колхоз, они нигде ни разу его не встретили. Значит, есть еще участки, которых им не показывал Тишков. Неужели он и дальше их поведет? Когда же они уедут отсюда?
Перекресов вошел в свинарник, увидел, должно быть, интересное. Старуха свинарка Варвара Саввишна, как ее почтительно называл Тишков, стала объяснять что-то. А Тишков замолчал.
«Ну и пусть он хоть немного помолчит, — беззлобно подумал Сергей Варфоломеевич. — А все-таки когда же мы поедем? Обедать уж придется дома, ночью. Раньше ночи мы домой не доберемся. Впотьмах очень опасно ехать через тот мост. А придется обязательно ехать впотьмах». И еще вяло подумал Сергей Варфоломеевич: «Интересно все-таки, что же у него вышло с братом, у Тишкова? Не хочет он про это рассказывать. Ясно, не хочет. Про свиней рассказывает, а про брата не хочет».
В свинарнике Тишков о чем-то заспорил с Перекресовым. Сергей Варфоломеевич, сидевший у дверей на солнышке, не уловил начала спора. Услышал только слова Тишкова:
— Вы погодите. Я скажу. Тут нету никакой узурпации. Закон позволяет... Я вот как раз уважаю закон. Довольно уже, кажется, было беззакония...
— Нет, уж вы меня извините, — деликатно попросил Перекресов.
— А я вам говорю. Я отвечаю. Вы погодите...
Это опять сказал Тишков. Очень грубо сказал. Не понимает, должно быть, с кем разговаривает. Не чувствует масштаба. Сергей Варфоломеевич в удивлении даже привстал с ящика, хотел заглянуть в помещение, но вдруг услышал, как засмеялся Перекресов.
— Ох, видать, и упорный ты мужик.
— Я упорный, — согласился Тишков и засмеялся каким-то хриплым смехом оттого, что у него больная грудь.
Удивительным показалось Сергею Варфоломеевичу, что Перекресов обращается к Тишкову уже на «ты». Все время говорил ему «вы», а сейчас «ты». Но это «ты» звучит не так, как звучало у Виктора Ивановича, который всем говорил «ты». Перекресов этим «ты» как бы выражает Тишкову свое приятельское чувство. И Сергей Варфоломеевич хорошо уловил этот оттенок.
— Так что же у тебя все-таки, Тихон Егорович, с братом-то произошло? опять спросил Перекресов.
— Неприятная просто история, — вздохнул Тишков. — Очень даже неприятная...
— А все-таки?
Но тут появился наконец Григорий Назарович с какой-то папкой.
— Вон наш кучер идет, — засмеялся, увидев его, Перекресов, заметно повеселевший после осмотра свинарника.
Сергей Варфоломеевич, услышав его слова, помрачнел.
— Вы понимаете, товарищ Перекресов, тут произошло некоторое недоразумение...
— Я понимаю, — кивнул Перекресов. И неясно было, сердится ли он на Сергея Варфоломеевича за эту комедию с кучером или не придает значения.
А Григорий Назарович развернул папку и похлопал по бумагам ладонью.
— Молодцы! — сказал он. — Просто молодцы! — И протянул папку Перекресову. — Это колхозный план. Каждая графа обоснована. И все реально. Надо только немножко подредактировать, но это уже пустяки.
Перекресов положил папку на широкий дубовый пень и, присев на корточки, стал перелистывать бумаги. Сергей Варфоломеевич заглядывал ему через плечо.
— Любопытно! — говорил Перекресов.
— Н-да!.. — как бы вторил ему Сергей Варфоломеевич.
Наконец Перекресов закрыл папку и сказал:
— Это мы потом обязательно посмотрим. Так, на ходу, нельзя. — И передал папку Тишкову. — Есть над чем подумать. План интересный, сильный!

— Я считаю, — посмотрел вокруг Григорий Назарович, — что, если все так и дальше пойдет, как сейчас, не хуже, это хозяйство года через три будет в два раза крупнее, например, «Авангарда». Я твердо уверен. Хотя здесь трудоспособного населения меньше, чем в «Авангарде», в четыре раза. Но здесь большие возможности. — И взглянул на Тишкова. — Ты, Тихон Егорыч, только не шибко задавайся.
— А я и не задаюсь.
— Нет, задаешься, не уважаешь гостей, — засмеялся Григорий Назарович. В любой колхоз приедешь — тебе хоть кружку молока нальют. А у тебя мы сколько тут ходим...
— Ох, верно! — спохватился Тишков. — Я ведь все еще по-шахтерски живу: раз наелся как следует перед упряжкой, перед сменой, и до конца. А вы-то, конечно... — Он увидел девушку в косынке, прикрывающей почти весь лоб. Вы глядите, как у нас девицы берегут от солнца свою красоту, чтобы не выгорела, не спалилась... Ты, Верочка, домой идешь? Зайди, пожалуйста, к Бескудниковой Клавдии, скажи — пусть чайную откроет. Пусть нарежет колбаски, сырку, чего у нее там есть. Может, консервы хорошие имеются. И яичницу пусть готовится сделать на... — он как бы пересчитал гостей, — на трех человек.
— А на себя что же не заказываешь? — улыбнулся Перекресов.
— Я дома потом поем, — почему-то сконфузился Тишков.
«Бескудникова Клавдия, — подумал Сергей Варфоломеевич. — Может, это и есть сама Клавка. Откуда же она взялась? Ведь уезжала. Точно, уезжала. Давно я ее не видел».
— Тогда сделаем так, — предложил Тишков, обращаясь сразу ко всем. Пока там готовится, в чайной, пойдемте, я вам покажу, где мы сад намечаем. Кое-что уже посадили. Григорий Назарыч, наверно, видел...
— Я видел, — кивнул Григорий Назарович. — А гости, по-моему, устали. Хорошо бы им передохнуть.
— Ну что же, — согласился Тишков. — Можно и передохнуть. Но я думал так, — обратился он к Перекресову, — вы покушайте, а мы пока кое-какой народ соберем, хотя бы правление. Вы, может, нам речь скажете. Нам будет, знаешь, приятно.
— Какая там речь! — замахал руками Перекресов. — Мы слегка поедим и займемся делами. Посмотрим как следует ваши планы. Может, чего-нибудь вам посоветуем и у вас чему-нибудь поучимся.
— Ну, насмехаться-то бы, конечно, не надо! — укоризненно посмотрел на него Тишков. — Учиться у нас пока нечему. А вас послушать нам охота. Представителей у нас тут много перебывало. Но все указывают этак — в общем и целом. Тут сейчас у нас двое сидят. Один хорошо вчера вечером рассказывал насчет суеверий. Объяснял, до чего это глупо — верить, допустим, в религию. Это, конечно, очень полезно объяснять. Но народ задавал ему также вопросы по хозяйственной жизни, а он, этот представитель, сильно затрудняется. Хорошо бы завести разговор поближе к нашим делам...
— Вот мы такой разговор и постараемся завести, — пообещал Перекресов. Завтра уж заведем разговор, когда со всем познакомимся.
«Значит, мы сегодня не уедем, — с тоской подумал Сергей Варфоломеевич. — Напрасно я сапоги надел. Жарко в них. Слишком жарко».
— Ну, тогда отдыхайте пока, — как бы милостиво разрешил Тишков. — Я сам в чайную схожу. Может, Клавдия чего горячее сделает.

12

День все заметнее клонился к вечеру. Воздух чувствительно посвежел, опять подул легкий, зябкий ветерок.
Приезжие вернулись на площадь, где стояла их пролетка.

Сергей Варфоломеевич достал из-под сиденья свой плащ и, накинув его на плечи, уселся на бревна, лежавшие в стороне от входа в правление.
Тут он немного погодя не спеша разулся, пошевелил в прохладе пальцами ног, обмотал ступни портянками со свежих концов и снова натянул сапоги.
Ногам стало много покойнее, но на душе покоя не было.
К нему подошла большая лохматая собака с добрыми, грустными глазами, деловито обнюхала его, медленно помахала хвостом. Он хотел ее погладить. Протянул было руку, но заметил, что шерсть линяет, и, тихонько отпихнув ее ногой, сказал не сердито:
— Ступай-ка ты отсюда. Ступай.
Перекресов с Григорием Назаровичем стояли у пролетки и о чем-то неслышно беседовали. Но Сергею Варфоломеевичу думалось, что они беседуют обязательно о нем и оба сходятся в мнении, что он никудышный руководитель.
И еще показалось Сергею Варфоломеевичу, что Перекресов как будто подружился с Григорием Назаровичем. Вот Перекресов смеется. Что-то смешное рассказал ему агроном. И смеется Перекресов как-то уж очень громко. Сергею Варфоломеевичу думается, что так бы не должен смеяться секретарь обкома. Не солидно это, пожалуй.
Потом Перекресов и Григорий Назарович сели на бревна рядом с Сергеем Варфоломеевичем.
Отсюда было видно, как Тишков зашел в одну избу, затем в другую, пронес какой-то ящик и стал с ним подниматься на трехступенчатое крыльцо чайной.
За ним шла высокая красивая женщина. На ходу она надевала белый передник, завязывая за спиной широкие тесемки.
«Бескудникова Клавдия, — сразу узнал Сергей Варфоломеевич. — Она, точно, Клавка. — И стал думать: — Как же мы, занятно, с ней встретимся сейчас? Я человек женатый, и она, наверно, замужем. А может, она еще и незамужняя? Как бы там ни было, интересно ее повидать, вспомнить молодость».
И, все время печальный от неизъяснимых и не до конца осознанных огорчений сегодняшнего дня, Сергей Варфоломеевич вдруг душевно взбодрился и еще раз пожалел, что не приехал сюда раньше. Раньше бы он тут во всем разобрался сам и Клавдию бы повидал с глазу на глаз, без свидетелей.
«Все-таки молодость, — опять подумал он. — Всегда интересно, между прочим, ее вспомнить».
А Перекресов спросил Григория Назаровича, кивнув на Тишкова:
— Так что же у него вышло с братом?
— Тут целая история, — сказал агроном. — Тишков и мне не хотел рассказывать...
— Да, я тоже заметил, он чего-то, по-моему, скрывает, — присоединился к разговору и Сергей Варфоломеевич. — Хочет скрыть. Это заметно...
— Да ничего он не хочет скрыть, — будто обиделся за Тишкова Григорий Назарович. — Просто это его любимый старший брат. И ему неприятно, что так случилось.
А случилось, как объяснил Григорий Назарович, вот что. Брат Тишкова, Иван Егорович, стал немножко приворовывать, стал зимой таскать к себе в избу колхозные дрова.
В избе же у него жил Тихон Егорович, тогда еще не председатель колхоза, а просто инвалид. Тихон сказал, что это нехорошо, тем более он, Тихон, коммунист, и ему прискорбно смотреть, как его брат превращается в мазурика.
На что Иван сразу в сердцах заметил, что хотя Тихон и коммунист, но не отказывается, однако, лежать на теплой печи, протопленной ворованными дровами. «И к кому ты жаловаться на меня пойдешь? — спросил Иван. — К Федьке Бескудникову? Так он тоже ворует, хотя и состоит председателем».
Братья поссорились, но вскоре помирились.
Иван дал честное слово, что больше воровать не будет. Однако прошлой осенью, когда Тихона Егоровича уже выбрали председателем колхоза, стало известно, что кто-то продолжает тайно выдаивать колхозных коров. Оказалось, что это делает жена его брата и еще одна доярка — Питателева Татьяна.
Тихон Егорович поймал их ночью на месте преступления, и вместе с ними своего брата, который светил им фонарем «летучая мышь».

Брат Иван упал в ноги Тихону и стал упрашивать не шуметь, не затевать скандала, не губить его, и жену, и ее подругу, вдову Питателеву. Говорил плача, что это они в последний раз. И неужели Тихон теперь пойдет против родного брата, неужели у Тихона хватит совести?
«Хватит», — сказал Тихон Егорович и разбудил членов правления колхоза.
Тут же был составлен акт. Дело передали поутру в суд. И вот сейчас Иван Тишков с женой и ее подруга со дня на день ждут суда. А самому Тишкову Тихону Егоровичу очень жалко брата. Это в самом деле у него любимый брат.
— Вот, оказывается, как это выглядит, — повернулся к Сергею Варфоломеевичу Перекресов. — А ваш Терентьев, хотя и начальник районной милиции, но сильно напутал.
— Напутал, напутал, — поспешно согласился Сергей Варфоломеевич.
— И вообще я считаю, — сказал Григорий Назарович, — в районных организациях у нас не понимают Тишкова. Я уже это говорил Никитину...
— А мне что же ничего не говорил? — невольно упрекнул его Сергей Варфоломеевич.
— И вам говорил, — напомнил агроном. — Но вы ведь все отмахиваетесь. Вам он показался склочником. Вы поверили Терентьеву. А Терентьев сам не разобрался. Он тоже все говорит с чужих слов...
Григорий Назарович еще о чем-то хотел рассказать, но к приезжим стали подходить колхозники.
Запахло дымком. Это в чайной напротив растапливалась плита.
Сергей Варфоломеевич подивился тому, как Перекресов разговаривает с колхозниками. Уж очень как-то странно. Не все колхозники, наверно, понимают, что это и есть секретарь обкома.
Виктора Ивановича, бывало, за километр видно, что он за человек и какую должность занимает.
Сергей Варфоломеевич все время невольно сравнивает Перекресова с Виктором Ивановичем, который, кажется, и не улыбался никогда. Может, дома с женой улыбался. А на людях всегда был хмурый, недовольный, будто все перед ним виноваты. И, конечно, его побаивались. Не любили, но побаивались. А это и требуется, чтобы побаивались, — убежден Сергей Варфоломеевич.
Он и сам тут разговаривал бы по-другому, если б приехал один.
Его бы Тишков в разговоре не перебивал, как он позволяет себе перебивать даже секретаря обкома. Нет, Перекресов, видно, еще не очень опытный, хотя и говорят, что он крепко берется за все дела в области. Не умеет еще он, видно, разговаривать с народом так, чтобы каждый сразу чувствовал его авторитет. Или, может, у него особая повадка?
Улыбаясь, Перекресов спросил:
— Ну, как, товарищи колхозники, новый-то председатель вас не обижает?
— Кого как, — ответил старик с обросшим жиденькими волосами лицом, похожим на печеное яблоко. И, подумав, добавил: — Какой же это будет председатель колхозу, ежели он никого не обидит...
— Вот как? — удивился Перекресов. — Значит, обижает?
— А как же. Без этого нельзя.
— Неужели нельзя?
— Нельзя, — убежденно подтвердил старик. — Ежели никого не обижать, так порядка никакого не будет. А для хозяйства нужен порядок.
— Значит, как же понять? — спросил Перекресов. — Хороший у вас председатель?
— Поглядим, — усмехнулся старик. — Поживем — увидим. И Тишков еще полностью себя не оказал...
— Ну, это уж ты, дедушка, тень на человека кладешь, — сказал красивый парень в черном бушлате, из-под которого виднелась полосатая матросская тельняшка. — «Не оказал»! — передразнил он старика. — Люди из района приехали, интересуются, приглядываются, а ты даешь такую характеристику. Может, тебе лучше опять Федьку Бескудникова вернуть в председатели? Он-то уж себя оказал...
Разгорелся спор. Парень в бушлате решительно отстаивал Тишкова, хотя никто Тишкова не ругал.

— У Тишкова, — говорил парень, — есть одна черта. Он каждого человека в колхозе ставит на определенную точку. И все время глядит, как этот человек держится на этой точке, как он действует, какая и к чему в нем есть способность и симпатия. Другой человек сам в себе не чувствует способности. А Тишков ее замечает.
— А в чем дело? — спросил только что подошедший остроносый мужчина в галифе и тапочках. — Правда разве, снимают Тишкова? — И поглядел на Перекресова.
— Я не слышал, — сказал Перекресов. — Может, вам лучше известно.
— Нам все известно! — засмеялся остроносый. — У нас женский, я извиняюсь, телеграф хорошо работает. Говорят, приехала комиссия снимать Тишкова и прямо указывают, я опять извиняюсь за грубость, вот на них, — он кивнул на Сергея Варфоломеевича. — Говорят, этот, который полный и в сапогах, будет у нас председателем вместо Тишкова...
Григорий Назарович кивнул на Сергея Варфоломеевича.
— Он и так уже председатель. Председатель райисполкома.
— Это ничего не значит, — усмехнулся остроносый. — Не вечно же в райисполкоме. Иногда и на больших постах кое-кого, я извиняюсь, перетряхивают...
Говорил это остроносый, пожалуй, без всякого намерения задеть председателя райисполкома. Но Сергей Варфоломеевич почему-то сегодня все принимал на свой счет, и в словах остроносого ему тоже почудился прямой намек, хотя намека не было.
А Перекресов засмеялся над словами остроносого. И посмотрел на Сергея Варфоломеевича, как будто поискал глазами, тут ли он. От этого взгляда Сергей Варфоломеевич чуть поежился, хотя взгляд был обыкновенный — не злой, не добрый, — задумчивый.
Перекресов точно так посмотрел и на Григория Назаровича. Он, может быть, хотел спросить их о чем-то, но не спросил.
— Нет, Тишкова снимать никак нельзя, — опять заговорил парень в бушлате. — Это, поимейте в виду, будет глупость. Я вам это определенно говорю...
И он продолжал рассказывать, как при Бескудникове даже картошку позапрошлой осенью некому было копать — не хватало рабочих рук.
А при Тишкове сейчас, вот даже в самое горячее время, накануне весеннего сева, в колхозе ведутся еще многие большие работы: готовятся силосные траншеи, строится новый скотный двор, новый амбар, да и мало ли еще что делается, хотя трудоспособного населения стало меньше: многие разбежались при Бескудникове.
И, кроме того, надо учесть, Тишков умеет извлекать доход даже из таких статей, которых раньше никто не замечал.
Допустим, березовые веники или метлы. Кто о них раньше думал? А Тишков поставил на это дело старух и ребятишек, и они за эту зиму связали несколько тысяч метел и веников. И за них в Утарове колхоз выручил уже хорошие деньги. Да что говорить, Тишков — оборотистый мужик! Не для себя, учтите, оборотистый, а для всех, для всего колхоза.
Сергей Варфоломеевич, сонно щурясь, слушал, как парень в бушлате восхваляет Тишкова, и печально думал: «А меня разве будет кто защищать, если встанет вопрос? Неужели про меня ничего хорошего не вспомнят? А ведь я чего-то такое тоже делал. И ночей не спал». И неожиданно для себя он спросил парня:
— А тебе самому при Бескудникове было плохо?
— Не скажу, — блеснул озорными глазами парень. — При Бескудникове мне лично было, может, и неплохо. Может, даже лучше было.
Бескудников этого парня, вернувшегося с флота, сразу же назначил в колхозную охрану, говоря: «Очень много у нас воров развелось. Назначаю тебя поэтому, как военного моряка, стеречь на суше колхозную собственность и даю тебе под команду еще девять парней. Будете отвечать только передо мной и перед своей совестью. Ваша главная задача — перевести воров, всех до единого».
Парни эти хотя и не перевели воров, но сами, откровенно сказать, жили неплохо. Но когда председателем выбрали Тишкова, все изменилось. Тишков вызвал их к себе, по-военному выстроил, оглядел и сказал: «Хороши! Ничего не скажешь, хороши! На здоровье не жалуетесь?»
И вдруг сразу же стал их срамить: вы, мол, хлеб у стариков отбиваете. Разве, мол, с вашим здоровьем надо на такой работе находиться? Да вам в полевые бригады надо идти, плотничать, камень бить...

«А как же с воровством бороться? — спросили Тишкова члены правления. Кто же будет бороться с воровством?»
«Воровство, — сказал Тишков, — это еще не главный наш страх. Воровство легко переведется, если мы сами с вами не будем воровать. А за остальными и старики присмотрят...»
— И правда, воровства у нас на сегодняшний день пока что не наблюдается, — сообщил остроносый мужчина в галифе и в тапочках. — Как рукой сняло... Нет, уж вы, если можно, Тишкова у нас не трогайте...
— Да кто же это сказал, что его собираются снимать? — спросил Перекресов.
— Ну как же, — смутилась женщина, на которую он случайно посмотрел. — В «Красный пахарь» уже приехал новый председатель из города. Говорят, очень образованный. И сам Тишков нам на днях намек сделал: что, мол, может быть, я еще и не удержусь. А мы трясемся. Ведь неведомо, какой он будет, образованный-то председатель, а Тишкова мы уже видим на факте...
За беседой никто не заметил, как подошел Тишков. Беседа некоторое время продолжалась в его присутствии. И, наверно, всем стало неловко, когда он сам заговорил:
— А я не против — пусть приедет образованный председатель. Мне даже лучше. Я опять в полеводческую бригаду пойду. Меня теперь больше всего земля интересует...
«Рисуешься, — подумал, глядя на него, Сергей Варфоломеевич. — Небось обидишься, если снимут. Каждый, пожалуй, обидится. — И опять тревога тронула его сердце: — А куда я сам пойду, если меня вдруг освободят?»
— В чайную пойдемте, — пригласил Тишков. — У Клавдии уже все готово.
И Клавдия в белом переднике вскоре появилась на крыльце.
«Не изменилась нисколько, даже похорошела как будто, — издали посмотрел на нее Сергей Варфоломеевич и снова взбодрился: — Интересно, узнает ли она меня?»
Он хотел бы пойти в чайную хоть сию минуту, но Перекресов все еще продолжал разговаривать с колхозниками, а раньше его уйти было неудобно. И Сергей Варфоломеевич опять вспомнил Виктора Ивановича. Тот бы не стал так расспрашивать всех подробно. Тот всегда сам говорил отрывисто, и ему постоянно было некогда, будто где-то его ждут неотложные дела и он сердится, что его задерживают. А Перекресов ведет себя так, словно сроду не видел колхозников и очень рад, что встретился с ними.
Сергей Варфоломеевич отошел было от бревен и опять вернулся, чтобы послушать, о чем говорит секретарь обкома.
— Это есть, это есть, — подтверждал что-то Перекресов. — Есть у нас еще и такое начальство, которое только делает вид, что работает, а на самом деле баклуши бьет. Это есть, товарищи... А насчет МТС мы выясним. Мы заедем к ним. И насчет этого трактора узнаем, который утонул. Но я думаю, тут дело не в МТС и не в Битюгове. Тут дело посерьезнее...

13

В чайной было уютно и чисто. Пол, покрашенный охрой, поблескивал, как яичный желток. Стены отливали нежной голубизной: видимо, в известь, когда белили, хорошо добавили синьки. И синяя полоска, аккуратно проведенная вдоль стен, как бы подчеркивала приятную голубизну. На столах белые недорогие скатерти из простынного материала. На стойке у буфета раскрашенные чайники, чашки, блюдца.
Чтобы не сразу тут, при всех, заговорить с Клавдией, Сергей Варфоломеевич остановился на минутку у зеркала и вдруг пожалел об этом. Из зеркала глянул на него совсем не такой человек, каким всегда представлялся самому себе Сергей Варфоломеевич.

Вялое, печальное лицо было у этого человека, под глазами серые мешки, а глаза запавшие, с расширенными зрачками. И волос действительно немного остается. Не узнает его Клавдия. Она курчавым его знала, белокурым и курчавым. «Мой кучерявенький, — называла она его. — Мой кучерявенький барашка». И потом сапоги. Он их раньше носил для молодцеватости. А теперь, когда располнел, ноги выглядят в сапогах слишком тонкими, как у нарисованного детской рукой человечка.
Все это с особой резкостью бросилось в глаза Сергею Варфоломеевичу только сейчас, будто он посмотрелся в зеркало впервые за последние годы.
Недовольный собой, он отошел к столу, за которым уже сидели Перекресов и Григорий Назарович, а Тишков тут же стоял, опираясь обеими руками на палку.
Клавдия Бескудникова в самом деле, должно быть, не узнала своего бывшего возлюбленного или сделала вид, что не узнала. Она принесла огромную сковороду жареной рыбы, залитой яйцами, и, перед каждым поставив тарелку с едой, каждого одинаково ласково попросила:
— Кушайте, пожалуйста.
— А ты-то чего не садишься, Тихон Егорович? — спросил Перекресов.
— Ничего, вы кушайте, я после, дома, поем, — сказал Тишков и посмотрел на голубые ходики. — У меня сию минуту бригадирский час. Вы кушайте, я пойду. Меня бригадиры ждут.
Однако он все не уходил, поглядывая на Клавдию, будто проверял, правильно ли она угощает гостей.
— Хорошая чайная, — огляделся Перекресов.
— Да ничего, для нашего дела пока подходящая, — без излишней скромности согласился Тишков. — Вы вот поглядели бы, в районном центре какая чайная.
— Я поглядел, — невесело улыбнулся Перекресов.
— Позор, просто позор и стыд, — сказал Тишков. — Я теперь если в район еду, свои харчи беру с собой. Там одна столовая и одна чайная, а покушать непьяному человеку негде. Грязь ужасная...
Сергей Варфоломеевич прожевал рыбу, утерся бумажной салфеткой и посмотрел на Тишкова.
— Вам, конечно, хорошо говорить. Какой контингент здесь и какой контингент там! Здесь же, в вашей чайной, может быть, от силы пятьдесят человек в день перебывает. А там кто с поезда сойдет или с телеги слезет, сразу направляется в чайную или столовую. Разве можно сохранить чистоту?
— Можно! — почти крикнул Тишков. — Еще как можно! Но для это нужно любить человека, заботиться о нем. Надо сначала завести чистоту, а потом ее сохранять. Надо, одним словом, любить народ, уважать. А вы его не уважаете, не любите. Вы только себя любите, на своем посту...
Это была уже грубость. Никто еще так грубо не поучал Сергея Варфоломеевича.
Даже когда его критиковали на бюро райкома или на сессиях, грубостей таких никто не допускал.
Сергей Варфоломеевич искоса взглянул на Клавдию, стоявшую за буфетной стойкой. Похоже было, что она смеялась. Теперь-то уж, наверно, Клавдия узнала его. И ему бы надо было сейчас напрячь все силы своего ума, все способности, чтобы достойно ответить этому зазнавшемуся Тишкову.
Не перед Перекресовым, а именно перед Клавдией было стыдно Сергею Варфоломеевичу. Но он, обыскав свою память, не мог найти ни одной готовой фразы, которая сейчас бы пригодилась ему. И сказал только:
— Давно ли вы здесь, а уже учите людей! А я не первый год нахожусь...
— Вот это и прискорбно, — перебил его Тишков. — Вот это и прискорбно, что вы не первый год и давно привыкли закрывать глаза на ненормальности. К покойной жизни привыкли. Над нами, мол, не каплет. А я вот недавно прочитал, что, если человек все время будет находиться в покое, у него и мускулы повянут, и тело раскиснет. А если его кормить одной манной кашей, у него и зубы выпадут...
«При чем тут манная каша? — подумал Сергей Варфоломеевич. — Глупость какую-то говорит». Но возразить Тишкову не смог. Не смог найти подходящих слов.

Тишков этот, показавшийся ему в первые часы нынешней встречи просто словоохотливым пожилым мужичонком, потом словно вырастал на его глазах, словно приобретал постепенно какие-то особые права на него, словно не Сергей Варфоломеевич председатель райисполкома, а Тишков. Или даже Тишков старше по должности. Но надо бы все-таки Сергею Варфоломеевичу что-то такое ответить ему.

Сергей Варфоломеевич собирается с мыслями. А Тишков говорит уже спокойным и даже добрым голосом:

— Ты, Клавдия Ивановна, попотчуй гостей чайком. А я пойду. Люди ждут. Вы, товарищи, потом приходите прямо в правление.

За столом, когда уходит Тишков, наступает неловкая тишина.

Если б Перекресов принялся сейчас упрекать или даже ругать Сергея Варфоломеевича, ему, Сергею Варфоломеевичу, стало бы, пожалуй, легче. Хоть разрядилась бы эта гнетущая тишина. Но Перекресов молча доедает рыбу, бережно вилкой обнажая ее скелет, потом придвигает к себе чашку с чаем и, отхлебнув, спрашивает Клавдию, давно ли она здесь живет.

— С самого почти что детства, — отвечает Клавдия, красиво щурясь и кокетливо заправляя под косынку волосы. Щеки ее заливает молодой румянец. — Ненадолго уезжала, потом опять вернулась: родные, как ни говорите, места, своя избушка...

А Сергей Варфоломеевич не может почему-то оторвать от тарелки глаза и посмотреть на Клавдию.

И почему это, в самом деле, так странно получается? Перекресова он сейчас почти не боится, хотя Перекресов может прямо и быстро повлиять на его судьбу — и, наверно, повлияет, — а вот Тишков и даже Клавдия чем-то словно пугают его, особенно Тишков. Будто с сегодняшнего дня Тишков в самом деле взял какую-то власть над ним, над Сергеем Варфоломеевичем. И Клавдия, может быть, тоже это понимает.

А ведь ничего особенного сейчас не произошло. Тишков только упрекнул его за грязь в районной чайной. Подумаешь, какое важное дело! Ни одного председателя исполкома еще не снимали за такие дела, даже выговоров не объявляли.

И все-таки Сергей Варфоломеевич чувствует себя не свободным. Чай обжигает ему губы. Он дует в чашку. Потом медленно выливает из нее на блюдце и, приподняв блюдце на растопыренной ладони, пьет мелкими глотками.

А Перекресов беседует с Клавдией и внимательно слушает ее, хотя она теперь рассказывает какие-то байки про своего брата Федора.

Сергей Варфоломеевич уже не первый раз сегодня удивляется, что такой большой работник, как Перекресов, только и делает, что внимательно, не перебивая, выслушивает каждого. Хотя мало ли что могут наговорить!

Сергею Варфоломеевичу и в голову не придет, что умение терпеливо и с интересом слушать людей, может быть, и есть одно из самых драгоценных качеств человека, взявшегося руководить людьми. И надо уметь не только слушать, но и вызывать на разговор, располагать к себе людей.

— ...Женихи? Какие уж для меня теперь женихи? — улыбается Клавдия, отвечая на вопрос Перекресова. — Я в этом деле почти что разочарованная. А сама вся сияет здоровьем, и силой, и еще не растраченной молодостью. Это как в песне у нас поется: «Отшумел камыш, отгремел и гром...»

«Значит, она не замужем, — устанавливает Сергей Варфоломеевич, допив чай. — Очень сильно она меня когда-то любила. Значит, правда, что любила, не обманывала. Из-за меня, наверно, и не вышла замуж. Наверно, из-за меня не вышла. Но неужели ж она теперь меня не узнает или не хочет узнать? Хотя, может, она даже и не слыхала, что я тут был председателем райисполкома».

Подумав про себя внезапно в прошедшем времени — «был», — Сергей Варфоломеевич отодвинул пустую чашку с блюдцем. Но Клавдия, должно быть, не заметила этого, не предложила ему еще чаю, как предлагала только что Перекресову и Григорию Назаровичу. Она теперь рассказывала с увлечением, как Тишков следит за чистотой в чайной и вообще во всем добивается культурности. Он говорит, что, если у них дела в колхозе пойдут хорошо, они года через два отстроят и свой клуб. Надо, говорит он, приучать людей к

чистоте и красоте жизни, чтобы они сами себя уважали и видели, что у них намечается впереди.
— А брат мой был просто так — пустельга, — вздыхает Клавдия. — Хотя, может, и нехорошо этак вспоминать про брата. Но он вот именно не видел, какая может получиться жизнь. Уехал, живет сейчас в Утарове, работает где-то заведующим палаткой на базаре. Из председателей-то колхоза на базар. И все из гордости: живу, мол, в Утарове. А радость-то какая? Лучше бы здесь остался под руководством Тишкова. Тишков его оставлял звеньевым, а он обиделся. Это уж я многих замечаю таких, что все стремятся в начальники, а в начальники они не годятся. Только портят жизнь людям из-за своего самолюбия.
Сергею Варфоломеевичу казалось, что Клавдия это все говорит не про брата, а про него. Но он не хотел этого слушать. Он вышел из-за стола и стал рассматривать на стене аляповатую копию с картины «Утро в лесу». До него долетали теперь слова Григория Назаровича.
Агроном опять говорил Перекресову, что у этого колхоза большие возможности, и делал какие-то подсчеты.
— Я убежден, — говорил агроном, — что тут в ближайшие годы будет все, что требуется крупному культурному хозяйству. Все будет!..
«Будет все, не будет только меня. Выживут они меня. Уже выживают!» — с каким-то печальным ожесточением подумал Сергей Варфоломеевич. И, увидев, что Перекресов и Григорий Назарович прощаются с Клавдией, снял с вешалки свой плащ и пошел за фуражкой, оставленной на подзеркальнике около буфета.
— Сколько с меня? — спросил он Клавдию, надевая фуражку.
— Они уже заплатили, — сказала Клавдия и улыбнулась.
И по улыбке ее можно было угадать, что она не только узнала, но и, пожалуй, жалеет его за что-то. Или это ему показалось оттого, что улыбка ее была по-прежнему озорная и в то же время чуть грустная.
Сергею Варфоломеевичу сильнее, чем час назад, захотелось постоять около нее, поговорить, хотя он еще не знал о чем. Но сейчас это было едва ли удобно, потому что Перекресов и Григорий Назарович, оглянувшись на него, уже вышли из чайной уверенные, что и он пойдет за ними. И он должен пойти. А то мало ли что они подумают про него, если он задержится тут, у стойки.
Он только сказал в легком замешательстве:
— Тебя и не узнаешь, Клава. Ты поправилась очень. Давно не виделись...
— Да и вас-то узнать нельзя, — опять улыбнулась она, уже не грустно, а с откровенным озорством и лукавством, что всегда ей шло...
— Я зайду еще к тебе, — пообещал он и вышел.
И напрасно вышел.
Вот так, пожалуй, всю жизнь он глушил в себе, может быть, даже самые лучшие душевные порывы только потому, что это могло не понравиться кому-то, кто мог посчитать это несвоевременным, лишним или, еще хуже, дерзким.
Эта способность применяться к обстановке, действовать с расчетом на чье-то мнение, приспосабливаться к чьему-то мнению принесла ему некоторый успех. Его считали выдержанным, степенным и продвигали все дальше по служебной лестнице.
И он сознательно вырабатывал в себе умение вовремя смолчать, не торопиться высказывать свое мнение, не противоречить тем, кто старше его, не проявлять страстей.
Он слушался во всем Капорова, когда Капоров был секретарем райкома, согласовывал с ним каждый свой шаг и терпеливо ждал дальнейших указаний, чтобы немедленно их выполнить.
Если б Капоров сказал, что в районной чайной надо навести порядок, Сергей Варфоломеевич навел бы. Он картинку бы сделал из этой чайной! Но ведь не было такого разговора. И кампании такой не было — по борьбе за чистоту в чайной.
В районе были другие кампании, которые хорошо выполнялись. И район считался не последним в области.
Виктор Иванович всегда хвалил район, ставил в пример. Но вдруг приехал вот Перекресов, и все, наверно, показалось ему плохим. И на чайную в районном центре он обратил внимание. И мост увидел разрушенный. И дорога в Желтые Ручьи его, может быть,

обозлила. И то, что Федора Бескудникова вовремя не сняли в Желтых Ручьях, ему, может быть, тоже не понравилось. Конечно, не понравилось.
Перекресову понравились Тишков, и Григорий Назарович, и еще какие-то мужики на площади около правления.
А на Сергея Варфоломеевича Перекресов, наверно, смотрит как на пустое место, как будто его здесь нет и не было, как будто он не работал, не старался, не вкладывал энергию. Но, может быть, Сергей Варфоломеевич не туда ее вкладывал? Так это именно так вот и надо сказать. Он все-таки не сам себя выдумал. Он, может быть, еще сам себя не полностью понял, что он есть за человек и для чего он действует. Когда Сергей Варфоломеевич распекал работников, казавшихся ему нерадивыми, тем, кого он распекал, постоянно думалось, что сам он человек грозный, смелый. Он ведь распекал, помнится, и Тишкова. Но Тишков-то, видно, сразу угадал, что он совсем не смелый. Он робкий человек, Сергей Варфоломеевич.
И сейчас, когда никто не видит его, он идет по улице в полной растерянности, отягченный наплывом мыслей, в которых не сразу и разберешься.
Что же делать Сергею Варфоломеевичу?
Вечер еще не наступил, но на улице смеркалось и дул легкий, свежий ветерок.
В каком-то длинном сарае уже зажгли свисающую с потолка большую керосиновую лампу-молнию, какие и в городе горели в старину.
Сергей Варфоломеевич заглянул в этот сарай и сразу увидел в глубине его Перекресова и Григория Назаровича. Они смотрели, как готовят к севу семена.
Никто из работавших в этом сарае не обратил внимания на Сергея Варфоломеевича. Все, наверно, так были заняты, что некогда было даже взглянуть на него. Но он и это, конечно, случайное невнимание к нему расценил по-особому. И не обиделся, а как-то душевно присмирел.
Перекресов взял горсть мякины и стал внимательно и молча рассматривать ее под лампой. Он зачем-то дул на ладонь, и часть мякины сдувалась. А на ладони оставались зерна, показавшиеся Сергею Варфоломеевичу незнакомыми и необыкновенно крупными в свете лампы. И без всякой связи Сергей Варфоломеевич, точно желая огорчить кого-то, вдруг почти сердито подумал: «Ну что ж, пусть! В крайнем случае поеду в колхоз. Неужели не примут?»
За сараем, где-то вдалеке, во все сгущавшихся сумерках, девушки чистыми, тонкими и чуть печальными голосами пели тягучую и красивую русскую песню, сложенную, может быть, еще во времена Ермака. И эта знакомая с детства песня, и особенно ее почти забытый Сергеем Варфоломеевичем мотив будто напоминали ему о чем-то, что давно известно всем и ему было когда-то известно, но что он забыл.
И вот сейчас стоит он в этом сарае, не зная, за что приняться, что сказать этим людям, занятым важным делом — готовящим семена для посева.
А может, ничего и не надо им говорить. И не к чему расстраиваться. Ничего ведь страшного не произошло. И, наверно, не произойдет. Просто не выспался Сергей Варфоломеевич, устал от непривычно долгой ходьбы. И поэтому лезут ему в голову печальные мысли.
Будто отбиваясь от этих мыслей, Сергей Варфоломеевич встряхивает головой. И тоже берет, подражая Перекресову, горсть мякины и тоже рассматривает ее под лампой. Пусть все видят, что он тоже не посторонний здесь и не собирается умирать раньше смерти.

Москва, май 1955 г.

Оставить отзыв о книге

Все книги автора

Примечания

1

Жиганы
— в данном случае бандиты
(Примечание автора)